

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

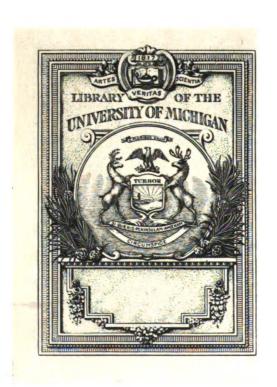
We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

A 660347



891.78 -:9 19:1 Gordielle, M. maraine.

М. Горькій.

РАЗСКАЗЫ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

ВТОРОЕ изданіе товарищества "ЗНАНІЕ".

Пятнадцатая тысяча,

Цвпа 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1901.

Digitized by Google

Типографія Спб. акц. общ. печ. дела въ Россія Е. Евдокимовъ, Тронцкая, 18.

Оілександру Швановичу Ланину

M. Topskiü.

Francisco Reserved 8-31-45 530 46 5 20 C. in 3

Оглавление І тома.

											C
Макаръ Чудра					•						
О Чижв, который :											
истины			•	•		٠					
Емельянъ Циляй.											
Дѣдъ Архипъ и Л	ень	ĸa									
Челкашъ											
Старуха Ивергиль .			•								1
Однажды осенью											1
Ошибка											1
Мой спутникъ											
Дѣло съ вастежкам											
Пъсня о соколъ.											
На плотахъ											
Болесь											
Тоска											

макаръ чудра.

(1892.)

Съ моря дулъ влажный и холодный вътеръ, разнося по степи задумчивую мелодію плеска набъгавшей на берегъ волны и шелеста прибрежныхъ кустовъ. Изръдка его порывы приносили съ собою иззябшіе, сморщенные и желтые листья и бросали ихъ въ костеръ, раздувая пламя, отчего окружавшая насъ мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на мигъ слъва—безграничную степь, справа—безконечное море и прямо противъ меня массивную фугуру Макара Чудры, стараго цыгана, сторожившаго коней своего табора, раскинутаго шагахъ въ пятидесяти оть насъ.

Не обращая ни малъйшаго вниманія на то, что холодныя волны вътра, распахнувъ чекмень, обнажили его волосатую бронзовую грудь и безжалостно бьють ее, онъ полудежаль въкрасивой, свободной и сильной позъ, лицомъ ко мнъ, методически потягиваль изъ своей громадной трубки, выпускаль изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставивъ глаза куда-то черезъ мою голову въ мертво молчавшую темь степи, разговариваль со мной, не умолкая и не дълая ни одного движенія къ защитъ отъ ръзкихъ ударовъ вътра.

— Такъ ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбраль себъ, соколъ. Такъ и надо: ходи и смотри, насмотрълся, лягъ и умирай—воть и все!

Digitized by Google

- Жизнь? Иные люди? продолжаль онъ, скептически выслушавь мое возражение на его "такъ и надо". Эге! А тебъ что до того? Развъ ты самъ не жизнь? А другие люди живуть безъ тебя и проживуть безъ тебя. Развъ ты думаешь, что ты кому-то нуженъ? Ты не хлъбъ и не палка, ну и не нужно тебя никому.
- Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сдёлать людей счастливыми? Нётъ, не можешь. Ты посёдёй сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякій знаетъ, что ему нужно. Которые умнёе, тё беруть что есть, которые поглупёе—тё ничего не получають, и всякій самъ учится...
- Смѣшные они, тѣ твои люди. Сбирались въ кучу и давять другъ друга, а мѣста на землѣ вонъ сколько,— онъ широко повелъ рукой на степь.—И все работають. Зачѣмъ? кому? Никто не знаеть. Видишь, какъ человѣкъ пашеть, и думаешь: вотъ онъ по каплѣ съ потомъ силы свои источить на землю, а потомъ ляжеть въ нее и сгніеть въ ней. Ничего по немъ не останется, ничего онъ не видить съ своего поля и умираеть, какъ родился, дуракомъ.
- Что же, онъ родился затъмъ, что ли, чтобъ поковырять землю, да и умереть, не успъвъ даже могилы самому себъ выковырять? Въдома ему воля? Ширь степная понятна? Говоръ морской волны веселить ему сердце? Эге! Онъ рабъ—какъ только родился, и во всю жизнь рабъ, да и все тутъ! Что онъ съ собой можеть сдълать? Только удавиться, коли поумнъеть немного.
- А я, воть, смотри, въ 58 лѣть столько видѣль, что коли написать все это на бумагѣ, такъ въ тысячу такихъ торбъ, какъ у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, въ какихъ краяхъ я не быль? И не скажешь. Ты и не знаешь такихъ краевъ, гдѣ я бывалъ. Такъ нужно жить: иди, иди—и все тутъ. Долго не стой на одномъ мѣстѣ—чего въ немъ? Вонъ какъ день и ночь вѣчно бѣгаютъ, гоняясь другъ за другомъ, вокругъ

земли, такъ и ты бъгай отъ думъ про жизнь, чтооъ не разлюбить ея. А задумаешься—разлюбишь жизнь, это всегда такъ бываетъ. И со мной это было. Эге! Было, соколъ.

- Въ тюрьмъ я сидълъ, въ Галичинъ. Зачъмъ я живу на свътъ? —помыслилъ я какъ-то разъ со скуки—скучно въ тюрьмъ, соколъ, э, какъ скучно! и взяла меня тоска за сердце, какъ посмотрълъ я изъ окна на поле, взяла и сжала его, какъ клещами. Кто скажетъ, зачъмъ онъ живетъ? Никто не скажетъ, соколъ! И спрашиватъ себя про это не надо. Живи, и все тутъ. И похаживай да посматривай кругомъ себя, вотъ и тоска не возъметъ никогда. Я тогда чуть не удавился поясомъ, вотъ какъ!
- Хе! Говорилъ я съ однимъ человѣкомъ. Строгій человѣкъ изъ вашихъ, русскихъ. Нужно, говорить онъ, житъ не такъ, какъ ты самъ хочешь, а такъ, какъ сказано въ Божьемъ словѣ. Богу покоряйся, и Онъ дастъ тебѣ все, что попросишь у Него. А самъ онъ весь въ дырьяхъ, рваный. Я и сказалъ ему, чтобы онъ себѣ новую одежду попросилъ у Бога. Разсердился онъ и прогналъ меня, ругаясь. А до того говорилъ, что надо прощать людей и любить ихъ. Вотъ бы и простилъ мнѣ, коли моя рѣчь обидѣла его милость. Тоже учитель! Учатъ они меньше ъсть, а сами ъдять по десять разъ въ сутки.

Онъ плюнулъ въ костеръ и замолчалъ, снова набивая трубку. Вътеръ вылъ о чемъ-то жалобно и тихо, во тьмъ ржали кони и изъ табора плыла нъжная и страстная пъсня-думка. Это пъла красавица Нонка, дочь макара. Я зналъ ея голосъ густого грудного тембра, всегда какъ-то странно недовольно и требовательно звучавшій—пъла ли она пъсню, говорила ли "здравствуй". На ея смугломъ матовомъ лицъ замерла надменность царицы, а въ подернутыхъ какой-то тънью темнокарихъ глазахъ сверкало сознаніе обаянія и неотразимости

своей красоты и презрѣнія ко всему, что не она сама. Макаръ подалъ мнъ трубку.

— Кури! Хорошо поеть дѣвка? То-то! Хотѣль ты, чтобъ такая тебя полюбила? Нѣть? Хорошо! Такъ надо— не вѣрь дѣвкамъ и держись оть нихъ дальше. Дѣвкѣ цѣловаться лучше и пріятнѣй, чѣмъ мнѣ трубку курить, а поцѣловаль ее — и умерла воля въ твоемъ сердцѣ. Привяжеть она тебя къ себѣ чѣмъ-то, чего не видно и порвать нельзя, и отдашь ты ей всю душу, а тебѣ только остальное. Вѣрно! Берегись дѣвокъ! Лгутъ всегда, гадюки. Люблю, говорить, больше всего на свѣтѣ, а ну-ка, уколи ее булавкой, и она разорветь тебѣ сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, соколь, хочешь скажу одну быль? А ты ее запомни и какъ запомнишь, вѣкъ свой будешь свободной птицей...

"Быль на свыть Зобарь, молодой цыгань, Лойко Зобарь. Вся Венгрія и Чехія, и Славонія, и все, что кругомь моря, знало его, — удалый быль малый! Не было по тымь краямь деревни, въ которой бы пятокь-другой жителей не даваль Богу клятвы убить Лойко, а онь себы жиль, и ужь коли ему понравился конь, такь хоть полкь солдать поставь сторожить того коня—все равно Зобарь на немь гарцовать станеть! Эге! развы онь кого боялся? Да приди къ нему сатана со всей своей свитой, такь онь бы, коли бъ не пустиль въ него ножа, то навырно бы крыпко поругался, а что чертямь подариль бы по пинку въ рыла—это ужь какъ разь!

"И вст таборы его знали или слыхали о немъ. Онъ любилъ только коней и ничего больше, и то не долго—потадитъ, да и продастъ, а деньги, кто хочетъ, тотъ и возьми. У него не было завтинаго — нужно тебт его сердце, онъ самъ бы вырвалъ его изъ груди да тебт и отдалъ, только бы тебт отъ того хорошо было. Вотъ онъ какой былъ, соколъ!

"Нашъ таборъ кочевалъ въ то время по Буковинъ,— это годовъ 10 назадъ тому. Разъ,—это ночью весенней

я помню было, — сидимъ мы: я вотъ, Данила солдатъ, что съ Кошутомъ воевалъ вмъстъ, и Нуръ старый, и всъ другіе, и Радда, Данилова дочка.

"Ты Нонку мою знаешь? Царица-дъвка! Ну, а Радду съ ней равнять нельзя— много чести Нонкъ! О ней, этой Раддъ, словами и не скажешь ничего. Можетъ быть ея красоту можно бы на скрипкъ сыграть, да и то тому, кто эту скрипку какъ свою душу знаеть.

"Много посушила она сердецъ молодецкихъ, ого, много! На Моравъ одинъ магнатъ, старый, чубатый, увидаль ее и остолбенълъ. Сидитъ на конъ и смотритъ, дрожа, какъ въ огневицъ. Красивъ онъ былъ, какъ чортъ въ праздникъ, жупанъ шитъ золотомъ, на боку сабля, какъ молнія сверкаетъ, чуть конь ногой топнетъ... вся эта сабля въ камняхъ драгоцънныхъ и голубой бархатъ на шапкъ, точно неба кусокъ, —важный былъ господарь старый! Смотрълъ, смотрълъ, да и говоритъ Раддъ: Гей! Поцълуй, кошель денегъ дамъ. — А та отвернулась въ сторону, да и только! — Прости, коли обидълъ, взгляни хотъ поласковъй, — сразу сбавилъ спеси старый магнатъ и бросилъ къ ея ногамъ кошель — большой кошель, братъ! А она его будто невзначай пнула ногой въ грязь, да и все тутъ.

— "Эхъ, дъвка!—охнуль онъ, да и плетью по коню только пыль взвилась тучей.

"А на другой день снова явился.—Кто ея отецъ?— громомъ гремить по табору. Данила вышель. Продай дочь, что хочешь возьми! — А Данила и скажи ему:— Это только паны продають все оть своихъ свиней до своей совъсти, а я съ Кошутомъ воевалъ и ничъмъ не торгую!—Взревълъ было тоть, да и за саблю, но кто-то изъ насъ сунулъ зажженный трутъ въ ухо коню, онъ и унесъ молодца. А мы снялись, да и пошли. День идемъ и два, смотримъ — догналъ! Гей, вы, говоритъ, передъ Богомъ и вами совъсть моя чиста, отдайте дъвку въ жены мнъ; все подълю съ вами, богатъ я сильно!—

Горитъ весь и, какъ ковыль подъ вътромъ, качается въ съдлъ. Мы задумались.

- "А ну-ка, дочь, говори! сказалъ себъ въ усы Данила.
- "Кабы орлица къ ворону въ гнъздо по своей волъ вошла, чъмъ бы она стала? спросила насъ Радда.

Засмъялся Данила и всъ мы съ нимъ.

— "Славно, дочка! Слышалъ, господарь? Не идетъ дъло! Голубокъ ищи—тъ податливъй. И пошли мы впередъ.

"А тотъ господарь схватилъ шапку, бросилъ ее оземь и поскакалъ, поскакалъ такъ, что земля задрожала. Вотъ она какова была Радда, соколъ!

"Да! такъ воть разъ ночью сидимъ мы и слышимъ—
музыка плыветь по степи. Хорошая музыка! кровь загоралась въ жилахъ оть нея и звала она куда-то. Всёмъ
намъ, мы чуяли, отъ той музыки захотълось чего-то
такого, послё чего бы и жить ужъ не нужно было, или,
коли жить, такъ царями надъ всей землей,—вотъ какая, соколь!

"А она все ближе. Вотъ изъ темноты выръзался конь, а на немъ человъкъ сидитъ и играетъ, подъъзжая къ намъ. Остановился у костра, пересталъ игратъ и, улыбаясъ, смотритъ на насъ.

— "Эге, Зобаръ, да это ты!—крикнулъ ему Данила радостно. Такъ вотъ онъ Лойко Зобаръ!

"Усы легли на плечи и смѣшались съ кудрями вороненой стали, очи, какъ ясныя звѣзды, горять, а улыбка цѣлое солнце, ей-Богу! Точно его ковали ковали изъ одного куска желѣза вмѣстѣ съ конемъ. Стоитъ весь, какъ въ крови, въ огиѣ костра и сверкаетъ зубами, смѣясь. Эге, будь я проклятъ, коли я его не любилъ уже, какъ себя, раньше, чѣмъ онъ мнѣ слово сказалъ или просто замѣтилъ, что и я тоже живу на бѣломъ свѣтѣ!

"Вотъ, соколъ, какіе люди бывають! Взглянеть онъ тебъ въ очи и полонить твою душу, и ничуть тебъ это не стыдно, а еще и гордо для тебя. Съ такимъ человъкомъ ты и самъ лучше становишься сразу же. Мало, другъ, такихъ людей! Ну, такъ и ладно, коли мало. Много хорошаго было бы на свътъ, такъ его и за хорошее не считали бъ. Такъ-то! А слушай-ка дальше.

"Радда и говорить: — Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это дёлаль тебъ скрипку такую звонкую и чуткую? А тоть смъется: — я самъ дёлаль! И сдёлаль ее не изъ дерева, а изъ груди молодой дъвушки, которую любиль кръпко, а струны изъ ея сердца мною свиты. Вреть еще немного скрипка, ну да я умъю смычокъ въ рукахъ держать исправно! Видишь?

"Извъстно, нашъ братъ старается сразу затуманить дъвкъ очи, чтобъ они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебъ грустью, вотъ и Лойко тожъ. Но не на ту попалъ. Радда отвернулась въ сторону и, зъвнувъ, сказала:—А еще говорили, что Зобаръ уменъ и ловокъ— вотъ лгутъ люди, и пошла прочь.

- "Эге, красавица, у тебя остры зубы!—сверкнуль очами Лойко и слъзъ съ коня. Здравствуйте, браты! Вотъ и я къ вамъ!
- —"Просимъ гостя, орелъ! сказалъ Данила въ отвъть ему. Поцъловались, поговорили и легли спать... Кръпко спали. А на утро, глядимъ, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашибъ его копытомъ соннаго.
- "Э, э, э! Поняли мы, кто тотъ конь, и улыбнулись въ усы, и Данила улыбнулся. Что жъ, развъ Лойко не стоилъ Радды? Ну, ужъ нътъ! Дъвка какъ ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пудъ золота повъсь ей на шею, все равно, лучше того, какова она есть, ей не быть. А ну, ладно!

"Живемъ мы, да живемъ на томъ мъстъ; дъла у насъ о ту пору корощія были, и Зобаръ съ нами. Это былъ товарищъ! И мудръ былъ, какъ старикъ, и свъдущъ во всемъ, и грамоту русскую и венгерскую понималъ.

Бывало, пойдеть говорить—вѣкъ бы не спалъ, слушалъ его! А играеть—убей меня громъ, коли на свѣтѣ еще ктонибудь такъ игралъ, какъ Зобаръ! Проведеть бывало по струнамъ смычкомъ—и вздрогнетъ у тебя сердце, проведеть еще разъ—и замреть оно, слушая, а онъ играетъ и улыбается. И плакать, и смѣяться котѣлось въ одно время, слушая его пѣсни. Вотъ тебѣ сейчасъ кто-то стонетъ горько изъ-подъ смычка, стонетъ, проситъ помощи и рѣжетъ тебѣ грудь, какъ ножомъ. А вотъ степь говоритъ небу сказки, тихія, печальныя сказки. Плачеть дѣвушка, провожая добра-молодца! Добрый молодецъ кличетъ дѣвицу въ степь на свиданіе. И вдругъ—гей! Громомъ гремить вольная, живая пѣсня, и само солнце, того и гляди, затанцуетъ по небу подъ ту пѣсню! Воть какъ, соколь!

"Каждая жила въ твоемъ тълъ понимала ту пъсню и весь ты становился рабомъ ея. И коли бы тогда крикнулъ Лойко: "въ ножи, товарищи!"-то и пошли бы мы вст въ ножи, съ къмъ указалъ бы онъ. Все онъ могъ сдълать съ человъкомъ, и всъ любили его, кръпко любили, только Радда одна не смотрить на парня; и ладно, коли бъ только это, а то и подсмъивается надъ нимъ. Кръпко она задъла за сердце Зобара, то-то кръпко! Зубами скрипить, дергая себя за усъ, Лойко, очи темнъе бездны смотрять, а порой въ нихъ такое сверкнеть, что за душу страшно становится. Уйдеть ночью въ степь далеко удалый Лойко и плачеть до утра тамъ его скрипка, плачеть, хоронить Зобарову волю. А мы лежимъ, да слушаемъ и думаемъ: какъ быть? И знаемъ, что коли два камня другъ на друга катятся, становиться межъ ними нельзя — изувъчать. Такъ и шло дъло.

"Разъ сидъли мы всъ въ сборъ и говорили о дълахъ. Скучно стало. Данила и проситъ Лойко:—"Спой, Зобаръ, пъсенку, повесели душу!"—Тотъ повелъ окомъ на Радду, что неподалеку отъ него лежала кверху

лицомъ да смотръла въ небо, и ударилъ по струнамъ. Такъ и заговорила скрипка, точно это и вправду дѣвичье сердце было! И запълъ Лойко:

Гей-гопъ! Въ груди горить огонь, А степь такъ широка! Какъ вътеръ быстръ мой борзый конь, Тверда моя рука!

"Повернула голову Радда и, привставъ, усмъхнулась въ очи пъвуну. Вспыхнулъ, какъ заря, онъ.

Гей, гопъ-гей! Ну жъ, товарищъ мой! Поскачемъ, что ль, впередъ!?
Одъта степь суровой мглой,
А тамъ разсвъть насъ ждеть!
Гей-гопъ! Летимъ и встрътимъ день.
Взвивайся въ вышину!
Да только гривой не задънь
Красавицу луну!

"Воть пълъ! Никто ужь такъ не поеть теперь! А Радда и говорить, точно воду цъдить:

— "Ты бы не залеталь такъ высоко, Лойко, неравно упадешь, да въ лужу носомъ, усы запачкаешь, смотри. Звъремъ посмотрълъ на нее Лойко, а ничего не сказаль—стерпълъ парень и поетъ себъ:

Гей-гонъ! Вдругъ день придетъ сюда, А мы съ тобой спимъ. Эй, гей! Въдь мы съ тобой тогда Въ огнъ стыда сгоримъ!

- "Это пъсня!—сказалъ Данила,—никогда не слыкалъ такой пъсни; пусть изъ меня сатана себъ трубку сдълаеть, коли вру я! — Старый Нуръ и усами поводилъ, и плечами пожималъ, и всъмъ намъ по душъ была удалая Зобарова пъсня! Только Раддъ не понравилась.
- "Вотъ такъ однажды комаръ гудълъ, орлиный клекотъ передразнивая,—сказала она, точно снъгомъ въ насъ кинула.

- "Можеть быть, ты, Радда, кнута хочешь?—потянулся Данила къ ней, а Зобаръ бросилъ наземь шапку, да и говоритъ, весь черный, какъ земля:
- "Стой, Данила! Горячему коню—стальныя удила! Отдай мнъ дочку въ жены!
- "Вотъ сказалъ ръчь! усмъхнулся Данила, да возьми, коли можещь, да хочещь!
 - "Добро! молвилъ Лойко, и говоритъ Раддъ:
- "Ну, дъвушка, послушай меня немного, да не кичись! Много я вашей сестры видълъ, эге много! А ни одна не тронула моего сердца такъ, какъ ты. Эхъ, Радда, полонила ты мою душу! Ну что жъ? Чему быть, такъ то и будеть, и... эхъ! нътъ такого коня, на которомъ отъ самого себя ускакать можно бъ было!... Беру тебя въ жены передъ Богомъ, своей честью, твоимъ отцомъ и всъми этими людьми. Но смотри, волъ моей не перечь—я все-таки свободный человъкъ и буду жить такъ, какъ я хочу! и онъ подошелъ къ ней, стиснувъ зубы и сверкая глазами. Смотримъ мы, протянулъ онъ ей руку, вотъ, думаемъ, и надъла узду на степного коня Радда! Вдругъ видимъ, взмахнулъ онъ руками и оземь затылкомъ грохъ!...

"Что за диво? Точно пуля ударила въ сердце малаго. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги, да и дернула къ себъ, — вотъ отчего упалъ Лойко.

"И снова ужъ лежить дъвка, не шевелясь, да усмъхается, молча. Мы смотримъ, что будетъ, а Лойко сидитъ на землъ и сжалъ руками голову, точно боится, что она у него лопнетъ сейчасъ. А потомъ всталъ тихо, да и пошелъ въ степь, ни на кого не глядя. Нуръ шепнулъ мнъ:—Смотри за нимъ! — И поползъ я за Зобаромъ по степи въ темнотъ ночной. Такъ-то, соколъ!"

Макаръ выколотилъ пепелъ изъ трубки и снова сталъ набивать ее. Я закутался плотнъе въ чекмень и, лежа, ١.

смотрълъ въ его старое лицо, черное отъ загара и вътра. Онъ сурово и строго качалъ головой и что-то шепталъ про-себя; густне съдые усы шевелились, и вътеръ трепалъ ему волосы на головъ. Онъ былъ похожъ на старый дубъ, обожженный молніей, но все еще мощный, кръпкій и гордый силой своей. Море шепталось попрежнему съ берегомъ, и вътеръ все также носилъ его шопотъ по степи. Нонка уже не пъла, а собравшіяся на небъ тучи сдълали осеннюю ночь еще темнъй и страшнъй.

"Шель Лойко нога за ногу, повъся голову и опустивь руки, какъ плети, и, придя въ балку къ ручью, сълъ на камень и охнулъ. Такъ охнулъ, что у меня сердце кровью облилось отъ жалости, но все жъ не подошелъ къ нему. Словомъ горю не поможешь—върно!? То-то! Часъ онъ сидить, другой сидить и третій не шелохнется—сидить.

"И я лежу неподалеку. Ночь свътлая, мъсяцъ серебромъ всю степь залилъ и далеко все видно.

"Вдругъ вижу: отъ табора спѣшно Радда идеть.

Весело мив стало, эхъ, важно! — думаю, — удалал двака Радда! Вотъ она подошла къ нему, онъ и не слышитъ. Положила ему руку на плечо; вздрогнулъ Лойко, разжалъ руки и поднялъ голову. И какъ вскочитъ, да за ножъ! Ухъ, поръжетъ дъвку, вижу я, и ужъ хотълъ, крикнувъ до табора, побъжатъ къ нимъ, вдругъ слышу:

- "Брось! Голову разобью!—Смотрю: у Радды въ рукъ пистоль и она въ лобъ Зобару цълить. Воть сатана дъвка! А ну, думаю, они теперь равны по силъ, что будеть дальше?
- "Слушай! Радда заткнула за поясъ пистоль и говорить Зобару: Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай ножь! Тоть бросиль и хмуро смотрить ей въ очи. Дивно это было, брать! Стоять два человъка и звърями смотрять другь на друга, а оба такіе хорошіе,

удалые люди. Смотрить на нихъ ясный мъсяцъ, да я--- и все туть.

- "Ну, слупай меня, Лойко: я тебя люблю!—говорить Радда. Тоть только плечами повель, точно связанный по рукамъ и ногамъ.
- "Видала я молодцовъ, а ты удальй и краше ихъ душой и лицомъ. Каждый изъ нихъ усы себъ бы сбрилъ—моргни я ему глазомъ, всъ они пали бы мнъ въ ноги, захоти я того. Но что толку? Они и такъ не больно-то удалы, а я бы ихъ всъхъ обабила. Мало осталось на свътъ удалыхъ цыганъ, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то я, Лойко, люблю больше, чъмъ тебя. А безъ тебя мнъ не жить, какъ не жить и тебъ безъ меня. Такъ воть я хочу, чтобъ ты быль моимъ и душой и тъломъ, слышишь?—Тоть усмъхнулся.
- "Слышу! Весело сердцу слушать твою рѣчь! Нука, скажи еще!
- "А еще воть что, Лойко: все равно, какъ ты ни вертись, я тебя одолью, моимъ будешь. Такъ не теряй же даромъ времени—впереди тебя ждуть мои поцълун да ласки... кръпко цъловать я тебя буду, Лойко! Подъ поцълуй мой позабудешь ты свою удалую жизнь... и живыя пъсни твои, что такъ радують молодцовъ цыганъ, не зазвучать по степямъ больше—пъть ты ужъ будешь любовныя, нъжныя пъсни мнъ, твоей Раддъ... Такъ не теряй даромъ времени, сказала я это, значитъ, ты завтра покоришься мнъ, какъ старшему товарищу юнаку. Поклонишься мнъ въ ноги передъ всъмъ таборомъ и поцълуешь правую руку мою—и тогда я буду твоей женой!

"Вотъ чего захотъла чортова дъвка! Этого и слыхомъ не слыхано было; только встарину у черногорцевътакъ было, говорили старики, а у цыганъ — никогда! Побратимство съ дъвкой! Ну-ка, соколъ, выдумай что ни то посмъшнъе? Годъ поломаешь голову, не выдумаешь!

"Прянулъ въ сторону Лойко и крикнулъ на всю степь, какъ раненый въ грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

- "Ну, такъ прощай до завтра, а завтра ты сдълаешь, что я велъла тебъ. Слышишь, Лойко!
- "Слышу! Сдълаю,—застональ Зобаръ и протянулъ къ ней руки. Она и не оглянулась на него, а онъ зашатался, какъ сломанное вътромъ дерево, и палъ на землю, рыдая и смъясь.

"Вотъ какъ замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привелъ его въ себя.

"Эке! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любить слушать, какъ стонеть, разрываясь оть горя, человъческое сердце? Воть и думай туть!...

"Воротился я въ таборъ и разсказалъ о всемъ старикамъ. Подумали и ръшили подождать, да посмотръть что будеть изъ всего этого. А было воть что. Когда собрались всъ мы вечеромъ вокругъ костра, пришелъ и Лойко. Былъ онъ смущенъ и похудълъ за ночь страшно, глаза ввалились; онъ опустилъ ихъ въ землю и, не подымая, сказалъ намъ:

— "Воть какое дёло, товарищи: смотрёль въ свое сердце этой ночью и не нашель мёста въ немь старой вольной жизни моей. Радда тамъ живетъ только—и все туть! Воть она, красавица Радда, улыбается, какъ царица! Она любить свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и рёшиль я Раддё поклониться въ ноги, такъ она велёла, чтобъ всё видёли, какъ ея красота покорила удалого Лойко Зобара, который до нея игралъ съ дёвушками, какъ кречеть съ утками. А потомъ она станетъ моей женой и будетъ ласкать и цёловать меня, такъ что уже мнё и пёсенъ пёть вамъ не захочется, и воли моей я не пожалёю! Такъ ли, Радда?—Онъ подняль глаза и сумно посмотрёлъ на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себё на ноги. А мы смотрёли

и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотълось, лишь бы не видать, какъ Лойко Зобаръ упадеть въ ноги дъвкъ—пусть эта дъвка и сама Радда. Стыдно было чего-то и жалко, и грустно.

- "Ну!--крикнула Радда Зобару.
- "Эге, не торопись, успъешь, надоъсть еще...—засмъялся онъ. Точно сталь зазвенъла,—засмъялся.
- "Такъ вотъ и все дѣло, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крѣпкое сердце, какимъ она мнѣ его показывала. Попробую же,— простите меня, братцы!

"Эхъ! мы и догадаться еще не успъли, что хочеть дълать Зобаръ, а ужъ Радда лежала на землъ и въ груди у нея по рукоять торчалъ кривой ножъ Зобара. Оцъпенъли мы.

"А Радда вырвала ножъ, бросила его въ сторону и, зажавъ рану прядью своихъ черныхъ волосъ, улыбаясь, сказала громко и внятно:

— "Прощай, Лойко! я знала, что ты такъ сдълаешь!...—да и умерла...

"Понялъ ли дъвку, соколъ?! Вотъ какая, будь я проклять на въки въчные, дьявольская дъвка была! Эге!

— "Эхъ! да и поклонюсь же я тебъ въ ноги, королева гордая!—на всю степь гаркнулъ Лойко, да бросившись наземь, прильнулъ устами къ ногамъ мертвой Радды и замеръ. Мы сняли шапки и стояли молча.

"Что скажешь въ такомъ дълъ, соколъ? То-то! Нуръ сказалъ было: "надо связать его!" Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нуръ зналъ это. Махнулъ онъ рукой, да и отошелъ въ сторону. А Данила поднялъ ножъ, брошенный въ сторону Раддой, и долго смотрълъ на него, шевеля съдыми усами; на томъ пожъ еще не застыла кровь Радды и былъ онъ такой кривой и острый. А потомъ подошелъ Данила къ Зобару и сунулъ ему ножъ въ спину какъ разъ противъ сердца. Тоже отцомъ былъ Раддъ старый солдать Данила!

— "Вотъ такъ!—повернувшись къ Данилъ, ясно сказалъ Лойко и ушелъ догонять Радду.

"А мы смотръли. Лежала Радда, прижавъ къ груди руку съ прядью волосъ, и открытые глаза ея были въ голубомъ небъ, а у ногъ ея раскинулся удалой Лойко Зобаръ. На лицо его пали кудри и не видно было его лица.

"Стояли мы и думали. Дрожали усы у стараго Данилы и насупились густыя брови его. Онъ глядълъ въ небо и молчалъ, а Нуръ, съдой какъ лунь, легъ внизъ лицомъ на землю и заплакалъ такъ, что ходуномъ заходили его стариковскія плечи.

"Выло туть надъ чѣмъ плакать, соколъ! Такъ-то!... "Идешь ты, ну и иди твоимъ путемъ, не сворачивая въ сторону. Прямо и иди. Можеть, и загинешь даромъ. Воть и все, соколъ!"

Макаръ замолчаль и, спрятавъ въ кисетъ трубку, запахнулъ на груди чекмень. Накрапывалъ дождь, вътеръ сталъ сильнъе и море рокотало глухо и сердито. Одинъ за другимъ къ угасавшему костру подходили кони и, осмотръвъ насъ большими, умными глазами, неподвижно останавливались, окружая насъ плотнымъ кольцомъ.

- Гопъ, гопъ, эгой!—крикнулъ имъ ласково Макаръ и, похлонавъ ладонью шею своего любимаго вороного коня, сказалъ, обращаясь ко мнъ:
- Спать пора!—завервулся съ головой въ чекмень и, могуче вытянувшись на землѣ, умолкъ. Мнѣ не хотѣлось спать. Я смотрѣлъ въ темь степи къ морю, и въ воздухѣ передъ моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку съ прядью черныхъ волосъ къ ранѣ на груди, и сквозъ ея смуглые, тонкіе пальцы сочилась капля по каплѣ кровь, падая на землю огненно-красными звѣздочками.

А за ней по пятамъ илылъ удалой молодецъ Лойко Зобаръ; его лицо завъсили пряди густыхъ черныхъ

кудрей, и изъ-подъ нихъ капали частыя, холодныя и крупныя слезы...

Усиливался дождь, и море распъвало мрачный и торжественный гимнъ гордой паръ красавцевъ цыганъ— Лойко Зобару и Раддъ, дочери стараго солдата Данилы.

А они оба кружились во тьмѣ ночи плавно и безмолвно и никакъ не могъ красавецъ-пѣвунъ Лойко поровняться съ гордой Раддой...



О Чижъ, который лгаль, и о Датлъ—лювителъ истины.

(1892.)

Это очень правдивая исторія, и я начну ее такъ:

...Вдругъ изъ всёхъ пёвчихъ птицъ той рощи, въ которой произошелъ этотъ любопытный случай, привлекла къ себъ общее вниманіе одна, запѣвшая пѣсни, исполненныя не только надеждъ, но и увѣренности.

До той поры всё птицы, испуганныя внезапно наступившей серенькой и хмурой погодой, пёли пёсни, которыя только потому и назывались пёснями, что ихъ пёли; въ нихъ преобладали унылыя и безнадежныя ноты, и птицы-слушатели сначала называли ихъ хрипёньемъ умирающихъ, но потомъ понемногу привыкли и даже стали находить въ нихъ разныя красоты, что, однако, стоило имъ большого труда.

Тонъ всему въ рощъ давали вороны, птицы по существу своему мизантропическія и, кромѣ болѣе или менѣе громкаго карканья, ни къ чему не способныя. Въ другое время на нихъ бы не обратили вниманія, но теперь, когда ихъ голоса преобладали, ихъ слушали и даже считали очень мудрыми птицами. А онѣ, подмѣчая послѣднее обстоятельство, мрачно распѣвали:

Каррі... Въ борьбѣ съ суровымъ рокомъ Намъ, ничтожнымъ, нѣтъ спасенья. Все, на что ни ваглянешь окомъ, —

Digitized by Google

Боль и горе, прахъ и тлѣнье... Карр!... Страшны удары рока!... Мудрый пусть имъ покорится...

Карр... карр!... Скучная пъсня!... но сильная, ибо она угнетала всю рощу.

И вдругъ зазвучали смълыя пъсни...

Вся роща, много слышавшая пъсенъ, встрепенулась и съ напряженнымъ вниманіемъ прислушивалась, удивленно и тихо шелестя вътвями. И даже соловьи, которые всегда поютъ недурно, потому что они жрецы чистаго искусства, съ удовольствіемъ слушали и говорили:

- "А въдь у этого пъвца есть искорка!"...
- И, говоря такъ, втайнъ гордились своимъ безпристрастіемъ.
- "Слышите?" спрашивали они другъ у друга и слушали улыбаясь.

А пъвецъ пълъ:

Я слышу карканье воронь, Смущенных холодомь и тьмой... Я вижу мракь, — но что мей онь, Коль добрь и ясень разумь мой?... За мной кто смёль! Да сгинеть тьма! Душё живой—вь ней мёста нёть! Зажжемь сердца огнемь ума И воцарится всюду свёть!...

— "Сильно спъто!" комментировали соловьи... "Молодо, самонадъянно, не музыкально — но сильно..." и, глубокомысленно почистивъ носики, они слушали дальше

Кто честно смерть пріяль въ бою, Тоть развів паль и побіждень? Напь тоть, кто, робко грудь свою Прикрывь, ушель изъ битвы вонь... Друзья! и тоть паль, кто, боясь Труда, велненій, боли рань, О битвів судить, погрузясь Въ философическій тумань...

— "Гм... у него очень оригинальные взгляды!" отмътили соловьи. "Хотълось бы знать, что это за птица!..." полюбопытствовали они.

> Друзья! пусть падшіе молчать. Имъ очи съблъ сомніній дымъ; Въ сердцахъ ихъ честь и гордость спять... Друзья! давайте, крикнемъ имъ: Прочь! вашихъ мудрствованій чадъ Темніе сділаль эту ночь, И отравляеть онъ, какъ ядъ, Умы и души вныхъ... Прочь!... Прочь!... Здісь объявлена богамъ За право первенства война!

— "Это смѣло!" сказали соловьи. "О, да!... это очень смѣлая пъсня!..."

Роща слушала и ощущала нъчто хорошее и сильнос, это ощущение наполняло ее тепломъ и свътомъ, и даже старыя, [сърымъ туманомъ покрытыя, вътви деревьевъ зашептали о прошлыхъ дняхъ. То были славные весенніе дни, когда въ рощъ только что начинали расцвътать цвъты и надежды, когда птицы пъли звучные гимны солнцу, а свободное отъ тучъ небо казалось безконечно глубокимъ, и точно звало оно птицъ попытать силу крыльевъ — достигнуть его глубины. То были хорошіе дни, когда не нужно было принуждать себя жить, потому что жить хотълось, ибо была цъль и была надежда достичь ее. И эти дни явились передъ рощей и, какъ звъзды, заблистали въ туманъ, скрывавшемъ отъ нея небо.

Птицы встрепенулись и ожили. Гдъ пъвецъ? Пусть онъ приметь дань восторга и благодарности! Это, должно быть, великолъпная, красивая птица!

Онъ собрались цълой тучей и съ пъніемъ ринулись туда, откуда навстръчу имъ летьли бодрые и гордые звуки.

Но когда онъ прилетъли, то увидали, что это просто чижъ—самый заурядный, маленькій, съренькій, съ восковымъ носикомъ чижъ. Онъ сидълъ на въткъ оръш-

ника и былъ смущенъ оказанной ему честью; мизерный, взъерошенный и сустящійся, онъ возбудиль во всъхъ недоумъніе и никому не понравился.

Прочы!... Здась объявлена богамъ За право первенства война!

Когда это кричить орель, соколь, ястребь, наконець, — это и красиво, и мощно; но чижь... чижь, объявляющій войну богамь... туть есть нівкоторое несоотвітствіе, что-то странное и смішное. И потомь, это прямо таки обидно для всіхь остальныхь птиць. Почему именно чижь, а не щегленокь, зябликь, снітирь?...

Пораженныя и обиженныя птицы смотръли на чижа и думали: "Что же теперь будеть?"

Умы и души юныхъ... Прочы!

И невольно имъ вспомнилась эта смѣшная синица, которая однажды хотъла зажечь море...

Но туть одинь находчивый щегленокь спросиль чижа:

- Послушайте-ка, это вы сейчасъ пъли?
- Я...- отвътиль чижъ да, это я пълъ.
- Гм... а чъмъ вы это докажете? Т.-е. мы, конечно, не сомнъваемся въ вашихъ способностяхъ, но...

Чижъ вздрогнулъ, у него встали дыбомъ перья и онъ запълъ:

Во тьм'в нами созданной ночи Проносятся сврыя совы....
И блещуть ихъ мрачныя очи И злы, и угрюмо суровы!...
И гулко ихъ крики несутся, См'юются они и рыдають, Проклятья въ нихъ дню раздаются, И ночь они см'юмомъ встр'ючають...
О, если бы мрака оковы Съ моей юйой рощи упали, Исчезли бы дикія совы И соколы только бъ летали!...
Но соколы,—слабы и хилы,—Забилися робко въ ущелья И злятся безъ чести и силы

Подъ звуки чужого веселья. Ихъ крылья уныло повисли, Постыдно сердца у нихъ дремлють, И голосу чести и мысли Свободныя птицы не внемлють...

Нѣкоторымъ птицамъ эта пѣсня показалась личностью и онъ засвистали чижу, а щегленокъ сказалъ:

— Хорошо, это достаточно для насъ! Но, вотъ что скажите: вы, такъ сказать, будите наше сознаніе... гм.!... а какія собственно у васъ права на это? Т.-е. я хочу сказать — во имя чего поете вы?!

Чижъ изумился и молча смотрълъ на публику.

— Мы, видите ли, хотимъ гарантировать себя оть ошибокъ, которыхъ, вы знаете, у насъ было многонько таки, и съ этой цълью мы хотыли бы знать ваши исходные и конечные пункты, — знать, куда и зачъмъ насъ зовуть?—поставилъ вопросъ щегленокъ и, довольный собой, засвисталъ что-то чужое: у щеглятъ нътъ своихъ пъсенъ, какъ извъстно.

Чижъ встрепенулся...

- Я исхожу изъ непоколебимаго убъжденія въ высокомъ призваніи птицъ, какъ конечнаго, самаго сложнаго и мудраго акта въ творчествъ природы. Мы не должны уставать и должны всегда бороться и все побъдить, чтобъ оправдать самихъ себя въ своихъ глазахъ, чтобы имъть право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее — это мы, а не слъпая сила стихій. Путь, по которому мы должны идти, мнв не знакомъ, но я увъренъ, что нужно идти впередъ. Тамъ страна, достойная быть наградой за тъ труды, которые понесли мы въ пути! Тамъ въчный, неизсякаемый свъть, тамъ невъдомыя намъ чудеса; тамъ мы насладимся созерцаніемъ нашей силы, и весь міръ будеть ареной нашихъ дъяній, величіе которыхъ невозможно представить намъ теперь, тамъ мысль наша разръщить все, и наши чувства, осложненныя до чудеснаго, откроють предъ нами новый міръ неиспытанныхъ наслажденій; тамъ она — жизнь,

Digitized by Google

достойная насъ!... Уважайте и любите другъ друга и, идя гордой и смълой дружиной къ побъдъ, не сомнъвайтесь ни въ чемъ, ибо что есть выше васъ?... Обернитесь назадъ и посмотрите, чъмъ вы были раньше, —тамъ, на разсвътъжизни?... Вся ваша въра тогда — не стоила одной капли сомнънія теперь... Научившись такъ страшно сомнъваться во всемъ, вамъ пришла пора — увъровать въ себя, ибо только великая сущность можеть дойти до такого сомнънія, до какого дошли вы!...

Туда — въ страну счастья. Туда — въ это чудное "впередъ"!...

— "Впередъ!"— крикнули птицы, ибо въ ихъ сердцахъ загорълась гордость собой.

Слезы вдохновенія переполняли глаза чижа, и онъ все говориль и зваль туда — впередь! И всё птицы пъли и всёмъ стало такъ легко, хорошо и всё чувствовали, что въ сердцахъ родилось такое страстное желаніс жизни и счастья.

- Позвольте, позвольте!...Я прошуслова... Слово мнъ!... Это кричалъ дятелъ съ верхушки осины, и когда его услыхали, то ему тотчасъ же дали слово, потому что онъ кричалъ очень громко.
- Мм. Гг. и Гг.!— заговорилъ дятелъ. Рекомендуюсь: я дятелъ. Я питаюсь червяками и люблю истину, которой неуклонно служу, и которая понуждаетъ меня сказать вамъ, что васъ нагло обманываютъ. Всъ эти пъсни и фразы, слышанныя вами здъсь, Мм. Гг., не болъе, какъ безстыдная ложь, что я и буду имъть честъ доказать вамъ съ фактами въ рукахъ... Съ фактами въ рукахъ... Съ фактами въ рукахъ, Мм. Гг.! А спросите г-на Чижа, гдъ тъ факты, которыми онъ могъ бы подтвердить то, что сказалъ? Ихъ нътъ у него, а именно они-то и нужны ему болъе, чъмъ мнъ; они все, Мм. Гг., и всъ мы не болъе, какъ только крошечные факты, подтверждающіе грандіозный фактъ мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, какъ дъти подчиняются матери.

Разсмотримъ безпристрастно, что есть тамъ — впереди, куда зоветь насъ г. Чижъ. Всв вы вылетали на опушку рощи и знаете, что сейчасъ же за нею начинается поле, лътомъ голое и сожженное, зимой покрытое холоднымъ снъгомъ; тамъ, на краю его, стоитъ деревня и въ ней живетъ Гришка, человъкъ, занимающися птицеловствомъ. Вотъ первая станція по пути "впередъ", о которомъ такъ много наговорилъ здъсь г-нъ Чижъ.

Предполагая, что мы устремимся впередъ сообразно сго желанію,—въ безкорыстіи котораго я позволяю себъ усомниться, ибо знаю, что чижи, какъ и всъ другія существа, не прочь отъ популярности, славы и т. п., предполагая, что мы благополучно минуемъ съти Грищки и пролетимъ мимо деревни, мы опять-таки очутимся въ полъ; а на концъ его снова встрътимъ деревню, а потомъ снова—поле, деревня, поле... и, такъ какъ земля кругла, то мы и должны будемъ необходимо долетъть до той самой рощи, въ которой въ данный моментъ я имъю высокую честь говорить съ вами.

Эта ли та страна, въ которой, по словамъ г-на Чижа, мы получимъ награду за наши труды?... Это ли она?!...

— Я знаю васъ, Мм. Гг. и Гг., я зпаю, какъ высоко вы летаете, но... какъ ни горько мнъ говорить вамъ это, — я знаю и то, что никто изъ насъ не взлеталъ и не можетъ взлетъть выше самого себя.

Попытка г-на Чижа завоевать себѣ ваше вниманіе путемъ отуманиванія васъ блестящими и громкими фразами, ясно указываеть на степень высоты его мнѣнія о васъ, какъ о здравомыслящихъ существахъ!?.. Эта попытка должна быть строго наказана, Мм. Гг. и Гг.!...

И, преисполненный сознанія высоты выполненной имъ общественной обязанности, мудрый дятель, окинувъ торжествующимъ взглядомъ слушателей, сталь долбить кору осины, на вътвяхъ которой онъ возсъдаль.

Птицы молча смотръли на Чижа и видъли, какъ изъ

его глазъ одна за другой скатывались слезинки. О чемъ опъ могъ плакать, какъ не о своей винъ предъ ними?! Такой мизерный, съренькій и лживый чижъ!

А онъ понуро смотръль туда вдаль и его глазки точно прощались тамъ съ чъмъ-то.

Молчала роща и птицы безшумно разлетались по своимъ мъстамъ. Улетълъ и дятелъ, сопровождаемый почтительнымъ преклоненіемъ предъ его мудростью.

День быль такой грустный; онъ точно расплакаться о чемъ-то собирался.

И воть Чижъ, который лгалъ, остался одинъ. Неподвижный и подавленный, онъ сидълъ на въткъ оръшника, и только одна сойка съ любопытствомъ поглядывала на него изъ робкой дрожащей листвы осины. Но это ей скоро наскучило и, насмъщливо свистнувъ, она улетъла.

А чижъ остался и, сидя на въткъ оръщника, думалъ:

— Я солгаль, да, я солгаль, потому что мив неизвъстно, что тамь за рощей, но въдь върить и надъяться такъ хорошо!... Я же только и хотъль пробудить въру и надежду, — и воть почему я солгаль... Онъ, дятель, можеть быть, и правъ, но на что нужна его правда, когда она камнемъ ложится на крылья и не позволяеть высоко взлетать въ небеса?

И, оглянувшись кругомъ, бъдный, маленькій чижъ нахохлился.

Воть и вся исторія... Прочитавь ее, ты, конечно, увидишь, что Чижъ благороденъ, но не имъеть въры и поэтому нищъ духомъ; дятелъ благоразуменъ, но пошлъ, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они въ сущности черствы сердцемъ и мелки, мелки, позорно мелки... Увидавъ это, ты подумаешь, что я невърно разсказалъ эту до слезъ смъшную исторію. Думай такъ, если это тебя утъщаетъ, думай!...



емельянь пиляй.

(1893.)

— Ничего больше не остается дѣлать, какъ идти на соль! Солона эта проклятущая работа, а все жъ таки надо взяться, потому что этакъ-то, неровенъ часъ, и съ голоду подохнешь.

Проговоривъ это, мой товарищъ Емельянъ Пиляй въ десятый разъ вынулъ изъ кармана кисеть и, убъдившись, что онъ такъ же пустъ, какъ былъ пустъ и вчера, вздохнулъ, сплюнулъ и, повернувшись на спину, посвистывая, сталъ смотръть на безоблачное, дышавшее зноемъ небо. Мы съ нимъ лежали на песчаной косъ верстахъ въ 3-хъ отъ Одессы, откуда ушли, не найдя работы, и теперь, голодные, обсуждали вопросъ, куда идти. Емельянъ протянулся на пескъ головой въ степь и ногами къ морю, и волны, набъгая на берегъ и мягко шумя, мыли его голыя и грязныя ноги. Жмурясь отъ солнца, онъ то потягивался какъ котъ, то сдвигался ниже къ морю, и тогда волна окачивала его чуть не до плечъ. Это ему нравилось, настраивая его на лъниво-меланхолическій ладъ.

Я взглянуль въ сторону гавани, гдъ возвышался силошной лъсъ мачть, окутанныхъ клубами тяжелаго черносизаго дыма, и откуда илыль надъ моремъ нестройный, глухой шумъ якорныхъ цъпей, свисть локо-

мотивовъ, подававшихъ грузъ, и оживленные голоса рабочихъ, грузившихъ суда. Я не усмотрълъ тамъ ничего, чтобы возродило нашу угасшую надежду на заработокъ, и, вставая на ноги, сказалъ Емельяну:

- Ну, что жъ, идемъ на соль!
- Такъ... иди!... А ты сладишь?—вопросительно прогянулъ онъ, не глядя на меня.
 - Тамъ увидимъ.
- Такъ, значитъ, идемъ?—не шевеля ни однимъ членомъ, повторилъ Емельянъ.
 - Ну, конечно!
- Ага! Что жъ, это-дъло... пойдемъ! А эта проклятая Одесса—пусть ее черти проглотятъ!— останется туть, гдъ она и есть. Портовый городъ! Чтобъ те провалиться сквозь землю!
- Ладно, вставай и пойдемъ; руганью не поможешь.
- Куда пойдемъ? Это на соль-то?... Такъ. Только воть видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будеть, хоть мы и пойдемъ.
 - Да въдь ты же говорилъ, что нужно туда идти.
- Это върно, я говорилъ. Что я говорилъ, такъ говорилъ; ужъ я отъ своихъ словъ не откажусь. А только не будетъ толку, это тоже върно.
 - Да почему?
- Почему? А ты думаешь, что тамъ насъ дожидаются, дескать, пожалуйте, господа Емельянъ да Максимъ, сдълайте милость, ломайте ваши кости, получайте наши гроши!... Ну нътъ, такъ-то не бываеть! Дъло стоить вотъ какъ: теперь ты и я—полные хозяева нашихъ шкуръ...
 - Ну ладно, будетъ! Пойдемъ!
- Погоди! Должны мы пойти къ господину завъдывающему этою самою солью и сказать ему со всъмъ нашимъ почтеніемъ: милостивый господинъ, многоуважаемый грабитель и кровопійца, вотъ мы пришли предложить вашему живоглотію оныя наши шкуры, не благо-

угодно ли вамъ будеть содрать ихъ за 60 копеекъ въ суточки! И тогда послъдуеть...

- Ну вотъ что, ты вставай и пойдемъ. До вечера придемъ къ рыбацкимъ заводамъ, поможемъ выбрать неводъ—накормятъ ужиномъ, можетъ быть.
- Ужиномъ? Это справедливо. Они накормятъ; рыбачки народъ хорошій. Пойдемъ, пойдемъ... Но ужъ толку, братецъ ты мой, мы съ тобой не отыщемъ, потому—незадача намъ съ тобой всю недълю, да и все тутъ.

Онъ всталь весь мокрый, потянулся и засунуль руки въ карманы штановъ, сшитыхъ имъ изъ двухъ мучныхъ мъшковъ, пошарилъ тамъ и юмористически оглядълъ пустыя руки, вынувъ ихъ и поднеся къ лицу.

— Ничего!.. Четвертый день ищу и все—ничего! Дъла, братецъ ты мой!

Мы пошли берегомъ, изръдка перекидываясь другъ съ другомъ замъчаніями. Ноги вязли въ мокромъ пескъ, перемъшанномъ съ раковинами, мелодично шуршавшими отъ мягкихъ ударовъ набъгавшихъ волнъ. Изръдка попадались выброшенныя волной студенистыя медузы, рыбки, куски дерева странной формы, намокшіе и черные... Съ моря набъгалъ славный свъжій вътерокъ, опахивалъ насъ прохладой и летълъ въ степь, вздымая маленькіе вихри песчаной пыли.

Емельянъ, всегда веселый, видимо унываль, и я, замъчая это, сталъ пытаться развлечь его.

- **Ну-ка**, Емеля, разскажи что-нибудь, что ли, изъ твоей жизни!
- Разсказаль бы я тебь, брать, да говорилка слаба стала, потому—брюхо пустуеть. Брюхо въ человъкъ главное дъло, и какого хочешь урода найди а безъ брюха не найдешь, дудки! А какъ брюхо покойно, значить, и душа жива; всякое дъяніе человъческое отъ брюха происходить... ну, да ты это и самъ знаешь.

Онъ помолчалъ.

— Эхъ, брать, коли бы теперь тысячу рублей море

мнъ швырнуло—бацъ! Сейчасъ открылъ бы кабакъ; тебя въ приказчики, самъ устроилъ бы подъ стойкой постель и прямо изъ боченка въ ротъ себъ трубку провелъ. Чуть захотълось испить отъ источника веселія и радости, сейчасъ я тебъ команду: Максимъ, отверни кранъ!—и... бульбуль-буль... прямо въ горло! Глотай, Емеля! Хо-орошее дъло, бъсъ меня удави! А мужика бы этого, черноземнаго барина—ухъ ты!... грабъ.... дери шкуру!... выворачивай наизнанку. Придетъ опохмеляться— "Емельянъ Павлычъ! дай въ долгъ стаканчикъ!"—А?.. Что?.. Въ долгъ?! Не дамъ въ долгъ!— "Емельянъ Павлычъ, будь милосердъ!"—Изволь, буду: вези телъгу, шкаликъ дамъ. Ха-ха-ха! Я бы его, чорта тугопузаго, пронзилъ!

- Ну, что ужъ ты такъ жестоко! Смотри-ка—вонъ онъ голодаетъ, мужикъ-то.
- Какъ-съ? Голодаетъ?.. Хорошо-съ! Правильно-съ! А я не голодаю? Я, братецъ ты мой, со дня моего рожденія голодаю, а этого въ законъ не писано. Нда-съ! Онъ голодаетъ... почему? Неурожай? Сомнительно. У него сначала въ башкъ неурожай, а потомъ уже на полъ, вотъ что! Почему въ другихъ прочихъ имперіяхъ неурожая нътъ?! Потому, что тамъ у людей головы не затъмъ придъланы, чтобъ можно было въ затылкъ скрести; тамъ думаютъ,—вотъ что-съ! Тамъ, братъ ты мой, дождъ можно отложить до завтра, коли онъ сегодня не нуженъ, и солнце можно на задній планъ отодвинуть, коли оно слишкомъ усердствуетъ. А у насъ какія свои мъры есть? Никакихъ мъръ, братецъ ты мой... Нътъ, это что! Это все шутки. А вотъ кабы дъйствительно тысячу рублей и кабакъ, это бы дъло серьезное...

Онъ замолчалъ и по привычкъ полъзъ за кисетомъ, вынулъ его, выворотилъ наизнанку, посмотрълъ и, зло плюнувъ, бросилъ въ море.

Волна подхватила грязный мѣшечекъ, понесла-было его отъ берега, но, разсмотрѣвъ этотъ даръ, негодующе выбросила снова на берегъ.

— Не берешь? Врешь, возьмешь!—и, схвативъ мокрый кисеть, Емельянъ сунулъ въ него камень и, размахнувшись, бросилъ далеко въ море.

Я засмѣялся.

— Ну, что ты скалишь зубы-то?... Люди тоже! Читаеть книжки, съ собой ихъ носить даже, а понимать человъка не умъеть! Кикимора четырехглазая!

Это относилось ко мнѣ, и потому, что Емельянъ назваль меня четырехглазой кикиморой, я заключиль, что степень его раздраженія противъ меня очень сильна: онъ только въ моменты острой злобы и ненависти ко всему существующему позволяль себъ смѣяться надъ моими очками; вообще же это невольное украшеніе придавало мнѣ въ его глазахъ вѣсу и значенія настолько, что въ первые дни знакомства онъ не могъ обращаться ко мнѣ иначе какъ на "вн" и тономъ, полнымъ почтенія, несмотря на то, что я въ парѣ съ нимъ грузилъ уголь на какой-то румынскій пароходъ и весь такъ же, какъ и онъ, былъ оборванъ, исцарапанъ и черенъ, какъ сатана.

Я извинился передъ нимъ и, желая его успокоить до нѣкоторой степени, началъ разсказывать о заграничныхъ имперіяхъ, пытаясь доказать ему, что его свѣдѣнія объ управленіи облаками и солнцемъ относятся къ области миеовъ.

- Ишь ты!.. Воть какъ!.. Ну!.. Такъ, такъ...—вставляль онъ изръдка; но я чувствоваль, что интересъ его къ заграничнымъ имперіямъ и ходу жизни въ нихъ противъ обыкновенія не великъ и онъ почти не слушаеть меня, упрямо глядя вдаль передъ собою.
- Все это такъ, брать милый, —перебиль онъ меня, неопредвленно махнувъ рукою. А вотъ что я тебя спрошу: ежели бы намъ навстрвчу теперь попался человвкъ съ деньгами и большими деньгами, —подчеркнулъ онъ, мелькомъ заглянувъ сбоку подъ мои очки, такъ ты какъ бы, ради пріобрвтенія шкурв твоей всякаго аттрибуту... укокошилъ бы его?

Я вадрогнулъ.

- Нътъ, конечно,—отвъчалъ я.—Никто не имъетъ права покупать своего счастья цъною жизни другого человъка.
- Угу! Да... Это въ книжкахъ сказано дъльно, но только для ради совъсти, а на самомъ-то дълъ тотъ самый баринъ, что первый такія слова придумалъ, кабы ему, значить, туго пришлось,—навърняка бы при удобномъ случав, для сохранности своей, кого-нибудь обездушилъ. Права! Вотъ они, права!—у моего носа красовался внушительный жилистый кулакъ Емельяна.—И всякъ человъкъ только разнымъ способомъ всегда этимъ правомъ и руководствуется. Права тоже!...

Емельянъ нахмурился, спрятавъ глаза глубоко подъ брови, длинныя и выцвътшія.

Я молчалъ, зная по опыту, что возражать ему, когда онъ золъ, безполезно.

Онъ швырнулъ въ море попавшійся подъ ногу кусокъ дерева и, вздохнувъ, проговорилъ:

— Покурить бы теперь...

Взглянувъ направо въ степь, я увидълъ двухъ чабановъ, лежавшихъ на землъ и смотръвшихъ на насъ.

— Здорово, панове!—окликнуль ихъ Емельянъ,—а нъть ли у васъ табаку?

Одинъ изъ чабановъ повернулъ голову къ другому, выплюнулъ изо рта изжеванную имъ былинку и лъниво проговорилъ:

— Табаку просять, э, Михаль?

Михаилъ взглянулъ на небо, очевидно испрашивая у негоразръщенія заговорить съ нами, и обернулся къ намъ.

- Здравствуйте!-сказаль онъ,-гдв жъ вы идете?
- Къ Очакову на соль.
- Эге! Что же, туда васъ приглашали?

Мы молчали, располагаясь около нихъ на землъ.

— A ну, Никита, подбери кишеню, чтобъ ее галки не склевали. Никита хитро улыбнулся въ усъ и подобралъ кишеню. Емельянъ скрипълъ зубами.

- Такъ вамъ табаку надо?
- Давно не курили,—сказаль я, смущенный пріемомъ и не ръшаясь сказать прямо.
 - Что жъ такъ? А вы бы покурили.
- Гейты, чортовъ хохолъ! Цыцъ! Давай, коли хочешь дать, а не смъйся! Выродокъ! Аль потерялъ душуто, шляясь по степи? Двину вотъ по башкъ, и не пикнешь!—гаркнулъ Емельянъ, вращая бълками глазъ.

Чабаны дрогнули и вскочили, взявшись за свои длинныя палки и ставъ плотно другъ къ другу.

— Эге, братики! воть какъ вы просите!... а ну, что жъ, идите!...

Чортовы хохлы хотъли драться, въ чемъ у меня не было ни малъйшаго сомнънія. Емельянъ, судя по его сжатымъ кулакамъ и горъвшимъ дикимъ огнемъ глазамъ, тоже былъ непрочь отъ драки. Я не имълъ ни силъ, ни охоты участвовать въ баталіи и попытался примирить стороны:

— Стойте, братцы! Товарищъ погорячился—не бъда въды! А вы вотъ что—дайте, коли не жаль, табаку, и мы пойдемъ себъ своей дорогой.

Михаилъ взглянулъ на Никиту, Никита—на Михаила и оба усмъхнулись.

— Такъ бы сразу и сказать вамъ!

Затьмъ Михаиль пользъ въ карманъ свиты, выволокъ оттуда объемистый кисеть и протянулъ мнъ:

— А ну, забери табаку!

Никита сунуль руку въ кишеню и затъмъ протянулъ ее мнъ съ большимъ хлъбомъ и кускомъ сала, щедро посыпаннымъ солью. Я взялъ. Михаилъ усмъхнулся и подсыпалъ мнъ еще табаку. Никита буркнулъ: "прощайте!" Я поблагодарилъ.

Емельянъ угрюмо опустился на землю и довольно громко прошипъть: "чортовы свиньи!"

Хохды пошли въ глубь степи тяжелымъ развалистымъ шагомъ, поминутно оглядываясь на насъ. Мы съли на землю и, не обращая болъе на нихъ вниманія, стали ъсть вкусный полубълый хлъбъ съ саломъ. Емельянъ громко чавкалъ, сопълъ и почему-то старательно цабъгалъ моихъ взглядовъ.

Вечеръло. Вдали надъ моремъ родился мракъ и плылъ надъ нимъ, покрывая легкимъ голубоватымъ флёромъ мелкую зыбь. Въ той же дали, казалось, со дна моря, поднялась гряда желто-лиловыхъ облаковъ, окаймленныхъ розовымъ золотомъ, и, еще болъе сгущая мракъ, плыла на степь. А въ степи, тамъ, далеко-далеко на краю ея, раскинулся громадный пурпуровый въеръ изъ лучей заката и красилъ землю и небо такъ мягко и нъжно. Волны все бились о берегъ и море—тутъ розоватое, тамъ темно-синее—было дивно красиво и мощно.

— Теперь покуримъ! Чортъ васъ, хохловъ, растаскай!—и, очевидно, покончивъ съ хохлами, Емельянъ свободно вздохнулъ.—Мы дальше пойдемъ или тутъ заночуемъ?

Мив было лвнь идти дальше.

- Заночуемъ! ръшилъ я.
- Ну и заночуемъ! и онъ растянулся на землъ, разглядывая небо.

Воцарилось молчаніе. Емельянъ курилъ и поплевываль; я смотрълъ кругомъ и молча наслаждался дивной картиной вечера. По степи звучно плылъ монотонный плескъ волнъ о берегъ.

- А клюнуть денежнаго человъка по башкъ что ни говори—пріятно; особенно ежели умъючи дъло обставить,—неожиданно проговорилъ Емельянъ.
 - Будеть тебъ болтать, раздраженно замътиль я.
- Болтать?! Чего туть болтать! Это дёло будеть сдёлано, вёрь моей совести! 47 лёть мнё, и лёть двадцать я надъ этой операціей голову ломаю. Какая моя жизнь? Собачья жизнь. Нёть ни конуры, ни куска,—

хуже собачьей! Человъкъ я развъ? Нъть, брать, не человъкъ, а хуже червя и звъря! Кто можетъ меня понимать? Никто не можеть! А ежели я знаю, что люди могутъ хорошо жить, то почему же мнъ не жить? Э? Чортъ васъ возьми, дьяволы!

Онъ вдругъ повернулся ко мнѣ лицомъ и быстро проговорилъ:

— Знаешь, однажды я чуть-чуть было не того... да не удалось малость... будь я, анаеема, проклять, дуракъ быль, жалъль. Хочешь, разскажу?

Я торопливо изъявиль свое согласіе, и Емельянъ, закуривъ, началъ:

"Было это, братецъ ты мой, въ Полтавъ... лътъ восемь тому назадъ. Жплъ я въ приказчикахъ у одного купца, лъсомъ онъ торговалъ. Жилъ съ годъ ничего себъ гладко; потомъ вдругъ запилъ, пропилъ рублей шестьдесять хозяйскихъ. Судили меня за это, законопатили въ арестантскія роты на три мъсяца и прочее такое-по положению. Вышель я, отсидывь срокь,куда теперь? Въ городъ знають; въ другой перебраться не съ чъмъ и не въ чемъ. Пошелъ къ одному знакомому темному человъчку; кабакъ онъ держалъ и воровскія діла завершаль, укрывая разныхь молодчиковъ и ихъ дълишки. Малый — хорошей души, честнъющій на диво и съ умной головой. Книжникъ быль большой, многое множество читаль и имъль очень большое понятіе о жизни. Такъ я, значить, къ нему: а ну, моль, Павель Петровъ, вызволи!-- Ну что жь, говорить, можно! Человъкъ человъку, коли они одной масти, помогать долженъ. Живи, пей, вшь, присматривайся. Умная башка, братецъ ты мой, этотъ Павелъ Петровъ! Я къ нему имълъ большое уважение и онъ меня тоже очень любилъ. Бывало, днемъ сидить онъ за стойкой и читаеть книгу о французских разбойникахъ... у него всв книги были о разбойникахъ; слушаешь, слушаешь... дивные ребята были, дивныя дёла дёла-

Digitized by GOODE

ли—и непремънно проваливались съ трескомъ. Ужъ, кажется, голова и руки—ахъ ты мнъ! а въ концъ книги вдругъ—подъ судъ—цапъ! и баста! все прахомъ пошло.

"Сижу я у этого Павла Петрова мъсяцъ и другой, слушаю его чтеніе и разные разговоры. И смотрю—ходять темные молодчики, носять свътлыя вещички: часики, браслеты и прочее такое, и вижу—толку на грошъ нъть во всъхъ ихъ операціяхъ. Слямзить вещь—Павелъ Петровъ дасть за нее половину цъны,—онъ, брать, честно платилъ, — сейчасъ гей! давай!... Пиръ, шикъ, крикъ и—пичего не осталось! Плевое дъло, братецъ ты мой! То одинъ попадеть подъ судъ, то другой угодить туда же...

"Изъ-за какихъ такихъ важныхъ причинъ? По подозрвнію въ кражв со взломомъ, при чемъ украдено на сто рублей!—Сто рублей! Развв человъческая жизнь сто рублей стоить?—Дубье!... Воть я и говорю Павлу Петрову:

— Все это, Павелъ Петровъ, глупо и не заслуживаеть приложенія рукъ. -- "Гмъ! какъ тебъ сказать?"-говорить. "Съ одной, -- говорить, -- стороны -- курочка по зернышку клюеть, а съ другой-дъйствительно во всъхъ дълахъ уваженія къ себъ самому нъть; воть въ чемъ суть! Развъ, говорить, человъкъ, понимающій себъ цъну, позволить свою руку пачкать кражею двугривеннаго со взломомъ?! Ни въ какомъ разъ! Теперь, говорить, хоть бы я, человъкъ, прикосновенный моимъ умомъ къ образованію Европы, и продамъ себя за сто рублей?" И начинаеть онъ мив доказывать на примврахъ, какъ долженъ поступать понимающій себя человъкъ. Долго мы говорили въ такомъ родъ. Потомъ я говорю ему:--Давно, молъ, у меня, Павелъ Петровъ, есть въ мысляхъ попытать счастья на этой дорогъ, и вотъ, молъ, вы человъкъ опытный въ жизни, помогите миъ совътомъ, какъ, значитъ, и что.--"Гмъ!--говоритъ--это можно! А не оборудовать ли тебъ какое ни то дъльце на свой рискъ и по своему разсчету, безъ помочей? Такъ, напримъръ... Оботімовъ-то, - говорить, - съ лъсного двора

черезъ Ворсклу въ единственномъ числъ на бъговыхъ возвращается; а какъ тебъ извъстно, при немъ всегда есть деньжонки, да и на лъсномъ отъ приказчика онъ получаетъ выручку. Выручка недъльная; въ день торгують они на три сотни и больше. Что ты можешь на это сказать?"—Я задумался. Обоимовъ—это тотъ самый купецъ, у котораго я служилъ въ приказчикахъ. Дъло—дважды хорошее: и отместка ему за поступокъ со мной, и смачный кусокъ урвать можно.—Нужно обмозговать, — говорю.—"Не безъ этого, отвъчаетъ Павелъ Петровъ."

Онъ замолчаль и медленно сталъ вертъть папироску. Закатъ почти угась, только маленькая розовая лента, съ каждой секундой все болъе блъднъя, чуть окрашивала край пухового облака, точно въ какой-то истомъ неподвижно застывшаго въ потемнъвшемъ небъ. Въ степи было такъ тихо и грустно, и непрерывно лившійся съ моря ласковый плескъ волнъ какъ-то еще больше оттънялъ своимъ монотоннымъ и мягкимъ звукомъ эту грусть и тишь. Со всъхъ сторонъ вставали странныя длинныя сърыя тъни и беззвучно плыли къ намъ по гладкой, утомленной дневнымъ зноемъ и кръпко спавшей степи. А надъ моремъ одна за другой ярко вспыхивали звъздочки, такія чистенькія, новенькія, точно вчера только сдъланныя для украшенія этого глубокаго бархатнаго южнаго неба.

"Н-да, братокъ, покумекалъ я надъ этимъ дѣломъ и въ ту же ночь въ кусты около Ворсклы залегъ, имѣя съ собой шкворень желѣзный фунтовъ въ двѣнадцать вѣсомъ. Дѣло-то было въ октябрѣ, помню—въ концѣ. Ночь—самая подходящая: темно, какъ въ душѣ человѣческой... Мѣсто — лучше желать не надо. Сейчасъ тутъ мостъ и на самомъ съѣздѣ съ него доски выбиты,—значитъ, поѣдетъ шагомъ. Лежу, жду. Злобы, братъ ты мой, въ ту пору у меня хватило бы хоть на десять купцовъ. И такъ я себѣ это дѣло просто представилъ, что проще и нельзя: стукъ!—и баста!..."

Емельянъ всталъ но ноги.

"Н-да!... Такъ вотъ и лежу, знаешь, и все у меня готово. Разъ!—и получи денежки. Такъ-то.—Бацъ! значить, и все тутъ!

"Ты, можеть, думаешь, что человъкь въ себъ воленъ? Дудки, братокъ! Разскажи-ка мнъ, что ты завтра сдълаешь? Ерунда! никакъ ты не можешь сказать, направо или налъво пойдешь завтра. Н-да!... Лежалъ я и ждалъ одного, а вышло совсъмъ не то. Совсъмъ несообразное дъло вышло!

Вижу: отъ города идеть кто-то... пьяный какъ будто, шатается... въ рукахъ палка. Бормочетъ что-то; нескладно бормочеть и плачеть... слышу-всхлипываеть... Еще ближе подошелъ, смотрю-баба! Тъфу тебъ, треклятая! намылю шею, думаю, подойди-ка. А она идеть къ мосту прямо и вдругъ какъ крикнетъ: "милый, за что?!" Ну, брать, и крикнула!—Я такъ и вздрогнулъ. Что за притча? думаю. А она претъ прямо на меня. Лежу, прижался къ землъ, дрожу весь... куда моя злоба девалась! Воть-воть налезеть, ногой наступить сейчась! А она опять какъ завопить: "за что?! за что?!..." и бухъ наземь, какъ стояда, почти рядомъ со мной. И заревъла она туть, братецъ ты мой, такъ, что я и сказать тебъ не могу-сердце рвалось, слушая. Лежу, однако, ни гугу. А она реветь. Тоска меня взяла. Бъгу, думаю себъ, прочь. А тутъ мъсяцъ вышелъ изъ тучи, да таково ясно и свътло, просто страхъ. Приподнялся я на локоть и глянуль на нее... И туть, брать, все и пошло прахомъ, всв мои планы и полетвли къ чертямъ! Смотрю-такъ сердце и ёкнуло: ма-аленькая дъвчоночка, дите совсъмъ... бъленькая, кудряшки на щечкахъ, глазенки большіе такіе-смотрять такъ... и плечики дрожать-дрожать... а изъ глазъ-то слезы крупнущія одна за другой такъ и бъгуть, и бъгуть.

"Жалость меня, брать ты мой, забрала. Воть я, значить, и давай кашлять: кхе! кхе! кхе!—Какь она крик-

петь: "Кто это? Кто? Кто туть?!"... Испугалась, значить... Ну, я сейчась тово... на ноги всталь и говорю: — Это, моль, я.—"Кто вы?"—говорить. А глаза-то у самой вокакіе сдёлались и вся такъ какъ студень дрожить. "Кто вы?"—говорить.

Онъ засмѣялся.

"Кто я-то, молъ? Вы прежде всего не бойтесь меня, барышня,—я вамъ худа не сдълаю. Я—такъ себъ человъкъ, изъ босой команды, молъ я. Да. Совраль, значить, ей; не говорить же въдь, чудакъ ты, что я, молъ, купца убить залегъ туты! А она миъ въ отвъть: "Все, говорить, миъ равно, я топиться пришла сюда". И такъ это она сказала, что меня ажъ ознобъ взялъ — серьезно ужъ очень, братецъ ты мой. Ну, что тутъ дълать?"

Емельянъ сокрушенно развелъ руками и смотрълъ на меня, широко и добродушно улыбаясь.

"И вдругъ туть, братецъ ты мой, заговориль я. О чемъ заговориль—не знаю; но такъ заговориль, что ажъ самъ себя заслушался; больше все насчеть того, что она молодая и такая красавица. А что она красавица, такъ это ужъ такъ, то-есть—раскрасавица. Эхъ ты, братъ ты мой! Ну, ужъ! А звали Лизой. Такъ вотъ я, значить, и говорю; а что — кто его знаеть — что? Сердце говорило. Да! А она все смотрить, серьезно такъ и пристально, и вдругъ какъ улыбнется!..."—заоралъ Емельянъ на всю степь со слезами въ голосъ и на глазахъ и потрясая въ воздухъ сжатыми кулаками.

"Какъ улыбнулась, такъ я и растаялъ; хлопъ передъ ней на колъни: барышня, говорю, барышня!... и все тутъ! А она, братецъ ты мой, взяла меня за голову руками, глядитъ мнъ въ лицо и улыбается, какъ на картинъ; шевелитъ губами—сказатъ хочетъ что то; а потомъ осилилась и говоритъ: "Милый вы мой, вы тоже несчастный, какъ и я! Да? Скажите, хорошій мой!" — Н-да, другъ ты мой, вотъ оно что! Да не все еще, а и поцъловала она меня тутъ въ лобъ, брать... вотъ какъ! Чуешь?!

Ей Богу! Эхъ ты, голубь! Знаешь, лучше этого у меня въ жизни-то за всъ 47 лътъ ничего не было! А?! То-то! А зачъмъ я пошелъ? Эхъ ты, жизнь!..."

Онъ замолчалъ, кинувъ голову на руки. Подавленний странностью разсказа, я молчалъ и смотрълъ на море, чудно колыхавшееся и похожее на чью-то громадную грудь, ровно и глубоко дышавшую въ кръпкомъ снъ.

"Ну, а потомъ она встаетъ и говоритъ мнъ: "Проводите меня домой". Пошли мы. Я иду-ногь подъ собой не чую, а она мив все разсказываетъ, какъ и что. Понимаешь ты, она одна дочь была у родителей, купцы же они были,--ну, и того, значить, балованная; а потомъ туть студенть прівхаль и сталь, значить, ее тамъ учить, и влюбились они другь въ друга. Онъ потомъ увхаль, а она стала его ждать-какъ, дескать, кончить гамъ свою науку, чтобы прівхать ввичаться; уговорь у нихъ такой былъ. А онъ не прівхалъ, а прислаль ей письмо: дескать, ты мив не пара. Двив, конечно, обидно. Воть она было и того, значить. Ну, разсказываеть она это мив, и дошли мы такимъ манеромъ съ ней до дома, гдв она жила. "Ну, говорить, голубчикъ, прощайте! Завтра я, говорить, увду отсюда. Вамъ денегь, можеть быть, надо? Скажите, не ствсняйтесь". Нъть, говорю, барышня, не надо, спасибо вамъ! "Ну, добрый вы мой, не ствсняйтесь, скажите, возьмите! "-пристаеть она. А я такой оборванный быль, однако, говорю: не надо, барышня. Знаешь, брать, какъ-то не до того было, не до денегъ. Простились мы съ ней. Она такъ ласково говорить: "Никогда-де я не забуду тебя; совствить, дескать, ты чужой человъкъ, а такой миъ... " Ну, это наплевать, -- оборваль Емельянь, снова принимаясь закуривать.

"Ушла она. Съть я на скамью у вороть. Грустно мнъ стало. Ночной сторожь идеть. Ты, говорить, чего туть торчишь, али слямзить хочешь чего ни то?—

Крыпко эти самыя слова взяли меня за сердце! Я его въ морду—рразъ! Крикъ, свисть... въ часть! Ну, что жъ, въ часть такъ въ часть; вали хоть во всю цълую—мит все равно; я какъ двинулъ его снова! Сълъ на лавочку и бъжать не хотълъ. Ночевалъ; поутру отпустили. Иду къ Павлу Петрову. "Гдъ погуливалъ?"—спрашиваетъ, усмъхаясь. Поглядълъ я на него — человъкъ какъ и вчера; но какъ будто что-то новое вижу. Ну, конечно, разсказалъ ему все, какъ и что. Слушалъ онъ серьезно таково и потомъ сказалъ миъ: "Вы, говоритъ, Емельянъ Никитичъ—дуракъ и болванъ; и не угодно ли, говоритъ, вамъ убраться вонъ!"—Ну, что жъ тутъ?! Али онъ не правъ? Я ушелъ и все тутъ.—Такъ то вотъ было дъльце, братокъ!"

Онъ замолчалъ и растянулся на землъ, закинувъ руки подъ голову и глядя на небо—бархатное и звъздное. И кругомъ все молчало. Шумъ прибоя сталъ еще мягче и тише и долеталъ до насъ слабымъ соннымъ вздохомъ.



ДЪДЪ АРХИПЪ И ЛЕНЬКА.

(1894.)

Ожидая паромъ, оба они легли въ тънь отъ берегового обрыва и долго молча смотръли на быстрыя и мутныя волны Кубани, плескавшіяся у ихъ ногъ. Ленька задремалъ, а дъдъ Архипъ, чувствуя тупую, давящую боль въ груди, не могъ уснуть. На темно-коричневомъ фонъ земли ихъ отрепанныя и скорченныя фигуры едва выдълялись двумя жалкими комками, одинъ—побольше, другой — поменьше; и ихъ утомленныя усталостью и зноемъ, загорълыя и пыльныя физіономіи были совсъмъ подъ цвътъ бурымъ лохмотьямъ, покрывавшимъ ихъ тъла.

Костлявая и длинная фигура дѣдушки Архипа вытянулась поперекъ узкой полоски песку, что желтой лентой тянулся вдоль берега, между обрывомъ и рѣкой, а задремавшій Ленька, маленькій, хрупкій, въ своихъ лохмотьяхъ казавшійся корявымъ сучкомъ, отломленнымъ отъ дѣда—стараго изсохшаго дерева, принесепнаго и выброшеннаго сюда на песокъ холодными и сильными волнами рѣки,--сбоку его свернулся калачикомъ.

Дъдъ, приподнявъ на локтъ голову, смотрълъ на противоположный берегъ, залитый солнцемъ и бъдно окаймленный ръдкими кустами ивняка, изъ котораго въ одномъ мъстъ высовывался черный бортъ парома. Тамъ было скучно и пусто. Сърая полоса дороги уходила отъ ръки въ глубь степи; она была какъ-то безпощадно пряма и суха и этимъ наводила па дъда уныніе.

Его тусклые и воспаленные глаза, съ красными, опухшими въками, безпокойно и жалобно моргали, а испещренное морщинами лицо замерло въ выраженіи томительной тоски и боли. Онъ то и дъло сдержанно кашляль и, безпокойно поглядывая на внука, прикрываль роть рукой. Кашель быль хрипль, удушливъ, заставляль дъла приподниматься съ земли и выжималь на его глазахъ крупныя капли слезъ.

Кромѣ его кашля, да тихаго шороха волнъ о песокъ, въ степи не было никакихъ звуковъ... Она лежала по обѣ стороны рѣки, громадная, бурая, сожженная солицемъ, и только тамъ, далеко на горизонтѣ, еле видное старческимъ глазамъ, пышно волновалось золотое море пшеницы и прямо въ него падало ослѣпительно яркое небо. На немъ вырисовывались три стройныя фигуры далекихъ тополей; казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытая имъ, колеблются, поднимаясь и опускаясь... или вдругъ все скрывалось за блестящей, серебряной пеленой степного марева...

Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда притекала изъ дали почти къ самому берегу ръки, и тогда сама она была какъ бы ръкой, вдругъ излившейся съ неба, такой же чистой и спокойной, какъ оно, и появившейся затъмъ, чтобы оживить измученную зноемъ степь. Но она пропадала.

Тогда дъдъ Архипъ, незнакомый съ этимъ явленіемъ, какъ великороссъ, раньше не бывавшій въ степи и вытиснутый въ нее голодомъ, — потиралъ свои глаза и тоскливо думалъ про-себя, что эта жара да степь отнимаютъ у него и зръніе, какъ отняли остатки силы въ ногахъ, уже не одолъвавшихъ, какъ прежде, на родинъ

по 30-ти версть въ день и теперь еле способныхъ пройти половину.

Сегодня ему было болье плохо и тошно, чыть всегда за послыднее время. Онъ чувствоваль, что скоро умреть, и хотя относился къ этому совершенно равнодушно и безъ думъ, какъ къ необходимой повинности, но ему бы хотылось умереть далеко, въ своей Орловской губерніи, и еще его сильно смущала мысль о внукъ... Куда дънется Ленька?...

Онъ ставилъ передъ собой этотъ вопросъ по нъскольку разъ въ день и всегда при этомъ въ немъ чтото сжималось, колодъло и становилось такъ тошно, скверно, что ему котълось сейчасъ же воротиться домой, въ Россію...

Но тогда вспоминался Крымъ, голыя степи, грубые и жесткіе чабаны, ихъ громадныя, злыя собаки, татары— озорники и жадные, и нъкоторое происшествіе, случившееся съ нимъ въ Тамани,—происшествіе, за которое ему и Ленькъ чуть-чуть не пришлось попасть въ торьму...

И потомъ — далеко идти въ Россію... все равно не дойдешь и умрешь же гдъ-нибудь въ дорогъ. Здъсь по Кубани подають милостыню щедро; народъ все зажиточный, хотя тяжелый и насмъщливый. Не любять нищихъ, потому что богаты...

Можно придумать для Леньки другое что-нибудь. Все равно, онъ сирота и здъсь, и дома въ Россіи...

И остановивъ на внукъ увлаженный слезой взглядъ, дъдъ осторожно погладилъ своей шершавой рукой его голову.

Тоть зашевелился и подняль на него голубые глаза, больше, глубокіе, не по-дітски серьезно-вдумчивые и казавшіеся еще больше на его худомъ, изрытомъ оспой личикъ, съ тонкими, безкровными губами, потрескавшимися отъ жары и степного вітра, и съ острымъ носомъ.

- Идеть? спросиль онъ и, приложивъ щиткомъ руку къ глазамъ, посмотръль на ръку, холодно отражавшую лучи солнца.
- Нътъ еще, не идетъ. Стоитъ. Чего ему здъсь? Не зоветъ никто, ну и стоитъ онъ себъ... медленно заговорилъ Архипъ, продолжая гладить внука по головъ.— Дремалъ ты?

Ленька неопредъленно покрутилъ головой и вытянулся на пескъ. Они помолчали.

- Кабы я плавать умъль, купаться бы сталь,—пристально глядя на ръку, заявиль Ленька. Голось у него быль странно глухъ и бъденъ выраженіемъ.
- Быстра больно ръка-то! Нъть у насъ такихъ ръкъ. Чего треплетъ? Бъжить, точно опоздать боится...

И Ленька недовольно отвернулся оть воды.

- А вотъ что,—заговорилъ дѣдъ, подумавъ,—давай распояшемся, пояски-то свяжемъ, я тебя за ногу прикручу, ты и лѣзь, купайся...
- Ну-у!...—резонно протянулъ Ленька.—Чего выдумалъ! Али ты думаешь, не стащить она тебя? И утонемъ оба.
- У бережка... А въдь върно! стащить. Ишь, какъ преть!... Чай, весной-то разольется—ухъ ты!... И покосу туть бъда! Безъ краю покосу!

Ленькъ не хотълось говорить и онъ оставилъ слова дъда безъ отвъта, взявъ въ руки комъ сухой глины и разминая его пальцами въ пыль съ серьезнымъ и сосредоточеннымъ выраженіемъ на лицъ.

Дъдъ смотрълъ на него и о чемъ-то думалъ, щуря глаза.

- Вѣдь воть...—тихо и монотонно заговориль Ленька, стряхивая съ рукъ пыль.—Земля эта теперь... взялъ я ее въ руки, растеръ и стала пыль... крохотные кусочки одни только, чуть глазомъ видно...
- Ну, такъ что жъ?—спросилъ Архипъ и закашлялся, посматривая сквозь выступившія на глазахъ слезы

въ большіе, сухо-блестящіе глаза внука и на его худое и острое лицо.—Ты къ чему это?—добавилъ онъ, когда прокашлялся.

— Такъ...—качнулъ головой Ленька. — Къ тому, что, моль, вся-то она эвона какая!...—онъ махнулъ рукой за ръку.—И всего на ней понастроено... Сколько мы съ тобой городовъ прошли! Страсть! А людей вездъ сколько!

И, не умъя уловить свою мысль, Ленька снова молча задумался, посматривая вокругь себя.

Дъдъ тоже помолчалъ немного и потомъ, плотно подвинувнись къ внуку, ласково заговорилъ:

— Умница ты моя! Правильно сказаль ты—пыль все... и города, и люди, и мы съ тобой—пыль одна. Эхъ, ты, Ленька, Ленька!... кабы грамоту тебъ!... далеко бы ты пошель. Точно ты взрослый человъкъ, обо всемъ разсуждаешь... Зябликъ ты, птичка Божія!... И что съ тобой только будеть?...

Дъдъ прижалъ голову внука къ себъ и поцъловалъ ее.

- Погоди!...—высвобождая свои льняные волосы изъ корявыхъ, дрожащихъ пальцевъ дѣда, немного оживляясь, крикнулъ Ленька.—Какъ ты говоришь? пыль? города и все?
- А такъ ужъ устроено Богомъ, голубь. Все—земля, а сама земля пыль. И все умираетъ на ней... Вотъ какъ! И долженъ потому человъкъ жить въ трудъ и смиреніи. Вотъ и я тоже умру скоро...—перескочилъ дъдъ и тоскливо добавилъ: куда ты тогда пойдешь безъ меня-то?

Ленька часто слышаль отъ дѣда этотъ вопросъ, и ему уже порядкомъ надоѣло разсуждать на тему о смерти, а потому онъ молча отвернулся въ сторону, сорвалъ былинку, положилъ ее въ ротъ и сталъ медленно жевать.

Но у дъда это было больное мъсто.

— Что жъ ты молчишь? Какъ, молъ, ты безъ меня-

го будешь?-тихо спросиль онъ, наклоняясь къ внуку и снова кашляя.

— Говорилъ ужъ...—разсѣянно и недовольно произнесъ Ленька, искоса взглядывая на дѣда.

Ему не нравились эти разговоры еще и потому, что зачастую они кончались ссорою. Дѣдъ подолгу распространялся по поводу близости своей смерти. Ленька сначала слушаль его сосредоточенно, пугался представлявшейся ему новизны положенія, плакаль, но постепенно утомлялся—и наступала реакція: онь не слушаль дѣда, отдаваясь своимъ мыслямъ, а дѣдъ, замѣчая это, сердился и начиналь говорить о томъ, что онъ, Ленька, глупъ, не любить дѣда, не цѣнить его заботь, и, наконець, доходилъ до того, что упрекаль Леньку въ желаніи скорѣйшаго наступленія его, дѣдовой, смерти.

— Что говориль? Глупенькій ты еще, не можешь ты понимать своей жизни. Сколько тебъ оть роду? Одиннадцатый годъ только. И хилый ты, негодный къ работв. Куда жъ ты пойдешь? Добрые люди, думаешь, помогуть? Кабы у тебя воть деньги были, такъ они бы помогли тебъ прожить ихъ-это такъ. А милостыню-то собирать не сладко и мнъ старику. Каждому поклонись, каждаго попроси. И ругають тебя, и колотять часомъ, и гонять... Рази, ты думаещь, человъкомъ считають нищаго-то? Никто! Десять лъть по міру хожу-знаю. Кусокъ-то хлъба въ тыщу рублей цънять. Подасть, да и думаеть, что ужъ ему сейчась же райскія двери отворять. Ты думаешь, подають зачёмъ больше? Чтобы совъсть свою успокоить; воть зачъмъ, другъ, а не изъ жалости! Ткнеть тебъ кусокъ, ну ему и не стыдно самому-то ъсть. Сытый человъкъ-звърь. И никогда онъ не жалфеть голоднаго, потому что не знаеть его. Враги другь другу-сытый да голодный, въки въчные они сучкомъ въ глазу другъ у друга будутъ. Потому и невозможно имъ жалъть и понимать другъ друга... И для сытаго нищій, какъ грязь.

Дъдушка воодушевился злобой и тоской. Отъ этого у него тряслись губы и старческіе тусклые глаза быстро шмыгали въ красныхъ рамкахъ ръсницъ и въкъ, а морщины на пергаменномъ лицъ выступили чаще и ръзче.

Лепька не любилъ его такимъ и немного боялся чего-то.

— Воть я тебя и спрашиваю, что ты станешь дѣлать съ міромъ? Ты—хилый ребеночекъ, а міръ-то—звѣрь. И проглотить онъ тебя сразу. А я не хочу этого... Люблю вѣдь я тебя, дитятко!... Одинъ ты у меня и я у тебя одинъ... Какъ же я буду умирать-то? Невозможно мнѣ умереть, а ты чтобъ остался... На кого?... Господи!... за что Ты не возлюбилъ раба Твоего?!... Жить мнѣ не въ мочь и умирать мнѣ нельзя, потому — дите... оберечь долженъ. Пестовалъ семь годовъ... на рукахъ моихъ... старыхъ... Господи, помоги мнѣ!...

Дъдушка сълъ и заплакалъ, уткнувъ голову въ кольни дрожащихъ ногъ. И плечи у него вздрагивали отърыданій, хриплыхъ и неровно вырывавшихся изъ больной груди.

Ръка торопливо катилась вдаль и звучно плескалась о берегь, точно желая заглушить этимъ плескомъ рыданія старика. Ярко улыбалось безоблачное небо, изливая изъ себя жгучій зной, и, улыбаясь, спокойно слушало мятежный шумъ мутныхъ волнъ...

- Будетъ, не плачь, дъдушка!—глядя въ сторону, почему-то суровымъ тономъ проговорилъ Ленька и, повернувъ къ дъду лицо, насупленное и мрачное, добавилъ:—говорили обо всемъ ужъ въдь. Не пропаду. Поступлю въ трактиръ куда-ни-то...
 - Забьютъ...-сквозь слезы простоналъ дъдъ.
- Можеть, и не забьють. А воть, какъ не забьють! съ нъкоторымъ задоромъ вскричалъ Ленька,—тогда что? Воть тогда и выйду на дорогу. Не больно-то я и дамся каждому!...

Но туть Ленька вдругь почему-то осъкся и, задум-

- А что въ монастырь уйду...
- Кабы въ монастырь! вздохнулъ дъдъ, оживляясь, и снова началъ корчиться въ припадкъ удушливаго каппя.

Надъ ихъ головами раздался крикъ и скрипъ колесъ...

— Паро-о-омъ!... Паро-о... гей! — сотрясала воздухъ чья-то могучая глотка.

Собесъдники вздрогнули и вскочили на ноги, подбирая котомки и палки.

Пронзительно скрипя, на песокъ въъхала двухколесная арба. Въ ней стоялъ казакъ и, закинувъ голову
въ мохнатой, надвинутой на одно ухо шапкъ, приготовлялся гикнуть, вбирая въ себя широко открытымъ
ртомъ воздухъ, отчего его широкая, выпяченная впередъ грудь выпячивалась еще болъе. Бълые зубы ярко
сверкали въ шелковой рамъ черной бороды, начинавшейся отъ глазъ, широко раскрытыхъ и отъ напряженія налитыхъ кровью. Изъ-подъ разстегнутой рубахи и
чохи, небрежно наброшенной на плечи, виднълось волосатое, загорълое на солнцъ тъло. И отъ всей его фигуры, прочной и большой, какъ и отъ лошади, мясистой, пъгой и тоже уродливо большой, отъ колесъ арбы,
высокихъ, стянутыхъ толстыми шинами,—разило сытостью, силой, здоровьемъ и сознаніемъ всего этого.

— Гей!... Гей!...

Дъдъ и внукъ стащили съ своихъ головъ шапки и низко поклонились.

- Здравствуйте!—гулко отрубиль прівхавшій и, посмотръвь на тоть берегь, гдъ изъ кустовь выползаль медленно и неуклюже черный паромь, сталь пристально оглядывать нищихъ.—Изъ Россіи?
- Изъ нея, милостивецъ!—съ поклономъ отвътилъ Архипъ.

- Голодно тамъ у васъ, а?

Онъ спрыгнулъ съ арбы на землю и сталъ что-то подтягивать въ упряжкъ.

- И тараканы съ голода мрутъ.
- Хо, хо! И тараканы мрутъ? Значитъ, ажъ крошекъ не осталось, все поъли? Ловко ъдите. А вотъ работаете, должно, погано. Потому какъ хорошо работать станешь, не будетъ голоду.
- Тутъ, кормилецъ, главная причина—земля. Упирается, не родитъ. Высосали землю-то мы.
- Земля?—тряхнулъ казакъ головой.—Земля всегда должна родить, на то она и дана человъку. Говори: не земля, а руки. Руки плохи. Эге! Отъ хорошихъ рукъ камень не отобъется, родитъ. Въ Черноморъъ бывалъ? Тамъ, дъдъ, и камни пашутъ!

Подъвхаль паромъ.

Двое здоровыхъ краснорожихъ казаковъ, флегматично упираясь толстыми ногами въ полъ парома, съ трескомъ ткнули его о берегъ, покачнулись, бросили изъ рукъ канатъ и, взглянувъ другъ на друга, стали отдуваться.

- Жарко?—оскалилъ зубы прівхавшій, вводя на паромъ свою лошадь и дотрогиваясь рукой до шапки.
- Эге! отвътилъ одинъ изъ паромщиковъ, глубоко засунувъ руки въ карманы шароваръ, и, подойдя къ арбъ, заглянулъ въ нее и повелъ носомъ, сильно втянувъ въ себя воздухъ.

Другой сълъ на полъ и, кряхтя, сталъ снимать сапогъ.

Дъдъ и Ленька вошли на паромъ и прислонились къ борту, посматривая на казаковъ.

- Ну, тдемъ!-скомандовалъ козяинъ арбы.
- А ты не везешь ничего съ собой попить?—спросиль у него тоть, что осматриваль арбу.

Снимавшій сапогь сняль его и, зачемь-то прищуривь глазь, смотрель въ голенище.

- Ничего. А что? развъ въ Кубани воды мало?
- Воды!... я не о водъ.
- А о горилкъ? Не везу горилки.
- Какъ же это ты не везешь?—задумался спрашивавшій, уставивъ глаза въ полъ парома.
 - Ну-ну, ъдемъ!

Казакъ сталъ надъвать сапогъ. Другой поплевалъ на руки и взялся за канатъ. Переъзжавшій сталь помогать ему, чтобъ паромъ дрогнулъ и тронулся.

- А ты, дъдъ, что же не поможешь?—обратился паромщикъ, возившійся съ сапогомъ, къ Архипу.
- Гдв мив, родной!—жалобнымъ тономъ и качая головой пропълъ тотъ.
- И не надо имъ помогать. Они и одни управятся! И, какъ бы желая убъдить дъда въ истинъ своихъ словъ, онъ грузно опустился на колъни и легъ на палубъ парома.

Его товарищъ лѣниво ругнулъ его и, не получивъ отвъта, громко затопалъ ногами, упираясь въ палубу.

— Видишь, Леня, какіе люди!—крупные, сытые. Эта сторона—рай крестьянину...—прошенталь Архинъ, наклоняясь къ Ленькъ, смотръвшему черезъ бортъ въ воду.

Отбиваемый теченіемь, съ глухимъ шумомъ плескавшимъ о его бока, паромъ вздрагивалъ и качался, медленно подвигаясь впередъ.

— Вонъ онъ какой боровъ! Говоритъ—"руки... плохо работаете", а самъ во снъ не видалъ такой работы!— шепталъ дъдъ.—За что однимъ Богъ даетъ много, другимъ—мало?...—и помолчавъ, какъ бы ожидая отвъта отъ Леньки, отвътилъ себъ самъ:—для испытанія души. Которая душа возропщетъ, та и погибнетъ безъ радости и покоя въ жизни...

Глядя на воду, Ленька чувствоваль, что у него сладко кружится голова и глаза, утомленные быстрымъ бъгомъ волнъ, дремотно слипаются. Глухой шопотъ дъла, скрипъ каната и сочный плескъ волнъ убаюкивали

его все болъе; онъ хотъль опуститься на палубу въ дремотной истомъ, и вдругъ что-то качнуло его такъ, что онъ упалъ.

Широко раскрывъ глаза, онъ посмотрълъ кругомъ. Надъ нимъ смъядись казаки, причаливая паромъ за обгорълый пень на берегу.

— Что, заснулъ? Хилый ты. Садись въ арбу, довезу до станицы. И ты, дъдъ, садись.

Благодаря казака мопотоннымъ, гнусавымъ голосомъ, дѣдъ, кряхтя, влѣзъ въ арбу. Ленька тоже прыгнулъ туда, и они поѣхали въ клубахъ мелкой черной пыли, заставлявшей дѣда то и дѣло задыхаться отъкашля.

Казакъ затянулъ пъсню. Пълъ онъ странными звуками, отрывая ноты въ срединъ и доканчивая ихъ свистомъ; порой речитативомъ начиналъ фразу и, оборвавъ ее, затягивалъ что-то высокимъ фальцетомъ. Казалось, онъ развиваетъ звуки съ клубка, какъ нитки, и, когда ему встръчается узелъ, обрываетъ ихъ.

Итель вполнт гармонировала съ безконечной степью, которая была такъ же монотонна и которую кое-гдт перертанвали полосы миражей, струившихся въ воздухт.

Колеса жалобно скрипъли, вилась пыль; дёдъ, тряся головой, не переставая кашлялъ, а Ленька думалъ о томъ, что воть сейчасъ пріёдуть бни въ станицу и пужно будеть гнусавымъ голосомъ пъть подъ окнами: Господи, Іисусе Христе... Снова станичные мальчики будуть задирать его, а бабы надоёдать разспросами о Россіи и о многомъ другомъ... Нехорошо въ эту пору смотръть и на дёда, который кашляеть чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говоритъ такимъ жалобнымъ голосомъ, то и дёло всхлипывая и разсказывая о томъ, чего нигдё и никогда не было... Говоритъ, напримъръ, что въ Россіи на улицахъ мретъ народъ, да такъ и валяется, и убрать некому, потому

Digitized by Google

что всв люди обалдъли отъ голода... Ничего этого они съ дъдомъ не видали нигдъ. А нужно все это для того, чтобъ больше подавали. Но куда ее, милостыню, здъсь дънешь? Дома—тамъ можно всегда продать по 40 конеекъ и даже по полтинъ за пудъ, а здъсь никто не покупаетъ. Потомъ приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать изъ котомокъ въ степи. И зачъмъ дъдъ балуется—ходитъ изъ одной станицы въ другую?... Хоть бы жилъ по недълъ въ станицъ; а то придетъ, обходитъ, насбираетъ и бъжитъ дальше, какъ воръ отъ погони... Однажды Ленька заговорилъ съ нимъ объ этомъ, и онъ отвътилъ, сердясь и тоскливо:

- Глупый ты, молчи, знай! Не можень ты понимать моихъ заботь о тебъ. И чего я хочу, не можень знать. А я, можеть, счастья тебъ ищу, оть крестьянской жизни хочу избавить... Такъ-то! и молчи, знай, поэтому.
- Сбирать пойдете?—обратился къ нимъ казакъ, оглядывая ихъ скорченныя фигуры черезъ плечо.
- Ужъ конечно, почтенный человъкъ!—со вздохомъ отвътилъ ему дъдъ Архипъ.
- Встань на ноги, дъдъ, покажу, гдъ живу,—ночевать ко мнъ придете.

Дъдъ попробовалъ встать, но упалъ, ударившись бокомъ о края арбы, и глухо застоналъ.

— Эхъ ты, старый!...—буркнуль казакъ, собользнуя.
—Ну, все равно, не гляди; придеть пора на ночлегъ идти, спроси Чернаго, Андрея Чернаго, это я и есть. А теперь слъзай. Прощайте!

Дъдъ и внукъ очутились передъ кучкой тополей и осокорей. Изъ-за ихъ стволовъ виднълись крыши, заборы, повсюду—направо и налъво—къ небу вздымались такія же кучки. Ихъ зеленая листва была одъта сърой пылью, а кора толстыхъ, прямыхъ стволовъ потрескалась отъ жары.

. Прямо передъ нищими между двухъ дощатыхъ за-

боровъ тянулся узкій проулокъ, въ который скрылся привезшій ихъ казакъ, и они направились въ этотъ проулокъ усталой, развалистой походкой много ходившихъ пъшкомъ людей.

- Ну, какъ мы, Леня, пойдемъ—вмъстъ или порознь?—спросилъ дъдъ и, не дожидаясь отвъта, прибавилъ:—вмъстъ бы лучше—мало больно тебъ подаютъ. Не умъешь ты просить-то...
- А куда много-то надо? все равно въдь не поъдаешь...—хмуро отвътилъ Ленька, оглядываясь вокругъ.
- Куда? Чудашка ты!... А вдругъ подвернется человъкъ, да и купитъ? Вогъ-те и куда!... Деньги дастъ. А деньги дъло большое; ты съ ними небось не пропадешь, какъ умру-то я.

И, ласково усмъхаясь, дъдъ погладилъ внука рукой по головъ.

- Ты знаешь ли, сколько я за путину-то скопиль? а?
 - А сколько?-равнодушно спросилъ Ленька.
 - Одиннадцать съ полтиной!.., Видишь?!

Но на Леньку не произвели впечатлънія эта сумма и ликующій тонъ дъда.

- Эхъ ты, малышъ, малышъ!—вздохнулъ дѣдъ.— Такъ порознь, что ли, идемъ?
 - Порознъ...
 - Ну... Къ церкви приходи, буде.
 - Ладно.

Дъдъ свернулъ въ проулокъ налъво, а Ленька пошелъ дальше. Сдълавъ шаговъ десять, онъ услыхалъ дребезжащій возгласъ: "Благодътели и кормильцы!..." Этотъ возгласъ былъ похожъ на то, какъ бы по разстроеннымъ гуслямъ провели ладонью съ самой густой до тонкой струны. Ленька вздрогнулъ и прибавилъ шагу. Всегда, когда слышалъ онъ просьбы дъда, ему становилось непріятно и какъ-то тоскливо, а когда дъду отказывали, онъ даже робълъ, ожидая, что вотъ сейчасъ разревется дъдушка.

До слуха его еще долегали дрожащія, жалкія ноты дѣдова голоса, плутавшія въ сонномъ и знойномъ воздухѣ надъ станицей. Кругомъ было все такъ тихо, точно ночью. Ленька подошелъ къ плетню и сѣлъ вътѣни отъ свѣсившихся черезъ него на улицу вѣтвей вишни. Гдѣ-то гулко жужжала пчела...

Сбросивъ котомку съ плечъ, Ленька положилъ на нее голову и, немного посмотрѣвъ въ небо сквозь листву надъ его лицомъ, крѣпко заснулъ, укрытый отъ взглядовъ прохожихъ густымъ бурьяномъ и рѣшетчатой тѣнью плетня...

Проснулся онъ разбуженный странными звуками, колебавшимися въ воздухъ, уже посвъжъвшемъ отъ близости вечера. Кто-то плакалъ неподалеку отъ него. Плакали по-дътски—задорно и неугомонно. Звуки рыданій замирали въ тонкой, минорной нотъ и вдругъ снова и съ новой силой вспыхивали и лились, все приближаясь къ нему. Онъ поднялъ голову и черезъ бурьянъ поглядълъ на дорогу.

По ней шла дъвочка лътъ семи, красивая, чисто одътая, съ краснымъ и вспухшимъ отъ слезъ лицомъ, которое она то и дъло вытирала подоломъ бълой ситцевой юбки. Шла она медленно, шаркая босыми ногами по дорогъ, вздымая густую пыль и, очевидно, не зная, куда и зачъмъ она идетъ. У нея были большіе черные глаза, теперь обиженные, грустные и влажные, и маленькія, тонкія, розовыя ушки, такъ шаловливо выглядывавшія изъ прядей каштановыхъ волосъ, растрепанныхъ и падавшихъ ей на лобъ, щеки и плечи.

Въ общемъ, она показалась Ленькъ очень смъшной, несмотря на свои слезы,—смъшной и веселой... И озорница должно быть!...

-- Ты чего плачешь?—спросиль онъ, вставая на ноги, когда она поровпялась съ нимъ.

Она вздрогнула и остановилась, сразу переставъ плакать, но все еще потихоньку всхлипывая. Потомъ, когда она нъсколько секундъ посмотръла на него, у нея снова дрогнули губы, смъшно сморщилось лицо, грудь колыхнулась, и, снова громко зарыдавъ, она пошла.

Ленька почувствоваль, какъ у него что-то сжалось внутри, и вдругь онъ тоже пошель за ней.

- А ты не плачь! Большая ужъ... стыдно, чай!...— заговориль онь, еще не поровнявшись съ ней, и потомъ, когда догналь ее, заглянуль ей въ лицо и переспросиль снова, для чего-то пожавъ плечами:—Ну, чего ты разревълась?
- Да-а!...—протянула она.—Кабы тебъ...—и вдругъ опустилась въ пыль на дорогу, закрывъ лицо руками, и отчаянно заревъла.
- Ну!—пренебрежительно махнулъ рукой Ленька.— Баба!... Какъ есть—баба. Фу ты!...

Но это не помогло ни ей, ни ему. Ленькъ, глядя, какъ между ея тонкими, розовыми пальцами струились одна за другой слезинки, стало тоже грустно и захотълось плакать. Онъ наклонился надъ нею и, осторожно поднявъ руку, чуть дотронулся до ея волосъ; но тотчасъ же, испугавшись своей смълости, отдернулъ руку прочь. А она все плакала и ничего не говорила.

— Слышь!...—помолчавь, началь Ленька, чувствуя настоятельную потребность помочь ей.—Слышь!... чего ты это? Поколотили, что ли?... Такъ въдь пройдеть! А то, можеть, другое что? Ты скажи! Дъвочка... а? скажика мнъ про это — и легче будеть! Потеряла, что ли, чего? Поискали бы вмъстъ...

Дъвочка, не отнимая рукъ отъ лица, печально качнула головой и, наконецъ, сквозь рыданія медленно отвътила ему, поводя плечами:

— Платокъ... потеряла!... Батька съ базара привезъ... голубой, съ цвътками, а я надъла... и потеряла. И за-

плакала снова сильнъе и громче, всилипывая и стонущимъ голосомъ выкликая странное: 0-0-0!...

Ленька почувствоваль себя безсильнымъ помочь ей и, робко отодвинувшись отъ нея, задумчиво и грустно посмотрълъ въ потемнъвшее небо. Ему было тяжело и очень жаль дъвочку.

— Не плачь!... можеть, найдется какъ ни то...—тиконько прошепталъ онъ, но, замътивъ, что она не слышитъ его утъшенія, отодвинулся еще дальше отъ нея и подумаль, что навърное отъ отца достанется ей дома за эту потерю. И тотчасъ же ему представилось, что отецъ, большой и черный казакъ, колотитъ ее, а она, захлебываясь слезами и вся дрожа отъ страха и боли, валяется у него въ ногахъ...

Онъ всталъ и пошелъ прочь, чувствуя себя убитымъ и обиженнымъ своей неспособностью помочь ей чъмъ-нибудь; но, отойдя шаговъ пять, снова круто повернулся, остановился противъ нея, прижавшись къ плетню, и старался вспомнить что-нибудь такое ласковое и доброе... Не вспоминалось почему-то никакихъ ласковыхъ словъ.

— Ушла бы ты съ дороги, дъвочка! Да ужъ перестань, что ли, плакать-то! Пойди домой, да и скажи все, какъ было. Потеряла, молъ... Что ужъ больно?...

Онъ началъ говорить это тихимъ, соболъзнующимъ голосомъ и, кончивъ возмущеннымъ восклицаніемъ, обрадовался, видя, что она поднимается съ земли.

— Вотъ и ладно!...—улыбаясь и оживленно продолжалъ онъ.—Иди-ка вотъ. Хочешь, я съ тобой пойду и разскажу все? Заступлюсь за тебя, не бойся!

И Ленька гордо повелъ плечами, оглянувшись вокругь себя.

- Не надо...—прошентала она, медленно отряхая пыль съ платья и все всхлинывая.
- А то—пойду?—съ полнъйшей готовностью громко заявилъ Ленька и сдвинулъ себъ на ухо картузъ.

Теперь онъ стоялъ передъ ней, широко разставивъ ноги, отчего надътые на немъ лохмотья какъ-то храбро заершились. Онъ твердо постукивалъ палкой о землю и смотрълъ на нее упорно, а его большіе и грустные глаза свътились такимъ гордымъ и смълымъ чувствомъ.

Дъвочка искоса посмотръла на него, размазывая по своему личику слезы, и, снова вздохнувъ, сказала:

— Не надо... не ходи... Мамка не любить нищихъ-то. И пошла отъ него прочь, раза два оглянувшись назадъ.

Ленькъ сдълалось скучно. Онъ незамътно, медленными движеніями измъниль свою ръшительную, вызывающую позу, снова сгорбился, присмиръль и, закинувъ за спину свою котомку, висъвшую до этого на рукъ, крикнуль вслъдъ дъвочкъ, когда она уже скрывалась за поворотомъ проулка:

— Прощай!

Она обернулась къ нему на ходу и исчезла.

Кругомъ стало скучнъй и темнъй. Приближался вечеръ и въ воздухъ стояла та особенная, тяжелая духота, которая предвъщаетъ грозу. Солнце уже было низко и вершины тополей зардълись легкимъ румянцемъ. Но отъ вечернихъ тъней, окутавшихъ ихъ вътви, они, высокіе и неподвижные, стали гуще, выше и казались Ленькъ задумавшимися о чемъ-то и точно ожидавшими чего-то страшнаго... Небо надъ ними тоже темнъло, дълалось бархатнымъ и точно опускалось ниже къ землъ. Гдъ-то далеко говорили люди и еще гдъ-то дальше, но въ другой сторонъ—пъли. Эти звуки, тихіе, но густые и безпрерывно колебавшіеся въ воздухъ, казалось, тоже были пропитаны духотой.

Ленькъ стало еще скучнъе и даже боязно чего-то. Онъ захотълъ пойти къ дъду, оглянулся вокругъ себя и быстро пошелъ впередъ по переулку. Просить милостыню ему совсъмъ не хотълось. Онъ шелъ и чувство-

валъ, что у него въ груди сердце бъется такъ часто, часто, и что ему какъ-то особенно лънь идти и думать... Но дъвочка не выходила изъ его памяти, и ему думалось о томъ, что съ ней теперь? Пришла ли она домой? Богатая она?... Коли она изъ богатаго дома, будуть ее бить; всъ богатые—скряги; а коли бъдная, то, можеть, и не будутъ... Въ бъдныхъ домахъ ребятъ-то больше любять, потому что отъ нихъ работы ждуть. Одна за другой думы назойливо шевелились въ его головъ и съ каждой минутой томительное и щемящее чувство тоски, какъ тънь сопровождавшее его думы, становилось тяжелъе и овладъвало имъ все болъе.

И тыни вечера становились удушливые и гуще. Навстрычу Ленькы попадались казаки и казачки и проходили мимо, не обращая на него вниманія, уже успывы привыкнуть кы наплыву голодающихы изы Россіи. Оны тоже лыниво скользилы потускнывшимы взглядомы по ихы сытымы, крупнымы фигурамы и быстро шелы кы церкви, кресты которой сіялы за зеленью деревьевы впереди его.

Навстръчу ему несся ръзвий шумъ возвращавшагося стада. Вотъ и церковь, низенькая и широкая, съ пятью главами, выкрашенными голубой краской, обсаженная кругомъ тополями, вершины которыхъ переросли ея кресты, облитые лучами заката и сіявшіе сквозь зелень розоватымъ золотомъ.

Вонъ и дъдъ труситъ къ паперти, согнувшись подъ тяжестью котомки, и озирается по сторонамъ, приставивъ ладонь ко лбу.

- За дъдомъ тяжелой, развалистой походкой шагаетъ станичникъ въ шапкъ, низко надвинутой на лобъ, и съ палкой въ рукъ.

- Что, пуста котомка-то?—спросилъ дъдъ, подходя ко внуку, остановившемуся, ожидая его, у церковной ограды.
 - А я вонъ сколько!... и, кряхтя. онъ свалилъ

съ плечъ на землю свой холщевый, туго набитый мъшокъ.

- Ухъ!... хорошо здъсь подають! Ахти, хорошо!... Ну, а ты чего такой надутый?
- Голова болить...— тихо молвиль Ленька, опускаясь на землю рядомъ, съ дъдомъ, прижавшимся спиной къ кучъ сложенныхъ кирпичей и съ выраженіемъ жадности и удовольствія гладившимъ рукой по собранной милостынъ.
- Ну?... Усталъ... Сморился!... Вотъ ночевать попдемъ сейчасъ. Какъ казака-то того звать? а?
 - Андрей Черный.
- Върно, Черный! Воть мы и спросимъ: а гдъ, моль, туть Черный Андрей? Воть къ намъ человъкъ идеть... у него и спросимъ. Да... Хорошій народъ, сытый! И все пшеничный хлъбъ ъдять. Здравствуйте, добрый человъкъ!

Казакъ подошелъ къ нимъ вплоть и медленно проговорилъ въ отвъть на привътствіе дъда:

— И вы здравствуйте!

Затьмъ, широко разставивъ ноги и остановивъ на нищихъ большіе, но ничего не выражавшіе глаза, молча почесался.

Ленька смотрёлъ на него пытливо, дёдъ моргалъ своими старческими глазами вопросительно, казакъ все молчалъ и, наконецъ, высунувъ до половины языкъ, сталъ ловить имъ конецъ своего уса. Удачно кончивъ эту операцію, онъ втащилъ усъ въ ротъ, пожевалъ его, снова вытолкнулъ изо рта языкомъ и, наконецъ, прервалъ молчаніе, уже ставшее томительнымъ, лѣниво проговоривъ:

- Ну... пойдемте въ сборную.
- Зачъмъ? встрепенулся дъдъ.
- У Леньки дрогнуло что-то внутри.
- А надо... Велъно. Ну!

Онъ поворотился къ нимъ спиной и пошелъ было,

но, оглянувшись назадъ и видя, что оба они не трогаются съ мъста, снова и уже сердито крикнулъ:

— Чего жъ еще?!

Тогда дъдъ и Ленька быстро встали на ноги и пошли за нимъ.

Ленька упорно смотрѣлъ на дѣда и, видя, что у него трясутся губы и голова и что онъ, боязливо озираясь вокругъ себя, быстро шаритъ у себя за пазухой, чувствовалъ, что дѣдъ опять нашалилъ чего-то, какъ и тогда въ Тамани. Ему стало боязно и тошно, когда онъ представилъ себѣ ту таманьскую исторію. Тамъ дѣдъ стянулъ со двора бѣлье и его поймали съ нимъ. Смѣялись, ругали, били даже и, наконецъ, ночью выгнали вонъ изъ станицы. Ночь была такая темная... Они ночевали съ дѣдомъ гдѣ-то на берегу пролива въ пескѣ, и море всю ночь грозно урчало... Песокъ скрипѣлъ, передвигаемый набѣгавшими на него волнами... А дѣдъ всю ночь стоналъ и шопотомъ молился Богу, называя себя воромъ и прося прощенія.

— Ленька!...

Ленька вздрогнуль отъ толчка въ бокъ и посмотрълъ на дъда. У того лицо вытянулось, стало суше и съръе и все дрожало.

Казакъ шелъ впереди шаговъ на пять, куриль трубку, обивалъ палкой головки репейника и не оборачивался на нихъ.

— На вотъ, возьми... брось... въ бурьянъ... да замъть, гдъ бросишь!... чтобы взять послъ... можно...— чуть слышно прошепталъ дъдъ и, плотно прижавщись на ходу ко внуку, сунулъ ему въ руку какую-то тряпицу, свернутую въ комокъ.

Ленька отстранился, дрогнувъ отъ страха, сразу наполнившаго холодомъ все его существо, и подошелъ ближе къ забору, около котораго густо разросся бурьянъ. Напряженно глядя на широкую спину казака-конвоира, онъ протянулъ въ сторону руку и, посмотръвъ на нее,

бросиль тряпку въ бурьянъ... Бросилъ и сталъ, пораженный.

Падая, тряпка развернулась, и въ глазахъ Леньки промелькнулъ голубой съ цвътами платокъ, моментально заслоненный образомъ маленькой плачущей дъвочки. Она встала передъ нимъ, какъ живая, заслонивъ собой и казака, и дъда, и все окружающее... Звуки ея рыданій снова ясно раздались въ ушахъ Леньки и ему показалось, что передъ нимъ на землю падаютъ свътлыя капельки слезъ, закрывая отъ него весь міръ и наполняя его грудь тоскливымъ холодомъ...

Въ этомъ, почти невмѣняемомъ состояніи онъ пришелъ позади дѣда въ сборную, слышалъ глухое гудѣніе, разобрать которое не могъ и не хотѣлъ, точно сквозь туманъ видѣлъ, какъ изъ котомки дѣда высыпали куски на большой столъ, и эти куски, падая глухо и мягко, стучали о столъ... Затѣмъ надъ ними склонилось много головъ въ высокихъ шанкахъ; головы и шапки были хмуры и мрачны и сквозь туманъ, облекавшій ихъ, качаясь, грозили чѣмъ-то страшнымъ... Потомъ вдругъ дѣдъ, хрипло бормоча что-то, какъ волчокъ завертѣлся въ рукахъ двухъ дюжихъ молодцовъ...

— Напрасно, православные!... Неповиненъ, видитъ Господь!...—пронзительно взвизгнулъ дъдъ.

Ленька, заплакавъ, опустился на полъ.

Тогда подошли и къ нему. Подняли, посадили на лавку и обшарили всъ лохмотья, покрывавшіе его маленькое тъльце. А потомъ вдругъ все остановилось.

Въ горлъ Леньки остановились слезы, точно онъ скипълись въ большой шаръ, затруднявшій ему дыханіе, остановилось невнятное бормотаніе дъда и возбужденный гуль голосовъ порвался сразу, точно его кто-то выбросилъ вонъ изъ комнаты.

— Брешеть Даниловна, чортова баба!—громыхнуль кто-то, точно ударивъ по ушамъ Леньки своимъ густымъ и раздраженнымъ голосомъ.

— A можеть, они спрятали гдѣ?—крикнули въ отвъть еще громче.

И снова загудъли густыя басовыя ноты.

Ленька чувствоваль, что всв эти звуки точно бьють его по головъ, и ему стало такъ больно, что онъ потерялъ сознаніе, вдругъ точно нырнувъ въ какую-то черную яму, раскрывшую передъ нимъ бездонный зъвъ.

А когда онъ очнулся, то почувствоваль, что его голова лежить на кольняхь дьда, и увидьль, что прямо надъ лицомъ его наклонилось дъдово лицо, жалкое и сморщенное болье, чъмъ всегда, и изъ дъдовыхъ глазъ, испуганно моргавшихъ, капаютъ на его, Ленькинъ, лобъ маленькія мутныя слезы и очень щекотятъ, скатываясь по щекамъ на шею...

— Оклемался ли, родной?!... Пойдемъ-ка отсюда. Пойдемъ, — отпустили проклятые!

Ленька поднялся съ колънъ дъда и сълъ рядомъ съ нимъ, чувствуя, что въ его головъ налито что-то тяжелое и что она вотъ-вотъ упадетъ съ плечъ... Онъ взялъ ее руками и закачался изъ стороны въ сторону, тихо стоная.

— Болитъ головонька-то? Родненькій ты мой!... Измучили они насъ съ тобой... Звъри! Кинжалъ пропалъ, вишь ты, да платокъ дъвчонка потеряла, ну они и навалились на насъ. Мы, дескать, нищіе, ну, значить, и воры!... Охъ, Господи Боже!... за что наказуешь?!...

Скрипучій голось діда какъ-то царапаль Леньку, и онь чувствоваль, что внутри его разгорается такая острая искорка, которая заставляеть его отодвинуться оть діда дальше.

Онъ отодвинулся и хмуро посмотрълъ въ его лицо, изъ морщинъ котораго на Леньку, казалось ему, смотрять маленькія, поганыя, лживыя змъйки... Онъ вздрогнулъ и посмотрълъ вокругъ...

Они съ дъдомъ сидъли у выхода изъ станицы, подъ густой тънью вътвей коряваго осокоря. Уже настала ночь, взошла луна и ея молочно-серебристый свъть,

обливая ровное и широкое степное пространство, сдѣлалъ его какъ бы уже, чѣмъ оно было днемъ, уже и еще пустыннѣй и грустнѣй. Издалека, со степи, слитой съ небомъ, вздымались лиловыя тучки и тихо плыли надъ ней, закрывая луну и бросая на землю густыя тѣни. Тѣни плотно ложились на землю, медленно, задумчиво ползли по ней и вдругъ пропадали, точно уходя въ землю черезъ трещины отъ жгучихъ ударовъ солнечныхъ лучей... Изъ станицы доносились голоса и кое-гдѣ въ ней вспыхивали огоньки, точно перемигиваясь съ ярко-золотыми звѣздами въ небѣ.

- -- Пойдемъ, милый!... идти надо, -- сказалъ дъдъ.
- Посидимъ-еще!...-тихо сказалъ Ленька.

Ему нравилась степь. Днемъ, идя по ней, онъ любилъ смотръть впередъ, туда, гдъ сводъ неба, казалось, опирается на ея широкую грудь... И тамъ онъ представлялъ себъ большіе чудные города, населенные такими невиданными имъ добрыми людьми, у которыхъ не нужно будетъ просить хлъба—сами дадутъ безъ просьбъ... И когда она, все шире развертываясь передъ его глазами, вдругъ выдвигала изъ себя станицу, уже знакомую ему и похожую строеніями и людьми на всъ тъ, которыя онъ видълъ прежде, ему дълалось грустно и обидно за этотъ обманъ...

Но степь на другой день снова развертывалась передъ нимъ широко и свободно и снова заставляла его рисовать себъ невиданные города, тамъ далеко, на краю, скрытые ею...

И теперь онъ задумчиво смотрълъ вдаль, откуда выползали медленно тучи. Онъ казались ему дымомъ тысячъ трубъ того города, который такъ ему хотълось видъть... Его созерцаніе прервалъ глухой кашель дъла.

Ленька пристально взглянулъ въ смоченное слезами лицо дъда, жадно глотавшаго воздухъ.

Освъщенное луной и перекрытое странными тънями, падавшими на него отъ лохмотьевъ шапки, отъ бровей

и бороды, это лицо, съ судорожно двигавшимся ртомъ и широко раскрытыми глазами, свътившимися какимъто затаеннымъ восторгомъ—было и страшно, и жалко, и возбуждало въ Ленькъ то новое для него чувство, что заставляло его отодвигаться отъ дъда подальше...

— Ну, посидимъ, посидимъ!...—бормоталъ онъ и, глупо ухмыляясь, шарилъ за пазухой.

Ленька отвернулся и снова сталь смотръть вдаль.

— Ленька! Леночка!... Погляди-ка!...—вдругь всхлипнуль дёдь восторженно и, весь корчась оть удушливаго кашля, протянуль внуку что-то длинное и блестящее.— Въ серебре! серебро ведь!... полсотни стоить!...—шепталь онь.

Руки и губы у него дрожали отъ жадности и боли и все лицо передергивалось.

Ленька вздрогнуль и оттолкнуль его руку.

- Спрячь скоръй!... ахъ, дъдушка, спрячь!...—умо-ляюще прошенталъ онъ, быстро оглядываясь кругомъ.
- Ну... чего ты, дурашка? боишься, милый?... Заглянуль я въ окно, а онъ висить... я его цапъ, да и подъ полу... а потомъ спряталъ въ кустахъ. Шли вонъ изъ станицы, я будто шапку уронилъ, наклонился и ваялъ его... Дураки они!... И платокъ ваялъ... вотъ онъ гдъ!...

И выхвативъ изъ своихъ лохмотьевъ дрожащими руками платокъ, дъдъ потрясъ имъ передъ лицомъ Леньки.

Передъ глазами Леньки разорвалась какая-то туманная завъса и встала такая картина:—Онъ и дъдъ быстро, насколько могутъ, идутъ по улицъ станицы, избъгая взглядовъ встръчныхъ людей, идутъ пугливо, и Ленькъ кажется, что каждый, кто хочетъ, въ правъ бить ихъ обоихъ, плевать на нихъ, ругаться... Все окружающее—заборы, дома, деревья—въ какомъ-то странномъ туманъ и колеблются точно отъ вътра... и гудятъ чъи-то суровые, сердитые голоса... Этотъ тяжелый путь безконечно дологъ и выходъ изъ станицы въ поле не виденъ за плотной массой шатающихся домовъ, которые то придви-

гаются къ нимъ, точно желая задавить ихъ, то уходять куда-то, смѣясь имъ въ лицо темными пятнами своихъ оконъ... И вдругъ изъ одного окна звонко раздается: "Воришки! Воришки! Воришка, воренокъ!..." Ленька украдкой бросаетъ взглядъ въ сторону и видитъ въ окнѣ ту дѣвочку, которую давеча онъ видѣлъ плачущей и хотѣлъ защищать... Она поймала его взглядъ и высунула ему языкъ, а ея синіе глазки сверкали зло и остро и кололи Леньку, какъ иглы.

Эта картина воскресла въ памяти мальчика и моментально исчезла, оставивъ по себъ злую улыбку, которую онъ бросилъ въ лицо дъду.

Дъдъ все говорилъ что-то, говорилъ, прерывая себя кашлемъ, махалъ руками, радостно улыбался чему-то, трясъ головой и отиралъ потъ, крупными каплями выступавшій въ морщинахъ его лица.

Тяжелая, изорванная и лохматая туча закрыла луну, и Ленькъ почти не видно было лица дъда... Но онъ поставилъ рядомъ съ нимъ плачущую дъвочку, вызвавъ ея образъ передъ собой, и мысленно какъ бы измърялъ нхъ обоихъ... Немощный, скрипучій, жадный и рваный дъдъ рядомъ съ ней, обиженной имъ, плачущей, но здоровой, свъжей, красивой, показался ему ненужнымъ и почти такимъ же злымъ и дряннымъ, какъ Кощей въ сказкъ. Какъ это можно? За что онъ обидълъ ее? Онъ не родной ей...

А дъдъ скрипълъ:

- Кабы сто рублей... скопить!... Умеръ бы я тогда покойно...
- Ну!...—вдругъ вспыхнуло что-то въ Ленькъ.—Молчи ужъ ты! Умеръ бы, умеръ бы... А не умираешь вотъ... Воруешь!...—взвизгнулъ Ленька и вдругъ, весь дрожа, вскочилъ на ноги.—Воръ ты старый!... У-у!--и сжавъ маленькій, сухой кулачокъ, онъ потрясъ имъ передъ носомъ внезапно замолкшаго дъда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы: У дити

укралъ... Ахъ, хорошо!... Старый, а туда же... Не будетъ тебъ на томъ свътъ прощенья за это!...

Вдругъ вся степь всколыхнулась и, охваченная ослъпительно голубымъ свътомъ, расширилась... Одъвавшая ее мгла дрогнула и исчезла на моментъ... Грянулъ ударъ грома и, рокоча, покатился надъ степью, сотрясая и ее, и небо, по которому теперь быстро летъла густая толпа черныхъ тучъ, утопившая въ себъ луну.

Стало темно. Далеко гдѣ-то еще, молча, но грозно, сверкнула молнія и спустя секунду снова слабо рыкнуль громъ... Потомъ наступила тишина, которой, казалось, не будеть конца.

Ленька крестился. Дъдъ сидълъ неподвижно и молча, точно онъ сросся съ стволомъ дерева, къ которому прислонился спиной.

— Дъдушка!...—прошепталъ Ленька, въмучительномъ страхъ ожидая новаго удара грома.—Идемъ въ станицу!

Небо снова дрогнуло и, снова вспыхнувъ голубымъ пламенемъ, бросило на землю могучій металлическій ударъ. Какъ будто тысячи листовъ жельза сыпались на землю, ударяясь другъ о друга...

— Дъдушка!...-крикнулъ Ленька.

Крикъ его, заглушаемый отзвукомъ грома, прозвучалъ какъ ударъ въ маленькій, разбитый колоколъ.

— Что ты... внучекъ мой... Боишься... a!...—хрипло проговорилъ дъдъ, не шевелясь.

Въ его словахъ звучали горечь и боль, и насмъшка. Ленькъ они показались произнесенными чужимъ.

Стали падать крупныя капли дождя и ихъ шорохъ звучалъ такъ таинственно, точно предупреждаль о чемъто... Вдали онъ уже выросъ въ сплошной, широкій звукъ, похожій на треніе громадной щеткой по сухой землѣ,—а тутъ, около дѣда и внука, каждая капля, падая на землю, звучала коротко и отрывисто и умирала безъ эха. Удары грома все приближались и небо вспыхивало чаще.

— Не пойду я въ станицу! Пусть меня, стараго пса

и вора... здёсь дождь потопить... и громъ убьеть!...—задыхаясь заговорилъ дёдъ.—Не пойду!... Иди одинъ... Воть она, станица... Иди!... Не хочу я, чтобъ ты сидёлъ тутъ... пошелъ!... Иди, иди!... Иди!...

Дъдъ уже кричалъ глухо и сипло.

- Дъдушка!... прости!... придвигаясь къ нему, вамолился Ленька.
- А!... Не пойду... Не прощу... Семь лъть я тебя няньчиль!... Все для тебя... и жиль... для тебя. Рази мнъ надо что?... Умираю въдь я... Умираю... а ты говоришь—воръ... Для чего воръ? для тебя... въдь для тебя это все... Воть возьми... возьми... бери... На жизнь твою... на всю... копиль... ну и вороваль... Богъ видить все... Онъ знаеть... что вороваль... знаеть... Онъ меня накажеть. О-онъ не помилуеть меня, стараго пса... за воровство. И наказаль ужъ... Господи! наказаль Ты меня!... а? наказаль?... Рукой ребенка убиль Ты меня!... Върно, Господи!... Правильно!... Справедливъ Ты, Господи!... Иду на судъ Твой... Пошли по душу мою... Охъ!... воть и... все!...

Голосъ дъда поднялся до произительнаго визга, вселившаго въ грудь Леньки холодный ужасъ.

Удары грома, сотрясая степь и небо, рокотали теперь такъ гулко и торопливо, точно каждый изъ нихъ хотълъ сказать землъ что-то необходимо нужное для нея, и всъ они, перегоняя одинъ другого, ревъли почти безъ паузъ. Раздираемое молніями небо дрожало, дрожала и степь, то вся вспыхивая синимъ огнемъ, то погружаясь въ холодный, тяжелый и тъсный мракъ, странно суживавшій ее. Иногда молнія освъщала даль. Эта даль, казалось, торопливо убъгаеть отъ шума и рева...

Полилъ дождь, и его капли, блестя, какъ сталь при блескъ молніи, скрыли собой привътно мигавшіе огоньки станицы.

Ленька замиралъ отъ ужаса, холода и какого-то тоскливаго чувства вины, рожденнаго крикомъ дъда. Онъ уставилъ передъ собою широко раскрытые глаза и, боясь

моргнуть ими даже и тогда, когда капли воды, стекая съ его вымоченной дождемъ головы, попадали въ нихъ, прислушивался къ голосу дъда, тонувшему въ моръ могучихъ звуковъ.

Ленька чувствоваль, что дъдъ сидить неподвижно, но ему казалось, что онъ долженъ пропасть, уйти куда-то и оставить его тутъ одного. Онъ, незамътно для себя, понемногу придвигался къ дъду и, когда коснулся его локтемъ, съдрогнулъ, ожидая чего-то страшнаго...

Разорвавъ небо, молнія освѣтила ихъ обоихъ, рядомъ другъ съ другомъ, скорченныхъ, маленькихъ, обливаемыхъ потоками воды съ вѣтвей дерева...

Дъдъ махалъ рукой въ воздухъ и все бормоталъ что-то, уже уставая и задыхаясь.

Взглянувъ ему въ лицо, Ленька крикнулъ отъ страха... При синемъ блескъ молніи оно казалось мертвымъ, а вращавшіеся на немъ тусклые глаза были безумны.

— Дъдушка!... Пойдемъ!... вавизгнулъ онъ, ткнувъ свою голову въ колъни дъда.

Дъдъ склонился надъ нимъ, обнявъ его своими руками, тонкими и костлявыми, кръпко прижалъ къ себъ и, тиская его, вдругъ взвылъ сильно и произительно, какъ волкъ, схваченный капканомъ.

Доведенный этимъ воемъ чуть не до сумасшествія, Ленька вырвался отъ него, вскочилъ на ноги и стрѣлой помчался куда-то впередъ, широко раскрывъ глаза, ослѣпляемый молніями, падая, вставая и уходя все глубже въ тьму, которая то исчезала отъ синяго блеска молніи, то снова плотно охватывала обезумѣвшаго отъ страха мальчика.

Громъ ревълъ и молніи блистали все чаще и грозньті. А дождь, падая, шумълъ такъ холодно, монотонно, тоскливо... и, наконецъ, казалось, что въ степи ничего и никогда не было, кромъ шума дождя, блеска молнін и раздраженнаго грохота грома.

Поутру другого дня, выбъжавъ за околипу, станичные мальчики тотчасъ же воротились назадъ и сдълали въ станицъ тревогу, объявивъ, что видъли подъ осокорью вчерашняго нищаго и что онъ, должно быть, заръзанъ, такъ какъ около него брошенъ кинжалъ.

Но когда старшіе казаки пришли смотръть, такъ ли это, то оказалось, что не такъ. Старикъ былъ живъ еще. Когда къ нему подошли, онъ попытался подняться съ земли, но не могъ. У него отнялся языкъ, какъ оказалось, и онъ спрашивалъ всъхъ о чемъ-то слезящимися глазами и все искалъ ими въ толпъ, но ничего не находилъ и не получалъ никакого отвъта.

Къ вечеру онъ умеръ, и зарыли его тамъ же, гдѣ взяли, подъ осокорью, находя, что на погостѣ его хоропить не слѣдуетъ: во-первыхъ—онъ чужой, во-вторыхъ воръ, а въ-третьихъ—умеръ безъ покаянія. Около него въ грязи нашли кинжалъ и платокъ.

А черезъ два или три дня нашелся Ленька.

Надъ одной степной балкой, недалеко отъ станицы, стали кружиться стан воронъ, и когда пошли посмотръть туда, нашли мальчика, который лежалъ, раскинувъ руки и лицомъ внизъ, въ жидкой грязи, оставшейся послъдождя на днъ балки.

Сначала ръшили похоронить его на погостъ, потому что онъ еще ребенокъ, но, подумавъ, положили рядомъ съ дъдомъ подъ той же осокорью. Насыпали холмъ земли и на немъ поставили грубый каменный крестъ.



YEJKAW B.

(1894 - 1895.)

Потемнъвшее отъ поднятой въ гавани пыли голубое южное небо мутно; жаркое солнце тускло смотритъ въ зеленоватое море точно сквозъ тонкую сърую вуаль. Оно не можетъ отразиться въ водъ, то и дъло разсъкаемой ударами веселъ, пароходныхъ винтовъ, острыми килями турецкихъ фелюгъ и другихъ парусныхъ судовъ, бороздящихъ по всъмъ направленіямъ тъсную гавань, въ которой закованныя въ гранитъ свободныя волны моря, подавленныя громадными тяжестями, скользящими по ихъ хребтамъ, бъются о борта судовъ, о берега, бъются и ропщутъ, вспъненныя ударами, загрязненныя разнымъ хламомъ.

Звонъ якорныхъ цёпей, грохотъ сцёпленій у вагоновъ, подвозящихъ грузъ, металлическій вопль желёзныхъ листовь, откуда-то падающихъ на камень мостовой, глухой стукъ дерева, дребезжаніе извозчичьихъ телёгъ, свистки пароходовъ, то пронзительно рёзкіе, то глухо ревущіе, крики грузчиковъ, матросовъ и таможенныхъ солдатъ,—всё эти звуки сливаются въ оглушительную симфонію трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоятъ въ небё надъ гаванью, какъ бы боясь всплыть выше и исчезнуть въ немъ. А къ нимъ вздымаются съ земли все новыя и новыя волны—то глухія, рокочущія, онё сурово сотрясають все кругомъ, то рёзкія, гремящія, рвутъ пыльный, знойный воздухъ.

Гранить, жельзо, дерево, мостовая гавани, суда и люди—все дышить мощными звуками бъшено-страстнаго гимна Меркурію. Но голоса людей, еле слышные въ немъ, слабы и смъшны. И сами люди, первоначально родившіе этоть шумъ, смъшны и жалки: ихъ фигурки, пыльныя, оборванныя, юркія, согнутыя подътяжестью товаровъ, лежащихъ на ихъ спинахъ, суетливо бъгаютъ то туда, то сюда въ тучахъ пыли, въ моръ зноя и звуковъ, и такъ они ничтожны, малы по сравненію съ окружающими ихъ жельзными колоссами, грудами товаровъ, гремящими вагонами и всъмъ, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило ихъ.

Стоя подъ парами, тяжелые гиганты-пароходы то свистели, то шинели, то какъ-то глубоко вздыхали, и въ каждомъ рожденномъ ими звукъ чудилась насмъщливая нота ироническаго презрънія къ сърымъ, пыльнымъ фигурамъ людей, ползавшихъ по ихъ палубамъ и наполнявшихъ ихъ глубокіе трюмы продуктами своего рабскаго труда. До слезъ смъшны были длинныя вереницы грузчиковъ, носившихъ на плечахъ своихъ тысячи пудовъ хлъба въ желъзные животы судовъ для того, чтобы заработать нъсколько фунтовъ того же хлъба для своего желудка. Рваные, потные, отупъвшіе отъ усталости, шума и зноя люди и могучія, блествинія на солнцв дородствомъ и безмятежностью машины, создянныя этими людьми,--машины, которыя въ концъ концовъ приводились въ движение все-таки не паромъ, а мускулами и кровью своихъ творцовъ... въ этомъ сопоставленіи была цізлая поэма жестокой и холодной ироніи.

Шумъ—подавляль, пыль, раздражая ноздри, —слѣпила глаза, зной—пекъ тѣло и изнуряль его, и все кругомъ—казалось напряженнымъ, назрѣвшимъ, теряющимъ терпѣніе, готовымъ разразиться какой-то грандіозной катастрофой, взрывомъ, за которымъ въ освѣженномъ имъ воздухѣ будетъ дышаться свободно и легко, на землѣ воцарится

типина, а этоть пыльный шумъ, оглушительный, раздражающій, доводящій до тоскливаго бъщенства, исчезнеть, и въ городъ, на моръ, въ небъ станеть тихо, ясно, славно... Но это только казалось. Это казалось потому, что человъкъ еще не усталъ надъяться на лучшее и желаніе чувствовать себя свободнымъ не умерло въ немъ...

Раздалось двънадцать мърныхъ и звонкихъ ударовъ въ колоколъ. Когда послъдній мъдный звукъ замеръ, дикая музыка труда уже звучала тише почти на половину. Черезъ минуту еще она превратилась въ глухой недовольный ропотъ. Теперь голоса людей и плескъ моря стали слышнъй. Это—наступило время объда.

T.

Когда грузчики, бросивъ работать, разсыпались по всей гавани шумными группами, покупая себъ у торговокъ разную снъдь и усаживаясь объдать туть же на мостовой, въ тънистыхъ уголкахъ, среди нихъ появился Гришка Челкашъ, старый травленый волкъ, хорошо знакомый гаванскому люду, какъ заядлый пьяница и ловкій, смелый воръ. Онъ быль босъ, въ старыхъ, вытертыхъ цлисовыхъ штанахъ, безъ шапки, въ грязной ситцевой рубахъ съ разорваннымъ воротомъ, открывавшимъ его подвижныя, сухія и угловатыя кости, обтянутыя коричневой кожей. По всклокоченнымъ чернымъ съ просъдью волосамъ и смятому, острому, хищному лицу было видно, что онъ только-что проснулся. Въ одномъ буромъ усъ у него торчала соломина, другая соломина запуталась въ щетинъ лъвой бритой щеки, а за ухо онъ заткнулъ себъ маленькую, только-что сорванную, вътку липы. Длинный, костиявый, немного сутулый, онъ медленно шагалъ по камнямъ и, поводя своимъ горбатымъ, хищнымъ носомъ, кидалъ вокругъ себя острые взгляды, поблескивая холодными сърыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиковъ. Его бурые усы, густые и длинные, то и дъло

вздрагивали, какъ у кота, а заложенныя за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми ицъпкими пальцами. Даже издъсь, среди сотенъ такихъ же, какъ онъ, рваныхъ и ръзкихъ босяцкихъ фигуръ, онъ сразу обращалъ на себя вниманіе своимъ сходствомъ съ степнымъ ястребомъ своей хищной худобой и этой прицъливающейся походкой, плавной и покойной съ виду, но внутренно возбужденной и зоркой, какъ леть той хищной птицы, которую онъ напоминалъ.

Когда онъ поровнялся съ одной изъ группъ босяковъгрузчиковъ, расположившихся въ тъни подъ грудой корзинъ съ углемъ, ему навстръчу всталъ коренастый малый съ глупымъ, въ багровыхъ пятнахъ лицомъ и поцарапанной шеей, очевидно, недавно сильно избитый. Онъ всталъ и пошелъ рядомъ съ Челкашемъ, вполголоса говоря:

- Флотскіе двухъ мѣстъ мануфактуры хватились... Ищуть. Слышь, Гришка?
- Ну?—спросилъ Челкашъ, спокойно смѣривъ его глазами.
 - Чего-ну? Ищуть, моль. Больше ничего.
- Меня, что ли, спрашивали, чтобъ помогъ поискать? И Челкашъ съ острой улыбкой посмотръль туда, гдъ возвышался пакгаузъ Добровольнаго флота.
 - Пошелъ инъ къ чорту!

Товарищъ повернулъ назадъ.

- Эй, погоди! Кто это тебя изукрасиль? Ишь какъ испортили вывъску-то... Мишку не видаль эдъсь?
- Давно не видалъ!—крикнулъ тотъ, уходя къ своимъ товарищамъ.

Челкашъ пошелъ дальше, встръчаемый всъми, какъ человъкъ хорошо знакомый. Но онъ, всегда веселый и ъдкій, былъ сегодня, очевидно, не въ духъ и отвъчалъ на разспросы отрывисто и ръзко.

Откуда-то- изъ-за бунта товара вывернулся таможенный сторожъ, темно-зеленый, пыльный и воинственно-

прямой. Онъ загородиль дорогу Челкашу, вставъ передънимъ въ вызывающей позъ, схватившись лъвой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за вороть.

— Стой! Куда идешь?

Челкашъ отступилъ шагъ назадъ, поднялъ глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служиваго пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглымъ, багровымъ, двигало бровями, таращило глаза и было очень смъщно.

- Сказано тебъ—въ гавань не смъй ходить, рёбра изломаю! А ты опять?—грозно кричалъ сторожъ.
- Здравствуй, Семенычъ! мы съ тобой давно не видались,—спокойно поздоровался Челкашъ и протянулъ ему руку.
 - Хоть бы въкъ тебя не видать! Иди, иди!...
 - Но Семенычь все-таки пожаль протянутую руку.
- Вотъ что скажи, —продолжалъ Челкашъ, не выпуская изъ своихъ пъпкихъ пальцевъ руки Семеныча и пріятельски фамильярно потряхивая ее, —ты Мишку не видаль?
- Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошель, брать, вонь! а то пакгаузный увидить, онь те....
- Рыжаго, съ которымъ я прошлый разъ работалъ на "Костромъ"?—стоялъ на своемъ Челкашъ.
- Съ которымъ воруешь вмъсть, воть какъ скажи! Въ больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой. Поди, братъ, пока честью просятъ, поди, а то въ шею провожу!...
- Ага, ишь ты! а ты говоришь—не знаю Мишки... Знаешь воть. Ты чего же такой сердитый, Семенычъ?...
- Воть что, Гришка, ты мив зубы не заговаривай, а или!...

Сторожъ началъ сердиться и, оглядываясь по сторонамъ, пытался вырвать свою руку изъ кръпкой руки

Челкаща. Челкащъ спокойно посматривалъ на него изъподъ своихъ густыхъ бровей, улыбался себъ въ усы и, не отпуская его руки, продолжалъ разговаривать:

- Ты не торопи меня. Я воть наговорюсь съ тобой вдосталь и уйду. Ну, сказывай, какъ живешь?... жена, дътки—здоровы?—И зловъще сверкая глазами, онъ, оскаливъ зубы насмъщливой улыбкой, добавилъ: въ гости къ тебъ собираюсь, да все времени нъть—пью все воть...
- Ну... ну... ты это брось!... Ты... не шути, дьяволь костлявый! Я, брать, въ самомъ дълъ... Али ты ужъ по домамъ, по улицамъ грабить собираешься?
- Зачъмъ? И здъсь на нашъ съ тобой въкъ добра хватить. Ей Богу хватить, Семенычъ! Ты, слышь, опять два мъста мануфактуры слямзилъ?... Смотри, Семенычъ, осторожнъй! не попадись какъ-нибудь!...

Возмущенный нахальствомъ Челкаша, Семенычъ весь затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкашъ отпустилъ его руку и спокойно зашагалъ длинными ногами назадъ, къ воротамъ гавани. Сторожъ, неистово ругаясь, двинулся за нимъ.

Челкашъ повеселълъ; онъ тихо посвистывалъ сквозь зубы и, засунувъ руки въ карманы штановъ, шелъ медленной походкой свободнаго человъка, отпуская направо и налъво колкіе смъшки и шутки. Вслъдъ ему платили тъмъ же.

- Ишь ты, Гришка, начальство-то какъ тебя оберегаетъ!—крикнулъ кто-то изъ толпы грузчиковъ, уже пообъдавшихъ и валявшихся на землъ, отдыхая.
- Я—босый, ну такъ вотъ Семенычъ слъдитъ, какъ бы мнъ ногу не напортить на что,—отвътилъ Челкашъ.

Подошли къ воротамъ. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

— Не пускайте вы его!—крикнулъ Семенычъ, оставшійся во дворъ гавани.

Челкашъ перешелъ черезъ дорогу и сълъ на тумбочку

противъ дверей кабака. Изъ вороть гавани съ грохотомъ выважала безконечная вереница нагруженныхъ телъгъ. Навстръчу имъ неслись порожнія телъги съ извозчиками, подпрыгивавшими на нихъ. Гавань изрыгала воющій громъ, ъдкую пыль и сотрясала землю.

Привыкшій къ этой бъщеной сутолокъ, Челкашъ, возбужденный сценой съ Семенычемъ, чувствоваль себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработокъ, требовавшій немного труда и много ловкости. Онъ былъ увъренъ, что ея хватитъ у него и, щуря глаза, мечталъ о томъ, какъ загуляетъ завтра поутру, когда все будетъ справлено и въ его карманъ явятся кредитныя бумажки... Затъмъ ему вспомнился товарищъ Мишка, который очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломалъ себъ ногу. Челкашъ про-себя обругался, думая, что одному ему, безъ Мишки, пожалуй, и не справиться со всъмъ этимъ. Какова-то будетъ ночь?... Онъ посмотрълъ на небо и вдоль по улицъ.

Шагахъ въ шести отъ него, у троттуара, на мостовой, прислонясь спиной къ тумбочкъ, сидълъ молодой парень въ синей пестрядиной рубахъ, въ такихъ же штанахъ, въ лаптяхъ и въ оборванномъ рыжемъ картузъ. Около него лежала маленькая котомка и коса безъ черенка, обернутая въ жгутъ изъ съна, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень былъ широкоплечъ, коренасть, русъ, съ загорълымъ и обвътреннымъ лицомъ и съ большими голубыми глазами, смотръвшими на Челкаша довърчиво и добродушно.

Челкашъ оскалилъ зубы, высунулъ языкъ и, сдълавъ страшную рожу, упорно уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумъвая, смигнулъ, но потомъ вдругъ расхохотался, крикнулъ сквозь смъхъ: ахъ, чудакъ! и, почти не вставая съ земли, неуклюже перевалился отъ своей тумбочки къ тумбочкъ Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

- Что, брать, погуляль, видно, здорово!... обратился онъ къ Челкашу, дернувъ его штанину.
- Было дёло, сосунокъ, было этакое дёло! —открыто сознался Челкашъ. Ему сразу понравился этотъ здоровый, добродушный парень съ ребячыми свётлыми глазами.—Съ косовицы, что ли?
- Какъ же!... Косили версту—выкосили грошъ. Плохи дѣла-то! Нар-роду—уйма! Голодающій этоть самый приплелся... цѣну сбили, хоть не берись. Шесть гривенъ въ Кубани платили. Дѣла!... А раньше-то, говорять, три цѣлковыхъ цѣна, четыре, пять!...
- Раньше!... Раньше-то за одно поглядънье на русскаго человъка тамъ трешню платили. Я воть годовъ десять тому назадъ этимъ самымъ и промышлялъ. Придешь въ станицу—русскій, молъ, я!— Сейчасъ тебя поглядять, пощупають, подивуются и—получи три рубля! Да напоять, накормять. И живи, сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открывалъ роть, выражая на круглой физіономіи недоўмъвающее восхищеніе, но потомъ, понявъ, что этотъ оборванецъ вреть, шлепнулъ губами и захохоталъ. Челкашъ сохранялъ серьезную мину, скрывая улыбку въ своихъ усахъ.

- Чудакъ, говоришь будто правду, а я слушаю да върю... Нътъ, ей Богу, раньше тамъ...
- Hy, а я про что? Въдь и я говорю, что, молъ, тамъ раньше...
- Поди ты!...—махнулъ рукой парень.—Сапожникъ, что ли? Али портной?... ты-то?
- Я-то?—переспросилъ Челкашъ и, подумавъ, сказалъ:—Рыбакъ я...
 - Рыба-акъ! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?...
- Зачъмъ рыбу? Здъшніе рыбаки не одну рыбу ловять. Больше утопленниковъ, старые якорья, погонувшія суда—все! Удочки такія есть для этого...
- Ври, ври!... Изъ тъхъ, можетъ, рыбаковъ, которые про себя поютъ:

Мы закидываемъ съти По сухіимъ берегамъ, Да по амбарамъ, по влътямъ!...

- А ты видаль такихъ?—спросилъ Челкашъ, съ усмъщкой поглядывая на него и думая, что этотъ славный парень очень глупъ.
 - Нътъ, видать гдъ же! Слыхивалъ...
 - Нравятся?
- Они-то? Какъ же!... Ничего ребята, вольные... свободные...
- A что тебъ... свобода?... Ты развъ любишь свободу?
- Да въдь какъ же? Самъ себъ хозяинъ, пошелъ куда хошь, дълай—что хошь... Еще бы! Коли сумъешь себя въ порядкъ держать, да на шеъ у тебя камней нътъ,—первое дъло! Гуляй знай, какъ хошь, Бога только помни...

Челкашъ презрительно сплюнуль и прерваль свои вопросы, отвернувшись оть парня.

— Сейчась воть мое діло...- вдругь вдохновилоя тоть. - Какъ отецъ у меня умеръ, хозяйство малое, мать старуха, земля вся высосана, что я долженъ дълать? Жить надо. А какъ? Неизвъстно. Пойду я възятья въ корошій домъ. Ладно. Кабывыдълили дочь-то!... Нътъ въдь-тестьдьяволь не выдълить. Ну, и буду я ломить на него... - долго... года. Вишь какія діла-то! А кабы мий рублей ста полтора заробить, сейчась бы я это на ноги всталъ и Антипу-то на-ко-ся, выкуси! Хошь выдълить Мареу? Нътъ? не надо! Слава Богу, дъвокъ въ деревнъ не одна она. И былъ бы я, значить, совстви свободенъ, самъ по себъ... Н-да!-Парень вздохнулъ.-А теперь ничего не подълаеть иначе, какъ въ зятья идти. Думалъ было я: воть, моль, на Кубань-то пойду, рублевъ два ста тяпну,--шабашъ! баринъ!... Анъ оно и тю-тю!... не выгоръло. Ну, и пойдешь въ зятья! Въ батраки... Потому своимъ козяйствомъ не справлюсь я... ни въ какомъ разъ! Эхе-хе!...

Парню сильно не хотвлось идти въ зятья. У него даже лицо потускивло и сдвлалось печальнымъ. Онъ тяжело заерзалъ на землв и вывелъ Челкаша изъ раздумья, въ которое тотъ погрузился подъ его рвчи.

Челкашъ почувствовалъ, что ему уже не хочется разговаривать, но почему-то все-таки спросилъ еще:

- Теперь куда жъ ты?
- Да въдь куда? Извъстно домой.
- Ну, брать, мит это неизвъстно... можеть, ты въ Турцію собрался...
- Въ Ту-урцію!...—протянулъ парень.—Кто жъ это туда ходить изъ православныхъ? Сказалъ тоже!...
- Экой ты дуракъ!—вздохнулъ Челкашъ и снова отворотился отъ собесъдника, на этотъ разъ почувствовавъ полное нежеланіе кинуть ему хотя бы слово. Въ немъ этотъ здоровый деревенскій парень что-то будилъ...

Смутное, медленно назръвавшее, досадливое чувство коношилось гдъ-то глубоко и мъшало ему сосредоточиться и обдумать все то, что нужно было сдълать въ эту ночь.

Обруганный парень бормоталь что-то вполголоса, изръдка бросая на босяка косые взгляды. У него смъшно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза какъ-то черезчуръ часто и смъшно помаргивали. Онъ, очевидно, не ожидаль, что его разговоръ съ этимъ усатымъ оборванцемъ кончится такъ быстро и обидно.

Оборванецъ не обращалъ больше на него вниманія. Онъ задумчиво посвистывалъ, сидя на тумбочкъ и отбивая по ней тактъ голой, грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться съ нимъ.

- Эй ты, рыбакъ! Часто это ты запиваешь-то?—началъ было онъ, но въ тотъ же моменть рыбакъ быстро обернулъ къ нему лицо, спросивъ его:
- Слушай, сосунъ! Хочешь сегодня ночью работать со мной? а? Говори скоръй!
 - Чего работать? -- недовърчиво спросилъ парень.

- Ну, чего!... чего заставлю... Рыбу ловить повдемъ. Грести будешь...
- Такъ... Что же? Ничего. Работать можно. Только вотъ... не влетъть бы во что съ тобой. Больно ты закомуристъ... теменъ ты...

Челимать почувствоваль нечто вроде ожога въ груди и съ холодной злобой вполголоса проговориль:

— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вотъ долбану по башкъ-то, такъ тогда у тебя въ ней просвътлъеть...

Онъ соскочиль съ тумбочки, дернуль лѣвой рукой свой усъ, а правую сжаль въ желѣзный жилистый кулакъ и заблестѣлъ глазами.

Парень испугался. Онъ быстро оглянулся вокругъ и, робко моргая, тоже вскочилъ съ земли. Мъряя другъ друга глазами, они помолчали.

— Ну?—сурово спросиль Челкашъ. Онъ кипъль и вздрагиваль отъ оскорбленія, нанесеннаго ему этимъ молоденькимъ теленкомъ, котораго онъ во вое время разговора съ нимъ презиралъ, а теперь сразу возненавидълъ за то, что у него такіе чистые голубые глаза, здоровое, загорълое лицо, короткія, кръпкія руки, за то, что онъ имъеть гдъ-то тамъ деревню, домъ въ ней, за то, что его приглашаетъ въ зятья зажиточный мужикъ, за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что онъ, этоть ребенокъ по сравненію съ нимъ, Челкашомъ, смъеть любить свободу, которой не знаеть цъны и которая ему не нужна. Всегда непріятно видъть, что человъкъ, котораго ты считаешь хуже и ниже себя, любить или ненавидить то же, что и ты, и такимъ образомъ становится похожимъ на тебя.

Парень смотрълъ на Челкаша и чувствовалъ въ немъ хозяина.

— Въдь я...—заговорилъ онъ, —непрочь... Я радъ. Работы въдь и ищу. Мнъ все равно у кого работать, у тебя или у другого. Я только къ тому сказалъ, что не

похожъ ты на рабочаго человъка... больно ужъ тово... драный. Ну, я въдь знаю, что это со всякимъ можеть быть. Господи, рази я не видалъ пьяницъ! Эхъ, сколько!... да еще и не такихъ, какъ ты.

- Ну, ладно, ладно! Такъ согласенъ?—уже мягче переспросилъ Челкашъ.
- Я-то? Айда!... съ моимъ удовольствіемъ! Говори цъну.
- Цъна у меня по работь. Какая работа будеть. Какой уловъ, значить... Пятитку можешь получить. Понялъ?

Но теперь дёло касалось денегь, а туть крестьянинь хотёль быть точнымь и требоваль той же точности оть своего нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недовёріе и подозрительность.

— Это мнъ не рука, брать! Мнъ бы синицу въ руки...

Челкашъ вошелъ въ роль:

— Не толкуй, погоди! Идемъ въ трактиръ!

И они пошли по улицъ рядомъ другъ съ другомъ, Челкашъ—съ важной миной хозяина, покручивая усы, парень—съ выраженіемъ полной готовности подчиниться, но все-таки полный недовърія и боязни.

- А какъ тебя звать?—спросилъ Челкашъ.
- -- Гавриломъ!--отвътилъ парень.

Когда они пришли въ грязный и закоптълый трактиръ, Челкашъ, подойдя къ буфету, фамильярнымъ тономъ завсегдатая заказалъ бутылку водки, щей, поджарку изъ мяса, чаю, и, перечисливъ требуемое, коротко бросилъ буфетчику: "въ долгъ все!", на что буфетчикъ молча кивнулъ головой. Тутъ Гаврила сразу преисполнился уваженіемъ къ своему хозяину, который, несмотря на свой видъ жулика, пользуется такой изъвъстностью и довъріемъ.

 Ну, вотъ мы теперь закусимъ и поговоримъ толкомъ. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда. Онъ ушелъ. Гаврила осмотрълся кругомъ. Трактиръ помъщался въ подвалъ; въ немъ было сыро, темно и весь онъ былъ полонъ удушливымъ запахомъ перегорълой водки, табачнаго дыма, смолы и еще чего-то остраго. Противъ Гаврилы, за другимъ столомъ, сидълъ пьяный человъкъ въ матросскомъ костюмъ, съ рыжей бородой, весь въ угольной пыли и смолъ. Онъ урчалъ, поминутно икая, пъсню, всю изъ какихъ-то перерванныхъ и изломанныхъ словъ, то страшно шипящихъ, то гортанныхъ. Онъ былъ, очевидно, не русскій.

Сзади его помъстились двъ молдаванки, оборванныя, черноволосыя, загорълыя и тоже скрипъвшія какую-то пъсню пьяными голосами.

Потомъ изъ тьмы выступали еще какія-то фигуры, всъ странно растрепанныя, всъ полупьяныя, крикливыя, безпокойныя...

Гаврилъ стало жутко туть одному. Ему захотълось, чтобы хозяинъ воротился скоръе. А шумъ въ трактиръ сливался въ одну ноту, и казалось, что это рычитъ какое-то огромное животное. Оно обладаетъ сотней разнообразныхъ голосовъ, раздраженно, слъпо рвется вонъ изъ этой каменной ямы и не находить выхода на волю... Гаврила чувствовалъ, какъ въ его тъло всасывается что-то опьяняющее и тягостное, отъ чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхомъ бъгавшіе по трактиру...

Пришель Челкашъ, и они стали всть и пить, разговаривая. Съ третьей рюмки Гаврила опьянълъ. Ему стало весело и хотълось сказать что-нибудь пріятное своему хозяину, который,—славный парень!—ничего не видя, такъ вкусно угостиль его. Но слова, цълыми волнами подливавшіяся ему къ горлу, почему-то не сходили съ языка, вдругь отяжелъвшаго.

Челкашъ смотрълъ на него и, насмъшливо улыбаясь, говорилъ:

- Наклюкался!... Э-эхъ, тюря!... съ пяти рюмокъ!... какъ работать-то будешь?...
- Другь!...—лепеталъ Гаврила.—Не бойсь! Я тебъ уважу!... т.-е. воть какъ!... Дай поцълую тебя!... а?...
 - Hy, ну!... Нà, еще клюкни!

Гаврила пилъ и дошелъ, наконецъ, до того, что у него въ глазахъ все стало колебаться ровными, волнообразными движеніями. Это было непріятно и отъ этого тошнило. Лицо у него сдѣлалось глупо-восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, онъ смѣшно шлепалъ губами и мычалъ. Челкашъ, пристально поглядывая на него, точно вспоминалъ что-то, крутилъ свои усы и все улыбался, теперь уже хмуро и зло.

А трактиръ ревълъ пьянымъ шумомъ. Рыжій матросъ спалъ, облокотясь на столъ.

— Ну-ка, идемъ! — сказалъ Челканіъ, вставая.

Гаврила попробовалъ подняться, но не смогъ и, кръпко обругавшись, засмъялся безсмысленнымъ смъкомъ пьянаго.

— Развезло!—молвилъ Челкашъ, снова усаживаясь противъ него на стулъ.

Гаврила все хохоталъ, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тотъ смотрълъ на него пристально, зорко и задумчиво. Онъ видълъ предъ собою человъка, жизнь котораго попала въ его волчьи лапы. Онъ, Челкашъ, чувствовалъ себя въ силъ повернуть ее и такъ, и этакъ. Онъ могъ разломать ее, какъ карту, и могъ помочь ей установиться въ прочныя крестьянскія рамки. Чувствуя себя господиномъ другого, онъ наслаждался и думалъ о томъ, что этотъ парень никогда не изопьетъ такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу... И онъ завидовалъ и сожалълъ объ этой молодой жизни, подсмъивался надъ ней и даже огорчался за нее, представляя, что она можетъ еще разъ попасть въ такія руки, какъ его... И всъ чувства въ концъ концовъ слились у Челкаша въ одно—нъчто

отеческое и хозяйственное. Малаго было жалко и малый быль нужень. Тогда Челкашь взяль Гаврилу подъмышки и, легонько толкая его сзади кольномъ, вывель на дворъ трактира, гдъ сложиль на землю въ тънь отъ полънницы дровъ, а самъ съль около него и закурилъ трубку. Гаврила немного повозился, помычалъ и заснулъ.

Π.

- Ну, готовъ? вполголоса спросилъ Челкашъ у Гаврилы, возившагося съ веслами.
- Сейчасъ! Уключина вотъ шатается, можно разокъ вдарить весломъ?
- Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками кръпче, она и войдетъ себъ на мъсто.

Оба они тихо возились съ лодкой, привязанной къ кормъ одной изъ цълой флотиліи парусныхъ барокъ, пагруженныхъ дубовой клепкой, и большихъ турецкихъ фелюгъ, на половину разгруженныхъ, на половину еще занятыхъ пальмой, сандаломъ и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматыхъ тучъ и море было покойно, черно и густо, какъ масло. Оно дышало влажнымъ соленымъ ароматомъ и ласково звучало, плескаясь о борта судовъ, о берегъ и чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство отъ берега съ моря подымались темные остовы судовъ, вонзая въ небо острыя мачты съ разноцвътными фонарями на вершинахъ. Море отражало огни фонарей и было усъяно массой желтыхъ пятенъ. Они красиво трепетали на его бархатной груди, мягкой, матово-черной и такъ ровно, могуче вздымавшейся. Море спало здоровымъ, кръпкимъ сномъ работника, который сильно усталъ за день.

— 'Вдемъ! — сказалъ Гаврила, спуская весла въ воду.

- Есть! Челкашъ сильнымъ ударомъ руля выгналъ лодку въ полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой водъ, и вода подъ ударами веселъ загоралась голубоватымъ фосфорическимъ сіяніемъ. Длинная лента такого сіянія, мягко сверкая, вилась за кормой лодки.
- Ну, что голова? болить? ласково спросиль Челкашъ.
- Страсть!... какъ чугунъ гудить... Намочу ее водой сейчасъ.
- Зачёмъ? Ты на̀-ко вотъ нутро помочи, можетъ, скорте очухаешься, и онъ протянулъ Гаврилт бутылку.
 - Ой ли? Господи благослови!...

Послышалось тихое бульканье.

— Эй ты! радъ?... будеть! — остановиль его Челкашъ. Лодка помчалась снова, безшумно и легко вертясь среди судовъ... Вдругъ она вырвалась изъ ихъ толин, и море-безконечное, могучее, блестящее-развернулось передъ ними, уходя въ синюю даль, гдъ изъ водъ его вздимались въ небо гори тучъ -- лилово-сизыхъ, съ желтыми пуховыми каймами по краямъ, зеленоватыхъ, цвъта морской воды и тъхъ скучныхъ, свинповыхъ тучъ, что бросають оть себя такія тоскливыя, тяжелыя тыни, угнетающія умь и душу. Оны ползли такъ медленно одна на другую и, то сливаясь, то обгоняя другь друга, мъщали свои цвъта и формы, поглошая сами себя и вновь возникая въ новыхъ очертаніяхъ, величественныя и угрюмыя... И что-то роковое было въ этомъ медленномъ движеніи бездушныхъ массъ. Казалось, что тамъ, на краю моря, ихъ безконечно много и что они всегда будуть такъ равнодушно всползать на небо, задавшись тупо злой цёлью не позволять ему никогда больше блестьть надъ соннымъ моремъ милліонами своихъ золотыхъ очей-разноцвътныхъ звъздъ, живыхъ и мечтательно сіяющихъ, возбуждающихъ высокія желанія въ людяхъ, которымъ дорогъ ихъ святой и чистый блескъ.

- Хорошо море?--спросиль Челкашъ.
- Ничего! Только боязно въ немъ, отвътилъ Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по водъ. Вода чуть слышно звенъла и плескалась подъ ударами длинныхъ веселъ, плескалась и все блестъла этимъ теплымъ голубымъ свътомъ фосфора.
- Боязно! Экая дура!... насмъшливо проворчалъ Челкашъ.

Онъ, воръ и циникъ, любилъ море. Его кипучая, нервная натура, жадная на впечатлѣнія, никогда не пресыщалась созерцаніемъ этой темной широты, безкрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой отвѣтъ на свой вопросъ о красотѣ тогочто онъ любилъ. Сидя на кормѣ, онъ рѣзалъ своимъ весломъ воду и смотрѣлъ впередъ спокойно, полный желанія ѣхать долго и далеко по этой бархатной глади.

На моръ въ немъ всегда поднималось широкое, теплое Тувство, охватывавшее всю его душу и немного очищавшее ее отъ житейской скверны. Онъ цънилъ это и любилъ видъть себя лучшимъ тутъ, среди воды и воздуха, гдъ думы о жизни и сама жизнь всегда теряють—первыя—остроту, вторая—цъну. По ночамъ надъморемъ плавно носится мягкій шумъ его соннаго дыханія, этотъ необъятный звукъ вливаеть въ душу человъка спокойствіе и, ласково укрощая ея злые порывы, родить въ ней могучія мечты...

— A снасть-то гдъ? Э!—вдругъ спросилъ Гаврила, безпокойно оглядывая лодку.

Челкашъ вздрогнулъ.

- Снасть? Она у меня въ кормъ.
- Какая же это снасть? снова съ подозрѣніемъ въ голосъ освъдомился Гаврила.
 - Какая?... подпуска и...

Но Челкату стало стыдно врать предъ этимъ маль-

чишкой, скрывая истинныя свои задачи, и ему было жаль твхъ думъ и чувствъ, которыя уничтожилъ этотъ парень своимъ вопросомъ. Онъ разсердился. Знакомое ему острое жженіе въ груди и у горла передернуло его, и онъ внушительно и жестко сказалъ Гаврилъ:

— Ты воть что, сидишь, ну и сиди! А не въ свое дъло носа не суй. Наняли тебя грести, ты и греби. А коли будешь языкомъ трепать, будеть плохо. Понялъ?...

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались въ водъ, вспънивая ее, и Гаврила безпокойно завозился на скамъъ.

— Греби!

Ръзкое ругательство потрясло воздухъ. Гаврила взмахнулъ веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, съ шумомъ разръзая воду.

— Ровиви!... `

Челкашъ привсталъ съ кормы, не выпуская весла изъ рукъ и воткнувъ свои холодные глаза въ блъдное, съ трясущимися губами лицо Гаврилы. Изогнувшійся, наклоняясь впередъ, онъ походилъ на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипъніе зубовъ и робкое пощелкиваніе какими-то костяшками.

- Кто кричитъ? раздался съ моря суровый окрикъ.
- Ну, дьяволь, греби же!... тише веслами!... убью, собаку!... Ну же, греби!... Разъ, два! Ну! Пикни только!... Рразорву!...—шипълъ Челкашъ.
- Богородице... дъво...—шепталъ Гаврила, дрожа и изнемогая отъ страха и усилій.

Лодка плавно повернулась и пошла назадъ къ гавани, гдъ огни фонарей столпились въ разноцвътную группу и видны были стволы мачтъ.

— Эй! кто ореть?—донеслось снова.

Теперь голосъ былъ дальше, чъмъ въ первый разъ. Челкашъ уснокоился.

— Самъ ты, другъ, и орешь! — сказалъ онъ по на-

правленію криковъ и затъмъ обратился къ Гаврилъ, все еще шептавшему молитву: — Ну, братъ, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами — конецътебъ. Чуешь? Я бы тебя сразу... къ рыбамъ!...

Теперь, когда Челкашъ говорилъ спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащій отъ страха, взмолился:

- Слушай, отпусти ты меня! Христомъ прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!... Про-опалъ я совсъмъ!... Ну, вспомни Бога, отпусти! Что я тебъ? Не могу я этого!... Не бывалъ я въ такихъ дълахъ... Первый разъ... Господи! Пропаду въдь я! Какъ ты это, брать, обощелъ меня? а? Гръшно тебъ!... Душу въдь губишь!... Ну, дъла-а...
- Какія дъла?—сурово спросилъ Челкашъ.—А? Ну, какія дъла?

Его забавлялъ страхъ парня, и онъ наслаждался и страхомъ Гаврилы, и тъмъ, что вотъ какой онъ, Челкашъ, грозный человъкъ.

- Темныя д'вла, брать... Пусти для Бога!... Что я теб'в?... а? Милый...
- Ну, молчи! Не нуженъ былъ бы ты, такъ я тебя не бралъ бы. Понялъ?—ну и молчи!
 - Господи!-рыдая, вздохнулъ Гаврила.
 - Ну-ну!... куксись у меня!--оборваль его Челкашъ.

Но Гаврила теперь уже не могь удержаться и, тихо всхлипывая, плакаль, сморкался, ерзаль по лавкъ, но гребъ сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрълой. Опять на дорогъ встали темные корпуса судовъ и лодка опять потерялась въ нихъ, волчкомъ вертясь въ узкихъ полосахъ воды между бортами.

- Эй ты! слушай! Буде спросить кто о чемъ молчи, коли живъ быть хочешь! Понялъ?
- Эхма!...—безнадежно вздохнулъ Гаврила въ отвъть на суровое приказаніе и горько добавилъ:—Судьбина моя пропащая!...

— Не вой!-внушительно шепнулъ Челкашъ.

Гаврила отъ этого шопота потерялъ всякую способность соображать что-либо и помертвълъ, охваченный холоднымъ предчувствіемъ бъды. Онъ машинально опускалъ весла въ воду, откидывался назадъ, вынималъ ихъ, бросалъ снова и все время упорно смотрълъ на свои лапти.

Сонный шумъ волнъ гудълъ угрюмо и былъ страшенъ. Вотъ гавань... За ея гранитной стъной слышались людскіе голоса, плескъ воды, пъсня и тонкіе свистки.

— Стой!—шепнулъ Челкашъ.—Бросай весла! Упирайся руками въ стъну! Тише, чорть!...

Гаврила, цъпляясь руками за скользкій камень, повель лодку вдоль стъны. Лодка двигалась безъ шороха, скользя бортомъ по наросшей на камиъ слизи.

— Стой!... Дай весла! дай сюда! А паспорть у тебя гдъ? въ котомкъ? Дай котомку! Ну, давай скоръй! Это, милъ другъ, для того, чтобы ты не удралъ... Теперь не удерешь. Безъ веселъ-то ты бы кое-какъ могъ удрать, а безъ паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь—на днъ моря найду!...

И вдругъ, уцъпившись за что-то руками, Челкашъ поднялся на воздухъ и исчезъ на стънъ.

Гаврила вздрогнуль... Это вышло такъ быстро. Онъ почувствоваль, какъ съ него сваливается, сползаеть та проклятая тяжесть и страхъ, который онъ чувствоваль при этомъ усатомъ худомъ воръ... Бъжать теперь!... И онъ, свободно вздохнувъ, оглянулся кругомъ. Слъва отъ него возвышался черный корпусъ безъ мачть, какой-то огромный гробъ, безлюдный и пустой... Каждый ударъ волны въ его бока родилъ въ немъ глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздохъ. Справа надъ водой тянулась сырая каменная стъна мола, какъ холодная и тяжелая змъя. Сзади виднълись тоже какіе-то черные остовы, а спереди, въ отверстіе между стъной и

бортомъ этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, съ черными надъ нимъ тучами. И онъ медленно двигались, огромныя, тяжелыя, источая изътьмы своей ужасъ и готовыя раздавить человъка тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловъще. Гаврилъ стало страшно. Этотъ страхъ былъ хуже страха, навъяннаго на него Челкашемъ; онъ охватилъ грудь Гаврилы кръпкимъ объятіемъ, сжалъ его въ робкій комокъ и приковалъ къ скамьъ лодки...

А кругомъ все молчало. Ни звука, кромѣ вздоховъ моря, и казалось, что это молчаніе вотъ-вотъ разразится чѣмъ-то страшнымъ, оѣшено-громкимъ, чѣмъ-то такимъ, что потрясетъ все море до дна, разорветъ тяжелыя стаи тучъ на неоѣ и раскидаетъ по пустынѣ моря всѣ эти черныя суда. Тучи ползли по неоу такъ же медленно и скучно, какъ и раньше, но ихъ все больше вздымалось изъ моря, и можно было, глядя на неоо, думать, что и оно—тоже море, только море взволнованное и опрокинутое надъ другимъ, соннымъ, покойнымъ и гладкимъ. Тучи походили на волны, ринувшіяся на землю внизъ кудрявыми сѣдыми хреотами, и на пропасти, изъ которыхъ вырваны эти волны вѣтромъ, и на зарождавшіеся валы, еще не покрытые зеленоватой пѣной оѣшенства и гнѣва.

Гаврила чувствоваль себя раздавленнымь этой мрачной тишиной и красотой и чувствоваль, что онь хочеть видъть скоръе хозяина. А какъ онъ тамъ останется?... Время шло медленно, медленнъе, чъмъ ползли тъ тучи по небу... И тишина отъ времени становилась все зловъщъй... Но вотъ за стъной мола послышался плескъ, шорохъ и что-то похожее на шопотъ. Гаврилъ показалось, что онъ сейчасъ умреть...

 — Эй! Спишь? Держи!... осторожно!...—раздался глухой голосъ Челкаша.

Со ствны спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принялъ это въ лодку. Спустилось еще одно

такое же. Затвиъ поперекъ ствиы вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, къ ногамъ Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавшій Челкашъ усвлея на кормъ.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

- Усталь?—спросиль онъ.
- Не безъ того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!... Хорошо ты, брать, заработаль! Полъ-дъла сдълали. Теперь только у чертей между глазъ проилыть, а тамъ—получай денежки и ступай къ своей Машкъ. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?
- Н...нъту! Гаврила старался во всю силу, работая грудью, какъ мъхами, и руками, какъ стальными пружинами. Вода подъ лодкой рокотала и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила сразу весь облился потомъ, но продолжалъ грести во всю силу. Переживъ дважды въ эту ночь такой страхъ, онъ теперь боялся пережить его въ третій разъ и желаль одного: скорве кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бъжать отъ этого человъка, пока онъ въ самомъ дълъ не убилъ или не завелъ его въ тюрьму. Онъ ръшилъ не говорить съ нимъ ни о чемъ, не противорвчить ему, двлать все, что онъ велить, и, коли удается благополучно развязаться съ нимъ, завтра же отслужить молебенъ Николаю Чудотворцу... Изъ его груди готова была вылиться страстная молитва... Но онъ сдерживался, пыхтълъ, какъ паровикъ, и молчалъ, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тоть, сухой, длинный, нагнувшійся впередь и похожій на птицу, готовую летьть куда-то, смотрыть во тьму впередь лодки своими ястребиными очами и, поводя хищнымь, горбатымь носомь, одной рукой цыпко держаль ручку руля, а другой теребиль свой усь, вздрагивавшій оть улыбокь, то и дыло кривившихь его тонкія губы. Челкашь быль доволень своей удачей, собой и этимь парнемь, такъ сильно запуганнымь имъ

и превратившимся въ его раба. Онъ предвкушалъ широкій кутежъ завтра, а теперь наслаждался своей силой и порабощеніемъ этого молодого, свѣжаго парня. Онъ смотрѣлъ, какъ тотъ старался, и ему стало жалко, захотѣлось ободрить его.

- Эй! усмъхаясь, тихо заговориль онъ. Что, здорово ты перепугался? а?
 - Н...ничего!... выдохнулъ Гаврила и крякнулъ.
- Да ужъ теперь ты не очень наваливайся на веслато. Теперь : шабашъ. Вотъ еще только одно бы мъсто пройти... Отдохни-ка...

Гаврила послушно пріостановился, вытеръ рукавомъ рубахи поть съ лица и снова опустиль весла въ воду.

— Ну, греби тише. Чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брать, туть народы серьезные... Какъ разъ изъ ружья пошалить могуть. Такую шишку на лбу набыють, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по водъ почти совершенно беззвучно. Только съ веселъ капали голубыя капли, и когда онъ падали въ море, на мъстъ ихъ паденія вспыхивало не надолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнъе и молчаливъй. Теперь небо уже не походило на взволнованное море — тучи расплылись по немъ и покрыли его ровнымъ, тяжелымъ пологомъ, низко опустившимся надъ водой и неподвижнымъ. А море стало еще спокойнъй, чернъй и сильнъе пахло теплымъ, соленымъ запахомъ и ужъ не казалось такимъ широкимъ, какъ раньше.

 — Эхъ, кабы дождь пошелъ! — прошепталъ Челкашъ. — Такъ бы мы и проъхали, какъ за занавъской.

Слъва и справа отъ лодки изъ черной воды поднялись какія-то зданія—баржи, неподвижныя, мрачныя и тоже черныя. На одной изъ нихъ двигался огонь, ктото ходилъ съ фонаремъ. Море, гладя ихъ бока, звучало просительно и глухо, а они отвъчали ему эхомъ, гул-

кимъ и холоднымъ, точно спорили, не желая уступить ему въ чемъ-то.

— Кордоны!...-чуть слышно шепнулъ Челкашъ.

Съ момента, когда онъ велълъ Гаврилъ грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряженіе. Онъ весь подался впередъ, во тьму, и ему казалось, что онъ растеть,—кости и жилы вытягивались въ немъ съ тупой болью, голова, заполоненная одной мыслью, болъла, кожа на спинъ вздрагивала, а въ ноги вонзались маленькія, острыя и холодныя иглы. Глаза ломило отъ напряженнаго разсматриванья тьмы, изъ которой онъ ждалъ — вотъ-вотъ встанеть нъчто и гаркнеть на нихъ: "Стой, воры!..."

Теперь, когда Челкашъ шепнулъ: "кордоны!", Гаврила дрогнулъ: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задъла по туго натянутымъ нервамъ, — онъ котълъ крикнуть, позвать людей на помощь къ себъ... Онъ уже открылъ ротъ и привсталъ немного на лавкъ, выпятилъ грудь, вобралъ въ нее много воздуха и открылъ ротъ... но вдругъ, пораженный ужасомъ, ударившимъ его, какъ плетью, закрылъ глаза и свалился съ лавки.

...Впереди лодки, далеко на горизонтъ изъ черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой мечъ, поднялся, разсъкъ тьму ночи, скользнулъ своимъ остріемъ по тучамъ въ небъ и легъ на грудь моря широкой голубой полосой. Онъ легъ, и въ полосу его сіянія изъ мрака выплыли невидимыя до той поры суда, черныя, молчаливыя, обвъшанныя пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на днъ моря, увлеченныя туда могучей силой бури, и вотъ теперь поднялись оттуда по вельнію огненнаго меча, рожденнаго моремъ,—поднялись, чтобъ посмотръть на небо и на все, что поверхъ воды... Ихъ такелажъ обнималъ собой мачты и казался цъпкими водорослями, поднявшимися со дна вмъстъ съ этими черными гигантами, опутанными ихъ

сътью. И онъ опять поднялся кверху съ моря, этоть странный голубой мечъ, поднялся, сверкая, снова разсъкъ ночь и снова легъ уже въ другомъ направленіи. И опять тамъ, гдъ онъ легъ, всплыли изъ мрака остовы судовъ, невидимыхъ до его появленія.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на водъ, какъ бы недоумъвая. Гаврила лежалъ на днъ, закрывъ лицо руками, а Челкашъ толкалъ его весломъ и шинълъ бъшено, но тихо:

— Дуракъ, это крейсеръ таможенный... Это фонарь электрическій!... Вставай, дубина! Въдь на насъ свъть бросять сейчасъ!... Погубишь, чорть, и себя, и меня! Ну!...

И наконецъ, когда одинъ изъ ударовъ острымъ концомъ весла сильнъе другихъ опустился на спину Гаврилы, онъ вскочилъ, все еще боясь открытъ глаза, сълъ на лавку и, ощупью схвативъ весла, двинулъ лодку.

— Тише! Убью въдь! Ну, тише!... Эка дуракъ, чортъ тебя возьми!... Чего ты испугался? Ну? каря!... Фонарь да зеркало — только и всего. Тише веслами!... кислый чортъ!... Наклоняють зеркало такъ и этакъ и освъщаютъ море, чтобъ видъть—не плывуть ли гдъ такіе, какъ мы съ тобой. За контрабандой это слъдять. Насъ не задънуть—далеко отплыли они. Не бойся, парень, не задънуть. Теперь мы... Челкашъ торжествующе оглянулся кругомъ.—Кончено, выплыли!... Фу-у!... Н-ну, счастливъ ты, дубина стоеросовая!...

Гаврила молчалъ, гребъ и, тяжело дыша, искоса смотрълъ туда, гдъ все поднимался и опускался этотъ огненный мечъ. Онъ никакъ не могъ повърить Челкашу, что это только фонарь съ рефлекторомъ. Холодное голубое сіяніе, разрубавшее тьму, заставляя море свътиться серебрянымъ блескомъ, имъло въ себъ нъчто необъяснимое, и Гаврила опять впалъ въ гипнозъ тоскливаго страха. И вновь предчувствіе тяготило ему грудь. Онъ гребъ, какъ машина, и все сжимался, точно

ожидаль удара сверху, и ничего, никакого желанія не было уже въ немъ—онъ былъ пусть и обездушенъ. Волненія этой ночи выглодали, наконецъ, изъ него все человъческое въ немъ.

А Челкашъ снова торжествовалъ: полная удача!... Его привычные къ потрясеніямъ нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и въ глазахъ разгорался жадный огонекъ. Онъ чувствовалъ себя великолъпно, посвистывалъ сквозь зубы, глубоко вдыхалъ въ себя влажный воздухъ моря, оглядывался кругомъ и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гаврилъ.

Вътеръ пронесся и разбудилъ море, вдругъ заигравшее частой зыбью. Тучи сдълались какъ бы тоньше и прозрачнъй, но все небо было обложено ими. Несмотря на то, что вътеръ, хотя еще легкій, свободно носился надъ моремъ, тучи были неподвижны и точно думали какую-то сърую, скучную думу.

— Ну, ты, брать, очухайся! пора ужь! Ишь, тебя какь — точно изъ кожи-то твоей весь духъ выдавили, одинъ мъшокъ костей остался! Другъ милый!... Конецъ ужъ всему. Эй!...

Гаврилъ все-таки было пріятно слышать человъческій голось, хотя это и говорилъ Челкашъ.

- -- Я слышу,--тихо сказаль онъ.
- То-то! Мякишъ... Ну-ка, садись на руль, а я въ весла, усталъ въдь, поди!

Гаврила машинально перемънилъ мъсто. Когда Челкашъ, мъняясь съ нимъ мъстами, взглянулъ ему въ лицо и замътилъ, что онъ шатается на дрожащихъ ногахъ, ему стало еще больше жаль парня. Онъ хлопнулъ его по плечу.

- Ну, ну, не робы! Заработалъ зато хорошо. Я те, братъ, награжу богато. Четвертной билетъ хочешь получить? а?
 - Мнъ... ничего не надо. Только на берегъ бы...

Челкашъ махнулъ рукой, плюнулъ и принялся грести, далеко назадъ забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая ихъ, украшая бахромой пъны, сталкивая другъ съ другомъ и разбивая въ мелкую пыль. Пъна, тая, шипъла и вздыхала,—и все кругомъ было заполнено музыкальнымъ шумомъ и плескомъ. Тъма какъ бы стала живъй.

- Ну, скажи мив... заговориль Челкашъ, —придешь ты въ деревню, женишься, начнешь землю копать, хлъбъ съять, жена дътей народить, кормовъ не будеть хватать; ну, будешь ты всю жизнь изъ кожи лъзть... Ну, и что? Много въ этомъ смаку?
- Какой ужъ смакъ!—робко и вздрагивая отвътиль Гаврила,—чего туть...

Кое-гдъ вътеръ прорывалъ тучи и изъ разрывовъ смотръли голубые кусочки неба съ одной—двумя звъздочками на нихъ. Отраженныя играющимъ моремъ, эти звъздочки прыгали по волнамъ, то исчезая, то вновь блестя.

- Правъе держи!—сказалъ Челкашъ.—Скоро ужъ, чай, пріъдемъ. Н-да!... Кончили. Работка важная! Вотъ видишь какъ?... Ночь одна—и полтысячи я тяпнулъ! а? какъ это?
- Полтысячи?!—недовърчиво протянулъ Гаврила, но сейчасъ же испугался и быстро спросилъ, толкая ногой тюки въ додкъ:—А это что же будеть за вещь?
- Это—шелкъ. Дорогая вещь. Все-то, коли по цънъ продать, такъ и за тысячу хватить. Ну, я не дорожусь... Ловко это?...
- Н-да-а?...—вопросительно протянулъ Гаврила. Кабы мнъ такъ-то воть!—вздохнулъ онъ, сразу вспомнивъ деревню, свое убогое хозяйство, его нужды, свою мать и все то далекое, родное, ради чего онъ ходилъ на работу, ради чего измучился такъ въ эту ночь. Его охватила волна воспоминаній о своей деревенькъ, сбъ-

гавшей по крутой горъ внизъ, къ ръчкъ, скрытой въ лъсу березъ, ветелъ, рябинъ, черемухи... Эти восноминанія вдохнули въ него нъчто теплое и немного ободрили его.—Эхъ, важно бы!... грустно вздохнулъ онъ.

- Н-да!... Я думаю, ты бы сейчась по чугункъ домой... Ужъ и полюбили бы тебя дъвки дома, а-ахъ какъ!... Любую бери! Домъ бы себъ сгрохалъ... ну, для дома денегъ, положимъ, маловато...
- Это върно... для дому нехватка. У насъ дорогъ лъсъ-то.
- Ну-къ, что жъ? Старый бы поправилъ. Лошадь какъ? есть?
 - Лошадь? Она и есть, да больно стара... чорть.
- Ну, значить, лошадь. Ха-арошую лошадь! корову... Овецъ... Птицы разной... А?
- Не говори!... Кабы этакъ-то! Охъ ты, Господи! воть ужъ пожиль бы!...
- Н-да, брать, житьишко было бы ничего себъ... Я тоже понимаю толкъ въ этомъ дълъ. Было когда-то свое гиъздо... Отецъ-то былъ изъ первыхъ богатъевъ въ селъ...

Челкашъ гребъ медленно. Лодка колыхалась на волнахъ, шаловливо плескавшихся о ея борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все ръзвъй и ръзвъй. Двое людей мечтали, покачиваясь на водъ и задумчиво поглядывая вокругъ себя. Челкашъ началъ наводить Гаврилу на мысль о деревнъ, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала онъ говорилъ, скептически посмъиваясь себъ въ усы, но потомъ, подавая реплики собесъднику и напоминая ему о радостяхъ крестьянской жизни, въ которыхъ самъ онъ давно разочаровался, забылъ о нихъ и вспоминалъ только теперь,—онъ постепенно увлекся, и вмъсто того, чтобы разспрашивать парня о деревнъ и ея дълахъ, незамътно для себя сталъ самъ разсказывать ему:

— Главное въ крестьянской жизни-это, брать, сво-

бода! Хозяинъ ты есть самъ себъ. У тебя твой домъ—грошъ ему цъна—да онъ твой. У тебя земля своя—всего итого ея горсть—да она твоя! Курица у тебя своя, яйцо свое, яблоко свое! Король ты на своей землъ!... И потомъ порядокъ... Утромъ всталъ—работа... весной одна, лътомъ другая, осенью, зимой опять иная. Куда ни пойди, воротишься въ свой домъ. Тепло!... Покой!... Король въдь? Такъ ли?—воодушевленно закончилъ Челкашъ длинный перечень крестьянскихъ преимуществъ и правъ и почему-то запамятовавъ объ обязанностяхъ.

Гаврила глядълъ на него съ любопытствомъ и тоже воодушевлялся. Онъ во время этого разговора успълъ уже забыть, съ къмъ имъеть дъло, и видълъ предъ собой такого же крестьянина, какъ и самъ онъ, прилъпленнаго навъки къ землъ потомъ многихъ поколъній, связаннаго съ ней воспоминаніями дътства, самовольно отлучившагося отъ нея и отъ заботъ о ней и понесшаго за эту отлучку должное наказаніе.

— Это, брать родимый, върно! Акъ, какъ върно! Воть гляди-ка на себя, что ты теперь такое безъ земли? ага!... Землю, брать, какъ мать, не забудешь надолго.

Челкашъ одумался... Онъ почувствовалъ это раздражающее жженіе въ груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбіе—самолюбіе безшабашнаго удальца—бывало задѣто кѣмъ-либо, и особенно тѣмъ, кто не имълъ цѣны въ его глазахъ.

- Замололъ!...—сказалъ онъ свиръпо;—ты, можеть, думаль, что я все это въ серьезъ... Держи карманъ шире!
- Да, чудакъ челов вкъ!...—снова оробълъ Гаврила.— Развъ я про тебя говорю? Чай, такихъ-то, какъ ты— много! Эхъ, сколько несчастнаго народу на свътъ!... Шатающихъ...
- Садись, тюлень, въ весла!—кратко скомандовалъ Челкашъ, почему-то сдержавъ въ себъ цълый потокъ горячей ругани, хлынувшей ему къ горлу.

Они опять перемънились мъстами, при чемъ Челкашъ,

перелъзая на корму черезъ тюки, ощутилъ въ себъ острое желаніе дать Гаврилъ пинка, чтобы онъ слетъль въ воду, и въ то же время не нашелъ силы взглянуть ему въ лицо.

Короткій разговоръ смолкъ, но теперь даже отъ молчанія Гаврилы на Челкаша въяло деревней... Онъ вспоминалъ прошлое, забывая править лодкой, повернутой волненіемъ и плывшей куда-то въ море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цъль, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая подъ веслами своимъ ласковымъ голубымъ огнемъ. А передъ Челкашемъ быстро неслись картины прошлаго, далекаго прошлаго, отдъленнаго отъ настоящаго цълой стъной изъ одиннадцати лътъ босяцкой жизни. Онъ успълъ посмотръть себя ребенкомъ, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, съ добрыми сърыми глазами, отца-рыжебородаго гиганта, съ суровымъ лицомъ; видълъ себя женихомъ и видълъ жену, черноглазую Аненсу, съ длинной косой, полную, мягкую, веселую... снова себя красавцемъ, гвардейскимъ солдатомъ; снова отца, уже съдого и согнутаго работой, и мать, морщинистую, освиную къ земль; посмотръль и картину встръчи его деревней, когда онъ возвратился со службы; видълъ и то, какъ гордился передъ всей деревней отецъ своимъ Григоріемъ, усатымъ, здоровымъ солдатомъ, ловкимъ красавцемъ... Память, этотъ бичь несчастныхь, оживляеть даже камни прошлаго и даже въ выпитый нъкогда ядъ подливаетъ капли меда... и это все затъмъ только, чтобы добить человъка сознаніемъ ошибокъ и, заставивъ его полюбить это прошлое, лишить надеждъ на будущее.

Челкашъ чувствовалъ себя овъяннымъ примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшаго съ собой до его слуха и ласковыя слова матери, и солидныя ръчи истоваго крестьянина-отца, много забытыхъ звуковъ и много сочнаго запаха матушки-земли, только-

что оттаявшей, только-что вспаханной и только-что покрытой изумруднымь шелкомъ озими... И онъ чувствовалъ себя сбитымъ, упавшимъ, жалкимъ и одинокимъ, вырваннымъ и выброшеннымъ навсегда изъ того порядка жизни, въ которомъ выработалась та кровь, что течетъ въ его жилахъ.

— Эп! а куда же мы ъдемъ? — спросилъ вдругъ Гаврила.

Челкашъ дрогнулъ и оглянулся тревожнымъ взоромъ хищника.

- Ишь, чорть занесь!... Ничего... Гребни-ка погуще... Сейчасъ пріъдемъ.
 - Задумался?—улыбаясь спросиль Гаврила.

Челкашъ зорко посмотрълъ на него. Малый совсъмъ пришелъ въ себя; онъ былъ покоенъ, веселъ и даже какъ будто торжествовалъ. Молодъ онъ былъ очень, вся жизнь у него въ рукахъ. И ничего онъ не знаеть. Это плохо! Развъ воть земля удержить его... Челкашу, когда въ его головъ мелькнули эти мысли, стало еще грустнъе, и на вопросъ Гаврилы онъ угрюмо буркнулъ:

- Усталъ я... Да и качаетъ...
- Покачиваеть, это върно... Такъ теперь мы, значить, ужъ не попадемся съ этимъ?—Гаврила ткнулъ ногой въ тюки.
- Нъть... Будь покоенъ. Сейчасъ вотъ сдамъ и денежки получу... H-да!...
 - Пять сотенъ?
 - Не меньше, чай...
- Это тово... деньга! Кабы мив, горюну!... Эхъ, и сыграль бы я пвсенку съ ними!...
 - По крестьянству?
 - Никакъ больше! Сейчасъ бы...

И Гаврила понесся на крыльяхъ мечты. Челкашъ казался пришибленнымъ. Усы у него обвисли, правый бокъ, захлестанный волнами, былъ мокръ, глаза ввалились и потеряли блескъ. Онъ былъ очень жалокъ и тя-

желъ. Все хищное въ его фигуръ какъ-то стушевалось приниженной задумчивостью, смотръвшей даже изъ складокъ его грязной рубахи.

- А усталъ и я здорово... Сморился.
- Воть сейчась прівдемъ... Вонь гдв...

Челкашъ круто повернулъ лодку и направилъ ее къ чему-то черному, высовывавшемуся изъ воды.

Небо снова все покрылось тучами и посыпался дождь, мелкій, теплый, весело звякавшій, падая на хребты волнъ.

— Стой! тише!—скомандоваль Челкашъ.

Лодка стукнулась носомъ о корпусъ барки.

- Спять, что ли, черти?...—ворчаль Челкашь, цѣпляясь багромъ за какія-то веревки, спускавшіяся съ борта.—Трапъ не спущенъ... Дождь пошель еще... не могъ раньше-то! Эй вы, губки!... Эй-Эй!...
- Селкашъ это?—раздалось сверху ласковое мурлыканье.
 - Ну, спускай трапъ!
 - Калимера, Селкашъ!
- Спускай трапъ, копченый дьяволъ! варевълъ Челкашъ.
 - О, сердытій пришелъ сегодня... Элоу!
- Лѣзь, Гаврила!—обратился Челкашъ къ товарищу.

Въ минуту они были на палубъ, гдъ три темныхъ бородатыхъ фигуры, оживленно болтая другъ съ другомъ на странномъ колючемъ языкъ, смотръли за бортъ въ лодку Челкаша. Четвертый, завернутый въ длинную хламиду, подошелъ къ нему и молча пожалъ ему руку, потомъ подозрительно оглянулъ Гаврилу.

- Припаси къ утру деньги, коротко сказалъ ему Челкашъ. А теперь я спать иду. Гаврила, идемъ! Ъсть хочешь?
- Спать бы...—отвътилъ Гаврила, и черезъ пять минутъ храпълъ въ грязномъ трюмъ барки, а Челкашъ,

сидя рядомъ съ нимъ, примърялъ себъ на ногу чей-то сапогъ и, задумчиво сплевывая въ сторону, злобно и грустно свистълъ сквозь зубы. Потомъ онъ вытянулся рядомъ съ Гаврилой и, не снимая съ ноги надътый сапогъ, заложивъ руки подъ голову, сталъ сосредоточенно смотръть въ палубу, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей водь, гдъ-то поскрипывало дерево жалобнымъ звукомъ, дождь мягко сыпался на палубу и плескались волны о борта... Все это было грустно и звучало, какъ колыбельная пъснь матери, не имъющей надеждъ на счастье своего сына...

Челкащъ, оскаливъ зубы, приподнялъ голову, оглядълся вокругъ... и, прошептавъ что-то, снова улегся... Раскинувъ ноги, онъ сталъ похожъ на большія ножницы.

III.

Онъ проснулся первымъ, тревожно оглянулся вокругъ, сразу успокоился и посмотрълъ на Гаврилу, еще спавшаго. Тотъ сладко всхрапывалъ и во снъ улыбался чему-то всъмъ своимъ дътскимъ, здоровымъ, загорълымъ лицомъ. Челкащъ вздохнулъ и полъзъ вверхъ по узкой веревочной лъстницъ. Въ отверстіе трюма смотрълъ свинцовый кусокъ неба. Было свътло, но по осеннему скучно и съро.

Челкашъ вернулся часа черезъ два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху, на губахъ сіяла добродушно-веселая улыбка. Онъ былъ одъть въ длинные кръпкіе сапоги, въ куртку, въ кожаные штаны и походилъ на охотника. Весь его костюмъ былъ потертъ, но кръпокъ и очень шелъ къ нему, дълая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный видъ.

— Эй, теленокъ, вставай!... — толкнулъ онъ ногой Гаврилу.

Тотъ вскочилъ и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкашъ захохоталъ.

- Ишь ты какой!...—широко улыбнулся, наконецъ, Гаврила.—Бариномъ сталъ!
- У насъ это скоро. Ну, и пугливъ же ты! ай-ай! Сколько разъ умирать-то вчера ночью собирался? а? скажи-ка!
- Да вишь ты, самъ посуди, впервой я на такое дъло! Въдь можно было душу загубить на всю жизны!
 - Ну, а еще разъ повхаль бы? а?
- Еще?... Да въдь... это... какъ тебъ... сказать? Изъза какой корысти?... вотъ что!
 - Ну, ежели бы двъ радужныхъ?
 - Два ста рублевъ, значитъ? Ничего... Это можно...
 - Стой! А какъ душу-то загубишь?...
- Да въдь, можеть... и не загубищь! улыбнулся Гаврила. Не загубищь, а человъкомъ на всю жизнь сдълаешься.

Челкашъ весело хохоталъ.

- -- Ну, ладно! будеть шутки шутить. **Вдемъ на бе**регъ... Собирайся!
 - Да мив чего же? Я готовъ...

И вотъ они снова въ лодкъ. Челкашъ на рулъ, Гаврила на веслахъ. Надъ ними небо, сърое, ровно затянутое тучами, и ихъ лодкой играетъ мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнахъ, пока еще мелкихъ, весело бросающихъ въ нее свътлыя, соленыя брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчанаго берега, а за кормой уходитъ вдаль свободное, игривое море, все изрытое бъгающими стаями волнъ, кое-гдъ уже убранныхъ пышной и бълой бахромой пъны. Тамъ же, вдали, видно много судовъ, качающихся на груди моря, далеко влъво—цълый лъсъ мачтъ и бълыя груды домовъ города. Оттуда по морю льется глухой гулъ, рокочущій и вмъстъ съ плескомъ волнъ создающій хо-

рошую, сильную музыку... И на все наброшена тонкая пелена пепельнаго тумана, отдаляющаго предметы другь оть друга...

- Эхъ, разыграется къ вечеру-то добре! кивнулъ Челкашъ головой на море.
- Буря?—спросилъ Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Онъ былъ уже мокръ съ головы до ногъ отъ этихъ брызгъ, разбрасываемыхъ по морю вътромъ.
 - Эге!...—подтвердиль Челкашъ.

Гаврила пытливо посмотрълъ на него...

- Ну, сколько жъ тебъ дали?—спросилъ онъ, наконецъ, видя, что Челкашъ не собирается начать разговора.
- Воты! сказалъ Челкашъ, протягивая Гаврилъ что-то вынутое изъ кармана.

Гаврила увидалъ радужныя бумажки, и все въ его глазахъ приняло яркіе, радужные оттънки.

- Этъ ты!... А я въдь думалъ: вралъ ты мнъ!... Это... сколько?
 - Пятьсоть сорокъ! Ловко!
- Л-ловко!...—прошенталь Гаврила, жадными глазами провожая иятьсоть сорокь, снова спрятанные въ карманъ.—Э-эхъ-ма!... Кабы этакія деньги!...—и онъ угнетенно вздохнулъ.
- Гульнемъ мы съ тобой, парнюга! съ восхищеніемъ вскрикнулъ Челкашъ. Эхъ, хватимъ!... Не думай, я тебъ, брать, отдълю... Сорокъ отдълю! а? Доволенъ? Хочешь, сейчасъ дамъ?
- Коли... не обидно тебъ... что же? Я приму! Гаврила весь трепеталъ отъ ожиданія и еще отъ чего-то остраго и сосавшаго ему грудь.
- Ха-ха-ха!... Ахъ ты, чортова кукла! Приму! Прими, братъ, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мнъ такую кучу денегъ дъвать! Избавь ты меня, прими-ка, на!...

Челкашъ протянулъ Гаврилъ нъсколько красныхъ

бумажекъ. Тотъ взялъ ихъ дрожащей рукой, бросилъ весла и сталъ прятать куда-то за пазуху, жадно сощуривъ глаза и шумно втягивая въ себя воздухъ, точно онъ пилъ что-то жгучее. Челкашъ съ насмъшливой улыбкой поглядывалъ на него. А Гаврила уже снова схватилъ весла и гребъ нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустивъ глаза внизъ. У него вздрагивали плечи и уши.

- А жаденъ ты!... Не хорошо... Впрочемъ, что же?... Крестьянинъ...—задумчиво сказалъ Челкашъ.
- Да въдь съ деньгами-то что можно сдълать!... воскликнулъ Гаврила, вдругъ весь вспыхивая страстнымъ возбужденіемъ. И онъ отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и съ лету хватая слова, заговорилъ о жизни въ деревнъ съ деныгами и безъ денегъ. Почетъ, довольство, свобода, веселье!...

Челкашъ слушалъ его внимательно, съ серьезнымъ лицомъ и съ глазами, сощуренными какой-то думой. По временамъ онъ улыбался довольной улыбкой.

— Прівхали!—прервать, наконець, Челкашъ рвчь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее въ пессокъ.

— Ну, брать, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придуть за ней. А мы съ тобой—прощай!... Отсюда до города верстъ восемь. Ты что, опять въ городъ вернешься? а?

На лицъ Челкаша все сіяла добродушно-хитрая улыбка и весь онъ имълъ видъ человъка, задумавшаго нъчто весьма пріятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунувъ руку въ карманъ, онъ шелестълъ тамъ бумажками.

— Нътъ... я... не пойду... Я...—Гаврила задыхался и давился чъмъ-то. Въ немъ бурлила цълая тьма желаній, словъ, чувствъ, взаимно поглощавшихъ другъ друга и палившихъ его, какъ огнемъ.

Челкашъ посмотръль на него, недоумъвая.

- Что это тебя корчить?-спросиль онъ.
- Такъ это...—Но лицо Гаврилы то краснъло, то дълалось сърымъ, и онъ мялся на мъстъ, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый инымъ желаніемъ, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу сдълалось не по себъ при видъ такого возбужденія въ этомъ парнъ. Онъ ждалъ, чъмъ оно разразится.

Гаврила 'началъ какъ-то странно смѣяться смѣхомъ, похожимъ на рыданіе. Голова его была опущена, выраженія его лица Челкашъ не видалъ, смутно видны были уши Гаврилы, то краснѣвшія, то блѣднѣвшія.

- Ну тя къ чорту! махнулъ рукой Челкашъ.— Влюбился ты въ меня, что ли? Мнется, какъ дъвка!... Али разставанье со мной тошно? Эй, сосунъ! Говори, что ты? А то уйду я!...
 - Уходишь!?—звонко крикнуль Гаврила.

Песчаный и пустынный берегь дрогнуль оть его крика и намытыя волнами моря желтыя волны песку точно всколыхнулись. Дрогнуль и Челкашь. Вдругь Гаврила сорвался съ своего мъста, бросился къ ногамъ Челкаша, обняль ихъ своими руками и дернулъ къ себъ. Челкашъ пошатнулся, грузно сълъ на песокъ и, скрипнувъ зубами, ръзко взмахнулъ въ воздухъ своей длинной рукой, сжатой въ кулакъ. Но онъ не успълъ ударить, остановленный стыдливымъ и просительнымъ попотомъ Гаврилы:

— Голубчикъ!... Дай ты мнъ... эти деньги! Дай, Христа ради!... Что онъ тебъ?... Въдь въ одну ночь... только въ ночь... А мнъ года нужны... Дай... молиться за тебя буду! Въчно... въ трехъ церквахъ... о спасеніи души твоей!... Въдь ты ихъ на вътеръ... а я бы въ землю... Эхъ, дай мнъ ихъ! Въдь что въ нихъ тебъ?... Али тебъ дорого? Ночь одна... и богать! Сдълай доброе дъло! Пропащій въдь ты... Нъть тебъ пути... А я бы... охъ, дай ты ихъ мнъ!

Челкашъ, испуганный, изумленный и озлобленный, сидълъ на пескъ, откинувшись назадъ и упираясь въ него руками, сидълъ, молчалъ и страшно таращилъ глаза на парня, уткнувшагося головой въ его колъни и шептавшаго, задыхаясь, свои мольбы. Онъ оттолкнулъ его, наконецъ, вскочилъ на ноги и, сунувъ руки въ карманъ, бросилъ въ Гаврилу радужныя бумажки.

- На, собака! Жри...—крикнулъ онъ, дрожа отъ возбужденія, острой жалости и ненависти къ этому жадному рабу. И, бросивъ деньги, онъ почувствовалъ себя героемъ. Удальство свътилось въ его глазахъ, во всей фигуръ.
- Самъ я хотълъ тебъ больше дать. Разжалобился вчера я... вспомнилъ деревню... Подумалъ: дай, помогу парню. Ждалъ я, что ты сдълаешь, попросишь—нътъ? А ты... Эхъ, войлокъ! Нищій!... Развъ изъ-за денегъ можно такъ... истязать себя? Дуракъ! Жадные черти!... Себя не помнятъ... За пятакъ себя-то продаете!... а?...
- Голубчикъ!... Спаси Христосъ тебя! Въдь это теперь у меня что?... тысячи!... я теперь... богачъ!...—визжалъ Гаврила въ восторгъ, весь вздрагивая и пряча деньги за пазуху.—Эхъ ты, милый!... Вовъкъ не забуду!... Никогда!... И женъ, и дътямъ закажу... молись!

Челкащъ слушалъ его радостные вопли, смотрълъ на сіявшее, искаженное восторгомъ жадности лицо и чувствовалъ, что онъ — воръ, гуляка, оторванный отъ всего родного — никогда не будетъ такимъ жаднымъ, низкимъ, не помнящимъ себя. Никогда не станетъ такимъ!... И эта мысль и ощущеніе, наполняя его сознаніемъ своей свободы и удали, удерживали его около Гаврилы на пустынномъ морскомъ берегу.

— Осчастливилъ ты меня! — кричалъ Гаврила и, схвативъ руку Челкаша, тыкалъ ею себъ въ лицо.

Челкашъ молчалъ и по-волчьи скалилъ зубы. Гаврила все изливался:

— Въдь я что думалъ? Вдемъ мы сюда... я деньги...

видълъ... думаю... хвачу я его... тебя... весломъ... рразъ!... денежки себъ, его въ море... тебя-то... а? Кто, молъ, его хватится? И найдуть, не стануть допытываться—какъ, да кто его это... убилъ-то! Не такой, молъ, онъ человъкъ, чтобъ изъ-за него шумъ подымать!... Ненужный онъ на землъ! Кому за него встать? Ишь какъ!... а?...

— Дай сюда деньги!...—рявкнулъ Челкашъ, кватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся разъ, два... другая рука Челкаша змѣей обвилась вокругъ него... трескъ разрываемой рубахи — и Гаврила лежалъ на пескѣ съ безумно вытаращенными глазами, цапаясь пальцами рукъ за воздухъ и взмахивая ногами. Челкашъ, прямой, сухой, хищный, зло оскаливъ зубы, смѣялся дробнымъ, ѣдкимъ смѣхомъ и его усы нервно прыгали на угловатомъ, остромъ лицѣ. Никогда, за всю жизнь его не били такъ больно и никогда онъ не былъ такъ озлобленъ.

— Что, счастливъ ты?—сквозь смъхъ спросилъ онъ Гаврилу и, повернувшись къ нему спиной, пошелъ прочь, по направленію къ городу. Но онъ не сдълалъ двухъ шаговъ, какъ Гаврила кошкой изогнулся, сталъ на одно колъно и, широко размахнувшись въ воздухъ, бросилъ въ него круглый камень, злобно крикнувъ:

— Рразъ!...

Челкашъ крякнулъ, схватился руками за затылокъ, качнулся впередъ, повернулся къ Гаврилъ и упалъ лицомъ въ песокъ. Гаврила замеръ, глядя на него. Вотъ онъ шевельнулъ ногой, попробовалъ поднять голову и вытянулся, вздрогнувъ, какъ струна. Тогда Гаврила бросился бъжать вдаль, гдъ надъ туманной степью висъла мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбъгая на песокъ, сливаясь съ нимъ и снова взбъгая. Пъна шипъла и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала ръдкій, онъ быстро перешель въ плотный, крупный, лившійся съ неба тон-

кими струйками. Онъ сплетали цълую съть изъ нитокъ воды—съть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря... Гаврила исчезъ за ней. Долго ничего не было видно, кромъ дождя и длиннаго человъка, лежавшаго на пескъ у моря. Но вотъ изъ дождя снова появился бъгущій Гаврила; онъ летълъ птицей и, подбъжавъ къ Челкашу, упалъ передъ нимъ и сталъ ворочать его на землъ. Его рука окунулась въ теплую красную слизь... Онъ дрогнулъ и отшатнулся съ безумнымъ, блъднымъ лицомъ.

— Брать, встань-кось! — шепталь онъ подъ шумъ дождя въ ухо Челкашу.

Челкашъ очнулся и толкнулъ Гаврилу отъ себя, хрипло сказавъ:

- Поди... прочь!...
- Брать! Прости... дьяволь это меня...—дрожа шепталь Гаврила, цълуя руку Челкаша.
 - Иди... Ступай...—хрипълъ тотъ.
 - Сними гръхъ съ души!... Родной! Прости!...
- Про... уйди ты!... Уйди къ дьяволу! вдругъ крикнулъ Челкашъ и сълъ на пескъ. Лицо у него было блъдное, злое, глаза мутны и закрывались, точно онъ сильно хотълъ спать. Чего тебъ... еще? Сдълалъ... свое дъло... и иди! Пошелъ! и онъ хотълъ толкнуть убитаго горемъ Гаврилу ногой, но не смогъ, и снова свалился бы, если бъ Гаврила не удержалъ его, обнявъ за плечи Лицо Челкаша было теперь въ уровснь съ лицомъ Гаврилы. Оба были блъдны, жалки и страшны.
- Тьфу!—плюнулъ Челкашъ въ широко открытые глаза своего работника.

Тотъ смиренно вытерся рукавомъ и прошепталъ:

- Что хошь дълай... Не отвъчу словомъ. Прости для Христа!
- Гнусъ!... И блудить-то не умфешь!...—презрительно крикнулъ Челкашъ, сорвалъ изъ-подъ своей куртки рубаху и молча, изръдка поскрипывая зубами, сталъ

обвязывать себъ голову.—Деньги взялъ?-- сквозь зубы процъдилъ онъ.

— Не бралъ я ихъ, братъ! Не надо мнъ!... бъда отъ нихъ!...

Челкашъ сунулъ руку въ карманъ своей куртки, вытащилъ пачку денегъ, одну радужную бумажку положилъ обратно въ карманъ, а все остальное кинулъ Гаврилъ.

- Возьми и ступай!
- Не возьму, брать... Не могу! Прости!
- Берри, говорю!...—взревълъ Челкашъ, страшно вращая глазами.
- Прости!... Тогда возьму...—робко сказалъ Гаврила и палъ въ ноги Челкаша на сырой песокъ, щедро поливаемый дождемъ.
- Врешь, возьмешь, гнусъ! увъренно сказалъ Челкашъ, и, съ усиліемъ поднявъ его голову за волосы, онъ сунулъ ему деньги въ лицо.
- Бери! бери! Не даромъ работалъ, чай. Бери, не бойсь! Не стыдись, что человъка чуть не убилъ! За такихъ людей, какъ я, никто не взыщетъ. Еще спасибо скажутъ, какъ узнаютъ. На, бери! Никто ничего не узнаетъ о твоемъ дълъ, а награды оно стоитъ. Ну, вотъ!...

Гаврила видълъ, что Челкашъ смъется, и ему стало легче. Онъ кръпко сжалъ дены и въ рукъ.

- Брать! а простишь меня? Не хошь? а?—слезливо спросилъ онъ.
- Родимой!...—въ тонъ ему отвътилъ Челкашъ, подымаясь на ноги и покачиваясь.—За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...
- Эхъ, братъ, братъ!...-скорбно вздохнулъ Гаврила, качая головой.

Челкащъ стоялъ передъ нимъ и странно улыбался, а тряпка на его головъ, понемногу краснъя, становилась похожей па турецкую феску.

Дождь лилъ, какъ изъ ведра. Море глухо роптало и волны бились о берегъ теперь уже бъщено и гнъвно. Два человъка помолчали.

· — Ну, прощай! — насмъшливо и колодно сказалъ Челкашъ, пускаясь въ путь.

Онъ шатался, у него дрожали ноги и онъ такъ страпно держалъ голову, точно боялся потерять ее.

- Прости, брать!...-еще разъ попросиль Гаврила.
- Ничего! холодно отвътилъ Челкашъ, пускаясь въ путь.

Онъ пошелъ, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью лѣвой руки, а правой тихо дергая свой бурый усъ.

Гаврила долго смотрълъ ему вслъдъ, пока онъ не исчезъ въ дождъ, все гуще лившемъ изъ тучъ тонкими, безконечными струйками и окутывавшемъ степь непроницаемой стального цвъта мглой.

Потомъ Гаврила снялъ свой мокрый картузъ, перекрестился, посмотрълъ на деньги, зажатыя въ ладони, свободно и глубоко вздохнулъ, спряталъ ихъ за пазуху и широкими, твердыми шагами пошелъ берегомъ въ сторону, противоположную той, гдъ скрылся Челкашъ.

Море выло, швыряло большія тяжелыя волны на прибрежный песокъ, разбивая ихъ въ брызги и пъну. Дождь ретиво съкъ воду и землю... вътеръ ревълъ... Все кругомъ наполнялось воемъ, ревомъ, гуломъ... За дождемъ не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волнъ смыли красное пятно на томъ мъстъ, гдъ лежалъ Челкашъ, смыли слъды Челкаша и слъды молодого парня на прибрежномъ пескъ... И на пустынномъ берегу моря не осталось ничего въ воспоминание о маленькой драмъ, разыгравшейся между двумя людьми.



CTAPYXA NBEPTUB.

(1895.)

T.

Я слышаль эти разсказы подъ Аккерманомъ, въ Бессарабіи, на морскомъ берегу.

Однажды вечеромъ, кончивъ дневной сборъ винограда, партія молдаванъ, съ которой я работалъ, вся ушла на берегъ моря, а я и старуха Изергиль остались подъ густой тънью виноградныхъ лозъ и, лежа на землъ, молчали, глядя, какъ тають въ глубокой мглъ ночи и темной зелени листвы силуэты тъхъ людей, что пошли къ морю.

Они шли, пѣли и смѣялись; мужчины—бронзовые, съ пышными, черными усами и густыми кудрями до плечь, въ короткихъ курткахъ и широкихъ шароварахъ; женщины и дѣвушки—веселыя, гибкія, какъ лозы, съ темносиними глазами, — тоже бронзовыя. Ихъ волосы, шелковыя и черныя, были распущены, и вѣтеръ, теплый и легкій, играя ими, звякалъ монетами, вплетенными въ нихъ. Вѣтеръ текъ широкой, ровной волной, но иногда онъ точно прыгалъ черезъ что-то невидимое и, рождая сильный порывъ, развѣвалъ волосы женщинъ въ фантастическія гривы, вздымавшіяся вокругъ ихъ головъ. Это дѣлало женщинъ странными и сказочными. Онѣ уходили все дальше отъ насъ, а ночь и фантазія одѣвали ихъ все прекраснѣе.

Кто-то играль на скрипкъ... дъвушка пъла мягкимъ контральто, слышался смъхъ... и воображение рисовало всъ звуки гирляндой разноцвътныхъ лентъ, ръявшихъ

въ воздухъ надъ темными фигурами людей, поглощаемыхъ мглой.

Воздухъ былъ пропитанъ острымъ запахомъ моря и жирными испареніями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождемъ. Еще и теперь по небу бродили обрывки тучъ, пышные, странныхъ очертаній и красокъ, туть-мягкія, какъ клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, тамъ-ръзкіе, какъ обломки скалъ, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестъли темноголубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звъздъ. И все это-звуки и запахи, тучи и люди-было волшебно красиво, но грустно, казалось началомъ чудной сказки. Все было дивно и гармонично, но казалось остановившимся въ своемъ роств и умирающимъ, такъ какъ мало было шума, живого, нервнаго шума, пылающаго оть времени все ярче; шумъ же, который быль-быль слабъ, часто прерывался и все гасъ, удаляясь и перерождаясь въ печальные вздохи сожальнія о чемъ-то, можеть быть, о счастью, которое такъ неуловимо и случайно.

Я созерцаль все это, и во мив рождались фантастическія желанія: хотвлось превратиться въ пыль и быть разнесеннымъ повсюду вътромъ; хотвлось разлиться теплой ръкой по степи, вливаться въ море и дышать въ небо опаловымъ туманомъ; хотвлось наполнить собой весь этоть чарующе-печальный вечеръ... и было грустно почему-то.

— Что ты не пошелъ съ ними? — кивнувъ мив головой, спросила по-русски старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополамъ, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ея сухой голосъ звучалъ безъ вибраціи, онъ хрустълъ, точно старуха говорила костями. Какъ еще она могла говорить!...

- Не хочу, -- отвътилъ я ей на вопросъ.
- У!... стариками родитесь вы, русскіе. Мрачные вс'ь, какъ демовы... Боятся тебя наши д'ввушки... А в'ъдь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ея дискъ былъ великъ, кроваво-красенъ, и она казалась вышедшей изъ нъдръ этой степи, которая на своемъ въку такъ много поглотила человъческаго мяса и выпила крови, отчего, навърное, и стала такой жирпой и щедрой. На насъ упали кружевныя тъни отъ листвы, я и старуха покрылись ими, какъ сътью, и онъ дрожали. И по степи, влъво отъ насъ, поплыли тъни отъ облаковъ, пропитанныхъ голубымъ сіяніемъ луны и ставшихъ прозрачнъй и свътлъй. Чуть-чуть долетали до насъ звуки съ моря: то плакала скрипка, то смъялась дъвушка, то парень пълъ гибкимъ баритономъ, и все это мъщалось съ ритмическимъ плескомъ волнъ о берегъ.

— Смотри, вонъ идетъ Ларра!

Я смотръль туда, куда старуха указывала своей дрожащей рукой съ кривыми пальцами, и видълъ: тамъ плыли тъни, ихъ было много, и одна изъ нихъ, темнъй и гуще, чъмъ другія, плыла быстръй и ниже сестеръ, потому что она падала отъ клочка облака, которое было ниже къ землъ, чъмъ другія, и неслось скоръе, чъмъ они.

- Никого нътъ тамъ! сказалъ я.
- Ты слъпъ больше меня, старухи. Смотри—вонъ онъ, темный, бъжить степью.

Я посмотрълъ еще и снова не видълъ ничего, кромъ

- Это тынь! Почему ты зовешь ее Ларра?
- Потому что это онъ. Онъ уже сталъ теперь какъ тънь, пора! Онъ живеть тысячи лътъ, солнце высушило его тъло, кровь и кости, и вътеръ распылилъ ихъ. Вотъ что можетъ сдълать Богъ съ человъкомъ за гордость!...
- Разскажи мнъ, какъ это было! попросилъ я старуху, чувствуя впереди одну изъ славныхъ сказокъ, сложенныхъ въ степяхъ.

И она разсказала мнъ эту сказку.

"Многія тысячи лътъ прошли съ той поры, какъ случилось это. Далеко за моремъ, на восходъ солнца, есть страна большой ръки, и въ той странъ каждый древесный листь и стебель травы даетъ столько тъни, сколько нужно человъку, чтобъ свободно укрыться въ ней отъ солнца, которое жестоко жарко тамъ.

"Воть какая щедрая земля въ той странъ.

"На ней жило могучее племя людей, имъвшихъ стада и на охоту за звърями тратившихъ свою силу и мужество. Они пировали послъ охоты, пъли пъсни и играли съ дъвушками, которыя тамъ хороши, какъ огонь.

"Однажды, во время пира, одну изъ нихъ, черноволосую и нъжную, какъ ночь, унесъ орелъ, спустившись съ неба. Стрълы, пущенныя въ него мужчинами племени, упали, жалкія, обратно на землю. Тогда пошли искать дъвушку, но не нашли ея. И забыли о ней, какъ забывають обо всемъ на землъ".

Старуха вздохнула и замолчала. Ея скрипучій голосъ звучаль такъ, какъ будто это роптали всв забытые въка, воплотившись въ ея груди тънями воспоминаній. И море тихо аккомпанировало началу одной изъ тъхъ древнихъ легендъ, которыя, можетъ быть, создались на его берегахъ.

"Но черезъ 20 лътъ она сама пришла, измученная и изсохшая, а съ нею былъ юноша, красивый и сильный, какъ сама она двадцать лътъ назадъ. И когда ее спросили, гдъ была она, она разсказала, что орелъ унесъ ее въ горы и жилъ съ нею тамъ какъ съ женой. Вотъ его сынъ, а отца нътъ ужъ больше, ибо когда онъ сталъ слабъть, то поднялся въ послъдній разъ высоко въ небо и, сложивъ крылья, тяжело упалъ оттуда на острые уступы горы, упалъ и насмерть разбился о нихъ...

"Всъ смотръли съ удивленіемъ на сына орла и видъли, что онъ ничъмъ не лучше ихъ, только глаза его были холодны и горды, какъ у царя птицъ. И разговаривали съ нимъ, а онъ отвъчалъ, если хотълъ, или молчать, и когда пришли старъйшіе мужи племени, онъ говориль съ ними, какъ съ равними себъ. Это оскорбило ихъ, и они, назвавъ его неоперенной стрълой съ неотточеннымъ наконечникомъ, сказали ему, что ихъ чтутъ и имъ повинуются тысячи такихъ, какъ онъ, и тысячи вдвое старше его. А онъ, смъло глядя на нихъ, отвъчалъ, что такихъ, какъ онъ, нътъ больше; если всъ чтутъ ихъ—опъ не хочетъ дълать этого. О!... тогда ужъ совсъмъ разсердились они. Разсердились и сказали:

— "Ему нътъ мъста среди насъ! Пусть идеть, куда хочеть.

"Онъ засмъялся и пошелъ, куда захотълось ему, — къ одной красивой дъвушкъ, которая пристально смотръла на него; пошелъ къ ней и, подойдя, обнялъ ее. А она была дочь одного изъ старъйшинъ, осудившихъ его. И хотя онъ былъ красивъ, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его да и пошла прочь отъ него, а онъ ударилъ ее и, когда она упала, всталъ ногой на ея грудъ, всталъ такъ, что изъ ея устъ кровь брызнула къ небу и она вздохнула тяжко, извилась змъей и умерла.

"Всѣхъ, кто видѣлъ это, сковалъ страхъ, такъ какъ первый разъ еще на глазахъ ихъ такъ убивали женщину. И долго всѣ молчали, глядя на нее, лежавшую съ открытыми глазами и съ окровавленнымъ ртомъ, безмолвно просившими мести, и на него, который стоялъ одинъ противъ всѣхъ, рядомъ съ ней, и былъ такъ холоденъ и гордъ, что не опустилъ своей головы и какъ бы вызывалъ на нее кару. Потомъ, когда одумались, то схватили, связали и такъ оставили, находя, что убить его сейчасъ же — слишкомъ просто, не унизительно для него и не удовлетворитъ ихъ".

Ночь росла и крѣпла и, наполняясь странными, тихими звуками, принимала все болѣе фантастическій колорить. Въ степи печально посвистывали суслики, въ листвѣ винограда дрожалъ стекляный стрекотъ кузнечиковъ, лист-

ва вздыхала и шепталась, и полный дискъ луны, раньше кроваво-красный, блёднёль, удаляясь отъ земли, блёднёль и все обильнёе лиль на степь голубоватую мглу...

"И воть они собрались, чтобы придумать эту казнь, достойную его преступленія... Предполагали разорвать его лошадьми—и это казалось имъ мало; предлагали пустить въ него всёмъ по стрёль, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дымъ костра не позволилъ бы видёть его мученій; предлагали многое—и не находили ничего настолько хорошаго, чтобы понравилось всёмъ и удовлетворило ихъ. А его мать стояла передъ ними на колёняхъ и молчала, не находя слезъ и словъ, чтобы умолять ихъ о пощадъ. Долго говорили они, п воть одинъ мудрецъ сказалъ, подумавъ долго:

- "Спросимъ его, почему онъ сдълалъ это?
 "И они спросили его объ этомъ. Онъ сказалъ:
- "Развяжите меня! Я не буду говорить съ вами связанный.

"А когда развязали его, онъ спросилъ: — "Что вамъ нужно?"—Спросилъ такъ, точно они были рабы...

- "Ты слышалъ...—сказалъ мудрецъ.
- -- "Зачъмъ я буду объяснять вамъ мои поступки?
- "Чтобъ быть понятымъ нами. Ты, гордый, слушай! Все равно, ты умрешь въдь... Дай же намъ понять то, что ты сдълалъ. Мы остаемся жить и намъ полезно знать больше, чъмъ мы знаемъ...
- "Хорошо, я скажу, хотя я, можеть быть, самъ не върно понимаю то, что случилось. Я убиль ее потому, мнъ кажется, что меня оттолкнула она... А мпъ было нужно ее.
 - "Но въдь она не твоя!-сказали ему.
- "Развѣ вы пользуетесь только своимъ? Я вижу, что каждый человѣкъ имѣетъ своею только рѣчь, руки и ноги... а владѣетъ онъ животными, женщинами, землей... и многимъ еще...

"Ему сказали на это, что за все, что человъкъ бе-

реть, онъ платить собой: своимъ умомъ и силой, своей свободой и жизнью. А онъ отвъчалъ, что онъ хочеть сохранить себя цълымъ.

"Долго говорили съ нимъ и, наконецъ, изъ его отвътовъ увидали, что онъ считаетъ себя первымъ на землъ и что, кромъ себя, онъ не видитъ ничего. Всъмъ даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество онъ обрекалъ себя. У него не было ни племени, ни матери, ни подвиговъ, ни скота, ни жены, и онъ не хотълъ ничего этого".

На берегу смъялась дъвушка славнымъ, веселымъ смъхомъ и пълъ кто-то высокимъ теноромъ. Иногда ему подтягивали пъсколько человъкъ сразу. Стая звуковъ вылетала на воздухъ и вдругъ пропадала, точно ее схватывалъ кто-то всю сразу, схватывалъ и пряталъ...

"Когда всё тё люди увидали, что не будеть ему ничего свыше, они снова принялись судить о томъ, какъ наказать его. Но теперь не долго они говорили, ибо тотъ мудрый, не мёшавшій пока имъ говорить, заговорилъ самъ:

— "Стойте! Наказаніе есть. Это страшное наказаніе; вы не выдумаете такого въ тысячу лѣть! Наказаніе ему въ немъ самомъ! Пустите его, пусть онъ будеть свободенъ. Воть его наказаніе.

"И туть произошло великое. Грянуль громь съ неба, на которомъ не было тучъ. Это силы подтверждали рѣчь мудраго. Всв поклонились и разошлись. А онъ, этотъ юноша, который теперь уже имѣлъ имя Ларра, что значить: отверженный, выкинутый вонъ, —этотъ юноша громко смѣялся вслѣдъ людямъ, которые бросили его, смѣялся и оставался одинъ свободный, какъ отецъ его. Но отецъ его не былъ человѣкомъ... А этотъ — былъ человѣкъ. И вотъ онъ сталъ жить, вольный, какъ птица. Онъ приходилъ въ племя и похищалъ скотъ, дѣвушекъ, —все, что хотѣлъ. Въ него стрѣляли, но стрѣлы не могли пронизать его тѣла, обвитаго невидимымъ

человъку покрываломъ высшей кары. Онъ былъ ловокъ, хищенъ, силенъ, жестокъ и не встръчался съ людьми лицомъ къ лицу. Издали видъли только его. И всякій, кто видълъ, всегда пускалъ въ него столько стрълъ, сколько желалъ. И долго онъ, одинокій, такъ вился около людей, долго, не одинъ десятокъ длинныхъ годовъ. Но человъкъ не можетъ всю жизнь дълать одно и то же. Нельзя всегда наслаждаться—потеряешь цъну наслажденію и захочется страдать... И вотъ однажды онъ подошелъ близко къ людямъ, и когда они бросились на него, онъ не тронулся съ мъста и ничъмъ не показалъ, что будетъ защищаться. Тогда одинъ изъ людей догадался и крикнулъ быстро и громко:

— "Не троньте его! Онъ хочетъ умереть!

"И всв остановились, не желая облегчить участь того, кто двлаль имъ зло, не желая убивать его. Остановились и смвялись надъ нимъ. А онъ дрожалъ, слыша этотъ смвхъ, и все искалъ чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдругъ онъ бросился на людей, поднявъ камень. Но они, уклоняясь отъ его ударовъ, не нанесли ему ни одного, и когда онъ, утомленный, съ тоскливымъ крикомъ упалъ на землю, то отошли въ сторону и наблюдали за нимъ. И вотъ онъ всталъ и, поднявъ потерянный квмъ-то въ борьбъ съ нимъ ножъ, ударилъ имъ себя въ грудь. Но сломался ножъ, точно въ камень ударили имъ. И снова онъ упалъ на землю и долго бился головой объ нее. Но земля отстранялась отъ него, углубляясь отъ ударовъ его головы.

-- "Онъ не можеть умереть, -- съ радостью сказали тъ, что видъли все это.

"И они ушли, оставивъ его одного. Онъ лежалъ кверху лицомъ и видълъ—высоко въ небъ черными точками плавали могучіе орлы. Онъ лежалъ, и въ его глазахъ было столько тоски, что можно было бы отравить ею всъхъ людей міра. Итакъ, съ той поры остался

опъ одинъ свободный и ищущій смерти. И воть онъ ходить, ходить повсюду... Видишь, онъ сталь ужъ какъ тънь и такимъ онъ будеть въчно. Онъ не понимаеть ни ръчи людей, ни ихъ поступковъ,—ничего. И все ищеть, ходить, ходить... Ему нъть жизни и смерть не улыбается ему. И нъть ему мъста среди людей... Вотъ какъ былъ пораженъ человъкъ за гордость!"

Старуха вздохнула, замолчала, и ея голова, опустившись на грудь, и сколько разъ странно качнулась.

Я посмотрълъ на нее. Старуху одолъвалъ сонъ, показалось мнъ. Мнъ стало почему-то вдругъ страшно жалко ее. Конецъ разсказа она вела такимъ возвышеннымъ, чему-то угрожающимъ тономъ, а все-таки въ этомъ тонъ звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запъли, — странно запъли. Сначала раздался контральто — онъ пропълъ двътри ноты, и раздался другой голосъ, начавшій пъсню сначала, а первый все лился впереди его... — третій, четвертый, пятый вступили въ пъсню въ томъ же порядкъ. И вдругъ ту же пъсню, опять-таки сначала, запълъ хоръ мужскихъ голосовъ.

Получилось что-то удивительно оригинальное. Каждый голосъ женщинъ звучалъ совершенно отдъльно, всъ они казались разноцвътными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступамъ, прыгая и звеня, вливаясь въ густую волну мужскихъ голосовъ, плавно лившуюся кверху, потонули въ ней, вырывались изъ нея, заглушали ее и снова одинъ за другимъ взвивались, чистые и сильные, высоко вверхъ. И мелодія была оригинальна: мужчины пъли безъ вибрацій, и могучіе звуки ихъ голосовъ гудъли глухо, какъ бы разсказывая о чемъ-то печальномъ, а голоса женщинъ, догоняя другъ друга, точно торопились разсказать то же самое прежде мужчинъ и звенъли колокольчиками весело, живо, съ массой смъющихся трелей.

Шума волнъ не слышно было за голосами...

П.

- Слышаль ли ты, чтобъ гдѣ-нибудь еще такъ пѣли?—спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь своимъ беззубымъ ртомъ.
- Не слыхалъ. Никогда не слыхалъ..,—шепнулъ я ей.
- Ага!... и не услышишь. Мы любимъ пѣть. И красивы мы всѣ. Только красавцы могуть хорошо пѣть, красавцы, которые любять жить. Мы любимъ жить. Смотри-ка, развѣ не устали за день тѣ, которые поютъ тамъ? Съ восхода по закатъ работали, взошла луна, и уже поють. Тѣ, которые не умѣють жить, легли бы спать уже. Тѣ, которымъ жизнь мила и которые дорожать ею вотъ—поютъ.
 - Но здоровье...—началъ было я.
- Здоровья всегда хватить на жизнь. Здоровье! Развѣ ты, имѣя деньги, не тратиль бы ихъ? Здоровье то же золото. Знаешь ты, что я дѣлала, когда была молодой? Я ткала ковры съ восхода по закать, не вставая ночти. Я, какъ солнечный лучъ, живая была и вотъ должна была сидѣть неподвижно, какъ камень. И сидѣла до того, что, бывало, всѣ кости у меня трещать. А какъ придетъ ночь, я бѣжала къ тому, кого любила, цѣловаться съ нимъ. Девять верстъ было до него. И обратно, значить—девять же. Знаешь, сколько это выходить?... Итакъ вотъ я бѣгала три мѣсяца, пока была любовь; всѣ ночи этого времени бывала у него. И вотъ до какой поры дожила—хватило крови! А сколько любила! Сколько поцѣлуевъ взяла и дала!...

Я посмотрълъ ей въ лицо. Ея черные глаза были все-таки тусклы, ихъ не оживило воспоминаніе. Луна ясно освъщала ея черное, сморщенное лицо, и я видълъ сухія, потрескавшіяся губы, провалившійся внутрь за-

остренный подбородокъ съ съдыми волосами на немъ и сморщенный носъ, загнутый, какъ клювъ совы. На мъстъ щекъ были черныя ямы, и въ одной изъ нихъ лежала прядь пепельно-съдыхъ волосъ, выбившихся изъ-подъ красной тряпки, которою была обмотана ея голова. Кожа на лицъ, шеъ и рукахъ была тонка, вся изръзана морщинами, и при каждомъ движеніи старой Изергиль можно было ждать, что сухая кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной явится голый скелеть съ тусклыми черными глазами.

— Разскажи мнъ, какъ ты любила! —попросилъ я ее. Тогда она снова начала разсказывать своимъ хрустящимъ голосомъ:

"Я жила съ матерью подъ Фальми, на самомъ берегу Бырлата; и мнъ было пятнадцать лъть, когда онъ явился къ нашему хутору въ лодкъ. Былъ онъ такой высокій, гибкій, черноусый, веселый. Сидить въ лодкъ и такъ звонко кричить онъ намъ въ окна: "Эй, нъть ли у васъ вина... и поъсть мнъ?" Я посмотръла въ окно сквозь вътви ясеней и вижу: ръка вся голубая отъ луны, а онъ, въ бълой рубахъ и въ широкомъ кушакъ съ распущенными на боку концами, стоитъ себъ одной ногой въ лодкъ, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поетъ. Увидалъ меня, говоритъ: "Вотъ какая красавица живетъ тутъ!... А я и не зналъ про это!" Точно онъ ужъ зналъ всъхъ красавицъ до меня! Я дала ему вина и вареной свинины... А черезъ четыре дня дала уже и всю себя... Мы все катались съ нимъ въ лодкъ по ночамъ. Онъ прівдеть и посвистить тихо, какъ сусликъ, а я и выпрыгну, какъ рыба, въ окно на ръку къ нему. И ъдемъ... Онъ былъ рыбакомъ съ Прута, и потомъ, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривалъ все меня уйти съ нимъ въ Добруджу и дальше, въ дунайскія гирла. Но мив ужъ не нравился онъ тогда — только поеть да цълуется,

ничего больше. Скучно это было уже. Въ то время гуцулы шайкой ходили по тъмъ мъстамъ, и у нихъ были любезныя туть... Такъ воть твмъ весело было. Иная ждеть, ждеть своего карпатскаго молодца, думаеть, что онъ уже въ тюрьмъ или убить гдъ-нибудь въ дракъ, — и вдругъ онъ одинъ, а то съ двумя-тремя товарищами, какъ съ неба упадеть къ ней. Подарки подносиль богатыелегко же въдь доставалось все ему!-и пируеть у нея, и хвалится ею передъ своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой быль гуцуль, показать мнъ ихъ... Какъ ее звали? Забыла какъ... Все стала забывать теперь. Лъть семь десятковъ прошло съ той поры, все забудешь! Она меня познакомила съ молодцомъ. Былъ хорошъ... Рыжій быль, весь рыжійи усы и кудри. Огненная голова была у него... И быль онъ такой печальный, ласковый иногда, а иногда какъ звърь ревълъ и дрался. Разъ ударилъ меня въ лицо... А я, какъ кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами въ щеку... Съ той поры у него на щекъ стала ямка, и онъ любилъ, когда я цъловала ее..."

- А рыбакъ куда дъвался?—спросилъ я.
- Рыбакъ?—А онъ... тутъ... Онъ присталъ къ нимъ, къ гуцуламъ. Сначала все уговаривалъ меня и грозилъ бросить въ воду, а потомъ—ничего, присталъ къ нимъ и другую завелъ... Ихъ обоихъ и повъсили вмъстъ— и рыбака, и этого гуцула. Гуцула звали "Клестъ" за его рыжіе волосы. Я ходила смотръть, какъ ихъ въшали. Въ Добруджъ это было. Рыбакъ шелъ на казнь блъдный и плакалъ, а гуцулъ трубку курилъ. Идетъ себъ и куритъ, руки въ карманахъ, одинъ усъ на плечъ лежитъ, а другой на грудь свъсился. Увидалъ меня, вынулъ трубку и кричитъ: "прощай!"... Я цълый годъ жалъла его. Эхъ!... Это ужъ тогда съ ними было, какъ они хотъли уйти въ Карпаты къ себъ. На прощанье пошли къ одному румыну въ гости. тамъ ихъ и поймали. Двоихъ только, а нъсколькихъ убили, а осталь-

ные ушли... Все-таки румыну заплатили послъ... Ху-торъ сожгли и мельницу, и хлъбъ весь. Нищимъ сталъ.

- Это ты сдълала?—наудачу спросилъ я. .
- Много было друзей у гуцуловъ, не одна я... Кто былъ ихъ лучшимъ другомъ, тотъ и справилъ имъ поминки...

Пъсня на берегу моря уже умолкла, и старухъ аккомпанировалъ теперь шумъ морскихъ волнъ; задумчивый, мятежный шумъ былъ славнымъ аккомпаниментомъ разсказу, о мятежной жизни. Чуть слышнымъ доносился съ морского берега смутный говоръ и смъхъ людей. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось въ ней голубого сіянія луны, а неопредъленные звуки хлопотливой жизни ея невидимыхъ обитателей становились тише, заглушаемые возраставшимъ шорохомъ волнъ... ибо усиливался вътеръ.

"А то еще турка любила я. Въ гаремъ у него была, въ Скутари. Цълую недълю жила, ничего... Но скучно стало...-- все женщины, женщины... Восемь было ихъ у него... Цълый день ъдять и спять и болтають глупыя ръчи... Или ругаются, квохчутъ, какъ курицы... Онъ былъ ужъ немолодой, этотъ турокъ. Съдой почти и такой важный, богатый. Говориль-какъ владыка... Глаза были черные... Прямые глаза... Смотрять прямо въ душу. Очень онъ любилъ молиться. Я его въ Букурешти увидала... Ходить по рынку, какъ царь, и смотрить такъ важно, важно. Я ему улыбнулась. Въ тоть же вечеръ меня схватили на улицъ и привезли къ нему, Онъ кипарисъ и пальму продаваль, а въ Букурешти прівхаль купить что-то. "Вдешь ко мив?" говорить.—О, да, повду! "Хорошо!" И я повхала. Богатый онъ быль, этоть турокъ. И сынь у него уже быль - черненькій мальчикь, гибкій такой... Ему лъть шестнадцать было. Съ нимъ я и убъжала отъ турка... Убъжала въ Болгарію, въ Ломъ-Паланку... Тамъ меня одна болгарка ножомъ ударила въ грудь за жениха или за мужа своего-ужъ не помню.

Хворала я долго въ монастыръ одномъ. Женскій это быль монастырь. Ухаживала за мной одна дъвушка, полька... и къ ней изъ монастыря другого, — около Арцеръ-Паланки, помню, — ходилъ братъ, тоже монашекъ... Такой... какъ червякъ, все извивался предо мной... И когда я выздоровъла, то ушла съ нимъ... въ Польшу его."

- Погоди!... А гдъ маленькій турокъ?
- Мальчикъ? Онъ умеръ, мальчикъ. Отъ тоски по дому или отъ любви... но сталъ сохнуть онъ такъ, какъ неокръпшее деревцо, которому слишкомъ много перепало солнца... такъ и сохъ все... Помню, лежитъ, весь уже прозрачный и голубоватый, какъ льдинка, а все еще въ немъ горитъ любовь... И все проситъ наклониться и цъловать его... Я любила его и, помню, много цъловала... Потомъ ужъ онъ совсъмъ сталъ плохъ—не двигался почти. Лежитъ и такъ жалобно, какъ нищій милостыни, проситъ меня лечь съ нимъ рядомъ и гръть его. Я ложилась. Ляжешь съ нимъ... онъ сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а онъ ужъ холодный... мертвый... Я плакала надъ нимъ. Кто скажеть? Можетъ, въдь, это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда ужъ. И была такая сильная, сочная... а онъ что же?... мальчикъ!...

Она вздохнула и—первый разъ я видъль это у нея перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.

- Ну,—подсказалъ я ей, видя, что она молчить, отправилась ты въ Польшу...
- Да... съ тъмъ маленькимъ полячкомъ. Онъ былъ смъшной и подлый. Когда ему нужна была женщина, онъ ластился ко мнъ, какъ котъ, и съ его языка горячій медъ текъ, а когда онъ меня не хотълъ, то щелкалъ меня словами, какъ кнутомъ. Разъ какъ-то шли мы по берегу ръки, и вотъ онъ сказалъ мнъ свое гордое, обидное слово. О! О!... я разсердилась! Я закипъла, какъ смола! Я взяла его на руки и, какъ ребенка, онъ въдъ былъ маленькій, подняла вверхъ, сдавивъ ему бока такъ, что онъ посинълъ весь. И вотъ я размахнулась и бро-

сила его съ берега въръку. Онъ кричалъ все... Смъщно такъ кричалъ. Я смотръла на него сверху, а онъ барахтался тамъ, въ водъ. Я ушла тогда. И больше не встръчалась съ нимъ. Я была счастлива на это: никогда не встръчалась послъ съ тъми, которыхъ когда-то любила Это нехорошія встръчи, все равно какъ бы съ покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представляль себъ воскрешаемыхъ ею людей. Вотъ онъ, огненно-рыжій, усатый гуцуль, который идеть умирать, спокойно покуривая трубку, сильный, ръшительный малый... У него навърное были холодные голубые глаза, которые на все смотръли сосредоточенно и твердо. Вотъ рядомъ съ нимъ черноусый рыбакъ съ Прута; онъ плачетъ, не желая умирать, и на его лицъ, блъдномъ отъ предсмертной тоски, потускивли веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по угламъ искривленнаго рта. Воть онъ, старый важный турокъ, навърное фаталисть и деспоть, и рядомъ съ нимъ его сынъ, бледный и хрупкій цветокъ востока, отравленный поцелуями. А вотъ тщеславный полякъ, галантный и жестокій, краснорфчивый и голодный... И всв они только бледныя тени, а та, которую они цъловали, сидить рядомъ со мной живая, но изсушенная временемъ, безъ тъла и безъ крови, съ сердцемъ безъ желаній, съ глазами безъ огня... тоже почти твнь.

А она продолжала говорить:

"Въ Польшъ стало трудно мнъ. Тамъ живуть холодные и лживые люди. Я не знала ихъ змъинаго языка. Всъ шипятъ... Что шипятъ? Это Богъ далъ имъ такой змъиный языкъ за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видъла, какъ они собирались бунтовать съ вами, русскими. И наконецъ, я дошла до города Бохніи. Жидъ одинъ купилъ меня; не для себя купилъ, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить, надо умъть что-нибудь дълать. Я ничего не умъла и

воть за это платила собой. Но я подумала тогда, что въдь если я достану немного денегь, чтобы воротиться къ себъ на Бырлатъ, я порву цепи, какъ бы оне крепки ни были. И жила я тамъ. Ходили ко мнъ богатые паны и пировали со мной и у меня. Это имъ дорого стоило. Дрались изъ-за меня они, разорялись. Одинъ добивался меня долго и разъ вотъ что сдёдаль: пришель, а слуга за нимъ идеть съ мъшкомъ. Воть панъ взяль въ руки тотъ мъшокъ и опрокинулъ его надъ моей головой. Золотыя монеты стукали меня по головъ, и мнъ весело было слушать ихъ звонъ, когда онъ падали на полъ. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо, и животъ-какъ большая подушка. Онъ смотрълъ, какъ сытая свинья. Да, выгнала я его, хотя онъ и говорилъ, что продалъ всф земли свои и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотомъ. Я тогда любила одного достойнаго пана съ изрубленнымъ лицомъ. Все лицо было у него изрублено крестъ-на-крестъ саблями турокъ, съ которыми онъ незадолго передъ тъмъ воевалъ за грековъ. Вотъ человъкъ!... Что ему греки, если онъ полякъ? А онъ пошелъ, бился рядомъ съ ними противъ ихъ враговъ. Изрубили его, у него вытекъ одинъ глазъ отъ ударовъ и два пальца на лъвой рукъ были тоже отрублены... Что ему греки, если онъ полякъ? А воть что: онъ любилъ подвиги. А когда человъкъ любитъ подвиги, онъ всегда сумветь ихъ сдвлать и найдеть, гдв это можно. Въ жизни, знаешь ли ты, всегда есть мъсто подвигамъ. И тъ, которые не находять ихъ для себя, тъ просто лънтян или просто трусы, или не понимаютъ жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотълъ бы оставить послъ себя свою тънь въ ней. И тогда она не пожирала бы людей безследно... О, этотъ рубленный быль хорошій человікь! Онь готовь быль идти на край свъта, чтобы дълать что-нибудь. Навърное, ваши убили его во время бунта. А зачемъ вы ходили бить венгровъ? Ну-ну, молчи!..."

И, приказывая мнъ модчать, старая Изергиль вдругь замолчала сама и задумалась.

"Знала также я и венгра одного. Онъ однажды ушель оть меня, -- зимой это было, -- и только весной, когда стаяль снъгь, нашли его въ полъ съ простръленной головой. Воть какъ! Видишь-не меньше чумы губить любовь людей; коли посчитать — не меньше... Что я говорила? О Польшъ... Да, тамъ я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича... Воть быль красивъ! Какъ чорть. Я же стара ужъ была, эхъ, стара! Было ли мив четыре десятка лють? Пожалуй, что и было... А онъ былъ еще и гордъ, и избалованъ нами, женщинами. Дорого онъ мнъ сталъ... да. Онъ хотъль сразу такъ себъ взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой ничьей. А съ жидомъ я уже кончила, много денегъ дала ему... И уже въ Краковъ жила. Тогда у меня все было, и лошади, и золото, и слуги... Онъ ходилъ ко мнъ, гордый демонъ, и все хотълъ, чтобъ я сама кинулась ему въ руки. Мы поспорили съ нимъ... воть какъ!... Я даже, помню, дурнъла оть этого. Долго это тянулось... Я взяла свое: онъ на кольняхь упрашиваль меня... Но только взяль, какъ ужъ и бросилъ. Тогда поняла я, что стала стара... Охъ, это было мив не сладко! воть ужъ не сладко!... Я въдь любила его, этого чорта... а онъ, встръчаясь со мной, смъялся мнъ... подлъ онъ былъ! И другимъ онъ смъялся надо мной, а я все это знала. Ну, ужъ горько было мнъ, скажу. Но онъ былъ туть, близко, и я все-таки любовалась имъ. А какъ воть ушель онъ биться съ вами, русскими, тошно стало мив. Ломала я себя, но не могла сломать... И ръшила поъхать за нимъ. Онъ около Варшавы быль, въ лъсу.

"Но когда я прівхала, то узнала, что ужъ побили ихъ ваши... и что онъ въ плвну, недалеко въ деревнъ.

"Значить, -- подумала я, -- не увижу уже его больше.

А видеть хотелось. Ну, я стала стараться увидать... Нищей одълась, хромой, и пошла, завязавъ лицо, въ ту деревню, гдъ быль онъ. Вездъ казаки и солдаты... дорого мив стоило быть тамъ! Узнала я, гдв они, поляки, сидять, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мив это было. И воть ночью подполала я къ тому месту, гдъ они были. Ползу по огороду между грядъ и вижу: часовой стоить на моей дорогъ... А ужъ слышно мнъпоють поляки и говорять громко. Поють пъстю одну... къ Матери Бога... И тотъ тамъ же поетъ... Аркадэкъ мой. Мнъ горько стало, какъ подумала я, что раньше за мной ползали... а воть оно пришло время -- и я за человъкомъ поползла змъей по землъ и, можетъ, на смерть свою ползу. А этоть часовой уже слушаеть, выгнулся впередъ. Ну, что же миъ? встала я съ земли и пошла на него. Ни ножа у меня нътъ, ничего, кромъ рукъ да языка. Жалью, что не взяла ножа. Шепчу... _погоди!"... А онъ, солдать этотъ, уже приставиль къ горду мив штыкъ. Я говорю ему шопотомъ: "не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебъ ничего дать, а прошу тебя"... Онъ опустилъ ружье и также шопотомъ говорить мнъ: "пошла прочь, баба! пошла! Чего тебъ?" Я сказала ему, что сынъ у меня туть заперть... "Ты понимаешь, солдать, — сынъ! Ты въдь тоже чей-нибудь сынъ, да? Такъ вонъ посмотри на меня-у меня есть такой же, какъ ты, и вонъ онъ глъ! Дай мнъ посмотръть на него, можетъ, онъ умреть скоро... и можеть, тебя завтра убьють... будеть плакать твоя мать о тебъ? И въдь тяжко будеть тебъ умереть, не взглянувъ на нее, твою мать? И моему сыну тяжко же-Пожалъй же себя и его, и меня-мать!"...

"Охъ, какъ долго говорила я ему! Шелъ дождь и мочилъ насъ. Вътеръ вылъ и ревълъ, и толкалъ меня то въ спину, то въ грудь. Я стояла и качалась передъ этимъ каменнымъ солдатомъ... А онъ все говорилъ: "нъть!" И каждый разъ, какъ я слышала его холодное

слово, еще жарче во мнъ вспыхивало желаніе видъть того Аркадэка... Я говорила и мърила глазами солдатаонъ быль маленькій, сухой и все кашляль. И воть я упала на землю передъ нимъ и, охвативъ его колъни, все упрашивала его горячими словами, свалила солдата на землю. Онъ упалъ въ грязь. Тогда я быстро повернула его лицомъ къ землъ и придавила его голову въ лужу, чтобъ онъ не кричалъ. Онъ не кричалъ, а только все барахтался, стараясь сбросить меня со своей спины. Я же объими руками втискивала его голову глубже въ грязь. Онъ и задохнулся... Тогда я бросилась къ амбару, гдъ пъли поляки. "Аркадэкъ!"... шептала я въ щели стънъ. Они догадливые, эти поляки,-и, услыхавъ меня, перестали пъть. Воть его глаза противъ моихъ. "Можешь ты выйти отсюда?"—"Да, черезъ поль!" сказаль онъ. "Ну, иди же". И воть четверо ихъ вылвало изъподъ этого амбара: трое и Аркадэкъ мой. "Гдъ часовые?" спросилъ Аркадэкъ.—"Вонъ лежитъ!"... И они пошли тихо-тихо, согнувшись къ землъ, прямо къ мъсту, гдъ лежалъ тотъ солдатъ, и когда проходили мимо, то ругали его, а Аркадэкъ, поднявъ ружье, прокололъ спину солдата штыкомъ. Дождь все сильне шелъ, а вътеръ вылъ такъ громко. Мы упіли изъ деревни и долго молча шли лъсомъ. Быстро такъ шли. Аркадэкъ держалъ меня за руку, и его рука была горяча и дрожала. О!... инъ такъ хорошо было съ нимъ, пока онъ молчалъ. Последнія это были минуты-хорошія минуты моей жадной жизни. Но вотъ мы вышли на лугъ и остановились. Они благодарили меня всъ четверо. Охъ, какъ они долго и много говорили мит что-то! Я все слушала и смотртла на своего пана. Что же онъ сдълаеть миъ? И вотъ онъ обняль меня и сказаль такъ важно... Не помню, что онъ сказаль, но такъвыходило, что теперь онъ въ благодарность за то, что я увела его, будеть любить меня... И сталъ онъ на колъни предо мной, улыбаясь, и сказалъ инъ: "моя королева!" Воть какая лживая собака была

это!... Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его въ лицо, да онъ отшатнулся и вскочилъ. Грозный и блъдный стоить онъ предо мной... Стоять и тъ трое, хмурые всв. И всв молчать. Я посмотрвла на нихъ... Мнъ тогда стало-помню-только скучно очень, и такая лънь напала на меня... Холодная лънь. Я сказала имъ: "идите!" Они, псы, спросили меня: "Ты воротишься туда указать нашъ путь?" Воть какіе подлые! Ну, всетаки ушли они. Тогда и я пошла... А на другой день ваяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидала я, что порами завести гивздо, будеть жить кукушкой! Ужъ тяжела стала я, и ослабъли крылья, и перья потуски вли... Пора, пора! Тогда я увхала въ Галицію, а оттуда въ Добруджу. И воть уже около трехъ десятковъ лътъ живу здъсь. Былъ у меня мужъ, молдаванинъ; умеръ съ годъ тому времени. И живу я вотъ. Одна живу... Нътъ, не одна, а вонъ съ тъми."

Старуха махнула рукой къ морю. Тамъ все было тихо. Иногда рождался какой-то краткій, обманчивый звукъ и умираль тотчасъ же.

— Любять они меня. Много я разсказываю имъ разнаго. Имъ это надо. Еще молодые все... И мнъ хорошо съ ними. Смотрю и думаю: воть и я, было время, такой же была... Только тогда, въ мое время, больше было въ человъкъ силы и огня, и оттого жилось веселъе и лучше... Да!..

И она замолчала. Я смотръль на нее пристально и долго. Мнъ грустно было рядомъ съ ней. Она же дремала, качая головой, и тихо, тихо шептала что-то... можеть быть молилась.

Съ моря поднималась туча—черная, тяжелая, суровыхъ очертаній, похожая на горный хребеть. Она ползла въ степь. Съ ея вершины срывались клочья облаковъ, неслись впередъ ея и гасили звъзды одну за другой. Море шумъло. Недалеко отъ насъ, въ лозахъ винограда, цъловались, шептали и вздыхали. Глубоко въ степи выла собака... Воздухъ становился удушли-

вымъ и раздражалъ нервы страннымъ запахомъ, щекотавшимъ ноздри. Отъ облаковъ падали на землю густыя стаи тъней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... Луна погасла, на ея мъстъ осталось только мутное опаловое пятно, и оно иногда совсъмъ закрывалось сизымъ клочкомъ облака. И въ степной дали, теперь уже черной и страшной, какъ бы притаившейся и скрывшей въ себъ что-то, вспыхивали маленькіе голубые огоньки. То тамъ, то туть они на мигъ являлись и гасли, точно нъсколько людей, разсыпавшихся по степи далеко другъ отъ друга, искали въ ней что-то, зажигая спички, которыя вътеръ тотчасъ же гасилъ. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшіе на что-то сказочное.

- Видишь ты искры?—спросила меня Изергиль.
- Вонъ тъ, голубыя?-указывая ей на степь, сказалъ я.
- Голубыя? Да, это онъ... Значить, летають всетаки! Ну-ну... Я уже воть не вижу ихъ больше. Не могу я теперь многаго видъть.
 - Откуда эти искры? спросиль я старуху.

Я слышалъ кое-что раньше о происхожденіи ихъ, этихъ искръ, но мнъ хотълось послушать, какъ разскажеть о томъ же старая Изергиль.

— Эти искры отъ горящаго сердца Данко. Было на свътъ сердце, которое однажды вспыхнуло огнемъ... И воть отъ него эти искры. Я разскажу тебъ про все это... Тоже старая сказка... Старое все, старое! Видишь ты, сколько въ старинъ всего?... А теперь вотъ нътъ ничего такого—ни дълъ, ни людей, ни сказокъ такихъ, какъ встарину... Почему? Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты знаешь? Что вы знаете, всъ молодые? Эхе-хе!... Смотръли бы въ старину зорко—тамъ всъ отгадки найдутся... А вотъ вы не смотрите и не умъете жить оттого... Я не вижу развъ жизнь? Охъ, все вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живутъ люди, а все

примъряются, примъряются и кладуть на это всю свою жизнь. И когда обворують сами себя, истративъ время, то начнуть плакаться на судьбу. Что же туть судьба? Каждый самъ себъ судьба! Всякихъ людей я нынче вижу, а вотъ сильныхъ нъть! Гдъ жъ они?... И красавцевъ становится все меньше.

Старуха задумалась о томъ, куда дъвались изъ жизни сильные и красивые люди и, думая, осматривала темную степь, какъ бы ища въ ней отвъта.

Я ждаль ея разсказа и молчаль, боясь, что если спрошу ее о чемъ-либо, она опять отвлечется въ сторону. Я зналь, что когда она отправляется въ бурное море своихъ воспоминаній, оно въеть на нее философіей, и часто случалось, что конецъ той или иной летенды гибъ подъ гнетомъ этой философіи, свободной и простой, но въ изложеніи старой Изергиль представлявшей изъ себя какой-то странный клубокъ разноцвътныхъ нитокъ, хитро перепутанныхъ временемъ.

Ш.

И воть она начала разсказывать:

"Жили на землъ встарину одни люди, гдъ — не знаю. Знаю, что большіе непроходимые лъса окружали съ трехъ сторонъ таборы этихъ людей, а съ четвертой — была степь. Были это веселые, сильные и смълые люди, не желавшіе многаго... Должно быть, цыгане. И вотъ пришла однажды такая смутная пора: явились откуда-то иныя племена и прогнали прежнихъ въ глубь лъса. Тамъ были болота и тьма, потому что лъсъ быль старый, и такъ густо переплелись его вътви, что сквозь нихъ не видать было неба, и лучи солнца еле могли пробить себъ дорогу до болотъ сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болотъ, то подымался смрадъ, и отъ него люди гибли одинъ за другимъ. Тогда стали плакать жены и дъти этого племени, а

отцы задумались и впали въ тоску. Нужно было упти изъ этого лъса, и для того были двъ дороги: одна назадъ, — тамъ были сильные и злые враги, другая впередъ, — тамъ стояли великаны-деревья, плотно обнявши другь друга могучими вътвями и опустивъ свои узловатые корни глубоко въ цъпкій иль болота. Эти деревья стояли молчаливо и неподвижно, какъ каменныя, днемъ въ съромъ сумракъ и еще плотнъе сдвигались вокругь тыхь людей по вечерамь, когда загорались костры. И всегда, днемъ и ночью, вокругъ тъхъ людей было кольцо, которое точно собиралось раздавить ихъ, привыкшихъ къ степному простору. А еще страшнъй было тогда, когда вътеръ билъ по вершинамъ деревьевъ и весь лъсъ глухо гудълъ, точно грозилъ и пълъ похоронную пъсню тъмъ людямъ, что укрылись въ немъ отъ враговъ. Это были все-таки сильные люди и могли бы они пойти биться насмерть съ тъми, что однажды побъдили ихъ, но они не могли умереть въ бояхъ, потому что у нихъ были завъты, и коли бъ умерли они, то пропали бъ съ ними изъ жизни и завъты тв. И потому они сидъли и думали въ длинныя ночи, подъ глухой шумъ лъса, въ ядовитомъ смрадъ болота. Они сидъли, и тъни отъ костровъ прыгали вокругъ нихъ въ безмолвной пляскъ, и всъмъ казалось, что это не твии плящуть, а торжествують злые духи лвса и болота... Люди все сидъли и думали. Но ничто-ни работа, ни женщины—не изнуряють тыла и души людей такъ, какъ изнуряють тоскливыя думы, что сосуть сердце, какъ змъи. И ослабли отъ думъ тъ люди... Страхъ родился среди нихъ и сковаль имъ кръпкія руки, ужасъ родили женщины своимъ плачемъ надъ трупами умершихъ отъ смрада и надъ судьбой скованныхъ страхомъ живыхъ, —и трусливыя слова стали слышны въ лъсу, сначала робкія и тихія, а потомъ все громче и громче... Уже хотели идти къ врагу и принести ему въ даръ себя и волю свою, и никто ужъ, испуганный

смертью, не боялся рабской жизни... Но туть явился Данко и спась всёхъ одинъ."

Старуха, очевидно, часто разсказывала о горящемъ сердцъ Данко: фразы являлись длинными и гладкими лентами. Она говорила пъвуче, и голосъ ея, скрипучій и глухой, ясно рисовалъ предо мной шумъ того лъса, среди котораго умирали отъ ядовитаго дыханія болота несчастные, загнанные люди...

"Данко — это одинъ изъ тъхъ людей, молодой красавецъ. Красивые всегда смълы. И вотъ онъ говорить имъ, своимъ товарищамъ:

— "Не своротить камня съ пути думою. Кто ничего не дълаетъ, съ тъмъ ничего не станется. Что мы тратимъ силы на думу да тоску? Вставайте, пойдемъ вълъсъ и пройдемъ его сквозь, въдь имъетъ же онъ конецъ—все на свътъ имъетъ конецъ! Идемте! Ну! Гей!..."

"Посмотръли на него и увидали, что онъ лучшій изъ всъхъ, потому что въ очахъ его свътилось много силы и живого огня.

— "Веди ты насъ!"—сказали они.

"Тогда онъ повелъ..."

Старуха помолчала и посмотръла въ степь, гдъ все густъла тъма. Искорки горящаго сердца Данко вспыхивали гдъ-то далеко и казались голубыми воздушными цвътами, расцвътавшими только на мигъ.

"Повель ихъ Данко. Дружно всв пошли за нимъ, върили въ него. Трудный путь это былъ! Темно было, и на каждомъ шагу болото разъвало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей ствной. Переплелись ихъ вътки между собой, какъ змъи, протянулись всюду корни, и каждый шагъ много стоилъ пота и крови тъмъ людямъ. Долго шли они... Все гуще становился лъсъ, все меньше было силъ! И воть они стали роптать на Данко, говоря, что напрасно онъ, молодой и неопытный, повелъ ихъ куда-то. А онъ шелъ впереди ихъ и былъ бодръ и ясенъ.

"Но однажды гроза грянула надъ лъсомъ, и зашентали деревья глухо и грозно. И стало тогда въ лъсу такъ темно, точно въ немъ собрались сразу всв ночи, сколько ихъ было на свътъ съ той поры, какъ онъ родился. Шли маленькіе люди, между большихъ деревьевъ и въ грозномъ шумъ молній шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипъли и гудъли сердитыя пъсни, а молніи, летая надъ вершинами ліса, освіншали его на минутку синимъ холоднымъ огнемъ и исчезали такъ же быстро, какъ и являлись, пугая и дразня людей. И деревья, освъщенныя холоднымъ огнемъ молній, казались живыми, простирающими вокругь людей, уходившихъ изъ плъна тьмы, корявыя, длинныя руки, сплетая ихъ въ густую съть и пытаясь остановить тъхъ людей. А изъ тьмы вътвей смотръло на идущихъ что-то страшное, темное и холодное. Это былъ трудный путь, и люди, утомленные имъ, пали духомъ. Но имъ стыдно было сознаться себъ въ безсиліи, и воть они въ злобъ и гнъвъ обрушились на Данко, человъка, который шелъ впереди ихъ. И стали они упрекать его въ неумвніи управлять ими, -- воть какъ!

"Остановились они и подъ торжествующій шумъ лъса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

— "Ты,—сказали они,—ничтожный и вредный человъкъ для насъ! Ты повелъ насъ и утомилъ, и за это ты погибнешь!

"И молніи и громъ подтвердили ихъ приговоръ.

— "Вы сказади: "веди!" — и я повель! — крикнулъ Данко, становясь противъ нихъ грудью.—Во мнѣ есть мужество вести, вотъ потому я повелъ васъ! А вы? Что сдѣлали вы въ помощь себѣ? Вы только шли и не умѣли сохранить мужество на путь болѣе долгій! Вы только шли, шли себѣ, какъ стадо овецъ!

"Но эти слова разъярили ихъ еще болъе.

- "Ты умрешь! Ты умрешь! - ревъли они.

"А лъсъ все гудъль и гудъль, вторя ихъ крикамъ, и молніи разрывали тьму въ клочья. Данко смотрълъ на тъхъ, ради которыхъ онъ понесъ трудъ, и видълъ, что они какъ звъри. Много людей стояло вокругъ него, но не было на лицахъ ихъ благородства и нельзя было ему ждать пощады отъ нихъ. Тогда и въ его сердцъ вскипъло негодованіе, но оть жалости къ людямъ оно погасло. Онъ любилъ людей тъхъ и думалъ, что, можетъ быть, безъ него они погибнуть. И воть его сердце вспыхнуло яркимъ огнемъ желанія спасти ихъ и вывести на легкій путь, и тогда въ его очахъ засверкали лучи того могучаго огня... А они, увидавъ это, подумали, что онъ разсвирвивлъ, отчего такъ ярко и разгорълись очи его, и они насторожились, какъ волки, ожидая, что онъ будеть бороться съ ними, и стали плотнъе окружать его, чтобы легче имъ было схватить и убить Данко. А онъ уже поняль ихъ думу, оттого еще ярче загорълось въ немъ сердце, ибо эта ихъ дума родила въ немъ тоску.

"А лъсъ все пълъ свою мрачную пъсню, и громъ все гремълъ, и лилъ дождъ...

— "Что сдълаю я для людей!?—сильнъе грома крикнуль Данко.

"И вдругъ онъ разорвалъ руками себъ грудь и вырвалъ изъ нея свое сердце и высоко поднялъ его надъ головой.

"Оно же пылало такъ ярко, какъ солнце, и ярче солнца, и весь лъсь замолчалъ, освъщенный этимъ факеломъ великой любви къ людямъ, а тъма разлетълась огь свъта его и тамъ, глубоко въ лъсу, дрожащая, пала въ гнилой зъвъ болота. Люди же, изумленные, стали какъ камни.

— "Идемъ!—крикнулъ Данко, и бросился впередъ на свое мъсто, высоко держа горящее сердце и освъщая имъ путь людямъ.

"Они бросились за нимъ, любопытные и очаро-

ванные. Тогда лъсъ снова зашумълъ, удивленно качая вершинами, но его шумъ былъ заглушенъ топотомъ бъгущихъ людей. Всъ бъжали быстро и смъло, увлекаемые чудеснымъ зрълищемъ горящаго сердца. И теперь гибли, но гибли безъ жалобъ и слезъ. А Данко все былъ впереди, и сердце его все пылало, пылало!

"И воть вдругь люсь разступился передь нимъ, разступился и остался свади, плотный и нюмой, а Данко и всё тё люди сразу окунулись въ цёлое море солнечнаго свёта и чистаго воздуха, промытаго дождемъ. Гроза была тамъ, свади нихъ, надъ люсомъ, а туть сіяло солнце, вздыхала степь, блестёла трава въ брильянтахъ дождя и золотомъ сверкала рюка... Былъ вечеръ, и отъ лучей заката рюка казалась красной, какъ та кровь, что била горячей струей изъ разорванной груди Данко.

"Кинулъ взоръ впередъ себя на ширь степи гордый умирающій смільчакъ Данко,—кинулъ онъ радостный взоръ на развернувшуюся передъ нимъ свободную землю и засмінялся гордо. А потомъ упаль и умеръ.

"Тихо шептали удивленныя деревья, оставшіяся позади, и трава, смоченная кровью Данко, вторила имъ.

"Люди же, радостные и полные надеждъ, не замътили смерти его и не видали, что еще пылаетъ рядомъ съ трупомъ Данко его смълое сердце. Только одинъ осторожный человъкъ замътилъ это и, боясъ чего-то, наступилъ на гордое сердце ногой... И вотъ оно, разсыпавшись въ искры, угасло..."

— Вотъ откуда онъ, голубыя искры степи, что являются передъ грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, въ степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смъльчака Данко, который сжегь для людей свое сердце и умеръ, не прося у нихъ ничего въ награду себъ. Прислонясь спиной къ корзинамъ съ виноградомъ, старуха дремала, изръдка вздрагивая. Я смот-

рътъ на нее и думалъ: сколько еще сказокъ и воспоминаній осталось въ ея памяти? И думалъ о великомъ горящемъ сердпъ Данко, и о человъческой фантазіи, создавшей столько красивыхъ и сильныхъ легендъ, о старинъ въ которой были герои и подвиги, и о печальномъ времени, бъдномъ сильными людьми и крупными событіями, богатомъ холоднымъ недовъріемъ, смъющимся надо всъмъ,—жалкомъ времени мизерныхъ людей съ мертворожденными сердцами...

Дунулъ вътеръ и обнажилъ изъ-подъ лохмотьевъ сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей все кръпче. Я прикрылъ ея старое тъло и самъ легъ на землю около нея. Въ степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, медленно, скучно... Море шумъло такъ глухо и печально. Старуха Изергиль кръпко спала... Она могла не проснуться никогда больше.



однажды осенью...

РАЗСКАЗЪ БЫВАЛАГО ЧЕЛОВЪКА.

(1895.)

...Однажды осенью мив привелось стать въ очень непріятное и неудобное положеніє: въ городв, куда я только-что прівхаль и гдв у меня не было ни одного знакомаго человвка,—я очутился безъ гроша въ карманв и безъ квартиры.

Продавъ въ первые дни все то изъ костюма, безъ чего возможно было обойтись, я ушелъ изъ города въ мъстность, называемую "Устье", гдъ были пароходныя пристани и въ навигаціонное время кипъла бойкая трудовая жизнь, а теперь было пустынно и тихо, ибо дъло происходило въ послъднихъ числахъ октября.

Плепая ногами по сырому песку и упорно разглядывая его съ желаніемъ открыть въ немъ какіе ни суть остатки питательныхъ веществъ, я бродилъ одиноко среди пустынныхъ эданій и торговыхъ ларей и думалъ о томъ, какъ хорошо быть сытымъ...

При данномъ состояніи культуры голодъ души можно удовлетворить скорте, чти голодъ тта. Вы бродите по улицамъ, васъ окружають зданія, недурныя по внтиности и можно безошибочно сказать—недурно

обставленныя изнутри—это можеть возбудить у вась отрадныя мысли объ архитектурв, о гигіенв и еще о многомь другомь мудромь и высокомь; вамь встрвчаются удобно и тепло одвтые люди,—они ввжливы, всегда сторонятся оть вась, деликатно не желая замвчать печальнаго факта вашего существованія. Ей Богу, душа голоднаго человвка всегда питается лучше и здоровве души сытаго,—воть положеніе, изъ котораго можно сдвлать очень остроумный выводь въ пользу сытыхь!...

...Наступалъ вечеръ, шелъ дождь и съ съвера порывисто дулъ вътеръ. Онъ свистълъ въ пустыхъ ларяхъ и лавчонкахъ, билъ въ заколоченныя досками окна гостиницъ, и волны ръки отъ его ударовъ пънились, шумно плескали на песокъ берега, высоко взметывая свои бълые хребты, и неслись одна за другой въ мутную даль, стремительно прыгая другъ черезъ друга... Казалось, что ръка чувствовала близость зимы и въ страхъ бъжала куда-то отъ оковъ льда, который могъ въ эту же ночь набросить на нее съверный вътеръ. Небо было тяжело и мрачно, съ него неустанно сыпались еле видныя глазомъ капельки дождя, и печальную элегію въ природъ вокругъ меня подчеркивали двъ обломанныя и уродливыя ветлы и опрокинутая вверхъ дномъ лодка у ихъ корней.

Опрокинутый чолнъ съ проломленнымъ дномъ и ограбленныя холоднымъ вътромъ деревья, жалкія и старыя... Все кругомъ разрушено, безлюдно и мертво, а небо точитъ неизсякаемыя слезы. Пустынно и мрачно было вокругъ—казалось, все умираетъ, скоро останусь въ живыхъ я одинъ, и меня тоже ждетъ холодная смерть.

А мнъ тогда было восемнадцать лътъ — хорошая пора!

Я ходиль, ходиль по холодному и сырому неску, выбивая зубами трели въ честь голода и холода, и вдругь, въ тщетныхъ поискахъ събстного, зайдя за одинъ изъ

ларей,—увидаль за нимъ скорченную на землъ фигуру въ женскомъ платъв, мокромъ отъ дождя и плотно приставшемъ къ склоненнымъ плечамъ. Остановившись надъ ней, я всмотрълся въ то, что она дълала. Оказалось, она роетъ руками яму въ пескъ, подкапываясь подъ одинъ изъ ларей.

— Это зачъмъ тебъ?—спросилъ я, присаживаясь на корточки около нея.

Она тихо вскрикнула и быстро вскочила на ноги. Теперь, когда она стояла и смотръла на меня широко раскрытыми сърыми глазами, полными боязни,—я видълъ, что это дъвушка моихъ лътъ, съ очень миловиднымъ личикомъ, къ сожалънію, украшеннымъ тремя большими синяками. Это его портило, хотя синяки были расположены съ замъчательной пропорціональностью— по одному, равной величины, подъ глазами и одинъ побольше на лбу, какъ разъ надъ переносицей. Въ этой симметріи была видна работа артиста, очень изощрившагося въ дълъ порчи человъческихъ физіономій.

Дъвушка смотръла на меня, и боязнь въ ея глазахъ постепенно гасла... Вотъ она отряхнула руки отъ песка, поправила ситцевый платокъ на головъ, поежилась и сказала:

— Ты, чай, тоже всть хочешь?... Ну-ка, рой... у меня руки устали. Тамъ,—она кивнула головой на ларь,—навърно хлъбъ есть... а то и колбаса. Этотъ ларь торгуеть еще...

Я сталъ рыть. Она же, немного подождавъ и посмотръвъ на меня, присъла рядомъ и стала помогать мнъ...

Мы работали молча. Я не могу сказать теперь, помниль ли я въ тоть моменть объ уголовномъ кодексъ, о морали и о собственности и прочихъ вещахъ, о которыхъ, по мнъню многихъ свъдущихъ людей, слъдуетъ помнить во всъ моменты жизни. Желая быть возможно ближе къ истинъ, я долженъ признаться,—кажется, я былъ настолько углубленъ въ дъло подкопа подъ ларь, что совершенно позабылъ о всемъ прочемъ, кромъ того, что могло оказаться въ этомъ даръ...

Вечеръло. Тьма—сырая, мозглая, холодная—все болье сгущалась вокругъ насъ. Волны шумъли какъ бы глуше, чъмъ ранъе, а дождь барабанилъ о доски ларя все звучнъе и чаще... Гдъ-то уже продребезжала трещотка ночного сторожа...

- Есть у него полъ или нътъ?—тихо спросила моя пемощница. Я не понялъ, о чемъ она говоритъ, и промолчалъ...
- Я говорю—есть поль у ларя? Коли есть, такъ мы напрасно ломаемся. Подроемъ яму,—а тамъ, можеть, толстыя доски еще... Какъ ихъ отдерешь? Лучше замокъ сломать... замокъ-то плохонькій...

Хорошія идеи ръдко посъщають головы женщинь; но, какъ вы видите, онъ все-таки посъщають ихъ... Я всегда цъниль хорошія идеи и всегда старался пользоваться ими по мъръ возможности.

Найдя замокъ, я дернулъ его и вырвалъ вмъстъ съ кольцами... Моя соучастница мгновенно изогнулась и змъей вильнула въ открывшееся четырехугольное отверстіе ларя. Оттуда раздался ея одобрительный возгласъ:

— Молодецъ!

Одна маленькая похвала женщины для меня дороже цълаго диеирамба со стороны мужчины, будь онъ красноръчивъ, какъ всъ древніе и новые ораторы, взятые вмъсть. Но тогда я былъ настроенъ менъе любезно, чъмъ теперь, и, не обративъ вниманія на комплиментъ моей подруги, кратко и со страхомъ спросилъ ее:

— Есть что-нибудь?

Она монотонно принялась перечислять мнъ свои открытія.

— Корзина съ бутылками... Мъшки пустые... Зонтикъ... Ведро желъзное.

Все это было не събдобно. Я чувствовалъ, что мои надежды гаснутъ... Но вдругъ она оживленно крикнула:

- Ага! воть онъ...
- Кто?
- Хльбъ... Коровай... Только мокрый... Держи!

Къ ногамъ моимъ выкатился коровай и за нимъ она, моя доблестная подруга. Я уже отломилъ кусочекъ, засунулъ его въ ротъ и жевалъ...

- Ну-ка, дай мив... Да тоже отсюда надо и уходить. Куда бы намъ идти?—Она пытливо посмотръла во тьму на всв четыре стороны... Было темно, мокро, шумно...
 - Вонъ тамъ лодка опрокинута... айда-ка туда?
- Идемъ!—И мы пошли, обламывая на ходу нашу добычу и набивая ею рты... Дождь усиливался, ръка ревъда, откуда-то доносился протяжный насмъшливый свистокъ,—точно это нъкто большой и никого не боящійся освистываль всъ земные порядки, и этотъ скверный осенній вечеръ, и насъ, двухъ его героевъ... Сердце бользненно ныло отъ этого свиста; тъмъ не менъе я жадно ълъ, въ чемъ мнъ не уступала и дъвушка, шедшая съ лъвой стороны отъ меня.
 - Какъ тебя зовутъ? зачъмъ-то спросиль я ее.
 - Наташа!-кратко отвъчала она, звучно чавкая.

Я посмотрълъ на нее—у меня больно сжалось сердце, я посмотрълъ во тьму впереди меня и—мнъ показалось, что ироническая рожа моей судьбы улыбается мнъ загадочно и холодно...

...По дереву лодки неугомонно стучаль дождь, и мягкій шумъ его наводиль на грустныя мысли, и вътерь свистьль, влетая въ проломленное дно—въ щель, гдъ билась какая-то щепочка, билась и трещала безпокойнымъ и жалобнымъ звукомъ. Волны ръки плескались о берегь и звучали такъ монотонно и безнадежно, точно разсказывали о чемъ-то, невыносимо скучномъ и тяжеломъ, надоъвшемъ имъ до отвращенія, о

чемъ-то такомъ, отъ чего имъ котълось бы убъжать и е чемъ имъ все-таки необходимо говорить. Шумъ дождя сливался съ ихъ плескомъ, и надъ опрокинутой лодкой плавалъ какъ бы вздохъ—протяжный, безконечный, тяжелый вздохъ земли, обиженной и утомленной этими въчными смънами яркаго и теплаго лъта—осенью колодной, туманной и сырой. И вътеръ все носился надъ пустыннымъ берегомъ и вспъненной ръкой, носился и пълъ унылыя пъсни...

Помъщеніе подъ лодкой было лишено какого-либо комфорта: въ немъ было тъсно, сыро, въ пробитое дно сыпались мелкія, холодныя капли дождя... врывались струи вътра... Мы сидъли молча и дрожали отъ холода. Мнъ хотълось спать, помню. Наташа прислонилась спиной къ борту лодки, скорчившись въ маленькій комокъ. Обнявъ руками колтыи и положивъ на нихъ подбородокъ, она упорно смотръла на ръку, широко раскрывъ свои глаза... на бъломъ пятнъ ея лица они казались громадными отъ синяковъ подъ ними. Она не двигалась, и эта неподвижность и молчаніе—я чувствовалъ—постепенно родить во мнъ страхъ предъ моей сосъдкой... Мнъ хотълось заговорить съ ней, но я не зналъ, съ чего начать.

Она заговорила сама.

— Экая окаянная жизны!...—внятно, раздёльно, съ глубокимъ убъжденіемъ въ тонъ произнесла она.

Но это не была жалоба. Въ этихъ словахъ было слишкомъ много равнодушія для жалобы. Просто человъкъ подумаль, какъ умълъ, подумаль и пришель къ извъстному выводу, который и высказалъ вслухъ и на который я не могъ возразить, не противоръча себъ. Поэтому я молчалъ. А она, какъ бы не замъчая меня, продолжала сидъть неподвижно.

— Хоть бы сдохнуть, что ли...—снова проговорила Натапа, на этоть разъ тихо и задумчиво. И снова въ ея словахъ не звучало ни одной ноты жалобы. Видно было, что человѣкъ, подумавъ про жизнь, посмотрѣлъ на себя и спокойно пришелъ къ убѣжденію, что для охраненія себя отъ издѣвательствъ жизни онъ не въ состояніи сдѣлать что-либо другое, кромѣ того, какъ именно "сдохнуть"...

Мнъ стало невыразимо тошно и больно отъ такой ясности мышленія, и я чувствоваль, что если буду молчать еще, то навърное заплачу... А это было бы стыдно предъ женщиной, тъмъ болье, что воть она не плакала же. Я ръшиль заговорить съ ней.

- Кто это тебя избилъ?—спросилъ я, не придумавъ ничего умиъе и деликатиъе.
- Да все Пашка же...—ровно и громко отвътила она.
 - А онъ кто?...
 - Любовникъ... Булочникъ одинъ...
 - Часто онъ тебя бьеть?...
 - Да какъ напьется, такъ и бьетъ... Часто!

И вдругъ, придвинувшись ко мнѣ, она начала разсказывать о себъ, Пашкъ и существующихъ между ними отношеніяхъ. Она—"дъвица изъ гуляющихъ, которыя"...—а онъ булочникъ съ рыжими усами и очень корошо играетъ на гармоникъ. Ходилъ онъ къ ней въ "заведеніе", и ей очень понравился, потому что человъкъ онъ веселый и одъвается чисто. Поддевка въ пятнадцать рублей, и сапоги съ "наборомъ" у него... По этимъ причинамъ она въ него влюбилась, и онъ сталъ ея "кредитнымъ". А когда онъ сталъ ея "кредитнымъ", то занялся тъмъ, что отбиралъ у нея тъ деньги, которыя ей давали другіе гости на конфеты, и напиваясь на эти деньги, сталъ бить ее,—это бы еще ничего,—а сталъ "путаться" съ другими дъвицами на ея глазахъ...

— Али это мнъ не обидно? Я не хуже другихъ прочихъ... Значитъ, это онъ издъвается надо мной, подлецъ. Третьягодня я вотъ отпросилась у хозяйки гулять.

пришла къ нему, а у него Дунька пьяная сидить. И онъ тоже подъ шефе. Я говорю ему: "подлецъ ты, подлецъ! Жуликъ ты!" Онъ избилъ меня всю. И пинками, и за волосы—всячески... Это бы еще ничего! А вотъ порвалъ всю... это какъ теперь? Какъ я къ хозяйкъ явлюсь? Все порвалъ: и платье и кофточку—новенькая еще совсъмъ... пятишницу дали за нее!... и платокъ сдернулъ съ головы... Господи! Какъ мнъ теперь быть?—вдругъ взвыла она тоскующимъ, надорваннымъ голосомъ.

И вътеръ вылъ, становясь все кръпче и холодиве... У меня снова зубы принялись танцовать. А она тоже ежилась отъ холода, придвинувшись настолько близко ко мнъ, что я уже видълъ сквозь тьму блескъ ея глазъ...

— Какіе всѣ вы мерзавцы, мужчины. Растоптала бы я вась всѣхъ, изувѣчила. Издыхай который изъ васъ... плюнула бы въ морду ему, а не пожалѣла! Подлыя хари!... Канючите, канючите, виляете хвостомъ, какъ подлыя собаки, а поддастся вамъ дура, и готово дѣло! Сейчасъ вы ее и подъ ноги себѣ... Шематоны паршивые...

Ругалась она очень разнообразно, но въ ругательствахъ ея не было силы: ни злобы, ни ненависти къ "паршивымъ шематонамъ" не слышалъ я въ нихъ. Вообще тонъ ея ръчи былъ несоотвътственно содержанію спокоенъ и голосъ грустно бъденъ нотами.

Но все это дъйствовало на меня сильнъе самыхъ красноръчивыхъ и убъдительныхъ пессимистическихъ книгъ и ръчей, которыхъ я слышалъ немало и раньше, и позднъе, и по сей день слышу и читаю. И это потому, видите ли, что агонія умирающаго всегда гораздо естественнъе и сильнъе самыхъ точныхъ и художественныхъ описаній смерти.

Мнѣ было скверно,—навѣрное, больше отъ холода, чѣмъ отъ рѣчей моей сосѣдки по квартирѣ. Я тихонько застоналъ и заскрипѣлъ зубами.

И почти въ то же мгновеніе ощутилъ на себѣ двѣ холодныя маленькія руки,—одна изъ нихъ коснулась мосії шеи, другая легла мнѣ на лицо и вмѣстѣ съ тѣмъ прозвучалъ тревожный, тихій, ласковый вопросъ:

— Ты что?

Я готовъ быль подумать, что это спрашиваеть меня кто-то другой, а не Наташа, только-что заявившая, что всъ мужчины мерзавцы и желавщая всъмъ имъгибели. Но она заговорила уже быстро и торопливо...

— Что ты? а? Холодно что ли? Смерзаешь? Ахъ ты какой! Сидить и молчить... какъ сычъ! Да ты бы давно сказаль мнъ, что холодно, молъ... Ну... ложись на землю... протягивайся... и я лягу... вотъ! Теперь обнимай меня руками... кръпче... Ну вотъ, и должно быть тебъ тепло теперь... А потомъ—спинами другъ къ другу дяжемъ... Какъ-нибудь скоротаемъ ночь-то... Ты что, запилъ что ли? Съ мъста прогнали?... Ничего!...

Она меня утъщала... Она меня ободряла...

Будь я трижды проклять!-Сколько было ироніи надо мной въ этомъ факты! Подумайте!-Въдь я въ то время быль серьезно озабочень судьбами человъчества, мечталь о реорганизаціи соціальнаго строя, о политическихъ переворотахъ, читалъ разныя дьявольски-мудрыя книги, глубина мысли которыхъ, навърное, недосягаема была даже для авторовъ ихъ,-я въ то время всячески старался приготовить изъ себя "крупную общественно-активную силу". Мнъ казалось даже, что отчасти я уже выполниль мою задачу; во всякомъ случай въ то время я въ представленіяхъ о себи самомъ уже доходиль до признанія за собой исключительнаго права на существованіе, какъ за величиной для жизни необходимой и вполнъ способной сыграть въ ней крупную историческую роль! И меня-то согравала своимъ твломъ продажная женщина, несчастное, избитое, загнанное существо, которому неть места въ жизни и нъть цъны, и которому я не догадался помочь раньше,

чѣмъ она мнѣ помогла сама, а если бъ и догадался, то едва ли бы сумѣлъ дѣйствительно помочь ей чѣмълибо.

Ахъ, я готовъ былъ думать, что все это происходить со мной во снъ, въ нелъпомъ снъ, въ тяжеломъ снъ...

Но, увы! мнъ нельзя было этого подумать, ибо на меня сыпались холодныя капли дождя, кръпко къ моей груди прижималась теплая грудь женщины, въ лицо мнъ въяло ея теплое дыханіе, хотя и съ легонькимъ букетомъ водки... но—такое живительное... Вылъ и стоналъ вътеръ, стучалъ дождь о лодку, плескались волны, и оба мы, кръпко сжимая другъ друга, все-таки дрожали отъ холода. Все это было вполнъ реально, и я увъренъ, никто не видалъ такого тяжелаго и сквернаго сна, какъ эта дъйствительность.

А Наташа все говорила о чемъ-то, говорила такъ ласково и участливо, какъ только женщины могуть говорить. Подъ вліяніемъ ея рѣчей, наивныхъ и ласковыхъ, внутри меня тихо затеплился нѣкій огонекъ, и отъ него что-то растаяло въ моемъ сердцѣ.

Тогда изъ моихъ глазъ градомъ полились слезы, смывшія съ сердца моего много злобы, тоски, глупости и грязи, накипъвшей на немъ предъ этой ночью... Наташа же уговаривала меня:

— Ну, полно, миленькій, не реви! Полно! Богъ дасть, поправишься, опять на мъсто поступишь... и все такое...

И все цъловала меня... много, безъ счета, горячо...

Эти были первые женскіе поцълуи, преподнесенные мнъ жизнью, и это были лучшіе поцълуи, ибо всъ послъдующіе страшно дорого стоили и ръшительно ничего не давали мнъ.

- Ну, не реви же, чудакъ! Я тебя завтра устрою, коли тебъ некуда дъваться...—какъ сквозь сонъ слышалъ я тихій, убъдительный шопотъ...
 - ...До разсвъта мы лежали въ объятіяхъ другъ друга...

А когда разсвъло, вылъзли изъ-подъ лодки и пошли въ городъ... Потомъ дружески простились и болъе не встръчались никогда, хотя я съ полгода разыскивалъ по всъмъ трущобамъ эту милую Наташу, съ которой провелъ описанную мною ночь однажды осенью...

Если она уже умерла—какъ это хорошо для нея! въ миръ да почіеть! А если жива—миръ душъ ея! И да не проснется въ душъ ея сознаніе паденія... ибо это было бы страданіемъ излишнимъ и безплоднымъ для жизни...



OWNBKA.

(эпизодъ).

(1895).

Сельскій учитель не у дѣлъ, Кириллъ Ивановичъ Ярославцевъ, опершись локтями о столъ и туго сжавъ виски ладонями, смотрѣлъ тупыми глазами на разсыпанныя передъ нимъ статистическія карточки и пытался выдавить изъ своихъ утомленныхъ работой мозговъ представленіе о томъ, что же надлежить теперь дѣлать съ этими четырехугольными листами бумаги?

Это никакъ не удавалось ему. Въ головъ глухо шумъло, и ему казалось, что она налита чъмъ-то густымъ и тяжелымъ, что больно давить изнутри на глаза, стремясь излиться наружу. Цифры съ карточекъ то вдругъ исчезали, то появлялись и снова холодно и сухо свидътельствовали о чемъ-то; то уменьщались до крохотныхъ, неясныхъ каракулекъ; то вдругъ вырастали въ крупныя, странныя и поджарыя фигуры. Кириллъ Ивановичъ слъдилъ за ихъ игрой и чувствовалъ, что въ немъ, гдъ-то глубоко, вырастаетъ и формируется тяжелая и безпокойная мысль. Она еще была неясна ему, но она непремънно появится, и тогда ему будетъ еще хуже и больнъе, чъмъ теперь.

Послъднее время его стали все чаще и чаще преслъдовать эти мысли, гнетущія душу, окрашивающія

Digitized by Google

все въ темный цвъть—нъчто вродъ осеннихъ тучъ, такія же сырыя и холодныя, оставлявшія за собой на душъ ржавчину тоски и тупого равнодушія ко всему. Было что-то роковое въ этой медленности, съ которой онъ формировались въ сознаніи, и никогла и ничъмъ ему не удавалось задержать ихъ рость и развитіе. Онъ дълаль такія попытки: вставаль изъ-за стола, ходиль по комнатъ и пъль или шель къ кому-нибудь изъ знакомыхъ, но онъ заглушали пъсню и всюду полали за нимъ, не оставляя его и внъ дома.

Сначала онъ упорно боролся съ ними, но потомъ увидалъ, что эта борьба не влечеть за собой никакихъ послъдствій, кромъ утомленія души, и всегда ведетъ къ тому, что онъ давять его сильнъе, становясь сами образнъе и ярче отъ его сопротивленія имъ. Тогда онъ уступалъ, и ужъ если чувствовалъ, что вотъ онъ идутъ, то прямо ложился на диванъ и, заложивъ руки подъ голову, безъ борьбы отдавалъ себя во власть имъ.

Такъ оставался онъ часа по два, по три, а иногда и по цъльмъ ночамъ, какъ бы расколотый на двъ части, при чемъ одна, отъ времени становившаяся все меньше, жалобно и безпомощно слъдила за другой, которою овладъли эти тяжелыя думы, перетиравшія, подобно жерновамъ, все хорошее и свътлое, что есть въжизни, и все, чъмъ надъляеть ее мечта, въ сухую, безцвътную пыль.

Онъ лежалъ, упорно глядя въ потолокъ да слушая біеніе своего сердца и звукъ маятника часовъ въ комнатъ квартирной хозяйки. Такъ-такъ! такъ-такъ! — мърно билъ маятникъ и точно подтверждалъ своимъ увъреннымъ и твердымъ звукомъ справедливость того, что навязывали думы сознанію Кирилла Ивановича. Наконецъ, онъ привыкъ къ нимъ, какъ больной къ своимъ припадкамъ, зналъ, что онъ неотвратимы, и только чувствовалъ смутний страхъ, когда онъ давали знать о

томъ, что идутъ на него. Потомъ этотъ страхъ временно исчезалъ, подавленный ихъ работой, и вдругъ черезъ нъкоторое время являлся снова.

Но онъ являлся уже въ новой формъ—въ формъ тоскливой, чего-то ожидающей, неотвязной боязни, которая все возрастала и все напряженнъе ждала какогото страшнаго факта. Кириллу Ивановичу казалось, что воть появится нъчто суровое и торжествующее, появится, станеть у дивана и, грозя, ехидно скажеть:

— А въдь я вижу, о чемъ вы это думаете. Вижу. Я все вижу; самомалъйшій изгибъ вашего мозга мнъ ясенъ. Какъ же вы ръшаетесь думать о томъ, что не подлежить въдъню вашему,—въдъню человъка, къ жизни непричастнаго и отъ нея отторгнутаго, а? Какъ же это вы, государь мой? А вы знаете, что за это васъ можно...—и онъ покажетъ, что за "это" можно сдълать съ человъкомъ.

Представляя себъ такую картину, Кириллъ Ивановичъ вздрагивалъ и жалобно смотрълъ на дверь.

Дверь была тоненькая и хлибкая, а крючокъ проволочный. Оть посъщенія этого всезнающаго существа она не оградить и ничто не оградить оть его посъщенія. Кириллу Ивановичу казалось, что оно проникло бы и сквозь каменныя стъны. И въ ожиданіи его онъ страдаль, вздрагивая при каждомъ шумъ и подозрительно присматриваясь къ каждому незнакомому человъку,—страдаль и чувствоваль, что эта тоскливая боязнь съ каждымъ своимъ возрожденіемъ становится все сильнъе и охватываеть его все кръпче, и вотьвоть она возрастеть, поглотить его... и туть ужъ воображеніе останавливалось передъ чъмъ-то темнымъ и полнымъ леденящаго душу ужаса.

— Какъ избавиться отъ всего этого?—думалъ Кириллъ Ивановичъ въ болъе свътлые моменты, и отвъчалъ себъ:—Подчиниться. Пусть оно совершенно охватить меня, и тогда я перестану его чувствовать... И въ этотъ разъ онъ тоже хотъль было лечь на диванъ, но вдругъ услыхалъ торопливый скрипъ двери за своею спиной, быстрые шаги и утомленный голосъ:

— Вы дома? Ну, наконецъ, нашелъ одного!... Ф-фу! Кириллъ Ивановичъ обернулся на стулъ и увидалъ одного изъ знакомыхъ статистиковъ, котораго въ бюро прозвали Минорнымъ. Онъ сълъ на стулъ и, держа въ одной рукъ бълую фуражку, другою вытиралъ со лба крупный потъ. Лицо у него было блъдно и измято, глаза воспалены и весь онъ производилъ впечатлъніе человъка крайне уставшаго.

Кириллъ Ивановичъ подошелъ къ нему и крѣико, молча, съ удовольствіемъ пожалъ ему руку. Этотъ человѣкъ своимъ появленіемъ отдалялъ приступъ думъ.

- Бъгалъ по жаръ, какъ сумасшедшій,—никого!—говорилъ Минорный, иначе—Петръ Васильевичъ Бабкинъ, съ неудовольствіемъ поджимая губы, и зажмуривъ глаза, нервно провелъ по нимъ пальцемъ, какъ бы смахивая съ ръсницъ что-то.
- A кого вамъ нужно?—хотълъ спросить Кириллъ Ивановичъ, но не успълъ.
 - Воть видите что... вы только, пожалуйста, не отказывайтесь... потому что я больше не могу ужь. Двѣ
 ночи напролеть возился, будеть! Это свинство со стороны Ляхова и всѣхъ другихъ... Да, вѣдь я не сказалъ
 вамъ, въ чемъ дѣло... Этотъ... какъ его?... Кравцовъ!
 Сошелъ съ ума... да. Третій день вотъ... Все, знаете,
 говорить, говорить, чортъ не разбереть, что такое! Впрочемъ, иногда очень сознательныя и умныя вещи. Ну,
 такъ вотъ... я былъ при немъ кряду два дня и больше
 не могу... Страшно усталъ. Онъ буенъ, если ему противорѣчить, лъзетъ драться, а давать ему волю нельзя.
 Ерундитъ страшно! Началъ мазать стѣны ваксой... Раздълся до-нага и давай себъ чистить щеткой голую грудь.
 Воображаетъ себя геніемъ добра и дерется. Смѣшно и
 жалко... И утомительно. Бываетъ докторъ. Хлопочутъ о

пом'вщеніи въ больницу, но все такъ медленно. А главное, возмутительно формальны и черствы мы всё! Приходять, знаете, посмотрять на него въ дверную щель, посочувствують и удеруть. Всёмъ некогда, у всёхъ какія-то дёла явились. Я больше не могу, увёряю васъ! Пойдите вы, голубчикъ, а? Тамъ теперь Лыжинъ... Вы, я знаю, мало знакомы были съ этимъ несчастнымъ; но разв'в это теперь не все равно? Не такъ ли? Вы пойдете?

- Да, я... конечно. Я могу... хоть сейчасъ!—медленно протянулъ Кириллъ Ивановичъ.
- Именно сейчасъ! внушительно и торопливо воскликнулъ Минорный и пояснилъ: — Этотъ Лыжинъ и остался тамъ только на условіи, что его часа черезъ два смънять... Вотъ и прекрасно... идите-ка! Вы сильный, вамъ это будетъ не трудно. И какъ это я не догадался давеча прямо къ вамъ махпуть?... Не измаялся бы такъ... Ну, такъ вы идете?
 - Хорошо... идемте.

Минорный поднялся со стула, быстрымъ жестомъ бросилъ себъ на голову фуражку, поправилъ ее и, отворивъ дверь, оглянулся на Кирилла Ивановича.

Послъдній задумчиво и медленно натягиваль на себя пальто, закусивъ нижнюю губу и упорно глядя на ноги Минорнаго.

— Знаете что, Ярославцевъ? — живо заговорилъ тотъ. — Въдь вамъ извъстна его квартира? Такъ идите, милый, одинъ, а я домой прямо, а? Хорошо? Ну, и спасибо! Не повърите, ну, чортъ знаетъ, до чего я...

Но заключительных словь его фразы Кириллъ Ивановичъ уже не слыхалъ—Минорный унесъ ихъ съ собой въ глубь съней, и тамъ они были заглушены тонкимъ, взбудоражившимъ нервы Кирилла Ивановича визгомъ двери. Отъ этого визга онъ вздрогнулъ, скорчилъ болъзненную гримасу и опустился на стулъ, побужденный къ этому гнетущею тяжестью, упавшею на него изъ сообщенія Минорнаго о печальномъ фактъ.

Какъ только Минорный сказалъ фамилію Кравцова, Кириллъ Ивановичъ воспроизвелъ передъ собой фигуру человъка средняго роста, сухого, угловатаго, нервнаго, съ черными, всегда вздрагивавшими усами и съ горящимъ, блуждающимъ взглядомъ миндалевидныхъ черныхь же глазъ. По морщинистому бълому лбу этого человъка странно двигались густыя брови, то всползая къ жесткимъ, ершистымъ волосамъ, то вдругъ спрыгивая внизъ и совершенно закрывая впадины глазъ. Въ разговоръ онъ иногда удерживаль одну бровь-лъвую, прижимая ее длиннымъ пальцемъ лъвой же руки; это не мъщало другой брови всползать къ волосамъ, и тогда все лицо говорившаго перекашивалось и принимало мучительно-острое выражение напряженнаго желанія проникнуть куда-то недосягаемо для другихъ, глубоко, и постичь что-то непостижимое никому. Глаза же въ это время метали искры, и въ нихъ было цълое море не то тоски, не то мучительнаго восторга.

Давно уже всѣ считали его человѣкомъ ненормальнымъ, и онъ каждый день подтверждалъ такой взглядъ на себя, высказывая сегодня желаніе учиться математикѣ, чтобы постичь тонкости астрономіи; завтра—уйти въ деревню, чтобы обрести тамъ равновѣсіе души; уѣхать въ Америку и бродить тамъ въ степяхъ, конвоируя гурты скота; поступить на фабрику, чтобы развивать среди рабочихъ теоріи соціализма; учиться музыкѣ, ремеслу, рисованію. Необходимость для себя всего этого онъ доказывалъ всегда увѣренно и ясно, а если его оспаривали—съ бѣшеною горячностью. Главнымъ источникомъ своихъ желаній онъ выставлялъ чувство самосохраненія.

— "Ничего не дълая, погибнешь черезчуръ глупо для человъка. Всъ скоты дълаютъ нъчто, я же человъкъ и долженъ творить!"—вспомнилъ Кириллъ Ивановичъ двъ его фразы. Принято было называть его "метафизикомъ" за такія и другія въ этомъ же родъ ръчи. Онъ никогда

не умъль привести строго-логическихъ доводовъ въ пользу того или другого изъ своихъ воззрвній, поступковъ, желаній и всегда отділывался краткими афоризмами въ догматическомъ тонъ, и за пристрастіе къ такимъ афоризмамъ считался человъкомъ, живущимъ, прежде всего, для громкаго слова. Къ нему привыкли и не обращали на него особеннаго вниманія. Ляховъочень образованный и умный человъкъ, крупный чиновникъ въ акцизъ-говорять, любиль его и считалъ за талантливаго человъка, но безъ почвы и равновъсія психическихъ рессурсовъ съ желаніями. Кириллъ Ивановичь тоже не обращаль на него вниманія и, встръчаясь съ нимъ, никогда не пытался ясно представить себъ, съ къмъ онъ имъеть дъло, вполнъ полагаясь на чуткость и върность вагляда тъхъ людей, которые дали Кравцову эпитеть непормальнаго и психопата.

Но теперь этотъ Кравцовъ вдругъ сталъ мучительно интересенъ. Дней пять тому назадъ Кириллъ Ивановичъ вмъстъ съ нимъ катался въ лодкъ, говорилъ и ничего особеннаго не замътилъ за нимъ. Кажется, онъ былъ даже меньше возбужденъ, чъмъ обыкновенно. И вотъ этотъ-то самый человъкъ сошелъ съ ума. А тогда они сидъли въ лодкъ рядомъ, и онъ своимъ отрывистымъ стилемъ, но въско и вполнъ ясно для него, Кирилла Ивановича, доказывалъ, что демонизмъ, символизмъ и иныя болъзненныя формы мысли есть бъщеная, но необходимая реакція противъ распространенія матеріализма, и что кредить матеріализма скоро и непремънно будетъ подорванъ въ глазахъ всъхъ мыслящихъ людей. Кириллъ Ивановичъ снова вспомнилъ металлически-звенъвшія фразы:

— "Причина современнаго шатанія мысли—въ оскудъніи идеализма. Тъ, что изгнали изъ жизни весь романтизмъ, раздъли насъ до-нага; вотъ отчего мы стали другъ къ другу сухи, другъ другу гадки. Еще мы не настолько психически окръпли, чтобъ безъ вреда для себя до конца выслушивать правду. Кто знаеть, можеть быть, высшая истина не только невыгодна, но и прямо-таки вредна намъ?

— "А что же теперь говорить этоть человъкъ,— теперь, когда онъ сумасшедший? И что такое быть сумасшедшимъ?"

Кириллъ Ивановичъ вспомнилъ, что кто-то опредълилъ сумасшествіе, какъ преобладаніе дъятельности какого-нибудь одного изъ свойствъ психики надъ всъми другими, а еще кто-то—какъ пораженіе памяти какимълибо однимъ фактомъ или мыслью.

Ему представилась внутренность какого-то пружиннаго механизма: массы спиральныхъ пружинъ сокращаются и расширяются, взаимно сообщая другъ другу силу и движеніе, и изъ этого движенія рождается мысль. Вдругъ одна изъ пружинъ почему-то начинаетъ сокращаться сильнѣе другихъ—полная путаница среди остальныхъ, пока онѣ не возьмутъ новаго такта или пока она не возьметъ стараго такта. Или вдругъ въ ихъ систему вторгается извнѣ нѣчто тяжелое, поражающее, и падаетъ какъ разъ на ту пружину, что записываетъ прошедшее, и вотъ она, пораженная ударомъ, не можетъ ужъ больше отмѣтить чего-либо иного и вѣчно пишетъ одну и ту же мысль, воспроизводитъ одно и то же явленіе.

— "Все это очень просто и очень жалко. Зачъмъ нужно, чтобъ человъкъ сходилъ съ ума? Развъ на его долю мало всъхъ иныхъ болъзней и несчастій?"—подумалъ Кириллъ Ивановичъ, и вспомнилъ, что въдь ему нужно идти туда, къ больному.

Но онъ не всталъ и не пошелъ, а продолжалъ думать, сидя на стулъ, въ пальто и фуражкъ.

— "Да... такъ воть я пойду къ нему. Приду. Нужно будеть что-нибудь сказать ему. Что же? Сказать ему такъ: "Ахъ, братъ, какъ ты дурно поступилъ, сойдя съ ума!"—это будеть очень глупо. И потомъ я не знаю, насколько это дурно, что человъкъ сошелъ съ ума.

Можеть быть, это даже хорошо. Если это—полное подчинение идев, то это не можеть быть дурно. А вдругь онъ сталь теперь геніемъ?... Вёдь было доказано, что геніи—сумасшедшіе. Никто не разсказаль, какъ создаются геніи. Можеть быть, сходя съ ума, т.-е. отдаваясь въ рабство идев или порабощая идею..."

Кириллъ Ивановичъ ощущалъ въ себъ желаніе повторять каждое слово по нъскольку разъ, но почемуто боялся дълать это. Слова казались ему разноцвътными пятнами, вродъ легкихъ облаковъ, разсъянныхъ въ безграничномъ пространствъ. Онъ летаеть за ними ловить ихъ и сталкиваетъ другъ съ другомъ; отъ этого получается радужная полоса, которая и есть мысль. Если ее вобрать въ себя вмъстъ съ воздухомъ и затъмъ выдохнуть, то она зазвучить и отъ этого получается ръчь.

— "Однако, какъ это все просто!"--и онъ довольно засмъялся.—"Декаденты—тонкіе люди. Тонкіе и острые, какъ иглы,—они глубоко вонзаются въ неизвъстное",—съ удовольствіемъ, щелкнувъ пальцами, произнесъ онъ.

Дверь отворилась и въ отверстіе просунулась голова квартирной хозяйки.

— Сидить одътый и смъется, и разговариваеть самъ съ собой... Тоже занятіе! Самоваръ подавать, али уходите куда?

Хозяйка говорила ворчливо, а смотръла ласково. Глаза у нея были маленькіе, но живые; отъ нихъ къ вискамъ легли складки тонкихъ морщипокъ, и это придавало имъ улыбающійся блескъ.

Отъ ея ръчи Кириллъ Ивановичъ почувствовалъ себя какъ бы только-что возвратившимся откуда-то и очень утомленнымъ.

— Самоваръ? Н'втъ... не надо! — и онъ махнулъ рукой. — Я ухожу... можеть быть, до утра. Знаете, одинъ мой знакомый сошелъ съ ума. Какъ вы полагаете, это что такое?

- Чтой-то, Господи! Одинъ недавно пристрълился, другой сошелъ съ ума... ну, дружки у васъ!... ай-ай!... Что такое—говорите? Извъстно что —Божья воля.
- Божья воля? задумчиво произнесъ Кириллъ Ивановичъ и зачъмъ-то снялъ съ головы фуражку.— Это странно, знаете... очень странно... да!
- Который это сошель, русый, трепаный, въ сърыхъ штанахъ, или тотъ—веселый, въ золотомъ песнэ?—спросила хозяйка.

На ея толстомъ, морщинистомъ лицѣ и въ тонѣ ея вопроса звучало много жалости, отчего Кириллу Ивановичу стало грустно.

- Нътъ, не эти, а знаете—черный, въ крылаткъ, съ тростью и съ прыгающими бровями, —серьезно и тихо отвъчалъ Кириллъ Ивановичъ и почувствовалъ, что у него щекочетъ въ горлъ и на глазахъ навертываются слезы.
- Не примътила такого. Видно, ръдко бывалъ, не встръчала. Идите-инъ. Да долго-то не надо тамъ торчать... Самъ-то вонъ какой желтый сталъ!—сурово говорила хозяйка.

Кириллъ Ивановичъ снова надълъ фуражку, всталъ и молча пошелъ изъ комнаты, полный грустнаго чувства и утомленія.

- Дверь-то заприте! крикнула вслъдъ ему хозяйка.
- Не надо!-печально кивнулъ онъ головой.

Было уже около шести часовъ вечера, но іюльскій зной еще не спаль—имъ дышали и камни мостовой, и стѣны зданій, и безоблачное небо. Пыльные листья деревьевъ, персвѣшиваясь черезъ заборы, не шелестѣли; все было неподвижно и казалось напряженнымъ и ожидающимъ какого-то толчка.

Изъ открытыхъ оконъ бълаго дома на Кирилла Ивановича хлынула волна растрепанныхъ и негармоничныхъ звуковъ рояля; они безтолково запрыгали въ воздухъ надъ его головой; онъ вздрогнулъ, остановился и оглянулся вокругъ, какъ бы желая посмотръть, что сдълается съ улицей отъ этого шума. Но все оставалось неподвижнымъ, а звуки уже исчезли такъ же безсмысленно, какъ и явились. Точно это рояль самъ встряхнулъ всъми своими струнами изъ желанія нарушить знойную тишину, встряхнулъ и разслабленно умолкъ.

- "Какъ кратко и печально бытіе звука!"-мелькнула у Кирилла Ивановича посторонняя мысль, и, какъ бы въ видъ эха ея, въ немъ разлилось острое желаніе взять высокимъ фальцетомъ нъсколько переливчатыхъ нотъ а-о-э-о-а!---какъ это дълають пъвцы изъ народа. Но онъ подавиль въ себъ это жеданіе и пошель дальше, наклонивъ голову подъ наплывомъ стаи новыхъ мыслей и стараясь формировать ихъ въ слова, сообразно съ тактомъ шаговъ. Отъ этого каждое слово раздавалось гдъто внутри его, какъ ударъ въ большой барабанъ. Эти думы въ тактъ шаговъ вызывали за собой ощущение пріятной легкости и пустоты въ груди, въ животв, во всемъ тълъ. Казалось, что мускулы растаяли отъ жары и остались только тонкіе, упругіе нервы, настроенные меланхолически-спокойно, по выжидательно, какъ и все кругомъ.
- "О чемъ опъ теперь говорить и какъ думаетъ?—
 размышлялъ Кириллъ Ивановичъ о Кравцовъ.—И что я
 съ нимъ буду дълать? Понимать его, навърно, нельзя...
 Зачъмъ же я при немъ буду?... И съ какими моральными
 фондами? Съ любопытствомъ? Или мнъ его жалко, или
 такъ, по обязанности?... Сумасшествіе—это почти смерть.
 Если онъ еще не совсъмъ сошелъ съ ума, то я буду
 присутствовать при его агоніи. Замъчательно, почему человъкъ возбуждаетъ къ себъ больше вниманія, когда онъ
 погибаетъ, а не тогда, когда онъ здравъ и въ безопасности? Иногда мы при жизни совершенно не замъчаемъ
 человъка, нимало не интересуемся имъ, и вдругъ, услыхавъ, что онъ при смерти или померъ уже, жалъемъ,

говоримъ о немъ... Точно смерть или ея приближеніе сближають и насъ другъ съ другомъ. Туть, навърное, есть глубокій смыслъ... Если только туть нътъ крупной лжи, изстари привычной намъ и поэтому незамътной для насъ. А можетъ, наблюдая чужую гибель, мы вспоминаемъ о необходимости погибнуть и самимъ намъ и вотъ жалъемъ себя въ лицъ другого. Въ этомъ есть нъчто хитрое и, пожалуй, постыдное... А впрочемъ, и все обыденное въ этой жизни—хитрое и постыдное... А вотъ сожалъніе—жестоко... Жалость и жестокость!... Да въдъ это два совершенно однородныя слова!... Удивительно, какъ это до сей поры никто не замъчалъ, что это—синонимы по смыслу! Надо написать объ этомъ статью... Пусть одною ошибкой будетъ меньше".

Параллельно съ своимъ открытіемъ, Кириллъ Ивановичь возстановиль въ памяти некоторый случай изъ своей жизни въ деревнъ. Какъ-то разъ у одного изъ крестьянь упала въ оврагъ тёлка и сломала себъ объ переднія ноги. Чуть не вся деревня сбіжалась смотріть на нее... А она, такая жалкая, лежала на днъ оврага и, жалобно мыча, смотръла на всъхъ большими влажными глазами и все пыталась встать, но снова падала. Толпа стояла вокругъ нея и больше съ любопытствомъ, чъмъ съ состраданіемъ, наблюдала за ея движеніями и слушала ея стоны. И онъ тоже смотрълъ, хотя это было не интересно и очень грустно. Вдругъ откуда-то появился · кузнецъ Матвъй, высокій, черный, суровый и выпачканный углями. Рукава у него были засучены и въ одной рукъ онъ держаль тяжелую полосу желъза. Воть онъ обвель всъхъ строгимъ, тяжело укоряющимъ взглядомъ черныхъ глазъ, посмотрълъ и на него, Кирилла Ивановича, и, нахмуривъ брови и вдругъ качнувъ головой. громко сказалъ:

— Дураки! чвить любуетесь?

А потомъ взмахнулъ своею желъзиной и ударилъ гелку по головъ. Ударъ прозвучалъ глухо и мягко, но

черепъ все-таки раскололся, и это было очень страшно. Телка больше не мычала и не жаловалась на боль своими большими и влажными глазами... А Матвъй вытеръ кровь со своего оружія о землю и спокойно ушелъ.

- "Воть онъ какъ жалълъ, этотъ Матвъй! Можетъ быть, онъ такъ же бы поступилъ и съ человъкомъ безнадежно больнымъ. Морально это или не морально? Во всякомъ случав это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо. Я люблю хорошее, и это—морально; я слабъ—и, значитъ, я хорошъ! Вотъ какъ!..."
- Ярославцевъ! Стойте, вы куда?—раздался звучный окрикъ.

Кириллъ Ивановичъ вздрогнулъ и оглянулся. На крыльцъ хорошенькаго домика стоялъ Лыжинъ, засунувъ руки въ карманы, и улыбался. Тогда Кириллъ Ивановичъ сообразилъ, что въдь тутъ именно и живетъ Кравцовъ.

- Я къ вамъ... то-есть къ нему...
- Ага! Ну, воть спасибо, что поторопились, а то у меня, знаете, работищи безь конца, и все спѣшно. Никуда не выхожу даже. Это воть Минорный вытащиль меня, соскучившись слушать премудрости Кравцова. Все, знаете, говорить! Только сейчась задремаль. Докторь опредѣлиль, что пока все это не опасно, просто сильное нервное возбужденіе—только; по-моему—тоже. Говорить онъ, право, не безсмысленнѣе, чѣмъ всегда говориль, но воть много черезчурь—это такъ. Ну, такъ вы мнѣ позвольте улетучиться. Придеть, навѣрное, Ляховъ; скажите ему: докторъ быль и рекомендоваль кали, кали и кали... До свиданія.

Онъ протянулъ Ярославцеву руку, тоть молча стиснулъ ее и, задержавъ въ своей рукъ, шопотомъ спросилъ:

- Отчего это онъ, по-вашему?
- Отчего? Гмъ... Какъ это скажешь? Знаете, всегда въдь онъ былъ съ заицемъ въ головъ... Навърное, данъ

ръшительный толчокъ... Какой? Кто знаеть? Развъ Ляховъ...

Кириллъ Ивановичъ во время ръчи Лыжина упорно разсматривалъ его лицо, здоровое, широкое, обросшее рыжеватою бородой,—лицо, которое было бы добродушно и красиво, если бъ его не портили маленькіе, живые сърые глазки, блуждавшіе по сторонамъ, никогда не останавливаясь на лицъ собесъдника. Этотъ господинъ, по мнънію Кирилла Ивановича, въ глубинъ души былъ строго равнодушенъ ко всему, крайне эгоистиченъ и ловко скрывалъ все это за дъланною живостью и быстрою ръчью. Кириллъ Ивановичъ никогда не любилъ его, но теперь почему-то не котълъ, чтобъ онъ уходилъ.

Ему очень нравилось умѣнье Лыжина ловко скрывать себя. Кириллъ Ивановичъ захотѣлъ спросить его, какъ это онъ дѣлаетъ, и нельзя ли и ему, Кириллу Ивановичу, тоже скрыть себя? Это было бы хорошо. Являются думы, а Кирилла Ивановича нѣтъ! Является грозное "нѣчто", а Кириллъ Ивановичъ скрытъ! Тогда обманутыя думы надуются, какъ пузыри, лопнутъ и разлетятся въ пыль, а грозное "нѣчто" сгрызетъ само себя въ мятежной злобѣ на исчезнувшаго Кирилла Ивановича, который послѣ этого все-таки и не откроетъ себя, ибо лучше быть скрытымъ отъ всего, безопаснѣе, спокойнѣе—никто не тронетъ... Богъ знаетъ, о чемъ думаютъ люди, когда встрѣчаются и говорятъ другъ съ другомъ!...

И онъ смотрълъ въ лицо Лыжина ласкающе и мягко, желая попросить его остаться еще не надолго здъсь съ нимъ и поговорить.

— Захочеть пить—давайте изъ бутылки на окнѣ, это тоже какая-то умиротворяющая спеція, вродѣ кали. Ну-съ, иду! Addio!

Онъ перекинулъ на руку пальто и пошелъ. Кириллу Ивановичу хотълось крикнуть вслъдъ ему: "Погодите!"—

но Лыжинъ въ это время самъ обернулся на ходу и почему-то съ улыбкой произнесъ:

— Завтра, навърное, все оформится и его отправять. И снова перекинувъ пальто съ руки на руку, быстро зашагалъ по улицъ.

Ярославцевъ посмотрълъ ему вслъдъ и сталъ соображать, что ему теперь дълать: идти въ комнату, гдъ лежитъ тотъ, или ожидать здъсь, когда онъ проснется и заговоритъ? Ему представлялось, что какъ только Кравцовъ проснется, такъ сейчасъ же выкрикнетъ высокую, звонкую ноту, вслъдъ за ней начнетъ говорить быстро и громко, такъ, какъ говорятъ бойкія бабыторговки, и такъ, что это будетъ походить на барабанную дробь.

Онъ думалъ и шелъ, наклонивъ голову, не отдавая себъ отчета въ томъ, куда идетъ, вдругъ объятый какимъ-то фаталистическимъ спокойствіемъ. Всъ его думы вдругъ какъ бы сгоръли и на душу ему осыпался ихъ пепелъ,—осыпался и покрылъ ее теплымъ пластомъ ти хой печали о чемъ-то...

Скверный аптечный запахъ заставилъ его очнуться въ то время, когда онъ стоялъ передъ дверью въ маленькую комнату, въ которой царилъ хаотическій безпорядокъ: стулья были сдвинуты на средину и стояли неправильнымъ полукругомъ передъ койкой; на полу валялись рваныя бумажки, кпиги, грязные черепки тарелки, красный вязаный шарфъ и кожаная сумка. Передъ койкой стоялъ круглый столъ къ аптечными бутылками и стаканомъ жидкаго чая. Изъ-за доски этого стола не видно было головы человъка, спокойно вытянувшагося, вверхъ грудью, на койкъ. Одно изъ двухъ оконъ комнаты было завъшено синею тряпкой, другое заставлено банками цвътовъ, и сквозь нихъ видны были кусты шиповника, акаціи и сирени въ палисадникъ.

Быстро осмотръвъ все это, Кириллъ Ивановичъ поднядся на цыпочки, поднялъ кверху указательный палецъ правой руки, какъ бы предостерегая отъ чего-то самъ себя, и двинулся къ койкъ, плавно взмахивая въ гактъ своихъ движеній лъвой рукой. Подойдя къ столу, онъ нагнулся черезъ него и, удерживая дыханіе, заглянулъ въ лицо больного.

Оно очень похудёло съ той поры, какъ Кирилль Ивановичъ видёлъ его въ послёдній разъ, но и только. Вообще же оно было спокойно, какъ у всёхъ спящихъ людей. Кириллъ Ивановичъ облегченно вздохнулъ. Онъ представлялъ себъ, что эта болёзнь наложила на лицо Кравцова какой-нибудь уродливый отпечатокъ, искривила, изломала его. И онъ отошелъ прочь, улыбаясь, въ высшей степени довольный своей ошибкой. Ему нравилось, что все это такъ просто.

Но вдругъ, обернувшись въ сторону, онъ увидалъ, что со стъны на него смотритъ чье-то искривленное странной улыбкой лицо, блъдное, съ прищуренными глазами и все дрожащее отъ сдерживаемаго возбужденія. Въ уровень съ этимъ лицомъ была поднята рука съ вытянутымъ указательнымъ пальцемъ,—она какъ бы грозила Кириллу Ивановичу и вмъстъ съ лицомъ была полна ехиднаго торжества надъ нимъ.

По жиламъ Кирилла Ивановича вмѣстѣ съ кровью пролилась холодная тоска, сжавшая ему сердце предчувствіемъ чего-то неотразимаго и рокового, и подавленный ею, онъ тихо опустился на стулъ. Потомъ онъ почувствовалъ, что подъ кожей лѣваго бока у него вадуваются и тотчасъ же лопаются какіе-то пузырьки, отчего ему стало холодно и такъ тоскливо непріятно. Онъ снова всталъ, стараясь не смотрѣть на ту стѣну, съ которой ему грозили, и съ гнетущимъ ужасомъ вспоминая, гдѣ онъ видѣлъ раньше это исковерканное лицо, въ которомъ есть черты, очень близко знакомыя ему?

"Неужели это оно... то существо, которому все извъстно?"

Передъ Кирилломъ Ивановичемъ вдругъ распахну-

лась темная пропасть безъ дна и края, полная безформеннаго, гнетущаго мрака. Онъ заглянуль въ нее и отшатнулся въ ужасъ, кръпко зажмуривъ глаза. Его тянуло внизъ, и онъ почувствовалъ, что если не откроетъ глазъ, то сейчасъ же полетитъ туда и будетъ летъть безъ конца, замирая отъ страха и съ каждою секундой все сильнъе ощущая его.

Онъ дрогнулъ, быстро взглянулъ передъ собой и вздохнулъ свободно и легко: онъ былъ тутъ въ комнатъ Кравцова, и подъ ногами у него былъ полъ, твердый полъ, въ чемъ Кириллъ Ивановичъ и убъдился, сильно надавивъ его ногой. Тогда ему снова страстно захотълось еще разъ взглянутъ туда, на стъну... Осторожно приподнимаясь со стула и въ то же время поворачиваясь назадъ, онъ увидалъ его, это лицо; но теперь оно было только жалко и, выражая напряженное и боязливое ожиданіе чего-то, замерло въ этой минъ. Туть онъ узналъ себя, ибо это онъ былъ весь исполненъ ожиданія и боязни.

- "Это зеркало... Д-да-а!" догадался онъ и увидълъ, что рама зеркала была сверху, справа и слъва закрыта повъшеннымъ на него бълымъ полотенцемъ, а снизу ее скрывали рамки карточекъ; обои комнаты были тоже бълые, — вотъ почему зеркало было незамътно и такъ напугало его. Но это открытіе не убило въ немъ тоскливаго предчувствія, даже еще принесло съ собой нъчто, подчеркивающее это предчувствіе. Кириллъ Ивановичъ, глядя на свое отраженіе, задумался.
- "А въдь это я самъ схожу съ ума!"—вдругъ проникся онъ весь острою мыслью, вызвавшею во всемъ его существъ холодную дрожь и тихую, ноющую боль, точно всъ его мускулы сразу напитались промозглою и влажною сыростью погреба. Ему захотълось кричать, звать себъ на помощь, и онъ почувствовалъ, что уже оторвался отъ земли и падаетъ куда-то сквозь палящіе зноемъ и замораживающіе кровь слои воздуха. Въ

его груди нестерпимо непріятно заныло; онъ схватился за нее руками и сталъ кръпко растирать ее. А въ головъ билась уничтожающая мысль и, не затемняя ея, кружились еще какіе-то обрывки мыслей, воспоминаній, цълый вихрь, точно въ его мозгахъ все было разорвано, разбито, исковеркано и въ ужасъ разбъгалось передъ нею, передъ этою мыслью о сумасшествіи, деспотически поработившей все, что было до нея. Онъ открылъ роть, глубоко вздохнулъ и, вобравъ въ себя страшно много пахучаго воздуха комнаты, напрягъ грудь, чтобы крикнуть.

— Дуракъ! Противная рожа!—раздался презрительный и насмъшливый голосъ.—Что ты строишь себъ гримасы, когда ты самъ есть не болъе, какъ гнусная гримаса природы? Шпіонъ! Что можетъ быть пакостнъе? Ф-фа!...

Кирилтъ Ивановичъ быстро обернулся съ выпяченною впередъ грудью. Съ койки, упершись локтями въ подушку и подпирая подбородокъ ладонями, смотрълъ на него Кравцовъ воспаленными глазами, полными ядовитой ироніи и лихорадочнаго блеска. Усы его ехидно вздрагивали и брови медленно всползали кверху, къ щетинистымъ волосамъ, стоявшимъ на головъ ершомъ. Губы были искривлены въ сардоническую улыбку; онъ поводилъ ноздрями; все лицо его неустанно содрогалось, образуя тутъ и тамъ кривые узоры морщинъ, и онъ былъ уродливъ и страшенъ.

— "Вотъ кто сумасшедшій!" — вспыхнулъ новою мыслью Кириллъ Ивановичъ, и эта новая мысль уничтожила ту, которая угнетала его до этого момента.

Онъ выдохнулъ изъ себя цѣлый столбъ воздуха и почувствовалъ, что весь холодъ и ужасъ, сковавшіе его мозгъ, исчезли. Ему было невыразимо пріятно смотрѣть на искаженное лицо Кравцова, и чѣмъ больше онъ смотрѣлъ, тѣмъ ярче сознавалъ себя, тѣмъ теплѣе и легче становилось въ его груди.

— "Вотъ что значить—сумасшедшій!—воскликнулъ онъ внутренно, съ усиленнымъ и радостнымъ біеніемъ

сердца.—На кого онъ похожъ?... На того дьявола, котораго одинъ святой поймалъ въ своемъ рукомойникъ и запечаталъ его тамъ на мученія своимъ крестнымъ знаменіемъ!"

Это сравнение еще болъе подняло Кирилла Ивановича въ своихъ глазахъ, и онъ сейчасъ же, вслъдъ за нимъ, съ глубокою върою въ себя и съ восхищениемъ подумалъ:

— "Развъ это не върно? Развъ человъкъ съ мыслью, затемненной безуміемъ, способенъ на такой широкій шагъ въ прошлое за образомъ, нужнымъ его мысли?"

А Кравцовъ все говорилъ такія слова, не сводя пылающихъ глазъ съ Кирилла Ивановича.

- Слушай, ты, безобразіе во образѣ! Ты—шпіонъ! Кириллъ Ивановичъ взялъ стулъ, подвинулъ его къ койкъ и съ пріятною улыбкой сълъ на него, протяги вая руку Кравцову и говоря:
 - Маркъ Даниловичъ, что съ вами? Это же я!
- Ну, да, это ты! Я знаю, ты это ты шпіонъ и пришель паблюдать, какъ я думаю. Ха-ха! Ты не узпаешь, не откроешь ни одной моей мысли. А я спасу ихъ всъхъ, ибо знаю, что имъ нужно... Я понялъ!
- Маркъ Даниловичъ!—убъдительно, ласково и радостно говорилъ Ярославцевъ.—Развъ вы меня забыли?
- Тебя? Забыть? Нъть, вась нельзя забыть, вы всюду... Вы—это мухи, вы—это тараканы, клопы, блохи, пыль, камни стънь! Вамъ прикажуть—и вы принимаете на себя всъ формы, воплощаетесь во все, изслъдуете все... и слъдите, какъ, о чемъ и зачъмъ люди ду мають. Но вы все-таки слабы! Я же—могучъ! Во мнъ пылаетъ безсмертный огонь желанія подвига! И воть я, какъ Моисей изъ Египта, выведу васъ изъ жизни, помойной ямы, гдъ вамъ такъ хорошо дышится. Выведу, и придемъ мы въ обътованную страну, гдъ воздухъ слишкомъ чистъ для васъ и гдъ поэтому вы не можете жить. Тамъ я напою моихъ братій изъ кастальскаго

источника свободы и возбужу души ихъ къ жизни творчества... къ жизни подвиговъ... къ жизни всепрощенія и возсозданія человъка! А вы, какъ египтяне, погонитесь за нами и исчезнете, потонете, захлебнетесь въ моръ собственной гнусности и найдете смерть! Ибо вы въ себъ носите смерть!

- "Это онъ о чемъ?" думалъ Кириллъ Ивановичъ, понемногу теряя свою радость подъ торжественныя и громкія ръчи Кравцова, глаза котораго испускали острые, свътлые лучи, коловшіе Кирилла Ивановича въ лицо и грудь тонкими, палящими уколами.
- "А! Онъ въдь читалъ отцовъ церкви... зачъмъ-то... Августина и Оригена... и Златоуста... и искалъ все Назіанзина... да... Зачъмъ онъ это читалъ? Развъ нечего читать кромъ? Значить, онъ давно ужъ... того... Очень смъшной человъкъ!... О чемъ онъ говоритъ? Ба!—внезапно просіялъ Кириллъ Ивановичъ.—Онъ меня называеть шпіономъ—значить у него манія преслъдованія! Онъ говорить про себя: "Я, какъ Моисей!"—значить, у него манія величія! Господи, какъ все это просто! Наука! Воть наука! Она всегда, какъ факелъ. Бъдный человъкъ!"

И Кириллъ Ивановичъ почувствовалъ, что онъ сейчасъ заплачетъ отъ жалости къ Кравцову, снова охваченный теплымъ и радостнымъ сознаніемъ правильности своей мысли.

А съ его бѣдною мыслью творилось что-то странное: то она опускалась въ какой-то мрачный ухабъ, теряя горизонты; то вдругъ поднималась куда-то высоко и свободно охватывала собой огромное пространство; то текла медленно и лѣниво, какъ бы изнемогая; то быстро стремилась къ чему-то, задѣвая по дорогѣ массу разнородныхъ предметовъ; то снова точно падала внизъ и исчезала. Тогда Кириллъ Ивановичъ чувствовалъ только тревожное біеніе своего сердца и больше ничего.

Кравцовъ вдругъ весь извился змъей и сълъ на

койкъ, въ одномъ бъльъ, съ раскрытою грудью, возбужденный и мрачно-торжественный.

- Ты, слушай! Ты меня не пустишь на подвигь? Пусти! Я пойду и созову всёхъ ихъ въ поле. Тамъ соберемся всё мы, нищіе духомъ, и грустно уйдемъ отъ жизни нищіе духомъ! Но не радуйся! И всё твои—пусть они не радуются нашему пораженію, хотя мы и признаемъ его, ибо уходимъ изъ жизни нищіе духомъ и съ разбитыми щитами надеждъ въ рукахъ, и безъ брони вёры, потерянной нами въ битвахъ. Мы воротимся богатые силой творить и вооруженные крёпкою вёрой въ себя, ея же нётъ крёпче оружія! Ты понялъ? И мы укроемся свёжими цвётами мечты о счасть Ты пустишь меня на этотъ подвигъ? Зато я, по возвращеніи въ жизнь, прощу тебя перваго и первому тебё въ гнусное сердце дуну духомъ возрожденія. Эй, ты, камень! Пусти меня!
- "Кого онъ хочеть спасать и обновлять?"—медленно вертълись мысли въ головъ Кирилла Ивановича.

Ему уже снова не жалко было Кравцова, онъ даже немного злился на него за то, что онъ, не переставая, говорилъ свои торжественныя слова и они, звеня въ головъ Кирилла Ивановича, мъщають ему уловить нъкоторую важную мысль. Дъло въ томъ, что въ головъ Кирилла Ивановича все вдругъ окрасилось въ разные цвъта, онъ ясно почувствовалъ и видълъ это: передъ его глазами плавали и кружились круглыя пятна — желтыя, синія, красныя. Ихъ было много, всъ они быстро вертълись и изъ нихъ выбивалось и никакъ не могло выбиться одно, ярко-зеленое и многообъщающее. Это непремънно что-нибудь о въръ. Но голосъ Кравцова сотрясалъ воздухъ и все дрожало, сливалось, путалось между собой.

— "Ахъ, какъ онъ громко!—съ тоской воскликнулъ про-себя Кириллъ Ивановичъ. — Чего онъ хочеть? Э. уродъ! Думы! Изъ нихъ порой рождаются идеи яркія,

идеи, окрашивающія жизнь бойкими красками. Чего же онъ хочеть? чего можно хотъть, кромъ свободы думать?"

Ему вспомнилось чье-то опредъление русской разночинной интеллигенціи: "диллетантична, нежизнеспособна и бользненно-честолюбива". "Воть и этоть тоже бользненно-честолюбивъ. Сидъль бы спокойно, молчаль и думаль. Кто знаеть, что изъ этого можеть выйти? А его воть тянеть куда-то въ поле, кого-то вести изъ жизни вонъ!—Что такое—вонъ изъ жизни?"

Кириллъ Ивановичъ вспомнилъ какую-то картинку, на ней былъ изображенъ человъкъ съ дудочкой во рту. Онъ стоялъ на берегу ръки и игралъ на своей дудочкъ, а къ нему со всъхъ сторонъ бъжали крысы и мыши. Въ этомъ человъкъ было что-то общее съ Маркомъ Кравцовымъ. Смъшно! И Кириллъ Ивановичъ вдругъ расхохотался, качаясь на стулъ изъ стороны въ сторону.

Кравцовъ откинулся назадъ, оперся спиной о стъну и замолчалъ, наклонивъ на грудь голову.

— Воть... торжествуетъ Іуда! — громко прошепталъ онъ, исподлобья глядя на Кирилла Ивановича.

Тоть дрогнуль и испуганно уставился на Кравцова. Они долго молча разсматривали другь друга—Кирилль Ивановичь выжидательно и робко, а Кравцовь—пытливо и угрюмо. Кирилль Ивановичь почувствоваль, что лучистые глаза больного притягивають его къ себъ, и, наклонясь на стулъ, облокотился у ногъ Кравцова о койку.

Стало внушительно тихо. На улицъ уже стемнъло, и отъ кустовъ палисадника на стекла оконъ и подоконники легли вечернія тъни. Наконецъ, Кравцовъ вдругъ улыбнулся и тихо сказалъ:

- А, въдь, я васъ знаю!
- Конечно! утвердительно кивнулъ головой Кириллъ Ивановичъ и добавилъ почти шопотомъ:—Вы бы говорили. А то такъ очень страшно... уже ночь.

- Говорить? Съ вами? Въдь, я васъ знаю!—Вы— Ярославцевъ, статистикъ? Вамъ теперь стыдно?
 - Миъ? Нъть, ничего. Но страшно.
- Да! Это такъ! Страшно! Бойтесь будущаго! Въ немъ вашъ итогъ!

Они оба теперь говорили шопотомъ и оба старались сказать каждую повую фразу еще тише, чъмъ предыдущую. Несмотря на сумракъ въ комнатъ, Кириллъ Ивановичъ еще видълъ лицо Кравцова и сардоническую улыбку на немъ. Его все сильнъе тянуло къ этому человъку съ лучистыми глазами.

- Итогъ, вы говорите?—спросиять онъ помолчавъ.— Это что же?
- Это подсчеть всёмъ мераостямъ вашей жизпи. Безпристрастный подсчеть, —внушительно прошепталъ Кравцовъ. Вы думаете, что вашею статистикой и ограничивается все, да?—Нёть, вы опиблись, человъкы! Есть еще статистика совъсти, ею управляю я! Я не даю пощады... и знаю цёну факта! Я васъ уже подсчиталъ!
- Не надо пугать человъка!—жалобно попросилъ Кириллъ Ивановичъ собесъдника.
- Человъка—да, но шпіона—надо! Зачъмъ вы шпіонь? Зачъмъ вы слъдите, какъ я думаю? Боже мой, въдь я только думаю! Оть этого вредно мнъ и только мнъ! Думать—это даже благонамъренно, потому что отъ думъ человъкъ погибаетъ самъ, и вы не тратите своихъ копеекъ на то, чтобы погубить его!

Шопоть Кравцова вдругъ порвался, и металлически звякнуло громкое слово:

- День-ги! А, да... вы хотите денегь за мою свободу думать? Вы продаетесь? Сколько?
- Послушай! сказалъ убъдительно, но все-таки шопотомъ Кириллъ Ивановичъ.—Не кричи, услышать! Они всегда близко!
- Услышать?... А ты тоже боишься? Почему же? Въдь ты мерзавецъ, и тебъ можно говорить громко, а?...

Слушай, пусти меня! Я иду дѣлать простое и полезное дѣло. Оно легально, увѣряю тебя. Я хочу вывести вонъ изъ жизни всѣхъ тѣхъ людей, которые, несмотря на свои пятна, есть все-таки самые свѣтлые люди въ жизни... Они погибаютъ отъ тоски одиночества и вашего гоненія на нихъ. Они, видишь ли, задыхаются въ смрадѣ жизни, которымъ ты дышишь легко. Это твоя стихія... но они... Дай мнъ спасти ихъ!—крикнулъ онъ громко.

Кирилла Ивановича охватила волна ъдкой элобы. Онъ всталъ передъ койкой и тихо, оскорбительно-ясно зашипълъ въ лицо Кравцову:

— Ты не кричи! Я тебъ скажу... Ты—сумасшедшій, воть что! Понимаешь? Ты со-шель съ у-ма! Да... Спасти!... кого? Я—Ярославцевъ, Кириллъ Ярославцевъ, а ты—сошель съ ума!... Лягъ! Понялъ?! Ну?!... и все...

Онъ снова опустился на стулъ, тяжело дыша и часто моргая глазами. Кравцовъ схватилъ себя за голову и страшно закачался изъ стороны въ сторону.

Снова стало внушительно и пугающе-тихо. Взошла луна, и въ душный сумракъ комнаты черезъ окно влился голубой свъть и легъ полосой на полу.

Вспышка злобы совершенно уже ослабила Кирилла Ивановича, а страхъ передъ будущей минутой все росъ въ немъ. Въ тишинъ и глубокомъ полумракъ комнаты безмолвно совершалось нъчто таинственное и стройное—происходила какая-то разрушительная работа.

На голубую полосу луннаго свъта, лежавшую на полу, пали узоры тъней отъ цвътовъ на окнъ, и вмъстъ это походило на нъкоторую хартію, исчерченную мрачными гіероглифами, говорившими о глубокихъ тайнахъ жизни и о безсиліи ума передъ ними. Кириллъ Ивановичъ взглянулъ на это и быстро отвернулся, ощущая въ груди какіе-то толчки.

— "Все кончается!"—тихо прошепталъ онъ, и ему этало невыразимо грустно. Кравцовъ поднялъ голову и молча посмотрълъ на него, двинувъ бровями. Кириллъ Ивановичъ вдругъ заплакалъ, обнялъ его ноги, кръпко сжалъ ихъ и ткнулся въ нихъ своею головой, всхлипывая, какъ ребенокъ.

- Мнъ... страшно...
- Будущаго?—тихимъ и торжествующимъ восклицаніемъ спросилъ Кравцовъ, нагибаясь надъ нимъ и весь вздрагивая мелкою дрожью.
- Говорите все сначала... говорите!--шепталъ Кириллъ Ивановичъ.
- Ага! Я побъдилъ еще одного!—тоже шепталъ Кравцовъ, отдирая его голову отъ своихъ ногъ.—Это хорошо... Побъда... съ перваго шага!... Ты каешься, да?... Садись... иди сюда, я разскажу тебъ все.

Онъ пытался отнять руки Кирилла Ивановича оть своихъ ногъ, стиснутыхъ ими, и поднять его голову, но Кириллъ Ивановичъ не уступалъ ему, все кръпче прижимаясь и что-то бормоча сквозь рыданія.

Наконецъ, Кравцовъ оставилъ его въ покоъ; наклонясь надъ нимъ, онъ уперся руками въ койку и заговорилъ тихо, но торжественно и важно:

— Ты знаешь людей въ плъну у жизни? Это тъ люди, которые хотъли быть героями, а стали статистиками и учителями. Они нъкогда боролись съ жизнью, но были побъждены ею и взяты въ плънъ ея мелочами... Вотъ о нихъ-то говорю я и это ихъ хочу спасти... Ты понялъ? Они погибаютъ, ибо гонимы, ибо всъ смотрятъ на нихъ, какъ на враговъ, а сами они враги себъ. Разсъянные повсюду, они погибаютъ отъ сомнънія и тоски... и отъ невозможности свободно ходить, говорить и думать... И вотъ ихъ я соберу воедино и выведу вонъ изъ жизни въ пустыню и тамъ устрою имъ будку всеобщаго спасенія. Ты видишь—будка, а не коммуна, не фаланстеръ—это легально, не правда ли? А я одинъ стану надъ всъми ими и научу ихъ всему, что знаю. Я знаю много, больше, чъмъ есть предметовъ для

энанія, ибо я знаю всв ихъ плюсь—мое знаніе!... Мы источимъ по каплъ соки наши на песокъ пустыни и оживимъ ее, застроивъ зданіями счастья! Среди насъ будеть возвышаться надъ всёми будка всеобщаго спасенія и на вершинъ ея, подъ стекляннымъ колпакомъ, буду въчно вращаться я самъ и смотръть за порядкомъ среди тъхъ, что вручены миъ судьбой. Я буду строгъ, но не по-человъчески справедливъ. Я знаю высшую справедливость. Я наложу на всъхъ одну обязанностьтворить. Твори, ибо ты человъкъ!-прикажу я каждому. Это будеть грандіозно! И когда мы создадимъ свое царство, въ которомъ все будеть гармонія, то созовемъ всъхъ шпіоновъ и всъхъ сильныхъ земли и всъ глупые народы созовемъ и скажемъ имъ: "Вотъ вы гнали насъ, а мы создали вамъ въчный образъ жизни! Вотъ вамъ онъ, слъдуйте ему! Мы же, возрожденные изъ пепла, идемъ творить, въчно творить... Вотъ наша задача". И мы, бывшіе б'ёдняки, уйдемъ, обогативъ бывшихъ крезовъ богатствомъ духа и силы жить. Побъда!... Тогда я скажу всему міру: "Люди, одіньтесь въ світлое, ибо ночь исчезла и не придеть больше". Воть какую идею родиль я изъ несчастій и мукъ моей жизни, я, гонимый и затравленный, я, измученный собой и уязвленный язвой желанія быть твордомъ жизни. Ты хочешь быть?-твори новое! Дай что-нибудь людямъ, дай имъ, ибо они жалки и бъдны! Тогда какъ ты со мной, значить-ты объединился съ истиной. Ты будешь первый ученикъ мой-не плачы! Мы вмъстъ будемъ творить! Эй, ты, ребенокъ, ты слабъ еще! Ты тоже оскорбленъ? Ничего! Скоро ты возродишься къ жизни новой къ жизни, въ которой мы будемъ принимать участіе и будемъ вслухъ, громко, безъ боязни говорить о всемъ, о чемъ хотимъ, а? Ты не въришь мнъ, человъкъ? Въры! Хотя это кажется и несбыточнымъ, но върь все-таки. Я твой добрый геній, я орель будущаго! Ручаюсь тебъ, что всв слова твоего сердца и ума получать жизнь,

ихъ услышать, надъ ними будуть думать, ихъ поймуть, и ты получишь должное-славу человъка, который жиль для жизни и людей. Върь мнъ, мы напьемся изъ полной чаши жизни и всь наши чувства будуть звучать звуками удовлетворенія. Знаешь ты, что сказаль Григорій Богословъ о Юліанъ, который и есть отвлеченная формула отступленія оть истины и угнетенія въры? И ты, можеть быть, какъ всъ, тоже думаль, что Юліань—это цезарь? Голубчикъ! Не върь этой пошлой истинъ, она стара; возьми изъ нея идею, но забудь о ней. Жизнь-- въ будущемъ, и тамъ она наша. Въ прошломъ только идеи, тамъ нъть лицъ. А мы съ тобой есть лица и потому возьмемъ идеи, которыя нужны намъ для ступенекъ къ лъстницъ счастья, по которой мы войдемъ въ въчное блаженство, какъ ангелы во снъ Іакова, какъ творцы жизни, обновителй духа!

Его торжественный шопоть превратился, наконець, въ потокъ словъ, все ръже и ръже оживлявшійся мыслью, и, наконецъ, просто въ слова безъ смысла, связанныя между собой, казалось, только единствомъ буквъ въ нихъ. Онъ говорилъ теперь возбужденно и внушительно, сверкая глазами на Кирилла Ивановича.

-- Спасеніе... Паскаль... пока...

Очевидно, его мысли кипъли и мчались куда-то такъ быстро, что онъ не успъвалъ уже послъдовательно заключать ихъ въ слова.

Кириллъ Ивановичъ давно уже поднялъ голову и сталъ передъ койкой на колъни, все обнимая ноги Кравцова. Теперь онъ закинулъ голову немного назадъ и съ восхищеніемъ смотрълъ въ лицо Кравцова, не отрываясь ни на секунду отъ него.

На полу все еще лежала эта голубая хартія луны и тъней, но начертанные на ней гіероглифы измънились, стали проще формой, но еще темнъе цвътомъ. Вся комната была заполнена волнующимися звуками

торжественнаго шопота. Тихая и темная ночь смотръла въ окно.

Двѣ человѣческія фигуры, лицомъ къ лицу другъ съ другомъ, не обращали вниманія на то, что въ дверь поочередно заглядывали то голова женщины въ черномъ платкѣ, то голова мужчины въ шапкѣ и съ черною бородой. За дверью тоже слышался шопотъ. А Кравцовъ, все такъ же упираясь руками въ койку, склонился къ лицу Кирилла Ивановича и все говорилъ, говорилъ. Это продолжалось почти до разсвѣта. И уже когда мгла за окномъ посѣрѣла, онъ измученный свалился на подушку и сразу замеръ.

- Кириллъ Ивановичъ быстро всталъ, пугливо оглянулся и подскочилъ къ нему. Разсвътало. Онъ сдернулъ съ себя пальто, занавъсилъ имъ окно и, снова подойдя къ койкъ, прошепталъ:

— Ничего, говори!

Но Кравцовъ, должно быть, уже не могъ говорить; онъ только кивнулъ головой и, вздохнувъ, отвернулся къ стънъ. Тогда Кириллъ Ивановичъ сълъ у него въ ногахъ на койку и, обнявъ свои колъни руками, сталъ смотръть глазами любви и восторга на несчастнаго созидателя всеобщаго спасенія.

На четырехугольномъ бѣломъ пятнѣ подушки его черная голова сначала выдѣлялась рѣзко, а потомъ стала таять и растаяла. Тогда на мѣстѣ ея появилась желтая, безбрежная и сухая пустыня, и въ ней все трупы... много труповъ людей, лежащихъ въ разныхъ позахъ и отдыхающихъ отъ утомленія въ пути. А далеко на краю пустыни сіялъ кроваво-красный шаръ, спускаясь куда-то внизъ, а съ неба падали мягкія и темныя тѣни, окутывая усталыхъ людей... Потомъ все стало темно. Это наступила ночь, явился сонъ и раздался въ тишинѣ пустыни бредъ спящихъ. Среди нихъ одинъ человѣкъ не спалъ, стоя среди нихъ и зорко глядя въ небо, гдѣ было много звѣздъ, а ниже ихъ неподвижно стояли въ

воздух три черныя точки. Это были орлы пустыни, и человъкъ смотрълъ на нихъ подозрительно и въ ожиданіи.

И потомъ Кириллъ Ивановичъ видълъ дорогу, заполненную исходящими изъ плъна жизни людьми. Ихъ
было много. Среди нихъ были и дъти; они плакали на
рукахъ матерей и отцовъ. А отцы и матери молча шли
въ пыли и въ рубищахъ, и черезъ ихъ глаза Кириллъ
Ивановичъ видълъ ихъ души въ тоскъ и въ лохмотьяхъ,
изорванныя, изношенныя души много страдавшихъ людей. Впереди всъхъ шелъ онъ, великій человъкъ, котораго всъ слушались и на котораго смотръли съ
надеждой, а рядомъ съ нимъ Кириллъ Ивановичъ видълъ себя. Являлась тьма и все скрывала собой.

И онъ, Кириллъ Ивановичъ, видълъ работу созиданія будки всеобщаго спасенія... и снова тьму... И видълъ торжественное возвращеніе въ жизнь... и снова тьму... И, наконецъ, только тьму, которой не было края и дна и которая дышала на него, въ лицо ему и въ душу печальнымъ холодомъ. Отъ дуновенія тьмы онъ качался, чувствоваль, что онъ оторвется отъ земли и полетить куда-то, и жилъ этимъ острымъ чувствомъ, мъшавшимъ ему сдълать малъйшее движеніе. И ему было такъ тоскливо-больно, холодно, боязно.

Все кръпче сжимаясь въ комокъ, онъ широко раскрывалъ глаза, стараясь увидъть вдали тьмы то, что должно было случиться съ нимъ, ибо онъ чувствовалъ, что вотъ скоро, сейчасъ, въ будущую секунду, нъчто освободить его изъ власти ужаса.

Лучи солнца упали ему въ лицо. Онъ вздрогнулъ, важмурилъ глаза и улыбнулся блъдною улыбкой больного ребенка.

И затъмъ, такъ же неподвижно, какъ и раньше, но уже съ закрытыми глазами, сидълъ долго...

Поутру, часовъ въ семь, пришли Ляховъ, Минорный и человъкъ въ золотыхъ очкахъ и съ самоувъреннымъ

Digitized by Google

лицомъ. Они вошли въ дверь тихо, по одному, и за ними въ съняхъ остались какія-то странныя фигуры людей.

— Ну, что? Не буяниль?—сказаль Ляховь, высокій человькь съпечальнымь и бліднымь лицомь, Кириллу Ивановичу, который при ихъ появленіи спустиль ноги съ койки и смотріль на нихъ съ ясною улыбкой.

Кириллъ Ивановичъ пожалъ протянутую ему руку Ляхова и съ тихимъ восторгомъ посмотрълъ ему въ лицо.

- Вы уже пришли?... Значить, пора?
- Да...—произнесъ Ляховъ и пристально посмотрълъ въ лицо спящаго Кравцова.
- Какъ же, дождемся, когда проснется?—спросилъ Минорный господина въ очкахъ.
- Я полагаю, прямо такъ взять и въ карету. Идите сюда!

Онъ махнулъ рукой къ себъ, и въ дверь вошли двое здоровыхъ ребять въ бълыхъ фартукахъ.

— Возьмите осторожно больного!

Тутъ Кириллъ Ивановичъ подошелъ къ койкъ, сталъ у ея изголовья такъ, что закрылъ лицо Кравцова, удивленно посмотрълъ на всъхъ и тихо, но внушительно спросилъ:

- Куда взять?... Его взять? Куда взять?
- Въ домъ, конечно, сказалъ Минорный.
- Вълъчебницу, одновременно произнесъ докторъ и пристально уставился чрезъ очки вълицо Кирилла Ивановича.

Ляховъ все смотрълъ на Кравцова за спину Кирилла Ивановича и кусалъ себъ нижнюю губу.

Кириллъ Ивановичъ кръпко потеръ себъ лобъ, какъ бы съ усиліемъ вспоминая что-то.

— Д-да!... Въ лъчебницу!... А зачъмъ же, собствейно?... И кто вы?—и Кириллъ Ивановичъ тихонько дотронулся до рукава доктора.

— Я—докторъ, завъдующій домомъ для душевнобольныхъ, сказалъ господинъ въ очкахъ, не переставая разсматривать Кирилла Ивановича.

"Интеллигентный человъкъ, значитъ!"—сообразилъ Кириллъ Ивановичъ и протянулъ ему руку.

- Миъ пріятно видъть васъ.... и я радъ, что вы тоже идете за нимъ,—кивнулъ онъ на Кравцова.
- Мы прібхали въ кареть,—вмѣшался Минорный, тоже подозрительно оглядывая Кирилла Ивановича.
- Ну, это напрасно,—махнулъ рукой тоть,—мы пойдемъ всв пвшкомъ, онъ—особенно.
- Да, въдь, онъ буянить будеть на улицъ!—тихо воскликнулъ Минорный.
 - То-есть, какъ это? удивился Кириллъ Ивановичъ.
- Да вы что, батенька?... Образумьтесь! Или вы тоже, какъ онъ, съ ума сошли?...
 - Позвольте!-остановиль докторъ Минорнаго.

Кириллъ Ивановичъ вспыхнулъ и оглянулъ всъхъ съ улыбкой недовърія и со страхомъ въ глазахъ. Трое подей стояли и смотръли на него тоже съ какимъ-то боязливымъ любопытствомъ и догадкой. Кириллъ Ивановичъ то краснълъ, то блъднълъ отъ какой-то внутренней работы. Улыбка исчезла изъ его глазъ, и они, странно расширясь, вдругъ ярко вспыхнули какою-то мыслъю.

— Господа!—просительно зашепталь онь, сжимая руки и хрустя пальцами.—Господа! Что вы? Это ошибка! Вы считаете его безумнымь? Это обидная ошибка, господа! Оскорбительная ошибка! Послушайте меня—оставьте его такъ, какъ онъ есть. Дайте ему исполнить задуманное имъ дъло. Это великое, необходимое дъло! Вы знакомы съ его идеей? Нъть? Какъ же вы, господа, ръшаетесь на такое ръзкое отношеніе къ нему?... Это... странно! Вы послушайте! Я постигъ его, я усвоилъ его идею. Въдь согласитесь, я же разумный человъкъ. Вотъ Бабкинъ засвидътельствуеть это и господинъ Ляховъ.

Да!... Какъ же вы?... Это возмутительно! Это недостойно васъ! Вы вникните въ суть его ученія: мы подлівемъ, умирая морально, мы умираемъ смертью безумія, мы пошло умираемъ физически. Все это отъ тоски по желаніямъ, отъ скорби одиночества, отъ недостатка жизни, въ которой намъ не дають мъста. Развъ я говорю неразумно? А, господа!... Намъ запрещено жить. Почему запрещено, господа? Развъ мы преступны?... И еще скажите, развъ онъ, предлагая намъ выйти съ нимъ за границы жизни въ песчаныя, необитяемыя пустыни, развъ онъ не правъ? Онъ приведеть насъ обратно сюда... когда мы воскреснемъ духомъ. Господа, господа!... Что вы хотите дълать... Вёдь такъ у васъ всё сумасшедшіе, всь, кто хочеть счастья другимь и кто простираеть руку помощи... кто горячо жальеть и много любить бъдныхъ, загнанныхъ жизнью и затравленныхъ другъ другомъ людей...

Наконецъ, онъ задохнулся и умолкъ, обводя всъхъ испуганными глазами, изъ которыхъ текли крупныя слезы. Губы у него дрожали. Казалось, вотъ онъ сейчасъ зарыдаетъ. И у Минорнаго тоже дрожали губы.

— Вотъ... видите... какъ оно... заразительно... а я двое сутокъ...—шепталъ онъ доктору.

Тоть почесаль себъ пальцемъ переносицу, приподнявъ очки, и, видимо, тоже пораженный, пробормоталь:

— Д-да, знаете... Странный случай!

Ляховъ стоялъ и смотрълъ на всъхъ, странно улыбаясь и все покусывая себъ губу. Всъ замолчали. Кириллъ Ивановичъ смахивалъ со щекъ слезинки и стоялъ у койки съ убитымъ лицомъ. Въ его глазахъ свътилось цълое море меланхоліи. Онъ стоялъ и обводилъ глазами комнату. За троими людьми противъ него стояло еще двое въ бълыхъ фартукахъ, и за дверью въ съняхъ виднълись еще головы... И всъ они упорно и молча ждали чего-то, ждали именно отъ него, ибо всъ смот-

ръли въ его сторону. Кириллъ Ивановичъ печально улыбнулся и робко сказалъ:

- Простите меня, господа! Вы правы, такъ какъ васъ много! Я не оспариваю ваше право... и я ухожу... если могу?
- Подождите минуточку!—любезнымъ жестомъ остановилъ его докторъ.
- Извольте!—и Кириллъ Ивановичъ покорно сълъ на стулъ, согласно указанію доктора.

Проснулся Маркъ Кравцовъ. Онъ быстро поднялся, сълъ на койкъ и, сурово оглянувъ публику, наполнявшую комнату, громко спросилъ:

- Вы кто?
- Слушай, Маркъ, хочешь кататься?—спросиль его Ляховъ
- Не обманывай меня, іезуить! Ты хочешь чего-то... Я знаю тебя... и всёхъ васъ!... А! Вы пришли взять меня!... Но я не дамся безъ борьбы! Нътъ! Я васъ разсъю, какъ пыль!... Меня взять! Нътъ!...

Но на него уже накинули какой-то длинный мъшокъ. Онъ барахтался въ немъ, пока его не спеленали въ немъ, какъ ребенка. Вотъ его подняли на руки и понесли, а онъ, рыдая и извиваясь всъмъ корпусомъ, кричалъ:

— Нътъ!... Нътъ!... Нътъ!...

Въ комнатъ остался Ляховъ. Онъ подошелъ къ стънъ, сняль съ нея какую-то фотографію и, обратясь къ Кириллу Ивановичу, который съ неподвижною до ужаса сосредоточенностью въ глазахъ смотрълъ куда-то въ уголъ, ласково сказалъ ему:

— Ну, пойдемте и мы!

Кириллъ Ивановичъ покорно всталъ и, не сказавъ ни слова, пошелъ.

- Я ворочусь черезъ часъ!—сказалъ Ляховъ какойто женщинъ, запирая дверь комнаты Кравцова.
 - Я ворочусь черезъ часъ!-какъ эхо повторилъ

за нимъ Кириллъ Ивановичъ Ярославцевъ, взглянувъ на него своими мертвыми глазами.

Теперь они оба въ лъчебницъ—и Кириллъ Ивановичъ Ярославцевъ, и Маркъ Даниловичъ Кравцовъ. На выздоровление Кравцова есть надежды, на выздоровление его ученика—нътъ никакихъ.

Они встръчаются другъ съ другомъ на прогулкахъ въ саду заведенія. Когда Кириллъ Ивановичъ издали увидитъ черноусое и всегда пылающее возбужденіемъ лицо Марка Даниловича, онъ мелкими шажками бъжитъ къ нему и, снимая колпакъ, тихо шепчетъ:

— Говори, учитель!...

Кириллъ Ивановичъ говорить очень мало и всегда не иначе, какъ робкимъ шопотомъ. Если Кравцовъ ходить, то Кириллъ Ивановичъ, согнувшись, семенить за нимъ, а если онъ сидитъ, то Кириллъ Ивановичъ садится у его ногъ, жалко смотритъ ему въ лицо и изръдка просительно шепчетъ:

--- Говори, учитель!...

И учитель говорить своему ученику возмущенно и строго о говеніяхъ духа и страданіяхъ духа, торжественно и важно о будкъ всеобщаго спасенія и съ гордостью о самомъ себъ, великомъ учителъ и пророкъ разбитыхъ жизнью людей.



мой спутникъ

(ИСТОРІЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВІЯ.)

(1896.)

T

Встрътиль я его въ одесской гавани. Дня три кряду мое вниманіе останавливала на себъ его коренастая, плотная фигура, съ лицомъ кавказскаго типа, обрамленнымъ красивой бородкой. Онъ то и дъло мелькалъ предо мной: я видёль, какъ онъ по цёлымъ часамъ стояль на гранить мола, засунувъ въ ротъ набалдашникъ трости, и тоскливо разглядываль мутную воду гавани своими черными миндалевидными глазами; десять разъ въ день онъ проходилъ мимо меня походкой безпечнаго фланера. Кто онъ?... Я сталъ следить за нимъ. Онъ же, какъ бы нарочно поддразнивая меня, все чаще и чаще попадался мнъ на глаза, и наконецъ, я привыкъ различать его модный, клетчатый, светлый костюмь и черную шляпу художника, его лънивую походку и даже его тупой, скучный взглядъ. Онъ быль положительно необъяснимъ здѣсь, въ гавани, среди свиста пароходовъ и локомотивовъ, звона цъпей, криковъ рабочихъ, среди всей этой бъщено-нервной сутолоки порта, охватывавшей человъка со всъхъ сторонъ, притуплявшей его умъ и нервы. Всв люди порта были порабощены гигантскими механизмами, требовавшими отъ нихъ неусыпнаго вниманія и неустанной работы, всъ суетились

Digitized by Google

около пароходовъ и вагоновъ, нагружая и разгружая ихъ... Всъ были озабочены, утомлены, всъ бъгали, кричали, ругались въ пыли, въ поту... среди трудовой сутолоки медленно расхаживала эта странная фигура съ мертвенно-скучнымъ лицомъ, равнодушная ко всему...

Наконецъ, уже на четвертый день, въ объдъ, я натолкнулся на него и ръшилъ во что бы то ни стало узнать, кто онъ. Расположившись неподалеку отъ него съ арбузомъ и хлъбомъ, я сталъ ъсть и разсматривать его, придумывая, какъ бы поделикатнъе завязать съ нимъ бесъду.

Онъ стоялъ, прислонясь къ грудъ цыбиковъ чая, и, безцъльно поглядывая вокругъ себя, барабанилъ пальцами по своей трости, какъ по флейтъ.

Мить, человъку въ костюмъ босяка, съ лямкой грузчика на спинъ и перепачканному въ угольной пыли, трудно было вызвать его, франта, на разговоръ. Но, къ моему удивленію, я увидалъ, что онъ не отрываетъ глазъ отъ меня и они разгораются у него такимъ непріятнымъ, жаднымъ, животнымъ огнемъ. Я ръшилъ, что объектъ моихъ наблюденій голоденъ, и, быстро оглянувшись вокругъ, спросилъ его тихонько:

— Хотите ъсть?

Онъ вздрогнулъ, алчно оскалилъ чуть не сотню плотныхъ, здоровыхъ зубовъ и тоже подозрительно оглянулся.

На насъ никто не обращаль вниманія. Тогда я сунуль ему поль-арбуза и кусокъ пшеничнаго хлѣба. Онъ схватиль все это и исчезь, присѣвъ за груду товара. Иногда оттуда высовывалась его голова въ шляпѣ, сдвинутой на затылокъ и открывавшей смуглый, потный лобъ. Его лицо блестѣло отъ широкой улыбки, и онъ почему-то все подмигивалъ мнѣ, ни на секунду не переставая жевать. Я сдѣлалъ ему знакъ подождать меня, ушелъ купить мяса, купилъ, принесъ, отдалъ ему и сталъ около ящиковъ такъ, что совершенно загородилъ моего бѣднаго франта отъ постороннихъ взгля-

довъ. До этого онъ влъ и все хищно оглядывался, точно боялся, что у него отнимутъ кусокъ; теперь онъ сталъ всть спокойнве, но все-таки такъ быстро и жадно, что мнв стало больно смотрвть на этого изголодавшагося человвка, и я повернулся спиной къ нему.

— Благодару! Очэнъ благодару!—онъ потрясъ меня за плечо, потомъ схватилъ мою руку, стиснулъ ее и тоже жестоко сталъ трясти.

Черезъ пять минуть онъ уже разсказываль мнъ, кто онъ.

Грузинъ, князь Шакро Птадзе, одинъ сынъ у отца, богатаго кутаисскаго помъщика, онъ служилъ конторщикомъ на одной изъ станцій закавказской жельзной дороги и жилъ вмысть съ однимъ товарищемъ. Этотъ товарищъ вдругъ исчезъ, заквативъ съ собой деньги и цынныя вещи князя Шакро, и вотъ князь пустился догонять его. Какъ-то случайно онъ узналъ, что товарищъ взялъ билетъ до Батума; князь Шакро отправился туда же. Но въ Батумы оказалось, что товарищъ поыхалъ въ Одессу. Тогда князь Шакро взялъ у ныкоего Вано Свапидзе, парикмахера,—тоже товарища, однихъ лытъ съ собой, но не похожаго по примытамъ,—паспортъ и двинулся въ Одессу. Туть онъ заявилъ полиціи о кражъ, ему обыщали найти, онъ ждалъ двы недыли, проыль всы свои деньги, и воть уже четвертыя сутки не влъ ни крошки.

Я слушаль его разсказь, звучавшій искренно, перемѣшанный съ ругательствами, смотрѣль на него, вѣриль ему, и мнѣ было жалко мальчика. Онъ быль еще мальчикь, ему шель двадцатый годь, а по наивности ему можно было дать еще меньше. Онъ часто и съ глубокимъ негодованіемъ упоминаль о крѣпкой дружбѣ, связывавшей его съ воромъ-товарищемъ, укравшимъ такія вещи, за которыя суровый отецъ Шакро навѣрное "зарэжетъ" сына "кынжаломъ", если сынъ не найдетъ ихъ.—Я подумалъ, что если не помочь этому малому, жадный городъ засосетъ его. Я зналъ, какія иногда

ничтожныя случайности пополняють классь босяковь; а туть для князя Шакро были налицо всв шансы попасть въ это почтенное, но не чтимое сословіе. Мив захотълось помочь ему. Моего заработка не хватило бы на билеть до Батума, поэтому я пошель по конторамь просить безплатнаго провзда для Шакро. Я доказываль необходимость помощи въско,-мит въско отказывали. Я предложилъ Шакро пойти къ полицеймейстеру просить билеть, онъ замялся и сообщиль мнъ, что не пойдеть. Почему? Оказалось, что онъ не заплатилъ денегъ хозяину номеровъ, въ которыхъ стоялъ, а когда съ него потребовали денегь, онъ ударилъ кого-то; потомъ онъ скрылся и теперь справедливо полагаеть, что полиція не скажеть ему спасибо за неплатежь этихъ денегь и за ударъ; да, кстати, онъ и не твердо помнить-одинъ ударъ или два дано имъ, три или четыре.

Положеніе осложнялось. Я рѣшиль, что буду работать, пока не заработаю достаточно денегъ для него на проѣздъ до Батума, но увы! оказалось, что это случилось бы не скоро, очень не скоро, ибо проголодавшійся Шакро ѣлъ за троихъ и больше.

Въ то время, вслѣдствіе наплыва "голодающихъ", поденныя цѣны въ гавани стояли низко, и изъ восьмидесяти копеекъ заработка мы вдвоемъ проѣдали шестьдесять. Къ тому же, еще до встрѣчи съ княземъ, я рѣшилъ пойти въ Крымъ, и мнѣ не хотѣлось оставаться надолго въ Одессѣ. Тогда я предложилъ князю Шакро пойти со мной пѣшкомъ на такихъ условіяхъ: если я не найду ему попутчика до Тифлиса, то самъ доведу его, а если найду, то мы распростимся.

Князь посмотрълъ на свои щегольскія ботинки, на шляпу, на брюки, погладилъ курточку, подумалъ, вздохнулъ не разъ и, наконецъ, согласился. И вотъ мы съ нимъ отправились изъ Одессы въ Тифлисъ пъшкомъ.

II.

Когда мы пришли въ Херсонъ, я зналъ моего спутника, какъ малаго наивно-дикаго, крайне неразвитого, веселаго—когда онъ былъ сытъ, унылаго—когда голо денъ, какъ сильное и добродушное животное.

Дорогой онъ разсказываль мив о Кавказв, о жизни помвщиковъ-грузинъ, о ихъ забавахъ и отношеніи къ крестьянамъ. Его разсказы были интересны, своеобразно красивы, но рисовали предо мной разсказчика крайне не лестно для него. Разсказываетъ онъ, напримъръ, такой случай: •

Къ одному богатому князю съвхались сосвди на пирушку; пили вино, вли чурекъ и шашлыкъ, вли лавашъ и пилавъ, и потомъ князь повелъ гостей въ конюшню. Освдлали коней. Князь взялъ себв лучшаго и пустилъ его по полю. Горячій конь былъ это! Гости хвалять его стати и быстроту, князь снова скачетъ, но вдругъ въ поле выносится крестьянинъ на бвлой лошади и обгоняетъ коня князя, — обгоняетъ и... гордо смвется. Стыдно князю передъ гостями!... Сдвинулъ онъ сурово брови, подозвалъ жестомъ крестьянина, и когда тотъ подъвхалъ къ нему, то ударомъ шашки князь срубилъ ему голову и выстрвломъ изъ револьвера въ ухо убилъ коня, а потомъ объявилъ о своемъ поступкъ властямъ. И его осудили въ каторгу...

Шакро передаетъ миѣ это тономъ сожалѣнія о князѣ. Я пытаюсь ему доказать, что жалѣть туть нечего, но онъ поучительно говоритъ миѣ:

— Князей мало, крестьянъ много. За одного крестьянина нельзя судить князя. Что такое крестьянинъ? Воть!—и Шакро показываеть мнъ комокъ земли. — А князь—какъ звъзда!

Мы споримъ, и онъ сердится. Когда онъ сердится, то оскаливаетъ зубы, какъ волкъ, и лицо у него дълается острымъ.

— Молчи, Максимъ! Ты не знаешь кавказской жизни,—кричить онъ мнъ.

Мои доводы безсильны предъего непосредственностью, и то, что для меня ясно, ему смёшно. Моя логика не задъвала его мозга, и когда съ большимъ трудомъ я ставилъ его втупикъ доказательствами правильности моихъ воззръній и ихъ превосходства, онъ не долго задумывался и говорилъ мнъ:

— Ступай на Кавказъ, живи тамъ. Увидишь, что я сказалъ правду. Всъ такъ дълаютъ, значитъ—такъ нужно. Зачъмъ я буду тебъ върить, если ты одинъ только говоришь: это не такъ, а тысячи говорятъ—это такъ?

Тогда я молчаль, понимая, что нужно возражать не словами, а фактами ему, человъку, который върить въ то, что жизнь, какова она есть, вполнъ законна и справедлива. Я молчаль, а онъ торжествоваль, такъ какъ твердо въриль въ свое знаніе жизни и считаль его истиннымъ, непоколебимымъ, справедливымъ. И мое молчаніе давало ему право повышать тонъ своихъ разсказовъ о кавказской жизни, полной дикой красоты, полной огня и оригинальности. Эти разсказы, интересуя и увлекая меня, въ то же время возмущали и бъсили своей жестокостью, поклоненіемъ богатству и силъ и отсутствіемъ того, что называютъ обязательной для каждаго человъка моралью. Какъ-то разъ я спросилъ его, знаеть ли онъ ученіе Христа?

— Канэчно!-пожавъ плечами, отвътилъ онъ.

Но когда я разспросиль его, то оказалось, что онь знаеть столько: быль Христось, который возсталь противь еврейских законовь, и евреи распяли Его за это на кресть. Но Онь быль Богь, и потому не умерь на кресть, а вознесся на небо и тогда даль людямь новый законь жизни...

— Какой?-спросиль я.

Онъ посмотрълъ на меня съ насмъщливымъ недоумъніемъ и спросилъ: — Ты христіэнинъ? Ну! Я тоже христіэнинъ. На зэмлэ почти всэ христіэнэ. Ну что же ты спрашиваещь? Видишь, какъ всэ живуть... Это и есть законъ Христа.

Я, возбужденный, сталь разсказывать ему о жизни Христа. Онъ слушаль сначала со вниманіемъ, потомъ оно постепенно ослабъвало и, наконецъ, заключилось зъвкомъ.

Видя, что меня не слушаеть его сердце, я снова обращался къ его уму и говориль съ нимъ о выгодахъ взаимопомощи, о выгодахъ законности, о выгодахъ, все о выгодахъ...

— Кто силенъ, тотъ самъ себъ законъ! Ему не нужно учиться, онъ, и слъпой, найдеть свой путь, — лъниво возразилъ мнъ князь Шакро.

Онъ умълъ быть върнымъ самому себъ. Это возбуждало во мнъ уваженіе къ нему; но онъ былъ дикъ, жестокъ, и я чувствовалъ, какъ у меня иногда вспышвала искра ненависти къ князю Шакро. Но я не терялъ надежды найти точки соприкосновенія между нами и почву, на которой мы оба могли бы сойтись и понимать другъ друга.

Я сталъ проще говорить съ княземъ, старался подойти къ нему ближе. Онъ видълъ мои попытки и, должно быть, понимая ихъ, какъ сознаніе мною его превосходства надо мной, принималъ все болъе покровительственный тонъ въ разговоръ со мной. Я страдалъ, видя, какъ мои доводы разбиваются въ пыль о каменную стъну его міропониманія...

Мы прошли Перекопъ и подходили къ крымскимъ горамъ. Уже второй день видъли мы ихъ на горизонтъ. Онъ были голубыя и казались легкими грядами облаковъ. Я любовался ими издали и мечталъ о южномъ берегъ Крыма. А князь напъвалъ свои грузинскія пъсни и былъ хмуръ. У насъ вышли всъ деньги, и заработать пока было негдъ. Мы стремились въ Өеодосію, гдъ въ то время начинались работы по устройству гавани.

Князь говориль мив, что и онъ тоже будеть работать и что, заработавъ денегъ, мы повдемъ моремъ до Батума. Въ Батумв у него много знакомыхъ, и онъ сразу найдеть мив мъсто... дворника или сторожа. Онъ клопалъ меня по плечу и покровительственно говорилъ, сладко прищелкивая языкомъ:

— Я тэбэ устрою т-такую жизнь! цце, цце! Вино будэшь пить—сколько хочэшь, баранины—сколько хочэшь! Жэнишься на грузынкэ, на толстой грузынкэ, цце, цце, цце!... Она тэбэ будэть лавашь печь, дэтэй родить, много дэтэй, цце, цце!

Это "цце, цце!" сначала удивляло меня, потомъ стало раздражать, потомъ уже доводило до тоскливаго бъщенства. Въ Россіи такимъ звукомъ подманиваютъ свиней, на Кавказъ имъ выражаютъ восхищеніе, сожальніе, удовольствіе, горе.

Инакро уже сильно потрепалъ свой модный костюмъ, и его ботинки лопнули во многихъ мъстахъ. Трость и шляпу мы продали въ Херсонъ. Вмъсто шляпы онъ купилъ себъ старую фуражку желъзнодорожнаго чиновника.

Когда онъ въ первый разъ надълъ ее на голову, надълъ сильно набекрень,—то спросилъ меня:

-- Идэть на мэна? Красыво?

Ш.

И воть мы въ Крыму. Мы прошли Симферополь и направлялись къ Ялтъ.

Я шель въ немомъ восхищении передъ красотой природы этого дивнаго куска земли, отовсюду ласкаемаго моремъ. Князь вздыхалъ, горевалъ и, бросая вокругъ себя печальные взгляды, пытался набивать свой пустой желудокъ какими-то странными ягодами. Знакомство съ ихъ питательными свойствами не всегла схо-

дило ему съ рукъ благополучно, и часто онъ съ злымъ юморомъ говорилъ мнъ:

— Если мэна вывэрнэть наизнанку, какъ пойду далшэ? a? скажи, какъ?

Возможности что-либо заработать намъ не представлялось, и мы, не имъя ни гроша на хлъбъ, питались фруктами и надеждами на будущее. А князь Шакро начиналь уже упрекать меня въ непредпріимчивости и въ лъни, и въ "роторазэвайства", какъ онъ выражался. Онъ вообще становился тяжель, но больше всего угнеталъ меня разсказами о своемъ баснословномъ аппетитъ. Оказывалось, что онъ, позавтракавъ въ 12 часовъ "маленкимъ барашкэмъ", съ тремя бутылками вина, въ 2 часа могъ безъ особыхъ усилій събдать за объдомъ три тарелки какой-то "чахахбили" или "чихиртмы", цълую миску пилава, цълый шампуръ *) шашлыка, "сколько хочишь толмы" и еще много разныхъ кавказскихъ яствъ, и при этомъ выпивалъ вина-"сколко хотэлъ". Онъ по цълымъ днямъ разсказывалъ мнъ о своихъ гастрономическихъ наклонностяхъ и познаніяхъ, -- разсказываль, чмокая, съ горящими глазами, оскаливая зубы, скрипя ими, звучно втягивая въ себя и глотая голодную слюну, въ изобиліи брызгавшую изъ его красноръчивыхъ устъ. Въ такіе моменты онъ внушаль мив отвращение, которое я съ трудомъ могъ скрывать отъ него.

Какъ-то разъ, около Ялты, я нанялся вычистить фруктовый садъ отъ срѣзанныхъ сучьевъ, взялъ впередъ за день плату и на всю полтину купилъ хлѣба и мяса. Когда я принесъ купленное, меня позвалъ садовникъ, и я ушелъ на зовъ, сдавъ покупки эти Шакро, который отказался отъ работы подъ предлогомъ головной боли. Возвратившись черезъ часъ, я убѣдился, что Шакро, говоря о своемъ аппетитъ, не выходилъ изъ

^{*)} Шампуръ-желъзный пруть, на которомъ жарять шашлыкъ.

границъ правды: отъ купленаго мной не осталось ни крошки. Это былъ не товарищескій поступокъ, но я смолчаль—на мое горе, какъ оказалось впослъдствіи.

Шакро замътилъ мое молчаніе и воспользовался имъ по-своему. Съ этого времени началось нъчто удивительно нельпое. Я работаль, а онь, подъ разными предлогами отказываясь оть работы, флъ, спалъ и понукалъ меня. Я не толстовецъ. Мнъ было смъшно и грустно смотръть на него, здороваго пария, алчно смотръвшаго на меня, когда я, усталый, возвращался, кончивъ работу, къ нему, гдъ-нибудь въ тънистомъ уголкъ дожидавшемуся меня; но еще грустиве и обидиве было видъть, что онъ смъется надо мной за то, что я работаю. Онъ смъялся, потому что выучился просить и потому что я въ его глазахъ быль какой-то безжизненной чучелой. Когда онъ началъ сбирать милостыню, то сначала конфузился меня, а потомъ, когда мы подходили къ татарской деревушкъ, онъ сталъ на моихъ глазахъ приготовляться къ сбору. Для этого онъ опирался на палку и волочиль ногу по земль, какъ будто она у него больла, зная, что скупые татары не подадуть здоровому парию. Я спориль съ нимъ, доказываль ему постидность такого занятія... Онъ смінялся.

- Я но умъю работать!—кратко вовражаль онъ мнъ. Ему подавали скудно. Я въ то время начиналь прихварывать. Путь становился труднъе день ото дня и мои отношенія съ Шакро все тяжельй. Онъ теперь ужъ настоятельно требоваль, чтобъ я его кормиль.
- Ты мэнэ вэдешь? Вэди! Разви можно такъ далэко мнэ идти пэшкомъ? а? я нэ привыкъ. Я умэрэть могу отъ этого! Что ты мэнэ мучаишь, убиваишь? Эсли я вумру, какъ будить всэ? Мать будыть плакать, атэцъ будыть плакать, товарищы будуть плакать! Сколько это слезъ?

Я слушалъ такія рѣчи, но не сердился на нихъ. Въ то время во мнѣ пачала закрадываться странная мысль, побуждавшая меня выносить все это. Бывало спить онь, а я сижу рядомъ съ нимъ и, разсматривая его спокойное, неподвижное лицо, повторяю про-себя, какъ бы догадываясь о чемъ-то:

— Мой спутникъ... спутникъ мой...

И въ сознаніи моемъ порою смутно возникала мысль, что Шакро только пользуется своимъ правомъ, когда онъ такъ увъренно и смъло требуетъ отъ меня помощи ему и заботь о немъ. Въ этомъ требованіи быль характеръ, была сила. Онъ меня порабощалъ, я ему поддавался и изучаль его, следиль за каждой дрожью его физіономіи, пытаясь представить себъ, гдъ и на чемъ онъ остановится въ этомъ процессъ захвата чужой личности. Онъ же чувствоваль себя прекрасно, пълъ, спалъ и подсмъивался надо мной, когда ему этого хотълось. Иногда мы съ нимъ расходились дня на два, на три въ разныя стороны; я снабжалъ его хлъбомъ и деньгами, если онъ были, и говорилъ, гдъ ему ожидать меня. Когда мы сходились снова, то онъ, проводившій меня подозрительно и съ грустной злобой, встръчалъ такъ радостно, торжествующе и всегда, смъясь, говорилъ:

— Я думаль, ты убэжаль адынь, бросиль мэня. Ха, ха, ха!...

Я даваль ему всть, разсказываль о красивыхь мъстахь, которыя видёль, и разь, говоря о Бахчисарав, кстати разсказаль о Пушкинь и привель его стихи. На него не производило все это никакого впечатлёнія.

— Э, стыхи! Это пэсни, не стыхи! Я зналъ одного человака, грузына, Мато Лежава, тотъ палъ пэсни! Это пэсни!... Запоеть — ай, ай, ай!... Громко... очэнъ громко палъ! Точно у него въ горла кинжаломъ ворочають!... Онъ заразалъ одного духанщика, въ Сибырь тепаръ пошелъ...

Послъ каждаго возвращенія къ нему я все больше и ниже падалъ въ его мнъніп, и онъ не умъль скрывать этого отъ меня.

Digitized by Google

Дъла наши шли далеко не хорошо. Я еле находилъ возможность заработать рубль—полтора въ недълю, и, само собою разумъется, этого было менъе чъмъ мало двоимъ. Сборы Шакро не дълали экономіи въ пищъ. Его желудокъ былъ маленькою пропастью, поглощавшей все безъ разбора—виноградъ, дыни, соленую рыбу, хлъбъ, сушеные фрукты—и отъ времени она какъ бы все увеличивалась въ объемъ и все больше требовала, жертвъ.

Шакро сталъ торопить меня уходить изъ Крыма резонно заявляя мнѣ, что скоро уже осень, а путь еще далекъ. Я согласился съ нимъ. Къ тому же я успѣлъ посмотрѣть эту часть Крыма, и мы пошли на Өеодосію, въ чаяніи "зашибить" тамъ "деньгу", которой у насъ все-таки не было. Снова приходилось питаться фруктами и надеждами на будущее...

Бъдное будущее! Оть избытка надеждъ, возлагаемыхъ людьми на него, оно теряетъ почти всю свою прелесть, чуть только становится настоящимъ!

Отойдя версть двадцать оть Алушты, мы остановились ночевать. Я уговориль Шакро идти берегомъ, хотя это быль длиннъйшій путь, но мнъ хотьлось надышаться моремъ. Мы разожгли костеръ и лежали около него. Вечеръ былъ дивный. Темно-зеленое море билось о скалы внизу подъ нами; голубое небо торжественно молчало вверху, а вокругь насъ тихо щумъли ароматическіе кустарники и деревья. Всходила луна. Оть узорчатой зелени чинаръ пали тъни и ползали по камнямъ. Пъла какая-то птица, пъла задорно и звучно. Ея серебряныя трели таяли въ воздухъ, полномъ тихаго и ласковаго шума волнъ, и, когда онъ исчезали, слышалось нервное стрекотанье какого-то насъкомаго. Костеръ горълъ весело, и его огонь казался большимъ пылающимъ букетомъ красныхъ и желтыхъ цвътовъ. Онъ тоже рождаль твни, и эти твни весело прыгалы вокругъ насъ, какъ бы рисуясь своею живостью предъ

Digitized by Google

лънивыми тънями луны. Иногда раздавались въ воздухъ странные звуки. Широкій горизонть моря быль пустынень, небо надъ нимъ безоблачно, и я чувствоваль себя на краю земли, созерцающимъ пространство— эту чарующую душу загадку... Упоенный торжественной красотой ночи, я какъ бы таялъ въ дивной гармоніи красокъ, звуковъ и запаховъ, пугливое чувство близости къ чему-то великому наполняло мою душу и сердце трепетно замирало отъ наслажденія жить...

Вдругь Шакро громко расхохотался:

— Xa, xa, xa!... Какая у тебя глупая рожа! Савсэмъ какъ у барана! А, xa, xa, xa!...

Я испугался, точно надо мной внезапно грянуль громъ. Но это было хуже. Это было смъшно, да, но какъ же это было обидно!... Онъ, Шакро, плакалъ отъ смъха; я чувствовалъ себя готовымъ плакать отъ другой причины. У меня въ горлъ стоялъ камень, я не могъ говорить и смотрълъ на него дикими глазами, чъмъ еще больше усиливалъ его смъхъ. Онъ катался по землъ, поджавъ животъ; я же все еще не могъ придти въ себя отъ нанесеннаго мнъ оскорбленія... ибо мнъ было нанесено тяжкое оскорбленіе, и тъ немногіе, которые, я надъюсь, поймутъ его,—потому что, можетъ быть, сами испытали нъчто подобное,—тъ снова взвъсять въ своей душъ эту тяжесть.

— Перестань!!--бъщено крикнулъ я.

Онъ испугался, вздрогнулъ, но все еще не могъ сдержаться, пароксизмы смъха все еще схватывали его, онъ надувалъ щеки, таращилъ глаза и вдругъ снова разражался хохотомъ. Тогда я всталъ и пошелъ прочь отъ него. Я шелъ долго, безъ думъ, почти безъ сознанія, полный жгучимъ ядомъ одиночества и обиды. Я обнималъ всю природу и, молча, всей душой объяснялся ей въ любви, въ горячей любви, человъка, который немножко поэтъ... а она, въ лицъ Шакро, расхохоталась надо мной за мое увлеченіе! Я далеко

зашелъ бы въ составленіи обвинительнаго акта противъ природы, Шакро и всёхъ порядковъ жизни, но за мной раздались быстрые шаги.

— Не сэрдысь!—сконфуженно произнесъ Шакро, тихонько касаясь моего плеча.—Ты молился? Я нэ зналь. Я нэ молюсъ самъ...

Онъ говорилъ робкимъ тономъ нашалившаго ребенка, и я, несмотря на мое возбужденіе, не могъ не видъть его жалкой физіономіи, смъшно искривленной смущеніемъ и страхомъ.

- Я тэбя нэ трону болше. Вэрно! Ныкогда! Онъ отрицательно трясъ головой.
- Я выжу, ты смырный. Работаешь. Мэня не заставляешь. Думаю почэму? Значить глупый онъ, какъ баранъ...

Это онъ меня утъщалъ! Это онъ извинялся предо мной! Конечно, послъ такихъ утъщений и извинений мнъ ничего не оставалось болъе, какъ простить ему не только прошлое, но и будущее.

Черезъ полчаса онъ кръпко спалъ, а я сидълъ рядомъ съ нимъ и смотрълъ на него. Во сиъ даже сильный человъкъ кажется беззащитнымъ и безпомощнымъ, а Шакро быль жалокъ. Его толстыя губы были полуоткрыты и, вмъстъ съ поднятыми бровями, нарисовали на его лицъ чисто-дътскую мину робкаго удивленія. Дышалъ онъ ровно, спокойно, но иногда возился и бредилъ, говоря просительно и торопливо цълыя фразы по-грузински. Вокругъ насъ царила та напряженная тишина, отъ которой всегда ждешь чего-то и которая, если бъ могла продолжаться долго, сводила бы съ ума человъка своимъ совершеннымъ покоемъ и отсутствіемъ звука, этой яркой тыни движенія. Тихій шорохъ волнъ не долеталъ до насъ, -- мы находились въ какой-то ямъ, поросшей цъпкими кустарниками и казавшейся можнатымъ зъвомъ окаменъвшаго животнаго. Я смотрълъ па Шакро и думалъ: "Это мой спутникъ... Я могу бросить его здъсь, но не могу уйти оть него, ибо имя его — легіонъ... Это спутникъ всей моей жизни... онъ до гроба проводить меня..."

IV.

Өеодосія обманула наши ожиданія. Когда мы пришли, тамъ было около четырехсоть человъкъ, чаявшихъ, какъ и мы, работы и тоже принужденныхъ удовлетвориться ролью зрителей постройки мола. Работали турки, греки, грузины, смоленцы, полтавцы, босяки. Всюду и въ городъ, и вокругъ него—бродили группами сърыя, удрученныя фигуры "голодающихъ", и рыскали волчьей рысью азовскіе и таврическіе босяки.

Насъ тоже сначала приняли за голодающихъ и покормились-было около насъ, стянувъ въ толив съ плечъ Шакро чекмень, купленный мной для него, и срвзавъ у меня котомку, но, по нвкоторомъ препирательствв, возвратили намъ все это, такъ какъ усмотрвли духовное и общественное родство между собой и нами, а босяки—народъ благородный, хотя и продувныя бестіи...

Затемъ мы, видя, что туть намъ делать нечего и что молъ котять строить безънасъ, обиделись и пошли въ Керчь.

Мой спутникъ держалъ свое слово и не трогалъ меня; но онъ сильно голодалъ и былъ мраченъ, какъ Дарьяльское ущелье. Онъ прямо-таки по-волчьи щелкалъ зубами, видя, какъ кто-нибудь ѣлъ, и приводилъ меня въ ужасъ описаніями количествъ разной пищи, которую онъ готовъ былъ поглотить. Съ нѣкоторыхъ поръ онъ началъ вспоминать о женщинахъ. Сначала вскользь, со вздохами сожалѣнія, потомъ чаще, съ алчными улыбками "восточнаго чэлавэка", онъ, наконецъ, дошелъ до того, что не могъ уже пропустить мимо себя ни одной особы женскаго пола, какихъ бы лѣтъ и наружности она ни была, чтобъ не подѣлиться со

мной какой-нибудь практически философской сальностью по поводу той или другой ея статьи. Онъ трактоваль о женщинахъ такъ свободно, съ такимъ знаніемъ предмета, и смотрѣлъ на нихъ съ такой удивительно прямой точки зрѣнія, что я только отплевывался... Однажды я попробовалъ доказать ему, что женщина—существо ничѣмъ не худшее его, но, видя, что онъ не только обижается на меня за мои взгляды, а даже готовъ придти въ бѣшенство за униженіе, каковому, по его мнѣнію, я подвергалъ его, —оставилъ мои попытки до поры, пока онъ, Шакро, будеть сытъ.

На Керчь мы шли уже не берегомъ, а степью, въ видахъ сокращенія пути, и въ котомкъ у насъ была всего только одна ячменная лепешка фунта въ три, купленая у татарина на последній нашъ пятакъ. По этой грустной причинъ, придя въ Керчь, мы были не только не въ состояніи искать работы, но прямо-таки еле двигали ногами. Попытки Шакро просить хлъба по деревнямъ не приводили ни къ чему, вездъ кратко отвъчали: "много васъ!..." Это была великая истина: дъйствительно, до ужаса много было людей, искавшихъ куска хлъба въ этотъ тяжелый годъ. Они шли пъшкомъ, партіями отъ трехъ до двадцати и болве, шли съ ребятами, неся ихъ на рукахъ и таща за руки, и все это были такіе прозрачные ребята, съ синеватой кожей, подъ которой, казалось, текла не кровь, а какаято нездоровая, тухлая и мутная жижица... И кости ихъ торчали изъ-подъ этой изношенной кожи такъ угловато красноръчиво, что при одномъ взглядъ на нихъ въ сердце била тупая тоска, и оно ныло невыносимой, надоъдливой болью.

Голодные, полуголые и истомленные дорогой, эти ребята даже и не кричали, они только поглядывали вокругъ острыми, разноцвътными глазенками, жадно поблескивавшими при видъ бахчи или поля еще нескошенной пшеницы, и когда переводили съ тоской свои

взгляды на лица большихъ, тогда казалось, что они спрашиваютъ-зачъмъ ихъ произвели на свътъ?... Иногда вхала телвга, и въ ней качалась скелетообразная старуха, правя лошадью, а вокругъ нея торчали эти дътскія головки съ печальными глазами и выразительно молчали, поглядывая на чужую имъ землю. Лошадь, костлявая и вытертая, еле идеть и такъ жалобно помаживаеть своей ершистой головой съ запутанной гривой... А кругомъ нея и за ней идуть вереницей "большіе". Головы у нихъ опущены, руки — какъ плети и глаза тусклые и растерянные, не сверкають даже голодной лихорадкой, полные чемъ-то невыразимымъ, но поражающе скорбнымъ. И все это двигалось такъ крадучись, медленно и тихо по чужой земль, точно эти вышвырнутые несчастіемъ люди своимъ присутствіемъ боялись нарушить покой людей болье счастливыхъ, къ которымъ они пришли...

Ихъ много попадалось намъ — этихъ похоронныхъ процессій безъ покойниковъ... Бывало, поровнявшись съ нами или когда мы нагонимъ ихъ, они спросять насъ тихо и робко:

— Далече туть, ребята, до деревни?

И когда мы отвътимъ, они вздыхають и молчать, поглядывая на насъ.

Мой спутникъ терпъть не могъ этихъ непобъдимыхъ конкурентовъ ему въ сборъ милостыни. Запасъ его жизненныхъ силъ, несмотря на трудность пути и плохое питаніе, не позволялъ ему пріобръсти такого испитого и жалкаго вида, какимъ они, по справедливости, могли гордиться, какъ нъкоторымъ совершенствомъ, и онъ, еще издали видя ихъ, говорилъ:

— Опэть идуть! Фу, фу, фу! Чэго ходять? Чэво ъдуть? Развэ Россыя тэсна? Нэ понымаю! Очень глупый народъ въ Россыи!

И когда я объясняль ему причины, побудившія глу-

пый русскій народъ ходить и такать по Крыму, онъ, недовтручиво качая головой, возражаль:

— Нэ понимаю! Какъ можно!... У насъ въ Грузіи на 5ываеть такихъ глупостэй!

Итакъ, мы прибыли въ Керчь сильно утомленными и голодными. Мы пришли поздно вечеромъ и принуждены были ночевать подъ мостками съ пароходной пристани на берегъ. Намъ не мѣшало спрятаться: мы знали, что изъ Керчи, незадолго до нашего прихода, былъ вывезенъ весь лишній народъ—босяки, и побаивались, что попадемъ въ полицію; а такъ какъ Шакро путешествоваль съ чужимъ паспортомъ, то это могло повести къ серьезнымъ осложненіямъ въ нашей судьбѣ.

Волны пролива всю ночь щедро осыпали насъ брызгами, и на разсвътъ мы вылъзли изъ-подъ мостковъ мокрые и иззябшіе. Цълый день ходили мы по берегу, и все, что удалось заработать,—это гривенникъ, полученный мною съ какой-то попадьи, которой я отнесъ мъщокъ дынь съ базара.

Теперь нужно было переправиться черезъ проливъ въ Тамань. Ни одинъ лодочникъ не соглашался взять насъ гребцами на тотъ берегъ, какъ я ни просилъ объ этомъ. Всъ были возстановлены противъ босяковъ, незадолго передъ нами натворившихъ тутъ много геройскихъ подвиговъ, а насъ не безъ основанія причисляли къ ихъ категоріи.

Когда насталъ вечеръ, я, солзла на свои неудачи и на весь міръ, ръшился на нъсколько рискованную штуку, и съ наступленіемъ ночи привелъ ее въ исполненіе.

V.

Ночью я и Шакро тихонько подошли къ таможенной брандвахтъ, около которой стояли три шлюпки, привязанныя цъпями къ кольцамъ, ввинченнымъ въ каменную стъну набережной. Было темно, дулъ вътеръ, шлюпки толкались одна о другую, цепи звенели... И мне было легко и удобно раскачать кольцо и выдернуть его изъ камня.

Надъ нами, на высотъ аршинъ пяти, ходилъ таможенный солдатъ-часовой и насвистывалъ сквозь зубы. Когда онъ останавливался близко къ намъ, я прекращалъ работу, но это было излишней осторожностью; онъ не могъ предположить, что человъкъ сидить по горло въ водъ, рискуя быть оторваннымъ волной. Къ тому же цъпи звучали безпрерывно и безъ моей помощи. Шакро уже растянулся на днъ шлюпки и шепталъ мнъ что-то, чего я не могъ разобрать за шумомъ волнъ. Кольцо въ моихъ рукахъ... Волна схватила лодку и сразу отбросила ее саженъ на пять отъ берега. Я держался за цъпь и плылъ рядомъ съ ней, потомъ влъзъ въ нее. Мы сняли двъ настовыя доски и, укръпивъ ихъ въ уключинахъ вмъсто веселъ, поплыли...

Надъ нами летъли тучи, подъ нами метались волны, и Шакро, сидъвшій на кормъ, то пропадаль изъ моихъ глазъ, проваливаясь вивств съ кормой лодки въ водяныя ямы, то подымался высоко надо мной и, крича, почти падаль на меня. Я посовътоваль ему привязать свои ноги къ скамът лодки, что уже сдълалъ самъ, и не кричать, коли онъ не хочеть, чтобы часовой услыхалъ его. Тогда онъ замолчалъ. Я видълъ бълое пятно на мъстъ его лица. Онъ все время держалъ руль. Намъ некогда было перемъниться ролями и мы боялись переходить по лодкъ съ мъста на мъсто. Я кричалъ ему, какъ ставить лодку, и онъ, сразу понимая меня, дълалъ все такъ быстро, какъ будто родился морякомъ. Доски, замънявшія весла, мало помогали мнъ и только натирали мозоли на рукахъ. Вътеръ дулъ въ корму намъ, и я мало заботился о томъ, куда насъ несетъ, стараясь только о томъ, чтобы носъ стоялъ поперекъ пролива. Это было легко установить, такъ какъ еще были видны огни Керчи. Волны заглядывали къ намъ черезъ боота

и гнъвно шумъли, сталкиваясь другь съ другомъ; чъмъ больше выносило насъ въ проливъ, тъмъ онъ становились сильнъй и шумнъй. Уже слышался какой-то ревъ, гипнотизировавшій умъ и душу... А лодка все несласьбыстръй и быстръй, и становилось очень трудно держать курсъ. Мы то и дело проваливались въ глубокія ямы и вздетали на водяные бугры, а ночь становилась все темнъй и тучи опускались ниже. Огни за кормой пропали во мракъ, и тогда стало страшно. Казалось, что это пространство гивной воды не имвло уже больше границъ. Ничего не было видно, кромъ волнъ, летъвшихъ изъ мрака навстръчу лодкъ. Онъ съ трескомъ вышибли одну доску изъ моей руки, я самъ бросилъ другую на дно лодки и кръпко схватился объими руками за борта. Шакро вылъ дикимъ голосомъ каждый разъ, какъ лодка подпрыгивала вверхъ. Я чувствоваль себя жалкимъ и безсильнымъ въ этомъ мракъ, окруженный разгивванной стихіей и оглушенный ея шумомъ. Я смотрълъ въ тупой и холодной тоскъ и видълъ вокругъ себя страшное однообразіе-всюду только эти волны съ бъловатыми гривами, разсыпавшимися въ соленыя брызги, и тучи надо мной, густыя, лохматыя, тоже были похожи на волны... Я понималь только одно: все, что творится вокругъ меня, можеть быть неизмъримо сильнъе и страшнъе, и мнъ было обидно, что оно сдерживается и не хочетъ быть такимъ. Смерть неизбъжна. Но этотъ безстрастный, все нивеллирующій законъ необходимо чъмъ-нибудь скрашивать, такъ какъ ужъ очень онъ тяжелъ и грубъ. Если бы мив предстояло сгоръть въ огнъ или утонуть въ болотной трясинъ, я постарался бы выбрать первое-все-таки какъто приличиве...

[—] Поставимъ парусъ!-крикнулъ Шакро.

[—] Гдъ онъ? — спросилъ я.

^{. —} Изъ моего чэкмэня...

— Бросай его сюда! Не выпускай руля!... Шакро молча завозился на кормъ.

— Дәржы!...

Онъ бросилъ мив свой чекмень. Кое-какъ ползая по дну лодки, я оторваль оть наста еще доску, надъль на нее рукавъ плотной одежды, поставилъ ее къ скамъв лодки, приперъ ногами и только-что взялъ въ руки другой рукавъ и полу, какъ случилось нъчто неожиданное... Лодка прыгнула какъ-то высоко, потомъ полетьла внизъ, и я очутился въ водъ, держа въ одной рукъ чекмень, а другой уцъпившись за веревку, протянутую по внъшней сторонъ борта. Волны съ шумомъ прыгали черезъ мою голову и я глоталъ соленогорькую воду. Она наполнила мои уши, роть, нось... Кръпко вцъпившись руками въ веревку, я поднимался и опускался на водъ, стукаясь головой о борть, и, вскинувъ чекмень на дно лодки, старался вспрыгнуть на него самъ. Одно изъ десятка моихъ усилій удалось, я осёдлаль лодку и тотчась же увидъль Шакро, который кувыркался въ водъ, уцъпившись объими руками за тъ же веревки, которыя я только-что выпустиль. Онъ, оказалось, обходили всю лодку кругомъ, продътыя въ желъзныя кольца, ввинченныя въ борта,

— Живъ!--крикнулъ я ему.

Въ этотъ моменть онъ высоко подпрыгнулъ надъ водой и также брякнулся на дно лодки. Я подхватилъ его, и мы очутились лицомъ къ лицу, другъ съ другомъ. Я сидълъ на лодкъ, какъ на конъ, всунувъ ноги въ бечевки, какъ въ стремена, — но это было ненадежно: любая волна могла легко выбить меня изъ съдла. Шакро уцъпился руками за мои колъни и ткнулся головой мнъ въ грудь. Онъ весь дрожалъ, и я чувствовалъ, какъ тряслись его челюсти. Нужно было что-нибудь дълать. Дно было скользко, точно смазанное масломъ. Я сказалъ Шакро, чтобъ онъ спускался снова въ воду и держался за веревки съ одного борта, а я такъ

же устроюсь на другомъ. Вмъсто отвъта, онъ началъ толкать меня головой въ грудь. Волны въ дикой пляскъ то и дъло прыгали черезъ насъ, и мы еле держались; одну ногу мнъ страшно ръзало веревкой. Всюду въ полъ зрънія рождались высокіе бугры воды и съ шумомъ исчезали.

Я повториль Шакро сказанное уже тономъ приказанія. Онъ еще сильнъе сталъ стукать меня своей головой въ грудь. Медлить было нельзя. Я оторвалъ отъ себя его руки одну за другой и сталъ толкать его въ воду, стараясь, чтобъ онъ задълъ своими руками за веревки. И тутъ произошло нъчто, испугавшее меня больше всего въ эту ночь.

— Топишь мэня?—прошепталъ Шакро и взглянулъ мив въ лицо.

Это было дъйствительно страшно! Страшенъ быль его вопрось, еще страшнъе тонъ вопроса, въ которомъ звучала и робкая покорность факту, и робкая просьба пощады, и послъдній вздохъ человъка, потерявшаго надежду избъжать рокового конца. Но еще страшнъе были глаза на мертвенно-блъдномъ мокромъ лицъ!...

Я крикнулъ ему:

— Держись кръпче!—и спустился въ воду самъ, держась за веревку. Я ударился о что-то ногой, и въ первый моментъ не могъ ничего понять отъ боли. Но потомъ понялъ. Во мнъ вспыхнуло что-то горячее, я опьянълъ и почувствовалъ себя сильнымъ, какъ никогда...

— Земля!-крикнулъ я.

Можетъ быть, великіе мореплаватели, открывавшіе новыя земли, при видъ ихъ кричали это слово съ большимъ чувствомъ, чъмъ я, но сомнъваюсь, чтобъ они могли кричать громче меня. Шакро завылъ, и мы бросились въ воду. Но мы оба быстро охладъли; воды было еще по грудь намъ, и нигдъ не видълось какихълибо болъе существенныхъ признаковъ сухого берега. Волны здъсь были слабъе и уже не прыгали, а лъниво

перекатывались черезъ насъ. Къ счастью, я не выпустиль изъ рукъ шлюпки. И вотъ, мы съ Шакро стали по ея бортамъ и, держась за спасательныя веревки, осторожно пошли куда-то, ведя за собой лодку, уже приведенную нами въ естественное положеніе.

Шакро бормоталъ что-то и смъялся. Я озабоченно поглядывалъ вокругъ. Было темно. Сзади и справа отъ насъ шумъ волнъ былъ сильнъе, впереди и влъво—тише; мы пошли влъво. Почва была твердая, песчаная, но вся въ ямахъ; иногда мы недоставали дна и гребли ногами и одной рукой, другой держасъ за лодку; иногда воды было только по колъно. На глубокихъ мъстахъ Шакро вылъ, а я дрожалъ въ страхъ. И вдругъ спасеніе—впереди насъ засверкалъ огонь...

Шакро заораль что есть мочи; но я твердо помниль, что лодка казенная, и тотчасъ же заставиль его вспомнить объ этомъ. Онъ замолчаль, но черезъ нъсколько минуть раздались его рыданія. Я не могъ успокоить его—нечъмъ было.

Воды все становилось меньше... по кольно... по щиколотокъ... Воды нъть ужъ больше! Мы съ Шакро все тащили казенную лодку; но туть у насъ не стало силь, и бросили ее. На пути у насъ лежала какая-то черная коряга. Мы перепрыгнули черезъ нее—и оба босыми ногами попали въ какую-то колючую траву. Это было больно и со стороны земли негостепримно, но мы не обращали на это вниманія и побъжали на огонь. Онъ быль въ верств отъ насъ и, весело пылая, казалось, смъялся навстръчу намъ, а тьма страшно колыхалась вокругъ него...

VI.

...Три громадныя, кудластыя собаки, выскочивъ откуда-то изъ тьмы, бросились на насъ. Шакро, все время судорожно рыдавшій, страшно взвылъ и упалъ на землю. Я швырнулъ въ собакъ мокрымъ чекменемъ и наклонился, шаря рукой камня или палки. Ничего не было, только трава колола руки. Собаки дружно наскакивали. Я засвисталь что есть мочи, вложивь въ роть два пальца. Онъ отскочили, и тотчасъ же послышался топоть и говоръ бъгущихъ людей.

Чрезъ нъсколько минутъ мы были у костра въ кругу изъ четырехъ чабановъ, одътыхъ въ овчины шерстью вверхъ. Они молча, пристально и подозрительно смотръли на насъ и слушали мой разсказъ.

Двое сидъли на землъ и курили, выпуская дымъ громадными клубами; одинъ-высокій, съ густой черной бородой и въ высокой казацкой папахъ-стояль свади насъ, опершись на палку съ громадной шишкой изъ корня на концъ; четвертый, молодой русый парень помогаль плакавшему Шакро раздъваться. Неподалеку оть каждаго изъ нихъ лежали ихъ внушавшія уваженіе палки. Саженяхъ въ пяти оть насъ земля на большомъ пространствъ была покрыта толстымъ пластомъ чего-то густого, съраго и волнообразнаго, похожаго на весенній, уже начавшій таять снъгь. Только долго и пристально всматриваясь, можно было разобрать отдъльныя фигуры овецъ, плотно прильнувшихъ одна къ другой. Ихъ было туть не одинъ десятокъ тысячъ, плотно сдавленныхъ сномъ и мракомъ ночи въ густой, теплый и толстый пласть, покрывавщій степь. Иногда онъ блеяли жалобно и пугливо...

Я сушиль чекмень надъ огнемъ и говорилъ чабанамъ все по правдъ, разсказалъ и о способъ, которымъ добылъ лодку.

— Гдъ жъ она, та лодка?—спросиль меня суровый съдой старикъ, не сводившій съ меня глазъ.

Я сказаль имъ.

— Пойди, Михалъ, пошукай!...

Михалъ, тотъ чернобородый, вскинулъ палку на плечо и отправился къ берегу.

Чекмень высохъ. Шакро надълъ было его на голое тъло, но старикъ сказалъ:

— Поди! побъгай прежде, чтобъ разогръть кровь. Бъги вокругъ костра, ну!

Шакро сначала не поняль, но потомъ вдругь сорвался съ мъста и, голый, началъ танцовать невообразимо дикій танецъ, мячикомъ перелетая черезъ костеръ, кружась на одномъ мъстъ, топая ногами о землю, крича во всю мочь, размахивая руками. Это была уморительная картина. Двое чабановъ покатывались по землъ, хохоча во все горло, а старикъ съ серьезнымъ, невозмутимымъ лицомъ старался отбивать ладонями тактъ пляски, но не могъ его уловить, присматривался къ танцу Шакро, качая головой и шевеля усами, и все покрикивалъ густымъ басомъ:

— Гай-га! Такъ, такъ! Гай-га! Буцъ, буцъ!

Освъщенный огнемъ костра, Шакро извивался эмъей, принималъ самыя разнообразныя позы, прыгалъ на одной ногъ, выбивалъ частую дробь объими, и его блестящее въ огнъ тъло покрывалось крупными каплями пота. Эти капли отъ огня казались красными, какъ кровь.

Теперь уже всё трое чабановъ били въ ладони, а я, дрожа отъ холода, сушился у костра и думалъ, что переживаемое приключеніе сдёлало бы счастливымъ какого-нибудь поклонника Купера и Жюля-Верна: есть и кораблекрушеніе, и гостепріимные аборигены, и пляска дикихъ вокругъ костра... И думая такъ, я очень безпокоился о томъ, каково будетъ самое лучшее мъсто всякаго приключенія—его конецъ.

Шакро уже сидълъ на землъ, закутанный въ чекмень, и ълъ что-то, поглядывая на меня своими черными глазами, въ которыхъ искрилось нъчто, возбуждавшее во мнъ непріятное чувство. Его одежда сушилась, повъшенная на палки, воткнутыя въ землю около костра. Мнъ тоже дали ъсть хлъба и соленаго сала. Пришелъ Михалъ и, молча, сълъ рядомъ со стари-комъ.

- Ну?-спросиль старикъ.
- Есть лодка!-кратко сказалъ Михалъ.
- Ее не смоеть?
- Нѣтъ!

И они всв замолчали, снова разглядывая меня.

— Что жъ,—спросилъ Михалъ, ни къ кому собственно не обращаясь,—свести ихъ въ станицу къ атаману?—А можетъ, прямо къ таможеннымъ?

"Вотъ и конецъ!"—подумалъ я. Михалу не отвъчалъ никто. Шакро ълъ-себъ и помалкивалъ.

- Можно къ атаману свести... и къ таможеннымъ тоже... И то гарно, и другое,—сказалъ, номолчавъ, старикъ.
- Коли они украли казенную штуку, то и слъдуетъ имъ за это дать гонку...
 - Погоди, дъдъ...-началъ я.

Но онъ не обратилъ на меня никакого вниманія.

— Не кради! Да! A если имъ гонки не дать, то они и еще сдълаютъ такое...

Старикъ говорилъ возмутительно равнодушно, и когда онъ кончилъ, его товарищи молча кивнули головами.

- Вотъ такъ-то! Укралъ, ну, и терпи, коли попался... да! Михалъ! Это штука... лодка тамъ?
 - Эге. тамъ.
 - Что жъ... ее не смоетъ вода?
 - Ни... не смоетъ.
- Такъ и пускай ее стоить тамъ. А завтра лодочники поъдуть до Керчи и захватять ее съ собой. Что жъ бы имъ не захватить пустую лодку? Э?
- Ну, воть... А теперь вы... хлопцы-рванцы... того... якъ его?... Не боялись вы оба? Нътъ? те-те!... А еще бы полверсты, то и быть бы вамъ въ моръ. Что жъ бы вы подълали, коли бъ выкинуло въ море? А? Утонули бы, какъ топоры оба... да! Утонули бы, и все тутъ.

Старикъ замолчалъ и сталъ съ насмъщливой улыбкой въ усахъ смотръть на меня.

- Что жъ ты молчишь, парнюга?—спросиль онъ меня. Мнъ надоъли его разсужденія, которыя я, не понимая, принималь за издъвательство надъ нами.
 - Да воть слушаю тебя!— сказаль я довольно сердито.
 - Ну, и что жъ?-поинтересовался старикъ.
 - Ну, и ничего.
- А чего жъ ты дразнишься? Развъ то порядокъ дразнить старшаго, чъмъ самъ ты?

Я молчаль, сознавая, что дъйствительно не порядокъ.

- А ъсть ты не хочешь еще?-продолжалъ старикъ.
- Не жочу.
- Ну, не вшь. Не хочешь—и не вшь. А можеть, на дорогу взяль бы хлъба?

Я вздрогнулъ отъ радости, но не выдалъ себя.

- На дорогу взяль бы...—спокойно сказаль я.
- Эге!.. Такъ дайте жъ имъ на дорогу хлѣба и сала тамъ... А можетъ, еще что есть? то и этого дайте.
 - A развъ жъ они пойдуть?—спросилъ Михалъ. Остальные двое подняли глаза на старика.
 - А чего жъ бы имъ съ нами дълать?
- Да въдь къ атаману мы ихъ хотъли... а то къ таможеннымъ...—разочарованно заявилъ Михалъ.

Шакро завозился около костра и любопытно высунулъ голову изъ чекменя. Онъ былъ покоенъ.

- Что жъ имъ дълать у атамана? Нечего, пожалуй, имъ у него дълать. Послъ ужъ они пойдуть къ нему... коли захотять.
 - А лодка какъ же?—не уступалъ Михалъ.
- Лодка?—переспросилъ старикъ.—Что жъ лодка? Стоитъ она тамъ?
 - Стоитъ...-отвътилъ Михалъ.
- Ну, и пусть ее стоить. А утромъ воть Ивашка сгонить ее къ пристани... тамъ ее возьмуть до Керчи. Больше и нечего дълать съ лодкой.

Я пристально смотръль на стараго и не могь уловить ни малъйшаго движенія на его флегматичномъ, загоръломъ и обвътренномъ лицъ, по которому прыгали тъни отъ костра.

- А не вышло бы грѣха какого часомъ...—началъ сдаваться Михалъ.
- Коли ты не дашь воли языку, то гръха не должно бы, пожалуй, выйти. А если ихъ довести до атамана, то это, думаю я, безпокойно будеть и намъ, и имъ. Намъ надо свое дъло дълать, имъ—идти.—Эй! далеко еще вамъ идти?—спросилъ старикъ, хотя я уже говорилъ ему, какъ далеко.
 - До Тифлиса...
- Много пути! Воть видишь, а атаманъ задержить ихъ; а коли онъ задержить, когда они прійдуть? Такъ ужъ пусть же они идуть себъ, куда имъ дорога. А?
- А что жъ? Пускай идутъ!—согласились товарищи старика, когда онъ, кончивъ свои медленныя ръчи, плотно сжалъ губы и вопросительно оглянулъ всъхъ ихъ, крутя пальцами свою сивую бороду.
- -- Ну, такъ идите же къ Богу, ребята! -- махнулъ рукой старикъ.--А лодку мы отправимъ на мъсто. Такъ ли?
 - Спасибо тебъ, дъдъ! скинулъ я шапку.
 - А за что жъ спасибо?
- Спасибо, брать, спасибо! ваволнованно повториль я.
- Да за что жъ спасибо? Вотъ чудно! Я говорю— идите къ Богу, а онъ мив—спасибо! Развъ ты боялся, что я къ дьяволу тебя пошлю, э?
 - Быль грвхъ, боялся!...—сказаль я.
- О!...—и старикъ поднялъ брови.—Зачъмъ же мнъ направлять человъка по дурному пути? Ужъ лучше я его по тому пошлю, которымъ самъ иду. Можетъ быть, еще встрътимся, такъ ужъ знакомы будемъ. Часомъ помочь другъ другу придется... До свідкі...

Онъ снялъ свою мохнатую баранью шапку и поклонился намъ. Поклонились и его товарищи. Мы спросили дорогу на Анапу и пошли. Шакро смъялся надъчъмъ-то...

VII.

- Ты чему смъешься?-спросиль я его.

Я быль въ восхищени оть стараго чабана и его жизненной морали, я быль въ восхищени и оть свъжаго предразсвътнаго вътерка, въявшаго прямо намъ въ грудь, и отъ того, что небо очистилось отъ тучъ, скоро разсвътаетъ, на ясное небо выйдеть солнце и родится блестящій красавецъ-день...

Шакро хитро подмигнуль мив глазомъ и расхохотался еще сильней. Я тоже улыбался, слыша его веселый, здоровый смехъ. Два-три часа, проведенные нами у костра чабановъ, и вкусный хлёбъ съ саломъ оставили отъ утомительнаго путешествія только легонькую ломоту въ костяхъ; но это ощущеніе должно было исчезнуть отъ ходьбы.

— Ну, чего жъ ты смъешься? Радъ, что живъ остался, да? Живъ, да еще и сытъ?

Шакро отрицательно мотнулъ головой, толкнулъ меня локтемъ въ бокъ, сдёлалъ мнё гримасу, снова расхохотался и, наконецъ, заговорилъ своимъ ломанымъ языкомъ:

— Не паныманшь, почему смешно? Неть? Сечась будишь знать! Знаншь, что я сделаль бы, когда бы насъ павели къ этому атаману-таможану? Не знаишь? Я бы сказаль про тебя: онъ меня утопить хотель! И сталь бы плакать. Тогда бы меня стали жалеть и не посадыли бы въ турму! Паныманшь?

Я хотъть сначала понять это какъ шутку, но, увы! онъ сумъть меня убъдить въ серьезности своего намъренія. Онъ такъ основательно и ясно убъждаль меня

въ этомъ, что я, вмъсто того, чтобы взбъситься на него за этотъ наивный цинизмъ, преисполнился къ нему, и ужъ кстати—къ себъ, чувствомъ глубокой жалости. Что иное можно чувствовать къ человъку, который съ свътлъйшей улыбкой и самымъ искреннимъ тономъ разсказываетъ тебъ о своемъ намъреніи убить тебя? Что съ нимъ дълать, если онъ смотритъ на этотъ поступокъ, какъ на милую и остроумную шутку?

Я съ жаромъ пустился доказывать ему всю безнравственность его намъренія. Онъ очень просто возражальмиъ, что я не понимаю его выгодъ и забываю о проживаніи по чужому билету и о томъ, что за это не хвалять...

Вдругъ у меня блеснула одна жестокая мысль...

- Погоди,—сказалъ я,—да ты въришь въ то, что я дъйствительно хотълъ топить тебя?
- Нэть!... Когда ты мэня въ воду толкалъ—вэрилъ, когда самъ ты пошелъ—нэ вэрилъ!
- Слава Богу!—воскликнулъ я.—Ну, и за это спасибо!
- Нэть, нэ гавари спасьбо! Я тэбэ скажу спасьбо! Тамъ, у костра, тэбэ холодно было, мнъ холодно было... Чэкмэнь твой, ты нэ взялъ его сэбэ. Ты его высущилъ и далъ мнъ. А сэбэ нычэго нэ взялъ. Вотъ тэбэ спасьбо! Ты очэнь харошій человэкъ я панымаю. Придемъ въ Тыфлысъ, за все получишь. Къ отцу тэбя павэду. Скажу отцу—вотъ человэкъ! Карми его, пои его, а мэня къ ишакамъ въ хлэвъ запры! Вотъ какъ скажу! Жить у насъ будэшь, садовникомъ будэшь, пить будэшь вино, ъсть чего хочэшь!... ахъ, ахъ, ахъ!... очень харашо будэтъ тэбъ жить! Очэнь просто!... Пей, ъшь изъ адной чашки со мной!...

Онъ долго и подробно рисовалъ прелести жизни, которую собирался устроить мнв у себя въ Тифлисъ. А я подъ его говоръ думалъ о великомъ несчастін тъхъ людей, которые, вооружившись новой моралью,

новыми желаніями, одиноко ушли впередъ и потерялись въ жизни и встръчають на дорогъ своей спутниковъ, чуждыхъ имъ, неспособныхъ понимать ихъ... Тяжела жизнь такихъ одинокихъ! Безвольно носятся они въ воздухъ... Но они носятся въ немъ какъ съмена добрыхъ злаковъ, хотя и ръдко сгниваютъ въ почвъ плодотворной...

Свътало. Даль моря уже блестъла розоватымъ зо-

- Я спать хочу!-сказалъ Шакро.

Мы остановились. Онъ легъ въ яму, вырытую вътромъ въ сухомъ пескъ недалеко отъ берега, и, съ головой закутавшись въ чекмень, скоро заснулъ. Я сидълърядомъ съ нимъ и смотрълъ въ море.

Оно жило своей широкой жизнью, полной мощнаго движенія. Стаи волнъ съ шумомъ катились на берегъ и разбивались о песокъ, а онъ слабо шипълъ, впитывая воду. Взмахивая бъльми гривами, передовыя волны съ шумомъ ударялись грудью о берегъ и отступали, отраженныя имъ, а ихъ уже встръчали другія, шедшія поддержать ихъ. Обнявшись кръпко въ пънъ и брызгахъ, онъ снова катились на берегъ и били его въ стремленіи расширить преділы своей жизни. Отъ горизонта до берега, на всемъ протяжении моря, рождались эти гибкія и сильныя волны и все шли, шли плотной массой, тысно связанныя другь съ другомъ единствомъ цфли... Солнце все ярче освъщало ихъ хребты, и у далекихъ волнъ, на горизонтъ, они казались кроваво-красными. Ни одной капли не пропадало безследно въ этомъ титаническомъ движеніи водной массы, которая, казалось, воодушевлена какой-то сознательной цълью и воть достигаеть ея этими широкими, ритмичными ударами. Увлекательна была красивая храбрость передовыхь, задорно прыгавшихъ на молчаливый берегь, и хорошо было смотръть, какъ вслъдъ за ними спокойно и дружно идеть все море, могучее море, уже

окрашенное солнцемъ во всъ цвъта радуги и полное сдержаннаго сознанія своей красоты и силы...

Изъ-за мыса, разсъкая волны, выплыль громадный пароходъ и, важно качаясь на взволнованномъ лонъ моря, понесся по хребтамъ волнъ, бъщено бросавщихся на его борта. Красивый и сильный, блестящій на солнцъ своимъ металломъ, въ другое время онъ, пожалуй, могъ бы навести на мысль о гордомъ творчествъ людей, порабощающихъ стихіи... Но рядомъ со мной лежалъ человъкъ-стихія.

VIII.

Мы шли по Терской области. Шакро быль растрепанъ и оборванъ на диво и быль чертовски золь, хотя уже не голодалъ теперь, такъ какъ заработка было достаточно. Онъ оказался неспособнымъ къ какой-либо работъ. Однажды попробовалъ стать къ молотилкъ отгребать солому и черезъ полдня сошелъ, натеревъ граблями кровавыя мозоли на ладоняхъ. Другой разъ стали корчевать держи-дерево, и онъ сорвалъ себъ мотыгой кожу съ шеи.

Шли мы довольно медленно,—два дня работаешь, а день идешь. Влъ Шакро крайне несдержанно, и, по милости его сластолюбія, я никакъ не могъ скопить столько денегъ, чтобъ имѣть возможность пріобрѣсти ему какую-либо часть костюма. А у него всѣ части—сонмище разнообразныхъ дыръ, дико скомбинированныхъ разноцвѣтными заплатами. Я уговаривалъ его не заходить въ станичные трактиры и не пить тамъ его излюбленнаго вина, но онъ не обращалъ на меня вниманія.

Однажды въ какой-то станицѣ онъ вытащилъ изъ моей котомки съ большимъ трудомъ, тайно отъ него, но для него же скопленные пять рублей и вечеромъ явился въ домъ, гдѣ я работалъ въ огородѣ, пьяный и съ какой-то толстой бабой-казачкой, которая поздоровалась со мною такъ:

— Здравствуй, еретикъ проклятый!

А когда я, удивленный такимъ эпитетомъ, спросилъ ее, почему же я еретикъ, она съ апломбомъ отвътила мнъ:

— А потому, дьяволь, что запрещаешь парию женскій поль любить! Разв'я ты можешь запрещать, коли законь позволяеть?... Анаеема ты!...

Шакро стоялъ рядомъ съ ней и утвердительно кивалъ головой. Онъ былъ очень пьянъ и когда дълалъ какое-либо движеніе, то весь развинченно качался. Нижняя губа у него отвисла. Тусклые глаза смотръли мнъ въ лицо безсмысленно-упорно.

- Ну, ты, чего жъ вытаращилъ зенки на насъ? Давай его деньги!—закричала храбрая баба.
 - Какія деньги?—изумился я.
- Давай, давай! А то я тебя въ войсковую сведу! Давай тъ полтораста рублей, что взялъ у него въ Одессъ!

Что мий было дёлать? Чортова баба съ пьяныхъ глазъ въ самомъ дёлё могла пойти въ войсковую избу, и тогда станичное начальство, строгое къ разному странствующему люду, арестовало бы насъ. Кто знаетъ, что могло выйти изъ этого ареста для меня и Шакро! И вотъ, я началъ дипломатически обходить бабу, что, конечно, не стоило большихъ усилій. Кое-какъ при помощи трехъ бутылокъ вина я умиротворилъ ее. Она свалилась на землю между арбузовъ и заснула. Я уложилъ Шакро, а рано утромъ другого дня мы съ нимъ вышли изъ станицы, оставивъ бабу съ арбузами.

Полубольной съ похмелья, съ измятымъ и опухшимъ лицомъ, Шакро ежеминутно плевался и тяжко вадыхалъ. Я пробовалъ разговаривать съ нимъ, но онъ не отвъчалъ мнъ и только поматывалъ своей кудластой головой, какъ усталая лошадь.

День становился жаркимъ, и воздухъ былъ наполненъ тяжелыми испареніями сырой почвы, поросшей травой, густой и высокой, чуть не по плечи намъ. Всюду кругомъ насъ неподвижно стояло зеленое бархатное море и дышало въ знойное небо сочными ароматами, отъ которыхъ кружилась голова...

Для сокращенія пути, мы шли узкой тропинкой, по которой взадъ и впередъ ползали маленькія красныя змъйки, извиваясь у насъ подъ ногами. Справа отъ насъ, на горизонтъ, тянулась гряда облаковъ, сверкавшихъ на солнцъ серебромъ, — то былъ Дагестанскій хребетъ. Тишина, царившая вокругъ, усыпляла и погружала въ мечтательно-дремотное состояніе. Следомъ за нами, по небу медленно двигались черныя густыя стаи тучъ. Сливаясь другъ съ другомъ, онъ покрыли все небо сзади насъ, тогда какъ впереди оно было еще ясно, хотя уже клочья облаковъ выбъжали въ него и ръзво неслись куда-то впередъ, обгоняя насъ и все гуще покрывая небо. Далеко гдв-то рокоталь громъ и его ворчливые звуки все приближались. Крупныя капли дождя стали падать и ударяться о траву. Трава металлически шелествла.

Намъ негдъ было укрыться. Вотъ стало темно, и шелесть травы зазвучаль хоть и громче, но какъ-то испуганно. Грянулъ громъ-и тучи дрогнули, охваченныя синимъ огнемъ. Потомъ стало темно, и серебристая цъпь горъ пропала во тьмъ. Крупный дождь полился ручьями, и одинъ за другимъ удары грома начали грозно и непрерывно рокотать въ пустынной степи. Трава, сгибаемая ударами вътра и дождя, ложилась на землю и шуршала блъднымъ звукомъ. И все дрожало, волновалось. Молніи, слепя глаза, рвали тучи... Въ голубомъ блескъ ихъ вдали вставала горная цъпь, сверкая синими огнями, серебряная и холодная, а когда молніи гасли, она исчезала, какъ бы проваливаясь въ темную пропасть. Все гремъло, вздрагивало, отталкивало звуки и родило ихъ.-Точно небо, мутное и гнъвное, огнемъ очищало себя отъ ныли и всякой мерзости, поднявшейся до него съ земли, и земля, казалось, дрожить въ страхъ предъ гнъвомъ его.

Пакро дрожалъ и ворчалъ, какъ испуганная собака. А мнъ было весело, и я какъ-то приподнялся надъ обыкновеннымъ, наблюдая эту могучую мрачную картину степной грозы. Дивный хаосъ увлекалъ и настраивалъ на героическій ладъ, охватывая душу грозной и дикой гармоніей...

И мив захотвлось принять участіе въ ней, выразить чвиь-нибудь переполнившее меня чувство восхищенія передъ этой тайной силой, сокрушающей тьму и тучи. Голубое пламя, охватывавшее небо, казалось, горвло и въ моей груди; и чвиъ мив было выразить мое великое волненіе и мой восторгъ предъ грандіозной картиной природы?... Я запвлъ — громко, во всю силу. Реввлъ громъ, блистали молніи, шуршала трава, а я пвлъ и чувствовалъ себя въ полномъ родствв со всвии звуками... Я безумствовалъ; это простительно, ибо не вредило никому, кромв меня. Я былъ полонъ желанія какъ можно больше схватить и впитать въ себя живой и могучей красоты и силы, бушевавшей въ степи, и стать ближе къ ней... Буря на морв и гроза въ степи!—я не знаю болье грандіозныхъ явленій въ природъ.

Итакъ, я кричалъ себъ, будучи твердо увъренъ, что не обезпокою никого таковымъ поведеніемъ и никого не поставлю въ необходимость подвергнуть строгой критикъ мой образъ дъйствій. Но вдругъ меня сильно дернули за ноги, и я невольно и буквально сълъ въ лужу...

Въ лицо мив смотрвлъ Шакро серьезными и гиввными глазами.

— Ты сошель съ ума? Нэ сошель? Нэть? Ну, за-амалчи! нэ крычи! я тэбэ разорву глотку! панымаишь?

Я изумился и сначала спросиль его, чъмъ я ему мъщаю...

— Пугаишъ! понялъ? Громъ гремитъ—Богъ гаворить, а ты арешь... Что ты о себъ думаишь?

Я заявиль ему, что я имъю право пъть, если хочу, равно какъ и онъ.

- А я нэ хачу!-категорически сказаль онъ.
- Не пой!-согласился я.
- И ты не пой!-строго внушаль Шакро.
- Нътъ, я ужъ лучше буду...
- Послушай, что ты думаншь?—гнѣвно заговорилъ Шакро.—Кто есть ты такой? есть у тэбэ домэ? Есть у тэбэ мать? отэцъ? Есть родные? зэмли? Кто ты на зэмлѣ? Ты—человэкь, думаншь? Это я человэкь! У мэнэ все есть!...—Онъ постукаль себя въ грудь.—Я кнээь!... А ты... ты—нычего! Нычего нэть! Ты говоришь я тотъ-то!... Кто еще это скажитъ?! А мэнэ знаить Кутансь, Тыфлысъ!... Паныманшь? Ты нэ иди протывъ мэнэ! Ты мнѣ служишь?—Будышь доволенъ! Я заплачу тэбэ въ дэсять разъ! Ты такъ дэлаешь мнѣ? Ты нэ можишь дэлать иное; ты самъ гаварылъ, что Богъ вэлѣль служить всѣмъ бэзъ награды! Я тэбэ награжу! Зачэмъ ты мэнэ мучаншь? учишь, пуганшь? Хочешь, чтобы я былъ, какъ ты? Это нэ харашо! Нэльзя дѣлать пахожимъ на сэбэ!... Эхъ, эхъ, эхъ!... Фу, фу!...

Онъ говориль, чмокаль, фыркаль, вздыхаль... Я смотръль ему въ лицо, разинувъ роть оть изумленія. Онъ, очевидно, выливаль предо мной всѣ возмущенія, обиды и недовольства мною, накопленныя за все время нашего путешествія. Для вящшей убъдительности онъ тыкаль мнѣ пальцемъ въ грудь и трясъ меня за плечо и, въ особенно сильныхъ мъстахъ, налъзаль на меня своей тушей. Насъ поливаль дождь, надъ нами непрерывно грохоталь громъ, и Шакро, чтобъ быть услышаннымъ мною, кричаль во все горло.

Трагикомизмъ моего положенія выступилъ предо мной яснъе всего и заставилъ меня расхохотаться что было моихъ силъ...

Шакро, плюнувъ, отвернулся отъ меня.

IX.

...Чъмъ ближе мы подходили къ Тифлису, тъмъ Шакро становился сосредоточеннъе и угрюмъе. Что-то новое появилось на его исхудаломъ, но все-таки неподвижномъ лицъ. Недалеко отъ Владикавказа мы зашли въ черкесскій аулъ и подрядились тамъ собирать кукурузу.

Проработавъ два дня среди черкесовъ, почти не говорившихъ по-русски и безпрестанно смъявшихся надъ нами и ругавшихъ насъ по-своему, мы ръшили уйти изъ аула, испуганные все возраставшимъ среди аульниковъ враждебнымъ отношеніемъ къ намъ. Мы отошли версть десять отъ аула, когда Шакро вдругъ вытащилъ изъ-за пазухи свертокъ лезгинской кисеи и съ торжествомъ показалъ мнъ, воскликнувъ:

— Больши на надо работать! Продадымъ—купымъ всего! Хватыть до Тыфлыса! Панымаишь?

Я быль возмущень до бъщенства и, вырвавъ кисею, бросиль ее въ сторону и оглянулся назадъ. Черкесы не шутять. Незадолго предъ этимъ мы слышали отъ казаковъ такую исторію: одинъ босякъ, уходя изъ аула, гдъ работаль, захватиль съ собой жельзную ложку. Черкесы догнали его, обыскали, нашли при немъ эту ложку и, распоровъ ему кинжаломъ животъ, сунули глубоко въ рану ложку, а потомъ спокойно уъхали, оставивъ его въ степи, гдъ казаки и подняли его полуживымъ. Онъ разсказалъ это имъ и умеръ на дорогъ въ станицу. Казаки неразъ и очень строго предостерегали насъ отъ черкесовъ, разсказывая такія и иныя въ этомъ духъ поучительныя исторіи,—не върить имъ я не имъль основанія.

Я сталъ напоминать Шакро о нихъ. Онъ стоялъ предо мной, слушалъ и вдругъ, молча, оскаливъ зубы и сощуривъ глаза, кошкой бросился на меня. Минутъ

нять мы основательно колотили другъ друга, п, паконецъ, Шакро съ гитвомъ крикнулъ мит:

— Будэтъ!...

Измученные, мы долго молчали, сидя другъ противъ друга... Шакро жалко посмотрълъ туда, куда я швырнулъ красную кисею, и заговорилъ:

— За что дрались? Фа, фа, фа!... Очэнь глупо. Развэ я у тэбэ украль? Что тэбэ жалко? Минэ тэбэ жалко, патаму и украль... Работаишь ты, я нэ умэю... Что минэ дълать? Хотэль помочь тэбэ... Цце, цце!...

Я попытался объяснить ему, что есть кража...

- Пожалуйста, ма-алчи! У тэбэ галава какъ дерево...—презрительно отнесся онъ ко мив и объяснилъ:
- Умирать будишь—красть будишь? Ну! А развэ это жизнь? Малчи!

Боясь снова раздражить его, я молчаль. Это быль уже второй случай кражи. Еще раньше, когда мы были въ Черноморьъ, онъ стащилъ у грековъ-рыбаковъ карманные въсы. Тогда мы тоже едва не подрались.

— Ну, идемъ далшэ? — сказалъ онъ, когда оба мы нъсколько успоконлись, примирились и отдохнули.

Мы пошли дальше. Онъ съ каждымъ днемъ становился все мрачнъй и смотрълъ на меня странно, исподлобья. Какъ-то разъ, когда мы уже прошли Дарьяльское ущелье и спускались съ Гудаура, онъ заговорилъ:

— Дэнь—два пройдеть—въ Тыфлысъ придемъ. Цпе, цце, почмокалъ онъ языкомъ и расцвълъ весь удовольствіемъ. Приду домой, гдэ былъ? Путэшествовалъ! Въ баню пайду... ага! Тость буду много... ахъ, много! Скажу матэри—очень хачу тость. Скажу отцу—просты мэнэ! я видэлъ много горя и жизнь видэлъ... разнаго рода! Босяки очэнь харрошій народъ! Встрэчу когда, дамъ рубль, павэду въ духанъ, скажу—пей вино, я самъ былъ босякъ! Скажу отцу еще про тэбэ... Вотъ человэкъ, былъ минэ какъ старшій брать... Училъ мэнэ. Билъ мэнэ, собака... Кормилъ. И тэпэрь, скажу, корми

ты его за это. Годъ корми. Годъ корми—вотъ сколько! Слышишь, Максымъ?

Я любилъ слушать, когда онъ говорилъ такъ; онъ пріобръталъ въ такіе моменты нъчто простое и дътское. Такія ръчи были мнъ и потому интересны, что я не имълъ въ Тифлисъ ни одного человъка знакомаго, а близилась зима—на Гудауръ насъ уже встрътила вьюга. Я надъялся немного на Шакро.

Мы шли быстро. Воть и Михеть — древняя столица Иберіи. Завтра придемъ въ Тифлисъ.

Еще издали, версть за пять, я увидаль столицу Кавказа, сжатую между двухъ горъ. Конецъ пути! Я былъ радъ чему-то, Шакро—равнодушенъ. Онъ тупыми глазами смотрълъ впередъ и сплевывалъ въ сторону голодную слюну, то и дъло съ болъзненной гримасой хватаясь за животъ. Это онъ неосторожно поълъ сырой морковки, нарванной по дорогъ.

— Ты думаешь, я—грузинскій дварянинъ— пайду въ мой городъ днемъ такой, какъ я есть, рваный и грязный? Нэ-эть!... Мы падаждемъ вэчера. Стой!

Мы съли у стъны какого-то пустого зданія и, свернувъ по послъдней папироскъ, дрожа отъ холода, покурили. Съ военно-грузинской дороги дулъ ръзкій и сильный вътеръ. Шакро сидълъ, напъвая сквозь зубы какую-то грустную пъсню... Я думалъ о теплой комнатъ и о другихъ преимуществахъ осъдлой жизни предъжизнью кочевой.

 Идемъ! — поднялся Шакро съ ръшительнымъ линомъ.

Стемнъло. Городъ зажигалъ огни. Это было красиво: огоньки постепенно, одинъ за другимъ, выпрыгивали откуда-то во тьму, глухо окутавшую долину, въ которую спрятался городъ.

— Слушай! ты дай мэнэ этоть башлыкъ, чтобъ я закрыль лицо... а то узнають мэнэ знакомые, можеть быть...

Я даль башлыкъ. Мы идемъ по Ольгинской улицъ. Шакро насвистываеть нъчто ръшительное.

- Максымъ! Видишь станцію конки— Верійскій мость? Сыди туть, жди! Пажалуста, жди! Я зайду въ адынъ домъ, спрошу товарища про своихъ, отца, мать...
 - Ты недолго?
 - Сайчасъ! Адынъ момэнтъ!...

Онъ быстро сунулся въ какой-то темный и узкій переулокъ и исчезъ въ немъ... навсегда.

Я никогда больше не встръчалъ этого человъка — моего спутника въ теченіе почти четырехъ мъсяцевъ жизни, но я часто вспоминаю о немъ съ добрымъ чувствомъ и веселымъ смъхомъ.

Онъ научилъ меня многому, чего не найдешь въ толстыхъ фоліантахъ, написанныхъ мудрецами, — ибс мудрость жизни всегда глубже и общирнъе мудрости людей.



цъло съ застежками

(1896.)

...Насъ было трое пріятелей—Семка Каргуза, я и Мишка-бородатый гиганть съ большими синими глазами, въчно ласково улыбавшимися всему и въчно опухними отъ пьянства. Мы обитали въ полъ, за городомъ, въ старомъ полуразрушенномъ зданіи, почемуто называвшемся "стекляннымъ заводомъ", -- можетъ быть, потому, что въ его окнажь не было ни одного цълаго стекла, -- и брались за разныя работы, не брезгуя ничъмъ: чистили дворы, рыли канавы, погреба, помойныя ямы, разбирали старыя зданія и заборы и однажды даже попробовали построить курятникъ. Но это намъ не удалось-Семка, всегда относившійся педантически честно къ взятымъ на себя обязанностямъ, усомнился въ нашемъ знакомствъ съ архитектурой курятниковъ и однажды въ полдень, когда мы отдыхали, взялъ да и снесъ въ кабакъ выданные намъ гвозди, двъ новыя доски и топоръ работодателя. За это насъ прогнали съ работы; но такъ какъ взять съ насъ было нечего-къ намъ не предъявили никакихъ претензій въ удовлетвореніе нанесеннаго нами ущерба. Мы перебивались "съ хлъба на воду" и всъ трое ощущали вполнъ естественное и законное въ такомъ положении недовольство нашей судьбой.

Иногда оно принимало острую форму, вызывавшую

въ насъ враждебное чувство ко всему окружающему и увлекавшее на подвиги довольно буйственные и предусмотрънные "Уложеніемъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями"; но вообще мы были меланхолично тупы, озабочены прінсканіемъ заработка и крайне слабо реагировали на всъ тъ впечатлънія бытія, отъ которыхъ нельзя было чъмъ-либо поживиться.

Въ свободное отъ занятій время,—а его было всегда больше, чъмъ намъ требовалось,—мы мечтали.

Семка, самый старшій и положительный челов'якь изъ насъ, коренастый пензякъ, бывшій огородникъ, волею судьбы совершенно спившійся и съ годъ тому назадъ, по пути въ Нижній на ярмарку, гдв онъ над'ялся какимъ-то образомъ "поправиться", застрявшій въ К...—Семка, озлобленный скептикъ, мечталъ опред'яленно и ясно. Онъ хотълъ немногаго:

- Эхъ, ты, мать твою поймать, да за отца замужъ отдать!—говорилъ онъ, бывало, когда мы, положивъ наши пустые животы на землю, растягивались гдѣ-нибудь въ тѣни за городомъ и пытались освѣтить наше будущее, полегоньку, но настойчиво заглядывая въ его мракъ.—Ежели бы махнуть въ Сибирь! Я бы тамъ нашелъ свою дорогу. Встрѣлъ бы хорошаго человѣка и сейчасъ къ нему въ науку... Другъ, молъ, ты милый, возьми въ долю свою!—Тюрьма вмѣстѣ и сума пополамъ. Оборудовали бы мы съ нимъ послѣ того два-три дѣльца... и я бы, значитъ, былъ покоенъ... н-да...
- Зачъмъ же непремънно въ Сибирь идти нужно? спросилъ я его какъ-то разъ.
- Зачъмъ? Тамъ, братъ, настоящій фартовый народъ и есть... Много его... легко найтить... А здъсь... здъсь ни въ жисть не встрънешь хорошаго человъка... А ежели въ одиночку взяться... даромъ пропадешь—навыку нътъ... рука не набита...

Мишка не умълъ мечтать вслухъ, но не было ни малъйшаго сомнънія, что онъ упорно и много мечтаеть про-себя. Стоило только взглянуть на его добръйшіе синіе глаза, всегда устремленные куда-то вдаль, и увидать тихую, пьяную улыбку, постоянно шевелившую его густые усы и бороду, постоянно вмъщавшую въсебъ разные предметы, не имъвшіе съ ней ничего общаго, вродъ птичьихъ перьевъ, соломы, стружекъ, крошекъ хлъба, яичныхъ скорлупъ и т. п.,—стоило разъвзглянуть въ его простецкое открытое лицо, чтобъсразу увидать въ немъ, Мишкъ, типичнъйшаго мечтателя-мужика.

Я тоже мечталъ... но направленіе моихъ мечтаній и по сей день интересно только для меня одного....

Мы всѣ трое встрѣтились въ ночлежномъ домѣ недѣли за двѣ до факта, о которомъ я кочу разсказать, считая его интереснымъ.

Черезъ два-три дня мы были уже друзьями, т.-е. ходили всюду вмъстъ, повъряли другъ другу свои намъренія и желанія, дълили поровну все, что перепадало кому-либо одному изъ насъ, и вообще заключили между собой безмольный оборонительный и наступательный союзъ противъ жизни, обращавшейся съ нами крайне враждебно.

Мы весьма усердно отыскивали въ теченіе дня возможность что ни то разобрать, распилить, выкопать, перетаскать, и если таковая возможность представлялась, то сначала довольно ревностно принимались за работу.

Но потому, должно быть, что въ душъ каждый изъ насъ считалъ себя предназначеннымъ для выполненія болье высшихъ функцій, чъмъ, напримъръ, копаніе помойныхъ ямъ или чистка ихъ,—что еще хуже, прибавляю для непосвященныхъ въ это дъло,—часа черезъ два работы намъ она переставала нравиться. Потомъ Семка начиналъ сомнъваться въ ея надобности для жизни.

— Копають яму... А для чего? Для помоевъ. А просто бы такъ лить на дворъ? Нельзя, вишь. Пахнуть, дескать, будеть. Ишь ты! Помои будуть пахнуть! Скажуть тоже у бездёлья-то. Выброси, напримёръ, огурецъ соленый—чёмъ онъ будеть пахнуть, коли онъ маленькій? Полежить день—и нёть его... сгнилъ. Это воть ежели человёка мертваго выбросить на солнце, онъ, дёйствительно, попахнеть, потому—гадина крупная.

Такія Семкины сентенціи и умозаключенія сильно охлаждали нашъ трудовой пыль... И это было довольно выгодно для насъ, если работа была взята поденно, но при сдъльной работъ всегда выходило такъ, что плата за нее забиралась и проъдалась нами ранъе, чъмъ работа была доведена до конца. Тогда мы шли къ хозяину просить "прибавки"; онъ же въ большинствъ случаевъ гналъ насъ вонъ и грозилъ съ помощью полиціи заставить насъ докончить трудъ, уже оплаченный имъ. Мы возражали, что голодные мы не можемъ работать, и болъе или менъе возбужденно настаивали на прибавкъ, чего въ большинствъ случаевъ и достигали.

Конечно, это было непорядочно, но, право же, это было очень выгодно, и мы не при чемъ, если въ жизни все устроено такъ неловко, что порядочность поступка всегда почти стоить противъ выгодности его.

Пререканія съ работодателями всегда бралъ на себя Семка и, поистинъ, артистически-ловко велъ ихъ, излагая доказательства своей правоты тономъ человъка, измученнаго работой и изнывающаго подъ тяжестью ея...

А Мишка смотрёль, молчаль и хлопаль своими голубыми глазами, то и дёло улыбаясь доброй, умиротворяющей улыбкой, какъ бы пытаясь сказать что-то и не находя въ себё рёшимости. Онъ говориль вообще очень мало и только въ пьяномъ видё бываль способенъ сказать нёчто вродё спича.

— Братцы мои!—восклицаль онъ тогда, улыбаясь, и при этомъ его губы странно вздрагивали, въ горлъ

Digitized by Google

першило, и онъ нъсколько времени послъ пачала ръчи кашлялъ, прижимая горло рукой...

- Н-ну?—досадливо и нетерпъливо поощрялъ его Семка.
- Братцы вы мои! Живемъ мы, какъ собаки... И даже не въ примъръ хуже... А за что? Неизвъстно. Но, надо полагать, по волъ Господа Бога. Все дълается по Его волъ... а, братцы? Ну, вотъ... Значить, мы достойны собачьяго положенія, потому что люди мы плохіе. Плохіе мы люди, а? Ну, воть... Я и говорю теперь: такъ намъ, псамъ, и надо. Върно я върю? Выходить это намъ по дъламъ нашимъ. Значить, должны мы терпъть нашу судьбу... а? Върно?
- Дуракъ!—кратко и равнодушно отвъчалъ Семка на тревожные и пытливые вопросы товарища.

А тоть виновато ежился, робко улыбался и молчаль, моргая слипавшимися оть опьянвнія глазами.

Однажды намъ "пофартило".

Мы, ожидая спроса на наши руки, толкались по базару и наткнулись на маленькую, сухую старушку съ лицомъ сморщеннымъ и строгимъ. Голова у нея тряслась, и на совиномъ носъ попрыгивали большія очки въ тяжелой серебряной оправъ; она ихъ постоянно поправляла, сверкая маленькими, сухо блестъвшими глазками.

- Вы что—свободны? Работы ищете?—спросила она насъ, когда мы всъ трое съ вожделъніемъ уставились на нее.
- Хорошо,—сказала она, получивъ отъ Семки быстрый, почтительный и утвердительный отвътъ.—Вотъ мнъ надо бы разломать старую баню и вычистить колодецъ... Сколько бы вы взяли за это?
- Надо посмотръть, барыня, какая такая будеть у нихъ, т.-е. у баньки вашей, величина...—въжливо и резонно сказалъ Семка.—И опять же колодецъ... Разные они бывають. Иногда очень глубокіе...

Digitized by Google

Насъ пригласили посмотръть, и черезъ часъ мы, уже вооруженные топорами и дреколіемъ, лихо раскачивали стропила бани, взявшись разрушить ее и вычистить колодецъ за пять рублей. Баня помъщалась въ углу стараго запущеннаго сада. Невдалекъ отъ нея въ кустахъ вишни стояла бесъдка, и съ потолка бани мы видъли, что старушка сидить въ бесъдкъ на скамъъ и, держа на колъняхъ большую развернутую книгу, внимательно читаетъ ее... Иногда она бросала въ нашу сторону внимательный и острый взглядъ, книга на ея колъняхъ шевелилась, и на солнцъ блестъли ея массивныя, очевидно, серебряныя застежки...

Нъть работы споръе, чъмъ работа разрушенія...

Мы усердно возились въ клубахъ сухой и ъдкой пыли, поминутно чихая, кашляя, сморкаясь и протирая глаза; баня трещала и разсыпалась, полусгнившая и старая, какъ ея хозяйка...

- Ну-ка, наляжь, братцы, дружно-о!—командоваль Семка, и вънецъ надъ вънцомъ кряхтя падалъ на землю.
- Какая бы это у нея книга? Толстенная такая,— задумчиво спросиль Мишка, опираясь на стягь и отирая ладонью поть съ лица. Мгновенно превратившись въ мулата, онъ поплеваль на руки, размахнулся стягомъ, желая всадить его въ щель между бревнами, всадиль и добавиль также задумчиво:—Ежели Евангелье—больно толсто будто...
 - А тебъ что?—полюбопытствовалъ Семка...
- Мнъ-то? Ничего... Люблю я послушать книгу... священную ежели... У насъ въ деревнъ быль солдать Африканъ, такъ тоть бывало какъ начнеть псалтырь честь... ровно барабанъ бъеть... Ловко читалъ!
- Ну, такъ что жъ?—снова спросилъ Семка, свертывая папироску...
- Ничего... Хорошо больно... Хоть оно непонятно... а все-таки слово этакое... на улицъ ты его не услышишь...

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$

Непонятно оно, а все-таки чувствуещь, что это слово для души.

- Непонятно, ты говоришь... а все-таки видно, что глупъ ты, какъ пень лъсной...—передразнилъ Семка товарища.
- Извъстно... ты всегда ругаешься...—вздохнуль тоть.
- А съ дураками какъ говорить? Развъ они могутъ что понимать? Валяй-ка вотъ эту гнилушину... o-o!

Баня разсыпалась, окружаясь обломками и утопая въ тучахъ пыли, отъ которой листья ближайшихъ деревьевъ уже посъръли. Іюльское солнце не щадило нашихъ спинъ и плечъ, распаривая ихъ... По нашимъ пестрымъ отъ пота и грязи физіономіямъ нельзя бы было опредълить, къ которой именно изъ четырехъ цвътныхъ расъ мы принадлежимъ.

- А книга-то въ серебръ,—снова заговорилъ Мишка. Семка поднялъ голову и пристально посмотрълъ въ сторону бесъдки.
 - Похоже, кратко изрекъ онъ...
 - Значить, Евангилье...
 - Ну, и Евангилье... Такъ что?
 - Ничего...
- Этого добра у меня полны карманы. А ты бы!... коли священное писаніе любишь, пошель бы, да и сказаль ей: почитайте, моль, мнѣ, бабушка. Намъ, моль, этого взять неоткуда... Въ церкви мы, по неприличности и грязнотъ нашей, не ходимъ... а душа, моль, у насъ тоже... какъ слъдуетъ... на своемъ мъстъ... Подъка, ступай!
 - А и впрямь... пойду?
 - И пойди...

Мишка бросилъ стягъ, одернулъ рубаху, размазалъ ея рукавомъ пыль по рожъ и спрыгнулъ съ бани внизъ.

— Турнетъ она тебя, лѣшмана...—проворчалъ Семка, скептически улыбаясь, но съ крайнимъ любопытствомъ провожая фигуру товарища, пробиравшагося среди лопуховъ къ бесѣдкѣ. Онъ, высокій, согнувшійся, съ обнаженными грязными руками, грузно раскачиваясь на ходу и задѣвая за кусты, тяжело двигался впередъ и улыбался смущенно и кротко. Старушка подняла голову навстрѣчу подходившему босяку и спокойно мѣрила его глазами.

На стеклахъ ея очковъ и на ихъ серебряной оправъ играли лучи солнца.

Она не "турнула" его, вопреки предположенію Семки. Намъ не слышно было за шумомъ листвы, о чемъ говорилъ Мишка съ хозяйкой; но вотъ мы видимъ, что онъ грузно опускается на землю къ ногамъ старухи, и такъ, что его носъ почти касается раскрытой книги. Его лицо степенно и спокойно; онъ—мы видимъ—дуетъ въ свою бороду, стараясь согнать съ нея пыль, возится и, накопецъ, усаживается въ неуклюжей позъ, вытянувъ шею впередъ и выжидающе разсматривая сухія маленькія руки старушки, методично перевертывающія листы книги...

— Ишь ты... лохматый песъ!... Отдыхъ себъ сдълалъ... Айда—и мы? Чего такъ-то? Онъ тамъ будетъ проклаждаться, а мы ломи за него. Айда?

Черезъ двъ-три минуты мы съ Семкой тоже сидъли на землъ по оба бока нашего товарища. Старушка ни слова не сказала встръчу намъ, она только посмотръла на насъ пристально и сухо и снова начала перекидывать листы книги, ища въ ней чего-то... Мы сидъли въ пышномъ зеленомъ кольцъ свъжей пахучей листвы, и надъ нами было раскинуто, ласковое и мягкое, безоблачное небо. Иногда пролеталъ вътерокъ, и листья начинали шелестъть тъмъ таинственнымъ звукомъ, который всегда такъ смягчаетъ душу, родитъ въ ней тихое, умиротворяющее чувство и заставляетъ задумываться о

чемъ-то пеясномъ, но близкомъ человъку, очищающемъ его отъ внутренней грязи, или, по меньшей мъръ, заставляющемъ временно забывать о ней и дышать легко и ново...

- "Павелъ, рабъ Іисуса Христа..."—раздался голосъ старушки. Онъ старчески дребезжалъ и прерывался, но былъ полонъ благочестія и суровой важности. При первыхъ звукахъ его Мишка истово перекрестился, Семка заерзалъ по землъ, выискивая болъе удобную позу. Старушка окинула его глазами, не переставая читать.
- "Я весьма желаю увидъть васъ, чтобы преподать вамъ нъкое дарованіе духовное къ утвержденію вашему, т.-е. утъшаться съ вами върою общею, вашею и моею".

Семка, какъ истинный язычникъ, громко зъвнулъ, сто товарищъ укоризненно вскинулъ на него синими глазами и низко опустилъ свою лохматую голову, всю въ пыли...

Старушка, не переставая читать, тоже строго взглянула на Семку, и это его смутило. Онъ повелъ носомъ, скосилъ глаза и—должно быть, желая изгладить впечатлъне своего зъвка—глубоко и благочестиво вздохнулъ.

Нъсколько минуть прошли спокойно. Вразумительное и монотонное чтеніе дъйствовало успокоительно.

- "Ибо открывается гнъвъ Божій съ неба на всякое нечестіе и..."
- Что тебъ нужно?—вдругъ крикнула чтица на Семку.
- А... а ничего! Вы извольте читать,—я слушаю! смиренно объясниль онъ.
- Зачъмъ ты трогаешь застежки своей грязной ручищей?—сердилась старушка.
- Любопытно... потому—работа очень ужъ тонкая! А я это понимаю—слесарное дъло мнъ извъстно... Воть я и пощупалъ.
- Слушай! сухо приказала старушка. Скажи мив—о чемъ я тебв читала?

Digitized by Google

- Это извольте! Я въдь понимаю...
- Ну, говори...
- Проповъдь... стало быть, поученіе насчеть въры, а также и нечестія... Очень просто и... все върно! Такъ за душу и щиплеть!

Старушка печально потрясла головой и оглядъла всъхъ насъ съ укоромъ.

- Погибшіе... Камни вы... Ступайте работать!
- Она, тово... разсердилась будто бы?—виновато улыбаясь, заявилъ Мишка.

А Семка почесался, зъвнулъ и, посмотръвъ вслъдъ козяйки, не оборачиваясь удалявшейся по узкой дорожкъ сада, задумчиво произнесъ:

— А застежки-то у книжицы серебряныя...

И онъ улыбнулся во всю рожу, какъ бы предвкушая что-то.

Переночевавъ въ саду около развалинъ бани, уже совершенно разрушенной нами за день, къ полудню другого дня мы вычистили колодецъ, вымочились въ водъ, выпачкались въ грязи и, въ ожиданіи разсчета, сидъли на дворъ у крыльца, разговаривая другъ съ другомъ и рисуя себъ сытный объдъ и ужинъ въ близкомъ будущемъ; заглядывать же въ болъе отдаленное никто изъ насъ не имълъ охоты...

- Ну, какого чорта старая въдьма не идеть еще, нетерпъливо, но вполголоса возмущался Семка. — Подохла, что ли?
- Экъ онъ ругается!—укоризненно покачалъ головой Мишка.—И чего, напримъръ, ругается? Старушка—настоящая Божья. А онъ ее ругаетъ. Этакій характеръ у человъка...
- Разсудилъ...—усмъхнулся его товарищъ... Пугало... огородное...

Эта пріятная и интересная бесъда друзей была прервана появленіемъ хозяйки. Она подошла къ намъ и, протягивая руку съ деньгами, презрительно сказала:

— Получите и... убирайтесь. Хотъла я вамъ отдать баню распилить на дрова, да вы не стоите этого.

Неудостоенные чести распилить баню, въ чемъ, впрочемъ, мы и не нуждались теперь, мы молча взяли деньги и пошли.

— Ахъты, старая кикимора!—началъ Семка, чуть только мы вышли за ворота.—На-ко-ся! Не стоимъ! Жаба дохлая!—Ну-ка, воть скрипи теперь надъ своей книгой...

Моментально сунувъ руку въ карманъ, онъ выдернулъ изъ него двъ блестящія металлическія штучки и, торжествуя, показаль ихъ намъ.

Мишка остановился, любопытно вытягивая голову впередъ и вверхъ къ поднятой рукъ Семки.

- Застежки отломаль?—спросиль онъ удивленно....
- Онъ самыя... Серебряныя!... Кому не надо—рубль дасть.
 - Ахъ, ты! Когда это ты? Спрячь... отъ гръха...
 - И спрячу...

Мы молча пошли дальше по улицъ.

- Ловко...—задумчиво говорилъ Мишка самъ себъ.—Взялъ да и отломилъ... Н-да... А книга-то хорошая... Старуха... обидится, чай, на насъ...
- Нътъ... что ты! Воть она насъ позоветь назадъ, да на чай дастъ...—трунилъ Семка.
 - А сколько ты за нихъ хошь?
- Послъдняя цъна—девять гривенъ. Ни гроша не уступлю... себъ дороже... Видишь—ноготь сломалъ!
 - Продай мив...-робко спросилъ Мишка.
- Тебѣ? Ты что—запонки хочешь завести себѣ?... Купи, ха-арошія запонки выйдуть... какъ разъ къ твоей харѣ.
- Нъть, право, продай!—и Мишка понизилъ тонъ просьбы...
 - Купи, говорю... Сколько дашь?
 - Бери... сколько тамъ есть на мою долю?
 - Рубль двадцать...

- А тебъ сколь за нихъ?...
- Рубль!...
- Чай, уступи... для друга!...
- Дура нетрепанная! На кой-те ихъ дьяволъ?
- Да ужъ ты продавай знай...

Наконецъ торгъ былъ заключенъ, и застежки перешли за девяносто копеекъ въ руки Мишки.

Онъ остановился и сталь вертъть ихъ въ рукахъ, наклонивъ кудластую голову и наморщивъ брови и пристально разсматривая два кусочка серебра.

- Нацъпи ихъ на носъ себъ...—посовътовалъ ему Семка...
- Зачъмъ?—серьезно возразилъ Мишка...—Не надо. Я ихъ старушкъ стащу. Вотъ, молъ, мы, старушка, нечаянно захватили эти штуковины, такъ ты ихъ... опять пристрой къ мъсту... къ книгъ этой самой... Только вотъ ты ихъ съ мясомъ выдралъ... это какъ теперь?
- Да ты, чорть, взаправду понесешь?—разинулъ роть Семка.
- А какъ?... Видишь ты, такая книга... нужно, чтобъ она въ полной цълости была... ломать отъ нея куски разные не годится... И старушка тоже... обидится... А ей умирать надо... Воть я и того... Вы меня, братцы, подождите съ минутку... а я добъгу назадъ...

И раньше чъмъ мы успъли удержать его, онъ крупными шагами исчезъ за поворотомъ улицы...

— Ну, и мокрица-человъкъ! Жиделяга грязная! возмутился Семка, понявъ суть факта и его возможныя послъдствія.

И отчаянно ругаясь черезъ два слова въ третье, онъ пачалъ убъждать меня:

— Айда, скоръй! Провалить онъ насъ... Теперь сидить, чай, поди, руки у него назадъ... а старая корга ужъ и за будочникомъ послала!... Вотъ-те и водись съ этакимъ пакостникомъ! Да онъ не за сизо-перышко въ гюрьму тебя вопреть! Нъть, каковъ мерзавецъ-чело-

въкъ?! Какая подлой души тварь съ товарищемъ такъ поступить можетъ?! Ахъ, ты, Господи! Ну, и люди стали! Айда, чорть, чего ты растяпился! Ждешь? Жди, чортъ васъ всъхъ, мошенниковъ, возьми! Тьфу, анаеемы! Не идешь? Ну такъ...

Посуливъ мнѣ нѣчто невѣроятно скверное, Семка ожесточенно ткнулъ меня кулакомъ въ бокъ и быстро пошелъ прочь...

Мить котълось знать, что дълаеть Мишка съ нашей бывшей хозяйкой, и я тихонько отправился къ ея дому. Мить не думалось, что я подвергаюсь какой-либо опасности или непріятности.

И я не ошибся.

Подойдя къ дому и приложившись глазомъ къ щели въ заборъ, я увидълъ и услышалъ только слъдующее: старуха сидъла на ступенькахъ крыльца, держала въ рукахъ "выдранныя съ мясомъ" застежки своей библіи и черезъ очки пытливо и строго смотръла въ лицо Мишки, стоявшаго ко мнъ задомъ...

Несмотря на строгій и сухой блескъ ея острыхъ глазъ, по угламъ губъ у нея образовалась мягкая складка кожи; видно было, что старушка хочетъ скрыть добрую улыбку,—улыбку прощенія.

Изъ-за спины старухи смотръли какія-то три рожи: двъ женскія, одна красная и повязанная пестрымъ платкомъ, другая простоволосая, съ бъльмомъ на лъвомъ глазу, а изъ-за ея плечъ высовывалась физіономія мужчины, клинообразная, въ съдыхъ бачкахъ и съ вихромъ на лбу... Она то и дъло странно подмаргивала обоими глазами, какъ бы говоря Мишкъ:

— Утекай, братъ, скоръй!

Мишка мямлилъ, пытаясь объясниться:

— ...Такая ръдкостная книга. Вы, говорить, всъскоты и псы... собаки. Я и думаю... Господи—върно! Такъ надо говорить по правдъ... сволочи мы и окаянные люди... подлецы. И оцять же, думаю: барыня—старушка, можеть, у ней и утъха одна, что воть книга—да и все туть... Теперь застежки... много ли за нихъ дадуть? А ежели при книгъ, то онъ—вещь! Я и помыслилъ... дай-ка, моль, я обрадую старушку Божію, отнесу ей вещь назадъ... Ктому же мы, слава те Господи, заработали малу толику на пропитаніе. Счастливо оставаться! Я ужъ пойду.

- Погоди!—остановила его старуха. —Понялъ ты, что я вчера читала?...
- Я-то? Гдъ мнъ понять! Слышу—это такъ... да и то какъ слышу? Развъ у насъ уши для слова Божія? Намъ оно непонятно. Сердцемъ это точно что слышишь, а уко не принимаеть у насъ... Прощевайте...
- Та-акъ! протянула старуха... Нътъ, ты по-годи...

Мишка тоскливо вздохнулъ на весь дворъ и по-медвъжьи затоптался на мъстъ. Его уже, очевидно, тяготило это объясненіе...

- А хочешь ты, чтобъ я еще почитала тебъ?
- Ммъ... товарищи ждутъ...
- Ты плюнь на нихъ... Ты хорошій малый... брось ихъ.
- Хорошо...-тихо согласился Мишка.
- Бросишь? Да?
- Брошу...
- Ну, воть... умница!... Совстмъ ты дитя... а борода вонъ какая... до пояса почти... Женатъ ты?...
 - Вдовый... померла жена-то...
 - А зачъмъ ты пьешь? Въдь ты пьяница?
 - Пьяница... Пью.
 - Зачвиъ?
- Пью-то? По глупости пью. Глупъ, ну и пью. Конечно, ежели бы человъку умъ... да рази бы онъ самъ себя портилъ?—уныло говорилъ Мишка.
 - Върно разсудилъ... Ну вотъ, ты и копи умъ...

накопи, да и поправься... ходи въ церковь... слушай Божіе слово... въ немъ вся мудрость.

- Оно, конечно...-почти простональ Мишка.
- А я еще почитаю тебъ... хочешь?...
- Извольте...-умиралъ отъ тоски Мишка.

Старуха достала откуда-то изъ-за себя библію, порылась въ ней, и дворъ огласился ея дрожащимъ голосомъ:

— "Итакъ, неизвинителенъ ты, всякій человѣкъ, судящій другого, ибо тѣмъ же судомъ, какимъ судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, дѣлаешь то же!"

Мишка тряхнулъ головой и почесалъ себъ лъвое плечо.

- —"...Неужели думаешь ты, человъкъ, что избъжишь суда Божія?"
- Барыня! плачевно заговорилъ Мишка, отпустите меня для Бога... Я вдругорядь лучше приду послушаю... а теперь больно мий йсть хочется... такъ-те вотъ и пучить животъ-отъ... Съ вечера мы не ймши...

Барыня сильно хлопнула книгой.

- Ступай! Иди!—отрывието и ръзко прозвучало на дворъ...
- Покорнъйше благодаримъ!...—И онъ чуть не бъгомъ направился къ воротамъ...
- Нераскаянныя души... Звъриныя сердца, ши-пъло по двору вслъдъ ему...

Черезъ полчаса мы съ нимъ сидъли въ трактиръ и пили чай съ калачомъ.

— Какъ буравомъ она меня сверлила...—говорилъ Мишка, ласково улыбаясь мнъ своими милыми глазами.—Стою я и думаю.... Ахъ, ты, Господи! И зачъмъ только пошелъ я? На муку пошелъ... Гдъ бы ей взять у меня эти застежки, да и отпустить меня,—она разго-

воръ затъяла. Экій народъ-чудакъ! Съ ними хочешь по совъсти поступать, а они свое гнутъ... Я по простотъ души говорю ей: вотъ-те барыня твои застежки, не жалуйся на меня... а она говоритъ: нътъ, погоди, ты разскажи, зачъмъ ты ихъ мнъ принесъ? И пошла жилы изъ меня тянуть... Я ажъ взопрълъ отъ ея разговору... право ей Богу.

И онъ все улыбался своей безконечно-кроткой улыбкой...

Семка, надутый, взъерошенный и угрюмый, серьезно сказалъ ему, когда онъ кончилъ свою Одиссею:

- Умри ты лучше, пень милый! А то завтра тебя съ такими твоими выкрутасами мухи али тараканы съёдять...
- Ну ужъ! Ты скажешь слово. Дава-ко выпьемте по стакашку... за окончание дъла!

И мы дружно выпили по стакашку за окончаніе этого курьезнаго дъла.



DECHAO COKOJE.

(1896.)

Море дремлеть.

Огромное, лъниво вздыхающее здъсь у берега, оно уже уснуло и неподвижно вдали, облитой голубымъ сіяніемъ луны. Бархатисто-мягкое и черное, оно слилось тамъ съ синимъ южнымъ небомъ и кръпко спитъ, отражая въ себъ прозрачную ткань перистыхъ облаковъ, неподвижныхъ и не скрывающихъ собою золотыхъ узоровъ звъздъ. Кажется, что небо все ниже наклоняется надъ моремъ, желая понять то, о чемъ шепчутъ неугомонныя волны, сонно всползая на берегъ.

Горы, поросшія деревьями, фантастически изогнутыми нордъ-остомъ, ръзкими взмахами подняли свои вершины въ синюю пустыню надъ ними, и сухіе, суровые контуры ихъ округлились, одътые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно-задумчивы. Съ нихъ на пышные зеленоватые гребни волнъ упали черныя твии и одвають ихъ, какъ бы желая остановить это единственное движеніе и заглушить немолчный плескъ воды и вздохи пвиы,—всв звуки, которые нарушають тайную тишину, разлитую вокругь вмёстё съ голубымъ серебромъ сіянія луны, еще скрытой за горными вершинами.

- А-ала-ахъ-а-акбаръ!...-тихо вздыхаетъ Надыръ-

Рагимъ-Оглы, старый крымскій чабанъ, всегда минорно настроенный, высокій, съдой, сожженный южнымъ солицемъ, сухой и мудрый старикъ.

Мы съ нимъ лежимъ на пескъ у громаднаго камня, оторвавшагося отъ родной ему горы, одътаго тънью, поросшаго мхомъ и такого печальнаго, хмураго. На тотъ его бокъ, который обращенъ къ морю, волны набросали тины и водорослей, обвъщанный ими камень кажется привязаннымъ къ узкой песчаной полоскъ, отдъляющей море отъ горъ. Пламя нашего костра освъщаеть его со стороны, обращенной къ горъ, оно вздрагиваеть, и по старому камню, изръзанному часто сътью глубокихъ трещинъ, бъгають тъни. Онъ кажется думающимъ и чувствующимъ...

Мы съ Рагимомъ варимъ уху изъ только-что наловленныхъ бычковъ и оба находимся въ томъ исключительномъ настроеніи, когда все кажется призрачнымъ, одухотвореннымъ, позволяющимъ проникать въ себя, когда на сердцъ такъ чисто, легко и нътъ иныхъ желаній, кромъ желанія думать.

А море ластится къ берегу, и волны звучать такъ меланхолично-ласково, точно просять погръться къ костру. Иногда въ общей гармоніи плеска слышится болье повышенная и такая шаловливо-коварная нота— это одна изъ волнъ посмълъе подползла ближе къ намъ. Рагимъ уже сравнилъ волны съ женщинами и заподозрилъ ихъ въ желаніи обнять и расцъловать насъ.

Онъ лежить грудью на пескъ, головой къ морю, и вдумчиво смотрить въ мутную даль, опершись локтями и положивъ голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съъхала ему на затылокъ, и съ моря въетъ свъжестью въ его высокій лобъ, весь въ мелкихъ морщинахъ. Онъ философствуеть, не справляясь, слушаю ли я его, и не обращая на меня ни малъйшаго вниманія, точно онъ говорить съ моремъ:

- "Върный Богу человъкъ идетъ въ рай. А кото-

рый не служить Богу и пророку? Можеть, онъ воть въ этой пънъ... И тъ серебряныя пятна на водъ, можеть, онъ же... кто знаетъ?"

Темное, могуче размахнувшееся море свътлъеть, мъстами на немъ появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла изъ-за мохнатыхъ вершинъ горъ и теперь задумчиво льетъ свой свътъ на море, тихо вздыхающее ей навстръчу.

- Рагимъ!... Разскажи сказку...-прошу я старика.
- Зачъмъ?—спрашиваетъ Рагимъ, не оборачиваясь ко мнъ.
 - Такъ! Я люблю твои сказки.
 - Я тебъ всъ ужъ разсказалъ... Больше не знаю... Это онъ хочеть, чтобы я попросиль его. Я прошу.
- Хочешь, я разскажу тебъ пъсню?—соглашается Рагимъ.

Я хочу слышать старую пъсню, и онъ унылымъ речитативомъ, стараясь сохранить своеобразную степную мелодію пъсни и страшно коверкая русскія слова, разсказываеть.

I.

"Высоко въ горы вползъ Ужъ и легъ тамъ въ сыромъ ущельт, свернувшись въ узелъ и глядя въ море.

"Высоко въ небъ сіяло солнце, и горы зноемъ дышали въ небо, и бились волны внизу о камень...

"И по ущелью, во тьмъ и въ брызгахъ, потокъ стремился навстръчу морю, скача чрезъ камни.

"Весь въ бълой пънъ, съдой и сильный, онъ ръзалъ гору и падалъ въ море, сердито воя.

"Вдругъ въ то ущелье, гдъ Ужъ свернулся, палъ съ неба Соколъ съ разбитой грудью, въ крови на перьяхъ...

"Съ короткимъ крикомъ онъ палъ на землю и бился грудью въ безсильномъ гнъвъ о твердый камень...

"Ужъ испугался, отползъ проворно, но скоро понялъ, что жизни птицы двъ-три минуты...

"Подползъ онъ ближе къ разбитой птицъ и прошипълъ онъ ей прямо въ очи:

- "Что, умираешь?
- "Да, умираю!—отвътилъ Соколъ, вздохнувъ глубоко.—Я славно пожилъ!... Я знаю счастье!... Я храбро бился!... Я видълъ небо... Ты не увидишь его такъ близко!... Эхъ, ты, бъдняга!
- "Ну, что же небо?—пустое мъсто... Какъ мнъ тамъ ползать? Мнъ здъсь прекрасно... тепло и сыро!

"Такъ Ужъ отвътилъ свободной птицъ и усмъхнулся въ душъ надъ нею за эти бредни.

"И такъ подумалъ: "летай иль ползай, конецъ извъстенъ: всъ въ землю лягуть, все прахомъ будетъ..."

"Но Соколъ смълый вдругъ встрепенулся, привсталъ немного и по ущелью повелъ очами.

"Сквозь сърый камень вода сочилась, и было душно въ ущельъ темномъ и пахло гнилью.

"И крикнулъ Соколъ съ тоской и болью, собравъ всъ силы:

— "О, если бъ въ небо хоть разъ подняться!... Врага прижалъ бы я... къ ранамъ груди и... захлебнулся бъ моей онъ кровью!... О, счастье битвы!...

"А Ужъ подумалъ: "должно быть, въ небъ и въ самомъ дълъ пожить пріятно, коль онъ такъ стонеть!"...

"И предложилъ онъ свободной птицъ: "А ты подвинься на край ущелья и внизъ бросайся".

"Быть можеть, крылья тебя поднимуть и поживешь еще немного въ твоей стихіи.

"И дрогнулъ Соколъ и, слабо крикнувъ, пошелъ къ обрыву, скользя когтями по слизи камня.

"И подошель онъ, расправиль крылья, вздохнуль всей грудью, сверкнуль очами и внизь скатился.

"И самъ, какъ камень, скользя по скаламъ, онъ быстро падалъ, ломая крылья, теряя перья...

"Волна потока его схватила и, кровь омывши, одъла въ пъну, умчала въ море.

"А волны моря съ печальнымъ ревомъ о камень бились... И трупа птицы не видно было въ морскомъ пространствъ...

II.

"Въ ущельи лежа, Ужъ долго думалъ о смерти птицы, о страсти къ небу.

"И вотъ взглянулъ онъ въ ту даль, что въчно ласкаеть очи мечтой о счастьъ.

— "А что онъ видълъ, умершій Соколъ, въ пустынъ этой безъ дна и края? Зачъмъ такіе, какъ онъ, умерши, смущають душу своей любовью къ полетамъ въ небо? Что имъ тамъ ясно? А я въдь могъ бы узнать все это, взлетъвши въ небо хоть не надолго.

"Сказалъ и — сдълалъ. Въ кольцо свернувшись, онъ прянулъ въ воздухъ и узкой лентой блеснулъ на солнцъ.

"Рожденный ползать—летать не можеть!... Забывъ объ этомъ, онъ палъ на камни, но не убился, а разсмъялся...

— "Такъ воть въ чемъ прелесть полетовъ въ небо! Она—въ паденьи!... Смѣшныя птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, онѣ стремятся высоко въ небо и ищуть жизни въ пустынѣ знойной. Тамъ только пусто. Тамъ много свѣта, но нѣтъ тамъ пищи и нѣтъ опоры живому тѣлу. Зачѣмъ же гордость? Зачѣмъ укоры? Затѣмъ, чтобъ ею прикрыть безумство своихъ желаній и скрыть за ними свою негодность для дѣла жизни? Смѣшныя птицы!... Но не обманутъ теперь ужъ больше меня ихъ рѣчи! Я самъ все знаю! Я—видѣлъ небо... Взлеталъ въ него я, его измѣрилъ, позналъ паденье, но не разбился, а только крѣпче въ себя я вѣрю. Пусть тѣ, что землю любить не могутъ, живутъ обманомъ... Я знаю правду.

И ихъ призывамъ я не повърю. Земли творенье—землей живу я.

"И онъ свернулся въ клубокъ на камив, гордясь собою.

"Блестъло море все въ яркомъ свътъ, и грозно волны о берегъ бились.

"Въ ихъ львиномъ ревъ гремъла пъсня о гордой птицъ, дрожали скалы отъ ихъ ударовъ, дрожало небо отъ грозной пъсни:

"Безумству храбрыхъ поемъ мы славу!

"Безумство храбрыхъ — вотъ мудрость жизни! О смълый Соколъ! Въ бою съ врагами истекъ ты кровью... Но будетъ время—и капли крови твоей горючей, какъ искры, вспыхнутъ во мракъ жизни и много смълыхъ сердецъ зажгутъ безумной жаждой свободы, свъта!

"Пускай ты умеръ!... Но въ пъснъ смълыхъ и сильныхъ духомъ всегда ты будешь живымъ примъромъ, призывомъ гордымъ къ свободъ, къ свъту!

"Безумству храбрыхъ поемъ мы пъсню!..."

...Молчить опаловая даль моря, меланхолично плещуть волны на песокъ, и я молчу, глядя на Рагима, кончившаго разсказывать морю пъсню о Соколъ. На водъ все больше серебряныхъ пятенъ оть лунныхъ лучей... Нашъ котелокъ тихо закипаетъ.

Одна изъ волнъ игриво вскатывается на берегъ и, вызывающе шумя, ползеть къ головъ Рагима.

-- Куда идешь?... Пшла!—машеть на нее Рагимъ рукой, и она покорно скатывается обратно въ море.

Мит нимало не смтина и не страшна выходка Рагима, одухотворяющаго волны. Все кругомъ смотритъ странно-живо, мягко, ласково. Море такъ внушительно спокойно, и чувствуется, что въ свтжемъ дыханіи его на горы, еще не остывшія отъ дневного зноя, скрыто

много мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотымъ узоромъ звъздъ написано нъчто торжественное, чарующее душу, смущающее умъ сладкимъ ожиданиемъ какого-то откровенія.

Все дремлеть, но дремлеть напряженно-чутко, и кажется, что воть въ слъдующую секунду все встрепенется и зазвучить въ стройной гармоніи неизъяснимо сладкихъ звуковъ. Эти звуки разскажуть про тайны міра, разъяснять ихъ уму, а потомъ погасять его, какъ призрачный огонекъ, и увлекуть съ собой душу высоко въ темно-синюю бездну, откуда навстръчу ей трепетные узоры звъздъ тоже будуть звучать дивной музыкой откровенія...



HA DIOTAXB.

(1896.)

ſ

...Грузныя тучи медленно ползуть надъ сонной рѣкой; кажется, что онъ спускаются все ниже и ниже; кажется, что вдали ихъ сърые лохмотья коснулись поверхности быстрыхъ и мутныхъ весеннихъ волнъ, и что тамъ, гдъ они коснулись воды—встала до небесъ непроницаемая стъна облаковъ, заградившая собою теченіе ръки и путь плотамъ.

И волны безуспъшно, подмывая эту стъну, быются о нее съ тихимъ, жалобнымъ рокотомъ, быются и, отброшенныя ею, разбъгаются вправо и влъво, гдъ лежить сырая тыма весенней свъжей ночи.

Но плоты плывуть впередъ, и даль отодвигается предъ ними въ пространство, полное тяжелыхъ облачныхъ массъ.

Береговъ не видать—ихъ скрыла ночь и оттолкнули куда-то широкія волны разлива.

Ръка—какъ море. И небо надъ нею, все окутанное облаками, тяжело, сыро и скучно.

Ни воздуха, ни яркихъ красокъ нѣть въ этой сѣрой и мутной картинѣ. Плоты скользять по водъ быстро и безшумно, а навстръчу имъ изъ тьмы выдвигается пароходъ, выбрасывая изъ трубы веселую толпу искръ и глухо ударяя по водъ плицами колесъ...

Два красныхъ фонаря на отводахъ все увеличиваются; становятся ярче, а фонарь на мачтъ тихо покачивается изъ стороны въ сторону и таинственно подмигиваетъ тьмъ.

Пространство наполнено шумомъ разбиваемой воды и тяжелыми вздохами машины.

— По-оглядывай!—раздается на плотахъ сильный грудной окликъ.

У рулевыхъ веселъ, въ хвостѣ плота, стоятъ двое: Митя—сынъ сплавщика, русый, хилый, задумчивый парень лѣтъ 22-хъ, и Сергѣй—работникъ, хмурый, здоровый дѣтина въ рыжей бородѣ; изъ ея рамки выдаются крѣпкіе, крупные зубы, не закрытые верхней губой, насмѣшливо вздернутой кверху.

- Клади лъво!—снова сотрясаеть тьму громкій крикъ спереди плотовъ.
- Знамъ и сами! чего орешь?—недовольно ворчить Сергъй и, вадыхая, наваливается грудью на весло.
 - О-ухъ! Вороти кръпчае, Митюкъ!

Митрій, упираясь ногами въ сырыя бревна, тянетъ `къ себъ тонкими руками тяжелую жердь—руль и хрипло кашляетъ.

- Гни!... бери лъвъй!... черти, дьяволы! кричатъ спереди тревожно и озлобленно.
- Ори! Твой-то чахлый сынъ соломину о кольно не переломить, а ты его на руль ставишь, да и орешь потомъ на всю ръку. Жаль было еще работника нанять кощею-снохачу. Ну, и рви теперь глотку-то!...

Сергъй ворчить уже громко, очевидно, не опасаясь, что его услышать, и даже какъ бы желая этого...

Пароходъ мчится мимо плотовъ, съ ропотомъ виметывая изъ-подъ колесъ пънистыя волны. Бревна рас-

качиваются на водъ, и скрученныя изъ сучьевъ связи скрипять жалобнымъ и сырымъ звукомъ.

Освъщенныя окна парохода смотрять на ръку, и плоты, какъ рядъ огненныхъ глазъ, отражаются на взволнованной водъ свътлыми, трепещущими пятнами и исчезають.

Волны сильно плещуть на плоты, брёвна прыгають, и Митрій, покачиваясь на ногахъ, кръпко прижимается къ рулю, боясь упасть.

— Ну, ну!—насмышливо урчить Сергый,—заплясаль. Воть отець-то гарнеть тебы опять... А то пойдеть, да всадить тебы въ бокъ-то раза, тогда не такъ запляшешь! Бери право! Ой—ну! О, о!...

И упругими, какъ стальныя пружины, руками Сергъй мощно ворочаеть свое весло, глубоко разрывая имъ воду...

Энергичный, высокій, немного злой и насмѣшливый, онъ стоить такъ, точно приросъ къ бревнамъ босыми ногами, и въ сильно напряженной позъ, готовый каждую секунду поворотить плоты, зорко смотритъ впередъ.

- Ишь, отецъ-то у тебя какъ обнимать Марьку-то! Ну-ну, и дьяволы же! Ни стыда, ни совъсти! И чего ты, Митряй, не уйдешь куда отъ нихъ, чертей поганыхъ?... а? Слышь, что ли?
- Слышу!—вполголоса говорить Митрій, не глядя туда, гдъ Сергъй, сквозь тьму, видить его отца.
- Слышу-у! Эхъ, ты, тюря! дразнится Сергъй и иронически хохочеть.
- Дъла!—продолжаетъ онъ, подзадориваемый апатіей Митрія. Ну, и старикъ чортъ! Женилъ сына, отбилъ сноху и—правъ! Старый галманъ!

Митрій молчить и смотрить назадъ по ръкъ, гдъ тоже образовалась стъна густыхъ облаковъ.

Теперь облака везд'в, и кажется, что плоты не плывуть, а неподвижно стоять въ этой густой и черной вод'в, подавленной тяжелыми темно-с'врыми грудами

тучъ, упавшими въ нее съ неба и заградившими ей путь.

Ръка кажется бездоннымъ омутомъ, со всъхъ сторонъ окруженнымъ горами, высокими до неба и одътыми густымъ покровомъ тумана.

Кругомъ—томительно тихо, и вода точно ждетъ чегото, уже слабо поплескивая на плоты. Много грусти, и какой-то робкій вопросъ слышится въ этомъ бѣдномъ звукѣ, единственномъ среди ночи и еще болѣе оттѣняющемъ ея тишину...

— Вътру бы теперь дунуть... — говорить Сергъй. — Нъть, не надо вътру — потому онъ дождя нагонить, — возражаеть онъ самъ себъ и начинаеть набивать трубку, покряхтывая.

Вспыхиваеть спичка, слышно хрипъніе въ засоренномъ чубукъ, и красный огонекъ, то разгораясь, то угасая, освъщаеть какъ бы ныряющее во тымъ широкое лицо Сергъя.

- Митрій!—раздается его голосъ. Теперь онъ менъе угрюмъ и въ немъ яснъе звучить смъшливая нота.
- А?—вполголоса отвъчаетъ Митрій, не отводя глазъ изъ дали, гдъ онъ пристально разсматриваетъ что-то своими большими и грустными глазами.
 - Какъ же это, братъ ты мой, а?
 - Чего?-отзывается Митрій недовольно.
- Женился-то?! Смъхи! Какъ это было-то? Ну, пошли вы, значить, съ женой спать? Ну, какъ же?! Ха, ха, ха!
- Эй, вы! Ржете тамъ! По-оглядыва-ай!—угрожающе пронеслось надъ ръкой.
- Ишь, реветь, снохачь анавемскій!—съ восхищеніемь отмъчаеть Сергъй и снова возвращается къ интересующей его темъ.
 - Ну, скажи, что ли? Мить! Скажи ужъ, чай! а?
 - Отстань, Серега!-говориль ужъ въдь! проси-

тельно шепчеть Митрій; но, должно быть, зная, что оть Сергъя не отвяжешься, торопливо начинаеть:

- Ну, пришли мы спать. Я и говорю ей: не могу, моль, я мужевать съ тобой, Марья. Ты дъвка здоровая, я человъкъ больной, хилый. И совсъмъ, молъ, я жениться не желалъ, а батюшка, молъ, силкомъ меня—женись, говоритъ, да и все! Я, молъ, вашу сестру не люблю, а тебя больше всъхъ. Бойка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимашь... Пакость одна, да гръхъ... Дъти тоже... За нихъ отвътъ Богу дать надо...
- Пакость!—взвизгиваеть Сергъй и громогласно хохочеть.—Ну, и что жъ она, Марька-то? а?
- Ну... Что же, говорить, мив двлать теперь? Плачеть сидить. Чвмъ, говорить, я тебв не по сердцу? Али, говорить, я уродина какая? Безстыдница она, Серега!... и злая. Что же, говорить, мив съ моимъ здоровьемъ къ свекру что ли идти? Я говорю: какъ хошь, молъ... Куда хошь иди. Мив, молъ, супротивъ души невозможно поступить... Любовь кабы была! А такъ—что же? Двдушка Иванъ говорилъ смертный грвхъ это двло. Скоты мы съ тобой, что ли, молъ? Плачеть все. Загубили, говорить, мою дввичью красоту. Жалко ее было мив. Ничего, молъ, какъ-нибудь обойдесся. А то, молъ, въ монастырь иди. Она ругаться: дуракъ ты, говорить, Митька, подлецъ...
- A, б-батюшки!—восхищеннымъ шопотомъ шипитъ Сергъй.—Такъ ты ей и откололъ—въ монастырь?
 - Такъ и сказалъ!--просто говорить Митя.
 - А она тебя—дуракомъ?—повышаеть тонъ Сергъй.
 - Да... обругала.
- За дъло, братъ! А-ахъ и за дъло! Вздуть бы еще надо!—вдругъ мъняетъ тонъ Сергъй. Теперь онъ говорить строго и внушительно.
- Развѣты можешь супротивъ закону идти? А ты пошель! Установлено—ну, значить, и шабашъ! Не моги

спорить. А ты на-ко-ся! Экъ выворотиль корягу. Въ монастырь! Дурья голова! Въдь дъвкъ-то что надо? Али монастырь? Ну, и люди нынче! Ты подумай — что вышло? Самъ ты ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку, дъвку погубиль... полюбовницей стариковой стала — старика во гръхъ снохаческій ввель. Сколько ты закона нарушиль? Го-олова!

- Законъ-то, Сергъй, въ душъ. Одинъ законъ про всъхъ: не дълай такого, что противъ души твоей, и никакого ты худа на землъ не сдълаешь,—тихо и умиротворяюще проговорилъ Митрій, тряхнувъ головой.
- А ты воть сдълалъ!—энергично возразилъ Сергъй.—Въ душъ! Экъ тоже... Мало ли что въ душъ-то есть. Всему запрета не полагать—нельзя. Душа, душа... Ее, брать, понимать надо, а потомъ ужъ и того...
- Нътъ, ты это не такъ, Сергъй! горячо заговорилъ Митрій, точно вспыхнулъ вдругъ. —Душа-то, братъ, всегда чиста, какъ росинка. Въ скорлупкъ она, вотъ что! Глубоко она. А коли ты къ ней прислушаешься, такъ не ошибешься. Всегда по-божески будетъ, коли по душъ сдълано. Въ душъ въдь Богъ-то, и законъ, значитъ, въ ней. Богомъ она создана, Богомъ въ человъка вдунута. Нужно только въ нее заглянутъ умътъ. Нужно только не жалъючи себя...
- Эй, вы! Деймоны сонные! Гляди въ оба!—раскатисто загремъло и поплыло по ръкъ.

По силь звука чувствовалось, что кричить человыкь здоровый, энергичный, довольный собой, человыкь съ большой и ясно сознанной имъ жизнеспособностью-Кричалось не потому, что окрикъ быль вызванъ силав. щиками, а потому, что душа была полна чымъ-то радостнымъ и сильнымъ, и оно — это радостное и сильное—просилось вонъ, на волю, и вотъ—вырвалось въ этомъ гремящемъ, энергичномъ звукъ.

- Ишь, какъ тявкнуль, старый чортъ!-съ удоволь-

ствіемъ отмѣтилъ Сергѣй и зорко посмотрѣлъ впередъ, усмѣхаясь.

- Милуются голубки! Завидно не бывать, Митька? Митрій равнодушно посмотръль туда, къ переднимъ весламъ, гдъ, работая, двъ человъческія фигуры перебъгали по плотамъ справа налъво и, останавливаясь близко другъ къ другу, иногда сливались въ одну плотную, темную массу.
 - Не завидно, молъ?—повторилъ Сергъй.
- Что миъ? Ихъ гръхъ—ихъ отвъть,—тихо сказаль Митя.
- Та-акъ!—иронически протянулъ Сергви и подложилъ табаку въ трубку. Снова во тьмв заблествлъ красный огонекъ.

А ночь становилась все гуще, и сърыя тучи, черныя, все ниже спускались надъ тихой, широкой ръкой.

— Гдѣ жъ это ты, Митрій, нахваталь такой мудрости великой, а? Али ужъ у тебя это врожденная? Не въ отца ты, братокъ. Герой у тебя отець-оть. Смотри-ка—52 ему, а онъ какую кралечку милуеть! Сокъ одинъ баба. И любить она его,—что ужъ туть! Любить, брать. Нельзя не любить козыря такого. Король козырей, бардадынъ отецъ-оть у тебя. Работаеть—любо глядѣть, достатокъ большой; почета—хошь отбавляй, и голова на мѣстѣ. Н-да. А ты воть ни въ мать, ни въ отца. Мить? А что бы отецъ-оть сдѣлаль, кабы покойница Анеиса жива была? Чудно! Посмотрѣлъ бы я, какъ она его... Тоже баба была—бой, матка-то твоя... Подъ пару Силану-то.

Митрій молчаль, облокотясь на весло и глядя въ воду.

Сергъй тоже замолчалъ. Спереди плотовъ доносился звонкій женскій смъхъ. Ему вторилъ басовитый смъхъ мужчины. Затканныя мілой ихъ фигуры были еле видны Сергъю, съ любопытствомъ и зорко смотръвшему на нихъ сквозь тьму. Можно было видъть, что мужчина

Digitized by Google

высокъ и стоить у весла, широко разставивъ ноги, въ полъ-оборота къ кругленькой, маленькой женщинъ, прислонившейся грудью къ другому веслу саженяхъ въ полутора отъ перваго. Она грозитъ мужчинъ пальцемъ, разсыпчато и задорно посмъиваясь. Сергъй отвернулся со вздохомъ сокрушенія и, сосредоточенно помолчавъ, заговорилъ опять:

- Эхма! И ладно же имъ тамъ. Мило! Мнъ бы вотъ такъ-то бобылю—шаталъ! Ни въ жисть бы отъ такой бабы не ушелъ! Эхъ, ты! Такъ бы все и мялъ ее въ рукахъ, не выпускалъ. На, чувствуй, какъ люблю... Чортъ-те! Не везетъ вотъ мнъ на бабу... Не любятъ, видно, бабы рыжихъ-то. Н-да. Капризная она —баба эта... А шельма! Жадна житъ. Митя! Эй, спишь?
 - Нътъ, —тихо отвътилъ Митя.
- То-то! Какъ же ты, брать, жизнь проходить будешь! Въдь ежели говорить правду—одинъ ты, какъ перстъ. Тяжело! Куда жъ ты себя теперь опредълишь? Житья тебъ настоящаго на людяхъ не найти. Смъшонъ больно. Али это человъкъ, который постоять за себя не умъеть! Нужно, брать, зубы да когти. Всякій тебя будеть забиждать. Рази ты можешь оборониться? Чъмъ тебъ оборониться? Эхэ-хэ! Чуденъ! Куда жъ ты?
- Я-то?—вновь встрепенулся Митя. Я уйду. Я, брать, осенью нынь-—на Кавказь и—кончено! Господи! Только бы скорье оть вась! Бездушные! Безбожные вы всь люди, бъжать оть вась—одно спасенье! Зачьмь вы живете? Гдь у вась Богь? Слово у вась одно... Али вы во Христь живете? Эхъ вы, волки вы! А тамъ иные люди, живы души ихъ во Христь, и сердца ихъ содержать любовь и о спасеніи міра страждуть. А вы? Эхъ, вы! Звъри, пакость рыкающіе. Есть иные люди. Видъль я ихъ. Звали меня. Къ нимъ и уйду. Книгу святого Писанія принесли мнъ они. Читай, говорить, человъкъ Божій, брать нашъ любезный, читай слово истипно... И читаль я, и обновилась душа моя отъ

слова Божія. Уйду. Брошу вась, волки безумные;—оть плоти другь друга питаетесь вы. Анаеема вамъ!

Митрій говориль это страстнымь шопотомь и задыхался оть переполнявшаго его чувства презрительной злобы къ безумнымь волкамь и оть жажды тъхъ людей, души которыхь мыслять о спасеніи міра.

Сергъй былъ ошеломленъ. Онъ помолчалъ, широко открывъ ротъ и держа въ рукъ свою трубку, подумалъ, оглянулся кругомъ и изрекъ густымъ и угрюмымъ голосомъ:

— Ишь, какъ взъълся!.. Злой тоже. Напрасно чёлъ книгу-то. Кто ё знаеть, какая тамъ она? Ну... вали, вали, утекай, а то совсъмъ испортиться можешь. Айда! бъги, пока не озвърълъ совсъмъ... А что жъ это за люди тамъ на Кавказъ? Монахи? Аль, можеть, старовъры? Они молоканы что ли? а?

Но Митрій потухъ уже такъ же быстро, какъ и вспыхнулъ. Онъ ворочалъ весломъ, задыхаясь отъ усилій, и что-то шепталъ быстро и нервно.

Сергъй долго ждалъ его отвъта и не дождался. Его здоровую, несложную натуру давила эта мрачная, мертвенно-тихая ночь, ему хотълось напомнить себъ самому о жизни, будить эту тишину звуками и всячески тревожить и вспугивать это притаившееся созерцательное молчаніе тяжелой массы воды, медленно лившейся въ море, и уныло застывшія въ воздухъ неподвижныя груды облаковъ. На томъ концъ плота жили и его возбуждали къ жизни.

Оттуда то и дѣло долеталъ то тихій, довольный смѣхъ, то отрывочныя восклицанія, стушеванныя тишиной и тьмой этой ночи, полной запаха весны, возбуждавшаго горячее желаніе жить.

— Брось, Митрій, куда воротишь? Ругнеть старикъто, смотри,—зам'тиль онъ, наконець, не вынося бол'ве молчанія и видя, что Митрій безц'яльно буравить воду весломъ. Митрій остановился, отеръ вспотъвшій лобъ и замерь, прислонясь грудью къ веслу и тяжело дыша.

— Мало сегодня пароходовъ, чего-то... Кой часъ плывемъ, а всего одинъ встрътился.

И видя, что Митрій не собирается отвътить на это замъчаніе, Сергьй резонно объясниль самъ себъ:

- Это нотому, что навигація еще не открылась. Начинается только еще. А живо мы сплывемъ въ Казаньто—здорово тащить Волга. Хребеть у нея богатырскій—все подниметь. Ты чего стоишь? Осерчаль, что ли, а? Мить? Эй!
 - Ну, что?-недовольно спросилъ Митрій.
- Ничего, чудакъ человъть... Чего, молъ, молчишь? Думаешь все? Брось. Вредно это человъку. Эхъ, ты, мудрецъ, мудришь ты, мудришь, а что разума-то у тебя нъть, это тебъ и невдомекъ! Ха, ха!

И Сергъй, посмъявшись, въ сознани своего превосходства кръпко крякнулъ, помолчалъ, засвисталъ было, но оборвалъ свисть и продолжалъ развивать свою мысль далъе.

- Думы! Ха! Али это для простого человъка занятіе? Вонъ, глянь-ко, отецъ-отъ твой не мудрить—живеть. Милуетъ твою жену, да подсмъивается съ ней надъ тобой, дуракомъ мудрымъ. Такъ-то! Чу, какъ они? Ахъ, ты, дуй ихъ горой! Поди, уже беременна Марькато! Не бойсь, не въ тебя дите-то будетъ. Такой же, надо полагать, ухарь, какъ и самъ Силанъ Петровъ. А твоимъ въдь зачислится ребенокъ-то. Дъла! Ха, ха! "Тятька",—скажетъ тебъ. А ты ему, значить, не тятька, а братъ будешь. А тятька-то у него—дъдушка! Эхъ, ты, ловко! Эки пакостники! А удальцы народы! а? Такъ въдь, Митя?
- Сергъй! раздался страстный, взволнованный, чуть не рыдающій шопоть. Христа-ради прошу, не рви ты мою душу, не жги меня, отстань! Молчи! Христомъ-Богомъ прошу, не говори со мной, не растравляй меня, не соси мою кровь. Брошусь въ ръку я, гръхъ ляжетъ

на тебя большой! Душу мою загублю я, не трошь ты меня! Богомъ кляну—прошу!...

Тишину ночи разорвальбользненно-визгливый вопль, и Митрій, какъ стояль, опустился на брёвна, точно его пришибло что-то тяжелое, упавшее на него сверху изъ угрюмыхъ тучъ, нависшихъ надъ черной ръкой.

- Ну, ну!—боязливо заворчалъ Сергъй, поглядывая, какъ его товарищъ метался по бревнамъ, точно обожженный огнемъ.
- Чудакъ человъкъ! Этакій чудакъ... сказалъ бы, чай... коли не тово тебъ... не этово...
- Всю дорогу ты мучишь меня... за что? Ворогь я тебъ? а? ворогъ?—горячо шепталъ Митя...
- Чудакъты, брать! Ахъ, какой чудакъ!—смущенно и обиженно бормоталъ Сергъй.—Рази я зналъ что? Мнъ твоя душа невъдома, чай!
- Забыть я хочу это, пойми! Забыть на всю жизнь! Позоръ мой... мука лютая... Свирёные вы люди! Уйду я! Навёкъ уйду... Не въ мочь мнё...
- Да уходи!...—гаркнулъ Сергъй на всю ръку, подкръпилъ восклицаніе громоподобнымъ циничнымъ ругательствомъ и сразу осъкся, какъ-то съежился и присълъ, очевидно, тоже подавленный развернувшейся предъ нимъ душевной драмой, не понимать которой теперь онъ не могъ уже.
- Эй вы! Вамъ оруть! Оглохли, что ль!?—носился надъ ръкой голосъ Силана Петрова.—Что у васъ? Чего лаете? а-эй!

Должно быть, Силану Петрову нравилось шумъть на ръкъ среди тяжелаго молчанія своимъ густымъ и кръпкимъ басомъ, полнымъ мощнаго здоровья. Окрики слились одинъ за другимъ, сотрясая воздухъ, теплый и сырой, подавляя своей жизненной силой тщедущную фигуру Митрія, уже снова стоявшаго у весла. Сергъй, во всю мочь отвъчая хозяину, въ то же время вполголоса ругалъ его кръпкой и соленой русской руганью.

Два голоса рвали тишину ночи, будили ее, встряхивали и то сливались въ одну густую ноту, сочную, какъ звукъ большой мъдной трубы, то, возвышаясь до фальцета, плавали въ воздухъ, гасли и гибли. Потомъснова стало тихо.

Сквозь разрывъ въ тучахъ на темную воду пали желтыя пятна лунныхъ лучей и, посверкавъ съ минуту, исчезли, стертыя сырой тьмой.

Плоты плыли дальше посреди тьмы и молчанія.

П.

У одного изъ переднихъ веселъ стоялъ Силанъ Пстровъ, въ широкой красной рубахѣ съ разстегнутымъ воротомъ, обнажившимъ его могучую шею и волосатую, прочную, какъ наковальня, грудь. Шапка сивыхъ волосъ нависла ему на лобъ, и изъ-подъ нея усмѣхались большіе, горячіе каріе глаза. По локоть засученные рукава рубахи обнажали жилистыя руки, крѣпко державшія весло, и, немного подавшись корпусомъ впередъ, Силанъ что-то зорко высматривалъ въ густой тьмѣ дали.

Марька стояла въ трехъ шагахъ отъ него, къ теченію бокомъ, и съ довольной улыбкой поглядывала на широкогрудую фигуру милаго. Оба молчали, занятые наблюденіемъ: онъ—за далью, она—за игрой его живого бородатаго лица.

- Костеръ рыбацкій, должно!—поворотился онъ къ ней лицомъ.—Ничего. Держимъ прямо!—О-охъ!—выдохнулъ онъ изъ себя цълый столбъ горячаго воздуха, ровно ударивъ весломъ влъво и мощно проводя имъ по водъ.
- Не натужься больно-то, Машурка!—зам'тиль онъ, видя, что и она д'влаеть тоже ловкое движеніе своимъ весломъ.

Кругленькая, полная, съ черными бойкими глазами и румянцемъ во всю щеку, босая, въ одномъ мокромъ сарафанъ, приставшемъ къ ея тълу и ясно обрисовывавшемъ его,—она повернулась къ Силану лицомъ и, ласково улыбаясь, сказала:

- Ужъ больно ты бережешь меня. Чай, я слава-те Госноди!
- Цълую—не берегу!—передернулъ плечами Силанъ.
 - И не слъдъ!--вызывающе прошептала она.

И оба они замолчали, оглядывая другь друга жадными взглядами.

Подъ плотами мелодично журчала вода. Справа, далеко гдъ-то, запъли пътухи.

Чуть замътно колыхаясь подъ ногами, плоты плыли впередъ, туда, гдъ тьма уже ръдъла и таяла, а облака принимали болъе ръзкія очертанія и свътлые оттънки.

. — Силанъ Петровичъ! Знаешь, чего они тамъ визжали? Я знаю, право-слово, знаю! Это Митріп жалился на насъ Сережкъ, да и проскулилъ такъ-то жалобно съ тоски, а Сережка-то и ругнулъ насъ.

Марья пытливо уставилась въ лицо Силана, теперь, послъ ея словъ—суровое и холодно-упрямое.

- Ну, такъ что?--коротко спросилъ онъ.
- Такъ, молъ. Ничего.
- А коли ничего, такъ и говорить было нечего.
- Да ты не серчай!
- На тебъ-то? И радъ бы иной разъ, да не въ силу.
- Любишь Машку? шаловливо прошептала она, наклонясь къ нему.
- Э-эхъ!—выразительно крякнулъ Силанъ и, протянувъ къ ней свои сильныя руки, сквозь зубы сказалъ:
 - Иди что ли... Не задорь...

Она изогнулась, какъ кошка, и мягко прильнула къ нему.

- Опять собьемъ плоты-то!—шепталъ онъ, цълуя ея лицо, горъвшее подъ его губами.
 - Будеть ужъ! Свътаеть... Видно насъ съ того конца.

И кивнувъ головой въ задъ плотовъ, она попыталась оттолкнуться отъ него. Но онъ еще кръпче прижаль ее одной рукой, а другой взяль за руль.

— Видно? Пускай видять! Пускай всв видять! Плюю на всвхъ. Грвхъ двлаю, точно. Знаю. Ну-къ что жъ? Подержу отвътъ Господу. А все жъ таки женой ты его не была. Свободная, стало быть, ты сама своя... Тяжко ему? Знаю. А мнъ? Али снохачомъ быть лестно? Хоть оно, положимъ, ты не жена ему... А все жъ! Съ моимъто почетомъ—каково мнъ теперь? А передъ Богомъ не гръхъ? Гръхъ! Все знаю! И все преступилъ. Потому—стоить! Одинъ разъ на свътъ-то живутъ, и кажинный день умереть можно. Эхъ, Марья! Мъсяцъ бы мнъ одинъ погодить Митьку-то женить! Ничего бы этого не было. Сейчасъ бы послъ смерти Анеисы сватовъ я къ тебъ заслалъ—и шабашъ! Въ законъ. Безъ гръха, безъ стыда. Ошибка моя была. Сгрызетъ она мнъ лътъ пятокъ—десятокъ, ошибка эта. Умрешь отъ нея раньше смерти...

Силанъ Петровъ говорилъ спокойно, ръшительно, и на его энергичномъ лицъ отражалось желъзное упорство, точно онъ сейчасъ вотъ собирался отстаивать предъ къмъ-то свое право любить.

— Ну, ладно, брось, не тревожь себя. Было говорено про это неразъ ужъ, — прошентала Марья и, тихонько освободившись отъ его объятій, подошла къ своему веслу. Онъ сталъ работать порывисто и сильно, какъ бы желая дать исходъ той тяжести, что легла ему на грудь и омрачила его красивое лицо.

Свътало.

И тучи, ръдъя, лъниво расползались по небу, какъ бы не желая дать мъста всходившему солнцу. Вода ръки стала свътлой и пріобръла холодный блескъ матовой стали.

— Опять онъ, намедни, толковалъ. Батюшка, говорить, али это не стыдъ-позоръ тебъ и миъ? Брось ты ее, тебя-то то-есть, — усмъхнулся Силанъ Петровъ, —

брось, говорить, войди въ мъру. Сынъ, моль, мой милый, отойди прочь, коли живъ быть хошь! Разорву въ куски, какъ тряницу гнилую. Ничего отъ твоей добродътели не останется. На муку, молъ, себъ родиль я тебя, выродка. Дрожить. Батюшка! али, говорить, я виновать? Виновать, молъ, комаръ пискливый, — потому камень ты на моей дорогъ. Виновать, молъ, потому постоять за себя не умъешь. Мертвечина, молъ, ты, стерва тухлая. Кабы, молъ, ты здоровъ быль, — хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нътъ. Жалко тебя, кикимору несчастную. Воетъ! — Эхъ, Марья! Плохи люди стали! Другой бы — э-эхма! Выбился бы изъ петли-то скоро. А мы — въ ней! Да, можеть, такъ и затянемъ другь друга.

- Это ты о чемъ?—робко спросила Марья, съ испугомъ глядя на него, суроваго, мощнаго и холоднаго.
- Такъ... Умеръ бы онъ... Вотъ что. Кабы умеръ... ловко бы! Все бы въ колею вскочило. Отдалъ бы твоимъ землю, замазалъ бы имъ глотки-то, а съ тобой—въ Сибирь... али на Кубань! Кто такая? Жена моя! Поняла? Документъ бы такой достали... бумагу. Лавку бы открылъ въ деревнъ гдъ. И жили бы. И гръхъ нашъ передъ Господомъ замолили бы. Много ли намъ надо? Помогли бы людямъ жить, а они бы помогли намъ совъсть успокоить... Хорошо? а? Маша!?...
- Да-а!—вздохнула она и кръпко, зажмуривъ глаза, задумалась о чемъ-то.

Они помолчали... Журчала вода...

- Чахлъ онъ... Можеть, скоро умреть,—глухо сказалъ Силанъ Петровъ.
- Дай-ко Ты, Господи, поскорте бы!—модитвенно произнесла Марья и перекрестилась.

Брызнули сквозь тучи лучи весенняго солнца и заиграли на водъ золотомъ и радугой. Дунулъ вътеръ, все дрогнуло, ожило и засмъялось. Голубое небо между тучь тоже улыбалось раскрашенной солнцемъ водъ. А тучи остались уже сзади плотовъ.

Тамъ, собравшись въ тяжелую темную массу, онъ раздумчиво и неподвижно стояли надъ широкой ръкой, точно выбирая путь, которымъ скоръе уйдешь отъ живого солнца весны, богатаго блескомъ и радостью, и врага имъ, матерямъ зимнихъ вьюгъ, запоздавшимъ отступить предъ весной.

Впереди плотовъ сіяло чистое, ясное небо, и солнце, еще холодное по-утреннему, но нестерпимо яркое повесеннему, важно и красиво всходило все выше въ голубую пустыню неба изъ пурцурно-золотыхъ волнъ ръки.

Справа отъ плотовъ быль виденъ коричневый горный берегъ въ зеленой бахромъ лъса, слъва—блъдно-изумрудный коверъ луговъ блестълъ брильянтами росы.

Въ воздухъ поплылъ сочный запахъ земли, толькочто рожденной травы и смолистый аромать хвои.

Силанъ Петровъ посмотрълъ на заднія вёсла.

Сергъй и Митрій точно приросли къ нимъ. Но еще грудно было, за далью, видъть выраженіе ихъ лицъ.

Онъ перевелъ глаза на Марью.

Ей было холодно. Стоя у весла, она сжалась въ комокъ и стала совсъмъ круглой. Вся облитая солнцемъ, она смотръла впередъ задумчивыми глазами, и на ея губахъ играла та загадочная и чарующая улыбка, которая и некрасивую женщину дълаетъ обаятельной и желанной.

— Поглядывай въ оба, ребятушки-и! О-о!...—во всю мочь громыхнулъ Силанъ Петровъ, чувствуя мощный приливъ энергіи и бодрости въ своей широкой груди.

И отъ его крика все кругомъ какъ бы колыхнулось. Долго по горному берегу звучало эхо,



БОЛЕСЬ.

(1896.)

Одинъ знакомый какъ-то разъ вотъ что разсказалъ мнъ:

"Когда я быль въ Москвъ студентомъ, миъ довелось жить рядомъ съ одной изъ "этихъ"... знаешь? Она была полька, звали ее Тереза. Высокая такая, сильная брюнетка, съ черными, сросшимися бровями и съ лицомъ большимъ, грубымъ, точно вырубленнымъ топоромъ-она приводила меня въ ужасъ животнымъ блескомъ своихъ темныхъ глазъ, густымъ, басовитымъ голосомъ, извозчичьими ухватками, всей своей громадной мускулистой фигурой рыночной торговки... Я жилъ на чердакъ, и ея дверь была противъ моей. Я, бывало, никогда не отворялъ моей двери, если зналъ, что она дома. Но это, конечно, случалось ръдко. Иногда мнъ приходилось встръчаться съ ней на лъстницъ, на дворъ, и она улыбалась мит улыбкой, которую я считалъ хищной и циничной. Неразъ я видълъ ее пьяной, съ осовълыми глазами, растренанной, улыбающейся какъ-то особенно безобразно... Въ такихъ случаяхъ она говорила миъ:

— "Бывайте здоровы, пане студенть!—и глупо хохотала, увеличивая мое отвращение къ себъ. Я бы съъхалъ съ квартиры, чтобъ избавиться отъ такихъ встръчъ и привътствий, но у меня была такая миленькая комнатка

Digitized by Google

съ широкимъ видомъ изъ окна, и такъ тихо было въ этой улицъ... Я терпълъ.

И вдругъ, однажды утромъ валяюсь я на койкъ, стараясь найти какія-либо основанія для того, чтобъ не идти на лежціи,—отворяется дверь, и эта отвратительная Тереза возглашаеть съ порога басомъ:

- "Бывайте здоровы, пане студенты!
- "Что вамъ угодно? говорю. Вижу—лицо у нея смущенное, просительное... Необычное для нея лицо.
- "Видите ли, пане, буду я васъ просить объ одномъ дълъ... Ужъ вы сдълайте миъ его!
 - "Я лежу, молчу и думаю:
- "Подвохъ! Покушеніе на мою чистоту, ни больше ни меньше!
 - "Кръпись, Егоръ.
- "Нужно бы мив, видите, письмо послать на родину,—говорить она, и такъ умоляюще, тихо, робко.
- "Э, думаю, чорть съ тобой, изволь! Всталь, съль къ столу, взяль бумагу и говорю:
 - "Проходите сюда, садитесь и диктуйте...
- "Она проходить, осторожно садится на стуль и съ виноватымъ видомъ смотрить на меня.
 - "Ну-съ, кому письмо?
- "По варшавской дорогъ, въ городъ Скънцяны, Болеславу Кашпуту...
 - "Что писать... Говорите...
- "Милый мой Болесь... сердце мое... Мой върный возлюбленный... Да сохранить тебя Матерь Божія! Золотое мое сердце, почему ты такъ давно не писалъ своей тоскующей голубкъ Терезъ...

Я чуть-чуть не расхохотался. "Тоскующая голубка" двънадцати вершковъ роста, съ пудовымъ кулачищемъ и съ такой черной рожей, какъ будто голубка всю жизнь трубы чистила и ни разу не умывалась! Сдержался коскакъ, спрашиваю:

- "Онъ кто, этотъ Болесть?

- "Болесь, пане студенть, какъ будто обидълась она на меня за то, что я исковеркаль имя.—Онъ, Болесь, женихъ мой...
 - "Женихъ?!?
- "А чего же панъ такъ удивился? Развъ жъ у меня, у дъвушки, не можеть быть жениха?
 - "У нея, у дъвушки?!... Хорошо?
- "O, почему же! Все бываеть... А давно онъ вашъ женихъ?...
 - "Шестой годъ...
- "Ого-го!—думаю я. Ну, написали мы письмо. Такое, я вамъ скажу, нъжное и любовное, что я бы самъ, пожалуй, помънялся мъстомъ съ этимъ Болесемъ, если бъ корреспонденткой была не Тереза, а что-нибудь другое, поменьше ея.
- "Воть оть души спасибо вамъ, пане, за услугу!— говорить мнъ Тереза, кланяясь.—Можеть, и я могу вамъ чъмъ послужить?
 - "Нъть ужъ, покорно благодарю!
- "А можеть, у пана рубаха или штаны въ дыркахъ? "Чувствую, что этоть мастодонть въ юбкъ вогналъ меня въ краску, и довольно ръзко заявляю, что не нуждаюсь въ ея услугахъ.
 - "Ушла.
- "Прошло недъли съ двъ... Вечеръ. Сижу подъ окномъ и свищу, думая, чъмъ бы мнъ отвлечь себя отъ себя? Скучно, а погода скверная, идти никуда не хочется, и отъ скуки я занимался самоанализомъ, помню. Это тоже довольно-таки скучно, но больше ничего дълать не хотълось. Отворяется дверь—слава Богу! кто-то пришелъ...
- "А что, панъ студенть не займуется никакимъ спъшнымъ дъломъ?
 - "Тереза! Гмъ...
 - "Нътъ... а что?
 - "Хотъла бы попросить пана еще письмо написать...
 - "Извольте... Къ Болесю?...

- "Нътъ, теперь ужъ отъ него...
- -- "Что-о?
- "О, глупая женщина! Нетакъ я, пане, сказала, простите! Теперь ужъ, видите ли, нужно не миъ, а одной подругъ... т.-е. не подругъ, а... одному знакомому... Онъ самъ не пишетъ... а у него есть невъста, какъ я же вотъ... Тереза... Такъ вотъ, можетъ быть, панъ напишетъ письмо къ той Терезъ?

"Смотрю я на нее—рожа у нея смущенная, пальцы дрожать, путается чего-то—и... догадываюсь!

— "Воть что, сударыня,—говорю,—никакихъ Болесей и Терезъ у васъ нъть и все это вы врете. А около меня вамъ не обрыбиться и въ знакомство вступать я съвами не хочу... Поняли?

"Она вдругъ какъ-то странно испугалась, растерялась, начала топтаться на одномъ мъстъ и стала смъшно шлепать губами, желая что-то сказать и ничего не говоря. Я жду, что изъ всего этого воспослъдуетъ, и вижу, и чувствую, что, кажется, немного ошибся, заподозривъ ее въ желаніи совратить меня съ путей благочестія. Тутъ, какъ будто бы, что-то другое.

— "Панъ студентъ,—начала она, и вдругъ, махнувъ рукой, круто повернулась къ двери и ушла. Я остался съ очень сквернымъ чувствомъ на душъ, слышу—у нея клопнула дверь, громко такъ—разсердилась, видно, бабища... Подумалъ и ръшилъ—пойду къ ней и, позвавъ ее сюда, напишу ей все, что тамъ надо.

"Вхожу въ ея комнату—вижу, она сидить у стола, облокотилась на него и голову сжала руками.

- "Послушайте, говорю...
- ".... Всегда воть, когда я разсказываю эту исторію п дойду до этого м'яста, ужасно нел'яно чувствую себя... такая глупость! Да-а...
 - "Послушайте, говорю...

"Она вскакиваеть съ мъста, идеть на меня, сверкая

глазами, и начинаетъ, положивъ мнъ руки на плечи, шептатъ... върнъе, гудъть своимъ басомъ...

- "Ну что жъ? Ну? Такъ! Нътъ никакого Болеся, нътъ... И Терезы тоже нътъ! А вамъ что? Вамъ трудно поводить перомъ по бумагъ, да? Эхъ, вы! А еще такой... бъленькій! Никого нътъ, ни Болеся, ни Терезы, только я одна есть!—Ну, что жъ, ну?
- "Позвольте,—говорю я, ошеломленный этимъ пріемомъ,—въ чемъ дёло?—Болеся нётъ?
 - "Да, нъть! Такъ что жъ?
 - "А Терезы—тоже нътъ?
 - "И Терезы нъть! Я—Тереза!

"Ничего не понимаю! Таращу на нее глаза и пытаюсь опредълить, кто изъ насъ сошелъ съ ума? А она ушла опять къ столу, порылась тамъ, идетъ ко мнъ и обиженно говорить:

— "Если вамъ ужъ такъ трудно было написать Болесю, то вотъ оно, ваше писанье, возьмите! А мнъ и другіе напишуть...

"Вижу-въ рукъ у меня письмо къ Болесю. Ф-фу!

- "Слушайте, Тереза! Что все это значить? Зачъмъ вамъ нужно, чтобы писали другіе, если я вотъ написаль, а вы его не послали?
 - "Куда?
 - "А къ этому... къ Болесю?
 - "Да его же нъть!

"Ръшительно ничего не понимаю! Оставалось только плюнуть и уйти. Но она объяснилась.

- "Что же?—обиженно заговорила она.—Нъть его, такъ и нъть! И развела руками, какъ бы не понимая, почему же это его нъть.
- "А мив хочется, чтобъ онъ былъ... Развв жъ я не человвкъ, какъ всв? Конечно, я... я знаю... Но ввдь никому ивть вреда отъ того, что я пишу ему...
 - "Позвольте-кому?
 - "Да Болесю жъ!

- "Да въдь его нъть?
- "Ахъ, Іезусъ-Марія! Ну что же, что нѣть,—ну? Нѣть, а будто бы есть!... Я пишу къ нему, ну, и выходить, какъ бы онъ есть... А Тереза—это я, и онъ мнъ отвъчаеть, а я опять ему...

"Я понялъ... Мив стало такъ больно, такъ скверно, такъ стыдно чего-то. Рядомъ со мной, въ трехъ шагахъ отъ меня живетъ человъкъ, у котораго ивтъ на землъ никого, кто бы могъ отнестись къ нему любовно, сердечно, и этотъ человъкъ выдумываетъ себъ друга!

- "Вотъ вы мив написали письмо къ Болесю, а я его дала другому прочитать, и когда мив читають, я слушаю и думаю, что Болесь есть! И прошу написать письмо отъ Болеся къ Терезъ... ко мив. Когда такое письмо мив напишуть да читають, я ужъ совсвиъ думаю, что Болесь есть. А отъ этого мив легче живется...
- "... Да-съ... Чортъ возьми!... Ну, я съ той поры аккуратно сталъ два раза въ недълю писать письма къ Болесю и отвътъ отъ Болеся къ Терезъ. Хорошо я писалъ эти отвътъ... Она, бывало, слушаетъ ихъ и реветъ... басомъ этакимъ ревъла. И за то, что я вызывалъ у нея письмами къ ней отъ воображаемаго Болеся слезы, она мнъ зачинила всъ дырки на носкахъ, рубахахъ и прочемъ... Потомъ, мъсяца черезъ три послъ этой исторіи, ее посадили за что-то въ тюрьму. А теперь она навърное умерла."

... Мой знакомый сдунулъ пепелъ съ папиросы, задумчиво посмотрълъ въ небо и закончилъ:

"Н-да-съ... Чъмъ больше человъкъ вкусилъ горькаго, тъмъ свиръпъе жаждеть онъ сладкаго. А мы этого не понимаемъ, облеченные въ наши ветхія добродътели и глядя другъ на друга сквозь дымку самомнънія и убъжденія въ нашей всяческой непогръшимости...

"Выходить довольно глупо и... очень жестоко. Дескать, надшіе люди... А что такос падшіе люди? Прежде всего—люди, та же самая кость, кровь, то же мясо и тъ

же нервы, какъ и у насъ. Говорять намъ объ этомъ цѣлые вѣка изо дня въ день. А мы слушаемъ и... чортъ знаетъ, какъ это все нелъпо! Или мы уже совершенно оглохли отъ громкой проповъди гуманизма?... Въ сущности, сами-то мы тоже падшіе и, пожалуй, очень даже глубоко падшіе... въ пропасть всяческаго самомнѣнія и убъжденія въ превосходствѣ нашихъ нервовъ и мозговъ надъ мозгами и нервами тѣхъ людей, которые только менѣе хитры, чѣмъ мы, хуже умѣютъ притворяться хорошими, чѣмъ мы притворяемся... А впрочемъ, будеть объ этомъ. Такъ все это старо... что даже совъство говорить... Очень старо... да!..."



TOCKA.

СТРАНИЧКА ИЗЪ ЖИЗНИ ОДНОГО МЕЛЬНИКА.

(1896.)

- ... Помолившись Богу, Тихонъ Павловичъ медленно раздълся и, почесывая спину, подошелъ къ кровати, наглухо закрытой пестрымъ ситцевымъ пологомъ.
- Господи, благослови!—прошепталъ онъ, затъмъ широко зъвнулъ, перекрестивъ ротъ, отдернулъ пологъ и сталъ смотръть на мощную, покрытую мягкими складками простыни, фигуру своей жены.

Сосредоточенно и подробно разсмотрѣвъ эту неподвижную, задавленную сномъ кучу жирнаго тѣла, Тихонъ Павловичъ сурово нахмурилъ брови и вполголоса сказалъ:

— Машина!...

Потомъ отвернулся къ столу, погасилъ лампу и снова заворчалъ:

— Сказаль въдь я тебъ, чорту: идемъ спать на сънницу; нъть, не пошла! Колода дубовая! Ну-ка, подвинься малость!

И назидательно ткнувъ жену кулакомъ въ бокъ, онъ улегся съ ней рядомъ, не покрываясь простыней, а затъмъ еще разъ кръпко толкнулъ жену локтемъ. Она замычала, завозилась, повернулась къ нему спиной и снова захрапъла. Тихонъ Павловичъ огорченно вздох-

нуль и уставился глазами сквозь щель полога въ потолокъ, гдф дрожали твни, рожденныя луной и неугасимой лампадой, горфвшей въ углу передъ иконой Спаса Нерукотвореннаго. Въ раскрытое окно лился изъсада, вмъстъ съ тихимъ и теплымъ ночнымъ вътромъ, шелестъ листьевъ, запахъ земли и сырой кожи, только что сегодня утромъ содранной съ Гнъдка и распяленной на стънъ амбара. Доносился мягкій звукъ паденія капель воды съ мельничнаго колеса; въ рощъ, за плотиной, гукала выпь; мрачный, стонущій звукътихо плаваль въ воздухъ; когда онъ пропадалъ—листва деревьевъ шумъла сильнъе, точно испуганная имъ, и откуда-то доносилась звонкая пъснь комара.

Послѣдивъ за тѣнями, что дрожали на потолкѣ, Тихонъ Павловичъ перевелъ глаза въ передній уголъ комнаты. Тамъ, колеблемый вѣтромъ, тихо мигалъ огонекъ лампадки; отъ этого темное лицо Спасителя то прояснялось, то темнѣло, и оно показалось Тихону Павловичу думающимъ большую и тяжелую думу. Онъ вздохнулъ и истово перекрестился.

Гдъ-то прокричалъ пътухъ.

- Неужели двънадцать ужъ?—спросиль самъ себя Тихонъ Павловичъ. Прокричалъ другой пътухъ, третій... еще и еще. Наконецъ, гдъ-то за стъной во всю мочь гаркнулъ Рыжій, изъ птичника ему отвътилъ Черный, и весь птичникъ всполошился, громко и задорно возвъщая полночь.
- О, черти, сердито завозился Тихонъ Павловичъ,—заснуть не могу... чтобъ вамъ треснуть!

Когда онъ обругался, ему стало какъ-то легче: проклятая, непонятная грусть, одолъвшая его съ послъдней поъздки въ городъ, меньше давила его, когда онъ сердился,—а когда онъ сердился сильно, такъ и совсъмъ пропадала. Но за эти дни дома все шло такъ ровно, гладко, что и поругаться-то хорошенько, чтобъ полностью отвести душу,—было нельзя—не съ къмъ и пе за что—всѣ подтянулись, замѣтивъ, что "самъ" сильно не въ духѣ. Тихонъ Павловичъ видѣлъ, что домашніе боятся его и ждуть грозы, и—чего раньше съ нимъ никогда не было—чувствовалъ себя виноватымъ предъ всѣми. Ему было стыдно за то, что всѣ такіе хмурые и бъгають отъ него, и еще больше овладъвало имъ тяжелое, непонятное чувство, привезенное изъ города.

Даже Кузьма Косякъ, новый засыпка, орловецъ, зубоскалъ и задира, молодой парень, веселый и могучій, съ веселыми синими глазами и ровнымъ рядомъ мелкихъ и бълыхъ, какъ кипень, зубовъ, всегда оскаленныхъ задорной улыбкой,—даже этотъ Кузька, съ которымъ всегда было за что всласть поругаться, и онъ какъ-то повялъ за послъднее время, сталъ почтителенъ и услужливъ, пъсенъ, на которыя былъ большой мастеръ, больше не пълъ, мъткими прибаутками во всъ стороны не сыпалъ, и Тихонъ Павловичъ, замъчая за нимъ все это, недовольно думалъ про себя: "хорошъ, видно, я чортъ сталъ!" И думая такъ, все болъе подчинялся чему-то, неотвязно сосавшему его сердце.

Тихонъ Павловичъ любилъ чувствовать себя довольнымъ собой и своей жизнью, и когда чувствовалъ такъ, то намъренно и искусственно усиливалъ свое настроеніе ностояннымъ напоминаніемъ себъ о своей зажиточности, объ уваженіи къ нему сосъдей и обо всемъ другомъ, что могло возвысить его въ своихъ глазахъ. Всъ домашніе знали за нимъ эту слабость, которая могла и не быть честолюбіемъ, а только желаніемъ сытаго и здороваго существа, какъ можно полнъй усладить себя ощущеніемъ своей сытости и здоровья. Это настроеніе порождало у Тихона Павловича нъкоторую добродушную точку зрънія на вещи и хотя не позволяло ему упускать своего, но создало среди знакомыхъ репутацію сердечнаго и широкаго человъка. И вотъ, вдругъ это стойкое, жизнерадостное чувство куда-то провали-

Digitized by Google

лось, улетъло, погасло и на мъсто его явилось нъчто новое, тяжелое, непонятное и темное.

— Фу. ты, Господи! — прошепталъ Тихонъ Павловичъ, лежа рядомъ съ женой и прислушиваясь къ мягкимъ вздохамъ ночи за окномъ. Отъ согрътой пуховой перины ему стало жарко, душно; онъ безпокойно повозился, предалъ супругу анаеемъ, спустилъ ноги на полъ и сълъ на кровать, отирая потное лицо.

Въ Болотномъ, селъ верстахъ въ пяти отъ мельницы, раздались удары сторожевого колокола. Унылые мъдные звуки, слетая съ колокольни, тихо плавали въ воздухъ и безслъдно таяли. Въ саду хрустнула вътка, а въ рощъ снова загукала выпь, точно смъясь надъчъмъ-то глухимъ и мрачнымъ смъхомъ.

Тихонъ Павловичь всталь, подошель къ окну и съль въ глубокое кожаное кресло, недавно купленное имъ за два рубля у раззорившейся сосъдки, старушки-помъщицы. Когда колодная кожа прикоснулась къ его тълу, онъ вздрогнулъ и оглянулся.

Было жутко. Сквозь цвъты на подоконникъ и вътви клена передъ окномъ проникли въ комнату лучи луны и нарисовали на полу тъневой дрожащій узоръ. Одно изъ пятенъ, въ центръ узора, очень походило на голову хозяйки кресла. Какъ и тогда, при торгъ, эта голова, въ темномъ, мохнатомъ чепцъ, укоризненно качается, и старческія губы шамкаютъ ему, мельнику:

— "Побойся Бога, батюшка! Кресло покойникъ Өедоръ Петровичъ передъ самой смертью купилъ, 18 рублей далъ. А давно ли онъ умеръ-то? Совсъмъ новая вещь, а ты полтора рубля даешь!..."

И покойникъ Өедоръ Петровичъ тутъ же, на полу: вотъ его большая, кудластая голова съ густыми хохлацкими усами.

— Господи, помилуй!—вздохнулъ Тихонъ Павловичъ. Потомъ онъ всталъ съ кресла, составилъ цвъты съ подоконника на полъ, а самъ усълся на ихъ мъсто. Тъни на полу сдълались ръзче и яснъе.

За окномъ было тихо и грустно. Деревья сада стояли неподвижно, слитыя ночью въ сплошную, темную стъну, за которой чудилось что-то страшное. А съ колеса мельницы звонко и монотонно капала вода, точно отсчитывая время. Подъ самымъ окномъ сонно покачивались длинные стебли мальвы. Тихонъ Павловичъ перекрестился и закрылъ глаза. Тогда въ его воображении стала медленно формироваться городская исторія, выбившая его изъ колеи.

По пыльной, залитой знойными лучами солнца, улицъ тихо двигается похоронная процессія. Ризы священника и діакона слъпять глаза своимъ блескомъ; въ рукахъ діакона позвякиваетъ кадило, маленькіе клубы голубого дыма тають въ воздухъ.

- Свя-я...—тоненькимъ теноромъ выводитъ маленькій, съденькій священникъ.
- Тый!—громовымъ басомъ гудить діаконъ, высокій, черный мужчина, въ густой шапкъ черныхъ волосъ и съ большими глазами, добрыми, то и дъло улыбающимися.
- Бо-о-же, сливаются оба голоса вмъстъ и оба уносятся въ безоблачную высь къ ослъпительно сверкающему солнцу, гдъ все такъ пустынно и покойно.
- Безсме-е-ртный!—реветь діаконъ, покрывая своимъ могучимъ голосомъ всё звуки улицы, дребезгъ пролетокъ, шумъ шаговъ по мостовой и сдержанный говоръ большой толпы, провожающей покойника,—реветь и, широко раскрывая глаза, поворачиваеть свое бородатое лицо къ публикъ, точно хочеть сказать ей:
 - Эхва! Какъ я здорово вывелъ ноту-то!?

Въ гробу лежить господинь въ сюртукъ, съ худымъ и острымъ лицомъ. На этомъ лицъ застыла важная, спокойная мина. Гробъ несутъ неровно, и голова по-койника сосредоточенно покачивается съ боку на бокъ.

Тихонъ Павловичъ взглянулъ на лицо покойника, вздохнулъ, перекрестился и, увлекаемый толпой, пошелъ за гробомъ, посматривая на діакона, заинтересовавшаго его массивностью голоса и фигуры. Діаконъ шелъ и пълъ, а если не пълъ, то разговаривалъ съ къмъ-нибудь изъ шедшихъ рядомъ съ нимъ. Очевидно, человъкъ, лежавшій въ гробу, не возбуждалъ у діакона печальныхъ думъ о томъ, что и онъ подлежитъ этой натуральной повинности, что придетъ время, и его вотъ также понесутъ по улицъ для того, чтобы зарыть въ землю; а онъ, лежа въ гробу, будетъ вотъ такъ же потряхивать головой, и не возьметъ ужъ въ то время ни одной, даже и самой простой ноты.

И Тихону Павловичу стало непріятно смотрѣть на веселаго діакона; онъ остановился и, пропустивъ мимо себя много публики, спросиль у какого-то гимназиста:

— Кого это хоронять, милой?

Тоть взмахнуль на него глазами и ничего не сказаль въ отвъть. Это обидъло Тихона Павловича...

— Такой молоденькій мальчишка и не имъеть никакого вниманія къ старшимъ! Драть бы васъ! Ты что думаешь, я не узнаю, что мнъ надо? Фря какая!

Онъ пошелъ дальше и снова очутился около гроба. Гробъ несли чстверо, при чемъ шли очень быстро и не въ ногу. У одного изъ несшихъ все сваливалось съ носа пенснэ, и онъ, вскидывая его снова на переносицу, непремънно вамахивалъ при этомъ густой гривой рыжихъ волосъ.

— А покойникъ-то, видно, легонькій, — подумаль Тихонъ Павловичъ; — чиновникъ, надо думать — они больше поджарые...

Шли такъ быстро, точно человъкъ, лежавшій въ гробу, еще при жизни успълъ всъмъ страшно надовсть, и всъ теперь старались какъ можно скоръе отдълаться отъ него. Тихонъ Павловичъ замътилъ это.

— Экъ ихъ гонять! Куда торопятся? Тоже люди

Божіи! Чай, поди-ка, какъ живъ быль человъкъ, такъ и то, и се, а умеръ — вали скоръе въ яму: намъ не-когда!

И Тихону Павловичу стало грустно: будеть время, и его воть такъ потащать. Можеть быть, скоро ужъ—ему сорокъ семь лъть.

- A это что такое? спросилъ самъ себя Тихонъ Павловичъ, увидъвъ на крышкъ гроба вънки, ленты съ надписями золотыми буквами и цвъты.
- Н-да... Значить, персона все-таки важная. А воть провожатые—оборвышъ-народъ. Бъднота все, видно... Кого это хоронять?—спросилъ мельникъ поровнявшагося съ нимъ благообразнаго господина въ очкахъ и съ курчавой бородой.
- Писателя...—тихо отвътилъ тотъ и, окинувъ фигуру Тихона Павловича взглядомъ, вразумительно добавилъ:—Сочинителя...
- Понимаемъ,—быстро откликнулся Тихонъ Павловичъ.—"Ниву" выписываемъ, доченка читала насчетъ ихъ. Изъ важныхъ будутъ покойные-то?
- H-нътъ... не изъ важныхъ...—улыбнулся его собесъдникъ.
- Такъ... Ничего... Все-таки заслуженный міру человѣкъ. Ина слава солнцу, ина слава лунѣ... звѣзда бо отъ звѣзды разнствуетъ во славѣ... Однако, вѣнки... А жарко сегодня!

У Тихона Павловича неизвъстно почему щемило сердце, скверно такъ щемило—то будто ущипнеть его, то какъ-то сдавитъ.

А голосистый діаконъ все пълъ:

— Свя-тый безсмертный!...

И дребезжащій теноръ священника, чуть пробиваясь сквозь діаконова баса, робко и тихо просилъ:

— По-омилуп на-асъ...

Глухо топотала ногами толпа провожатыхъ, поднимая съ дороги пыль; покойникъ все качалъ головой, и надо всѣмъ этимъ безстрастно сіяло знойное, іюльское небо.

И воть Тихона Павловича охватило какое-то угнетеніе—не хотьлось ни думать, ни разговаривать. Онъ примънился къ шагамъ сосъдей и, охваченный общимъ смутнымъ настроеніемъ толпы, шель съ ней, чувствуя только одно это надоъдливое нытье гдъ-то глубоко въ груди и не находя ни силъ, ни желанья отдълаться отъ него.

Пришли на кладбище, остановились у ямы и поставили гробъ на бугоръ вынутой изъ ямы земли. Сдълали это какъ-то неловко, неумъло. Покойникъ подвалился къ боку гроба, потомъ снова принялъ прежнюю позу; казалось, онъ посмотрълъ вокругъ и остался доволенъ тъмъ, что его перестали трясти и скоро перестанутъ жарить на солнцъ. Діаконъ все усердствовалъ, сотрясая воздухъ; священникъ не отставалъ отъ него; кто-то изъ толпы подпъвалъ глухимъ голосомъ. Звуки носились по кладбищу и, путаясь между крестами да чахлыми деревьями, давили Тихона Павловича.

И вотъ оно-самое главное.

Благообразный господинъ, у котораго Тихонъ Павловичъ спрашивалъ о покойникъ, подошелъ къ краю могилы и, проведя рукой по волосамъ, сказалъ:

— Господа!...

Онъ такъ это сказалъ, что мельникъ даже вздохнулъ, вздрогнулъ и уставился на него. Глаза у господина странно сверкали. Онъ то опускалъ ихъ въ гробъ, то оглядывалъ публику, и пауза между его восклицаніемъ и началомъ рѣчи была такъ длинна, что всѣ, кто былъ на кладбищѣ, успѣли притихнуть и какъ-то замереть въ ожиданіи. И вотъ раздался мягкій, грудной, такой вдумчивый и печальный голосъ. Говорившій плавно помахивалъ рукой въ тактъ своимъ словамъ; его глаза горѣли подъ очками, и хотя Тихонъ Павловичъ плохо понималъ то, что говориль этотъ

господинъ, однако, онъ узналъ изъ его ръчи, что покойникъ быль бъденъ, хотя двадцать лъть онъ неустанно трудился на пользу людей, что у него не было семьи, что при жизни никто имъ не интересовался и никто его не цънилъ, и что онъ умеръ отъ истощенія, въ больницъ, одинокій, какимъ онъ быль всю свою жизнь. Тихону Павловичу стало жаль покойника, и ноющая боль въ груди усилилась. Онъ пристально уставился на него, измърилъ глазами его худое, изможденное лицо, маленькую, тонкую и прямую фигурку и вдругь нашель, что этоть покойникь похожь на гвоздь. Онъ улыбнулся своей мысли. И въ то же время благообразный господинъ, повысивъ голосъ, произнесъ: "Удары судьбы одинь за другимъ падали на его голову, и воть она, наконецъ, забила этого человъка, посвятившаго всего себя неблагодарной, черной подготовительной работь по устройству на земль хорошей жизни для людей! Для всъхъ людей, безъ разбора..."

Какъ разъ въ это время глаза оратора остановились на лицъ Тихона Павловича и, поймавъ его улыбку, сурово сверкнули. Мельникъ смутился и попятился назадъ, чувствуя себя виноватымъ и предъ покойникомъ, и предъ тъмъ человъкомъ, что разсказывалъ о немъ.

Солнце пекло безпощадно, синее небо смотръло спокойно-глубоко на ниву мертвыхъ, на толпу вокругъ свъжей могилы, а голосъ оратора все звучалъ, печальный и задушевный.

Тихонъ Павловичъ вертвлъ головой, разглядывалъ сумрачныя лица слушателей и чувствовалъ, что не его одного, всвять охватываеть тоска.

— "Засыпали мы наши души хламомъ повседневныхъ заботь и привыкли жить безъ души, до того привыкли, что и не замъчаемъ, какіе всъ мы стали деревянные, безчувственные, мертвые. И люди такіе, какъ онъ, непонятны намъ"...—слушалъ Тихонъ Павловичъ. "Онъ"—это покойникъ, и всъ, значитъ, покойники,

коли върить этому благообразному господину, — всъ, потому что у всъхъ души засыпаны хламомъ.

- -- Върно!-- сказалъ онъ тогда про себя.--Это такъ... Развъ я не забыль про свою душу!? Господи!-Тихонъ Павловичъ вздохнулъ и открыль глаза. Струя теплаго воздуха влилась въ окно изъ сада и обдала замечтавшагося человъка запахомъ росистой травы, цвътовъ и затхлой воды изъ пруда. Тъни на полу дрожали сильнъе, точно пробуя подняться и улетъть. Мельникъ всталь съ подоконника, снова придвинулъ кресло къ окну и подошелъ къ кровати. Разметавшись по перинъ, жена сопъла и всхранывала, широко раскинувъ пухлыя руки. Эти руки и обнаженная грудь показались Тихону Павловичу чемъ-то неуместнымь въ эту ночь и какъбы задиравшимъ его. Сердито набросивъ на тъло жены простыню, онъ взялъ подушку и снова, подойдя къ окну, сълъ въ кресло, положилъ подушку на подоконникъ, облокотился на нее и сталъ думать. Съ этихъ похоронъ родилось въ немъ что-то такое, что позволяло ему смотръть на себя какъ бы совсъмъ на другого человъка, хоть и хорошо знакомаго ему, но въ то же время чъмъ-то новаго.
- Ай, ай, ай, Тихонъ, ай, ай, ай!—прошепталь онъ, покачавъ головой.—Что же это ты, братецъ мой, а?—упрекнуль онъ себя не то за старую, не то за новую охватившую его тоскливую жизнь. И ему почему-то вдругь вспомнилась стая бълыхъ голубей, плававшая высоко въ небъ надъ кладбищемъ въ памятный день похоронъ. Онъ, закрывъ глаза, представилъ себъ эти бълыя точки въ голубомъ небъ... и снова молча упрекнулъ себя...
- Что, брать, видно приспичило? Воть и живи теперь... майся.

А кругомъ все было такъ отчетливо ясно и въ то же время боязливо тихо, точно ждало чего-то. И внѣобиходныя, безпокойныя, тормозящія правильное теченіе жизни думы все шевелились въ непривычной къ нимъ головъ мельника, одна за другой являлись, исчезали и снова являлись, но уже въ большемъ объемъ, болъе тяжелыя. Такъ въ ясный лътній день по небу пробъжить легкій обрывокъ облака и скроется, растая гдъ-то въ лучахъ солнца... но вотъ еще одинъ... еще... и кмурая грозовая туча, насупясь и глухо ворча, медлено ползетъ надъ землей. У мельника отъ его думъ явилась какая-то особая, незнакомая ему раньше, способность все подмъчать и запоминать и ко всему прилагать вопросъ: "а зачъмъ это нужно?"

Никто изъ людей не застрахованъ отъ наплыва думъ, потрясающихъ привычную имъ жизнь, и всъхъ одинаково легко можетъ довести до тоски суровый вопросъ: "зачъмъ?"

- Угнетаемъ мы душу!—вспомнилъ мельникъ восклицаніе оратора и поежился. Тотъ человъкъ крикнулъ эти слова такимъ чувствительнымъ голосомъ и потомъ печально улыбнулся. И Тихонъ Павловичъ чувствуетъ правоту его словъ.
- Върно—не живеть душа-то. Дъла все—главная причина; о душъ-то подумать некогда. А она вдругъ и тово... и возстала, значить. Пустой часъ улучила, да и воспряла... Вотъ-те и дъла! И къ чему очень ужъ много дъловъ затъвать, коли все равно умрешь? Для чего готовимъ себя, ежели гольемъ жизнь-то взять? Для... смерти... Съ чъмъ пойдемъ предъ лицо Господа? Вотъ душа-то и напоминаетъ: встрепыхнись, дескать, человъкъ, потому что часъ твой тебъ невъдомъ... Господи, помилуй!—Тихонъ Павловичъ вздрогнулъ, перекрестился и посмотрълъ въ уголъ на ликъ Спасителя. Тъни отъ пампады все дрожали на немъ, онъ былъ такъ теменъ и строгъ и, казалось, все думалъ свою большую думу. У мельника въ груди стало холодно. А вдругъ онъ сейчасъ вотъ... или нътъ, завтра... Вдругъ онъ завтра

умреть! Это бываеть съ человъкомъ—сразу, безъ всякой бользни упаль, да и умеръ...

— Анна!—громко зоветъ Тихонъ Павловичъ.—Анна, проснись ты хоть на минутку, ради Бога. Человъкъ мучается, а она спить!

Но жена не слышить, подавленная сномь. И не дождавшись ея отвъта, Тихонъ Павловичъ всталь, одълся и, сопровождаемый ея храпомь, вышель изъ комнаты на крыльцо, постояль на немъ съ минуту и тихонько отправился въ садъ. Уже свътало. Востокъ блъднъль, и узкая алая полоса зари лежала на краю сизой тучи, неподвижно застывшей на горизонтъ. Клены и липы тихонько качали вершинами; роса падала невидимыми глазомъ каплями; гдъ-то далеко трещалъ коростель, а за прудомъ въ рощъ грустно посвистывалъ скворецъ. Свъжо... И скворцу, должно быть, хорошо...

— А и голова у этого барина! Большія у него думы... Воть бы съ нимъ по душт поговорить. Онъ бы мит и объясниль, какъ и что... А развъя самъ что могу? Совство и не къ тому у меня голова приспособлена!

Мельникъ печально поникъ своей неприспособленной къ большимъ думамъ головой и все-таки продолжалъ думать.

— Съвздить развъ мнъ къ учителю въ Ямки? Опъ . тоже тово... гвоздь. Попъ Алексъй говорить, что это онъ меня пропечаталь въ газетъ. Ишь, желторылый аспидъ!

Тихонъ Павловичъ вспомнилъ, какъ ему было стыдно, когда дочь прочитала въ газетъ о его удалой операціи съ кирюшинскими мужиками, и какъ она, закрывъ лицо газетой, тихонько спросила:

- Папаша, развъ это такъ было? Онъ разозлился тогда.
- Разв'в грабитель отецъ-то твой? Такъ было! Дура, чему учишься въ гимназіи-то?

А было-то именно такъ, какъ написалъ учитель. Но не сознаваться же въ этомъ передъ дочерью! Чего она понимаеть? Теперь онъ квить съ кирюшинскими: когда у него плотину чуть не размыло, и они ее кръпили—половину своего воротили назадъ: по три цълковыхъ за день на рыло содрали съ него. Война! Сплошалъ—и кончено—крышка тебъ. Да... Учитель-то при этомъ присутствовалъ.

- Что,—говорить,—купець, и вась прижали? И смъется. Лицо у него сухое, желтое, строгое.
- Плохи же вы, все-таки, купецъ... Жадны, а плоховаты.

мельникъ сердится и чувствуеть—правда! И жаденъ—правда, и плохъ—тоже правда.

— Скоро ли, о, Господи, разсвътетъ?—съ тоской подумалъ онъ.—Скоро ужъ:—алая полоса на краю тучи стала и ярче, и шире.

Воть гдъ-то разговаривають люди. Мельникъ подошель къ плетню и легь на скамью возлъ него, чувствуя, что ему не можется оть безсонницы. А голоса людей, звучно разносясь въ звонкомъ предутреннемъ воздухъ, все приближались...

— Не проси, Мотря, не теряй попусту словъ-не останусы!

Тихонъ Павловичъ вздрогнулъ и привсталъ на скамъв, опершись на локоть. Говорили близко, тутъ сейчасъ же за плетнемъ, въ кустахъ бузины. Это Кузьма Косякъ, засыпка, съ квмъ-то.

- Не проси, говорю! Не въ моей это. силъ, чтобы здъсь остаться; уйду я за Кубань...
- А я-то какъ же, Кузя? Ты подумай, какъ я безъ тебя-то буду? Въдь люблю я тебя, соколика, лю-юблю, вольный ты мой!—отвъчалъ Кузькъ низкій женскій контральто.
- Э, Мотря! Многія меня ужъ любили, со всёми я распрощался, и ничего себё—повыходили замужъ да позакисли въ работе! Встретишь иной разъ, посмотришь—своимъ глазамъ веры неть. Да разве это оне.

тъ самыя, которыхъ я цъловалъ да миловалъ? Ну-ну! Одна другой въдьмистъй. Нъть ужъ, Мотря, не миъ на роду писано жениться, да, дурашка, не миъ. Волю мою ни на какую жену, ни на какія хаты не смъняю. Родился я, слышь, подъ заборомъ и помру подъ нимъ. Судьба такая. По съдые волосы вдоль да поперекъ шляться буду... А на одномъ мъстъ скучно миъ...

- А меня-то? Кузя, меня-то? Я-то куда дѣнусь отъ тебя? Подумай-ка! Али ты меня не любишь ужъ? Али ты меня не жалъешь?
- Тебя-то, тебя-то... А тебя я здѣсь оставлю... за вдоваго Чекмарева замужъ выйдешь... Дѣти у него есть... да ничего, самъ онъ мужикъ хорошій.
- Не лю-юбишь ты меня!...—какъ-то выдохнула изъ себя, а не сказала женщина.
- Не люблю!... Видно воть люблю, коли разговариваю. Не любиль бы, такъ не возился бы. Съ дъвками потому и время теряють, что любять ихъ, а ежели ихъ не любить—куда онъ тогда? И жалко мнъ тебя... да въдь какъ кого ни жалко, а себя всегда жалчъй. Было бы, поди-ка, гораздо хуже, если мы съ тобой, поругавшись, разстались. Върно въдь? А теперь воть по душамъ—любовно, ласково все выходить. Я, значить, въ свою пойду сторону, ты—въ свою, кому куда судьба. Эхма, чего туть толковать! Цълуй, что ли, еще разокъ, горлинка!

Звуки поцълуевъ коснулись слуха Тихона Павловича и растаяли въ шелестъ листвы. Скворецъ распълся громче и веселъй, пътухи за мельницей встръчали разсвъть, и онъ быстро шелъ навстръчу пробуждавшейся землъ.

- Охъ, милый ты мой, Кузя... хорошій ты мой! Возьми ты меня, горюшу!—снова громко зашентала дъвушка.
 - Вотъ-те и на! Она опять за свое... Я ее цълую.

милую, какъ путную, а она мнъ камнемъ на шею виснеть. Ну дъвка! И всегда воть эта канитель съ вами.

- Да, али я не человъкъ?...
- Ну, человъкъ. Ну? А я? Я, значить, не человъкъ? Скажеть тоже... Сошлись мы съ тобой по-любу... ну, и пришло воть время разойтись. Тоже надо по-любу. Тебъ жить надо, и мнъ тоже; путать другъ друга намъ не слъдъ... Жить надо и такъ, и этакъ—во всю чтобы! А ты нюнишь! Дурашка! А ты вспомни: сладко цъловаться со мной? Ну? Эхъ, ты... аладья...

Снова зазвучали поцълуи, прерываемые страстнымъ, задыхающимся шопотомъ и глубокими стонущими вздохами.

Вдругъ вершины деревьевъ и все кругомъ и само небо точно дрогнуло и улыбнулось свъжей, румяной улыбкой—это первый солнечный лучъ глянулъ на землю. И какъ бы привътствуя его, раздался ласковый шумъ пробужденія соннаго сада, дунулъ вътерокъ, свъжій, бодрящій, полный разнообразныхъ запаховъ.

Звучныя, теноровыя рёчи Кузьки Косяка, полныя сознанія независимости и увёренности въ правотё своей, тоскливо страстный контральто дёвушки какъ бы смягчили ноющую боль въ груди Тихона Павловича.

— Ахъ, чортъ!—мысленно восклицалъ онъ по адресу засыпки.—Ахъ ты, ухобака!

И онъ почувствоваль зависть къ этому веселому, вольному человъку за его умънье жить, за его увъренность въ своей правотъ; а потомъ мельнику стало стыдно чего-то: не то того, что подслушаль эту сцену, не то того, что позавидоваль. Онъ всталъ, вздохнулъ и хотълъ пойти домой.

- Пора, Мотря! Пора мнѣ на работу! Смотри, приди ужо!
- Не пришла бы, да не въ мочь мнѣ не придти-то, соколъ мой!—какъ-то простонала дѣвушка.
 - д, не горюй! Время придеть—слевы утреть. А

до той поры мы еще повидаемся не разъ. Такъ ля? Сдобнушка! Прощевай!

За спиной Тихона Павловича затрещаль плетень.

"Какъ по степи вътеръ "Носится, играетъ...

— Эті... Добрый день, хозяинъ!

Тихонъ Павловичъ снялъ съ головы картузъ и смущенно посмотрълъ на работника.

— Здорово!

Тоть стояль передь нимь въ свободно-сильной позъ: изъ-подъ разстегнутой красной рубахи видна была широкая, смуглая грудь, дышавшая глубоко и ровно, рыжіе усы насмъшливо пошевеливались, бълые, частне зубы сверкали изъ-подъ усовъ, синіе, большіе глаза хитро прищурились, и весь Кузьма показался своему хозяину такимъ гордымъ и важнымъ, что мельнику захотълось поскоръе уйти отъ него, чтобъ засыпка не замътилъ своего превосходства надъ хозяиномъ.

- Все гуляешь?
- Пока охота да время—чего не гулять? Иное время придеть—работать буду! Чью нынче засыплю? Домолоть попову рожь али что? Да насчеть круподерной машины надо бы похлопотать! Дереть-то она дереть, да больно глубоко береть...
- Да, это можно... Воть я тово...—проговориль Тихонъ Павловичъ и вдругъ какъ-то помимо воли докончилъ:—А я, братъ, тово... лежалъ тутъ на скамейкъ, да и слышалъ, какъ ты... съ дъвкой-то... обходился... Ловко ты съ ними умъешь...
 - Дъло знакомое!—пошевелилъ усами Кузьма.
 - Много, чай, ты ихъ, дъвокъ-то, перепортилъ?
- А не считаль... Какая порча? Чай, я не увъчу ихъ...
- Оно такъ, а все-таки... Напримъръ, неужто тебъ, Кузьма, не жалко дъвку-то?...

- Жалко... всегда бываеть жалко... Ну, а себя все ужъ жалчъй!
 - А ежели, къ примъру, ребенокъ? Бывало, въдь, а?
 - Чай, бывало, -- кто ихъ знаетъ...

Кузьмъ, очевидно, начиналъ надоъдать допросъ. Онъ переступалъ съ ноги на ногу и, досадливо сжавъ губы, крякнулъ.

А Тихону Павловичу понравилось то, что работникъ смущается его допросомъ, и онъ, уже строго нахмуривъ брови, продолжалъ:

- А гръхъ-какъ? Въдь гръхъ, чай!
- Чего гръхъ?
- А такъ-то дъйствовать...
- Да въдь ребята-то однимъ, поди-ка, порядкомъ родятся, что отъ мужа онъ, что отъ прохожаго, сказалъ Кузьма и скептически сплюнулъ въ сторону.
- Это ты совсъмъ напрасно. Отъ мужа онъ въ законъ, а ежели отъ тебя—куда его? Она, дъвка-то, возьметь да отъ сраму въ прудъ дитя-то и сунеть. А на тебъ—гръхъ!—донималъ мельникъ работника, чувствуя при этомъ какое-то удовольствіе.
- Да въдь, хозяинъ, коли покръпче подумать, серьезно и сухо заговорилъ Кузьма, такъ выходить, что, какъ ни живи, все гръшно! И такъ гръшно, и вотъ этакъ гръшно, пояснилъ Кузьма, махнувъ рукой вправо и влъво. Сказалъ гръшно, промолчалъ гръшно, сдълалъ гръшно и не сдълалъ гръшно. Рази тутъ разберешь? Въ монастырь, что ли, идти! Чай, неохота.

Помолчали. Отъ свъжести утра Кузьма вздрогнулъ.

- Веселая у тебя жизнь, брать, легкая,—вадохнуль Тихонъ Павловичъ.
- Не жалуюсь,—сказаль Кузьма, передергивая плечами.
- Жизнь пріятная... да... Ну, что же? Иди инъ засыпай!

- Попову?
- Сыпь попову. Я приду тамъ послъ... Какъ ты это просто разсуждаешь... право! Все гръшно... Н-да... Лег-кій ты, Кузьма... какъ пузырь.
 - Пузырь? А пожалуй, и пузырь...

Кузьма внимательно посмотрълъ на хозяина.

— Ей Богу. Вонъ Митька у меня пускаеть: надуеть его на соломинку, а онъ весь этакій—радугой играеть и летить, полетить и лопнеть.

Кузьма усмъхнулся.

- Ишь прировняли къ чему!
- Върно въдь. А уйдешь ты отъ меня?
- Уйду.
- Да куда тебъ? Жилъ бы, жалованья-то прибавлю.
- Нъть, не надо. Тошно здъсь, все равно уйду.
- Жалко мнѣ тебя отпускать-то: работникъ ты хорошій,—задумчиво сказаль Тихонъ Павловичъ.
- Нътъ, я ужъ уйду. Въ степь надо приволье тамъ... эхъ ты! И миъ тоже васъ будетъ жалко—привыкъ. А уйду, потому тянетъ! Самому противъ себя не надо споритъ. Коли кто противъ себя заспоритъ, пиши— пропалъ человъкъ.
- Воть это върно, Кузьма. Ахъ, върно! Тихонъ Павловичъ даже вспыхнулъ весь и потрясъ головой, кръпко зажмуривъ глаза. — Воть я тоже... спорю...
- Тихонъ Павлы-ичъ! иди чай пить,—вскричала откуда-то жена.
 - -- Йду! Иди и ты, Кузьма, начинай съ Богомъ.

Кузьма искоса взглянуль въ лицо хозяина и пошель, посвистывая.

Въ просторной, чистой комнатъ у окна стоялъ столъ съ шумъвшимъ на немъ самоваромъ, ковригой бълаго хлъба и кринкой молока. За столомъ сидъла жена, здоровая, свъжая, румяная, благодушная, и всюду въ ком-

нать было много ласковаго и нежаркаго утренняго солнца.

Тихонъ Павловичъ медленно, покусывая бороду, подошелъ къ столу, держа руки назади и хмуро поглядывая въ спину жены.

- Съ добрымъ утромъ, Павлычъ!—сказала она, оборачивая къ нему голову и привътливо улыбаясь.—Что это ты опять сегодня ночью-то не спалъ? Ты бы полъчился чъмъ. А то думно ужъ мнъ стало...
- То-то ты съ думъ-то и гудъла всю ночь, какъ фабричная труба,—усмъхнулся мельникъ.—А я все догадывался, съ чего, молъ, это у меня Анна-то такъ засвистываеть? Анъ это съ думъ...
- Ужъ ты скажешь... Слава Господу, хоть улыбнулся, а то ужъ ты послъдніе-то дни и не смъешься, совсъмъ пропалъ смъхъ-то у тебя... Сердитый все.
- Пропадеть, небось, оть такой жизни,—вполголоса сказаль Тихонъ Павловичь.
- Али что неладно въ дълахъ-то?—тревожно спросила жена.
- Не о хлъбъ единомъ, сказано въ Писаніи... Ну вотъ и оправдалось. Схватило за сердце и сосеть... и будетъ сосать, пока простора не дашь душъ... Завалили мы душу-то всякимъ хламомъ, она и стонетъ безъ воздуха-то.
- Въ церковь надо чего ни то пожертвовать—вотъ и пройдеть все,—посовътовала жена.

Медьникъ молчалъ, думая про батюшку Алексъя. Очень жадный попъ; много разъ онъ подставлялъ ногу мельнику въ его операціяхъ съ окрестными крестьянами...

- А то еще сироту взять...
- Вотъ это пожалуй. У Дябилкиныхъ, къ примъру.
- Налить еще чаю-то? Ты чего накрылъ стаканъ?
- Не хочу.

Тихонъ Павловичъ смотрълъ въ лицо жены, и она

Digitized by Google

казалась ему такой жирной, приторной, глупей. Чего она улыбается все?

- А доктора все же бы надо позвать. Позвать?
- Поди ты и съ докторомъ вмъстъ,—зло сказалъ мельникъ, и, выйдя въ другую комнату, наткнулся на сына, спавшаго на полу. Тихонъ Павловичъ остановился надъ нимъ и сталъ пристально смотръть на черную курчавую голову, утонувшую въ складкахъ подушки и сбитой въ кучу простыни. На смуглыхъ щекахъ и на лбу ребенка выступили мелкія капельки пота.
- Ишь ты... развалился,—подумаль Тихонь Павловичь.—Спишь... А какая тебь въ жизни дорога лежить?...
 - Тихонъ Павлы-ичъ! Васъ Кузьма кличеть!

Это кричить съ круподерки косоротая Мареутка. Мельникъ у нея въ прошломъ году ненарокомъ всю семью разорилъ и теперь вспомнилъ это. Өома, Мареуткинъ отецъ, уходя на заработки куда-то, говорилъ ему, стоя у крыльца:

— Нельзя, значить, отсрочку-то? Та-акъ... Ну, инъ ладно. Прощай, значить, Павлычъ! Богъ тебъ судья. Полагать надо, отзовутся тебъ наши сиротскія слезы, взвоешь, значить, и ты, другь милой! Прощай!

И долго Өома стоялъ передъ крыльцомъ, почесывая то бокъ, то спину, и съ напряженнымъ лицомъ повторяя одно и то же слово по пяти разъ, тянулъ за душу Тихона Павловича.

- Не полагается отсрочки? Та-акъ... Наконецъ, мельникъ его прогналъ...
- Да, разныя дѣла бывають, —думалъ онъ теперь.— Иное, дѣйствительно, не по закону. А не сдѣлать его нельзя. Уронъ репутаціи будеть.

Но его не успокоило это разсуждение. Думы, скопляясь, давили грудь все тяжелье.

— Потду въ Ямки, — вдругъ ръшилъ онъ. — Мареа, скажи Егору — пусть лошадь заложить.

У дверей въ круподерку стоялъ Кузьма, весь съдой отъ пыли, и посвистывая смотрълъ въ небо, гдъ въ лучахъ солнца таяла маленькая пышная тучка. Въ круподеркъ что-то бухало и скрипъло; изъ-за нея съ мельницы летъли серебряные всплески воды и густой шорохъ. Весь воздухъ былъ наполненъ тяжелыми, охающими звуками и застланъ тонкой дымкой пыли.

- Тихонъ Павлычъ, ремень-то, того гляди, перетрется,—сказалъ Кузьма, сплевывая въ сторону.
- Возьми тамъ у жены новый... Идуть дъла?—спросилъ Тихонъ Павловичъ у работника и тотчасъ же замътилъ за собой, что никогда онъ раньше не говорилъ съ работникомъ такъ ласково, какъ сегодня.
- Вертятся,—отвътилъ Кузьма, исподлобья наблюдая за хозянномъ.
 - Ну, и хорошо... А ты-пузырь, значить?
- Ну, пузырь, коли хотите,—неохотно согласился Кузьма и повелъ плечами.
 - Легкая у тебя жизнь!... да...
 - А на что она тяжелая-то?
- Върно,—согласился мельникъ и вздохнулъ. Онъ никакъ не могъ поймать словами ту думу, о которой хотълъ спросить у Кузьмы, и чувствовалъ, что, стоя передъ нимъ такъ—молча и съ опущенной головой—онъ роняеть въ глазахъ работника свое хозяйское достоинство.
 - А ежели... умирать придется... Тогда какъ?
- Придется—ляжемъ и умремъ,—все болъ подоарительно оглядывая хозяина, отвътилъ Кузьма.
 - Та-акъ. А другіе-прочіе люди?
- A что другіе? И они умруть, придеть и ихъ время...
- Да-а!—вадохнулъ Тихонъ Павловичъ. Это такъ всъ умрутъ... Грустно это для человъка...

Кузьма пошевелиль усами, запустиль одну руку въ свои рыжіе волосы, другую сунуль въ карманъ шаро-

варъ и, переступивъ съ ноги на ногу, вдругъ широко улыбнулся.

— Вы бы, хозяинъ, повхали до города, да и кутнули тамъ во всю; вотъ оно вамъ и помогло бы! А то у васъ, видно, на душв-то, какъ у трубочиста за пазухой. Такъ ли?

И Кузьма дотронулся рукою до плеча хозяина и захохоталь. Его движеніе и смёхъ поразили мельника. Онъ какъ бы потеряль сознаніе своей личности и глупо улыбался работнику, въ то же время чувствуя себя до боли обиженнымъ имъ.

- Ахъ ты, Кузьма... Какъ ты это? Въ Ямки я повду, это точно... къ учителю... за разговоромъ...
- Валяйте-ка! Тамъ Дуняша Дикова такимъ васъ разговоромъ угостить, что изъ васъ всё мысли повыскочуть, какъ блохи изъ огня,—напутствовалъ Кузьма уходившаго отъ него хозяина.

Минуть черезъ пять сытый гифдко Лукичь солидной развалистой рысцой бъжаль по извилистой, мягкой дорогъ, съ объихь сторонъ глухо заросшей кустами оръшника и калины. Гибкія вътки задъвали Тихона Павловича за голову, заглядывали ему въ лицо, и когда листъ попадаль въ губы, мельникъ поворачиваль головой, отплевывался и все думаль о своей пошатнувшейся жизни.

"Плохо все, плохо", —думается ему.

"Тоже... жизнь! Живешь себъ какъ всъ, и ничего бы... А вдругъ нашла воть на тебя этакая раздумчивая полоса, и все перевернулось вверхъ тормашками".

Въ странномъ, прыгающемъ безпорядкъ осаждаютъ думы голову человъка, не приспособленнаго къ нимъ, и всъ онъ непривычны, чужды, новы ему. И ему жалко прежнихъ спокойныхъ дней, когда все было такъ ясно и хорошо.

Бывало, послъ вечерняго чая, сидя на крыльцъ, онъ заставлялъ Митьку читать страшные разсказы изъ "Вокругъ Свъта". Около него все семейство: жена, дочь, а

кругомъ такъ тихо, родственно и дорого. Душа чиста и спокойна, думать не о чемъ. Иногда попадается интересная картинка: изображены на ней деревья съ такими громадными узорчатыми листьями; ръка течеть; ширь, даль, просторъ, не наши русскіе — пустынные и скучные — а такіе заманчивые. И семейство разсуждаеть: "воть бы гдъ мельницу-то поставить!" Поговоривъ объ этомъ, снова всъ утонуть въ чемъ-то такомъ тепломъ и мягкомъ, какъ пуховикъ, и уже говорить не хочется ни о чемъ больше. Такъ бы все и сидълъ, молча и не двигаясь.

Показались Ямки. Разсыпанные по пригорку овины, клютушки и избенки, казалось, были кюмъ-то сразу брошены на землю, да такъ и прихилились испуганно и убито, не смея выстроиться въ одну ровную линю. Грязно-сырые, ничтожные, они казались еще жалче и бъдней подъ покровомъ безстрастнаго, глубокаго неба, раскинувшагося надъ ними задумчиво и важно.

- Ишь ты, тоже человъческое жилье! думалъ Тиконъ Павловичъ, подъвжая къ нимъ. — Въ каждой такой хороминъ тоже человъческая душа живетъ, даромъ что постройка-то комариная. Ну, ну, Лукичъ, пошеведивайся!
- Къ учителю вду... А зачвиъ? Для разговору... Чудно... Какой же это будеть разговоръ? Будеть онъ меня попрекать, скажеть: "охъ, ты, человъкъ, подумай о душъ-то!" и объяснить мнв мент. А я ему вали, не стъсняйся!... Каюсь гръшенъ... Въ газеты ты написалъ правильно... объегорилъ я ихъ. И хоть и они меня объегорили, но они меня одинъ разъ, а я ихъ три! Хочешь писать пиши! Валяй! Но допрежде объясни, почему я раньше жилъ и ничего у меня, никакой дурости не было, а нынъ воть я замотался? Предълъ это человъку или его собственное неразуміе? Положено судьбой или самъ онъ выдумалъ?... Н-но, Лукичъ!

Лукичь фыркаль отъ ныли, забившейся ему въ нозд-

ри, поматываль головой и, солидно вскидывая ноги, подвозиль своего гръшнаго хозяина къ Ямкамъ.

Воть и школа, похожая больше на бъляну, опрокинутую вверхъ дномъ, чъмъ на храмъ науки. У одного изъ ея трехъ оконъ сидитъ учитель, строгая ножомъ какую-то палочку, и равнодушно смотрить на подъъхавшаго мельника.

- Добраго здравія, Александръ Ивановичъ! Въ гости къ тебъ прискакалъ; примешь, что ли?
- Милости прошу, -- сказалъ учитель и ушель отъ окна.

Сухой тонъ учителя и его серьезное, худое, жесткое лицо смутили Тихона Павловича, и его сердце непріятно сжалось.

Онъ долго копался около телъжки, завязывая вожжи за облучокъ, прежде чъмъ войти въ школу, а проходя мимо одного окна, увидълъ, что учитель ставитъ на полку какую-то толстую книжицу и улыбается, ъдко такъ улыбается.

— Еще разъ здравствуй! — съ принужденной развязностью сказалъ мельникъ, протягивая руку учителю. — Ф-фу, какъ жарко!

Учитель молча сунуль ему холодные, костлявые пальцы и, какъ-то особенно кивнувъ головой на лавку, кратко бросилъ:

- Садитесь...
- Сядемъ, согласился мельникъ и сълъ на скамью у окна, гдъ прежде сидълъ учитель, который теперь, заложивъ руки за спину и покашливая, уже расхаживалъ по комнатъ, все ускоряя шаги.

Молчаніе. Тихонъ Павловичъ сидълъ и, независимо потирая лъвой рукой кольно, а пальцами правой расчесывая себъ бороду, внимательно осматривалъ убогую обстановку маленькой комнаты съ двумя дверьми, одной въ съни, а другой въ большую сараеобразную школу. Въ комнатъ всей мебели — столъ, два стула, койка,

полка съ книгами и деревянный обрубокъ, на которомъ онъ усълся. Вотъ учитель подошелъ къ полкъ и сталъ разсматривать книги на ней, точно желая убъдиться, ть ли это книги, которыя стояли туть до прівада гостя. Обоимъ имъ неловко, и оба они ясно это чувствують, отчего имъ еще болъе неловко, и ихъ молчание становится съ каждой минутой все тяжелъе.

- Дъло какое имъете до меня? спрашиваеть учитель, подходя отъ полки къ гостю и въ упоръ глядя на него. Лобъ у него наморщенъ, брови хмуро съежились. Ему хочется кашлять, но онъ почему-то удерживается оть этого, плотно сжавъ губы, что вызываеть на лицъ его бурыя пятна и заставляеть худую, ввалившуюся грудь вадыматься высоко и нервно.
- Хм-мм... тянетъ мельникъ, отводя глаза въ сторону отъ учителя, и думаетъ про-себя:
- Ледащій какой... Не долго ты, брать, покашляешь... Ему вспоминается тоть "гвоздь", надъ которымъ въ городъ благообразный господинъ говорилъ ръчь.
- Какъ бы тебъ, Александръ Ивановичъ, сказать? И говоря это, мельникъ все думаетъ: — Надъ этимъ словъ говорить некому будетъ... Такъ въ одиночку и исхизнеть. Закопають его мужички въ землю — и вся недолга. И больше ничего... Хоть и онъ тоже пишетъ... однако, у него кишка слаба, видно. Пишеть -- и въ деревнъ живеть... Какъ бы мнъ это начать разговоръ?
- Можеть, чай станете нить? спросиль учитель и, наконецъ, страшно закашлялся, схватившись за грудь руками. Лицо у него стало сърое, весь онъ изгибался, и въ груди что-то свистело, бухало, скрипело, точно тамъ были спрятаны старые ствиные часы и теперь они собирались бить.
- Можно и чаю попить, ръшаеть Тихонъ Павловичъ. - А здорово ты кашляешь! Кажись, съ чего бы это? Время льтнее — тепло... а? — Такъ ужъ... — говорить учитель, опускаясь на

стуль, и въ этихъ двухъ словахъ звучить что-то такое очень грустное. Мельникъ почувствовалъ, что на него повъяло холодной скукой отъ этихъ простыхъ и ничего не говорящихъ словъ.

— Ивановна! поставьте самоваръ, — кричитъ учитель въ окно. Вскоръ въ съняхъ раздается шумъ желъза, и Тихонъ Павловичъ знаетъ, что это гремитъ самоварная труба, но не знаетъ, съ чего начатъ разговоръ съ учителемъ.

Тотъ тоже молчить, хмуря брови и уставившись лбомъ въ полъ. И снова это молчаніе длится долго и злить ихъ обоихъ.

- Труба упала, сообщаеть Тихонъ Павловичъ учителю. Тотъ всталъ и, подойдя къ двери, говоритъ:
 - Ивановна, труба упала!
- Вижу, чай. Тутъ въдь я, —ворчливо отвъчають ему. Паденіе трубы какъ бы ободряеть этихъ двухъ людей, давившихъ другъ друга.
- Ну-съ, такъ вотъ... говорить учитель, потирая лъвый бокъ. Вы, значить, хотите говорить со мной...
- Это самое... соглашается мельникъ, кивая головой.
 - Хорошо... Я догадываюсь, о чемъ именно...
- Hy? подымая брови, спрашиваеть Тихонъ Павловичъ и недовърчиво улыбается.
- Конечно, о томъ, что я написалъ про васъ въ газетъ, — сдвигая брови, говоритъ учитель и зачъмъ-то озабоченно отдуваетъ щеки и еще суровъе хмуритъ лобъ.
- Такъ я и думалъ, что это ты писалъ! воскликнулъ мельникъ. — Ахъ ты...

Учитель, очевидно, не ожидаль этого восклицанія: онъ широко открыль глаза и пристально взглянуль вь лицо гостя.

- Думали!?
- Думаль! Непремънно, моль, это онъ! Потому толь-

ко двое могуть это... ты, да попъ Алексъй. Онъ тоже сердить на меня...

- Т.-е., какъ же это тоже? Развъ я на васъ сердить? — удивился учитель.
 - А то какъ же!
 - -- Да за что?
- A кто тебя знаетъ! Написалъ да и все; а я понимай, какъ хочу...
- Позвольте! Я писаль не по личной непріязни къ вамъ, а изъ чувства справедливости, вздрагивая и какъ-то точно загораясь, проговорилъ учитель и, поднявъ тонъ, добавилъ:
- Вы не имъете никакого права говорить, что я написалъ потому, что былъ сердить... да!
- Толкуй! скептически махнуль рукой мельникъ. А зачъмъ же ты писалъ?
- Затъмъ, что вы поступили съ кирюшинскими крестьянами... не честно!
- O! воть какъ ахнулъ! Не честно! А они, когда у меня плотину прорвало, честно дълали? Небойсь, ты про нихъ не написалъ воть!?
 - Но, позвольте! все болве разгорался учитель.

Лицо у него покрылось пятнами, и онъ сталъ какъто заикаться, очевидно, желая сказать много, но не зная, съ чего начать. У него странно вздрагивали уши, сверкали глаза, и все его нервное, худое лицо то и дъло измънялось. И мельникъ, глядя на него, тоже закипалъ.

- Чего позвольте! Про меня написаль и про нихъ пиши. Коли я съ ними поступилъ не по совъсти, такъ ты самъ знаешь, что и они со мной поступили этакъ же; на твоихъ глазахъ было. Однако, вотъ ты молчишь! А говоришь изъ справедливости! Эхъ ты...
- Hy-съ, дальше что же? спросилъ учитель, и вдругъ, какъ-то весь изогнувшись, кашляя и торопясь, быстро глотая слова, зачастилъ:

- Вы не понимаете... я не могъ... т.-е. я... Вы подозръваете меня чорть знаеть въ чемъ! Какая у меня можеть быть... къ вамъ вражда? Т.-е. нътъ.. она есть! Она всегда будеть! — вдругъ высоко выкрикнулъ онъ.
- Ну, воты Ага! А говоришь: по спра-аведливости! Какъ же по справедливости, коли изъ злобы? Эхъ ты! И жить-то тебъ не долго осталось, а ты людей мутишь! Меня дочь какъ этой твоей писулей смазала! Родная дочь пойми! За что?
- Позвольте! уже кричаль учитель. Какое мив дъло до вашей дочери? Я не говорю: я къ вамъ лично чувствую вражду, а говорю къ группъ, классу.
- Ты мит мудреныхъ словъ не говори, не надо! Я и такъ тебя понимаю хорошо.
- Нътъ, я... Вы оскорбляете меня вашими подозръніями! Вы можете опровергнуть меня фактами, доказать, что я невърно поняль событіе, что я не правъ... но говорить...
- Я все съ тобой могу говорить, стукнувъ себя въ грудь ладонью и, вставая со стула, съ сознаніемъ собственнаго достоинства заявилъ мельникъ: Я лицо въ округъ... Меня на сто верстъ кругомъ знаютъ и уважають, а тебъ вся цъна восемнадцать рублей въ мъсяцъ...
- Я не хочу... Учитель топнулъ ногой и, весь дрожа, задохнулся отъ волненія и приступа кашля. И пока онъ кашляль, со стономъ корчась отъ боли и недостатка воздуха въ пораженныхъ легкихъ, Тихонъ Павловичъ, стоя передъ нимъ въ важной позъ побъдителя, но великодушнаго человъка, громко и отчетливо, съ краснымъ, возбужденнымъ лицомъ и сознаніемъ своей правоты и силы въ тонъ, отчеканиваль ему:
- Эхъ ты, справедливый человъкъ! Обличаешь другого, а самъ себя тоже воть обличилъ! Какая тебъ цъна послъ этого? Я, было, къ тебъ, какъ къ умному, съ разговоромъ пріъхалъ... поговорить по душъ про то...

какъ и что... потому какъ душа у меня смутилась... А ты что? Поняль ты меня? Написаль? Ну, и что жъ? И написаль! А кто читаль? Одинъ попъ читаль... Я все такой же, какъ быль, такъ и остадся... н-да... Я къ тебъ прівхаль съ душой, а не съ враждой, а ты гнешь себъ свое, да кричишь на меня. Можешь ты на меня кричать? 18 руб. въ мъсяцъ получаеть, живеть безъ всякаго закона, одинъ, какъ перстъ, а туда же — справедливость! Э-эхъ! Прощай, брать! Не обижаюсь я на тебя за твою дерзость, а жаль мнъ тебя... жаль... Прощай! Плохая твоя жизнь, и всъ мы умремъ... не надо этого забывать... ла!

Тихону Павловичу подъ конецъ его ръчи сдълалось чуть не до слезъ грустно. Учитель, охваченный припадкомъ кашля, сидълъ на стулъ согнувшись и, низко наклонивъ впередъ голову, весь дрожалъ. Одной рукой онъ держался за бокъ, а другой судорожно махалъ въ воздухъ, должно быть желая остановить расходившагося купца.

Мельнику было жалко смотръть на него и въ то же время ему котълось сказать что-то такое чувствительное, что защемило бы сердце учителя тъмъ же чувствомъ, которымъ полно его, мельниково, сердце. Но ничего такого у него не выходило. Чувствительныхъ словъ не было, котя голосъ дрожалъ и переливался нотами низкими и какъ бы плачущими. Мельникъ сознавалъ, что все, что произошло между нимъ и учителемъ, очень обидно для обоихъ ихъ, и ему закотълось прекратить скоръе эту тяжелую сцену.

- Прощай! Не поминай лихомъ... предстанешь предъ Господомъ... И, махнувъ рукой, онъ глубоко напялилъ на голову картузъ и поспъшно вышелъ вонъ.
- Нътъ, позвольте... раздалось вслъдъ ему хриплое, возбужденное восклицание учителя.
- Ладно! буркнулъ себъ подъ носъ мельникъ, отвязывая вожжи.

- Воротитесь... Мы должны... появился учитель у окна. Онъ высунулся до половины на улицу, держась одной рукой за косякъ, а другой сильно жестикулируя.
- Никто ничего не долженъ... Всѣ мы люди... бормоталъ Тихонъ Павловичъ, занося ногу на подножку телѣжки.
 - Воротитесь! крикнуль учитель.

Онъ очень странно крикнулъ. Тихонъ Павловичъ обернулся и посмотрълъ на него. Лицо у него было страшное, глаза мутные, лобъ въ поту и горло спазматически сжималось.

Мельника кольнуло что-то.

— Э... другорядъ прівду! Все равно!

И отчаянно махнувъ рукой, онъ больно хлестнулъ вожжами Лукича, сразу подхватившаго телъжку въ бойкую рысь. Учитель что-то кричалъ вдогонку.

— Катай! — крикнулъ Тихонъ Павловичъ еще разъ, ударивъ лошадь, и даже скрипнулъ зубами, желая заглушить въ себъ горькое чувство, наполнявшее его.

Вывхавъ за деревию, онъ несколько остыль. Лукичь быстро семенилъ ногами по извилистой дорогъ среди золотой пустыни вызравшаго хлаба. Впереди дороги, на горизонть, собиралась туча: темно-сизыя, лохматыя облака сползались въ тяжелую, почти черную массу, и она двигалась навстречу мельнику, бросая отъ себя на землю густую тынь. И на душу ему ложились снова твни. Онъ дернулъ вожжами и, не думая, своротилъ влъво, на болъе широкую и убитую колею. Туча осталась теперь справа, а впереди въ желтомъ моръ хлъба быль видень маленькій, темный островокь ліса и коегдъ среди колмистой пустыни, ярко залитой солнцемъ, бросались въ глаза широкія, черныя ленты вспаханной земли, одинокія въ богатой нивъ, бъдныя, унылыя. Съ нихъ на душу мельника въяло чъмъ-то родственнымъ ей. А хлъбъ, волнуемый вътромъ, тихо шумълъ. шепча синему небу надъ нимъ. Лукичъ бъжалъ, и навстръчу ему, зеленъя, приближался островокъ лъса, обрисовываясь все рельефнъе на ярко-желтомъ фонъ нивы и мутно-голубомъ небъ.

- А въдь это я на станцію ъду!—подумалъ мельникъ, когда изъ-за холма показалась линія телеграфныхъ столбовъ и коричневый уголъ сторожевой будки, утонувшей въ кучъ земли вокругъ нея.
- А не повхать ли мнв въ городъ? Лошадь со станціи домой отошлю съ квмъ-нибудь... Н-да. Къ учителю съвздиль, поговориль. Хе-хе! Учитель! А ты учить-то—учи, да и самъ тоже поучивайся, понимай вокругъ-то себя, какъ и что. Какой бы это льшій загналь меня къ тебь, кабы душа къ тому не понудила? И долженъ ты, учитель, всегда на такой точкъ стоять, чтобы человъку до тебя, не уродуя себя, взобраться можно было. А то—эка вотъ!—вперся со строгостью-то своей выше печной трубы, да и пошель оттуда пророчить... Добродътели стопудовыя!

Чъмъ дольше онъ думалъ, тъмъ яснъе становилось, что учитель виновать. Дъло было какъ? Онъ, Тихонъ Павловичъ, нарочно далъ ходъ разговору о корреспонденціи для того, чтобы пристыдить и смягчить сердитаго учителя, показавъ ему, какъ у него, мельника, тяжело на душъ отъ этой корреспонденціи и какъ онъ понимаетъ свою вину. И если бы учитель былъ помягче, онъ бы изобразилъ ему свои думы. А вышло, что учитель-то занесся въ облака... Когда мельникъ убъдилъ себя, что все это именно такъ и было, ему стало очень больно и обидно.

— Эхъ, люди! Не можете вы обращать вниманія на другого, коли онъ вамъ не нуженъ и вы его не боитесь. Куда какъ хорошо это! А еще учителя—ученые люди! Видно, соблюденіе-то своей строгости дороже вамъ чужой души...

И чувствуя, какъ свободно у него въ головъ форми-

руются разныя мысли, Тихонъ Павловичъ вдругъ произнесъ вслухъ:

— Теперь бы воть намъ съ тобой повоевать, учитель! Неизвъстно, чья бы еще взяла.

Лукичъ бодро подбъгаль къ выплывшей изъ-за холмовъ станціи, а навстръчу ему, свистя и разметывая въ воздухъ толстый жгуть бълаго пара, приближался поъздъ, наполняя воздухъ тяжелымъ грохотомъ.

И грохоту поъзда отвъчали раскаты грома изъ тучи, охватившей мракомъ уже почти двъ трети неба. Черезъ нъсколько минутъ Тихонъ Павловичъ сидълъ въ вагонъ и мчался степью, слъдя глазами за мелькавшими мимо оконъ полосами хлъба и вспаханной земли.

Черное небо то и дъло рвали огненныя стрълы молніи, и громъ гудълъ надъ быстро летъвшимъ поъздомъ. Шумъ колесъ на стыкахъ рельсъ и лязгъ сцъпленій пропадали въ ревъ грома, а неуловимо быстрыя молніи, мелькая мимо оконъ, слъпили глаза.

— Куда я ѣду?—подумалъ Тихонъ Павловичъ, робко прижимаясь въ уголъ сидънья.

Тамъ, на волъ, все гремъло и сотрясалось, точно совершалась какая-то гигантская работа разрушенія...

— Зачъмъ мнъ въ городъ?—тоскливо спрашивалъ себя мельникъ.

Его встряхивало, покачивало; блескъ молніи заставляль его то и дъло щурить глаза, грохоть грома—вздрагивать и креститься. И, наконецъ, онъ задремаль, жалко прижавшись въ своемъ углу.

Π.

— Куда же бы мнѣ пойти? Къ кому?—спросилъ себя Тихонъ Павловичъ, отходя отъ вокзала два квартала, и почувствовалъ, что никого изъ знакомыхъ ему не хочется видѣть, да и вообще ничего не хочется.

Всю дорогу онъ спаль; прівхавь въ городъ, пошель

въ гостинницу, ълъ тамъ селянку, пилъ чай и смотрълъ въ окно, какъ шелъ дождь.

Дождь шелъ крупный, и долго онъ шелъ-часа три. и всв эти три часа мельникъ провелъ въ своихъ думахъ, навъявшихъ на него какое-то оцъпенъніе. Потомъ онъ ръшиль увхать обратно домой, но когда прищель на вокзаль, оказалось, что повздь уже отправился. Онъ сълъ на платформъ вокзала и смотрълъ, какъ маневрировали повзда и суетились разные чумазые, пахучіе люди-смазчики, составители, спъпщики, кондуктора товарныхъ повздовъ. Повзда приходили и уходили, и Тихону Павловичу вся эта суматоха станціонной жизни казалась какой-то неосновательной, непродуманной. Зачъмъ нужно такъ суетиться и хлопотать, такъ много отвозить и привозить, коли всв люди умруть, придеть время? А оно, можеть быть, завтра придеть... Нужно бы больше заботиться о поков... И мельнику снова страшно захотълось покоя, глубокаго, соннаго покоя, безъ думъ и безъ заботъ. И это желаніе потянуло его куда-то. Тогда онъ снова пошелъ въ городъ, и шелъ теперь холодный и безучастный ко всему, кромъ того, что смутно шевелилось въ его душъ, что было такъ непонятно ему и такъ мѣшало жить.

На улицъ—тихо и темно. Фонарей почему-то еще не зажгли, а уже всходила луна. По небу быстро летъли обрывки тучъ, а по мостовой и по стънамъ домовъ ползли густыя тъни. Воздухъ былъ влаженъ и душенъ, пахло свъжимъ листомъ, прълой землей и еще чъмъ-то тяжелымъ—обычнымъ запахомъ города. Пролетая надъ садами, вътеръ шелестилъ листвой деревьевъ, и отъ этого тихій и мягкій шопотъ носился въ воздухъ. Этотъ шопотъ и тъни отъ тучъ на все бросали колоритъ грусти и утомленія. Улица была узка, пустынна и подавлена этой задумчивой тишиной, а глухой грохотъ пролетки, раздававшійся гдъ-то вдали, звучалъ въ тишинъ какъто оскорбительно-нахально. Мельникъ шелъ тихо, зало-

живъ руки за спину, и несъ съ собой свои безформенныя полудумы, полуощущенія, одъвавшія его сердце въ холодъ и туманъ.

Вдругъ въ тишину откуда-то ворвалась толпа странныхъ, точно сцёпившихся между собой нотъ духовой музыки и понеслась надъ городомъ въ бёшено-громкомъ, но гармоничномъ вальсё. Одна нота была такая тяжелая, обрывистая—уфъ, уфъ! Она совсёмъ не вязалась съ остальными и, тяжело вздыхая, рвалась выше всёхъ остальныхъ... Казалось, что-то большое и тяжелое грузными прыжками пробуетъ вырваться на волю и не можетъ.

— Зайти, что ли?—спросиль себя мельникь, остановившись у отворенныхь вороть съ двумя ярко горъвшими фонарями. Прямо изъ вороть куда-то вдаль тянулась аллея акацій. И еще не ръшивъ, слъдуеть ему идти въ садъ, или не нужно, Тихонъ Павловичъ уже шелъ по ней, глядя на фонари, развъшенные вдоль аллеи на проволокъ и, покачиваясь отъ вътра, бросавшіе на бурую дорожку разноцвътныя пятна. Аллея круто повернула направо, и Тихонъ Павловичъ увидълъ эстраду, на которой игралъ военный оркестръ, передъ эстрадой—лавочки, на нихъ какія-то темныя фигуры. Ему не захотълось идти туда,—онъ сълъ на одну изъ скамей, стоявшихъ по бокамъ аллеи.

Шумъли деревья, и надъ ними по небу, все болъе очищая его, мчались клочки тучъ. Какая-то женщина прошла мимо Тихона Павловича... Онъ равнодушно посмотрълъ ей въ спину, она воротилась и снова прошла мимо. Тогда онъ про-себя обругалъ ее... Вдругъ она направилась къ нему, съла съ нимъ рядомъ и заглянула ему въ лицо. Передъ нимъ мелькнули темные, пытливые глаза, большія красныя губы и прямой, красивый носъ. Онъ степенно и брезгливо отодвинулся, и ему стало какъ-то еще скучнъе,

[—] Скучно, купецъ?—спросила его сосъдка.

— Да-а...—протянуль онь, но сейчась же спохватился и хмуро сказаль ей:—Проваливай...нечего даромъто лясы точить... Не таковскій...

Она засмъялась глубокимъ, груднымъ смъхомъ.

— Сердитый... Не бойся, не трону... Мнъ самой скучно, воть... я и спросила...

Онъ помолчалъ, ожидая, что она встанетъ и уйдетъ. Но она не уходила, а позъвывая, продолжала сидътъ рядомъ съ нимъ. Онъ искоса посмотрълъ на нее и увидалъ, что она еще очень молода и красива. Долго длилось молчаніе. Музыка перестала играть и снова начала, на этотъ разъ что-то уже менъе шумное.

- Что же ты торчишь туть, если тебѣ скучно? вдругъ какъ-то незамѣтно спросилъ Тихонъ Павловичъ свою сосѣдку.
 - А ты чего?—не глядя на него, кротко бросила она.
 - Я пріважій... куда я пойду?...
- Въ номеръ, гдъ остановился, и иди, а то въ трактиръ.
- Ишь ты!—сказалъ Тихонъ Павловичъ и, помолчавъ, прибавилъ:—Чай, тамъ тоже скучно одному-то...
 - Компанію найди...
 - На улицъ, что ли, мнъ ее подбирать?
 - Въ трактиръ всегда компанія есть.
- Это, положимъ, такъ...—вздохнулъ мельникъ и подумалъ:—А что, въ самомъ дълъте не пойти ли миъ въ трактиръ? И ее... эту взять съ собой... Можетъ, что и выйдетъ?—Ты пойдешь со мной въ трактиръто?— спросилъ онъ.

Она отвътила не сразу, какъ-то замялась.

- Пожалуй... Человъкъ только туть одинъ будетъ искать меня.
 - Ну, какой тамъ человъкъ?
 - Нъть, върно... Мастеровой одинъ...
 - На что онъ тебъ? Плюнь, попдемъ...

Ему положительно стала улыбаться мысль о хорошей пирушкъ.

- Да я иду... Онъ, чай, навстръчу попадеть...
- Больно нужно! сказалъ мельникъ, поднимаясь со скамьи. Айда!

Она встала и пошла, высокая и стройная, въ бъломъ платочкъ на головъ, рядомъ съ нимъ, кряжистымъ человъкомъ, въ поддевкъ почти до пятъ.

- Нъть, кабы встрътить его, хорошо бы было,—говорила она, и зачъмъ-то пояснила:—Это безрукій...
 - Это какъ?
 - Оторвало ему руки-то на машинъ.
- Такъ на что тебъ его?—нъсколько удивился Тихонъ Павловичъ.
 - А онъ поетъ больно хорошо.
 - Hy?
 - Мы съ нимъ сегодня хотъли на ръку пойти въ рощу...
 - Такъ...—усмъхнулся мельникъ.—Ну, такъ что же теперь?
 - А ничего,-кратко сказала она.

Они вышли изъ сада, и мельникъ, спросивъ, куда надо идти, крикнулъ извозчика. Подпрыгивая по неровной мостовой, пролетка съ дребезгомъ покатилась между двумя рядами домовъ. Было еще не поздно. Изъ оконъ на улицу лился свътъ лампъ и звуки голосовъ. Проъзжая мимо одного маленькаго бълаго дома за палисадникомъ, Тихонъ Павловичъ услыхалъ раскаты басистаго смъха, которому вторилъ смъхъ женщины, звонкій и задушевный.

- Живуть люди... не дурять, не мудрствують,—подумаль онъ съ огорченіемъ, и ему стало обидно за себя.
- Такъ говоришь безъ рукъ? помолчавъ, спросилъ онъ женщину.

Она плотно прижалась къ нему, держась одной рукой за крыло пролетки, а другой за его кольно.

- Миша-то? Да...—сказала она.
- Такъ. Онъ кто же тебъ будеть? Милый другь, что ли?
- H-ну! Тоже... Онъ уже старый, больной. Онъ давнишній нашъ знакомый—маленькую меня, бывало, на рукахъ таскалъ.
 - Ишь ты что! А отецъ-то у тебя кто?
 - Маляръ былъ.
 - Умеръ?
 - Въ холеру померъ... Скоро и прівдемъ.
- Такъ... А ты до этого чъмъ занималась? любопытствовалъ мельникъ, чувствуя, что когда онъ говоритъ, такъ ему какъ бы легче.
 - Швейка, отвътила она на его вопросъ.
 - Вонъ куда подъвзжай.

Черезъ нѣсколько минуть они сидѣли въ углу большого трактирнаго зала. Трактиръ былъ грязный, тѣсный, пахучій. Посреди зала за однимъ изъ столовъ шумѣла компанія пьяныхъ извозчиковъ; у одного изъ оконъ, заставленныхъ горшками герани и фуксій, пили чай два какіе-то подозрительные человѣка; одинъ—лысый, съ ястребинымъ носомъ, поминутно кашлявшій; другой—черный, съ солдатскими усами, меланхолично свистѣвшій сквозь зубы, глядя въ свой стаканъ. Въ углу у изразцовой печки сидѣлъ сѣденькій старичокъ съ благочестивымъ, истомленнымъ лицомъ и сладко пришуренными глазками. Было еще нѣсколько человѣкъ,—всѣ они очень странно были разбросаны по большой, закоптѣлой комнатѣ и никто не обращалъ вниманія другъ на друга.

Мельникъ съ своей подругой усълись въ темномъ углу у двери въ маленькую комнатку, и имъ хорошо быль виденъ весь трактиръ, освъщенный пятью стънными лампами. Ихъ столъ стоялъ у окна; оно было открыто, и съ улицы на нихъ въялъ теплый вътеръ, густой отъ разныхъ смъщанныхъ запаховъ.

- Тебя какъ звать-то, красавица?
- Анной.
- Ну-ка, Аннушка, выпьемъ для знакомства.

Онъ налилъ изъ поставленной передъ нимъ бутылки двъ рюмки водки; они чокнулись и выпили. Аннушка сняла съ головы платокъ и стала красивъе: волосы у нея были густые, волнистые, каштановые, глаза — продолговатые, каріе, и глубоко въ нихъ горъла такая хорошая, живая искорка. Она то прищуривала ихъ, то открывала, перебирая пальцами полной и бълой руки сборки ситцевой кофточки на груди.

- А плясать ты умъешь русскую? спросилъ Тихонъ Павловичь, разсмотръвъ ее и найдя, что она должна быть особенно хороша въ пляскъ, когда идетъ этакъ бокомъ и поводитъ плечами, подманивая къ себъ глазами...
 - Пляшу...-отвътила она, снова наливая рюмки.
 - И выпиваешь-таки, видно? усмъхнулся мельникъ.
- А какъ же? Такая жизнь... Намъ не пить нельзя... спокойно заявила она.
- Развъ ужъ больно тяжело?—допращивалъ мельникъ, не скрывая недовърія къ ней и все продолжая насмъшливо улыбаться.

Она отвътила не сразу: сначала повела плечами, оправила волосы на головъ, отломила ломтикъ чернаго хлъба, понюхала его съ видомъ записной пьяницы, потомъ положила въ ротъ и, медленно пережевывая, заговорила:

— Чай, если и васъ заставить цъловаться со всякой бабой, какая того отъ васъ захочеть, такъ и вамъ, даромъ что вы мужчина, противно это станеть. А наша сестра должна... потому хлъбъ. А въдь среди васъ хорошихъ-то больно мало, больше все... такіе, что, того и гляди, стошнить. Опять же и гръхъ... Мы не безчувственныя какія — Бога помнимъ все-таки... совъстно. Иногда—особенно съ похмелья—такъ жутко станеть, что

Digitized by Google

воть взяла бы да и сунула голову въ петлю... Ну, сейчасъ возьмешь полбутылки, да и оглушишь себя натощакъ-то... И втянешься... Безъ водки на такое дъло нельзя выходить—не сможешь... затоскуешься...

Еще съ начала ея ръчи Тихонъ Павловичъ почувствоваль, что ея глаза съ этой искрой въ нихъ какъ-то щиплють его за сердце, остановившись на его лицъ и какъ бы стараясь запомнить его. Когда она сказала свое "такіе"... и сдълала паузу послъ этого слова—онъ почувствоваль, что въ этой паузъ много обиднаго для него. А потомъ она заговорила о Богъ. Онъ пригласилъ ее съ собой совсъмъ не для этого. И тогда въ душъ его вспыхнуло раздраженіе противъ нея. Онъ строго и въско заговорилъ:

— Кому что назначено, тоть и должень нести свою тяжесть... н-да. А воть я прівхаль съ тобой сюда для веселья, а не для постныхъ разговоровъ. Разговоръ такой—совсвив не при чемъ въ нашемъ двлв. Желаю я разгуляться и чтобы съ трескомъ... понятно? Сто цвлковыхъ брошу, но чтобы быль отдыхъ душв. Чтобы вихрь быль! Можешь ты мнв въ этомъ двлв способствовать? Двйствуй — десятку дамъ! Но чтобы — вотъ какъ было! Й съ глазами, внезапно загорввшимися дикимъ огнемъ, онъ повелъ рукой по шев и мотнулъ головой, защуривъ глаза.

Она поняла его и тоже какъ бы сразу вспыхнула вся. До этой поры онъ ей казался мямлей, солиднымъ бородачомъ-семьяниномъ, который и согръщить желаеть только до извъстнаго предъла; но теперь ей стало ясно, что онъ можеть развернуться широко. И блеснувъ глазами, она встала со стула, накидывая на голову платокъ и говоря:

— Такъ бы вы сразу и сказали, а то чешете языкъ, и невозможно понять—зачъмъ. Посидите, я въ минуту ворочусь. Сейчасъ будетъ гармонистъ, пъсни будемъ пъть, спляшемъ... А вы, пока я хожу, переберитесь-ка

Digitized by Google

воть сюда...—она указала рукой на сосъднюю комнату, да закажите чаю, водки еще и закуски... Ну те-ка, я тяпну еще одну!

Она "тяпнула" рюмку водки, улыбнулась и исчезла. Онъ подозваль полового, сказаль ему все, что было нужно, и перешель въ сосъднюю комнату. Она представляда изъ себя что-то вродъ коридора — не по длинъ узкая и прокопченая. Въ ней было три окна, всъ на улицу; въ одномъ проствикв висвла картинка, изображавшая охоту на медвъдя, въ другомъ - голую женщину. Тихонъ Павловичъ посмотрълъ на нихъ и сълъ за круглый столикъ, стоявшій передъ широкимъ кожанымъ диваномъ, надъ которымъ опять-таки висела картина, изображавшая не то некошеные луга, не то море въ тихую погоду. Въ центръ картины помъщалось коричневое пятно, которое съ удобствомъ можно было счесть и за избушку, и за корабль. По бокамъ рамы горъли двъ лампы. Въ сосъдней комнатъ гудъла публика, все прибывавшая, звенёли стаканы, хлопали пробки откупориваемыхъ бутылокъ.

— Попробуемъ встряхнуться...-думалъ Тихонъ Павловичъ, наливая себъ водки и проглатывая ее. -- Авось, послъ встряски и оживемъ. Будетъ, поваландался съ собой. Кабы можно было мнв понимать какъ и что дъло другое. Но понимать я не могу. Томить меня, а что томить?--неизвъстно это мнъ. Сосеть-и все... Ну, положимъ, умеръ человъкъ-что же такое? Дъло ясноежиль, оттого и умерь. И я умру... Душу забывать не надо - это точно. Но чего она хочеть? Кабы я могь это понимать! — Ему вспомнился Кузька. — Онъ воть даеть просторъ себъ. Живеть и знать ничего не хочеть... и никакимъ думамъ не подверженъ. А въдь у него тоже душа, ежели правильно разсудить. И у учителя душа. Однако, всъ люди — разные. Вотъ и эта... бабенка говорить тоже: жить — говорить — совъстно. А почему совъстно, ежели судьба? Безъ Вожьей воли и волосъ съ твоей головы не падетъ...—Туть ему снова вспомнилось что-то отдаленное, неясное, но что снова одъло его голову и сердце сырымъ и тяжелымъ туманомъ.

Онъ тяжело вздохнулъ, выпилъ и, откинувшись на спинку дивана, прислушался къ себъ.

Почему-то ему представилась большая труба военной музыки въ саду.

- Уфъ, уфъ, рычала она, выбиваясь изъ толпы другихъ нотъ. Потомъ онъ ясно вспомнилъ дребезгъ пролетки, что такъ грубо нарушалъ грустную тишину вечера.
- Развъ можно самого себя понимать, коли человъкъ, можно сказать, какъ мельница: цълый день разныя разности перетираеть своимъ умомъ? съ обидой на кого-то подумалъ Тихонъ Павловичъ.—Хорошо тъмъ, которые могутъ понимать какъ и что; ну, а намъ гдъ же? Мы—люди ущемленные, темные. Душа... я понимаю! Но какой есть мой настоящій путь—какъ я это могу разобрать? Вотъ и загвоздка...

Однако, въ немъ, гдѣ-то тамъ глубоко, все ныло чтото, все покалывало его какое-то острое ощущеніе. И ему казалось, что онъ какъ бы раздвоился: одна его половинка незамѣтно для другой старается куда-то столкнуть ее, или какъ бы онъ осторожно обходитъ самъ себя, какъ обходилъ онъ разныхъ мужичковъ, вступавшихъ съ нимъ въ сдѣлки.

— Въдь развъ я спорю?—доказываль онъ самъ себъ, хмуря лобъ.—Гръшенъ и закоснълъ-понимаю... Но какъ мнъ распростаться-то? Придеть пость—буду говъть, а до той поры—ужъ какъ ни то—надо сносить.

И все-таки въ концъ концовъ онъ ясно чувствоваль, что одному ему не годится оставаться здъсь долго, что его опять понемногу охватываеть и засасываеть тоска. Онъ боялся ея возвращенія. Она было утихла тамъ, въ саду и по дорогъ сюда, а теперь вотъ снова является,

растеть, отуманиваеть его и застарляеть чувствовать какую-то неловкость и смущеніе. Онъ всталь, налиль рюмку водки, выпиль и вышель въ ту комнату, гдѣ сидѣль раньше.

— И чего эта чортова кукла провалилась?—съ негодованіемъ подумаль онъ.

На него уставилось нъсколько паръ любопытныхъ глазъ. Черный человъкъ съ солдатскими усами измъряль его пристальнымь взглядомь, въ которомь свътилось что-то недоброе. Онъ повернулся назадъ и отшатнулся въ сторону. Передъ нимъ стоялъ высокій человъкъ въ красной рубахъ, пустые рукава которой свободно болтались по бокамъ, ниспадая отъ плечъ. Клинообразная русая борода удлиняла его блъдное, испитое лицо съ лихорадочно-блествишими сврыми глазами; длинная шея съ изогнутымъ и вытянувшимся впередъ кадыкомъ придавала этой странной фигуръ что-то журавлиное. На ногахъ у него были валенки и плисовыя шаровары, вытертыя на колвняхъ. Ему было, навврное, лътъ подъ пятьдесятъ, но глаза молодили его. Онъ смърилъ Тихона Павловича глазами и прошелъ мимо него въ длинную комнату.

- Значить, вы и есть купецъ?...—сказаль онъ, когда увидаль, что мельникь вошель за нимъ.
 - -- Я...
 - Налейте мнъ рюмочку.
 - Изволь.
 - И поднесите.
 - Могу.

Мельникъ налилъ водки, поднесъ ее къ губамъ безрукаго, и тотъ сразу, потянувъ въ себя воздухъ, съ какимъ-то особеннымъ свистомъ выхлебнулъ ея содержимое все до капли.

- Закуски надо?
- Не употребляю послъ первой рюмки.
- Налить еще?

— Покорно благодарю...

Онъ говорилъ высокимъ металлическимъ голосомъ, и послъ двухъ рюмокъ глаза его заблестъли еще ярче, а на лицъ вспыхнули два пятна. Тихонъ Павловичъ далъ ему кусокъ хлъба съ какой-то рыбой, тотъ взялъ его губами, сълъ на диванъ и, наклонивъ голову надъ столомъ, положилъ закуску на край стола и ълъ, быстро сгибая шею. Кусая, онъ далеко вытягивалъ нижнюю губу и удерживалъ ею пищу отъ паденія на полъ. Тихонъ Павловичъ смотрълъ на него, и ему было жалко этого изуродованнаго человъка.

- Какъ это руки-то?... спросилъ онъ съ соболѣзнующей нотой въ тонъ вопроса.
- Очень просто: попалъ въ пьяномъ видѣ въ приводный ремень—разъ, два! три мѣсяца въ больницѣ, и пошелъ въ нищіе! быстро разсказывалъ калѣка, вдоль и поперекъ измѣряя своими глазами мельника.
- -- Больно-то, чай, какъ было!--воскликнулъ Тихонъ Павловичъ, чмокая губами.
- Больно... но это прошло. А что прошло, того и нътъ. Скверно вотъ то, что есть, а то бы все наплевать.
 - Т.-е. какъ? не понялъ Тихонъ Павловичъ.
- Очень просто: жить безъ рукъ невозможно. Даже милостыни принять нечъмъ вотъ какая подлость! Ртомъ ловить—зубы вышибутъ.
 - Это върно, —засмъялся Тихонъ Павловичъ.

Въ калъкъ было что-то живое, бойкое, бодрящее, и его глаза сверкали такъ умно. Тихонъ Павловичъ подумалъ, что, должно быть, онъ хорошій и веселый парень, даромъ что безъ рукъ.

- Чего върнъе... кивнулъ головой безрукій и громко откашлялся.
 - А Аннушка скоро?-- спросилъ мельникъ.

Безрукій быстро вскинуль голову и остро посмотръль въ лицо Тихона Павловича. Тому показалось, что

это какой-то особенный, непріязненный взглядъ, и опъ скосилъ глаза въ сторону, немного смущенный.

- Вы гдъ ее... подцъпили? спросилъ безрукій.
- Въ саду... встрътились... счелъ нужнымъ мельникъ удлинить свой отвъть.
 - -- A!...
 - А что?
 - Такъ...
- Красивая дъвица...— сказалъ Тихонъ Павловичъ, чувствуя, что непріязнь къ нему все возрастаеть у его собесъдника.
 - Тоже калъка...-кратко бросилъ тотъ.
 - Т.-е. какъ?
- — Души нътъ. У меня машиной руки вырвало, а у нея душу жизнью. Жизнь у бъдныхъ людей проклятая — калъчить безъ всякаго резона. Жестокая жизнь.

Помолчали. Безрукій ерзалъ по дивану, точно разжигаемый какимъ-то нетерпъніемъ, а Тихонъ Павловичъ, исподлобья поглядывая на него, чувствоваль себя неловко и злился, и чего-то боялся, и снова начиналъ чувствовать внутри себя эти уже знакомые ему уколы. Во время разговора чувствуешь себя лучше — не замъчаешь ничего внутри себя, если говоришь о томъ, что внъ.

- Еще рюмочку?
- -- Давайте... Но больше не надо, а то не буду пъть.
- Въ пъвчихъ были?
- Я? Всвиъ быль—часовыхъ двлъ мастеромъ былъ, пввчимъ былъ, смазчикомъ на желвзной дорогв былъ, роговыми издвліями торговалъ, приказчикомъ по лвсной части... всего не упомню. Давно живу!
- H-да... Вонъ какъ...—сказалъ Тихонъ Павловичъ, поражаемый бойкостью собесъдника. Снова помолчали.
 - А долго не идеть она, Аннушка-то?...
 - Анюта?—какъ-то весь перекосился безрукій...—

Придеть!-И онъ сухо засмъялся.-Непремънно придеть... Вы ей десять цълковыхъ хотъли дать? Придеть—еще бы! За десять-то цълковыхъ, когда она за рр... эхъ! Онъ, извиваясь своимъ длиннымъ теломъ, закашлялся. — Знаете, я эту Анюту съ шести лъть знаю. Н-да... каково-съ? Я ее на рукахъ носилъ, пряники ей покупалъ, а теперь самъ воть живу подъ ея охраной... Я ей, бывало, пряники, а она мий теперь хлюбъ и водку... Времена перемънчивы... а люди — скоты. Впрочемъ, все держится въ своихъ законахъ, и человъкъ на землъ не болъе, какъ ничтожная гнида. Все въ порядкъ, ныть и плакать не стоить -- ни къ чему не поведеть. Живи и ожидай, когда тебя изломаеть, а если изломало уже — жди смерти! Только и есть на землъ всъхъ умныхъ словъ. Поняли? И Анюта, и я, и вы - всъ мы съ молодости нашей потеряли все, а нашли до сей поры шишъ съ масломъ! Върно-съ! И больше никакихъ. Всякіе разговоры — пустяки и чепуха. Я прежде былъ другого взгляда на жизнь и очень безпокоился за себя и за другихъ — какъ, молъ, и что, и какой смыслъ, и въ чемъ суть, и зачъмъ, и почему... Нынче — наплевать! Проходить жизнь извъстнымъ порядкомъ, ну, и проходи, — такъ, значитъ, надо, и я тутъ не при чемъ. Законы-съ; противъ нихъ невозможно идти... И незачъмъ потому что даже и тоть, кто все знаеть, ничего не знаеть. Ужъ повърьте мнъ въ этомъ случаъ -- съ умнъпшими людьми вель по этимъ дёламъ бесёды — со студентами и со многими священнослужителями церкви. Х-хе! Разсуждають люди о томъ, о другомъ и прочее... глупо-съ! очень глупо! О чемъ разсуждать, когда существують законы и силы? И какъ можно имъ противиться, ежели у насъ всв орудія въ умв нашемъ, а онъ тоже подлежить законамъ и силамъ? Вы понимаете? Очень просто. Значить, живи и не кобенься, а то тебя сейчась же разрушить впрахъ сила, состоящая изъ собственных твоих свойствь и намфреній и изъ движеній жизни! Это называется — фи-ло-со-фія-съ дъйствительной жизни... Понятно? — Онъ горълъ и кипятился, этотъ безрукій калъка, кидая одну за другой свои отрывистыя и туманныя фразы Тихону Павловичу. Тонъ его ръчи быль странень: въ немъ звучала и горькая обида, и полная безнадежность, и насмъшка надъчъмъ-то или надъ къмъ-то, и какой-то мистическій страхъ предъ этими законами и силами — словами, которыя онъ произносилъ съ какимъ-то особеннымъ подчеркиваніемъ и пониженіемъ голоса.

Тихонъ Павловичъ мало понялъ изъ его ръчи, но она сообщила ему какую-то нервозную робость, и онъ чувствовалъ, что она что-то объясняетъ ему. И когда безрукій сдълалъ паузу, задыхаясь отъ всего сказаннаго, онъ робко и задумчиво спросилъ его:

- Значить, человъку некуда податься?
- Ни на вершокъ! сверкнувъ глазами, сказалъ безрукій и, подавшись всъмъ корпусомъ въ сторону Тихона Павловича, добавилъ голосомъ сдавленнымъ и строгимъ: Законы! Тайныя причины и силы понимаете? Онъ поднялъ кверху брови и многозначительно качнулъ головой. Никому ничего неизвъстно... Тъма! Онъ съежился, вобравъ въ себя голову, и мельнику представилось, что если бъ его собесъдникъ имълъ руки, то онъ навърное погрозилъ бы ему пальцемъ. И значить, живи, но не жалуйся и корись! Больше нинего...
- H-да-а! протянулъ мельникъ, задумчиво теребя бороду и наморщивая лобъ. Ну, а какъ же душа?
- Душа?... Младенцевъ, малыхъ ребять въ кабакахъ и другихъ такихъ мъстахъ видали? Воть душа на землъ! Испытаніе ей дано...
 - Значить, какъ же теперь, ежели совъсть?...
 - Вонъ идутъ... кивнулъ головой безрукій. Въ дверяхъ стояла Аннушка, раскраснъвшаяся и

тяжело дышавшая; изъ-за ея плеча высовывалась усатая физіономія въ фуражкъ, ухарски сдвинутой на ухо, и съ насмъщливо-прищуренными глазами.

- Михаилъ Антонычъ! Костя пришелъ... А я устала!
- Костя? встрепенулся безрукій. Дѣльно! Это, значить, будеть восторгь одинь! Костя, иди сюда!... Воть купець, человъкь, такъ сказать, таланть! Воть душа!

Изъ-подъ локтя Аннушки вынырнулъ худой и желтый юноша, сутулый, съ ввалившейся грудью, съ тонкими губами; онъ были у него полуоткрыты, и изъ-ва нихъ видно было два ряда зубовъ, черныхъ, поврежденныхъ виннымъ камнемъ.

Въ комнатъ сразу стало шумно — пришедшіе внесли съ собой цълую волну разнообразныхъ звуковъ. Усатый человъкъ съ насмъщливыми глазами оказался гармонистомъ; онъ сейчасъ же сълъ въ уголъ дивана и поставилъ себъ на колъни большую гармонику съ безчисленнымъ количествомъ клапановъ и взялъ какой-то чрезвычайно высокій и бойкій аккордъ, послъ чего побъдоносно взглянулъ на Тихона Павловича и налилъ себъ рюмку водки.

Кромѣ Аннушки, пришла еще дѣвица — Таня, какъ назвалъ ее какой-то молодой человѣкъ въ пиджакѣ, не то ремесленникъ-"чистякъ", не то мелкій приказчикъ. Они усѣлись къ окну, а Аннушка, гармонисть, Тихонъ Павловичъ, безрукій и Костя составили группу у стола. Тамъ, въ большой комнатѣ, народу набралось уже много, почти всѣ столы были заняты и гудѣлъ могучій, пьяный шумъ, сливаясь въ оглупительную гармонію.

Безрукій и Костя говорили что-то между собой вполголоса; лицо Кости освъщалось глубоко ввалившимися голубыми глазами, подъ ними были большія, темныя пятна. Онъ быль въ поддевкъ, въ красной рубахъ и сапогахъ съ наборомъ. Аннушка что-то шептала гармонисту, лукаво улыбаясь, а тотъ слушалъ ее и равнодушно поглядывалъ на мельника. Всв чувствовали себя нъсколько стъсненными, особенно Тихонъ Павловичъ, потерявшійся при видъ столькихъ незнакомыхъ лицъ, мало обращавшихъ на него вниманія. Онъ сразу почувствовалъ себя точно выдернутымъ откуда-то, и хотя отъ выпитой водки и разговора съ безрукимъ голова у него налилась какъ бы туманомъ, однако онъ сообразилъ, что онъ долженъ играть роль хозяина. Теперь Аннушка и Таня перемигнулись другъ съ другомъ, стали хохотатъ надъ чъмъто; имъ вторилъ человъкъ въ пиджакъ, смъявшійся громко и добродушно; гармонистъ вытягивалъ изъ своего инструмента длинныя, визгливыя ноты, а безрукій и Костя перебрасывались какими-то односложными словами.

Тихонъ Павловичъ крякнулъ, желая обратить на себя вниманіе, и его поняли. Всъ какъ-то засуетились, сразу сдвинулись плотнъе къ столу; Аннушка вскочила съ дивана и съла рядомъ съ мельникомъ на стулъ; пара отъ окна тоже подошла къ столу.

— Для начала выпьемъ, господа компанія! — возгласиль Тихонъ Павловичь, и ему очень понравилось то, что онъ сказаль эти слова такъ степенно, солидно, въско.

Выпили. Безрукому подалъ Костя, сидъвшій рядомъ съ нимъ.

- Вы, значить, обратился Тихонъ Павловичъ къ безрукому, какъ человъкъ этакій... Онъ замялся, взглянувъ на плечи этакого человъка. Вы и командуйте всъмъ. Чтобы было весело, чтобы ходуномъ ходило все... Выпьемъ еще по одной для развязки!
- Можно,—согласился безрукій. По мізріз того, какъ онъ пиль, у него все боліве расширялись глаза и въ кадыкіз начинало что-то клокотать.—Выпьемъ и споемъ коромъ! Идеть? Хорошо будеть! Ты, Костя, подвывай-подголашивай, Аннушка заведеть, а вы, Маркъ Иванычь, подтяните на гармоників.

Всъ заговорили сразу. Юноша въ пиджакъ нахо-

диль, что хора не выйдеть—мало голосовъ; гармонисть согласился съ нимъ и, очевидно, желая показаться свъдущимъ, употреблялъ разные спеціальные термины.

— Никакъ не выйдеть, потому все мажорные, т.-е. громкіе голоса, и будеть одинъ крикъ. Тріе—воть это будеть вразъ, втроемъ, значить, нужно пъть.

Аннушка, выпившая и возбужденная, ластилась, какъ кошка, къ мельнику. Онъ старался сохранить солидность, но уже масляно улыбался и ущипнулъ ее за бокъ. Она тихонько взвизгнула и ударила его по рукъ. Они увлеклись понемногу, а вокругъ нихъ все горячъе разгорался споръ о томъ, что и какъ пъть.

Въ дверь то и дъло заглядывали разныя трактирныя физіономіи, заглядывали и исчезали, уступая мъсто другимъ.

- Маркъ Иванычъ, это не такъ!—съ тоской въ голосъ восклицалъ безрукій.
- Нътъ, такъ!—глухимъ басомъ рубилъ гармонисть. Костя не принималь участія въ споръ: отвалившись спиной въ уголъ дивана, онъ выпятилъ грудь, полузакрылъ глаза и вдругъ почему-то поблъднълъ.
- Костюшка, запъвай! крикнула Таня высокимъ контральто и облокотилась на столъ, подперевъ щеку рукой. Ея кавалеръ началъ что-то шептать ей на ухо, скашивая глаза въ сторону мельника, обнявшаго свою сосъдку за талію и подносившаго къ ея рту рюмку рябиновой. Она жеманилась, отворачивая голову въ сторону. Таня посмотръла на нее лънивымъ взоромъ тусклыхъ синихъ глазъ и снова приняла прежнюю позу, кинувъ гармонисту:
 - Будеть вамъ, чай, ужъ!

А безрукій, наклонившись къ нему корпусомъ и брызгая слюной, громкимъ звенящимъ голосомъ кричалъ:

— И опять не такъ! Нужно начинать съ грусти, чтобы привести душу въ порядокъ, заставить ее прислушаться.

- Т.-е. это какъ же?—скептически возражалъ гармонистъ, хмуря брови и поводя усами.
- А такъ—она чувствительна къ грусти... Понимаете? Вотъ вы ей сейчасъ и закиньте удочку—"Лучинушкой", къ примъру, или "Заходило солнце красное"—она и пріостановится, замреть. А тутъ вы ее хватите сразу "Чоботами" али "Во лузахъ", да съ дробью, съ пламенемъ, съ плясомъ—чтобы жгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все въ дъйствіе. Тутъ ужъ начнется прямо бъщенство—чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость такъ все и заиграетъ радугой!...

Безрукій задыхался отъ возбужденія и странно раскачивалъ корпусомъ, точно собираясь нырнуть на полъ, подъ ноги гармониста. Шумъ въ трактиръ становился все болъе хаотичнымъ, оглушающимъ, пьянымъ.

И вдругъ въ него впилась высокая теноровая нота, болъзненно вибрирующая, протяжная, унылая:

"Эхъ, да въ непогоду-у..."

- III-ш-ш!—эмъей зашипълъ безрукій, вскинувъ кверху голову и обводя публику широко раскрытыми глазами съ выраженіемъ въ нихъ и просьбы, и какойто боязни, и удовольствія. Публика сразу притихла и уставилась на Костю, сидъвшаго на диванъ съ блъднымъ лицомъ и судорожно открытыми губами, изъ которыхъ, дрожа и взвиваясь все выше, лились одинъ за другимъ звуки, сильные, но надломленные и—было ясно—рожденные больной грудью.
- Таня, подхвати, голубушка!—шепталъ молящимъ шопотомъ безрукій.

"Вътеръ воеть, завываеть..."

сразу перешелъ Костя на речитативъ.

Таня равнодушно, съ видомъ человъка, говорящаго: "могу—мнъ все равно!", посмотръла на Костю и, кръпче

приложивъ руку къ щекъ, подхватила прежде, чъмъ Костя кончилъ свой речитативъ:

"А мою голо-овушку"

"Злая грусть терзаеть!..." продолжаль Костя, неподвижный и весь углубившійся въ себя. Маленькій онъ быль, сухой, желтый, и было странно убъждаться, что это именно въ его съеженной и изогнутой фигуркъ хранятся такіе красивые, сильные звуки. Пъсня лилась нота за нотой. Голось Кости, высокій, металлическій тенорь, вибрироваль, какь бы рыдая, и замираль но прежде чвмъ онъ успввалъ погаснуть, раздавалось густое контральто Тани и оно задумчиво и печально плило изъ ея горла, ровное, безнадежно-спокойное, что дълало слова еще болъе грустными. Въ дверяхъ комнаты стояла толпа людей съ красными, возбужденными и потными физіономіями; за ней гдь-то тамъ, въ комнать, попрежнему звучали стаканы и гудьли пьяные голоса, но они все ослабъвали, а толпа у дверей протискивалась все дальше въ комнату.

"Эхъ, да и пойду я въ степи..."

грустно разсказывалъ Костя съ красными пятнами на своемъ лицъ—

"Въ степи-и..."

подхватила Таня, и голосъ ея звучалъ только какъ равнодушное эхо чужой скорби:

"Поищу тамъ доли..."

Голоса слились и дружной, теплой и ослабляющей душу струей ровно потекли по комнать, пропитанной запахомъ водки, табаку и пота, вдругъ задрожали, забились, зарыдали, точно имъ стало тъсно и тошно тутъ. Потомъ голосъ Кости оборвался и умолкъ, а Таня продолжала:

"Матушка-пустыня-а.."

—"Матушка-пустыня!"— снова вступилъ Костя тосиливымъ крикомъ:

"Пріюти сиротку-у..."

— "Пріюти сиротку", — вступиль третій, новый голось. Это походило на флажолеть скрипки: голось быль почти фальцеть, но въ немъ было много чувства и выраженія, онъ такъ искренно плакаль, быль такимъ роднымъ голосу Кости, такъ тоскливо просиль пріюта. Онъ слился съ голосомъ Кости и, уже звуча въ униссонъ ему, гибкій, тоже дрожащій, являвшійся какъ бы эхомъ, тънью основного звука, заплакаль и застональ, выпъвая только однъ гласныя. Это пъль безрукій, закрывъ глаза и выгнувъ свой кадыкъ. Контральто Тани звучало... низкое, ровное, густое, и оно стало чъмъ-то вродъ широкой полосы бархата, извивавшейся въ пространствъ, а на немъ, на этомъ бархатъ, въ фантастическихъ узорахъ дрожали золотыя и серебряныя нити голосовъ безрукаго и Кости.

Публика была подавлена этимъ разсказомъ сироты о поискахъ своей доли. Тихонъ Павловичъ давно уже неподвижно сидълъ на стулъ, низко свъсивъ на грудъ голову и жадно вслушиваясь възвуки пъсни. Они снова будили въ немъ его тоску, но теперь къней примъшивалось что-то вдко-сладкое, щекочущее сердце. Онъ чувствоваль себя такъ, какъ будто его обливало что-то теплое и густое, какъ парное молоко, обливало и, проникая внутрь его существа, наполняло собой всъ жилы, очищало кровь, тревожило его тоску и, развивая ее и увеличивая, все болве смягчало. Было еще что-то жгучее и щиплющее во всъхъ этихъ ощущеніяхъ — оно было въ каждомъ изъ нихъ и, соединяясь, образовало въ душъ мельника странную сладкую боль, точно большая, давившая его сердце, льдина таяла, распадалась на куски и они кололи его тамъ, внутри.

Аннушка положила на плечо сосъда свою голову и замерла въ этой позъ, потупивъ глаза въ землю. Гармонистъ задумчиво покручивалъ усъ, а человъкъ въ пиджакъ отошелъ къ окну и сталъ тамъ, прислонясь къ стънъ и смъшно вытянувъ голову по направленію

къ пъвцамъ, точно онъ ртомъ ловилъ звуки пъсни. Толпа въ дверяхъ шуршала платьемъ и глухо ворчала, слившись въ одно большое животное.

Трое пъвцовъ пъли, сами себя очаровавъ своей пъспей, и она звучала, то мрачная и страстная, какъ молитва кающагося гръшника, то печальная и кроткая, какъ плачъ больного ребенка, то полная отчаянной и безнадежной тоски, какъ всякая хорошая русская пъсня:

"Э я сижу-у-мо-оря-а..."

рыдаль Костя, у котораго оть напряженія выступиль поть на лбу и катился по щекамъ, какъ слезы;

"90-a, 9-00-9-0-a!"

вторилъ ему безрукій однъми гласными. Онъ плотно важмурилъ глаза, и ноздри его нервно дрожали, дрожали и губы, и подбородокъ.

"Доли себъ жду-у!"

голосомъ, полнымъ безнадежности и покачивая головой, пъла Таня и улыбалась такой тоскливой, острой улыбкой.

"Душу мою..."

звенълъ и плакать теноръ Кости.

"Слезы-и-и...

"Слезы жгучи моють!..."

дрожаль голось безрукаго.

Звуки все плакали, плыли; казалось, что вотъ-вотъ они оборвутся и умрутъ, но они снова возрождались, оживляя умирающую ноту, снова поднимали ее куда-то высоко; тамъ она билась и плакала, падала внизъ; фальцетъ безрукаго отгънялъ ея агонію, а Таня все пъла, и Костя опять рыдаль, то обгоняя ея слова, то повторяя ихъ, и должно быть, не было бы конца у этой плачущей и молящей пъсни —разсказа о поискахъ доли сиротой-человъкомъ.

— Братцы! — глухо крикнулъ Тихонъ Павловичъ, вскакивая со стула.—Больше не могу! Христа ради, ольше не могу!

Лицо у него было красно и все въ слезахъ, борода, смоченная ими, скомкалась, и въ глазахъ, широко открытыхъ, испуганныхъ, полныхъ болъзненнаго напряженія, сверкало что-то дикое и восторженное, жалкое и горячее. Вставая, онъ оттолкнулъ Аннушку; она чуть не упала, оправилась и, точно проснувшись, смотръла на безрукаго глазами, тусклыми и тупыми—тяжелымъ взглядомъ уставшаго животнаго.

— Душу мою пронзили! Будеть—тоска моя! Тронули вы меня за больное сердце... то-есть, часу у меня такого не было еще въ жизни!

Таня тупо смотръла на него, и изъ ея губъ все лились ровныя, сочныя ноты, теплыя, но безъ огня.

— Братцы! Какъ угли горять во мнѣ теперь—воть какая тоска! Что теперь я сдѣлаю? На ножъ пойду!—глухо гудѣль мельникъ, страшно тараща глаза и растирая грудь обѣими руками.—Кутимъ! Съ трескомъ! Эхъ ты, жизнь!

Безрукій и Таня оборвали пъсню. Таня сейчасъ же налила себъ полстакана водки и выплеснула ее себъ въ роть съ такой быстротой, точно у нея тамъ угли горъли и она хотъла скоръе потушить ихъ. Взволнованный и уставшій безрукій молча отдувался. Онъ какъ-то сразу осунулся, у него ввалились щеки, и глаза смотръли тупо, тускло и безсмысленно.

- Налей-ка мив рябиновой, Маркъ Иванычъ!
- Славно пъли...—тихо сказалъ гармонистъ, поднося къ его рту стаканъ.

Толпа очнулась, и поднялся хаотическій шумъ и говоръ. Послышались одобрительныя восклицанія, ласковыя ругательства.

"Доля, моя доля, гдв жъ ты..."

вдругъ снова зарыдалъ теноръ Кости.

Онъ все время пъль съ закрытыми глазами и, гипнотизированный своей пъснею, должно быть, не слышалъ ничего, сдълалъ паузу и вотъ—снова запълъ. Раздался хохоть. Хохотали тв, что стояли у двери, и съ ними хохотала Таня. Показалось смвшнымъ это увлеченіе Кости, и смвът разбудилъ его. Щироко открывъ глаза, горящій и нервный, онъ посмотрвлъ на смвющіяся физіономіи, съежился, побледнель и какъ-то сразу погасъ, превратился въ того худого, желтаго паренька, какимъ онъ вошелъ сюда.

— Лапушка, пей!—угощалъ Тихонъ Павловичъ Аннушку.—Пей, гуляй! Кучу! Сокрушилъ бы я себя самого...

Гармонисть взяль въ руки гармонику, подумалъ, поднявъ голову вверхъ, и заигралъ что-то бойкое.

- Воть какъ тронули душу у купца! а!? толкаль его безрукій подъ столомъ ногой. Гармонисть молча киваль головой. Таня исчезла куда-то, а человъкъ въ пиджакъ, стоя у двери въ большую комнату, смотрълъ на шумливую публику. Около стола Тихона Павловича появились какія-то нахальныя фигуры и пили его водку. Онъ нилъ со всъми и быстро пьянълъ. И Аннушка пьянъла.
- Плясать хочу, Маркъ, играй камаринскаго!—кричала она, поводя плечами. Безрукій, нахмурившись, смотрълъ на нее съ дивана и кусалъ себъ губы.
- Ну, Михаилъ Антонычъ, не сердись! Все равно въдь! улыбнулась она ему, замътивъ его мину. Одинъ разъ жить на свътъ...
- Баба, хоть четыре жизни живи, все скотиной будеть! эло кинулъ онъ ей.
- Другъ! не ругайся! Она милая дъвица, я ее люблю!—бушевалъ мельникъ. Тронули вы миъ душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя ахъ, какъ! Въ огонь бы полъзъ...
- Человъкъ никуда не долженъ лъзть... Ты вотъ налей-ка мнъ!
- Не лъзть никуда? Это върно! Руку! Да, руки у тебя нъть... Ну, поцълуемся. Онъ обнялъ безрукаго и сталъ цъловать его. Костя наливалъ себъ водки и пилъ ее рюмку за рюмкой, видя, что никто за нимъ не слъдить.

— Играй русскую! Хочу плясать! — все еще стояла на своемъ Аннушка. Гармонисть грянуль какой-то удивительный аккордъ и заигралъ "По улицъ мостовой".

Уперевъ руки въ боки и поводя плечами, Аннушка, соблазнительно красивая и горящая отъ возбужденія, павой проплыла мимо разгоряченнаго виномъ мельника и вызывающе подмигнула ему глазомъ.

— Ихъ ты! Пошелъ и я!—ухарски крикнулъ онъ и, громко топая ногами, пустился вслъдъ за ней.

Безрукій смотръль на него, страшно оскаливь зубы и вращая бълками.

Снова собралась толпа и грохотала, глядя на пляшущихъ.

— Загуляль Тихонь!—угрожающе выкрикнуль мельникь.—Возобновился человыкь! Э-эхма!

Ночью на пятый день послѣ описаннаго Тихонъ Павловичъ возвращался со станціи домой, на хуторъ.

Съ больной головой, разбитый и мрачный, онъ трясся въ телътъ и чувствоваль въ груди мерзкій, горькій осадокъ послъ четырехдневной кутежки. Представля себъ, какъ жена встрътить его и заноетъ: "Что, батюшка, снова сорвался съ цъпи-то?" и начнетъ говорить о лътахъ, съдой бородъ, дътяхъ, стыдъ, о своей несчастной жизни, — Тихонъ Павловичъ сжимался и озлобленно плевалъ на дорогу, глухо бормоча:

- Н-ну, и жизнь!...
- Что вы-съ?—спращиваль его возница, словоохотливый "Пантелей со станціи", именовавшійся такъ въ отличіе отъ другого Пантелея— "пришлаго".
- Ничего, ничего! Вези, знап! сердито ворчалъ Тихонъ Павловичъ.
- Aral Это бываеть: думаеть, думаеть человыть и заговорить самъ съ собой вслухъ. Бываеть это отъ многихъ думъ, ежели... не унимался возница.

- -Помалкивай себъ!-обрываль его Тихонъ Павловичъ.
- Что жъ! Можно и помолчать...—соглашался Пан телей и черезъ нъсколько времени снова заговаривалъ.

Хмурая ночь окутала всю степь тяжелымъ мракомъ и въ небъ неподвижно стояли еще сърыя облака. Въ одномъ мъстъ ихъ было бълесоватое, странное пятно—это луна хотъла пробиться сквозь тучи и не могла. Прівхали къ плотинъ.

— Стой!—сказалъ Тихонъ Павловичъ, вышелъ изъ телъги и посмотрълъ кругомъ. Шагахъ въ сорока отъ него темной, угловатой кучей рисовался во мракъ ночи хуторъ; справа рядомъ съ нимъ—запруда. Темная вода въ ней была неподвижна и страшила этой неподвижностью. Все кругомъ было такъ тихо и жутко. Густо одътня тънью ивы на плотинъ стояли такъ прямо, строго и сурово. Гдъ-то падали капли... Вдругъ на запруду налетълъ вътеръ изъ рощи; вода испуганно всколыхнулась и раздался тихій, жалобный плескъ... И ивы, стряхивая сонъ, тоже зашумъли.

Тихонъ Павловичъ посмотрѣлъ, какъ вода, тронутая вѣтромъ, снова засыпала, успокаиваясь постепенно, но еще пока покрытая мелкой рябью и точно дрожавшая, посмотрѣлъ, глубоко вздохнулъ и пошелъ къ хутору, глухо бормоча:

— Жизнь... Колебаніе одно только... рябь. Поймешь туть что ни то, какъ же!?

Но его не успокаивало это бормотанье, и, чувствуя себя виноватымъ предъ всъми и предъ самимъ собой, онъ остановился, взялъ въ руки бороду и, дернувъ себя за нее, качнулъ головой и громко произнесъ:

- Старый ты чорть, Тишка!..
- Что-съ? откликнулся наъ мрака "Пантелей со станціи".
 - Ничего, пшелъ ты...

Гдъ-то пътухи пропъли...

конецъ перваго тома.



М. Горькій.

РАЗСКАЗЫ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

ВТОРОЕ изданіе товарищества "ЗНАНІЕ".

Пятнадцатая тысяча.

Цвна 1 рувль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1901. Типографія Спб. акц. общ. печ. дела въ Россіи В. Евдокимовъ, Тронцкая, 18.

Маріи Серењевнъ Позернъ

M. Topskii.

Оглавление II тома.

					•									CTP.
Коноваловъ			•		•	•	•	•						·1
Ханъ и его сынъ		•	•	•				•					•	67
Выводъ	•	•		•	•				•			•		75
Супруги Орловы .		•			•			•	•		•		:	79
Бывшіе люди	•	•			•		•	•			•	•		153
Оворникъ			•		•		•	•		•	•			233
Варенька Олесова				•								•		257
Товарищи														377

KOHOBAJOBB.

(1896.)

Разсъянно пробъгая глазами газетный листь, я встрътиль фамилію — Коноваловъ и, заинтересованный ею, прочиталь слъдующее:

"Вчера ночью, въ общей камеръ мъстнаго тюремнаго замка, повъсился на отдушинъ печи мъщанинъ города Мурома Александръ Ивановичъ Коноваловъ, 40 лътъ. Самоубійца былъ арестованъ въ Псковъ за бро дяжничество и пересылался этапнымъ порядкомъ на родину. По отзыву тюремнаго начальства, это былъ человъкъ всегда тихій, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова къ самоубійству, какъ заключилъ тюремной докторъ, слъдуетъ считать меланхолію".

Я прочиталъ эту краткую замътку петитомъ, — сообщенія о гибели маленькихъ людей принято печатать мелкимъ пірифтомъ, — я прочиталъ ее и подумалъ, что мнѣ, можеть быть, удастся нѣсколько яснѣе освътить причину, побудившую этого задумчиваго человѣка уйти изъ жизни, потому что я зналъ его, когда-то жилъ съ нимъ. Пожалуй, я даже и не въ правѣ промолчать о немъ: — это былъ славный малый, а ихъ не часто встрѣчаешь на жизненномъ пути.

...Мит было восемнадцать леть, когда я встретиль Коновалова въ первый разъ. Въ то время я работалъ

Digitized by Google

въ хлѣбопекарнѣ, какъ "подручный" пекаря. Пекарь былъ солдать изъ "музыкальной команды", онъ страшно пилъ водку, часто портилъ тѣсто и, пьяный, любилъ наигрывать на губахъ и выбивать пальцами на чемъ попало различныя пьесы. Когда хозяинъ пекарни дѣлалъ ему внушенія за испорченный или опоздавшій къ утру товаръ, онъ бъсился и ругалъ хозяина, ругалъ безпощадно и при этомъ всегда указывалъ ему на свой музыкальный талантъ.

— Передержалъ тъсто!—кричалъ онъ, оттопыривая свои рыжіе, длинные усы и шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми.—Корка сгоръла! Хлъбъ сырой! Ахъ ты, чортъ тебя возьми, косоглазая кикимора! Да развъ я для этой работы родился на свътъ? Будь ты анаеема съ твоей работой—я музыкантъ! Понялъ? Я—бывало, альтъ запьеть—на альтъ играю; гобой подъ арестомъ—въ гобой дую; корнетъ-а-пистонъ хвораеть—кто его можеть замънить? Сучковъ? Я! Радъ стараться, ваше благородіе. Тим-тар-рам-да-дди! А ты—м-мужикъ, кацапъ! Давай расчеть.

А хозяинъ, сырой и пухлый человъкъ, съ косыми, заплывшими жиромъ глазками и женоподобнымъ лицомъ, колыхая громаднымъ животомъ, топалъ по полу короткими, толстыми ногами и визгливымъ голосомъ вопилъ:

- Губитель! Разоритель! Христопродавецъ Іуда! Господи, за что ты меня наказалъ такимъ человъкомъ!— Растопыривъ короткіе пальцы, онъ воздъвалъ руки къ небу и вдругъ громко, голосомъ, ръзавшимъ уши, возглашалъ:—А ежели я тебя за твой бунтъ въ полицію?
- Слугу царя и отечества въ полицію?—ревълъ солдать и уже лъзъ на хозяина съ кулаками. Тотъ ретировался, отплевываясь, взволнованно сопя и ругаясь. Это все, что онъ могъ сдълать—было лъто, время, когда въ приволжскомъ городъ очень трудно найти хорошаго пекаря.

Такія сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдать пиль, портиль тысто и играль разные марши и вальсы или "нумера", какъ онъ говориль; хозяинъ скрежеталь зубами, а мнъ, въ силу этого, приходилось работать за двоихъ, что было мало логично и очень утомительно.

И я быль весьма обрадовань, когда однажды между козяиномь и солдатомь разыгралась такая сцена.

- Ну, солдать, —сказаль хозяинь, появляясь въ пекарнъ съ лицомъ, сіяющимъ и довольнымъ, и съ глазками, сверкавшими ехидной улыбкой, —ну, солдать, оттопыривай губы и играй походный маршъ!
- Чего еще?!—мрачно сказалъ солдать, лежавшій на ларъ съ тъстомъ и, по обыкновенію, полупьяный.
- Въ походъ собирайся, капралъ! ликовалъ хозинъ.
- Куда?—спросилъ солдать, спуская съ ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.
 - Куда хочешь-на турку, хошь на англичанку...
- Это какъ понимать?—запальчиво крикнулъ солдать.
- А такъ и понимай, что больше я тебя часа держать не стану. Иди наверхъ, получи расчетъ и на всъ четыре стороны—маршъ!

Солдать привыкъ чувствовать свою силу и безвыходность положенія хозяина, и заявленіе послѣдняго нѣсколько отрезвило его: онъ не могъ не понимать, какъ трудно ему съ его знаніемъ ремесла найти себѣ мѣсто.

- Ну, это ты врешь!...—съ тревогой сказалъ онъ, вставая на ноги.
 - Иди-ка, иди...
 - Идти?
 - -- Проваливай.
- Наработался, значить...—съ горечью мотнулъ головой солдать. — Пососалъ ты изъ меня крови, высосалъ и вонъ меня. Ловко! Это хорошо! Ахъ ты... паукъ!

- Я паукъ? вскипълъ хозяинъ.
- Ты! кровососецъ паукъ—воть какъ!—убъдительно сказалъ солдать и, пошатываясь, пошель къ двери.

Хозяинъ ехидно смъялся вслъдъ ему, и его глазки радостно сверкали.

- Поди-ка воть теперь поступи на мъсто къ комунибудь! Н-да. Я тебя, голубчика, вездъ такъ разрисовалъ, что коть ты даромъ просись—не возьмутъ! Нигдъ не возьмутъ... Я позаботился о тебъ, чертоломина ты гнилоголовая!
 - Новаго-то пекаря уже наняли?—спросилъ я.
- Новаго? Новый-то—онъ старый. Моимъ подручнымъ былъ. Ахъ, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница и-ихъ! Только онъ запоемъ тянетъ... Вотъ онъ придетъ, возъмется за работу и мъсяца три—четыре учнетъ ломить, какъ медвъдь! Сна, покоя не знаетъ, за цъной не стоитъ—сколько дашь. Работаетъ и поетъ! Такъ онъ, братецъ ты мой, поетъ, что даже слушать невозможно—тягостно дълается на сердцъ. Поетъ, поетъ, потомъ учнетъ снова пить!

Хозяинъ вздохнулъ и безнадежно махпулъ рукой.

- И когда онъ запьеть нѣть ему туть никакого удержу. Пьеть до тѣхъ поръ, пока не захвораеть или не пропьется догола... Тогда стыдно ему бываеть, что ли, онъ и пропадаеть куда-то, какъ нечистый духъ отъ ладана. А воть и онъ... Совсъмъ пришелъ, Леса?
- Совсъмъ, отвъчалъ съ порога глубокій грудной голосъ.

Тамъ, прислонясь плечомъ къ косяку двери, стоялъ высокій, плечистый мужчина лѣтъ тридцати. По костюму это былъ типичный босякъ, по фигуръ и лицу — настоящій славянинъ, рѣдкій экземпляръ расы. На немъ была надъта красная кумачевая рубаха, невъроятно грязная и рваная, холщевыя широкія шаровары, а на ногахъ—на одной остатки резиноваго ботика, на другой—

кожаный опорокъ. Свътло-русые волосы на головъ были спутаны, и въ нихъ торчали щепочки, соломинки, какія-то бумажки; все это было и въ его роскошной русой же бородъ, точно въеромъ закрывавшей ему грудь. Продолговатое, блъдное и изнуренное лицо освъщалось голубыми глазами, большими, задумчивыми и смотръвшими на меня съ ласковой улыбкой. И губы у него красивыя, но немного блъдныя, тоже улыбались подърусыми усами. Улыбка была такая, точно онъ хотълъ сказать ею:

- Воть я какой... Не обезсудьте ужъ...
- Проходи, Сашокъ, вотъ тебъ подручный, —говорилъ хозяинъ, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру новаго пекаря. Тотъ молча шагнулъ впередъ, протянулъ мнъ длиниую руку съ богатырскиширокей кистью; мы поздоровались; онъ сълъ на скамью, вытянулъ впередъ ноги, посмотрълъ на нихъ и сказалъ хозяину:
- Ты мнъ, Никола Никитичъ, купи двъ смъны рубахъ, да опорки... Холста еще на колпакъ.
- Все будеть, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечеромъ будуть. Знай работай, пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто не обидить, потому онъ самъ никого не обижаеть. Развъ хозяинъ звърь? Я самъ тоже работалъ, знаю, какъ ръдька слезы выжимаеть... Ну, оставайтесь, значить, ребятушки, а я пойду...

Мы остались одии.

Коноваловъ сидълъ на скамъв и молча, улыбаясь, осматривался вокругъ. Пекарня помвщалась въ подвалв со сводчатымъ потолкомъ, и ея три окна были ниже уровня земли. Сввта было мало, мало было и воздуха, но зато много было сырости, грязи и мучной пыли. У ствнъ стояли длинные лари: одинъ съ твстомъ, другой еще только съ опарой, третій пустой. На каждый ларь ложилась изъ окна тусклая полоса сввта. Громад-

ная печь занимала почти треть пекарни; около нся на грязномъ полу лежали мъшки муки. Въ печи жарко горъли длинныя плахи дровъ, и отраженное на сърой стънъ пекарни пламя ихъ колебалось и дрожало, точно безъ звуковъ разсказывало о чемъ-то. Запахъ квашенаго тъста и сырости наполнялъ промозглый воздухъ.

Сводчатый, закопченый потолокъ давилъ своей тяжестью, и отъ соединенія дневного свъта съ огнемъ въ печи образовалось какое-то неопредъленное и утомлявшее глаза освъщеніе. Въ окна съ улицы лился глухой шумъ и летъла пыль. Коноваловъ осмотрълъ все это, вздохнулъ и, вполоборота повернувшись ко мнъ, спросилъ скучнымъ голосомъ:

— Давно здёсь работаешь?

Я сказалъ. Помолчали, исподлобья осматривая другъ друга.

— Экая тюрьма! — вздохнулъ онъ. — Пойдемъ на улицу къ воротамъ, посидимъ?...

Мы вышли къ воротамъ и съли на лавку.

— Здёсь хоть дышать можно. Я къ пропасти этой сразу и не привыкну... не могу. Самъ посуди, отъ моря я пришелъ... въ Каспів на ватагахъ работалъ... и вдругъ сразу съ широты такой—бухъ въ яму!

Онъ съ печальной улыбкой посмотрълъ на меня и замолчалъ, пристально вглядываясь въ прохожихъ и въ проъзжихъ. Въ его голубыхъ, ясныхъ глазахъ свътилось много печали о чемъ-то... Вечеръ наступалъ; на улицъ было душно, шумно, пыльно, и отъ домовъ на дорогу ложились тъни. Коноваловъ сидълъ, прислонившись спиной къ стънъ, сложивъ руки на груди и перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я съ боку смотрълъ на его овальное, блъдное лицо и думалъ: что это за человъкъ? Но я не ръшался заговорить съ нимъ, потому что онъ былъ моимъ начальникомъ, и потому еще, что онъ внушалъ мнъ какое-то е уваженіе къ себъ.

Лобъ у него былъ разръзанъ тремя тонкими морщинками, но по временамъ онъ разглаживались и исчезали, и мнъ очень хотълось знать, о чемъ думаеть этотъ человъкъ...

— Пойдемъ-ка; пора, чай, ставить третью квашню. Ты мъси вторую, а я тъмъ временемъ поставлю, да потомъ будемъ и короваи валять.

Когда мы съ нимъ "развѣсили" и разложили одну гору тѣста въ чашки, замѣсили другую и поставили опару для третьей— мы сѣли пить чай, и въ это время Коноваловъ, сунувъ руку куда-то за пазуху, спросилъ меня:

— Ты читать умъешь? На-ко воть, почитай,—и подалъ мнъ смятый и запачканный листикъ бумаги.

"Дорогой Саша!—читалъ я.—Кланяюсь и цълую тебя "заочно. Плохо мив и очень скучно живется, не могу "дождаться того дня, когда я увду съ тобой или буду "жить вмъстъ съ тобой; надоъла мнъ эта жизнь прокля-"тая невозможно, хотя вначаль и нравилась. Ты самъ "это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, какъ "познакомилась съ тобой. Напиши мнъ, пожалуйста, по-"скоръе; очень миъ хочется получить отъ тебя письмецо. "А пока до свиданья, а не прощай, мой милый борода-"тый другь моей души. Упрековъ я тебъ никакихъ не "пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты "свинья-увхалъ, со мной не простился. Но все же ни-"чего я отъ тебя, кромъ хорошаго, не видъла: ты былъ "одинъ еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя "ли постараться, Саша, о моей выключкъ. Тебъ дъвицы "говорили, что я убъгу отъ тебя, если буду выключена: "но это все вздоръ и чистая неправда. Если бы ты только "сжалился надо мной, то я послъ выключки стала бы "съ тобой, какъ собака твоя. Тебъ въдь легко это сдъ-"лать, а мив очень трудно. Когда ты быль у меня, я "плакала, что принуждена такъ жить, хотя я тебъ этого "не сказала. До свиданья. Твоя Капитолина".

Коноваловъ взялъ у меня письмо и задумчиво сталъ вертъть его между пальцами одной руки, другой покручивая бороду.

- И писать ты умъешь?
- -- Могу...
- А чернила у тебя есть?
- Есть.
- Напини ты ей, Христа ради, письмо, а? Она, чай поди, мерзавцемъ меня считаеть, думаеть—я про нее забыль... Напиши!
 - Йаволь. Хоть сейчасъ... Она кто?...
- Проститутка... Чай, видишь самъ о выключкъ пишетъ. Это, значитъ, чтобы я полиціи далъ объщаніе, что женюсь на ней, тогда ей возвратятъ ея паспортъ, а книжку у нея отберутъ, и будетъ она съ той поры свободная! Вникъ?

Черезъ полчаса котово было трогательное посланіе къ ней.

— Ну-ка почитай, какъ оно вышло? — съ нетерпъніемъ спросилъ Коноваловъ.

Вышло вотъ какъ:

"Капа! Не думай про меня, что я подленъ и забылъ "уже о тебъ. Нътъ, я не забылъ, а просто запилъ и весь "пропился. Теперь снова поступилъ на мъсто и завтра "возьму у хозяина денегъ впередъ, вышлю ихъ на Фи-"липпа, и онъ тебя выключитъ. Денегъ тебъ на дорогу "хватитъ. А пока — до свиданья. Твой Александръ".

- Гмъ...—сказалъ Коноваловъ, почесавъ голову,—а пишешь ты не важно. Жалости нътъ въ письмъ у тебя, слезы нътъ. И опять же я просилъ тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написалъ...
 - Да зачѣмъ это?
- А чтобы она видъла, что миъ передъ ней стыдно и что я понимаю, какъ я передъ ней виноватъ. А такъ что! Точно горохъ просыпалъ написалъ! А ты слезу подпусти!

Пришлось подпустить въ письмо слезу, что я съ успъхомъ и выполнилъ. Коноваловъ удовлетворился и, положивъ мнъ руку на плечо, задушевно проговорилъ:

— Вотъ, теперь славно! Спасибо! Ты нарень, видно, хорошій... значить, мы съ тобой уживемся.

Я не сомнъвался въ этомъ и попросилъ его разсказать мнъ о Капитолинъ.

- Капитолина? Дъвочка она... совсъмъ дитя. Вятская купеческая дочь была... Да, вотъ, свихнулась. Дальше больше, и пошла въ такой домъ... знаешь? Я пришелъ смотрю, ребенокъ еще совсъмъ! Господи, думаю, развъ такъ можно? Ну и познакомился съ ней. Она плакать. Я говорю: ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу погоди! И все у меня было готово, т.-е. деньги и все... И вдругъ я запилъ и очутился въ Астрахани. Потомъ вотъ сюда попалъ. Извъстилъ ее обо мнъ одинъ человъкъ, и она написала мнъ письмо въ Астрахань...
- Что же ты, спросилъ я его, жениться хочешь на ней?
- Жениться, гдѣ мнѣ! Ежели у меня запой какой же я женихъ? Нѣтъ, такъ я это. Выключу ее и потомъ иди на всѣ четыре стороны. Мѣсто себѣ найдетъ... можетъ, человѣкомъ будетъ.
 - Вонъ она съ тобой хочеть жить...
- Да въдь это она такъ, блажитъ только. Онъ всъ такія... бабы-то... Я ихъ очень хорошо знаю. У меня много было разныхъ. Даже купчиха одна... богатая! Конюхомъ я былъ въ циркъ, она меня и выглядъла. Иди, говоритъ, въ кучера. Мнъ циркъ въ ту пору надоълъ, я и согласился, пошелъ. Ну и того... Стала она ко мнъ ластиться. Домъ это у нихъ, лошади, прислуга какъ дворяне жили. Мужъ у нея былъ низенькій и толстый, на манеръ нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, какъ кошка, горячая. Бывало, какъ обниметъ да поцълуетъ въ губы какъ углей каленыхъ въ сердце всыплеть. Такъ ты весь и задрожишь, даже

страшно станеть. Цълуеть, бывало, а сама все плачеть; плечи у нея даже ходуномъ ходять. Спрошу ее: чего ты, Върунька? А она: ребенокъ, — говорить, — ты, Саша; не понимаешь ты ничего. Славная была... А это она върно, что я не понимаю-то ничего — очень я дурковать, самъ знаю. Что дълаю — не понимаю. Какъ живу — не думаю!

И замолчавъ, онъ посмотрълъ на меня широко раскрытыми глазами; въ нихъ свътился не то испугъ, не то вопросъ, что-то тревожно-вдумчивое, отъ чего красивое лицо его стало еще печальнъе и еще краше...

- Ну, и какъ же ты съ купчихой-то кончилъ? спросилъ я.
- А на меня, видишь ты, тоска находить. Такая, скажу я тебъ, братецъ мой, тоска, что невозможно мнъ въ ту пору жить, совсъмъ нельзя. Какъ будто я одинъ человъкъ на всемъ свъть и, кромъ меня, нигдъ ничего живого нътъ. И все мнъ въ ту пору противъетъ — все какъ есть; и самъ я себъ становлюсь въ тягость, и всъ люди; хоть помирай они-не охну! Бользнь это у меня, должно быть. Съ нея я и пить началъ... раньше не пилъ. Такъ вотъ нашла на меня тоска, я и говорю ей, купчихъ-то: Въра Михайловна! отпусти меня, больше я не могу! Что, -- говорить, -- надобла я тебъ? -- И смъется, знаешь, да такого нехорошо смется. Неть, моль, не ты мнъ надоъла, а самъ я себъ не подъ силу сталъ. Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, рутаться... Потомъ поняла. Опустила голову и говорить: что же, иди!.. — заплакала. Глаза у нея черные и вся она смуглая. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческаго роду была, а изъ чиновныхъ... Н-да... Жалко мнъ ея было, и противенъ я былъ самъ себъ тогда. Зачемъ подладся бабе? — неизвестно... Еп, конечно, скучно было съ этакимъ-то мужемъ. Онъ совсемъ какъ мъщокъ муки... Плакала она долго-привыкла ко мнъ... Я ее очень нъжилъ: возьму, бывало, на руки и укачаю.

Она спить, а я сижу и смотрю на нее. Во снъ человъкъ очень хорошъ бываетъ, такой простой; дышитъ да улыбается, и больше ничего. А то-на дачъ когда жили,бывало, поъдемъ съ ней кататься, -- во весь духъ она любила. Прівдемъ, куда ни то въ уголокъ въ люсу лошадь привяжемъ, а сами въ холодокъ на траву. Она велить мив лечь, положить мою голову себв на колвпи и читаеть мнв какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю, да и засну. Хорошія исторіи читала, очень хорошія. Никогда я не забуду одной-о нъмомъ Герасимъ и его любимой собакъ. Онъ, нъмой-то, гонимый человъкъ былъ, и никто его, кромъ собаки, не любилъ. Смъются надъ нимъ и все такое, онъ сейчасъ къ собакъ идетъ... Очень это жалостная исторія... да! А дъло то было въ кръпостное время... Барыня и говорить ему: нъмой, иди утопи свою собаку, а то она воетъ. -- Ну, нъмой и пошелъ... Взялъ лодку, посадилъ въ нее собаку и повхаль... Я, бывало, въ этомъ мъсть дрожью дрожу. Господи! У живого человъка единственную въ свътъ радость его убиваютъ! Какіе это порядки? Ахъ... удивительная исторія! И върно-воть что хорошо! Бывають такіе люди, что для нихъ весь свъть въодномъ въ чемъ-нибудь-въ собакъ, къ примъру. А почему въ собакъ? Потому больше никого нъть, кто бы любилъ такого человъка, а собака его любить. Безъ любви какой-нибудь жить человъку невозможно; -- затъмъ ему и душа дана, чтобы онъ могъ любить... Много она мнъ разныхъ исторій читала. Славная была женщина, и по сейчасъ жалко мнъ ея... Кабы не моя планета-не ушелъ бы я оть нея, пока она сама того не захотела бы или мужъ не узналъ про наши съ ней дъла. Ласковая она была-воть что первое; т.-е. не тъмъ ласковая, что подарки дарила, а такъ... по сердцу своему ласковая. Цълуется она со мной и все такое-женщина, какъ женщина... а воть иногда найдеть, бывало, на нее этакій тихій стихъ... удивительно даже, до чего она тогда хорошій человъкъ была. Смотрить, бывало, прямо въ душу и разсказываеть, какъ нянька или мать. Я въ такія времена, бывало, прямо какъ пятилътній ребенокъ передъ ней. Но все-таки ушель отъ нея — потому тоска! Тянеть меня куда-то... Прощай, говорю, Въра Михайловна, прости меня. Прощай, говорить, Саша. И—чудная—обнажила мнъ руку по локоть, да какъ вцъпится зубами въ мясо! Я чуть не заоралъ! Такъ цълый кусокъ и выхватила почти... недъли три болъла рука. Воть и сейчасъ знакъ цълъ...

Обнаживъ богатырскую, мускулистую руку, бълую и красивую, онъ показалъ мнѣ ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На кожѣ руки около локтевого сгиба былъ ясно виденъ шрамъ—два полукруга, почти соединявшіеся концами. Коноваловъ смотрѣлъ на нихъ и, улыбаясь, качалъ головой.

— Чудачка! — повторилъ онъ; — это она мнъ на память куснула.

Я слышаль и раньше исторіи въ этомъ духв. У каждаго "босяка" есть въ прошломъ "купчиха" или "одна барыня изъ благородныхъ", и у всвхъ почти босяковъ эта купчиха и барыня отъ безчисленныхъ варіацій въ разсказахъ о ней является фигурой совершенно фантастической, почти всегда соединяя въ себв самыя противоположныя физическія и психическія черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрезъ недвлю вы услышите о ней, какъ о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босякъ разсказываеть о ней въ скептическомъ тонъ, съ массой подробностей, которыя унижають ее.

Но исторія, равсказанная Коноваловымъ, не возбудила во мив недовърія, созданнаго исторіями, ранъе слышанными мною. Въ ней звучало что-то правдивое, въ ней были незнакомыя мив детали—эти чтенія книжекъ, этотъ эпитеть ребенка въ приложеніи къ мощпой фигуръ Коновалова. Я представилъ себъ гибкую женщину, спящую у него на рукахъ, прильнувъ головой къ широкой груди — это было красиво и еще болъе убъдило меня въ правдъе его разсказа. Наконецъ, его печальный и мягкій тонъ при воспоминаніи о "купчихъ" — тонъ исключительный. Истинный босякъ никогда не говоритъ такимъ тономъ ни о женщинахъ, ни о чемъ другомъ—онъ любитъ показать, что для него на землъ нътъ такой вещи, которую онъ не посмълъ бы обругать.

--- Ты чего молчишь, думаешь, я навралъ? --- спросилъ Коноваловъ, и почему-то въ голосъ его звучала тревога. Онъ раскинулся на мышкахъ съ мукой, держа въ одной рукъ стаканъ чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотръли на меня пытливо и вопросительно, и морщинки налбу легли резко...- Нътъ, ужъ ты повърь... Чего мнъ врать? Оно, положимъ, нашъ братъ, бродяга, сказки разсказывать мастеръ... Нельзя, другъ: — если у человъка въ жизни не было ничего хорошаго, онъ въдь никому не повредить, коли самъ для себя выдумаеть какую ни то сказку, да и станеть разсказывать ее за быль. Разсказываеть и самъ себъ въритъ, будто такъ оно и было - въритъ, ну, ему и пріятно. Многіе живуть этимъ. Ничего не подълаешь... Но я тебъ разсказалъ правду, такъ оно и было, какъ разсказывалъ. Развъ тутъ что особенное есть? Женщина живеть, и ей скучно, а народъ все замухрышка... Положимъ, я кучеръ, но женщинъ это все равно, потому что и кучеръ, и баринъ, и офицеръ-всъ мужчины... Й всв передъ ней свиньи, всв одного и того же ищуть, и каждый норовить, чтобы побольше взять, да поменьше заплатить. Простой-то человъкъ даже еще лучше, совъстливъе. А я очень простой... Женщины это хорошо во мив понимаютъ... видять, что не обижу, т.-е. не... тово... не насмъюсь надъ ней. Женщина-она согръшить и ничего такъ не боится, какъ смъха, издъвки надъ ней. Онъ стыдливъе противъ насъ. Мы свое

возьмемъ и хоть на базаръ пойдемъ разсказывать, хвастаться станемъ—воть, молъ, какъ мы одну дуру провели!... А женщинъ некуда идти, ей гръха въ удаль никто не ставить. Онъ, брать, даже самыя потерянныя, и тъ стыда больше насъ имъють.

Я слушалъ его и думалъ: неужели этотъ человъкъ въренъ самъ себъ, говоря всъ эти неподобающія ему ръчи?

А онъ, задумчиво уставивъ на меня свои по-дътски ясные глаза, все говорилъ и все болъе удивлялъ меня своими ръчами.

Мнъ казалось, что меня опутываеть что-то вродъ тумана, теплаго тумана, очищавшаго сердце мое, уже и въ ту пору достаточно сильно запачканное грязью жизни.

Дрова въ печи сгоръли, и яркая груда углей отбросила отъ себя на стъну пекарни розоватое пятно... оно дрожало...

Въ окно смотрълъ кусочекъ голубого неба съ двумя звъздами на немъ. Одна изъ нихъ—большая—блестъла изумрудомъ, другая, неподалеку отъ нея, была чуть видна.

Прошла недъля, и мы съ Коноваловымъ были друзьями.

— Ты тоже простой парень! Хорошо это!—говориль онъ мнъ, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работаль онъ артистически. Нужно было видъть, какъ онъ упражнялся съ семипудовымъ кускомъ тъста, раскатывая его въ чашкъ, или какъ онъ, наклонившись надъ ларемъ, мъсилъ, по локоть погружая свои могучія руки въ упругую массу, пищавшую въ его стальныхъ пальцахъ.

Сначала я, видя, какъ онъ быстро мечетъ въ печь

сырые хлѣбы, которые я еле успѣвалъ подкидывать изъ чашекъ на его лопату,—боялся, что онъ насадить ихъ другъ на друга; но когда онъ выпекъ три печи и ни у одного изъ ста двадцати короваевъ—пышныхъ, румяныхъ и высокихъ—не оказалось "притиска", я понялъ, что имѣю дѣло съ артистомъ въ своемъ родѣ. Онъ любилъ работать, увлекался дѣломъ, унывалъ, когда печь пекла плохо или тѣсто медленно всходило, сердился и ругалъ хозяина, если онъ покупалъ сырую муку, и былъ по-дѣтски веселъ и доволенъ, если хлѣбы изъ печи выходили правильно круглые, высокіе, "подъемистые", вмѣру румяные и съ тонкой, хрустящей коркой. Бывало, онъ бралъ съ лопаты въ руки самый удачный коровай и, перекидывая его съ ладони на ладонь, обжигаясь, весело смѣялся, говоря мнѣ:

— Эхъ, какого красавца мы съ тобой сработали...

И миѣ было пріятно смотрѣть на этого гигантскаго ребенка, влагавшаго всю душу въ работу свою, какъ это и слѣдуеть дѣлать каждому человѣку во всякой работѣ...

Однажды я спросиль его:

— Саша, говорять, ты поешь хорошо?

Онъ нахмурился и потупилъ голову.

— Пою... Только это у меня разами бываеть... полосой. Начну я тосковать, ну, тогда и пою... И ежели пъть начну—затоскую. Ты ужъ помалкивай объ этомъ... не дразни. Ты самъ-то не поешь? Ахъ ты... штука какая! Ты... лучше потерпи до меня... а пока свисти. Потомъ ужъ оба запоемъ, вмъстъ. Идеть?

Я, конечно, согласился и свисталь, когда хотвлось пвть. Но иногда прорывался и начиналь мурлыкать себв подъ носъ, мвся твсто и катая хлвбы. Коноваловъ слушаль меня, шевелилъ губами и чрезъ нвкоторое время напоминаль мнв о моемъ обвщании. А иногда грубо кричалъ на меня:

- Брось! Не стони!

Какъ-то разъ я вынулъ изъ моего сундука книжку и, примостившись къ окну, сталъ читать...

Коноваловъ дремалъ, растянувшись на ларѣ съ тѣстомъ, но шелестъ перевертываемыхъ мною надъ его ухомъ страницъ заставилъ его открыть глаза.

— Про что эта книжка?

Это были "Подлиповцы".

-- Почитай вслухъ, а?...-попросилъ онъ.

И воть, я сталь читать, сидя на подоконникъ, а онь усълся на ларъ и, прислонивъ свою голову къ моимъ колънямъ, слушалъ... Иногда я черезъ книгу заглядывалъ въ его лицо и встръчался съ его глазами — у меня до сей поры они въ памяти — широко открытые, напряженные, полные глубокаго вниманія... И ротъ его тоже былъ полуоткрытъ, обнажая два ряда ровныхъ, бълыхъ зубовъ. Поднятыя кверху брови, изогнутыя морщинки на высокомъ лбу, руки, которыми онъ охватилъ колъни, вся его неподвижная, внимательная поза подогръвала меня, и я старался какъ можно внятнъе и образнъе разсказать ему грустную исторію Сысойки и Пилы.

Наконецъ, я усталъ и закрылъ книгу.

- Все ужъ?—шопотомъ спросилъ меня Коноваловъ.
- Меньше половины...
- Всю вслухъ прочитаешь?
- Изволь.
- Эхъ! Онъ схватилъ себя за голову и закачался, сидя на ларъ. Ему что-то хотълось сказать, онъ открывалъ и закрывалъ ротъ, вздыхая, какъ мъхи, и для чего-то защурилъ глаза. Я не ожидалъ такого эффекта и не понималъ его значенія.
- Какъ ты это читаешь! шопотомъ заговорилъ онъ. На разные голоса... Какъ живые всв они... Апроська! Пишшитъ! Пила... дураки какіе! Смёшно мнё было слушать... но удержался... А дальше что? Куда эни поёдуть? Господи Боже! Вёдь это все правда. Вёдь

это какъ есть настоящіе люди... всамдълишние мужики... И совсъмъ какъ живые и голоса, и рожи... Слушай, Максимъ! Посадимъ печь—читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова часъ и сорокъ минуть я читалъ книгу. Потомъ опять пауза—печь испекла, вынули хлъбы, посадили другіе, замъсили еще тъсто, поставили еще опару... — все это дълалось съ лихорадочной быстротой и почти молча.

Коноваловъ, нахмуривъ брови, изръдка кротко бросалъ мнъ односложныя приказанія и торопился, торопился...

Къ утру мы кончили книгу, и я чувствовалъ, что языкъ у меня одервенълъ.

Сидя верхомъ на мѣшкѣ муки, Коноваловъ смотрѣлъ мнѣ въ лицо странными глазами и молчалъ, упершись руками въ колѣни...

— Хорошо?—спросилъ я.

Онъ замоталъ головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шопотомъ заговорилъ:

- Кто же это сочинилъ?—Въ глазахъ его свътилось неизъяснимое словами изумленіе, и лицо вдругъ вспыхнуло горячимъ чувствомъ.
 - Я разсказалъ, кто написалъ книгу.
- Ну человъкъ онъ! Какъ хватилъ! А? Даже ужасно. За сердце беретъ, т.-е. щиплетъ душу вотъ до чего живо. Что же онъ, этотъ сочинитель, что ему за это было?
 - Т.-е. какъ?
 - Ну, напримъръ, дали ему награду или что тамъ?
- A за что ему нужно дать награду?—спросиль я, имъя коварную цъль.
- Какъ за что? Книга... вродъ какъ бы актъ полицейскій. Сейчасъ ее читають... судять: Пила, Сысойка... какіе же это люди? Жалко ихъ станетъ всъмъ... Народъ темный, невинный... Какая у нихъ жизнь? Ну, и...

[—] И?...

Коноваловъ смущенно посмотрълъ на меня и робко заявилъ:

— Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди въдь они, и нужно ихъ поддержать.

Въ отвъть на это, я прочиталъ ему цълую лекцію... Но, увы! она не произвела того эффекта, на который я разсчитываль.

Коноваловъ задумался, поникъ головой, закачался всъмъ корпусомъ и сталъ вздыхать, ни словомъ не мъшая мнъ изображать изъ себя профессора. Я усталъ, наконецъ, и сдълалъ паузу.

Коноваловъ поднялъ голову и грустно посмотрълъ на меня.

- Такъ ему, значить, ничего и не дали? спросиль онъ.
 - Кому?-освъдомился я, позабывъ о Ръшетниковъ.
 - Сочинителю-то?

Мнъ стало досадно. Я не отвътилъ ему, чувствуя, что эта досада родитъ во мнъ раздражение противъ моей своеобразной аудиторіи, очевидно, не считавшей себя въ силахъ ръшать міровые вопросы и склонной интересоваться судьбой человъка болъе, чъмъ судьбами человъчества.

Коноваловъ, не дожидаясь моего отвъта, взялъ книгу въ свои руки, осторожно повертълъ ее, открылъ, закрылъ и, положивъ на мъсто, глубоко вздохнулъ.

- Какъ все это премудро, Господи!—вполголоса заговорилъ онъ.—Написалъ человъкъ книгу... бумага и на ней точечки разныя— вотъ и все. Написалъ и... умеръ онъ?
 - Умеръ...-сухо сказалъ я.

Я въ то время терпъть не могъ философіи, а тъмъ болъе метафизики; но Коноваловъ, не справляясь съ моими вкусами, продолжалъ:

— Умеръ, а книга осталась, и ее читають. Смотритъ въ нее человъкъ глазами и говорить разныя слова. А

ты слушаешь и понимаешь: жили на свътъ люди— Пила и Сысойка и Апроська... И жалко тебъ людей, коть ты ихъ никогда не видалъ и они тебъ совсъмъ ничего! По улицъ они такіе, можеть, десятками живые кодять, и ты ихъ видишь, но не знаешь про нихъ ничего... и тебъ нътъ до нихъ дъла... идутъ они и идутъ... А въ книгъ ихъ нътъ... однако, тебъ ихъ жалко до того, что даже сердце щемитъ... Какъ это понимать?... А сочинитель такъ безъ награды и умеръ? Ничего ему не было?

Я разозлился. Я разсказаль ему о наградахь сочинителямь...

Коноваловъ слушалъ меня, испуганно тараща глаза, и соболъзнующе чмокалъ губами.

— Порядки!—вздохнулъ онъ всей грудью и, заку сивъ лъвый усъ, грустно поникъ головой.

Тогда я началь говорить о роковой роли кабака въ жизни русскаго литератора, о тъхъ крупныхъ и искреннихъ талантахъ, что погибли отъ водки—единственной утъхи ихъ многотрудной жизни.

— Да развъ такіе люди пьють?—шопотомъ спросилъ меня Коноваловъ. Въ его широко открытыхъ глазахъ сверкало и недовъріе ко мнъ, и испугъ, и жалость къ тъмъ людямъ.—Пьють! Что же они... послъ того, какъ напишутъ книги, запивають?

Это, по-моему, быль неумъстный вопросъ, и я на него не отвътилъ.

— Конечно, послъ...—ръшилъ Коноваловъ. —Живутъ люди и смотрятъ въ жизнь, и вбираютъ въ себя чужое горе жизни. Глаза у нихъ, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуютъ... И вольютъ тоску свою въ книги... Но это уже не помогаетъ, потому—сердце тронуто и изъ него тоски огнемъ не выжжешь... Остается водкой ее заливать. Ну, и пьютъ... Такъ я говорю?

Я согласился съ нимъ, и это какъ бы придало ему бодрости.

- Ну, и по всей правдъ, продолжалъ онъ развивать психологію сочинителей, — следуеть ихъ за это отличить. Върно въдь? Потому что они понимають больше другихъ и указывають другимъ разные непорядки. Воть теперь я, напримъръ, что такое? Босякъ, галахъ... пьяница и тронутый человъкъ. Жизнь у меня безъ всякаго оправданія. Зачёмъ я живу на землё и кому я на ней нуженъ, ежели посмотръть? Ни угла своего, ни жены, ни дътей... и ни до чего этого даже и охоты нътъ. Живу и тоскую... Про что? Неизвъстно. Вродъ того со мной, какъ бы меня мать на свъть родила безъ чего-то такого, что у всёхъ другихъ людей есть и что человъку прежде всего нужно. Внутренняго пути у меня нътъ... понимаешь? Какъ бы это сказать? Этакой искорки въ душъ нъть... силы, что ли? Ну, нътъ во мнъ одной штуки-и все туть! Поняль? Воть я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть-это мнв неизвъстно...
 - Это ты къ чему?-спросилъ я.

Онъ, держась рукой за голову, посмотрълъ на меня, и на лицъ его отразилось сильное напряжение—работа мысли, ищущей для себя формы.

- Къ чему? А... къ безпорядку жизни. Т.-е... вотъ я живу, молъ, и дъться мнъ некуда... ни къ чему я не могу присунуться... и это есть безпорядокъ такая жизнь.
- Ну, и что же дальше?—допытывался я у него испонятной миъ связи между нимъ и сочипителями.
- Дальше?... Не могу я тебъ этого разсказать... Но думаю такъ, что ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрълся ко мнъ, то... могъ бы онъ объяснить мнъ мою жизнь... а? Ты какъ на этотъ счетъ думаешь?

Я думалъ, что и самъ въ состояціи объяснить ему его жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взглядъ,

легкое и ясное дъло. Я началъ говорить объ условіяхъ и средъ, о неравенствъ вообще, о людяхъ — жертвахъ жизни, и о людяхъ — жрецахъ ея.

Коноваловъ слушалъ внимательно. Онъ сидълъ противъ меня, подперши щеку рукой, и его большіе голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались какъ бы легкимъ туманомъ, на лбу все ръзче ложились складки, и онъ, кажется, удерживалъ дыханіе, весь поглощенный желаніемъ понять мои ръчи.

Мить льстило все это. Я съ жаромъ расписывалъ ему его жизнь и доказывалъ, что онъ не виноватъ въ томъ, что онъ таковъ, какъ есть, что онъ, какъ фактъ, вполить логиченъ и совершенно правильно обоснованъ длиннымъ рядомъ посылокъ изъ далекаго прошлаго. Онъпечальная жертва условій, существо, по природъ своей, со встми равноправное и длиннымъ рядомъ историческихъ несправедливостей сведенное на степень соціальнаго нуля. Я кончилъ объяснять его ему тъмъ, что сказалъ еще разъ:

— Тебъ не въ чемъ винить себя... Тебя обидъли... Онъ молчалъ, не сводя съ меня глазъ; я видълъ, какъ въ нихъ зарождается хорошая, свътлая улыбка, и съ нетерпъніемъ ждалъ, чъмъ онъ откликнется на мою ръчь.

Улыбка заиграла у него на губахъ. Вотъ онъ ласково засмъялся и, мягкимъ, женскимъ движеніемъ потянувшись ко мнъ, положилъ мнъ руку на плечо.

Я вздрогнулъ отъ сладкаго предчувствія награды за свою ръчь...

— Какъ ты, брать, легко разсказываешь насчеть всего этого! Откуда только тебъ всъ эти дъла извъстны? Все изъ книгъ? А и много же ты читалъ ихъ, видно... книгъ-то! Эхъ, ежели бы мнъ тоже почитать съ эстоль!... Но главная причина-- очень ты жалостливо говоришь... Впервые мпъ такая ръчь. Удивительно! Все люди

другъ друга винять въ своихъ незадачахъ, а ты—всю жизнь, всъ порядки. Выходить по-твоему, что человъкъ-то самъ по себъ и не виновать ни въ чемъ, а написано ему на роду быть босякомъ — ну, и потому онъ босякъ. И тоже вотъ насчетъ арестантовъ очень чудно: ворують потому, что работы нътъ, а ъсть надо... Какъ все это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, на сердце-то!...

- Погоди! сказалъ я, ты согласенъ со мною? Върно я говорилъ?
- Тебъ лучше знать, върно или нъть—ты грамотный... Оно, пожалуй, ежели взять другихъ, такъ върно... А воть ежели я...
 - То что?
- Ну, я особливая статья... Кто виновать, что я пью? Павелка, брать мой, не пьеть-въ Перми у него своя пекарня. А я воть работаю не хуже его-однако, бродяга и пьяница, и больше нъть мнъ ни званія, ни доли... А въдь мы одной матери дъти. Онъ еще моложе меня. Выходить, что во мнъ самомъ что-то неладно... Не такъ я, значить, родился, какъ человъку это слъдуеть. Самъ же ты говоришь, что всв люди одинаковые: — родился, пожилъ, сколько назначено, и помри! А я на особой стезъ... И не одинъ я-много насъ этакихъ. Особливые мы будемъ люди... и ни въ какой порядокъ не включаемся. Особый намъ счеть нуженъ... и законы особые... очень строгіе законы — чтобы насъ искоренять изъ жизни! Потому пользы отъ насъ нъть, а мъсто мы въ ней занимаемъ и у другихъ на тропъ стоимъ... Кто передъ нами виновать? Сами мы предъ собой и жизнью виноваты... Потому у насъ охоты къ жизни нътъ и къ себъ самимъ мы чувствъ не имъемъ... Матери наши не въ урочные часы зачали насъ-вотъ въ чемъ сила...

Я быль подавлень этимь неожиданнымь опроверженей исмоводовъ... Онъ—этоть больной человодовъть

съ ясными глазами ребенка--съ такимъ легкимъ духомъ выдъляль себя изъ жизни въ разрядъ людей, для нея ненужныхь и потому подлежащихь искорененю, съ такой смінощейся грустью, что я быль положительно ошеломлень этимъ самоуничижениемъ, до той поры еще невиданнымъ мною у босяка, въ массъ своей существа отъ всего оторваннаго, всему враждебнаго и надо всъмъ готоваго испробовать силу своего озлобленнаго скептицизма... Я встръчалъ только людей, которые всегда все винили и на все жаловались, упорно отодвигая самихъ себя въ сторону отъ ряда очевидностей, опровергавшихъ ихъ настойчивыя доказательства личной непогръщимости, и всегда сваливавшихъ свои неудачи на безмолвную судьбу, на элыхъ людей... Коноваловъ судьбу не винилъ и о людяхъ не говорилъ ни слова. Во всей неурядицъ своей личной жизни былъ виновать только онъ самъ, и чемъ упориве я старался доказать ему, что онъ "жертва среды и условій", тъмъ настойчивъе онъ убъждалъ меня въ своей виновности предъ самимъ собою и жизнью за свою печальную долю... Это было оригинально, но это бъсило меня. А онъ испытываль удовольствіе, бичуя себя; именно удовольствіемъ блествли его глаза, когда онъ звучнымъ баритономъ кричалъ мнъ:

— Каждый человъкъ самъ себъ хозяинъ, и никто въ томъ не повиненъ, ежели я подлецъ есть!

Въ устахъ культурнаго человъка такія ръчи не удивили бы меня, ибо еще нътъ такой болячки, которую нельзя было бы найти въ сложномъ и спутанномъ психическомъ организмъ, именуемомъ "интеллигентъ". Но въ устахъ босяка, хотя онъ и интеллигентъ среди обиженныхъ судьбой, голыхъ, голодныхъ и злыхъ полулюдей, полузвърей, наполняющихъ грязныя трущобы городовъ,—изъ устъ босяка странно было слышать эти ръчи. Приходилось заключить, что Коноваловъ дъйствительно—особая статья, но я не хотълъ этого,

Съ внъпней стороны Коноваловъ до мелочей являлся типичнъйшимъ золоторотцемъ; но, увы! чъмъ больше я присматривался къ нему, тъмъ больше убъждался, что имъю дъло съ разновидностью, нарушавшей мое представленіе о людяхъ, которыхъ давно пора считать за классъ и которые вполнъ достойны вниманія, какъ сильно алчущіе и жаждущіе, очень злые и далеко не глупые...

Мы съ нимъ спорили все жарче.

- Да погоди,—кричалъ я,—какъ можетъ человъкъ устоять на ногахъ, коли на него со всъхъ сторонъ разная темная сила претъ?
- Упрись кръпче!—возглашалъ мой биноненть, горячась и сверкая глазами.
 - Да во что упереться?
 - Найди свою точку и упрись!
 - А ты чего же не упирался?
- Вотъ я те и говорю, чудакъ человъкъ, что я самъ виноватъ въ моей долъ!... Не нашелъ я точки моей! Ищу, тоскую—не нахожу!

Однако, надо было позаботиться о хлібов, и мы принялись за работу, продолжая доказывать другь другу истину своихъ воззрівній. Конечно, ничего не доказали и оба, взволнованные, кончивъ печь, легли спать.

Коноваловъ растянулся на полу пекарни и скоро заснулъ. Я лежалъ на мъшкахъ съ мукой и сверху внизъ смотрълъ на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогожъ, брошенной около ларя. Пахло горячимъ хлъбомъ, кислымъ тъстомъ, углекислотой... Свътало, и въ стёкла оконъ, покрытыя плёнкой мучной пыли, смотръло сърое небо. Грохотала телъга, и пастухъ игралъ, собирая стадо.

Коноваловъ храпълъ. Я смотрълъ, какъ вадымалась его широкая грудь, и обдумывалъ разные способы

наискоръйшаго обращенія его въ мою въру, но ничего не выдумаль и заснулъ.

Поутру мы съ нимъ встали, поставили опару, умылись и съли на ларъ пить чай.

- Что, у тебя есть книжка?--спросиль Коноваловъ.
- Есть...
- Почитаешь миъ?
- Ладно...
- Воть хорошо! Знаешь что? Проживу я мъсяцъ, возьму у хозяина деньги и половину—тебъ!
 - На что?
- Купи книжекъ... Себъ купи, которыя по вкусу тамъ, и мнъ купи... хоть двъ. Мнъ, которыя про мужиковъ. Воть вродъ Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, съ жалостью было написано, а не смъха ради... Есть иныя—чепуха совсъмъ! Панфилка и Филатка—даже съ картинкой на первомъ мъстъ дурость. Пошехонцы... сказки разныя. Не люблю я это все. Я не зналъ, что есть этакія, воть какъ у тебя.
 - Хочешь про Стеньку Разина?
 - Про Стеньку?... Хорошо?
 - Очень хорошо...
 - Таши!

И вскоръ я уже читалъ ему монографію Н. Костомарова: "Бунтъ Стеньки Разина". Сначала эта талантливая монографія, почти эпическая поэма, не понравидась моему бородатому слушателю.

- А почему туть разговоровь нѣть? спросиль онъ, заглядывая въ книгу. И когда я объяснилъ почему, онъ даже зѣвнуль и хотъль скрыть зѣвокъ, но это ему не удалось, и онъ сконфуженно и виновато заявиль мнѣ:
 - Читай... ничего. Это я такъ...

Миъ понравилась его чуткая деликатность, и я сдълалъ видъ, что ничего не замътилъ и не понимаю, о ,чемъ онъ говоритъ.

Но по мъръ того, какъ историкъ рисовалъ своей художественной кистью фигуру Степана Тимовеевича и "князь волжской вольницы" вырасталь со страниць книги, Коноваловъ перерождался. Ранве нъсколько скучный и равнодушный, съ глазами, затуманенными лънивой дремотой, -- онъ, постепенно и незамътно для меня, предсталъ предо мной въ поразительно новомъ видъ. Сидя на ларъ противъ меня и обнявъ свои колъни руками, онъ положилъ на нихъ подбородокъ такъ, что его борода закрыла ему ноги, и смотрълъ на меня жадными, странно горъвшими глазами изъ-подъ сурово нахмуренныхъ бровей. Въ немъ не было ни одной черточки той дътской наивности, которой онъ всегда удивляль меня, и все то простое и женственно - мягкое, что такъ шло къ его голубымъ, добрымъ глазамъ, теперь потемнъвшимъ и суженнымъ, — исчезло куда-то. Нъчто львиное, огневое было въ его сжатой въ комъ мускуловъ фигуръ. Я замолчалъ, взглянувъ на него.

- Читай, тихо, но внушительно сказаль онъ.
- --- Ты что?
- Читай! повториль онъ, и въ тонъ его вмъстъ съ просьбой звучало раздраженіе.

Я продолжаль, изръдка поглядывая на него и видя, что онъ все болъе разгорается. Отъ него исходило чтото возбуждавшее и опьянявшее меня—какой-то горячій туманъ. Книга тоже дъйствовала... И воть, въ состояніи какого-то нервнаго трепета, полнаго предчувствія чегото необычайнаго, я дошелъ до того, какъ поймали Стеньку.

— Поймали!—рявкнулъ Коноваловъ.

Боль, обида, гнъвъ, готовность выручить Степана звучали въ его сильномъ возгласъ.

У него выступиль поть на лбу и глаза странно расширились. Онъ соскочиль съ ларя, высокій и возбужденный, остановился противъ меня, положиль мнѣ руку на плечо и громко, торопливо заговориль: — Погоди! Не читай... Скажи, что теперь будеть? Нъть, стой, не говори! Казнять его? А? Читай скоръй, Максимъ!

Можно было думать, что именно Коноваловъ, а не Фролка—родной брать Разину. Казалось, что какія-то узы крови, неразрывныя и не остывшія за три столѣтія, до сей поры связывають этого босяка со Стенькой, и босякъ со всей силой живого, крѣпкаго тѣла, со всей страстью тоскующаго безъ "точки" духа, чувствуеть боль и гнѣвъ пойманнаго триста лѣтъ тому назадъвольнаго сокола.

— Да читай, Христа ради!

Я читалъ, возбужденный и взволнованный, чувствуя, какъ бьется мое сердце и вмъстъ съ Коноваловымъ переживая Стенькину тоску. И вотъ мы дошли до пытокъ.

Коноваловъ скрипълъ зубами, и его голубые глаза сверкали, какъ угли. Онъ навалился на меня сзади и тоже не отрывалъ глазъ отъ книги. Его дыханіе шушъло надъ моимъ ухомъ и сдувало мнѣ волосы съ головы на глаза. Я встряхивалъ головой для того, чтобы отбросить ихъ. Коноваловъ увидалъ это и положилъ мнѣ на голову свою тяжелую ладонь.

"Туть Разинъ такъ скрипнуль зубами, что вмъстъ съ кровью выплюнулъ ихъ на полъ..."

— Будеть!... Къ чорту!—крикнулъ Коноваловъ и, вырвавъ у меня изъ рукъ книгу, изо всей силы шлепнулъ ее объ полъ и самъ опустился за ней.

Онъ плакалъ, и такъ какъ ему было стыдно слезъ, онъ какъ-то рычалъ, чтобы не рыдать. Онъ спряталъ голову въ колъни и плакалъ, вытирая глаза о свои грязныя тиковыя штаны.

Я сидълъ передъ нимъ на ларъ и не зналъ, что сказать ему въ утъшеніе.

— Максимъ!—говорилъ Коноваловъ, сидя на полу.— Страшно! Пила... Сысойка. А потомъ Стенька... а? Какая судьба!... Зубы-то какъ онъ выплюнулъ!... а? И онъ весь вздрагиваль въ своемъ волненіи.

Его особенно поразили эти выплонутые Стенькой зубы, и онъ то и дъло, болъзненно передергивая плечами, говорилъ о нихъ.

Мы оба съ нимъ были какъ пьяные подъ вліяніемъ вставшей предъ нами мучительной и жестокой картины пытокъ.

— Ты мит ее еще разъ прочитай, слышишь?—уговаривалъ меня Коноваловъ, поднявъ съ полу книгу и подавая ее мит.—А ну-ка, покажи, гдт тутъ написано насчеть зубовъ?

Я показаль ему, и онъ впился глазами въ эти строки.

— Такъ и написано: "зубы свои выплюнулъ съ кровью"? А буквы тъ же самыя, какъ и всъ другія... Господи! Какъ ему больно-то было, а? Зубы даже... а въ концъ тамъ что еще будеть? Казнь? Ага! Слава те, Господи, все-таки казнять человъка!

Онъ выразиль эту радость предъ казнью съ такой страстью, съ такимъ удовлетвореніемъ въ глазахъ, что я вздрогнуль отъ этого состраданія, такъ сильно желавшаго смерти измученному Стенькъ.

Весь этоть день прошель у насъ въ странномъ туманъ: мы все говорили о Стенькъ, вспоминая его жизнь, пъсни, сложенныя о немъ, его пытки. Раза два Коноваловъ запъвалъ звучнымъ баритономъ пъсни и обрывалъ ихъ.

Мы съ нимъ стали еще ближе другъ къ другу съ этого дия.

Я еще нъсколько разъ читалъ ему "Бунтъ Стеньки Разина", "Тараса Бульбу" и "Бъдныхъ людей". Тарасъ тоже очень понравился моему слушателю, но онъ не могъ затемнить яркаго впечатлънія отъ книги Косто-

марова. Макара Дъвушкина и Варю Коноваловъ не понималъ. Ему казался только смъшнымъ языкъ писемъ Макара, а къ Варъ онъ относился скептически.

— Ишь ты, ластится къ старику! Хитрая!... А онъ... экое чучело! Однако, брось ты, Максимъ, эту канитель! Чего тутъ? Опъ къ ней, она къ нему... Портили бумагу... ну ихъ къ свиньямъ на хуторъ! Не жалостно и не смъшно: для чего писано?

Я напоминалъ ему подлиповцевъ, но онъ не соглашался со мной.

— Пила и Сысойка—это другая модель! Они люди живые, живуть и бьются... а эти чего? Пишуть письма.. скучно! Это даже и не люди, а такъ себъ... одна выдумка. Воть Тарасъ со Стенькой, ежели бы ихъ рядомъ.. Батюшки! Какихъ опи дъловъ натворили бы. Тогда и Пила съ Сысойкой... взбодрились бы, чай?

Онъ плохо понималъ время, и въ его представленін всё излюбленные имъ герои существовали вмёстё, только двое изъ нихъ жили въ Усольё, одинъ въ "хо-хлахъ", одинъ на Волгё... Мнё съ трудомъ удалось убёдить его, что если бы Сысойка и Пила "съёхали" внизъ по Камё, они со Стенькой не встрётились бы, и если бы Стенька "дернулъ черезъ донскіе казаки и хохлы" онъ не нашелъ бы тамъ Бульбу.

Это огорчило Коновалова, когда онъ понялъ, въ чемъ дъло. Я попробовалъ угостить его пугачевскимъ бунтомъ, желая посмотръть, какъ онъ отпесется къ Емелькъ. Коноваловъ забраковалъ Пугачева.

— Ахъ, шельма клейменая,—ишь ты! Царскимъ именемъ прикрылся и мутитъ... Сколько людей погубилъ, пёсъ!... Стенька?—это, братъ, другое дъло, А Пугачъ—гнида, и больше ничего. Важное кушанье! Вотъ вродъ Стеньки нътъ ли книжекъ? Поищи... А этого телячьяго Макара брось—не занимательно. Ужъ лучше ты еще разъ прочти, какъ казнили Степана...

Въпраздники мы съ Коноваловымъ уходили за ръку,

въ луга. Мы брали съ собой немного водки, клъба, книгу и съ утра отправлялись "на вольный воздукъ", какъ называлъ Коноваловъ эти экскурсіи.

Намъ особенно нравилось бывать въ "стеклянномъ заводъ". Такъ почему-то называлось зданіе, стоявшее недалеко отъ города въ полъ. Это быль трехъэтажный, каменный домъ съ провалившейся крышей, съ изломанными рамами въ окнахъ, съ подвалами, все лъто полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-сърый, полуразрушенный, какъ бы опустившійся, онъ смотрълъ съ поля на городъ темными впадинами своихъ изуродованныхъ оконъ и казался инвалидомъ-калъкой, обиженнымъ судьбой, изринутымъ изъ предъловъ города, жалкимъ и умирающимъ. Въ половодье этотъ домъ изъ года въ годъ подмывала вода, но онъ, весь отъ крыши до основанія покрытый зеленой коркой плісени, несокрушимо стояль, огражденный лужами оть частыхъ визитовъ полиціи, - стоялъ и, хотя у него не было крыши, давалъ кровъ разнымъ темнымъ и безпріютнымъ людямъ.

Ихъ всегда было много въ немъ; оборванные, полуголодные, боящіеся солнечнаго свъта, они жили въ этой развалинъ, какъ совы, и мы съ Коноваловымъ всегда были среди нихъ желанными гостями, потому что и онъ, и я, уходя изъ пекарни, брали по короваю бълаго хлъба, дорогой покупали четверть водки и цълый лотокъ "горячаго"—печенки, легкаго, сердца, рубца. На дватри рубля мы устраивали очень сытное угощеніе "стекляннымъ людямъ", какъ ихъ называлъ Коноваловъ.

Они платили намъ за эти угощенія разсказами, въ которыхъ ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась съ самой наивной ложью. Каждый разсказъ являлся предъ нами кружевомъ, въ которомъ преобладали черныя нити—это было правда, и встръчались нити яркихъ цвътовъ—ложь. Такое кружево падало на мозгъ и сердце и больно давило и то, и другое, сжимая его своимъ жесткимъ, мучительно разно-

образнымъ рисункомъ. "Стеклянные люди" по-своему любили насъ и почти всегда были моими внимательными слушателями. Разъ я читалъ имъ "Кому на Руси жить хорошо", и на ряду съ гомерическимъ хохотомъ, я слыхалъ отъ нихъ много очень цѣнныхъ сужденій на эту тему.

Каждый человъкъ, боровшійся съ жизнью, побъжденный ею и страдающій въ безжалостномъ плъну ея грязи, болье философъ, чъмъ самъ Шоппенгауеръ, потому что отвлеченная мысль никогда не выльется въ такую точную и образную форму, въ какую выльется мысль, непосредственно выдавленная изъ человъка страданіемъ. Знаніе жизни у этихъ людей, вышвырнутыхъ за борть ея, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушалъ ихъ разсказы, а Коноваловъ слушалъ ихъ для того, чтобы возражать противъ философіи разсказчика и втянуть меня въ диспуть съ собой.

Выслушавъ исторію жизни и паденія, разсказанную какимъ-нибудь фантастически-разодѣтымъ субъектомъ, съ физіономіей человѣка, которому никакъ уже нельзя положить пальца въ роть,—выслушавъ такую исторію, всегда носящую характеръ оправдательно-защитительной реляціи, Коноваловъ задумчиво улыбался и отрицательно покачивалъ головой. Это замѣчали потому, что это дѣлалось открыто.

- Не въришь, Леса? со скорбью восклицалъ разсказчикъ.
- Нътъ, върю... Какъ можно не върить человъку! Даже и если видишь—вреть онъ, върь ему, т.-е. слушай и старайся понять, почему онъ вреть? Иной разъ вранье-то лучше правды объясняеть человъка... Да и какую мы всъ про себя правду можемъ сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Върно?
- Върно...—соглашается разсказчикъ.—А все-таки ты это къ чему головой-то качалъ?
 - Къ чему? А къ тому, что ты неправильно разсу-

ждаешь... Разсказываешь ты такъ, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты самъ, а шабры дълали и разные прохожіе люди. А гдъ же ты въ это время быль? И почему ты противъ своей судьбы никакой силы не выставилъ? И какъ это такъ выходить, что всъ мы жалуемся на людей, а сами тоже люди, и, значить, на насъ тоже можно жаловаться? Намъ жить мъшають,—значить, и мы тоже кому-нибудь мъшали, върно? Ну, такъ какъ воть это объяснить?...

- Нужно такую жизнь строить, чтобъ въ ней всемъ было просторно и никто никому не мещалъ сентенціозно ставять Коновалову тезисъ.
- А кто долженъ строить жизнь?—побъдоносно вопрошаеть онъ и, боясь, что у него предвосхитять отвъть на его вопросъ, тотчасъ же отвъчаеть:—Мы! Сами мы! А какъ же мы будемъ строить жизнь, если мы этого не умъемъ и наша жизнь не удалась? И выходить, братцы мои, что вся опора—это мы! Ну, а извъстно, что такое есть мы...

Ему возражали, оправдывая себя, но онъ настойчиво твердилъ свое: никто ни въ чем не виновать предъ ними, но каждый изъ насъ во всемъ виновать самъ предъ собою.

Крайне трудно было сбить его съ почвы этого положенія и крайне трудно было усвоить его взглядъ на людей. Съ одной стороны, они въ его представленіи являлись вполнъ правоспособными къ устройству свободной жизни, съ другой — они являлись какими-то слабыми, хлипкими и неспособными ръшительно ни на что, кромъ жалобъ другъ на друга.

Весьма часто такіе споры, начатые въ полдень, кончались около полуночи, и мы съ Коноваловымъ возвращались отъ "стеклянныхъ людей" во тьмъ и по колъно въ грязи.

Однажды мы едва не утонули въ какой-то трясинъ, другой разъ мы попали въ облаву и ночевали въ ча-

сти вмѣстѣ съ двумя десятками разныхъ пріятелей изъ "стекляннаго завода", съ точки зрѣнія полиціи оказавшихся подозрительными личностями. Иногда намъ не хотѣлось философствовать, и мы шли далеко въ луга, за рѣку, гдѣ были маленькія озера, изобиловавшія мелкой рыбой, зашедшей въ нихъ во время половодья. Въ кустахъ, на берегу одного изъ такихъ озеръ, мы зажигали костеръ, который былъ намъ нуженъ лишь потому, что увеличивалъ красоту обстановки, и читали книгу или бесѣдовали о жизни. А иногда Коноваловъ задумчиво предлагалъ:

— Максимъ! давай въ небо смотръть:

Мы ложились на спины и смотръли въ голубую бездонную бездну надъ нами. Сначала мы слышали и шелесть листвы вокругь насъ, и всплески воды въ озеръ, чувствовали подъ собой землю и вокругъ себя все то, что въ ту пору было тутъ... Потомъ постепенно голубое небо, какъ бы притягивавшее насъ къ себъ, облекало наше сознаніе въ туманъ, мы утрачивали чувство бытія и, какъ бы отрываясь отъ земли, точно плавали въ пустынъ небесъ, находясь въ полудремотномъ, созерцательномъ состояніи и стараясь не разрушать его ни словомъ, ни движеніемъ.

Такъ пролеживали мы по нъскольку часовъ кряду и возвращались домой къ работъ, духовно и тълесно обновленные и освъженные этимъ единеніемъ съ природой.

Коноваловъ любилъ ее глубокой, безсловесной любовью, выражавшейся только мягкимъ блескомъ его глазъ, и всегда, когда онъ былъ въ полъ или на ръкъ, онъ весь проникался какимъ-то миролюбиво-ласковымъ настроеніемъ, еще болъе увеличивавшимъ его сходство съ ребенкомъ. Иногда онъ съ глубокимъ вздоломъ говорилъ, глядя въ небо:

— Эхъ!... Хорошо!

И въ этомъ восклицаніи всегда было болѣе смысла и чувства, чѣмъ въ риторическихъ фигурахъ мно-

гихъ поэтовъ, восхищающихся скоръе ради поддержанія своей репутаціи людей съ тонкимъ чутьемъ прекраснаго, чъмъ изъ дъйствительнаго преклоненія предъневыразимо ласковой красой природы...

Какъ все, такъ и поэзія теряеть свою святую простоту и непосредственность, когда изъ поэзіи дѣлають профессію.

День за днемъ прошли два мъсяца, въ теченіе которыхъ я съ Коноваловымъ о многомъ переговорилъ и много прочиталъ. "Бунтъ Стеньки" я читалъ ему такъ часто, что онъ уже свободно разсказывалъ его своими словами, страницу за страницей, съ начала до конца.

Эта книга стала для него тъмъ, чъмъ становится иногда волшебная сказка для впечатлительнаго ребенка. Онъ называлъ предметы, съ которыми имълъ дъло, именами ея героевъ, и когда однажды съ полки упала и разбилась хлъбная чашка, онъ огорченно и зло воскликнулъ:

— Ахъ ты, воевода!

Неудавшійся хлѣбъ онъ величаль Фролкой, дрожди именовались "Стенькины думки"; самъ же Стенька быль синонимомъ всего исключительнаго, крупнаго, несчастнаго, неудавшагося.

О Капитолинъ, письмо которой я читалъ и сочинялъ отвъть на него въ первый день знакомства съ Коноваловымъ, за все время почти не упоминалось.

Я зналь, что Коноваловъ посылаль ей деньги на имя нъкоего Филиппа съ просьбой къ нему поручиться въ полиціи за дъвушку, но ни отъ Филиппа, ни отъ дъвушки никакого отвъта не послъдовало.

И вдругъ однажды вечеромъ, когда мы съ Коноваловымъ готовились сажать хлъбы, дверь въ пекарню отворилась и изъ темноты сырыхъ съней низкій женскій голосъ, одновременно робкій и задорный, произнесъ:

— Извините...

- Кого нужно? спросилъ я, въ то время, какъ Коноваловъ, опустивъ къ ногамъ лопату, смущенно дергалъ себя за бороду.
 - Булочникъ Коноваловъ здъсь работаетъ?

Теперь она стояла на порогъ, и свътъ висячей лампы падалъ ей прямо на голову — въ бъломъ шерстяномъ платкъ. Изъ-подъплатка смотръло круглое, миловидное, курносое личико съ пухлыми щеками и ямочками на нихъ отъ улыбки пухлыхъ, красныхъ губъ.

- Здъсь! отвътилъ я ей.
- Здёсь, здёсь!—вдругь и какъ-то очень ужъ шумно обрадовался Коноваловъ, бросивъ лопату и широкими шагами направляясь къ гостъв.
- Сашенька!—глубоко вздохнула она ему навстръчу. Они обнялись, для чего Коноваловъ низко наклонился къ ней.
- Ну, что? какъ? Давно? А? Вотъ такъ ты! Свободна? Хорошо! Вотъ видишь? Я говорилъ... теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смѣло! торопливо изъяснялся предъ ней Коноваловъ, все еще стоя у порога и не разводя своихъ рукъ, обнявшихъ ея шею и талію.
- Максимъ... ты, брать, воюй одинъ сегодня, а я займусь воть по дамской части... Гдъ же ты, Кана, остановилась?
 - А я прямо сюда, къ тебъ...
- Сю-юда? Сюда невозможно... здъсь хлъбъ пекутъ и... никакъ нельзя! Хозяинъ у насъ строжайшій человъкъ. Нужно будетъ пристроиться на ночь въ иномъ мъстъ... въ номеръ, скажемъ. Айда!

И они ушли. Я остался воевать съ хлѣбами и пикакъ не ожидалъ Коновалова ранѣе утра, но, къ немалому моему изумленію, часа черезъ три онъ явился. Мое изумленіе еще больше увеличилось, когда, взглянувъ на него въ чаяніи видѣть на его лицѣ сіяніе радости, я увидѣлъ, что оно только кисло, скучно и утомлено.

— Что ты? — спросплъ я, сильно заинтересованный

этимъ неподобающимъ событію настроеніемъ моего друга.

- Ничего...— уныло отвътилъ онъ и, помолчавъ, довольно свиръпо сплюнулъ.
 - Нъть, все-таки?... настаиваль я.
- Да что тебъ? устало отозвался онъ, во весь ростъ растягиваясь на ларъ. Все-таки... все-таки... Все-таки баба! Вотъ те и все.

Мнъ стоило большого труда добиться отъ него объясненія, и, наконецъ, онъ далъ мнъ его такими приблизительно словами:

— Говорю-баба! И когда бы я не быль дуракомъ, такъ ничего бы этого не было. Понялъ? Ну... Вотъ ты говоришь: и баба человъкъ! Извъстно, ходить она на однъхъ заднихъ лапахъ, травы не ъсть, слова говорить, смъется... значить, не скоть. А все-таки нашему брату не компанія... Н-да! Почему? А... не знаю! Чувствую, не подходить, но понимать не могу — почему... Вонъ он Капитолина, какую линію гнеть-хочу, говорить, съ тобой, это значить - со мной, жить вродъ жены. Желаю, говорить, быть твоей дворняжкой... Совстмъ несообразно! Ну, милая ты дівочка, говорю, дурека ты; ну, разсуди, какъ со мной жить? Первое дъло у меня-запой, во-вторыхъ, нъть у меня никакого дому, въ-третьихъ, я есть бродяга и не могу на одномъ мъстъ жить... и прочее такое, очень многое... говорю ей. А она -- запой наплевать. Всв, говорить, мастеровые мужчины горькіе пьяницы, однако, жены у нихъ есть; домъ, говорить, будеть, коли будеть жена, и никуда, говорить, ты тогда не побъжищь... Я говорю: Капа, никакъ я не могу къ этому склониться, потому что я знаю — жизнью такой жить не умъю я и не научусь. А она — а я, говорить, въ ръчку прыгну! А я ей: ду-урра! А она ругаться, да въдь ка-акъ! Ахъ ты, говорить, смутьянъ, безстыжая рожа, обманщикъ, длинный чорть!... И почала, и почапа... просто такъ-то ли разъярилась на меня, что я чуть

не сбъжаль. Потомъ начала плакать. Плачеть и пеняеть мив: зачъмъ ты, говорить, меня изъ того мъста вынуль, коли я тебъ не нужна? Зачъмъ ты, говорить, меня оттуда сманилъ, и куда, говорить, я теперь дънусь? Рыжій ты, говорить, дуракъ... Ф-фу! Ну что теперь съ ней дълать?

- Да ты ее, въ самомъ дълъ, почему оттуда вытащилъ?— спросилъя.
- Почему? Воть чудакъ! Чай, жалко! Въдь угрязаеть человъкъ... и всякому мимоидущему его жалко. Но чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это я согласиться не могу. Какой я семьянинъ? Да кабы я могь держаться на этой точкъ, такъ я бы ужъ давно ръшился. Какіе резоны были! Могъ бы съ приданымъ и... все такое. Но ежели это не въ моей силъ, какъ я могу творить такое дъло? Плачеть она... это, конечно... тово, нехорошо... Но въдь какъ же? Я не могу!

Онъ даже головой замоталъ въ подтверждение своего тоскливаго "не могу", всталъ съ ларя и, объими руками ероша бороду и волосы на головъ, началъ, низко опустивъ голову и отплевываясь, шагать по пекарнъ.

- Максимъ! просительно и сконфуженно заговорилъ онъ, пошелъ бы ты къ ней и какъ-нибудь этакъ сказалъ ей, почему и отчего... а? Пойди, братъ!
 - Что же я ей скажу?
- Всю правду говори!... Не можеть, моль, онъ. Не подходящее это ему... А то скажи воть что... у него, моль, дурная бользнь!
 - Какая же это правда? засмъялся я.
- Н-да... это не правда... А причина хо-орошая, а? Ахъ ты, чорть те возьми! Воть такъ каша — жена! А? Да я про это и не думаль ни разика! Ну куда мнъ жена?

Онъ съ такимъ недоумъніемъ и испугомъ развелъ руками при этихъ словахъ, что было ясно—ему совсъмъ некуда дъвать жену! И, несмотря на комизмъ его изло-

женія всей этой исторіи, ея драматическая сторона заставила меня кръпко задуматься надъ положеніемъ товарища и этой дъвушки. А онъ все ходиль по пекарнъ и говориль какъ бы уже самъ съ собою:

— И не понравилась теперь она мив, ну, просто страхъ какъ! Такъ это и засасываетъ меня она, такъ и втягиваетъ куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себъ мужа! Не больно умна, а хитрая дъвочка.

Это въ немъ начинаетъ говорить инстинктъ бродяги, возбужденное чувство въчнаго стремленія къ свободъ, на которое было сдълано покушеніе.

- Нътъ, меня на такого червя не поймаешь, я есть рыба крупная! хвастливо воскликнулъ онъ. Я вотъ какъ возьму, да ... а что въ самомъ дълъ? И, остановясь среди пекарни, онъ, улыбясь, задумался. Я слъдилъ за игрой его возбужденной физіономіи и старался предугадать, на чемъ онъ ръшилъ.
 - Максимъ! Айда на Кубань?!

Этого я не ожидаль. У меня по отношеню къ нему имълись нъкоторыя литературно-педагогическія намъренія: — я питаль надежду выучить его грамотъ и передать ему все то, что самъ зналь въ ту пору. Было бы любопытно посмотръть, что изъ этого выйдеть... Онъ даль мнъ слово все лъто не двигаться съ мъста; это облегчало мнъ мою задачу, и вдругъ...

- Ну это ужъ ты ерундишь!—нъсколько смущенно сказалъ я ему.
- Да что жъ инъ мнъ дълать? воскликнулъ онъ. Я началъ говорить ему, что, пожалуй, посягательство Капитолины на него совсъмъ ужъ не такъ ръшительно-серьезно, какъ онъ его себъ представляетъ, и что надо посмотръть и подождать.

И даже, какъ оказалось, ждать-то было не долго.

Мы бесъдовали, сидя на полу передъ печью спинами къ окнамъ. Время было близко къ полночи, и съ той поры, какъ Коноваловъ пришелъ, прошло часа полтора — два. Вдругъ сзади насъ раздался дребезгъ стеколъ, и на полъ шумно грохнулся довольно увъсистый булыжникъ. Мы оба въ испугъ вскочили и бросились къ окну.

- Не попала!—визгливо кричали въ него.—Плохо мътила! А ужъ бы...
- П'дё-емъ!--рычалъ звърскій басъ.—П'дё-емъ, а я его послъ... уважу.

Отчаянный, истерическій и пьяный хохоть, визгливый, рвавшій нервы, летьль съ улицы въ разбитое окно.

— Это она!-тоскливо сказалъ Коноваловъ.

Я видълъ пока только двъ ноги, свъщенныя съ панели въ углубленіе предъ окномъ. Онъ висъли и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стънкъ ямы, какъ бы ища себъ опоры.

- Да п'дё-емъ! лопоталь звърскій басъ.
- Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай Сашка! Прощай... слъдовала довольно нецензурная брань.

Подойдя ближе къ окну, я увидалъ Капитолину. Наклонившись внизъ, упираясь руками въ панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ея растрепанные волосы разсыпались по плечамъ и груди. Бъленькій платокъ былъ сбитъ въ сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была страшно пьяна и качалась изъ стороны въ сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, вся дрожащая, вся растрепанная, съ краснымъ, пьянымъ, облитымъ слезами лицомъ...

Надъ ней согнулась высокая фигура мужчины, и онъ, упираясь одной рукой ей въ плечо, а другой въ стъну дома, все рычалъ:

- П'дё-емъ!...
- Сашка! Погубиль ты меня... помни! Будь проклять, рыжій чорть! Не видать бы теб'в ни часу св'вта

Божьяго. Надъялась я... поправиться... насмъялся ты, злодъй, надо мной... ладно! Сочтемся! А... Спрятался! Стыдно, харя поганая... Саша... голубчикъ.

- Я не спрятался...—подойдя къ окну и вълъзая на ларь, сказалъ глухо и густо Коноваловъ. Я не прячусь... а ты напрасно... Я добра въдь тебъ хотълъ; добро будеть—думалъ, а ты понесла совсъмъ несообразное...
 - Сашка! Можешь ты меня убить?
- Зачъмъ ты напилась? Развъ ты знаешь, что было бы... завтра...
 - Сашка! Саша! Утопи меня!
 - Бу-удеть! П'дё-емъ!
- Мер-рзавецъ! Зачъмъ ты притворился хорошимъ человъкомъ?
 - Что за шумъ, а? Кто такіе?

Свистокъ ночного сторожа вившался въ этотъ діалогь, заглушилъ его и замеръ.

— Зачёмъ я въ тебя, чорть, повёрила... — рыдала дёвушка подъ окномъ.

Потомъ ея ноги вдругъ дрогнули, быстро мелькнули вверхъ и пропали во тьмъ. Раздался глухой говоръ, возня...

— Не хочу въ полицію! Са-аша!—тоскливо вопила дъвушка.

По мостовой тяжело затопали ноги.

Свистки, глухое рычаніе, вопли...

— Са-аша! Ми-илый!

Казалось, кого-то немилосердно истязують... Все это удалялось отъ насъ, становилось глуше, тише и пропало, какъ кошмаръ.

Ошеломленные, подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы съ Коноваловымъ смотръли на улицу во тьму и не могли опомниться отъ этого плача, рева, ругательствъ, начальническихъ окриковъ, болъзненныхъ стоновъ. Я вспоминалъ отдъльные звуки и съ трудомъ върилъ, что все это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.

- Все...—какъ-то особенно кротко и просто сказалъ Коноваловъ, прислушавшись еще разъ къ тишинъ темной ночи, безмолвно и строго смотръвшей на него въ окно.
- Какъ она меня!... съ изумленіемъ продолжаль онъ черезъ нъсколько секундъ, оставаясь въ старой позъ, на ларъ, стоя на колъняхъ и упираясь руками въ пологій подоконникъ. Въ полицію попала... пьяная... съ какимъ-то чортомъ. Скоро какъ поръшила! Онъ глубоко вздохнулъ, слъзъ съ ларя, сълъ на мъшокъ, обнялъ голову руками, покачался и спросилъменя вполголоса:
- Разскажи ты мнъ, Максимъ, что же это такое туть теперь вышло?... Т.-е. какое мое теперь во всемъ этомъ дъло?

Я разсказаль. Все это сплошь его дѣло. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь дѣлать, и въ началѣ дѣла нужно уже представлять себѣ его возможный конецъ. Онъ все это не понималь, не зналь и кругомъ во всемъ виновать. Я былъ обозленъ имъ—стоны и крики Капитолины, пьяное "п'дё-емъ!..."—все это еще стояло у меня въ ушахъ, и я не щадилъ товарища.

Онъ слушаль меня съ наклоненной головой, а когда я кончиль, подняль ее, и на лицъ его я прочиталь испугь и изумленіе.

— Вотъ такъ разъ! восклицалъ онъ. — Ловко! Ну, и... что же теперь? А? какъ же? Что мнъ съ ней дълать?

Въ тонъ его словъ было такъ много чисто-дътскаго по искренности сознанія своей вины предъ этой дъвушкой и такъ много безпомощнаго недоумънія, что мнъ тутъ же стало жаль товарища, и я подумалъ, что, пожалуй, я ужъ очень ръзко и безапелляціонно говорилъ съ нимъ.

— И зачёмъ я ее тронулъ съ того мёста!-каялся

Коноваловъ. — Эхма! въдь какъ она теперь на меня... я вотъ что... Я пойду туда, въ полицію, и похлопочу... Увижу ее... и прочее такое. Скажу ей... что-нибудь. Илти?

Я замътилъ, что едва ли будетъ какой-либо толкъ отъ его свиданія. Что онъ ей скажеть? Ктому же, она пьяная и, навърное, спитъ уже.

Но онъ укръпился въ своей мысли.

— Пойду, погоди. Все-таки я ей добра желаю... какъ хошь. А тамъ что за люди для нея? Пойду. Ты туть тово... я скоро.

И надъвъ на голову картузъ, онъ даже безъ опорокъ, въ которыхъ обыкновенно щеголялъ, быстро вышелъ изъ пекарни.

Я отработался и легь спать; а когда поутру, проснувщись, по привычкъ взглянулъ на мъсто, гдъ спалъ Коноваловъ, его еще не было.

Онъ явился только къ вечеру—хмурый, взъерошенный, съ ръзкими складками на лбу и съ какимъ-то туманомъ въ голубыхъ глазахъ. Не глядя на меня, подошелъ къ ларямъ, посмотрълъ, что мной сдълано, и молча легъ на полъ.

- Что же, ты видълъ ее?-спросилъ я.
- Зачвиъ и ходилъ.
- Ну такъ что же?
- .— Ничего.

Было ясно—онъ не хотълъ говорить. Полагая, что такое настроеніе не продлится у него долго, я не сталъ надоъдать ему вопросами. И онъ весь этотъ день молчалъ, только по необходимости бросая мнъ краткія фразы, относящіяся къ работъ, расхаживая по пекарнъ съ понуренной головой и все съ тъми же туманными глазами, съ какими пришелъ. Въ немъ точно погасло что-то; онъ работалъ медленно и вяло, какъ связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили

послъдніе хлъбы въ печь и, изъ боязни передержать ихъ, не ложились спать, онъ попросилъ меня:

— Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.

Такъ какъ описаніе пытокъ и казни всего болѣе возбуждало его—я сталъ ему читать именно это мѣсто. Онъ слушалъ, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и, не мигая глазами, смотрѣлъ въ закопченые своды потолка.

- Умеръ Стенька. Воть и порвшили съ человъкомъ, медленно заговорилъ Коноваловъ. А все-таки въ ту пору можно было жить. Свободно. Выло куда податься, можно было душу отвести. Теперь вотъ тишина и смиренство... порядокъ... ежели такъ со стороны посмотръть, совсъмъ даже смирная жизнь теперь стала. Книжки, грамота... А все-таки человъкъ безъ защиты живетъ и никакого призору за нимъ нътъ. Гръшить ему запрещено, но не гръшить невозможно... Потому на улицахъ-то порядокъ, а въ душъ путаница. И никто никого не можетъ понимать.
- Саша! Ну такъ какъ же ты съ Капитолиной-то? спросилъ я.
- A?— встрепенулся онъ.—Съ Капкой? Шабашъ...— Онъ ръшительно махнулъ рукой.
 - Кончиль, значить?
 - Я? Нътъ... она сама кончила.
 - Какъ?
- Очень просто. Стала на свою точку и больше никакихъ... Все по старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала... Ты вынь хлъбъ, а я буду спать.

Въ пекариъ стало Тихо. Коптила ламиа, изръдка потрескивала заслонка печи, и корки испеченаго хлъба на полкахъ тоже трещали, подсыхая. На улицъ, противъ нашихъ оконъ, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звукъ порой доходилъ до

слука съ улицы, не то гдъ-то скрипъла вывъска, не то кто-то стоналъ.

Я вынуль хлёбы, легь спать, но мит не спалось, и я, прислушиваясь ко всёмъ звукамъ ночи, лежалъ, полузакрывъ глаза. Вдругъ вижу, Коноваловъ безшумно поднимается съ полу, идетъ къ полкт, беретъ съ нея книгу Костомарова, раскрываеть ее и подноситъ къ глазамъ. Мит ясно видно его задумчивое лицо, я слежу, какъ онъ водитъ пальцемъ по строкамъ, качаетъ головою, перевертываетъ страницу, снова пристально смотритъ на нее, а потомъ переводитъ глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражаетъ отъ себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращеннымъ ко мит, новое для меня.

Я не могъ сдержать своего любопытства и спросиль его, что онъ дълаеть.

— А я думалъ, ты спишь...— смутился онъ; потомъ подошелъ ко мнѣ, держа книгу въ рукѣ, сѣлъ рядомъ и, запинаясь, заговорилъ: — Я, видишь ли, хочу тебя спросить вотъ про что... Нѣтъ ли книги какой-нибудь насчетъ порядковъ жизни? Т.-е. поученія, какъ жить? Поступки бы нужно мнѣ разъяснить, которые вредные и которые ничего себѣ... Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими... Который въ началѣ мнѣ кажется хорошимъ, въ концѣ выходитъ плохимъ. Вотъ хотъ бы насчетъ Капки.—Онъ перевелъ духъ и продолжалъ съ силой и просительно:—Такъ вотъ поищи-ка, нѣтъ ли книги насчетъ поступковъ? И прочитай мнѣ.

Нъсколько минутъ молчанія...

- Максимъ!...
- A?
- Какъ меня Капитолина-то раскрашивала!
- Да ладно ужъ... Будеть тебъ...
- Конечно, теперь ужъ нечего... А что, скажи мнъ... въ правъ она?...

Это быль щекотливый вопросъ, но, подумавъ, я отвъчалъ на него утвердительно.

— Воть и я тоже такъ полагаю... Въ правъ... да... уныло протянулъ Коноваловъ и замолчалъ.

Онъ долго возился на своей рогожъ, постланной прямо на полъ, нъсколько разъ вставалъ, курилъ, садился подъ окно, снова ложился.

Потомъ я заснулъ, а когда проснулся, его уже не было въ пекарнъ, и онъ явился только къ вечеру. Казалось, что весь онъ былъ покрыть какой-то пылью, и въ его отуманенныхъ глазахъ застыло что-то неподвижное. Кинувъ картузъ на полку, онъ вздохнулъ и сълърядомъ со мной.

- Ты гдв быль?
- Ходилъ Капку посмотръть.
- Ну и что?
- Шабашъ, брать! Въдь я те говорилъ...
- Ничего, видно, не подълаешь съ этимъ народомъ... —попробовалъ было я разсъять его настроеніе и заговориль о могучей силъ привычки и о всемъ прочемъ, что въ этомъ случав было умъстно. Коноваловъ упорно молчалъ, глядя въ полъ.
- Нъть, это что-о! Не въ томъ сила! А просто я есть заразный человъкъ... Недоля мнъ жить на свътъ... Несчастный этакій ядовитый духъ оть меня исходить. И какъ я близко къ человъку подойду, такъ сейчасъ онъ оть меня и заражается. И для всякаго я могу съ собой принести только горе... Въдь ежели подумать—кому я всей моей жизнью удовольствіе принесъ? Никому! А тоже, со многими людьми имълъ дъло... Тлъющій я человъкъ...
 - Это чепуха!...
- Нъть ужъ върно!... убъжденно кивнулъ онъ головой.

Я разубъждаль его, но въ моихъ ръчахъ онъ еще

болъе черпалъ увъренности въ своей непригодности къ жизни...

Вообще онъ сталъ быстро и рѣзко измѣняться съ момента происшествія съ Капкой. Сталъ задумчивъ, вялъ, утратилъ интересъ къ книгъ, работалъ уже не съ прежней горячностью, сталъ молчаливъ и необщителенъ.

Въ свободное отъ работы время онъ ложился на полъ и упорно смотрълъ въ своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой ясный дътскій блескъ.

- Саша, ты что? спросиль я его.
- Запойначинается, —просто объясниль онъ. —Скоро я распущусь... т.-е. начну водку глушить... Ужъ внутри у меня жжетъ... вродъ изжоги, знаешь... Пришло время... кабы не эта самая исторія, я бы, поди-ка, еще протянуль сколько-нибудь. Но всть меня это дъло... Какъ такъ? Желалъ я человъку оказать добро—и вдругъ... совсъмъ несообразно! Да, брать, очень нуженъ для жизни порядокъ поступковъ... И неужто ужъ такъ и нельзя выдумать этакій законъ, чтобы всъ люди дъйствовали, какъ одинъ, и всъ другъ друга понимать могли? Въдь совсъмъ нельзя жить на такомъ разстояніи одинъ отъ другого! Неужто умные люди не понимають, что нужно на землъ устроить порядокъ и въ ясность людей привести?.... Э-эхма!

Поглощенный этими думами о необходимости въ жизни порядка, онъ не слушалъ моихъ ръчей. Я замътилъ даже, что онъ какъ бы сталъ чуждаться меня. Однажды, выслушавъ въ ста первый разъ мой проектъ реорганизаціи жизни, онъ какъ бы разсердился на меня.

— Ну тебя... Слыхаль я это... Туть не въ жизни дѣло, а въ человѣкѣ. Первое дѣло— человѣкъ... поняль? Ну, и больше никакихъ... Этакъ-то, по-твоему, выходить, что, пока тамъ все это передѣлается, человѣкъ все-таки долженъ оставаться, какъ теперь. Тоже... Нѣтъ, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы... Чтобы

ему было свътло и не тъсно на землъ-вотъ чего добивайся для человъка. Научи его находить свою тропу... А это что... выдумка одна...

Я возражаль, онъ горячился или дълался угрюмымъ и скучно восклицаль:

— Э, отстань!

Какъ-то разъ онъ ушелъ съ вечера и не пришелъ ни ночью къ работъ, ни на другой день. Вмъсто него явился хозяинъ съ озабоченнымъ лицомъ и объявилъ:

- Закутилъ Лёксаха-то у насъ. Въ "Ствнкъ" сидить. Надо новаго пекаря искать...
 - А можетъ, оправится?!...
 - Ну, какъ же, жди... Знаю я его...

Я пошель въ "Ствику" — кабакъ, хитроумно устроенный въ каменномъ заборъ. Онъ отличался тъмъ, что въ немъ не было оконъ и свътъ падалъ въ него сквозь отверстіе въ потолкъ. Въ сущности, это была квадратная яма, вырытая въ землъ и покрытая сверху тёсомъ. Въ ней всегда пахло землей, махоркой и перегорълой водкой — симфонія запаховъ, отъ которыхъ чрезъ полчаса пребыванія среди нихъ страшно ломило голову. Но къ нимъ привыкли завсегдатаи этой трущобы — темные люди безъ опредъленныхъ занятій — какъ они привыкаютъ къ массъ невыносимыхъ для человъка вещей. И они пълыми днями торчали тутъ, ожидая закутившаго мастерового для того, чтобъ до-нага опить его.

Коноваловъ сидълъ за большимъ столомъ посрединъ кабака, въ кругу почтительно и льстиво слушавшихъ его шестерыхъ господъ въ фантастически-рваныхъ костюмахъ, съ физіономіями героевъ изъ разсказовъ Гофмана.

Пили пиво и водку вмъстъ и закусывали чъмъ-то похожимъ на сухіе комья глины...

— Пейте, братцы, пейте, кто сколько можеть. У меня есть и деньги, и одежа... Дня на три хватить всего.

Все пропью и... шабашъ! Больше не хочу работать и жить здъсь не хочу.

- Городъ сквернъйшій,—сказаль нъкто, похожій на Джона Фальстафа.
- Работа? вопросительно посмотръль въ потолокъ другой и съ изумленіемъ спросиль: Да развъ человъкъ для этого на свътъ родился?

И всъ они сразу загалдъли, доказывая Коновалову его право все пропить и даже возводя это право на степень непремънной обязанности — именно съ ними въ компаніи пропить.

— А, Максимъ... и котомка съ нимъ! — скаламбурилъ Коноваловъ, увидавъ меня. — Ну-ка, книжникъ и фарисей—тяпни! Я, братъ, окончательно спрыгнулъ съ рельсъ. Шабашъ! Пропиться хочу до волосъ... Когда одни во лосы на тълъ останутся — кончу. Вали и ты, а?

Онъ еще не быль пьянъ, только глаза голубые его сверкали отчаяннымъ возбужденіемъ и тоской и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковымъ въеромъ, то и дъло шевелилась, оттого что его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Воротъ рубахи былъ разстегнутъ, на бъломъ лбу сверкали мелкія капельки пота и рука, протянутая ко мнъ со стаканомъ пива, тряслась.

- Брось, Саша, уйдемъ отсюда...— сказаль я, положивъ ему руку на плечо.
- Бросить?...— онъ засмъялся. Кабы ты лътъ на десять раньше пришелъ ко мнъ да сказалъ это... можеть, я и бросиль бы. А теперь я ужъ лучше не брошу... Чего мнъ кромъ дълать? Чего? Въдь я чувствую, все чувствую, всякое движеніе жизни... но понимать ничего не могу и пути моего не знаю... Чувствую... и пью, потому что больше мнъ дълать нечего... Выпей!

Его компанія смотръла на меня съ явнымъ неудовольствіемъ, и всъ двънадцать глазъ измъряли мою фигуру далеко не миролюбиво. Бъдняги боялись, что я уведу Коновалова—угощеніе, которое они ждали, быть можеть, цълую недълю.

— Братцы! Это мой товарищъ... ученый, чорть его возьми! Максимъ, можешь ты здёсь прочитать про Стеньку?... Ахъ, братцы, какія книги есть на свётё! Про Пилу?...—Максимъ, а?... Братцы, не книга это, а кровь и слезы. А... вёдь Пила-то—это я? Максимъ!...—И Сысойка я... Ей-Богу! Воть и объяснилось!

Онъ широко съ открытыми глазами съ испугомъ въ нихъ смотрълъ на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компанія не особенно охотно очистила мнъ мъсто за столомъ. Я сълъ рядомъ съ Коноваловымъ, какъ разъ въ моментъ, когда онъ хватилъ стаканъ пива пополамъ съ водкой.

Ему, очевидно, хотълось какъ можно скоръе оглушить себя этой смъсью. Выпивъ, онъ взялъ съ тарелки кусокъ того, что казалось глиной, а было варенымъ мясомъ, посмотрълъ на него и бросилъ черезъ плечо въ стъну кабака.

Компанія вполголоса урчала, какъ стая голодныхъ собакъ надъ костью.

— Потерянный я человъкъ... Зачъмъ меня мать съ отцомъ на свътъ родили? Ничего неизвъстно... Темь!... Тъснота!... Прощай, Максимъ, коли ты не хочешь пить со мной. Въ пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяиномъ — получи и дай мнъ, я ихъ пропью... Нътъ! Возьми себъ на книги... Берешь? Не хочешь? Не надо... А то возьми? Свинья ты, коли такъ... Уйди отъ меня! У-уходи!

Онъ пьянълъ, и глаза у него звърски блеснули.

Компанія была совершенно готова вытурить меня въ тею изъ среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушелъ.

Часа черезъ три я снова былъ въ "Стънкъ". Компанія Коновалова увеличилась еще на два человъка. Всъ они были пьяны, онъ—меньше всъхъ. Онъ пълъ, облоко-

Digitized by Google .

тясь на столъ и глядя на небо черезъ отверстіе въ потолкъ. Пьяницы въ разнообразныхъ позахъ слушали его и нъкоторые икали.

Пълъ Коноваловъ баритономъ, на высокихъ нотахъ переходившимъ въ фальцетъ, какъ у всъхъ пъвцовъ мастеровыхъ. Подперевъ щеку рукой, онъ съ чувствомъ выводилъ заунывныя рулады, и лицо его было блъдно отъ волненія, глаза полузакрыты, горло выгнуто впередъ. На него смотръли восемь пьяныхъ, безсмысленныхъ и красныхъ физіономій, и только порой были слышны бормотанье и икота. Голосъ Коновалова вибрировалъ и плакалъ, и стоналъ, и было до слезъ жалко видъть этого славнаго парня поющимъ свою грустную пъсню.

Тяжелый запахъ, потныя, пьяныя рожи, двъ коптящія керосиновыя лампы и черныя отъ грязи и копоти доски стънъ кабака, его земляной полъ и сумракъ, наполнявшій эту яму — все это было мрачно и болъзненно-фантастично. Казалось, что это пирують заживо погребенные въ склепъ и одинъ изъ нихъ поетъ въ послъдній разъ передъ смертью, прощаясь съ небомъ. Безнадежная грусть, спокойное отчаяніе, безысходная тоска звучали въ пъснъ моего товарища.

— Максимъ здѣсь? Хочешь ко мнѣ эсауломъ? Другъ, иди!—прервавъ свою элегію, заговорилъ онъ, протягивая мнѣ руку.—Я, брать, совсѣмъ готовъ... Набралъ шайку себѣ... воть она... потомъ еще будуть люди... Найдемъ! Это н-ничего! Пилу и Сысойку призовемъ... И будемъ ихъ каждый день кашей кормить и говядиной... хорошо? Идешь? Возьми съ собой книги... будешь читать про Стеньку и про другихъ... Другъ! Ахъ и тошно мнѣ, тошно мнѣ... то-ошно-о!...

Онъ изо всей силы грохнулъ кулакомъ по столу. Загремъли стаканы и бутылки, и компанія, очнувшись, сразу же наполнила кабакъ страшнымъ по своему безобразію шумомъ. — Пей, ребята! — крикнулъ Коноваловъ. — Пей! Отводи душу... дуй во всю!

Я ушелъ отъ нихъ, постоялъ у двери на улицъ, послушалъ, какъ Коноваловъ ораторствовалъ заплетающимся языкомъ, и, когда онъ снова началъ пъть, отправился въ пекарню, и вслъдъ мнъ долго стонала и плакала въ ночной тишинъ неуклюжая пьяная пъсня.

Черезъ два дня Коноваловъ пропалъ куда-то изъгорода.

Мнъ еще разъ привелось встрътиться съ нимъ...

Нужно родиться въ культурномъ обществъ, для того, чтобы найти въ себъ терпъніе всю жизнь жить среди него и ни разу не пожелать уйти куда-нибудь изъ сферы всъхъ этихъ тяжелыхъ условностей, узаконенныхъ обычаемъ маленькихъ ядовитыхъ лжей, изъ сферы бользненныхъ самолюбій, идейнаго сектантства, всяческой неискренности, — однимъ словомъ, изъ всей этой охлаждающей чувство и развращающей умъ суеты суеть. Я родился и воспитывался внъ этого общества и по сей пріятной для меня причинъ не могу принимать его культуру большими дозами безъ того, чтобы, спустя нъкоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти изъ ея рамокъ и освъжиться нъсколько отъ чрезмърной сложности и бользненной утонченности этого быта.

Въ деревнъ почти такъ же невыносимо тошно и грустно, какъ и среди интеллигенціи. Всего лучше отправиться въ трущобы городовъ, гдъ хотя все и грязно, но все такъ просто и искренно, или идти гулять по полямъ и дорогамъ родины, что весьма любопытно, очень освъжаетъ и не требуеть никакихъ средствъ, кромъ хорошихъ, выносливыхъ ногъ.

Лътъ пять тому назадъ я предпринялъ именно такую прогулку и, расхаживая по святой Руси безъ

какого-либо опредъленнаго маршрута, попалъ въ Өеодосію. Въ то время тамъ начинали строитъ молъ, и въ чаяніи заработать немного денегъ на дорогу, я отправился на мъсто сооруженія.

Желая сначала посмотръть на работу, какъ на картину, я взошелъ на гору и сълъ тамъ, глядя внизъ на безкрайное, могучее море и крошечныхъ людей, строившихъ ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда людей: — весь каменистый берегь передъ бухтой быль изрыть, всюду ямы и кучи камня и дерева, тачки, брёвна, полосы желъза, копры для битья свай и еще какія то приспособленія изъ бревенъ, и среди всего этого по всъмъ направленіямъ сновали люди. Они, разорвавъ гору динамитомъ, дробили ее кирками, расчищая площадь для линіи жельзной дороги, они мъсили въ громадныхъ творилахъ цементъ и, дълая изъ него почти саженные кубическіе камни, опускали ихъ въ море, строя въ немъ оплоть противъ титанической силы его неугомонныхъ волнъ. Они казались маленькими, какъ черви, на фонъ темнокоричневой горы, изуродованной ихъ руками, и какъ черви суетливо копошились среди грудъ щебня и кусковъ дерева въ обломкахъ каменной пыли и въ тридцатиградусномъ знов южнаго дня. Хаосъ вокругъ нихъ и раскаленное небо надъ ними придавали иъ суетъ такой видъ, какъ будто бы они вкапывались въ гору, стремясь уйти въ нъдра ея отъ солнечнаго зноя и окружающей ихъ унылой картины разрушенія.

Въ душномъ воздухъ стоялъ сильный стонущій ропотъ и гулъ, раздавались удары кирокъ о камень, заунывно пъли колёса тачекъ, глухо падала чугунная баба на дерево сваи, плакала "дубинушка", стучали топоры, обтесывая брёвна, и на всъ голоса кричали темныя и сърыя, хлопотливыя фигурки людей...

Въ одномъ мъстъ кучка ихъ, громко ухая, возилась

съ большимъ осколкомъ горы, стараясь сдвинуть его съ мъста, въ другомъ подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали:

— Бе-е-ри-и!—И гора, иэрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломанной линіи досокъ, набросанныхъ тутъ и тамъ, медленно двигалась вереница людей, согнувшись надъ тачками, нагруженными камнемъ, и навстръчу имъ шла другая съ порожними тачками, шла медленно растягивая одну минутку отдыха на двъ... У одного копра стояла густая, пестрая толпа народа, и въ ней кто-то протяжно жалобнымъ голосомъ выпъвалъ:

"И-эхъ-ма, бра-атцы, дюже жарко! И-эхъ! Никому-то насъ не жалко! О-ой да ду-убинушка, У-ухнемъ!"

Мощно гудѣла толпа, натягивая тросы, и кусокъ чугуна, взлетая вверхъ по дудкѣ копра, падалъ оттуда раздавался тупой охающій звукъ, и весь коперъ вздрагивалъ.

На всёхъ точкахъ площади между горой и моремъ сновали маленькіе сёрые люди, насыщая воздухъ своимъ крикомъ, пылью и терпкимъ запахомъ человёка. Среди нихъ расхаживали распорядители въ бёлыхъ кителяхъ съ металлическими пуговицами, сверкавшими на солнцё, какъ чьи-то холодные глаза. Надъ ними безоблачное, жестоко жаркое небо, облака пыли и волны звуковъ—симфонія труда, единственная музыка, которая не даетъ наслажденья.

Море спокойно раскинулось до туманнаго горизонта и тихо плещеть своими прозрачными волнами на берегь, полный движенія и шума. Все сіяя въ блескъ солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающаго, что если онъ захочеть, одно движеніе—и вся работа лилипутовъ исчезнеть.

Оно лежало, ослъпляя глаза своимъ блескомъбольшое, сильное, доброе, и его могучее дыханіе въяло на берегъ, освъжая истомленныхъ людей, трудящихся надъ твмъ, чтобы ствснить свободу его волнъ, которыя теперь такъ кротко и звучно ласкають изуродованный берегъ. Оно какъ бы жалъло ихъ:--въка его существованія научили его понимать, что не тв злоумышляють противъ него, которые строять; оно давно уже знаеть что это только рабы, ихъ роль бороться со стихіями лицомъ къ лицу, а въ этой борьбъ готова и месть стихіи имъ. Они все только строять, въчно трудятся, ихъ потъ и кровь — цементь всвхъ сооруженій вемлъ; но они ничего не получають за это, отдавая всв свои силы ввчному стремленію сооружатьстремленію, которое создаеть на землъ чудеса, но всетаки не даеть людямъ крова и слишкомъ мало даеть имъ хлъба. Они — тоже стихія, и воть почему море не гнъвно, а ласково смотрить на ихъ трудъ, отъ котораго имъ нъть пользы. Эти сърые маленькіе черви, такъ источившіе гору — то же самое, что и его капли, которыя первыми идуть на неприступныя и холодныя скады береговъ, въ въчномъ стремленіи моря расширить свои предълы, и первыми гибнуть, разбиваясь о нихъ. Въ массъ эти капли тоже родственны ему, тогда онъ совствить какъ море, такъ же мощны и такъ же склонны къ разрушенію, чуть только въяніе бури пронесется надъ ними. Морю издревле въдомы и рабы, строившіе пирамиды въ пустынъ, и рабы Ксеркса, смъшного человъка, который думаль наказать море тремя стами ударовъ за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, ихъ всегда плохо кормили, и они въчно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тъхъ, кто заставляль ихъ работать, чаще проклиная ихъ, изръдка возмущаясь противъ своихъ владыкъ...

И, улыбаясь спокойной улыбкой титана, сознавшаго

свою мощь. море овъвало своимъ жпвительнымъ дыханіемъ титана, еще духовно сліпого, порабощеннаго и жалко ковыряющаго землю, вмісто того, чтобъ стремиться къ родству съ небомъ. Тихо взобігають волны на берегъ, усівнный толной людей, созидающихъ каменную преграду ихъ вічному движенію, взобігають и поють свою звучную, ласковую пісню о прошломъ, о всемъ, что въ теченіе віковъ видівли онів на берегахъ земли...

...Среди работавшихъ были какія-то странныя, сухія, бронзовыя фигуры въ красныхъ чалмахъ, въ фескахъ, въ синихъ короткихъ курткахъ и въ шароварахъ, узкихъ у голени, но съ широкой мотней. Это, какъ я узналъ послъ, анатолійскіе турки. Ихъ гортанный говоръ мъшался съ протяжнымъ, растянутымъ говоркомъ вятичей, съ кръпкой, быстрой фразой волгарей, съ мягкой ръчью хохловъ.

Въ Россіи голодали, и голодъ согналъ сюда представителей чуть ли не всёхъ охваченныхъ несчастіемъ губерній. Они дёлились на маленькія группы, стараясь держаться землякъ къ земляку, и только космополиты босяки сразу выдёлялись и своимъ независимымъ видомъ, и костюмами, и особымъ складомъ рёчи, изъ людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавшихъ съ нею связь, оторванныхъ отъ нея голодомъ и не забывшихъ о ней. Они были во всёхъ группахъ: и среди вятичей, и среди хохловъ, всюду чувствуя себя на своемъ мёсть, но большинство ихъ собралось у копра, какъ у работы, сравнительно съ рабстой на тачкахъ и съ киркой, болье легкой.

Когда я подошель къ нимъ, они стояли, опустивъ руки съ веревкой, дожидаясь, когда нарядчикъ исправить что-то въ блокъ копра, должно быть, "заъдавшемъ" веревку. Онъ копался тамъ вверху деревянной башни, то и дъло крича оттуда;

⁻ Дерни!

Веревку лѣниво дергали.

— Сто-ой!... Ищё дерни. Сто-ой! П'шелъ!....

Запъвала — давно небритый малый, съ рябымъ лицомъ и солдатской выправкой — повелъ плечами, скосилъ въ сторону глаза, откашлялся и завелъ:

— Ба-аба сваю въ землю гонитъ...

Слъдующій стихъ не выдержаль бы даже и самой снисходительной цензуры и вызваль единодушный взрывь хохота, явившись, очевидно, импровизаціей, только что созданной запъвалой, который, подъ смъхъ товарищей, крутилъ себъ усы съ видомъ артиста, привыкіпаго къ такому успъху у своей публики.

- Поше-елъ! неистово заоралъ сверху копра нарядчикъ.—Заржали!...
- Не зъвай, Митричъ, лопнешь!... предупредилъ его одинъ изъ рабочихъ.

Голосъ былъ мнѣ знакомъ, и я гдѣ-то видѣлъ эту высокую, широкоплечую фигуру съ овальнымъ лицомъ и большими голубыми глазами. Это Коноваловъ? Но у Коновалова не было шрама отъ праваго виска къ переносью, разсѣкавшаго высокій лобъ этого парня; волосы Коновалова были свѣтлѣе и не вились такими мелкими кудрями, какъ у этого; у Коновалова была красивая, широкая борода, этотъ же брился и носилъ густые усы концами книзу, какъ хохолъ. И, тѣмъ не менѣе, въ немъ было что-то хорошо знакомое мнѣ. Я рѣшилъ именно съ нимъ заговорить о томъ, къ кому тутъ нужно обратиться, чтобъ "встать на работу", и фталъ дожидаться, когда перестануть бить сваю.

— О-о-ухъ! о-о-охъ! — могуче вадыхала толпа, присъдая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, какъ бы готовая оторваться отъ земли и взлетъть на воздухъ. Коперъ скрипълъ и дрожалъ, надъ головами толпы поднимались ея обнаженныя, загорълыя и волосатыя руки, вытягиваясь вмъстъ съ веревкой; ихъ мускулы вздувались шишками, но двадцати-пудовый кусокъ

чугуна валеталъ вверхъ все на меньшее разстояніе, и его ударъ о дерево звучалъ все слабъе. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толна идолопоклонниковъ, въ отчаяніи и экстазъ вздымая руки къ своему молчаливому богу и преклоняясь предънимъ. Облитыя потомъ, грязныя и напряженныя лица съ растрепанными волосами, приставшими къ мокрымъ лбамъ, коричневыя шеи, дрожащія отъ напряженія плечи,—всъ эти тъла, едва прикрытыя разноцвътными рваными рубахами и портами, насыщали воздухъ вокругъ себя своими горячими испареніями и, слившись въ одну тяжелую массу мускуловъ, неуклюже возились во влажной атмосферъ, пропитанной зноемъ юга и густымъ напахомъ пота.

— Шабашъ! — крикнулъ кто-то злымъ и надорваннымъ голосомъ.

Руки рабочихъ выпустили веревки, и онъ слабо повисли вдоль копра, а рабочіе грузно опустились туть же на землю, отирая потъ, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздухъ глухимъ ропотомъ, похожимъ на рычаніе большого раздраженнаго звъря.

— Землякъ! — обратился я къ облюбованному малому...

Онъ лъниво обернулся ко мнъ, скользнулъ по моему лицу своими глазами и сощурилъ ихъ, пристально всматриваясь въ меня.

- Коноваловъ!
- Постой...— онъ запрокинулъ рукой мою голову назадъ, точно собираясь схватить меня за горло, и вдругь весь вспыхнулъ радостной и доброй улыбкой.
- Максимъ! Ахъ ты... ан-навема! Дружокъ... а? И ты сорвался со стези-то своей? Въ босые приписался? Ну вотъ и хорошо! Теперь совсъмъ отлично! Бродяжь— и все туть! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь съ тобою всю землю ошагаемъ! Какая тамъ жизнь... сзади-то?

Тоска одна... капитель; не живешь. а гніешь! А я, брать, съ той самой поры гуляю по бълу свъту. Въ какихъ мъстахъ бываль! Какими воздухами дышалъ... Нътъ, какъ ты обрядился ловко... не узнать: по одежъ—солдать, по рожъ—студенть! Ну что, хорошо такъ жить... съ мъста на мъсто? А въдь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу... все...

Онъ толкаль меня въ бокъ кулакомъ, хлопалъ своей широкой ладонью по плечу, точно приготовлялъ изъменя бифштексъ. Я не могъ вставить нн одного слова въ залпъ его вопросовъ и только улыбался, — должно быть, весьма неумно,—глядя въ его доброе лицо, сіявшее удовольствіемъ встрѣчи. Я былъ тоже радъ видѣть его, очень радъ; встрѣча съ нимъ напомнила мнѣ начало моей жизни, которое, несомнѣнно, было лучше ея продолженія.

Наконецъ, миъ удалось-таки спросить стараго пріятеля, откуда у него шрамъ на лбу и кудри на головъ.

— А это, видишь ты... исторія одна была. Думаль было я пробраться втроемъ съ товарищами черезъ румынскую границу, посмотръть хотъли, какъ тамъ, въ Румыніи. Ну вотъ и отправились изъ Кагула-мъстечко этакое есть въ Бессарабіи, около самой границы. Ночью, конечно, потихоньку идемъ себъ. Вдругъ: стой! Кордонъ таможенный, прямо на него налъзли. Ну, конечно, бъжать! Туть меня одинъ солдатикъ и събздиль по башкъ. Не больно важно ударилъ, а все-таки съ мъсяцъя провалялся въ госпиталъ. И какая въдь исторія! Солдать-то землякомъ оказался! Нашъ, муромскій!... Его тоже скоро въ госпиталь положили — контрабандистъ его испортиль, ножомь въ животь ткнуль. Очухались мы и разобрались въ дълахъ-то. Солдатъ спрашиваетъ у меня: это, говорить, я тебя полоснуль?-Надо быть ты, коли признаешь.-Должно я, говорить; ты, говорить, не сердись-служба такая. Мы думали, вы съ контрабандой пдете. Вотъ, говоритъ, и меня уважили — брюхо подпороли. Ничего не подълаеть: жизнь-игра серьезная. Ну, мы и подружились съ нимъ. Хорошій солдатикъ-Яшка Мазинъ... А кудри? Кудри? Кудри, братъ ты мой, это послъ тифа. Тифъ у меня былъ. Посадили меня въ Кишиневъ въ тюрьму, желая судить за самовольное прохожденіе границы, а тамъ у меня и разыгрался тифъ... Валялся я съ нимъ, валялся, насилу всталъ. Надо быть, даже и не всталъ бы, да сидълка очень ужъ за меня хлопотала. Я, брать, просто диву дался-возится со мной, какъ съ дитей, а на что я ей нуженъ. Марья, говорю, Петровна, бросьте вы эту музыку; чай, мет совъстно. А она знай себъ посмъивается. Добрая дъвица... Душеспасительное мнъ читала нногда. Ну, а я-то говорю, нъть ли, моль, чего... этакого. Принесла книгу насчеть англичанина-матроса, который спасся отъ кораблекрушенія на безлюдный островъ и устроилъ на немъ себъ жизнь. Интересно, страхъ какъ! Очень миъ понравилась книга; такъ бы туда къ нему и повхалъ. Понимаешь, какая жизнь? Островъ, море, небо — ты одинъ себъ живешь, и все у тебя есть, и совершенно ты свободенъ! Тамъ еще дикій быль. Ну, я бы дикаго утопиль-на кой чорть онъ мнъ нуженъ, а? Мнъ и одному не скучно. Ты читалъ такую книгу?

- Погоди. Ну, а какъ же ты вышелъ изъ тюрьмы?
- А выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто... Воть что: я сегодня больше не работаю, ну ее къ лъшему! Ладно, навихляль себъ руки и будеть. Денегъ у меня есть рубля три, да за сегодняшній полдня сорокъ копеекъ получу. Вонъ сколько капитала! Значить, пойдемъ со мной къ намъ... мы не въ баракъ, а туть по близости въ горъ... дыра тамъ есть такая, очень удобная для человъческаго жительства. Вдвоемъ мы квартируемъ въ ней, да товарищъ больеть, —лихорадка его скрючила... Ну, такъ ты посиди туть, а я къ подрядчику... я скоро!...

Онъ быстро всталъ и пошелъ, какъ разъ въ то время, когда сваебойцы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидъть на камнъ, поглядывая на шумную суету, царившую вокругъ меня, и на спокойное синевато-зеленое море.

Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между рабочихъ, грудъ камня, дерева и тачекъ, исчезала вдали. Онъ шелъ, размахивая руками, одътый въ синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, въ холщевыя порты и въ тяжелыя опорки. Шапка русыхъ кудрей колыхалась на его большой головъ. Иногда онъ оборачивался назадъ и дълалъ мнъ руками какіето знаки. Весь онъ былъ какой-то новый, оживленный, спокойно увъренный, добродушный и сильный. Всюду вокругъ него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то съ грохотомъ падало, и люди кричали, ругались, ухали и пъли, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуковъ и движеній красивая фигура моего пріятеля, удалявшагося куда-то изъ нея твердыми шагами, то и дъло лавируя изъ стороны въ сторону, очень ръзко выдълялась, являясь какъ бы намекомъ на что-то, объясняющее Коновалова.

Часа черезъ два послѣ встрѣчи мы съ нимъ лежали въ "дырѣ, очень удобной для человѣческаго жительства". На самомъ дѣлѣ "дыра" была весьма удобна—въ горѣ когда-то давно брали камень и вырубили большую четырехугольную нишу, въ которой можно было вполнѣ свободно помѣститься четверымъ. Но она была низка, и надъ входомъ въ нее висѣла глыба камня, изображая собой какъ бы навѣсъ, такъ что для того, чтобы попасть въ дыру, слѣдовало лечь на землю передъ ней и потомъ засовывать себя въ нее. Глубина ея была аршина три, но влѣзать въ нее съ головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба надъ входомъ могла обвалиться и совсѣмъ по-

хоронить насъ тамъ. Мы не хотъли этого и устроились такъ: ноги и туловища сунули въ дыру, гдъ было очень прохладно, а головы оставили на солнцъ, въ отверстіи дыры, такъ что если бы глыба камня надъ нами захотъла упасть, то она только раздавила бы намъ черепа.

Больной босякъ весь выбрался на солнце и легъ около насъ шагахъ въ двухъ, такъ что мы слышали, какъ стучали его зубы въ пароксизмъ лихорадки. Это былъ сухой и длинный хохолъ: "изъ Пілтавы, а мабудь и зъ Кіева"... задумчиво сказалъ онъ мнъ.

— Человъкъ такъ много на свътъ живетъ, что не важно, коли онъ забудетъ, де родився... Да и развъжъ то не все равно? Лиха бъда родиться, а гдъ... отъ этого не лучше!...

Онъ катался по землю, стараясь плотнюе закутаться въ сърый балахонъ, сшитый изъ однъхъ дыръ, и очень образно ругался, видя, что всю его усилія тщетны, ругался и все-таки продолжалъ кутаться. У него были маленькіе черные глаза, постоянно такъ прищуренные, точно онъ всегда что-то пристально разсматривалъ.

Солнце невыносимо пекло намъ затылки, и Коноваловъ устроилъ изъ моей солдатской шинели нѣчто вродѣ ширмъ, воткнувъ въ землю палки и распяливъ на нихъ мой костюмъ. Все-таки было душно. Издали до насъ долеталъ глухой шумъ работъ на бухтѣ, но ея мы не видѣли: справа отъ насъ лежалъ на берегу городъ тяжелыми глыбами бѣлыхъ домовъ, слѣва — море, предъ нами — оно же, уходившее въ неизмѣримую даль, гдѣ въ мягкихъ полутонахъ смѣшались въ фантастическое марево какія-то дивныя и нѣжныя, невиданныя краски, ласкающія глазъ и душу неуловимой красотой своихъ оттѣнковъ...

Коноваловъ смотрълъ туда, блаженно улыбался и говорилъ миъ:

⁻ Сядеть солнце, мы запалимъ костеръ, вскипятимъ

чаю, есть у насъ хлѣбъ, есть мясо. А пока хочешь дынь или арбува?

Онъ выкатиль ногой изъ угла ямы арбузъ, досталъ изъ кармана ножъ и, дъйствуя имъ надъ арбузомъ, говорилъ:

— Каждый разъ, какъ я бываю у моря, я все думаю, чего люди мало селятся около него? Были бы они отъ этого лучше, потому оно ласковое и такое... хорошія думы отъ него въ душт у человтка. А ну, разскажи, какъ ты самъ жилъ въ эти годы?

Я сталъ разсказывать ему. Онъ слушалъ; больной хохолъ не обращалъ на насъ никакого вниманія, поджаривая себя на солнцъ, уже опускавшемся въ море. А море вдали уже покрылось багрецомъ и золотомъ, и навстръчу солнцу изъ него поднимались розовато-дымчатыя облака мягкихъ очертаній. Казалось, что со дна моря встають горы съ бъльми вершинами, пышно убранными снъгомъ и розовыми отъ лучей заката. Съ бухты доносилась заунывная мелодія "дубинушки" и громъ взрывовъ динамита, разрушавшаго гору... Отъ камней и неровностей почвы передъ нами на землю ложились тъни и, незамътно удлиняясь, ползли на насъ.

- Совсъмъ напрасно ты, Максимъ, въ городахъ трешься, убъдительно сказалъ Коноваловъ, выслушавъ мою эпопею. И что тебя къ нимъ тянетъ? Тухлая тамъ жизнь и тъсная. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человъку надо. Люди? На кой ихъ чортъ тебъ? Ты человъкъ понимающій; грамотный, на что тебъ люди? Чего тебъ отъ нихъ надо? Да потомъ люди вездъ есть...
- Эге! вставилъ хохолъ, извиваясь по землѣ, какъ ужъ. Людей вездѣ... богато; человѣку пройти къ своему мѣсту нельзя, чтобъ на ноги имъ не ступать. Вотъто безъ счету родятся! Какъ поганки послѣ дождя... да тѣхъ хоть господа ѣдятъ.

Онъ философски сплюнулъ и снова сталъ стучать зубами.

— А насчеть тебя я опять скажу, — продолжаль Коноваловь, — въ городахъ не живи. Чего тамъ? Одно нездоровье и непорядокъ. Книги? Ну, будеть ужъ, чай, тебъ книги читать! Не для этого поди-ка ты родился... Да и книги — чепуха. Ну, купи ее, положи въ котомку, и иди. Хочешь со мной идти въ Ташкентъ? Въ Самаркандъ, или еще куда?... А потомъ на Амуръ хватимъ... идетъ? Я, братъ, ръшилъ ходить по землъ въ разныя стороны — это всего лучше. Идешь и все видишь новое... И ни о чемъ не думается... Дуетъ тебъ вътерокъ навстръчу и точно онъ выгоняетъ изъ души разную пыль. Легко и свободно... Никакого ни отъ кого стъсненія: захотълось всть — присталъ, поработалъ чего-нибудь на полтину; нътъ работы — попроси хлъба, дадутъ. Такъ коть земли много увидишь... Красоты всякой. Айда?

Солнце съло. Облака надъ моремъ потемнъли, море тоже стало темнымъ и съ него повъяло прохладой. Коегдъ ужъ вспыхивали звъзды, гулъ работы въ бухтъ прекратился, лишь порой оттуда, тихіе какъ вздохи, допосились возгласы людей. И когда на насъ дулъ вътеръ, онъ приносилъ съ собой меланхоличный звукъ шороха волнъ о берегъ.

Тьма мочная быстро сгущалась, и фигура хохла, аа пять минуть передъ тъмъ имъвшая вполнъ опредъленныя очертанія, теперь уже представляла собою неуклюжій комъ...

- Костеръ бы... сказалъ онъ покашливая.
- Можно...

Коноваловъ откуда-то извлекъ кучку щепъ, подпалилъ ихъ спичкой, и тонкіе язычки огня начали ласково лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились въ ночномъ воздухѣ, полномъ влаги и свѣжести моря. А вокругъ становилось все тише: — жизнь точно отодвигалась куда-то отъ насъ, и звуки ея таяли и гасли во тьмѣ. Облака разсѣялись, на темно-синемъ небѣ ярко засверкали звѣзды, и на бархатной поверхности

моря тоже чуть мелькали огоньки рыбачьихъ лодокъ и отраженныхъ звъздъ. Костеръ передъ нами расцвълъ, какъ большой красно-желтый цвътокъ... Коноваловъ сунулъ въ него чайникъ и, обнявъ колъни, задумчиво сталъ смотръть въ огонь. И хохолъ, какъ громадная ящерица, подползъ и легъ къ нему.

- Настроили люди городовъ, домовъ, собрались тамъ въ кучи, пакостять землю, задыхаются, тъснять другъ друга... Хорошая жизнь! Нътъ, вотъ она жизнь, вотъ какъ мы...
- Ого,— тряхнуль головой хохоль,— коли бъ къ ней еще намъ на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсёмъ это была бы господская жизнь... Онъ прищурилъ одинъ глазъ и, усмёхнувшись, посмотрёлъ на Коновалова.
- Н-да, смутился тоть, зима это... треклятое время. Для зимы города дъйствительно нужны... туть ужъ ничего съ ними не подълаешь... Но большіе города все-таки ни къ чему... Зачъмъ народъ сбивать вътакія кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не могуть?... Я вотъ про что. Оно, конечно, ежели подумать, такъ ни въ городъ, ни въ степи, нигдъ человъку иъста нътъ. Но лучше про такія дъла не думать... ничего не выдумаешь, а душу надорвешь...

До этой поры я думаль, что Коноваловь измѣнился оть бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердцѣ въ первое время нашего знакомства, слетѣли съ него, какъ шелуха, отъ вольнаго воздуха, которымъ онъ дышаль въ эти годы; но тонъ его послѣдней фразы возстановиль предо мной пріятеля все тѣмъ же ищущимъ своей точки человѣкомъ, какимъ я его зналь. Все та же ржавчина недоумѣнія предъ жизнью и ядъ думъ о ней разъѣдали эту могучую фигуру, рожденную, къ ея несчастью, съ чуткимъ сердцемъ. Такихъ "задумавшихся" людей много въ русской жизни, и всѣ они болѣе несчастны, чѣмъ кто-либо, потому

что тяжесть ихъ думъ увеличена слѣпотой ихъ ума. Я съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на пріятеля, а онъ, какъ бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнулъ:

- Вспомнилъ я, Максимъ, ту нашу жизнь и все тамъ... что было. Сколько послъ того исходилъ я земли, сколько всякой всячины видълъ... Нътъ для меня на землъ ничего удобнаго! Не нашелъ я себъ мъста!
- А зачъмъ родился съ такой шеей, на которую ни одинъ хомутъ не подходить? равнодушно спросилъ хохолъ, вынимая изъ огня вскипъвшій чайникъ.
 - Нѣтъ, скажиты мнѣ...—спрашивалъ Коноваловъ,— почему я не могу быть покоенъ? А? Почему люди живутъ и ничего себъ, занимаются своимъ дѣломъ, имѣютъ женъ, дѣтей и все прочее... Жалуются на жизнь они, но бываютъ и покойны. И всегда у нихъ есть охота дѣлать то, другое. А я не могу. Тошно. Почему мнѣ тошно?
 - Вотъ скулить человъкъ, удивился хохолъ. Да развъ жъ оттого, что ти поскулишь, тебъ полегчаеть?
 - Върно...-грустно согласился Коноваловъ.
 - Я всегда говорю немного, да знаю, какъ сказать, съ чувствомъ собственнаго достоинства произнесъ стоикъ, не уставая бороться съ своей лихорадкой.
 - Бросимъ мы всю эту канитель... Родился, ну, значить, и живи, не разсуждай... уже эло сказаль Коноваловъ.

А хохолъ счелъ нужнымъ добавить:

— И никуда не лъзь; придеть время, тебя и безъ твоей воликуда слъдуеть втянеть и смолотить въ пыль... Лежи себъ и молчи... Намъ ни языкъ, ни рука ни въ чемъ не помога...

Онъ проговорилъ это, закашлялся, завозился и сталъ ожесточенно плевать въ костеръ. Вокругъ насъ все было глухо, завъшено густой пеленой тьмы. Небо надъ нами тоже было темно, луны еще не было. Море скоръе чув-

ствовалось, чъмъ было видимо намъ—такъ густа была тьма впереди насъ. Казалось, на землю спустился черный туманъ. Костеръ гасъ...

— А поляжемте спать, -- предложилъ хохолъ.

Мы забрались въ "дыру" и легли, высунувъ изъ нея головы на воздухъ. Молчали. Коноваловъ, какъ легъ, такъ остался неподвиженъ, точно окаменълъ. Хохолъ неустанно возился и все стучалъ зубами. Я долго смотрълъ, какъ тлъли угли костра: сначала яркій и большой, понемногу уголь становился меньше, покрывался пепломъ и исчезалъ подъ нимъ. И скоро отъ костра не осталось ничего, кромъ теплаго запаха. Я смотрълъ и думалъ:

— Такъ и всв мы... Хоть бы разгоръться ярче!

... Черезъ три дня я простился съ Коноваловымъ. Я шелъ на Кубань, онъ не хотълъ. Но мы оба разстались въ увъренности, что встрътимся на землъ.

Не пришлось...



XAHB N Bro Chihb.

(1896.)

... Былъ въ Крыму ханъ Мосолайма эль Асвабъ и былъ у него сынъ Толайкъ Алгалла...

Прислонясь спиной къ ярко-коричневому стволу арбутуса, слъпой нищій, татаринь, началь этими словами одну изъ старыхъ легендъ полуострова, богатаго своими воспоминаніями, а вокругъ разсказчика, на камняхъ-обломкахъ разрушеннаго временемъ ханскаго дворца,—сидъла группа татаръ въ яркихъ халатахъ и тюбитейкахъ, шитыхъ золотомъ. Вечеръ былъ и солнце тихо опускалось въ море; его красные лучи пронизывали темную массу зелени вокругъ развалинъ и яркими пятнами ложились на камни, поросшіе мохомъ, опутанные цъпкой зеленью плюща. Вътеръ шумъль въ купъ старыхъ чинаръ, и листья ихъ такъ шелестъди, точно въ воздухъ струились невидимые глазомъ ручьи воды.

Голосъ слѣпого нищаго быль слабъ и дрожаль, а каменное лицо его не отражало въ своихъ морщинахъ ничего, кромѣ покоя; заученныя слова лились одно за другимъ, и предъ слушателями вставала картина прошлыхъ, богатыхъ силой чувства дней.

— Ханъ былъ старъ, —говорилъ слъпой, но женщинъ въ гаремъ было много у него. И онъ любили старика, потому что въ немъ было еще довольно силы и огня, и ласки его нъжили и жгли, а женщины всегда будутъ любить того, кто умъетъ сильно ласкать, хоть бы и былъ

онъ съдъ, хоть бы и въ моріцинахъ было лицо его—въ. силъ красота, а не въ нъжной кожъ и румянцъ щекъ.

Хана всё любили, а онъ любиль одну казачку-полонянку изъ днёпровскихъ степей и всегда ласкалъ ее охотнёе, чёмъ другихъ женщинъ гарема, своего большого гарема, гдё было триста женъ изъ разныхъ земель, и всё они были красивы, какъ весенніе цвёты, и всёмъ имъ жилось хорошо. Много вкусныхъ и сладкихъ яствъ повелёлъ готовить для нихъ ханъ и позволялъ имъ всегда, когда онё захотятъ, танцовать и играть...

А свою казачку онъ часто звалъ къ себъ въ башню, изъ которой видно было море, и гдъ онъ для казачки имълъ все, что нужно женщинъ, чтобы ей весело жилось: сладкую пищу и разныя ткани, и золото, и камни всъхъ цвътовъ, и музыку, и ръдкихъ птицъ изъ далекихъ странъ, и огненныя ласки влюбленнаго хана. Въ этой башнъ онъ забавлялся съ ней цълые дни, отдыхая отъ трудовъ своей жизни и зная, что сынъ Алгалла не уронитъ славы ханства, рыская волкомъ по русскимъ степямъ, и всегда возвращаясь оттуда съ богатой добычей, съ новыми женщинами, съ новой славой, оставляя тамъ, сзади себя, ужасъ и пепелъ, трупы и кровь.

Разъ возвратился онъ, Алгалла, съ набъга на русскихъ, и было устроено много праздниковъ въ честь его, всъ мурзы острова собрались на нихъ и были игры и пиръ, и стръляли изъ луковъ въ глаза плънниковъ, пробуя силу руки, и снова пили, славя храбрость Алгаллы, грозы враговъ, опоры ханства. А старый ханъ былъ такъ радъ славъ сына. — Хорошо было ему, старику, видъть въ сынъ своемъ такого удальца, и знать, что когда онъ, старый, умретъ, — ханство будеть въ кръпкихъ рукахъ...

Хорошо было ему знать это, и вотъ онъ, желая показать сыну силу любви своей, сказать ему при всъхъ мурзахъ и бекахъ, — туть, на пиру, съ чашей въ рукъ, сказалъ:

— Добрый ты сынъ, Алгалла! Слава Аллаху и да будетъ прославлено имя пророка ero!

И всв прославили имя пророка хоромъ могучихъ голосовъ. Тогда ханъ сказалъ:

— Великъ Аллахъ! Еще при жизни моей онъ воскресилъ мою юность въ храбромъ сынъ моемъ, и вотъ вижу я старыми глазами, что когда скроется отъ нихъ солнце — и когда черви источатъ мнъ сердце — живъ буду я въ сынъ моемъ! Великъ Аллахъ и Магометъ, истинный пророкъ его! Хорошій сынъ у меня есть, тверда его рука, и смъло сердце, и ясенъ умъ... Что кочешь ты взять изъ рукъ отца твоего, Алгалла? Скажи, и я дамъ тебъ все по твоему желанію...

И не замеръ еще голосъ хана-старика, какъ поднялся Толайкъ Алгалла и сказалъ, сверкнувъ глазами, черными, какъ море ночью и горящими, какъ очи горнаго орла:

- Дай мнъ русскую полонянку, повелитель-отецъ. Помолчалъ ханъ—мало помолчалъ, столько времени, сколько надо, чтобы подавить дрожь въ сердцъ—и помолчавъ, твердо и громко сказалъ:
 - Бери! Кончимъ пиръ, и ты возьмешь ее...

Вспыхнулъ весь удалой Алгалла, великой радостью сверкнули его орлиныя очи, всталъ онъ во весь рость и сказалъ отцу-хану:

- Знаю я, что ты мив даришь, повелитель-отецъ! Знаю это я... Рабъ я твой твой сынъ. Возьми мою кровь по каплв въ часъ—двадцатью смертями я умру за тебя!
- Не надо мнъ ничего!—сказалъ ханъ, и поникла на грудь его съдая голова, увънчанная славой долгихъ лътъ и многихъ подвиговъ.

Скоро они кончили пиръ и оба, молча, рядомъ другъ съ другомъ пошли изъ дворца въ гаремъ.

Ночь была темная и ни звъздъ, ни луны не было видно изъ-за тучъ, густымъ ковромъ покрывшихъ небо.

Долго шли во тьмъ отецъ и сынъ, и воть заговорилъ ханъ эль Асвабъ:

— Гаснеть день ото дня жизнь моя—и все слабъе бъется мое старое сердце и все меньше огня въ груди моей. Свътомъ и тепломъ моей жизни были знойныя ласки казачки... Скъжи мнъ, Толайкъ, скажи, неужели она такъ нужна тебъ? Возьми сто, возьми всъхъ моихъ женъ за одну ее!...

Молчалъ Толайкъ Алгалла, вздыхая.

— Сколько дней мив осталось? Мало дней у меня на землв... Последняя радость жизни моей она, — эта русская девушка. Она знаеть меня, она любить меня— кто теперь, когда ея не будеть, полюбить меня — старика, кто? Ни одна изъ всехъ, ни одна, Алгалла!...

Молчалъ Алгалла...

— Какъ я буду жить, зная, что ты обнимаешь ее, что тебя цѣлуетъ она? Передъ женщиной нѣтъ ни отца, ни сына, Толайкъ! Передъ женщиной всѣ мы—мужчины, мой сынъ... Больно будетъ мнѣ доживать мои дни... Пусть бы лучше всѣ старыя раны открылись на тѣлѣ моемъ, Толайкъ, и точили бы кровь мою, пусть бы я лучше не пережилъ этой ночи, мой сынъ!

Молчалъ его сынъ... Остановились они у двери гарема и молча, опустивъ на груди головы, стояли долго передъ ней. Тьма была кругомъ, и облака бъжали въ небъ, а вътеръ, потрясая деревья, точно пълъ что-то имъ.

- Давно я люблю ее, отецъ...—тихо сказаль Алгалла.
- Знаю... и знаю, что она не любить тебя... скавалъ ханъ.
 - Рвется сердце мое, когда я думаю про нее.
 - А мое старое сердце чъмъ полно теперь?
 - И снова они замолчали. Вздохнулъ Алгалла.

чинъ жепщина всегда вредна: когда она хороша, она возбуждаетъ у другихъ желаніе обладать ею, а мужа своего предаетъ мукамъ ревности; когда она дурна, мужъ ея, завидуя другимъ, страдаетъ отъ зависти; а если она не хороша и не дурна,—мужчина дълаетъ ее прекрасной, и понявъ, что онъ ошибся, вновъ страдаетъ чрезъ нее, эту женщину...

- Мудрость не лъкарство отъ боли сердца... сказалъ ханъ.
 - Пожальемъ другь друга, отецъ...

Поднялъ голову ханъ и грустно поглядълъ на сына.

- Убьемъ ее...-сказалъ Толайкъ.
- Ты любишь себя больше, чъмъ ее и меня,—подумавъ, тихо молвилъ ханъ.
 - Въдь и ты тоже.

И опять они помолчали.

- Да! И я тоже, грустно сказалъ ханъ. Отъ горя онъ сдълался ребенкомъ.
 - Что же, убъемъ?
 - Не могу я отдать ее тебф, не могу, сказалъ ханъ.
- И я не могу больше терпъть вырви у меня сердце или дай мнъ ее...

Ханъ молчалъ.

- Или бросимъ ее въ море съ горы.
- Бросимъ ее въ море съ горы, повторилъ ханъ слова сына, какъ эхо сынова голоса.

И тогда они вошли въ гаремъ, гдѣ она уже спала на полу, на пышномъ коврѣ. Остановились они предъ ней и смотрѣли; долго они смотрѣли на нее. У стараго хана слезы текли изъ глазъ на его серебряную бороду и сверкали въ ней, какъ жемчужины, а сынъ его стоялъ, сверкая очами и скрежетомъ зубовъ своихъ сдерживая страсть, разбудилъ казачку. Проснулась она — и на лицѣ ея, нѣжномъ и розовомъ, какъ заря, расцвѣли ея глаза, какъ васильки. Не замѣтила она Алгаллу и протянула алыя губы хану.

- Поцълуй меня, старый орель!
- Собирайся... пойдешь съ нами, тихо сказалъ ханъ...

Туть она увидала Алгаллу и слезы на очахъ своего орла, и-умная она была-поняла все.

— Иду,—сказала она.—Иду. Ни тому, ни другому такъ ръшили? Такъ и должны ръшать сильные сердцемъ. Иду.

И молча они, всъ трое, пошли къ морю. Узкими тропинками шли, вътеръ шумълъ, гулко шумълъ...

Нъжная она была, дъвушка-то, скоро устала, но и горда была—не хотъла сказать имъ этого.

И когда сынъ хана замътилъ, что она отстаетъ отъ нихъ—сказалъ онъ ей:

— Боишься?

Она блеснула глазами на него и показала ему окровавленную ногу...

- Дай понесу тебя! сказалъ Алгалла, протягивая къ ней руки. Но она обняла шею своего стараго орла. Поднялъ ханъ ее на свои руки, какъ перо, и понесъ; она же, сидя на его рукахъ, отклоняла вътви отъ его лица, боясв, что онъ попадутъ ему въ глазъ. Долго они шли, и вотъ уже слышенъ гулъ моря вдали. Тутъ Толайкъ,—онъ шелъ сзади ихъ, по тропинкъ,—сказалъ отцу:
- Пусти меня впередъ, а то я хочу ударить тебя кинжаломъ въ шею.
- Пройди,—Аллахъ возмъстить тебъ твое желаніе или простить—его воля,—я же отецъ твой, прощаю тебъ. Я знаю, что значить любить.

И воть оно, море, предъ ними, тамъ внизу пустое, черное и безъ береговъ. Глухо поють его волны у самаго низа скалы и темно тамъ внизу и холодно, и страшно.

- Прощай!—сказаль хань, цвлуя дввушку.
- Прощай!-сказалъ Алгалла и поклонился ей.

Она заглянула туда, гдъ пъли волны, и отшатнулась назадъ, прижавъ руки къ груди...

— Бросьте меня, — сказала она имъ...

Простеръ къ ней руки Алгалла и застоналъ, а ханъ взялъ ее въ руки свои, прижалъ къ груди кръпко, поцъловалъ и, поднявъ ее надъ своей головой—бросилъ внизъ со скалы.

Тамъ плескались и пъли волны и было такъ шумно, что оба они не слыхали, когда она долетъла до воды. Ни крика не слыхали, ничего. Ханъ опустился на камни и молча сталъ смотръть внизъ, во тьму и даль, гдъ море смъшалось съ облаками, откуда шумно плыли глухіе всплески волнъ, и вътеръ прилеталъ, развъвая съдую бороду хана. Толайкъ стоялъ надъ нимъ, закрывъ лицо руками, какъ камень неподвижный и молчаливый. Время шло и по небу одно за другимъ плыли облака, гонимыя вътромъ. Темны и тяжелы они были, какъ думы стараго хана, лежавшаго надъ моремъ на высокой скалъ.

- Пойдемъ, отецъ, -- сказалъ Толайкъ.
- Подожди...—шепнулъ ханъ, точно слушая что-то. И опять прошло много времени, и все плескались волны внизу, а вътеръ налеталъ на скалу, шумя деревьями-
 - Пойдемъ, отецъ...
 - Подожди еще...

Не одинъ разъ говорилъ Тойлакъ Алгалла:

— Пойдемъ, отецъ.

Ханъ все не шелъ отъ мъста, гдъ потерялъ радость своихъ послъднихъ дней.

Но — все имъетъ конецъ! — всталъ онъ, могучій и гордый, всталъ, нахмурилъ брови и глухо сказалъ:

— Идемъ...

Пошли они, но скоро остановился ханъ.

— А зачъмъ я иду и куда, Толайкъ?—спросилъ онъ сына.—Зачъмъ мнъ жить теперь, когда вся моя жизнь въ ней была? Старъ я, не полюбятъ ужъ меня больше,

Digitized by Google

а если никто тебя не любить — неразумно жить на свъть.

- Слава и богатство есть у тебя, отецъ...
- Дай мив одинъ ея поцвлуй и возьми все это себв въ награду. Это все мертвое, одна любовь женщины жива. Нвть такой любви—нвть жизни у человвка, нищъ онъ, и жалки дни его. Прощай, мой сынъ, благословение Аллаха надъ твоей главой да пребудеть во всв дни и ночи жизни твоей. И повернулся ханъ лицомъ къ морю.
- —Отецъ, сказалъ Толайкъ, —отецъ!... И не могъ больше сказать ничего, такъ какъ ничего нельзя сказать человъку, которому улыбается смерть, ничего не скажешь ему такого, что возвратило бы въ душу его любовь къ жизни.
 - Пусти меня...
 - Аллахъ...
 - Онъ знаетъ...

Быстрыми шагами подошель хань къ обрыву и кинулся внизъ. Не остановилъ его сынъ, не успълъ. И опять ничего не было слышно отъ моря—ни крика, ни шума паденія хана. Только волны все плескали тамъ, да вътеръ гудълъ дикія пъсни.

Долго смотрълъ внизъ Толайкъ Алгалла и потомъ вслухъ сказалъ:

- И мит такое же твердое сердце дай, о, Аллахъ! И потомъ онъ пошелъ во тьму ночи...
- ... Такъ погибъ ханъ Мосолайма эль Асвабъ, и сталъ въ Крыму ханъ Толайкъ Алгалла...



"В Ы В О Д Ъ".

(1896.)

По деревенской улицъ, среди бълыхъ мазанокъ, съ дикимъ воемъ двигается странная процессія.

Идетъ толпа народа, идетъ густо и медленно,—движется какъ большая волна, а впереди ея шагаетъ лошаденка, юмористически-шероховатая лошаденка, понуро опустившая голову. Поднимая одну изъ переднихъ ногъ, она такъ странно встряхиваетъ головой, точно хочетъ ткнуться шершавой мордой въ пыль дороги, а когда она переставляетъ заднюю ногу, ея крупъ весь осъдаетъ къ землъ, и кажется, что она сейчасъ упадетъ.

Къ передку телъги прикручена веревкой за руки маленькая совершенно нагая женщина, почти дъвочка. Она идетъ какъ-то странно—бокомъ, ея голова, въ густыхъ растрепанныхъ темнорусыхъ волосахъ, поднята кверху и немного откинута назадъ, глаза широко открыты и смотрятъ куда-то вдаль тупымъ, безсмысленнымъ взглядомъ, въ которомъ нътъ ничего человъческаго... Все тъло ея въ синихъ и багровыхъ пятнахъ, круглыхъ и продолговатыхъ, лъвая упругая дъвическая грудъ разсъчена, и изъ нея сочится кровь... Она образовала пурпуровую полосу на животъ и ниже по лъвой ногъ до колъна, а на голени ее скрываетъ коричневая короста иыли. Кажется, что съ тъла этой женщины содрана узкая и длинная полоса кожи, и должно быть по животу

этой женщины долго били полъномъ,—онъ чудовищно вспухъ и весь страшно синій.

Ноги этой женщины, стройныя и маленькія, еле ступають по пыли, весь корпусь страшно изогнуть и качается, и никакъ нельзя понять, почему она еще держится на этихъ ногахъ, сплошь, какъ и все ея тъло, покрытыхъ синяками, почему она не падаетъ на землю и, вися на рукахъ, не волочится за телъгой по пыльной и теплой землъ...

А на тельть стоить высокій мужикь вь былой рубахь, вь черной смушковой шапкь, изъ-подь которой, перерызывая ему лобь, свысилась прядь ярко-рыжихь волось; вь одной рукь онь держить вожжи, вь другой—кнуть и методически хлещеть имь разь по спины лошади и разь по тылу маленькой женщины, и безь того уже добитой до утраты человыческаго образа. Глаза рыжаго мужика налиты кровью и блещуть злымь торжествомь. Волосы оттыняють ихъ зеленоватый цвыть. Засученные по локти рукава рубахи обнажили крыкія, мускулистыя руки, густо поросшія рыжей шерстью; роть его открыть, полонь острыхь былыхь зубовь, и порой мужикь хрипло вскрикиваеть:

— H-ну... въ-ъдьма! Гей! H-ну! Ага! Разъ!... Такъ ли, братцы?...

А сзади телъги и женщины, привязанной къ ней, валомъ валить толпа и тоже кричить, воетъ, свищетъ, смъется, улюлюкаетъ... подзадориваетъ... Бъгутъ мальчишки... Иногда одинъ изъ нихъ забъгаетъ впередъ и кричитъ въ лицо женщины циничныя слова. Тогда взрывъ смъха въ толпъ заглушаетъ всъ остальные звуки и тонкій свистъ кнута въ воздухъ... Идутъ женщины съ возбужденными лицами и сверкающими удовольствіемъ глазами..., Идутъ мужчины и кричатъ чтото отвратительное тому, что стоитъ въ телъгъ... Онъ оборачивается назадъ къ нимъ и хохочетъ, широко раскрывая ротъ. Ударъ кнутомъ по тълу женщины... Кнутъ,

тонкій и длинный, обвивается около плеча и воть онь захлеснулся подъ мышкой... Тогда мужикъ, который бьегь, сильно дергаеть кнуть къ себъ; женщина визгливо вскрикиваеть и, опрокидываясь назадъ, падаетъ въ пыль спиной... Многіе изъ толпы подскакивають къ ней и скрывають ее собой, наклоняясь надъ нею.

Лошадь останавливается, но черезъ минуту она снова идеть, и вся избитая женщина попрежнему двигается за телъгой. И жалкая лошадь, медленно шагая, все мотаеть своей шершавой головой, точно хочеть сказать:

— Воть какъ подло быть скотомъ! Во всякой мерзости могуть заставить принять участіе...

А небо, южное небо, совершенно чисто, — ни одной тучки, и съ него л'втнее солнце щедро льеть свои жгучіе лучи...

Это я написать не аллегорическое изображеніе гоненія и истязанія пророка, не признаннаго въ своемь отечествь, — ньть, къ сожальнію! Это называется — выводь. Такъ наказывають мужья жень за изміну; это бытовая картина, обычай, — и это я видыль въ 1891-мъ году 15-го іюля, въ деревнь Кандыбовкь, Херсонской губерніи.



СУПРУГИ ОРЛОВЫ.

(1897.)

...Почти каждую субботу передъ всенощной изъ двухъ оконъ подвала стараго и грязнаго дома купца Петунникова на тъсный дворъ, заваленный разною рухлядью и застроенный деревянными, покосившимися отъ времени службами, рвались ожесточенные женскіе крики:

- Стой! Стой, пропоица, дьяволъ!—низкимъ контральто кричала женщина.
 - Пусти!-отвъчаль ей теноръ мужчины.
 - Не пущу, не пущу я тебя, изверга!
 - Вр-решь! пустишь!
 - Убей меня-не пущу!
 - -- Ты? Вр-решь, еретица!
 - Батюшки! Убилъ... ба-атюшка!
 - Пу-устишь!
 - Добивай, звърь, доколачивай!
 - Подождешь... не сразу!

При первыхъ же словахъ такого діалога Сенька Чижикъ, ученикъ маляра Сучкова, цёлыми днями растиравшій краски въ одномъ изъ сарайчиковъ на дворъ, стремглавъ вылеталъ оттуда и, сверкая глазенками, черными, какъ у мыши, во все горло оралъ:

— Сапожники Орловы стражаются! Ухъ ты! Страстный любитель всевозможныхъ происшествій, Чижикъ подбъгалъ къ окнамъ квартиры Орловыхъ, ложился животомъ на землю и, свъсивъ внизъ свою лохматую, озорную голову съ бойкой, худой рожицей, выпачканной охрой и муміей, жадными глазами смотрълъ внизъ, въ темную и сырую дыру, изъ которой пахло плъсенью, варомъ и прълой кожей. Тамъ, на днъ ея, яростно возились двъ фигуры, хрипя, стоная и ругаясь.

- Убьешь въдь...—задыхаясь, предупреждала женшина.
- H-ничего! увъренно и съ сосредоточенной злобой успокоивалъ ее мужчина.

Раздавались тяжелые глухіе удары по чему-то мягкому, вздохи, взвизгиванія, напряженное кряхтънье человъка, ворочающаго большую тяжесть.

- И-эхъ ты! Ка-акъ онъ ее колодкой-то саданулъ!— иллюстрировалъ Чижикъ ходъ событій въ подвалѣ, а собравшаяся вокругъ него публика—портные, судебный разсыльный Левченко, гармонистъ Кисляковъ и другіе любители безилатныхъ развлеченій—то и дѣло спрашивали Сеньку, въ нетерпѣніи дергая его за ноги и за штанишки, пропитанныя жирными красками:
 - Ну? А теперь что? Какъ онъ ее?
- Сидить на ней верхомъ и мордой ее въ полътычеть... докладываль Сенька, сладострастно поеживаясь отъ переживаемыхъ имъ впечатлъній...

Публика тоже наклонялась къ окнамъ Орловыхъ, охваченная горячимъ стремленіемъ самой видѣть всѣ детали боя; и хотя она уже давно знала пріемы Гришки Орлова, употребляемые имъ въ войнѣ съ женой, но всетаки изумлялась:

- Ахъ, дьяволъ! Разбилъ?
- Весь носъ въ кровь... такъ и тикётъ! захлебываясь, сообщалъ Сенька.
- Ахъ ты, Господи, Боже мой! восклицали женщины.—Ахъ, извергъ-мучитель!

Мужчины разсуждали болве объективно.

— Безпремънно онъ ее долженъ до смерти забить...— говорили они.

А гармонисть тономъ провидца заявлялъ:

- Помяните мое слово—ножомъ распотрошить онъ ее! Устанеть когда-нибудь возиться воть этакимъ манеромъ, да сразу и кончить всю музыку!
- Кончилъ!—вскакивая съ земли, вполголоса сообщалъ Сенька и мячикомъ отлеталъ отъ оконъ куда-нибудь въ сторону, въ уголокъ, гдъ занималъ новый наблюдательный постъ, зная, что сейчасъ долженъ выйти на дворъ Гришка Орловъ.

Публика быстро расходилась, не желая попадаться на глаза свиръпаго сапожника; теперь, по окончании сраженія, онъ теряль въ ея глазахъ всякій интересъ и, виъсть съ этимъ, былъ не безопасенъ.

И обыкновенно на дворъ не было уже ни одной живой души, кром'в Сеньки, когда Орловъ являлся изъ своего подвала. Тяжело дыша, въ разорванной рубахъ, съ растрепанными волосами на головъ, съ царапинами на потномъ и возбужденномъ лицъ, онъ исподлобья оглядываль дворь налитыми кровью глазами и, заложивъ руки за спину, медленно шелъ къ старымъ розвальнямъ, лежавшимъ кверху полозьями у стъны дровяного сарая. Иногда онъ при этомъ ухарски посвистываль и такъ смотръль по сторонамъ, точно имъль намърение вызвать на бой все население дома Петунникова. Затъмъ онъ садился на полозья розваленъ, отираль рукавомъ рубахи поть и кровь съ лица и замираль въ усталой позъ, тупо глядя на стъну дома, грязную, съ облъзлою штукатуркой и съ разноцвътными полосами красокъ, — маляры Сучкова, возвращаясь съ работы, имъли обыкновеніе чистить кисти объ эту часть ствны.

Орлову было лътъ подъ тридцать. Броизовое нервное лицо съ тонкими чертами украшали маленькіе темпые

усы, ръзко оттъняя его полныя, красныя губы. Надъбольшимъ хрящеватымъ носомъ почти срастались густыя брови; изъ-подъ нихъ смотръли всегда безпокойно горъвшіе черные глаза. Спутанные спереди курчавые волосы падали сзади на коричневую жилистую шею. Средняго роста, немного сутулый отъ своей работы, мускулистый и горячій, онъ, долго сидя на розвальняхъ въкакомъ-то оцъпенъніи, разсматривалъ раскрашенную стъну, глубоко дыша здоровой, смуглой грудью.

Солнце уже съло, но на дворъ душно; пахнеть масляной краской, дегтемъ, кислой капустой и какой-то гнилью. Изъ всъхъ оконъ обоихъ этажей дома на дворъ льются пъсни и брань, иногда чья-нибудь испитая физіономія съ минуту разсматриваеть Орлова, высунувшись изъза косяка, и исчезаеть, усмъхаясь.

Являются маляры съ работы; проходя мимо Орлова, они искоса смотрять на него, перемигиваются между собой и, наполняя дворъ бойкимъ костромскимъ говоромъ, собираются кто въ баню, кто въ кабакъ. Сверху изъ второго этажа сползають на дворъ портные — народъполу-одътий, худосочный и кривоногій, —начинають подтрунивать надъ костромичами-малярами за ихъ горохомъ разсыпающуюся ръчь. Весь дворъ наполняется шумомъ, бойкимъ и живымъ смъхомъ, шутками... Орловъ сидить въ своемъ углу и молчить, ни на кого не глядя. Никто не подходить къ нему и никто не ръшается пошутить надъ нимъ, ибо знають, что теперь онъ—звърь лютый.

Онъ сидить, весь охваченный глухой и тяжелой злобой, которая давить ему грудь, затрудняя дыханіе, и ноздри его порой хищно вздрагивають, а губы искривляются, обнажая два ряда крёпкихъ и крупныхъ желтыхъ зубовъ. Въ немъ растеть что-то безформенное и темное, красныя, мутныя пятна плавають предъ его глазами, тоска и жажда водки сосеть его внутренности. Онъ знаеть, что, когда онъ выпьеть, ему будеть легче.

но пока еще свътло, и ему стыдно идти въ кабакъ въ такомъ оборванномъ и истерзанномъ видъ по улицъ, гдъ всъ знаютъ его, Григорія Орлова.

Онъ знаетъ себъ цъну и не хочетъ выходить на всеобщее посмъшище, но и пойти домой, чтобы одъться и умыться, онъ тоже не можетъ. Тамъ, на полу, лежитъ избитая жена, а она ему теперь всячески противна.

Она тамъ стонеть, и онъ чувствуеть, что она мученица, и что она права предъ нимъ,—онъ знаетъ это. Онъ знаетъ и то, что она дъйствительно права, а онъ виновать, и это еще болъе усиливаетъ его ненависть къ ней, потому что рядомъ съ этимъ сознаніемъ въ душъ его кипить злобное темное чувство и оно сильнъе сознанія. Въ немъ все смутно и тяжело, и онъ безвольно отдается тяжести своихъ внутреннихъ ощущеній, не умъя разобраться въ нихъ и зная, что только полбутылочки водки можеть облегчить его.

Воть идеть гармонисть Кисляковь. Онь въ плисовой безрукавкъ, въ красной шелковой рубашкъ, въ шароварахъ, заправленныхъ въ щегольские сапоги. Подъмышкой у него гармоника въ зеленомъ мъшкъ, черненькие усики закручены въ стрълки, картузъ ухарски надъть набекрень и все лицо сілеть удалью и весельемъ. Орловъ любить его за удальство, за игру и за веселый характеръ и завидуеть его легкой, беззабатной жизни.

"Съ по-бъд-дой, Гриша, поздравляю "И съ расцар-рапанной щекой!"

Орловъ не сердится на него за эту шутку, хотя онъ уже слышаль ее разъ пятьдесять, да гармонисть и не со зла говорить это, а просто потому, что шутить любить.

— Что, брать! опять Плевна была?—спрашиваеть Кисляковь, останавливаясь на минутку передъ сапожникомъ.—Эхъ ты, Гриня, спъла дыня! Шель бы ты

туда, куда всёмъ намъ дорога... Клюнули бы мы съ гобой.

- Я скоро...—не поднимая головы, говорить Орловъ.
- Жду и страдаю по тебъ...

Вскоръ за нимъ уходить и Орловъ.

Тогда изъ подвала, держась за ствны, выходить маленькая, полная женщина. Голова у нея плотно закутана платкомъ и изъ отверстія на лицъ смотрить только одинъ глазъ, кусокъ щеки и лба. Пошатываясь. она идеть черезъ дворъ и садится на то мъсто, гдъ незадолго передъ тъмъ сидълъ ея мужъ. Ея появленіе никого не удивляеть -- къ этому привыкли, и всъ знають, что она просидить туть до поры, пока Гришка, пьяный и настроенный на покаянный ладъ, не появится изъ кабака. Она выходить на дворъ потому, что въ подваль душно, и для того, чтобы свести съ лъстницы пьянаго Гришку. Лъстница-полусгнившая и крутая; однажды Гришка упалъ съ нея и вывихнулъ себъ руку, такъ что недъли двъ не работалъ, и за это время, чтобы прокормиться, они заложили почти всв пожитки.

Съ той поры Матрена и караулила его.

Иногда кто-нибудь со двора подсаживается къ ней, чаще всъхъ Левченко—усатый унтеръ-офицеръ въ отставкъ, разсудительный и степенный хохолъ съ гладко остриженной головой и сизымъ носомъ. Онъ садится и, позъвывая, спрашиваетъ:

- Снова подрались?
- A тебъ что?—недружелюбно и задорно говоритъ Матрена.
- A ничего! объясняетъ хохолъ, и послѣ этого оба они долго молчать.

Матрена тяжело дышить и въ груди у нея что-то хрипить.

— И чего вы все воюете? Чего бы вамъ дѣлить? начинаеть разсуждать хохоль.

Digitized by Google .

- Наше дъло...-кратко говорить Матрена Орлова.
- Ваше, это такъ...—соглащается Левченко и даже киваеть головой въ подтвержденіе сказаннаго.
- Такъ чего же ты лъзешь ко мнъ? резонно заявляеть Орлова.
- Фу ты... какая! И слова ей не скажи! Какъ посмотрю я на васъ—пара вы съ Гришкой! Батогами бы васъ лупить надо каждый день—разъ поутру и разъ вечеромъ—воть что! Были бы тогда оба не такіе ежи...

И разсерженный онъ уходить прочь оть нея, чъмъ она очень довольна: — по двору давно уже ходить говорь, что хохолъ недаромъ къ ней ластится, и она зла на него, на него и на всъхъ людей, которые суются не въ свое дъло. А хохолъ идеть въ уголъ двора своей прямой солдатской походкой, бодрый и сильный, несмотря на свои сорокъ лътъ.

Воть откуда-то къ нему подъ ноги подвертывается Чижикъ.

- Она тоже, дядянька, ръдька, Орлиха-то!—вполголоса сообщаеть онъ Левченку, хитро подмигивая туда, гдъ сидить Матрена.
- Воть я тебъ такую пропишу, гдъ нужно, ръдьку! усмъхаясь въ усы, грозить хохолъ. Онъ любить бойкаго Чижика и внимательно слушаеть его, зная, что Чижику извъстны всъ тайны двора.
- Около нея не обрыбишься,—не обращая вниманія на угрозу, поясняеть Чижикь.—Максимка-маляръ пробоваль, дыкъ она его такъ смазала! Я самъ слышаль... адорово! Прямо по харъ... какъ по барабану!

Полуребенокъ, полуварослый, несмотря на свои двънадцать лътъ, живой и впечатлительный, онъ, какъ губка влагу, жадно впитываетъ въ себя грязь окружающей его жизни, и на лбу у него уже есть тонкая морщинка, указывающая на то, что Сенька Чижикъ думаетъ.

... На дворъ темно. Надъ нимъ сілеть весь въ бле-

скъ звъздъ квадратный кусокъ синяго неба и, окруженный высокими стънами, дворъ кажется глубокой ямой, когда съ него посмотришь вверхъ. Въ одномъ углу этой ямы сидить маленькая женская фигурка, отдыхая отъ побоевъ и ожидая пьянаго мужа...

Орловы были женаты четвертый годъ. Быль у нихъ ребенокъ, но проживъ около полутора года, умеръ; они оба недолго горевали о немъ, быстро успокоившись въ надеждъ имъть другого. Подвалъ, въ которомъ они помъщались, представляль собою большую, продолговатую, темную комнату со сводчатымъ потолкомъ. Прямо у двери стояла большая русская печь, челомъ къ окнамъ; между нею и ствной узенькій проходъ вель въ квадрать, освъщенный двумя окнами, выходившими во дворъ. Свъть падаль изъ нихъ въ подвалъ косыми, мутными полосами, и въ комнатъ было сыро, глухо и мертво. Жизнь билась гдв-то тамъ далеко наверху, а сюда залетали отъ нея только глухіе, неопредъленные ввуки, падавшіе вм'єсть съ пылью въ яму къ Орловымъ какими-то безформенными и безцвътными хлопьями. Противъ печи по стънъ стояла деревянная двухспальная кровать за ситцевымъ пологомъ, коричневымъ, съ розовыми цвътами; противъ кровати у другой стъныстолъ, на которомъ пили чай и объдали, а между кроватью и ствной въ двухъ полосахъ сввта супруги работали.

По стънамъ лъниво путешествовали тараканы, объвдая хлъбный мякишъ, которымъ были приклеены къштукатуркъ разныя картинки изъ старыхъ журналовъ; унылыя мухи летали повсюду, скучно жужжа, и засиженныя ими картинки смотръли темными пятнами съгрязно-съраго фона стънъ.

День Орловыхъ начинался такъ: часовъ въ шесть утра Матрена просыпалась, умывалась и ставила самоваръ, не разъ искалъченный въ пылу дракъ и весь покрытый заплатами изъ олова. Пока кипълъ самоваръ, она убирала комнату, ходила въ лавочку, потомъ будила мужа; онъ вставалъ, умывался, а самоваръ уже стоялъ на столъ, шипя и курлыкая. Садились пить чай съ бълымъ хлъбомъ, котораго съъдали вдвоемъ фунтъ.

Григорій работалъ хорошо, и работа у него была всегда, за чаємъ онъ распредъляль ее. Онъ дълалъ чистую работу, требовавшую руки мастера, жена сучила дратву, подклеивала поднарядъ, дълала набойки на стоптанные каблуки и тому подобныя мелочи. За чаемъ же обсуждался объдъ. Зимой, когда надо ъсть больше, это былъ довольно интересный вопросъ; лътомъ изъ экономіи печь топили только по праздникамъ и то не всегда, питались же преимущественно разными окрошками изъ кваса, съ добавленіемъ луку, соленой рыбы, иногда мяса, свареннаго у кого-нибудь на дворъ. Кончивъ чай, садились работать: Григорій на квашенку, обитую кожей и съ трещиной на боку, жена рядомъ съ нимъ — на низенькую скамейку.

Сначала работали молча — о чемъ имъ было говорить? Перекинутся парой словь, относящихся къ работъ, и молчатъ по получасу и больше. Стучитъ молотокъ, шипитъ дратва, продергиваемая сквозь кожу. Григорій иногда зъвнеть и непремънно заключить зъвокъ протяжнымъ ревомъ или воемъ. Матрена вздыхаеть и молчить. Иногда Орловъ запъвалъ пъсню. Голось у него быль резкій, съметаллическим тембромъ, но пъть онъ умълъ. Слова пъсни то собирались въ жалобный и быстрый речитативъ и, какъ бы боясь не договорить того, что хотьли сказать, стремительно рвались изъ Гришкиной груди, то вдругъ растягивались въ грустные вздохи или — съ воплемъ "эхъ!" тоскливые и громкіе детёли изъ окна на дворъ. Матрена подтягивала мужу своимъ мягкимъ контральто. Лица у обоихъ становились задумчивыми и печальными, темные глаза Гришки подергивались влагой. Жена его, погруженная въ звуки, какъ-то тупъла, сидя точно въ полуснъ и покачиваясь изъ стороны въ сторону, а иногда она точно захлебывалась пъсней, разрывая средину ноты паузой, и снова продолжала вести ее въ унисонъ голоса мужа. Оба они во время пънія не чувствовали присутствія другъ друга, стараясь излить въ чужихъ словахъ пустоту и скуку своей темной жизни, хотъли, быть можеть, оформить этими словами тъ полусознательныя мысли и ощущенія, которыя зарождались въ ихъ душахъ.

Порой Гришка импровизировалъ:

Э-охъ, ты, жи-изнь... эхъ, да ужъ ты, жизнь моя тревлятая... Да ты, тоска-а-а! Эхъ и ты, тоска моя проклятая, Проклятущая тоска-а-а!...

Матренъ эти импровизаціи не нравились, и она обыкновенно въ такихъ случаяхъ спращивала его:

- Чего ты завыль, какъ пёсъ передъ покойникомъ? Онъ почему-то тотчасъ же сердился на нее:
- Тупорылая хавронья! Что ты можешь понимать? Кикимора болотная!
 - Вылъ, вылъ, да и залаялъ...
- Молчать твое дъло! Я кто подмастерье что ли твой, что ты мнъ рацеи-то начитывать суешься, а?... То-то!

Матрена, видя, что у него напрягаются жилы на шев и что глаза блещуть гнввомъ, — молчала, молчала долго, демонстративно не отввчая на вопросы мужа, гнввъ котораго гасъ такъ же быстро, какъ и вспыхивалъ.

Она отвертывалась отъ его взглядовъ, искавшихъ примиренія съ ней, ожидавшихъ ея улыбки, и вся была полна трепетнаго чувства боязни, что онъ вновь разсердится на нее за эту игру съ нимъ. Но въ то же

время сердиться на него и видъть его стремленіе къ миру съ ней для нея было пріятно,—въдь это значило жить, думать, волноваться...

Оба они-молодые и здоровые люди-любили другъ друга и гордились другъ другомъ... Гришка былъ такой сильный, горячій, красивый, а Матрена — бълая, полная, съ огонькомъ въ сърыхъ глазахъ, -- "ядреная баба", какъ говорили о ней на дворъ. Они любили другъ, друга, но имъ было такъ скучно жить, у нихъ почти не было впечатлъній и интересовъ, которые могли бы порой дать имъ возможность отдохнуть другь отъ друга и удовлетворяли бы естественную потребность человъческаго духа-волноваться, думать, горъть-вообще жить. Ибо при условіи отсутствія внъшнихъ впечатльній и одухотворяющихъ жизнь интересовъ мужъ и жена-даже и тогда, когда это люди высокой культуры духа — роковымъ образомъ должны опротивъть другь другу. Это законь, столь же неизбъжный, какъ и справедливый. Если бъ у Орловыхъ была жизненная цъль, хоть бы такая узкая, какъ накопленіе денегъ грошъ за грошомъ, тогда, несомнънно, имъ жилось бы легче.

Но у нихъ не было и этого.

Постоянно одинъ у другого на глазахъ, они привыкли другъ къ другу, знали всъ слова и жесты одинъ другого. День шелъ за днемъ и не вносилъ въ ихъ жизнь ничего, что развлекало бы ихъ. Иногда, по праздникамъ, они ходили въ гости къ такимъ же нищимъ духомъ, какъ сами, иногда къ нимъ приходили гости, пили, пъли, часто — дрались. А потомъ снова одинъ за другимъ тянулись безцвътные дни, какъ звенья невидимой цъпи, отягчавшей жизнь этихъ людей работой, скукой и безсмысленнымъ раздраженіемъ другъ противъ друга.

Иногда Гришка говорилъ:

— Воть такъ жизнь, въдьма ся бабушка! И зачъмъ

только она мнѣ далась? Работища да скучища, скучища да работища...—И помолчавъ, съ поднятыми къ потолку глазами, съ блуждающей улыбкой, онъ продолжалъ: — родила меня мать по волѣ Божіей... супротивъ этого ничего не скажешь! Научился я мастерству... это вотъ зачѣмъ? Али, кромѣ меня, мало сапожниковъ? Ну, ладно, сапожникъ, а дальше что? Какое въ этомъ для меня удовольствіе?... Сижу въ ямѣ и шью... Потомъ помру. Вотъ, говорять, холера... Ну и что же? Жилъ Григорій Орловъ, шилъ сапоги—и померъ отъ холеры. Въ чемъ же тутъ сила? И зачѣмъ это нужно, чтобъ я жилъ, шилъ и померъ, а?

Матрена молчала, чувствуя въ словахъ мужа что-то страшное; но порой она просила его не говорить такихъ словъ, потому что они противъ Бога, Который ужъ знаетъ, какъ устроить человъку жизнь. А иногда, будучи не въ духъ, она скептически заявляла мужу:

- А ты бы воть не пиль винища-то—и жилось бы тебѣ веселье, и не льзли бы въ голову-то этакія мысли. Другіе живуть не жалуются, а копять денежки, да свои мастерскія на нихь заводять и живуть потомъ уже сами-то, какъ господа.
- И выходишь ты за такія деревянныя твои слова—чортова кукла! Раскинь мозгами-то, развѣ я могу не пить, коли въ этомъ моя радость? Другіе! Много ты ихъ, другихъ-то, этакихъ удачливыхъ знаешь? А я развѣ до женитьбы такой былъ? Это, ежели по совѣсти говорить, такъ ты меня сосешь и жизнь мнѣ тѣснишь... У, жаба!

Матрена обижалась, но чувствовала, что мужъ ея правъ. Въ пьяномъ видъ онъ и веселый, и ласковый,— другіе были плодомъ ея фантазіи,—и до женитьбы онъ былъ не таковъ. Тогда это былъ весельчакъ, занятный и добрый... А теперь сталъ сущій звърь.

"Почему это? Неужто и впрямъ я ему тяжела?" — думала она.

Сердце ея сжималось отъ этой горькой думы, ей становилось жаль себя и его; она подходила къ нему и, ласково, любовно заглядывая ему въ глаза, плотно прижималась къ его груди.

— Ну, теперь будеть лизаться, корова... — угрюмо говориль Гришка и показываль видь, что хочеть оттолкнуть ее оть себя; но она уже знала, что онь этого не сдълаеть, и еще ближе, еще кръпче жалась къ нему.

Тогда у него вспыхивали глаза, онъ бросалъ на полъ работу и, посадивъ жену къ себъ на колъни, цъловалъ ее много и долго, вздыхая во всю грудь и говоря вполголоса, точно боясь, что его подслушаетъ кто-то:

— Э-эхъ, Мотря! Живемъ мы съ тобой ай-ай какъ илохо... какъ звърье грыземся... А почему? Такая звъзда моя... подъ звъздой родится человъкъ и звъзда — судьба его!

Но это объяснение не удовлетворяло его и, прижавъжену къ груди, онъ задумывался.

Они подолгу сидъли такъ въ мутномъ свътъ и спертомъ воздухъ своего подвала. Она молчала, вздыхая, но иногда въ такіе хорошіе моменты ей вспоминались незаслуженныя обиды и побои, понесенные отъ него, и она съ тихими слезами жаловалась ему на него.

Тогда онъ, смущенный ея ласковыми упреками, еще горячве ласкаль ее, а она все болве разливалась въ жалобахъ. Это, наконецъ, опять-таки раздражало его.

— Будеть скулить! Мнъ, можеть быть, въ тысячу разъ больнъе, когда я тебя быю. Понимаешь? Ну и помолчи. Вашей сестръ дай волю, такъ вы и за горло. Брось разговоры. Что ты можешь сказать человъку, ежели ему жизнь осточертъла?

Въ другое время онъ смягчался подъ потокомъ ея тихихъ слезъ и страстныхъ жалобъ и уныло, задумчиво объяснялъ:

— Что я съ моимъ характеромъ подълаю? Обижаю я тебя... это върно. Знаю, что ты у меня одна душа...

ну, не всегда я это помню. Понимаешь, Мотря, иной разъ глаза бы мои на тебя не смотръли! Вродъ какъ бы объълся я тобой. И подступить мнъ въ ту пору подъ сердце этакое зло—разорвалъ бы я тебя, да и себя заодно. И чъмъ ты предо мной правъе, тъмъ мнъ больше бить тебя хочется...

Она едва ли понимала его, но кающійся и ласковый гонъ успокоиваль ее.

- Богъ дасть, какъ-нибудь поправимся, привыкнемъ, — говорила она, не сознавая, что они уже давно привыкли и исчерпали другъ друга.
- Вотъ ежели бы дите у насъ родилось—было бы лучше намъ...—вздыхая заявляла она иногда.—Была бы у насъ и забава, и забота.
 - Такъ чего же ты? Рожай...
- Да... въдь при такихъ твоихъ побояхъ—не могу я принести. Очень ужъ ты по животу и по бокамъ больно бъещь... Хоть бы ногами-то не билъ...
- Ну,—угрюмо и сконфуженно оправдывался Григорій,—развъ можно въ этомъ разъ соображать, чъмъ, по чему бить надо? Да и я не палачъ какой... и не для удовольствія бью, а отъ тоски...
- И отчего она завелась въ тебъ, тоска эта? грустно спрашивала Матрена.
- Судьба такая, Мотря!—философствоваль Гришка. Судьба и характеръ души... Гляди, хуже я другихъ, хохла, къ примъру? Однано, хохолъ живетъ и не тоскуетъ. Одинъ онъ, ни жены, никого... Я бы подохъ безъ тебя... А онъ ничего! Онъ куритъ трубку и улыбается; доволенъ, дьяволъ, и тъмъ, что трубку куритъ. А я такъ не могу... я родился, видно, съ безпокойствомъ въ сердцъ. Характеръ у меня такой... У хохла онъ какъ палка, а у меня какъ пружина; нажмешь на него—дрожитъ... Выйду я, къ примъру, на улицу, вижу го, другое, третье, а у меня ничего нътъ. Это мнъ обидно. Хохлу тому ничего не надо, а мнъ и то обидно, что

онъ, усатый чорть, ничего не хочеть, а я... и не знаю даже, чего хочу... всего! Н-да... Я сижу воть въ ямъ и все работаю, и ничего нъть у меня. Опять же и ты... Жена ты мнъ, а что въ тебъ занятнаго? Баба, какъ баба, со всъмъ бабымъ наборомъ... Знаю я все въ тебъ; какъ ты чихнешь завтра — и то знаю, потому ты ужъ тысячу разъ, можеть, при мнъ чихала... Какая же поэтому у меня можетъ быть жизнь и какой интересъ? Нъть интересу. Ну, я и иду въ трактиръ, потому что тамъ весело.

- А ты зачъмъ же женился? спрашивала Матрена.
- Зачъмъ? Гришка усмъхался. Чортъ меня знаетъ зачъмъ... не надо бы, ежели по совъсти сказать... Въ босяки бы лучше уйти... Тамъ хоть голодно, да свободно—иди куда хочешь! Шагай по всей землъ!...
- Такъ иди, а меня отпусти на волю, заявляла Матрена, готовая разревъться.
 - Это куда?—внушительно спрашиваль Гришка.
 - А мое дъло.
 - Ку-уда?—и глаза у него эловъще разгорались.
 - Не ори, не боюсь...
 - Али присмотръла себъ кого? Говори!
 - Пусти!
 - Куда пустить?—ревълъ Гришка.

Онъ уже держаль ее за волосы, сбивъ платокъ съ ея головы. Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслажденіе, возбуждая всю ея душу, и она, вмъсто того, чтобы двумя словами угасить его ревность, еще болье подзадоривала его, улыбаясь ему въ лицо странными, многозначительными улыбками. Онъ бъсился и билъ ее, безпощадно билъ.

А ночью, когда она, вся изломанная и измятая, стоная, лежала на постели рядомъ съ нимъ, онъ искоса смотрълъ на нее и тяжело вздыхалъ. Ему было скверно, совъсть мучила его, онъ понималъ, что его ревность не имъетъ основаній и что онъ напрасно избилъ ее. — Ну, будеть ужъ...—сконфуженно говориль онъ. — Али я виновать, ежели у меня такой характеръ? Да и ты тоже хороша... Вмъсто того, чтобъ меня уговорить — подзадориваещь. Зачъмъ это тебъ надобно?

Она молчала, но она знала зачъмъ, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидають его ласки, страстныя и нъжныя ласки примиренія. За это она гогова была ежедневно платить болью въ избитыхъ бокахъ. И она плакала уже отъ одной только радости ожиданія, прежде чъмъ мужъ успъвалъ прикоснуться къ ней.

— Ну, полно, Мотря! Ну, голубушка, а? Полно, прости ужъ!—Онъ гладилъ ея волосы, цъловалъ ее и скрипълъ зубами отъ горечи, наполнявшей все его существо.

Окна ихъ были открыты, но небо закрывала капитальная стъна сосъдняго дома и въ комнатъ ихъ, какъ и всегда, было и темно, и душно, и тъсно.

- Эхъ, жизнь! Каторга ты великолъпная!—шепталъ Гришка, не будучи въ состояни высказать того, что съ болью чувствовалъ. Отъ ямы это, Мотря. Что мы? Вродъ какъ бы прежде смерти въ землю похоронены...
- Перевдемъ на другую квартиру, сквозь сладкія слезы предлагала Матрена, понимая его слова буквально.
- Э-эхъ! Не то, тётенька! Хоть на чердакъ заберись, все въ ямъ будешь... не квартира яма... жизнь—яма!

Матрена задумывалась и опять говорила:

- Богъ дасть, можеть и поправимся... привыкнемъ.
- Да, поправимся... Часто ты это говоришь. А дълото у насъ, Мотря, не на поправку идеть... Скандалы-то все чаще,—понимаешь?

Это было безусловно върно. Промежутки между ихъ побоями все сокращались, и вотъ, наконецъ, каждую субботу еще съ утра Гришка уже настраивался враждебно къ своей женъ.

— Сегодня вечеромъ пошабащу и въ трактиръ къ Лысому... Напьюсь... объявлялъ онъ. Матрена, отранно шуря глаза, молчала.

— Молчишь? И ужо воть такъ же молчи, цълъе будешь, — предупреждаль онъ.

Въ теченіе дня онъ съ озлобленіемъ, возраставшимъ по мъръ приближенія вечера все болье, — нъсколько разъ напоминаль ей о своемъ намъреніи напиться, чувствоваль, что ей больно это слышать, и видя, какъ она, сосредоточенно молчаливая, съ твердымъ блескомъ въ глазахъ, готовая бороться, ходить по комнать, еще болье свиръпъль.

Вечеромъ въстникъ ихъ несчастія, Сенька Чижикъ, объявлялъ о "страженіи".

Избивъ жену, Гришка исчезалъ иногда на всю ночь, иногда не являлся и въ воскресенье. Она, вся въ синякахъ, встръчала его суровая, молчаливая, но полная скрытой жалости къ нему, оборванному, часто тоже избитому, въ грязи, съ налитыми кровью глазами.

Она знала, что ему надо опохмелиться, и у нея уже было припасено полбутылки водки. Онъ тоже зналь это.

— Дай рюмочку... — хрипло просилъ онъ, пилъ двъ-три и садился работать...

День проходилъ у него въ угрызеніяхъ совъсти; часто онъ не выносилъ ихъ остроты, бросалъ работу и ругался страшными ругательствами, бъгая по комнатъ или валяясь на постели. Мотря давала ему время перекипъть, и тогда они мирились.

Раньше это примиреніе имѣло въ себѣ много оста го и сладкаго, но отъ времени все это постепенно выдыхалось, и мирились уже почти только потому, что неудобно же было молчать всѣ пять дней вплоть до субботы.

- Сопьешься ты, вздыхая говорила Мотря.
- Сопьюсь, подтверждалъ Гришка и сплевывалъ въ сторону съ видомъ человъка, которому ръшительно все равно, спиться или не спиться. А ты отъ меня

удерешь...—дополняль онь картину будущаго, пытливо глядя ей въ глаза.

Она съ нъкоторыхъ поръ стала опускать ихъ, чего раньше не дълала, а Гришка, видя это, зловъще хмурилъ брови и тихонько скрипълъ зубами. Но, тайкомъ отъ мужа, она пока еще ходила къ гадалкамъ и знахаркамъ, принося отъ нихъ наговорные корешки и угли. А когда все это не помогло, она отслужила молебенъ святому великомученику Вонифантію, помогающему отъ запоя, и во все время молебна, стоя на колъняхъ, горячо плакала, беззвучно двигая дрожащими губами.

И все чаще и чаще она чувствовала къ мужу дикую и холодную ненависть, возбуждавшую въ ней черныя думы, и все менъе жалъла она этого человъка, три года тому назадъ такъ обогатившаго ея жизнь веселымъ смъхомъ, ласками, любовными ръчами.

Такъ изо дня въ день жили эти, въ сущности, недурные люди, жили, фатально ожидая чего-то такого, что окончательно вдребезги разобьетъ ихъ мучительнонелъпую жизнь...

Однажды въ понедъльникъ утромъ, когда чета Орловыхъ только что напилась чаю, на порогъ двери въ ихъ невеселое жилище появилась внушительная фигура полицейскаго. Орловъ вскочилъ со своего сидънья и, подъ укоризненно-пугливымъ взглядомъ жены пытаясь возстановить въ своей похмельной головъ событія послъднихъ дней, молчаливо и упорно уставился на гостя мутными глазами, полный самыхъ скверныхъ ожиланій.

- Сюда, сюда, приглашалъ кого-то полицейскій.
- Темно, какъ въ омугѣ, чортъ бы побралъ купца Петунникова, —раздался молодой и веселый голосъ. Потомъ полицейскій посторонился, и въ комнату Орловыхъ быстро вошелъ студенть въ бѣломъ кителѣ, съ

фуражкой въ рукъ, гладко остриженный, съ большимъ загорълымъ лбомъ и веселыми карими глазами, смъшливо сверкавшими изъ-подъ очковъ.

— Здравствуйте!—воскликнуль онъ еще не окръпнувшимъ баскомъ.—Честь имъю представиться—санитаръ! Пришель освъдомиться, какъ поживаете... и понюхать вашъ воздухъ... воздухъ у васъ совсъмъ скверный!

Орловъ свободно вздохнулъ и радушно, весело улыбнулся. Ему сразу понравился этотъ шумный студентъ: лицо у него было такое здоровое, розовое, доброе, покрытое на щекахъ и подбородкъ русымъ пухомъ. Все оно улыбалось какою-то особенною, свъжею и ясною улыбкой, отъ которой въ подвалъ Орловыхъ стало какъ бы свътлъе и веселъе.

— Ну-съ, господа хозяева! — безъ паузъ говорилъ студенть, — помойку опрастывайте почаще, а то отъ нея идеть этотъ духъ невкусный. Я вамъ, тётенька, посовътовалъ бы мыть ее почаще и еще насыпали бы негашеной извести въ углы для очистки воздуха... а также противъ сырости известь помогаетъ. А у васъ, дяденька, почему такой скучный видъ? — обратился онъ къ Орлову и тутъ же, схвативъ его за руку, сталъ ощупывать пульсъ.

Бойкость студента какъ-то ошеломила Орловыхъ. Матрена растерянно улыбалась, модча оглядывая его, Григорій тоже улыбался, любуясь его живымъ лицомъ въ русомъ пуху.

- Животики у васъ какъ поживаютъ?—спрашивалъ тотъ.—Разсказывайте, не стъсняясь... дъло житейское, а ежели чуть что неладно, мы васъ снабдимъ разными кислыми лъкарствами, и все какъ рукой сниметъ.
- Мы ничего... въ добромъ здоровьъ, сообщилъ, наконецъ, Григорій, усмъхаясь.—А ежели я не тово... такъ это одна наружность... потому что, ежели по правдъ говорить, съ похмелья я нъсколько.

— То-то я чую носомъ-то, что какъ будто бы вы, хозяинъ, чуть-чуть выпили вчера... самую малость, знаете...

Онъ до того уморительно произнесъ это и такую при этомъ скорчиль рожу, что Орловъ такъ и прыснулъ довърчивымъ и громкимъ смъхомъ. Матрена тоже смъялась, закрывая ротъ передникомъ. Веселъе и громче всъхъ смъялся самъ студенгъ, и онъ же скоръе всъхъ и пересталъ. И когда расправились складки кожи около его пухлаго рта и около глазъ, складки, вызванныя смъхомъ,—лицо его, простое и открытое, стало какъ-то еще проще.

— Выпить рабочему человъку слъдуеть, ежели въ мъру, но по нынъпнимъ временамъ лучше совсъмъ воздержаться отъ выпивки. Слышали, какая болъзнь-то ходить между людьми?

И уже съ серьезною миной на лицѣ онъ понятнымъ языкомъ началъ разсказывать Орловымъ о холерѣ и о мѣрахъ борьбы съ ней. Онъ говорилъ и расхаживалъ по комнатѣ, то щупая стѣну рукой, то заглядывая за дверь, въ уголъ, гдѣ висѣлъ рукомойникъ и стояла лахань съ помоями, даже нагнулся къ подпечку и понюхалъ, чѣмъ изъ него пахнетъ. Голосъ у него то и дѣло срывался съ басовыхъ нотъ на теноровыя, и простыя слова его рѣчи какъ-то сами собой, безъ усилій со стороны слушателей, одно за другимъ плотно укладывались въ ихъ памяти. Свѣтлые глаза его горѣли, и весь онъ былъ пропитанъ пыломъ своей молодой страсти къ дѣлу, которому онъ такъ просто и бодро служилъ.

Григорій съ улыбкой любопытства слѣдилъ за нимъ. Матрена то и дѣло фыркала носомъ, полицейскій исчезъ.

— Такъ насчеть извести-то позаботьтесь сегодня же, кознева. Туть рядомъ съ вами стройка, такъ каменщики вамъ на пятакъ сколько угодно дадуть. А отъ выпивки, ежели не въ мъру, нужно воздержаться,

Digitized by Google

ховяинъ... Н-ну, пока до свиданья... Я еще забъгу къ

И онъ исчезъ такъ же быстро, какъ и вощелъ, оставивъ какъ бы въ видъ воспоминанія о своихъ смъющихся глазахъ растерянныя и довольныя улыбки на лицахъ четы Орловыхъ.

Съ минуту они молчали, глядя другъ на друга и еще не умъя оформить впечатлъніе, оставленное этимъ внезапнымъ набъгомъ сознательной энергіи на ихъ темную автоматическую жизнь.

— А-яй!—протянуль Григорій, качая головой.—Воть такь... химикъ! А про нихъ говорять, что они отравляють народъ! Да развъ человъкъ съ такой рожей будеть этимъ заниматься? И опять же голосъ! И все прочее... Нъть, туть совсъмъ открытая манера, пришелъ и сразу—на воть, воть онъ я! Известка... развъ это вредно? Лимонная кислота... что такое? Просто кислота и больше ничего! И главное—чистота вездъ, въ воздухъ и на полу, и въ лаханкъ... Развъ такими средствами можно отравить человъка? Ахъ, черти! Отравители, говорять... Этакой-то рубаха-парень, а? Тъфу! Рабочему, говорить, человъку въ мъру выпить всегда слъдуеть... слыщь, Мотря? Ну-ка, нацъди мнъ рюмочку... есть, что ли?

Она очень охотно налила ему полчашки водки изъ бутылки, неизвъстно откуда взятой ею.

- Этотъ-то дъйствительно хорошій... такой располагающій къ себъ,—сказала она, улыбаясь при воспоминаніи о студентъ.—А другіе, прочіе—кто ихъ знаеть? Можеть, и впрямь наняты они...
- Да для чего наняты-то и къмъ опять же?—воскликнулъ Григорій.
- Для людского истребленія... Говорять, что какъ бъднаго люда очень много, то и вышло распоряженіе— травить лишнихъ,—сообщила Матрена.
 - Кто это говорить?

- Всъ говорять... Стряпка отъ маляровъ говорила и другіе многіе...
- И дуры! Да развъ это выгодно? Ты подумай: лъчать! Это какъ понимать? Хоронять! А это развъ не убытокъ? Тоже нуженъ гробъ, могила и прочее такое... Все идеть на счеть казны... Ер-рунда! Ежели бы хотъли сдълать очистку и убавленіе людей, то взяли бы да и сослали ихъ въ Сибирь — тамъ мъста про всъхъ хватить! Или на необитаемые острова... И сославъ, приказали бы тамъ работать. Работай и плати подать... поняла? Воть тебв и очистка, и очень даже выгодно... Потому что необитаемый островъ никакого дохода не дасть, ежели не засадить его людьми. А казнъ-доходъ первое діло, значить, морить людей да хоронить ихъ на свой счеть ей не рука... Поняда? И опять же сту-. дентъ... озорникъ онъ, это точно, но онъ больше насчеть бунта, а чтобы людей морить... нъ-ътъ, его для такой игры не укупишь за всё мёдныя! Развё сразу не видно, что онъ къ этому дълу не можетъ быть способенъ? Рыло у него не того калибра...

Цълый день они толковали о студенть и о всемъ, что онъ сообщиль имъ. Вспоминали звукъ его смъха, его лицо, нашли, что у него на кителъ не хватало одной пуговицы, и едва не разругались изъ-за вопроса: "на какой сторонъ груди"? Матрена упорно утверждала, что на правой, ея мужъ говорилъ — на лъвой и уже дважды кръпко ругнулъ ее, но во-время вспомнивъ, что, наливая водку въ чашку, жена не подняла дно бутылки кверху, онъ уступилъ ей. Потомъ ръшили съ завтрашняго дня заняться введеніемъ у себя чистоты и снова, овъянные чъмъ-то свъжимъ, продолжали бесъдовать о студентъ.

— Нъть, какой въдь хлюсты—восхищался Григорій.
—Пришель—точно десять лъть знакомы... Обнюхаль все, разъясниль и... больше ничего! Ни крика, ни шума, хотя въдь и онъ начальство тоже... Ахъ, раздуй его

горой! Понимаешь, Матрена, туть, брать, есть о насъ забота. Сразу видно... Желають насъ сохранить въ цѣлости, а не то что, что другое... Это все ерунда, насчеть мора... бабьи сказки... Животь, говорить, какъ дѣйствуеть?... А ежели моръ, такъ на кой ему чорть дѣйствіе моего живота знать? А какъ онъ ловко разъяснилъ насчеть этихъ... какъ ихъ? дьяволовъ-то, которые заползають въ кишки, ну?

- Какъ-то вродъ небылицы, усмъхнулась Матрена. Чай, это такъ только, для страха, чтобы насчеть чистоты старался больше народъ...
- Ну, тамъ кто ихъ знаетъ, можетъ и правда... отъ сырости черви въдь заводятся же. Ахъ, ты чорть! Какъ-ихъ, этихъ козяковъ? Совсъмъ не небылицы, а... помню въдь какъ!... На языкъ вертится слово, а не поймаю...

Они и когда спать легли, такъ все еще говорили о событіи дня съ тъмъ же наивнымъ воодушевленіемъ, съ какимъ дъти дълятся между собой впервые пережитымъ и сильно поразившимъ ихъ впечатлъніемъ. Такъ они и заснули среди разговора.

Поутру рано ихъ разбудили. У кровати ихъ стояла дородная стряпка маляровъ, и ея всегда красное, полное лицо противъ обыкновенія было съро и вытянуто.

- Что вы проклажаетесь? торопливо говорила она, какъ-то особенно шлепая красными и толстыми губами. Холера-то въдь на дворъ у насъ... Посътилъ Господь! и она вдругъ заплакала.
 - Ахъ, ты... врешь? воскликнулъ Григорій.
- A я лаханку-то съ вечера не вынесла,—виновато сказала Матрена.
- Я, милые вы мои, хочу расчеть взять. Уйду я... Уйду и уйду... въ деревню, — говорила стряпка.
- Да кого забрало-то? спросилъ Григорій, поднимаясь съ постели.
- Гармониста! Его... Выпилъ, слышь, воды изъ фонтана вчера вечеромъ, въ ночь его и схватило... И схва-

гило, сударики, прямо за животь, вродъ какъ бы отъ мышьяка бываеть...

— Гармонисть... — бормоталь Григорій. Ему не върипось, чтобъ гармониста могла одольть какая-нибудь бользнь. Такой веселый, удалой парень, вчера онъ прошель по двору такимъ же павлиномъ, какъ и всегда. Пойду, взгляну, — ръшилъ Орловъ, недовърчиво усмъкаясь.

Объ женщины испуганно вскрикнули:

- Гриша, въдь зараза!
- Что ты, батюшка, куда ты?

Григорій крѣпко выругался, сунуль ноги въ опорки и растрепанный, съ разстегнутымъ воротомъ рубахи, пошель къ двери. Жена схватила его сзади за плечо, онъ чувствоваль, что рука ея дрожить, и вдругъ озлился почему-то.

— Въ морду дамъ! Прочь! — рявкнулъ онъ и ушелъ, голкнувъ жену въ грудь.

На дворѣ было тихо и пусто, и Григорій, идя къ двери гармониста, одновременно чувствоваль и ознобъ страха, и острое удовольствіе отъ того, что изъ всѣхъ обитателей дома одинъ онъ идеть къ больному гармонисту. Это удовольствіе еще болѣе усилилось, когда онъ замѣтилъ, что изъ оконъ второго этажа на него смотрять портные. Онъ даже засвисталь, ухарски тряхнувъ головой. Но у двери въ каморку гармониста его ждало маленькое разочарованіе въ образѣ Сеньки Чижика.

Пріотворивъ дверь, онъ сунулъ свой острый носъ въ образовавшуюся щель и, по своему обыкновенію, наблюдалъ, увлеченный до такой степени, что обернулся голько тогда, когда Орловъ дернулъ его за ухо.

— Вотъ такъ скрючило его, дяденька Григорій, шопотомъ заговорилъ онъ, поднявъ на Орлова свою чумазую мордочку, еще болъе обостренную переживаемымъ впечатлъніемъ. — И вродъ какъ бы разсохся онъ... какъ худая бочка... ей Богу!

Орловъ, охваченный зловоннымъ воздухомъ, стоялъ и молча слушалъ Чижика, стараясь заглянуть однимъ глазомъ въ щель непритворенной двери.

— Ежели бы воды ему дать напиться, дяденька Григорій? — предложилъ Чижикъ.

Орловъ взглянуль на лицо мальчика, возбужденное почти до нервной дрожи, и самъ почувствовалъ въ себѣ какъ бы взрывъ возбужденія.

— Ступай, тащи воды! — скомандоваль онъ Чижику и, смъло распахнувъ дверь, остановился на порогъ нъсколько подавшись назадъ.

Сквозь туманъ въ глазахъ Григорій видълъ Кислякова: — гармонисть въ своемъ парадномъ костюмъ лежалъ грудью на столъ, кръпко вцъпившись въ него руками, и его ноги въ лакированныхъ сапогахъ вяло двигались по мокрому полу.

— Кто это? — спросилъ онъ сипло и апатично, точно голосъ его слинялъ, потерялъ всъ тона.

Григорій оправился и, осторожно шагая по полу, пошель къ нему, стараясь говорить бодро и даже шутливо.

— Я, брать, Митрій Павловъ... А ты что это... переложиль что ли вчера? — онъ внимательно, съ боязнью и любопытствомъ разсматривалъ Кислякова и не узнаваль его.

Лицо у гармониста все обострилось, скулы торчали двумя ръзкими углами, глаза глубоко ввалились и, окруженные зеленоватыми пятнами, были страшно неподвижны и мутны. Кожа на щекахъ была такого цвъта, какою она бываеть у покойниковъ въ жаркое лътнее время. Это было совсъмъ мертвое, страшное лицо, и только медленное движеніе челюстей доказывало, что оно еще живо. Неподвижные глаза Кислякова долго смотръли въ лицо Григорія, и этотъ ихъ мертвый взглядъ наводилъ на него ужасъ. Зачъмъ-то ощупывая свои

бока руками, Орловъ стояль шагахъ въ трехъ отъ больного и чувствовалъ, что его точно кто-то схватилъ за горло сырой и холодной рукой, схватилъ и медленно душитъ. И ему захотълось скоръе уйти изъ этой комнатки, прежде такой свътлой и уютной, а теперь пропитанной какимъ-то удушающимъ запахомъ гнили и страннымъ холодомъ.

- Ну... началъ было онъ, приготовляясь отступать. Но сърое лицо гармониста странно задвигалось, губы, покрытыя чернымъ налетомъ, раскрылись, и онъ сказаль своимъ беззвучнымъ голосомъ:
 - Это... я... умираю...

Глубокое равнодушіе, неизъяснимая апатія трехъего словъ отдались въ головъ и груди Орлова, какъ три тупыхъ удара. Съ безсмысленной гримасой на лицъ, онъ повернулся къ двери, но навстръчу ему влетълъ Чижикъ, съ ведромъвъ рукъ, запыхавшійся и весь въ поту.

— Вота... изъ колодца отъ Спиридонова... не давали, черти...

Онъ поставилъ ведро на полъ, бросился куда-то въ уголъ, снова явился и, подавая стаканъ Орлову, продолжалъ тараторить:

— У васъ, говорять, холера... Я говорю, ну, такъ что? И у васъ будетъ... теперь ужъ она пойдеть чесать, какъ въ слободкъ... Дыкъ онъ меня какъ ахнетъ по башкъ!...

Орловъ взялъ стаканъ, зачерпнулъ изъ ведра воды и однимъ глоткомъ выпилъ ее. Въ ушахъ его звучали мертвыя слова:

— Это... я... умираю...

А Чижикъ выюномъ вертълся около него, чувствуя себя какъ нельзя болъе въ своей сферъ.

...Дайте пить... — сказалъ гармонистъ, двигаясь по нолу вмъстъ со столомъ.

Чижикъ подскочилъ къ нему и подпесъ къ чернымъ

губамъ его стаканъ воды. Григорій, прислонясь къ стѣнѣ у двери, точно сквозь сонъ слушаль, какъ больной громко втягиваль въ себя воду; потомъ услыхаль предложеніе Чижика раздѣть Кислякова и уложить его въ постель, потомъ раздался голосъ стряпки маляровъ. Ея широкое лицо, съ выраженіемъ страха и соболѣзнованія, смотрѣло со двора въ окно, и она говорила плаксивымъ тономъ:

— Дать бы ему сажи голландской съ ромомъ: на стаканъ чайный—сажи двъ ложки хлебальныхъ, да рому до краевъ.

А кто-то невидимый предложиль деревяннаго масла съ огуречнымъ разсоломъ и съ царской водкой.

Орловъ вдругъ почувствовалъ, что тяжелая, гнетущая тьма внутри его освъщается какимъ-то воспоминаніемъ. Онъ кръпко потеръ себъ лобъ, какъ бы желая усилить яркость этого свъта, и вдругъ быстро вышелъ вонъ, перебъжалъ дворъ и исчезъ на улицъ.

— Батюшки! И сапожника схватило! Въ больницу побъжалъ,—крикливо-плачущимъ голосомъ комментировала стряпка его бъгство.

Матрена, стоявшая рядомъ съ ней, посмотръла широко открытыми глазами и, поблъднъвъ, вся затряслась.

— Врешь ты, — хрипло скарала она, едва двигая бълыми губами, — Григорій этой поганой бользнью не захвораеть... не поддастся...

Но стряпка, горестно воя, уже исчезла куда-то, и черезъ пять минуть на улицъ около дома купца Петунникова глухо гудъла кучка сосъдей и прохожихъ. На всъхъ лицахъ чередовались одни и тъ же чувства: возбужденіе, смънявшееся безнадежнымъ уныніемъ, и чтото элое, уступавшее иногда мъсто дъланной удали. Со двора къ толпъ и обратно то и дъло леталъ Чижикъ, сверкая босыми ногами и сообщая ходъ событій въ комнатъ гармониста.

Публика, тесно сбившись въ кучу, наполняла пыль-

ный и пахучій воздухь улицы глухимь гуломь своего говора, а иногда сквозь него вырывалось крыпкое ругательство по чьему-то адресу, ругательство такое же злое, какь и безсмысленное.

— Смотрите... Орловъ-то!

Орловъ подъвхаль къ воротамъ на козлахъ бълой холщевой фуры, которой правилъ угрюмый человъкъ, весь одътый въ бъломъ же. Этотъ человъкъ рявкнулъ глухимъ басомъ:

— Пошель съ дороги!

И повхаль прямо на людей, шарахнувшихся во всв, стороны отъ его окрика.

Видъ этой фуры и окрикъ ея возницы какъ бы придавилъ повышенное настроеніе зрителей — всѣ какъ-то сразу потемнъли и многіе быстро ушли.

Вслъдъ за фурой явился откуда-то студенть, посъщавшій Орловыхъ. Фуражка у него съъхала на затылокъ, по лбу струился крупный поть, на немъ была надъта какая-то длинная мантія ослъпительной бълизны и спереди на ея подолъ красовалась большая, круглая дыра съ рыжими краями, очевидно, только что прожженая чъмъ-то.

— Ну, Орловъ, гдъ больной? — громко спрашиваль онъ, искоса посматривая на публику, собравшуюся въ уголкъ у воротъ и встрътившую его появленіе весьма недоброжедательно, хотя не безъ любопытства слъдившую за нимъ.

Кто-то громко сказалъ:

— Ишь ты... какой поваръ!

Другой голось тише и съ зловъщимъ оттънкомъ пообъщалъ:

— Погоди, онъ-те угостить!

Нашелся, какъ всегда, въ толпъ шутникъ.

— Онъ тебъ дастъ такой супъ, что у тебя сразу лопнетъ пупъ!

Раздался смъхъ, но не веселый, затемненный бояз-

ливымъ подозрѣніемъ, не живой, хотя лица прояснились нѣсколько.

— Въдь воть сами-то они не боятся заразы... это какъ понимать?—многозначительно спросиль человъкъ съ напряженнымъ лицомъ и взглядомъ, полнымъ сосредоточенной злобы.

И подъ вліяніемъ этого вопроса, лица публики снова потемнъли, а говоръ сталъ глуше...

- Несуть!
- Орловъ-то! Ахъ, собака!
- Не боится?
- Ему что? Онъ пьяница...
- Осторожнъй, осторожнъй, Орловъ! Поднимайте выше ноги... такъ! Готово! Поъзжай, Петръ!—командовалъ студентъ. Я скоро прівду, скажи доктору. Ну-съ, господинъ Орловъ, я прошу васъ помочь мнъ уничтожить здъсь заразу... Кстати, на случай, вы выучитесь, какъ-это дълать... Согласны? Ну-те?
- Могу, сказаль Орловъ, оглядываясь вокругъ и чувствуя въ себъ приливъ гордости.
 - И я тоже могу, заявиль Чижикъ.

Онъ проводилъ печальную фуру за ворота и вернулся какъ разъ во-время для того, чтобы предложить свои услуги. Студентъ черезъ очки посмотрълъ на него.

- Ты кто такой есть, а?
- Изъ маляровъ... въ ученикахъ...—объяснилъ Чижикъ.
 - А холеры боишься?
 - Я?—удивился Сенька.—Вота! Я... ничего не боюсь!
- Н-ну? Ловко! Такъ вотъ что, братцы. Студентъ присълъ на бочку, лежавшую на землъ, и, покачиваясь на ней, сталъ говорить о необходимости для Орлова и Чижика хорошенько вымыться.

Они образовали группу, къ нимъ скоро подошла Матрена, боязливо улыбаясь. За ней кухарка, вытиравшая мокрые глаза сальнымъ передникомъ. Черезъ

нъкоторое время осторожно, какъ кошки къ воробьямъ, къ этой группъ подошло еще нъсколько человъкъ изъ публики. Около студента собрался тъсный кружокъ человъкъ въ десять, и это воодушевило его. Стоя въ центръ этихъ людей и быстро жестикулируя, онъ, то вызывая улыбки на лицахъ, то сосредоточенное вниманіе, то острое недовъріе и скептическіе смъшки, началъ нъчто вродъ лекціи.

- Главное дѣло во всѣхъ болѣзняхъ—чистота тѣла и воздуха, которымъ вы дышите, господа,—увѣрялъ онъ своихъ слушателей...
- О, Господи!—громко вадыхала стряпка маляровъ.— Отъ нечаянной смерти Варваръ великомученицъ надо молиться...
- Господа и въ тълъ, и въ воздухъ живутъ, но, однако, тоже помираютъ,—заявилъ одинъ изъ слушателей.

Орловъ стоялъ рядомъ со своей женой и смотрълъ въ лицо студента, о чемъ-то глубоко думая. Сбоку его цернули за рубаху.

- Дяденька Григорій! поднявшись на цыпочки, шепнулъ Сенька Чижикъ, сверкая горящими, какъ угольки, глазами, теперь вотъ помретъ Митрій-то Павловичъ, родныхъ у него нъту... кому же гармоника достанется?
 - Отстань, чертенокъ!-отмахнулся Орловъ.

Сенька отошель въ сторону и уставился въ окно комнатки гармониста, ища въ ней чего-то жаднымъ взглядомъ.

— Известка, деготь, -- громко перечисляль студенть.

Вечеромъ этого безпокойнаго дня, когда Орловы съли пить чай, Матрена съ любопытствомъ спросила у мужа:

— Ты давеча куда ходиль со студентомъ-то?

Григорій посмотр'вль ей въ лицо глазами, чвить-то затуманенными, точно чужими, и, не отв'вчая, сталъвыливать чай изъ стакана на блюдечко.

Около полудня, кончивъ мытье комнаты гармониста, Григорій уходилъ куда-то съ санитаромъ, воротился часа въ три задумчивый и молчаливый, легъ на постель и воть вплоть до чая лежалъ кверху лицомъ, не вымолвивъ за все это время ни слова, хотя жена много разъ пыталась вызвать его на разговоръ. Онъ даже не обругалъ за приставанье, а это уже было странно, непривычно ей и возбуждало ее.

Инстинктомъ женщины, вся жизнь которой сосредоточилась на мужъ, она подозръвала уже, что мужа ея охватило чъмъ-то новымъ, ей было боязно чего-то и тъмъ болъе страстно хотълось знать, что это.

— Тебъ, можеть, нездоровится, Гриша?

Григорій слиль съ блюдца въ роть послѣдній глотокъ чая, вытерь рукой усы, не спѣша подвинуль женѣ пустой стаканъ и, нахмуривъ брови, заговорилъ:

- Ходиль я со студентомъ въ баракъ... да...
- Въ холерный?—воскликнула Матрена и тревожно, понизивъ голосъ, спросила:—много тамъ ихъ?
 - Пятьдесять три человъка съ нашимъ-то...
 - Hy?
- Съ десятокъ поправляются... Ходять... Желтне, худне...
- Тоже холерные? Чай, нътъ?... Другихъ какихънибудь сунули туда для оправданія: воть-де, смотрите, вылъчиваемъ мы!
- Ты дура!—ръшительно сказалъ Григорій и зло блеснуль глазами.—Всъ вы тутъ дубьё! Необразованность и глупость—больше ничего! Подохнешь съ вами отъ тоски при вашемъ невъжествъ... Ничего вы не можете понимать,—онъ ръзко подвинулъ къ себъ вновь налитый стаканъ чаю и замолчалъ.
- Гдъ это ты образовался такъ?—ехидно спросила Матрена и вздохнула.

Мужъ, не обративъ на ея слова никакого вниманія, молчалъ, задумчивый и неприступно суровый. Потухавшій самоварь тянуль пискливую мелодію, полную раздражающей скуки, вь окна со двора въяло запахомъ масляной краски, карболки и обезпокоенной помойной ямы. Полусумракь, пискъ самовара и запахи—все въ комнать плотно сливалось одно съ другимъ, образуя вокругь Орловыхъ обстановку, похожую на кошмаръ, а черное жерло печи смотръло на супруговъ такъ, точно чувствовало себя призваннымъ проглотить ихъ при удобномъ случаъ. Долго тянулось молчаніе. Супруги грызли сахаръ, стучали посудой, глотали чай. Матрена вздыхала, Григорій стукалъ пальцемъ по столу.

— Чистота тамъ невиданная! -- вдругъ съ раздраженіемъ заговориль онъ.—Всь служащіе до последняговъ бъломъ. Хворые то и дъло въ ванны лъзутъ... Виномъ ихъ поятъ... шесть съ полтиной бутылка! Кушанья... съ одного запаха сыть будешь... Уходъ, забота... Обращеніе со всъми — материнское... и все прочее... Н-да... Извольте понять: живешь на землю, ни одинъ чорть даже и плонуть на тебя не хочеть, не то что зайти иногда и спросить-что и какъ, и вообще... какая жизнь, т.-е. по душъ она или по душу человъку? Есть чъмъ дышать ему или нъту? А какъ начнешь умирать — не только не позволяють, но даже въ изъянъ вводять себя. Бараки... вино... шесть съ полтиной бутылка! Неужто нъть у людей догадки? Въдь бараки и вино большушихъ денегъ стоять. Развъ эти самыя деньги нельзя на улучшеніе жизни употреблять... каждый годъ по нъскольку?

Жена не старалась понять его ръчей, достаточно было чувствовать, что онъ новы, и безошибочно уже выводить отсюда, что и у Григорія въ душть творится что-то новое для нея. Увъренная въ этомъ, она скоръе котъла узнать, какъ все это коснется ея. Въ этомъ желаніи была и боязнь, и надежда, и что-то враждебное къ мужу.

— Тамъ, чай, ужъ побольше твоего знають,—сказала она, когда онъ кончилъ, и скептически поджала губы.

Григорій повель илечомъ, крякнулъ, искоса взглянулъ на нее, потомъ, помолчавъ, началъ въ тонъ, еще болъе повышенномъ:

— Знають, не знають—это ихъ дъло. Но ежели миъ, не видавъ никакой жизни, помирать приходится, объ этомъ я могу разсуждать. Я тебъ воть что скажу: такого порядка я больше не хочу, т.-е. сидъть да дожидаться, когда придеть холера, да меня, какъ гармониста, скрючить, -- я не согласень. Не могу! Петръ Ивановичъ говоритъ: вали навстръчу! Судьба противъ тебя, а ты противъ нея, - чья возьметь? Война! Больше никакихъ... Значить, что теперь? А поступаю я служителемъ въ баракъ-и все туть! Поняла? Прямо въ пасть влъзу-глотай, а я буду ногами дрыгать!... Меньше я тамъ не заработаю... 20 рублей въ мъсяцъ жалованья, да еще награду могуть дать... Можно умереть?... это такъ, но здъсь еще скоръе здохнешь. Опять же перемъна жизни...—и возбужденный Орловъ стукнуль кулакомъ по столу такъ, что вся посуда съ дребезгомъ подпрыгнула.

Матрена въ началъ ръчи смотръла на мужа съ выраженіемъ безпокойства и любопытства, а въконецъ ея уже враждебно прищурила глаза.

- Это студентъ тебъ насовътовалъ? сдержанно спросила она.
- У меня и свой умъ есть... могу разсудить,—почему-то уклонился Григорій оть прямого отвъта.
- Ну, а какъ же со мной раздълаться посовътоваль онъ тебъ?—продолжала Матрена.
- Съ тобой?—Григорій нъсколько смутился—онъ не успъль еще обсудить этого вопроса. Оно, конечно, можно бабу оставить на квартиръ, какъ вообще это дълается, но бабы бывають разныя. Матрену—опасно. За ней нуженъ глазъ да глазъ. Остановившись на этой мысли, Орловъ хмуро продолжалъ:—Студенть... что же

Digitized by Google

съ тобой? Будешь тугь жить... а я буду жалованье получать... н-да...

— Такъ, — кратко и спокойно сказала женщина и усмъхнулась той многозначущей, чисто-женской улыб-кой, которая сразу можетъ вызвать у мужчины колющія сердце мысли ревности.

Орловъ, нервозный и чуткій, ощутиль это, но изъ самолюбія, не желая выдавать себя, кратко бросилъ женъ:

— Квакъ да хрюкъ—всѣ твои рѣчи... — и насторожился, ожидая, что еще скажеть она.

А она снова улыбнулась этой раздражающей улыб-кой и промолчала.

- Ну, такъ какъ же?—спросилъ Григорій повышеннымъ тономъ.
- Что, какъ же?—произнесла Матрена, равнодушно вытирая чашки.
- Ехидна! Не финти... пришибу! вскипълъ Орловъ.—Я, можеть, насмерть иду.
- Не я тебя посылаю... не ходи... перебила Матрена.
- Ты бы рада и послать, я знаю!—иронически воскликнуль Орловъ.

Она молчала. Это молчаніе бъсило его, но онъ сдержался отъ привычнаго ему выраженія чувствь, вызываемых въ немъ подобными сценами. Онъ сдержался подъ вліяніемъ одной преехидной, какъ ему казалось, мысли, мелькнувшей у него въ головъ. Онъ даже улыбнулся злорадной улыбкой.

— Я знаю, тебъ хочется, чтобы я провадился хоть въ тартарары. Ну, еще посмотримъ, чья возьметь... да! Я тоже могу сдълать такой ходъ — ахъ ты мнъ!

Онъ вскочилъ изъ-за стола, схватилъ съ окна свой картузъ и ушелъ, оставивъ жену неудовлетворенной ея политикой, смущенной угрозами, съ возрастающимъ въ ней чувствомъ страха предъ будущимъ. Глядя въ окно, она шептала про-себя:

— О Господи! Царица Небеская! Пресвятая Богородица!

Осаждаемая массой тревожныхъ вопросовъ, она долго сидъла за столомъ, интаясь предположить, что сдълаетъ Григорій. Предъ ней стояла вымытая посуда; на капитальную стъну сосъдняго дома противъ оконъ комнаты заходящее солнце бросило красноватое пятно; отраженное бълой стъной, оно проникло въ комнату, и край стеклянной сахарницы, стоявшей предъ Матреной, блестълъ. Она, наморщивъ лобъ, смотръла на этотъ слабый отблескъ, пока не утомились глаза. Тогда, вставъ со стула, она убрала посуду и легла на кровать.

Тошно ей было.

Григорій пришель, когда уже было совсьмъ темно. Еще по его шагамъ на лъстницъ она опредълила, что онъ въ духъ. Онъ выругалъ тьму въ комнатъ, окликнувъ жену, подошелъ къ кровати и сълъ на нее. Жена поднялась и съла съ нимъ рядомъ.

- Знаешь что?—усмъхаясь спросилъ Орловъ.
- -- Hy?
- И ты пойдешь на мъсто!
- Куда?—дрогнувшимъ голосомъ спросила она.
- Въ одинъ баракъ со мной! торжественно объявилъ Орловъ.

Она обняла его за шею и, крѣпко сжавъ руками, поцѣловала прямо въ губы. Онъ не того ждалъ и оттолкнулъ ее. Она это притворяется... ей, шельмѣ, совсѣмъ не хочется вмѣстѣ-то съ нимъ. Притворяется, ехидна, за дурака считаетъ мужа...

- Чему рада? грубо и подозрительно спросиль онь, чувствуя желаніе сбросить ее на поль.
 - Такъ ужъ! бойко отвътила она.
 - Финти! Знаю я тебя!
 - Ерусланъ ты мой храбрый!
 - Брось, моль... а то смотри!
 - Гришаня ты мой!

— Да ты что въ самомъ дълъ?

Когда ея ласки укротили его нъсколько, онъ озабоченно спросилъ ее:

- А ты не боишься?
- Чай, вмъстъ будемъ, просто отвътила она.

Ему пріятно было слышать это. Онъ сказаль ей:

- Молодчина!

И въ то же время такъ ущипнулъ ее за бокъ, что она взвизгнула.

Первый день дежурства Орловыхъ совпалъ съ очень сильнымъ наплывомъ больныхъ, и двумъ новичкамъ, привыкшимъ къ своей медленно двигавшейся жизни, было жутко и тъсно среди кипучей дъятельности, охватившей ихъ. Неловкіе, непонимавшіе приказаній, подавленные впечатлѣніями, они сразу же растерялись, и хотя то и дъло бъгали куда-то, пытаясь работать, но не столько работали, сколько мъшали другимъ. Григорій нъсколько разъ всъмъ существомъ своимъ чувствоваль, что заслуживаеть строгаго окрика или выговора за свое неумънье, но, къ великому его изумленію, на него не кричали.

Когда одинъ изъ докторовъ, высокій черноусый человѣкъ, съ горбатымъ носомъ и большущей бородавкой надъ правой бровью, велѣлъ Григорію помочь одному изъ больныхъ сѣсть въ ванну, Григорій съ такимъ усердіемъ цапнулъ больного подъ мышки, что тотъ даже крякнулъ и сморщился.

— А ты, голубчикъ, не ломай его, онъ и цъликомъ въ ванну уберется...—серьезно сказалъ докторъ.

Орловъ сконфузился; больной же, сухой и длинный верзила, усмъхнулся черезъ силу и хрипло сказалъ:

— Съ нови... Непривыченъ.

Другой докторъ, старикъ, съ острой съдой бородой и блестящими большими глазами, сказалъ Орловымъ,

когда они пришли въ баракъ, наставленіе, какъ обращаться съ больными, что дѣлать въ томъ и другомъ случаѣ, какъ брать больныхъ, перенося ихъ; въ заключеніе спросилъ ихъ, были ли они вчера въ банѣ, и выдалъ имъ бѣлые передники. Голосъ у этого доктора былъ мягкій, говорилъ онъ быстро; онъ очень понравился четѣ супруговъ, но черезъ полчаса они забыли всѣ его наставленія, охваченные бурной жизнью барака. Вокругъ нихъ мелькали люди въ бѣломъ, раздавались приказанія, подхватываемыя прислугой на-лету, хрипѣли, охали и стонали больные, текла и плескалась вода, и всѣ эти звуки плавали въ воздухѣ, до того густо насыщенномъ острыми, непріятно щекочущими ноздри запахами, что, казалось, каждое слово доктора, каждый вздохъ больного тоже пахнуть, раздирая носъ...

Сначала Орлову казалось, что туть царить самый безшабашный хаось, въ которомъ ему ни за что не найти себъ мъста, и что онъ задохнется, оглохнеть, заболъеть... Но прошло нъсколько часовъ, и Григорій, охваченный въяніемъ повсюду разсъиваемой энергіи, насторожился и проникся сильнымъ желаніемъ скоръе приспособиться къ дълу, чувствуя, что ему будетъ покойнъе и легче, если онъ завертится вмъстъ со всъми.

- Сулемы!-кричаль одинь докторъ.
- Горячей воды еще въ эту ванну! командовалъ худенькій студентикъ съ красными опухшими въками.
- Вы... какъ васъ? Орловъ... да! трите-ка ему ноги... Вотъ такъ... понимаете... Та-акъ, та-акъ... Легче,—сдерете кожу... Ой, усталъ я...—приказывалъ и показывалъ Григорію другой студенть, длинноволосый и рябой.
 - Еще больного привезли!—раздавалось сообщеніе.
 - Орловъ, идите, тащите его.

Григорій усердствоваль — весь потный, ошеломленный, съ мутными глазами и съ тяжелымъ туманомъ въ головъ. Порой чувство личнаго бытія въ немъ совершенно исчезало подъ давленіемъ массы впечатлъній,

переживаемых имъ въ каждую минуту. Зеленыя пятна подъ мутными глазами на землистыхъ лицахъ, кости, точно обостренныя болъзнью, липкая, пахучая кожа, страшныя судороги едва живыхъ тълъ— все это сжимало ему сердце тоской и вызывало у него тошноту, отъ которой онъ едва сдерживался.

Нъсколько разъ въ коридоръ барака онъ мелькомъ видълъ жену; она похудъла и лицо у нея было сърое и растерянное. Онъ охрипшимъ голосомъ успълъ даже спросить ее:

— Ну, что?

Она слабо улыбнулась въ отвътъ ему и молча исчезла.

Григорія кольнула совершенно непривычная ему мысль: а пожалуй, онъ напрасно втиснуль сюда, въ такую пакостную работу, свою бабу. Захвораеть она еще отъ заразы... И встрътивъ ее другой разъ, онъ строго крикнуль ей:

- Смотри, чаще руки-то мой... берегись!
- A то что будеть? задорно спросила она, оскаливъ свои мелкіе бълые зубы.

Это разозлило его. Вотъ нашла мъсто смъшкамъ, дура! И до чего онъ подлы, эти бабы! Но сказать ей онъ ничего не успълъ; поймавъ его сердитый взглядъ, Матрена быстро ушла въ женское отдъленіе.

А онъ черезъ минуту уже несъ знакомаго полицейскаго въ мертвецкую. Полицейскій тихо покачивался на носилкахъ, уставившись въ ясное и жаркое небо стеклянными глазами изъ-подъ искривленныхъ въкъ. Григорій смотрълъ на него съ тупымъ ужасомъ въ сердцъ: третьягодня онъ этого полицейскаго видълъ на посту и даже ругнулъ его, проходя мимо—у нихъ были маленькіе счеты между собой. А теперь вотъ этотъ человъкъ, такой здоровякъ и злючка, лежитъ мертвый, весь обезображенный, скорченный судорогами.

Орловъ чувствовалъ, что это нехорошо, - зачъмъ и

на свъть родиться, если можно въ одинъ день отъ такой поганой бользии умереть? Онъ смотрълъ сверху внизъ на полицейскаго и жалълъ его. Куда дънутся ребята?... цълыхъ трое. Покойникъ годъ назадъ схороронилъ жену и не успълъ еще жениться во второй разъ.

Даже больно ему было гдв-то внутри отъ этой жалости. Но вдругъ согнутая лввая рука трупа медленно пошевелидась и выпрямилась. Въ то же время и лввая сторона искривленнаго рта, раньше полуоткрытая, закрылась.

— Стой! — захрипълъ Орловъ, ставя носилки на землю. —Живъ! — шопотомъ заявилъ онъ служителю, который несъ съ нимъ трупъ.

Тотъ обернулся, пристально взглянуль на покойника и съ сердцемъ сказалъ Орлову:

- Чего врешь? Али не понимаешь, что это онъ для гроба расправляется? Видишь, какъ его изломало?... не такъ же въ гробъ-то лечь. Айда, неси!
- Да, въдь, шевелится... тренеща отъ ужаса, протестоваль Орловъ.
- Неси, знай, чудакъ человъкъ! Что ты словъ не понимаешь? Говорю: выправляется, ну, значить, шевелится. Эта необразованность твоя, смотри, до гръха тебя можеть довести... Живъ! Развъ можно про мертвый трупъ говорить такія ръчи? Это, брать, бунть... н-да! Понимаешь? Молчи, значить, никому ни слова насчеть того, что они шевелятся, они всъ такъ. А то свинья—борову, а боровъ всему городу, ну и бунтъ вышелъ—живыхъ хоронять! Придетъ сюда народъ и разнесеть насъ вдребезги. И тебъ будетъ на калачи. Понялъ? Сваливай налъво.

Спокойный голосъ Пронина и его неторопливая походка дъйствовали на Григорія отрезвляюще.

— Ты, брать, только духомъ не падай—привыкнешь. Здёсь хорошо. Харчъ, обращение и всякое другое — все въ аккурать. Всъ, брать, мертвецами будемъ; это самое

обыкновенное дѣло въ жизни. А пока что, живо знай, не робъй только — главная причина! Водку пьешь?

- Пью, сказалъ Орловъ.
- Ну воть. Вонъ туть въ ямкъ у меня бутылочка есть на всякій случай, айда-ка, проглотимъ нъсколько.

Они подошли къ ямкъ за угломъ барака, выпили, и Пронинъ, наливъ на сахаръ мятныхъ капель, подалъ его Орлову со словами:

- Ъшь, а то пахнуть водкой будешь. Здъсь насчеть водки строго. Потому, вредно пить ее, говорять.
 - А ты привыкъ туть? спросиль у него Григорій.
- Еще бы! Я спервоначалу. При мий туть народу перемерло сотни, прямо сказать. Житье здёсь безпокойное, но хорошее житье, ежели говорить правду. Божье дёло. Вродё какъ на войнё санитары... ты про санитаровъ и сестеръ милосердія слыхаль? Я въ турецкую кампанію насмотрёлся на нихъ. Подъ Ардаганомъ, подъ Карсомъ былъ. Ну а это, брать, чище насъ, солдать, люди. Мы воюемъ, ружье у насъ есть, пули, штыкъ; а они безо всего подъ пулями, какъ въ зеленомъ саду, гуляютъ. Нашъ, турка берутъ и тащать на перевязочный. А вокругъ нихъ—ж-жи! ті-ю! фить! Иногда ему, бъдному, санитару-то, въ затылокъ—чикъ! и готово!...

Послъ этого разговора и здороваго глотка водки Орловъ нъсколько пріободрился.

- Взялся за гужъ, такъ не бай, что не дюжъ, усовъщивалъ онъ себя, растирая ноги больного. За его спиной кто-то жалобно стонущимъ голосомъ просилъ:
 - Пи-ить! Ой, голу-убчики-и!

А кто-то гоготалъ:

- Ого-го-го! Погорячъй!... Го-го-сподинъ докторъ, помогаетъ! Вотъ вамъ Христосъ,—чувствую! Разръшите еще подлить кипяточку!
 - Дайте-ка вина! кричалъ докторъ Ващенко. Орловъ работалъ, внимательно вслушиваясь въ про-

исходящее вокругъ него, и находилъ, что, въ сущности, все это совствить ужъ не такъ погано и страшно, какъ казалось ему недавно, и что тутъ не хаосъ, а правильно дъйствуетъ большая и разумная сила. Но, вспоминая о полицейскомъ, онъ все-таки вздрагивалъ и искоса посматривалъ въ окно барака на дворъ. Онъ върилъ, что полицейскій мертвъ, но все-таки было что-то неустойчивое въ этой въръ. А вдругъ выскочитъ и крикнетъ? И ему вспомнилось, что, кажется, кто-то разсказывалъ: однажды гдъ-то холерные мертвецы выскочили изъ гробовъ и разбъжались.

Бъгая по бараку, то растирая, то сажая въ ванну больныхъ, Орловъ чувствовалъ, что въ головъ у него точно каша кипитъ. Онъ вспоминалъ о женъ: каково-то ей тамъ? Иногда къ этому примъшивалось мимолетное желаніе улучить минутку и посмотръть на Матрену. Но вслъдъ за этимъ Орловъ какъ бы конфузился своего желанія и восклицалъ про-себя:

— "Повертись-ка воть этакъ-то, толстомясая! Не бойсь, подсохнешь... Лишишься своихъ намъреніевъ..."

Онъ всегда подозръвалъ, что у жены его имъются въ душъ намъренія очень оскорбительныя для него, какъ мужа, а иногда, восходя въ своихъ подозрѣніяхъ до нъкотораго объективизма, даже признавалъ, что эти намфренія имфють основаніе. Жизнь-то у нея тоже желтенькая, и оть такой жизни всякая дрянь въголову пользеть. Этоть объективизмъ обыкновенно перерождаль на время его подозрвнія въ уверенность. Потомъ онъ спрашивалъ себя: а зачъмъ ему надо было лъзть изъ своего подвала въ этотъ котелъ кипящій?--и недоумъвалъ. Но всъ эти думы вращались гдъ-то глубоко въ немъ, онъ были какъ бы отгорожены отъ прямого вліянія на его работу томъ напряженнымъ вниманіемъ, съ которымъ опъ относился къ дъйствіямъ врачебнаго персонала. Опъ пикогда не видалъ, чтобъ въ какомъ-нибудь трудъ люди убивались такъ, какъ

они убиваются туть, и не разъ подумаль, глядя на утомленныя лица докторовъ и студентовъ, что всё эти люди—воистину не даромъ деньги получають!

Смънившись съ дежурства, едва держась на ногахъ, Орловъ вышелъ на дворъ барака и прилегъ у стъны его подъ окномъ аптеки. Въ головъ у него шумъло, подъ ложечкой сосало и ноги болъли ноющей болью усталости. Ему ни о чемъ уже не думалось и ничего не хотълось, онъ просто вытянулся на дернъ, посмотрълъ въ небо, гдъ стояли пышныя облака, богато украшенныя лучами заката, и уснулъ, какъ убитый.

Приснилось ему, что будто бы онъ съ женой въ гостяхъ у доктора Ващенко въ громадной комнать, уставленной по ствнамъ вънскими стульями. На стульяхъ сидять всъ больные изъ барака. Докторъ съ Матреной ходять "русскую" среди зала, а онъ самъ играетъ на гармоникъ и хохочетъ, потому что длинныя ноги доктора совсъмъ не гнутся, и докторъ, важный и надутый, ходитъ по залу за Матреной—точно цапля по болоту. И всъ больные тоже хохочутъ, раскачиваясь на стульяхъ.

Вдругъ въ дверяхъ является полицейскій.

— Ага!—мрачно и грозно кричить онъ.—Ты, Гришка, думаль, что я совсёмь умерь? На гармоник играешь, а меня въ мертвецкую стащиль! Ну-ка, пойдемь со мной! Вставай!

Охваченный дрожью, облитый потомъ, Орловъ быстро поднялся и сълъ на землъ. Противъ него сидълъ на корточкахъ докторъ Ващенко и укоризненно говорилъ ему:

— Какой же ты, друже, санитаръ, если спишь на земль, да еще и брюхомъ на нее легъ, а? А ну ты простудишь себъ брюхо,—сляжешь, въдь, на койку, да еще чего добраго и помрешь... Это, друже, не годится,—для спанья у тебя есть мъсто въ баракъ. Что жъ тебъ не сказали про это? Да ты и потный, и знобитъ тебя. Ну-ка, иди, я тебъ кое-чего дамъ.

- Я съ устатка, пробормоталъ Орловъ.
- Тъмъ хуже. Надо беречь себя—время опасное, а ты человъкъ нужный.

Орловъ молча прошелъ за докторомъ по коридору барака, молча выпилъ какое-то лъкарство изъ одной рюмки, выпилъ еще изъ другой, сморщился и плюнулъ.

— Ну, а теперь иди, спи себъ... До свиданья!—и докторъ началъ переставлять по полу коридора свои длинныя тонкія ноги.

Орловъ посмотрълъ ему вслъдъ и вдругъ, широко улыбнувшись, побъжалъ за нимъ.

- Покорно благодарю, докторъ!
- За что?—остановился тоть.
- За работу. Теперь я буду стараться для вась во всю силу! Потому пріятно мнѣ ваше безпокойство... и... что я нужный человѣкъ... и вообще пок-корнѣйше благодаренъ!

Докторъ пристально и съ удивленіемъ смотрълъ на ваволнованное какой-то радостью лицо барачнаго служителя и тоже улыбнулся.

— Чудачина ты! А, впрочемъ, ничего, — это все славно у тебя выходитъ... искренно. Валяй, старайся во всю; это не для меня будетъ, а для больныхъ. Надо намъ человъка отъ болъвни отбить, вырвать его изъ ея лапъ—понимаешь? Ну, вотъ и давай стараться во всю силу побъдить болъзнь. А пока—спи, иди!

Вскор'в Орловъ лежалъ на койк'в и засыпалъ съ пріятнымъ ощущеніемъ ласкающей теплоты въ живот'в. Ему было радостно и онъ былъ гордъ своимъ, такимъ простымъ разговоромъ съ докторомъ.

А заснуль онъ съ сожалъніемъ о томъ, что жена не слыхала этого разговора. Разсказать ей завтра... Не повърить, чай, чортова перечница.

[—] Чай пить иди, Гриша, — разбудила его поутру жена. Онъ приподнялъ голову и посмотрълъ на нее. Она

улыбалась ему. Гладко причесанная, въ своемъ бълом ь балахонъ она была такая чистенькая, свъжая.

Ему было пріятно видіть ее такой и въ то же время онъ подумаль, что відь и другіе мужчины въ бараків ее вилять такой же.

- Т.-е. это какой же чай пить? У меня свой чай есть;—куда мит идти?—хмуро сказаль онь.
- А ты иди со мной попей, предложила она, глядя на него ласкающими глазами.

Григорій отвель свои глаза въ сторону и кратко сказаль, что придеть.

Она ушла, а онъ снова легъ на койку и задумался. "Ишь ты какая! Чай пить зоветь, ласковая... Похудъла, однакоже, за день-то". Ему стало жалко ея и захотълось сдълать для нея что-нибудь пріятное. Купить къ чаю чего-нибудь сладкаго, что ли? Но, умываясь, онъ уже отбросиль эту мысль,—зачъмъ бабу баловать? Живеть и такъ!

Чай пили въ маленькой свътлой каморкъ съ двумя окнами, выходившими въ поле, все залитое золотистымъ сіяніемъ утренняго солнца. На дернъ, подъ окнами, еще блестьла роса, вдали на горизонтъ въ туманно-розоватой дымкъ утра стояли деревья почтоваго тракта. Небо было чисто и съ поля въяло въ окна запахомъ сырой травы и земли.

Столъ стоялъ въ простънкъ между оконъ и за нимъ сидъло трое: Григорій и Матрена съ товаркой—пожилой, высокой и худой женщиной съ рябымъ лицомъ и добрыми сърыми глазами. Звали ее Фелицата Егоровна, она была дъвицей, дочерью коллежскаго асессора, и не могла пить чай на водъ изъ больничнаго куба, а всегда кипятила самоваръ свой собственный. Объявивъ все это Орлову надорваннымъ голосомъ, она гостепріимно предложила ему състь подъ окномъ и дышать вволю "настоящимъ небеснымъ воздухомъ", а затъмъ куда-то исчезла.

- Что, ты устала вчера?—спросилъ Орловъ у жены.
- Просто страсть какъ!—живо отвътила Матрева.— Ногъ подъ собой не слышу, головонька кружится, словъ не понимаю, того и гляди, пластомъ лягу. Еле-еле до смъны дотянула... Все молилась, помоги Господи, думаю.
 - А боишься?
 - Больныхъ-то?
 - Больные что же.
- Покойниковъ—боюсь. Ты знаешь...—она наклонилась къ мужу и со страхомъ шепнула ему:—они послъ смерти шевелятся... ей Богу!
- Это я ви-идалъ! скептически усмъхнулся Григорій.—Мнъ вчера Назаровъ полицейскій и послъ смерти своей чуть-чуть плюху не влъпилъ. Несу я его въ мертвецкую, а онъ ка-акъ размахнется лъвой рукой... я едва уберегся... вотъ какъ!—Онъ привралъ немного, но это вышло какъ-то само собой, помимо его желанія.

Очень ужъ ему нравилось это чаепите въ свътлой и чистой комнатъ съ окнами въ безграничный просторъ зеленаго поля и голубого неба. И еще что-то ему нравилось—не то жена, не то онъ самъ. Въ концъ концовъ ему хотълось показать себя съ самой лучшей стороны, быть героемъ наступающаго дня.

— Примусь я туть работать—даже небу жарко станеть, воть какъ! Потому есть причина у меня на это. Во-первыхь, люди здъсь, я тебъ скажу,—не существующіе на землъ!

Онъ разсказалъ свой разговоръ съ докторомъ, и такъ какъ онъ опять незамътно для себя нъсколько нафантазировалъ—это обстоятельство еще болъе усилило его настроеніе.

— Во-вторыхъ, работа сама. Это, братъ, великое дъло, вродъ войны, напримъръ. Холера и люди — кто кого? Тутъ умъ требуется и чтобы все было въ аккуратъ. Что такое холера? Это надо понять, и сейчасъ валяй ее тъмъ, что она не терпитъ! Мнъ докторъ Ващенко гово-

рить: ты, говорить, Орловь, человъкъ въ этомъ дѣлѣ нужный. Не робъй, говорить, и гони ее изъ ногъ въ брюхо больного, а тамъ, говорить, я ее кисленькимъ и прищемлю. Туть ей и конецъ, а человъкъ-то ожилъ и весь въкъ насъ съ тобой благодарить должонъ, потому кто его у смерти отнялъ? Мы!—И Орловъ гордо выпятилъ грудь, глядя на жену возбужденными глазами.

Она задумчиво улыбалась ему въ лицо, онъ былъ красивъ и очень походилъ теперь на того Гришу, какимъ она видъла его когда-то давно, еще до свадьбы.

- У насъ въ отдъленіи тоже всъ такія работящія и добрыя. Докторша то-олстая, въ очкахъ, а потомъ фельдшерицы. Хорошіе люди, говорять съ тобой таково просто и все у нихъ понимаешь.
- Такъ ты, значить, ничего, довольна?—спросилъ Григорій, нъсколько остывъ оть возбужденія.
- Я-то? Господи! Ты посуди: я получаю 12 руб. да ты 20... въдь 32 рублявъ мъсяцъ! На готовомъ на всемъ! Это, ежели до зимы хворать будутъ люди, сколько мы накопимъ?... А тамъ, Богъ дастъ, и поднимемся изъ подвала-то...
- Н-да, это тоже важная статья...—задумчиво сказаль Орловъ и, помолчавъ, воскликнулъ съ паеосомъ надежды, ударивъ жену по плечу:—Эхъ, Матренка, али намъ солнце не улыбнется? Не робъй, знай!

Она вся вагорълась.

- Только бы ты стерпълъ...
- A про это—молчокъ! По кожъ—шило, по жизни рыло... Иная жизнь, иное и поведенье мое будеть.
- Господи, кабы это случилось!—глубоко вздохнула женщина.
 - Ну, и пыпъ!
 - Гришенька!

Они разстались съ какими-то новыми чувствами другъ къ другу, воодушевленные надеждами, готовые работать до изнеможенія, бодрые и веселые.

Прошло дня три-четыре и Орловъ ужъ заслужилъ нъсколько лестныхъ отзывовъ о себъ, какъ о смътливомъ и расторонномъ маломъ, и, вмъсть съ этимъ, замътилъ, что Пронинъ и другіе служители въ баракъ стали относиться къ нему съ завистью и желаніемъ насолить. Онъ насторожился, и въ немъ тоже возникла злоба противъ толсторожаго Пронина, съ которымъ онъ непрочь быль вести дружбу и беседовать "по душе". Въ то же время ему дълалось какъ-то горько при видъ явнаго желанія товарищей по работь нанести ему какойлибо вредъ. - Эхъ злидари! - восклицалъ онъ про-себя и тихонько поскрипываль зубами, стараясь не упустить удобнаго случая заплатить врагамъ "за лычко ремешкомъ". И невольно мысль его останавливалась на женъ:-съ той можно говорить про все, она его успъхамъ завидовать не будеть и, какъ Пронинъ, карболкой сапогъ ему не сожжеть.

Всѣ дни работы были такіе же бурные и кипучіе, какъ первый, но Григорій уже не такъ уставаль, ибо тратилъ свою энергію съ каждымъ днемъ болве сознательно. Онъ научился распознавать запахи лъкарствъ и, выдъливъ изъ нихъ запахъ сърнаго эфира, потихоньку, когда удавалось, съ наслажденіемъ нюхалъ его, замътивъ, что вдыханіе эфира дъйствуетъ почти такъ же пріятно, какъ добрая рюмка водки. Съ полуслова понимая приказанія медицинскаго персонала, всегда добрый и разговорчивый, умъвшій развлекать больныхъ, онъ все болъе и болъе нравился докторамъ и студентамъ, и вотъ, подъ вліяніемъ совокупности всёхъ впечатлъній новой формы бытія, у него образовалось странное, повышенное настроеніе. Онъ чувствоваль себя человъкомъ особыхъ свойствъ. И въ немъ забилось желаніе сдълать что-то такое, что обратило бы на него вниманіе всъхъ, всъхъ поразило бы и заставило убъдиться въ его правъ на самочувствіе, такъ поднявшее его въ своихъ глазахъ. Это было своеобразное честолюбіе человъка, который вдругъ созналъ себя таковымъ и, какъ бы еще неувъренный въ этомъ новомъ для него фактъ, хотълъ подтвердить его чъмъ-либо для себя и другихъ; это было честолюбіе, постепенно перерождавшееся въ жажду безкорыстнаго подвига.

Изъ такого побужденія Орловъ совершаль разныя рискованныя вещи, вродѣ того, что единолично, не ожидая помощи товарищей и надрываясь, тащиль коренастаго больного съ койки въ ванну, ухаживаль за самыми грязными больными, относился съ какимъ-то ухарствомъ къ возможности зараженія, а къ мертвымъ—съ простотой, порою переходившей въ цинизмъ. Но все это не удовлетворяло его; ему хотѣлось чего-то болѣе крупнаго, это желаніе все разгоралось въ немъ, мучило его и, наконецъ, доводило до тоски. Тогда онъ изливалъ душу женѣ, потому что больше было некому.

Однажды вечеромъ, смънившись съ дежурства, попивъ чаю, супруги вышли въ поле. Баракъ стоялъ далеко за городомъ, среди длинной, зеленой равнины, съ одной стороны ограниченной темной полосой лъса, съ другой-линіей городскихъ зданій; на съверъ поле уходило вдаль и тамъ, зеленое, сливалось съ мутноголубымъ горизонтомъ; на югъ его обръзывалъ крутой обрывъ къ ръкъ, а по обрыву шелъ трактъ и стояли на равномъ разстояніи другь отъ друга старыя, вътвистыя деревья. Заходило солнце, и кресты городскихъ церквей, возвышаясь надъ темной зеленью садовъ, пылали въ небъ, отражая снопы золотыхъ лучей, и на стеклахъ оконъ крайнихъ домовъ города тоже отражалось красное пламя заката. Гдъ-то играла музыка; изъ оврага, густо-поросшаго ельникомъ, въяло смолистымъ запахомъ; лъсъ тоже разстилаль въ воздухъ свой сложный, сочный аромать; легкія душистыя волны теплаго вътра ласково плыли къ городу, и въ полъ, пустынномъ и широкомъ, было такъ славно, тихо и сладко-печально.

Орловы шли по травъ и молчали, съ удовольствіемъ вдыхая чистый воздухъ вмъсто барачныхъ запаховъ.

— Гдъ это музыка играеть, въ городъ или въ лагеряхъ?—тихонько спросила Матрена у задумавшагося мужа.

Она не любила видъть его думающимъ — онъ казался чужимъ ей и далекимъ отъ нея въ эти минуты. Послъднее время имъ и такъ мало приходится бывать вмъстъ, и тъмъ болье она дорожила этими моментами.

- Музыка? переспросилъ Григорій, точно освобождаясь отъ дремы. А чортъ съ ней, съ этой музыкой! Ты бы послушала, какая въ душъ у меня музыка... вотъ это такъ!
- A что? тревожно взглянувъ ему въ глаза, спросила она.
- А я не знаю что... Значить, и разсказать не могу тебъ... да и могь бы, такъ развъ ты поймещь? Горить у меня душа... Хочется ей простора... чтобы могь я развернуться во всю мою силу... Эхма! силу я въ себъ чувствую—необоримую! То-есть, если бъ эта, напримъръ, холера да преобразилась въ человъка... въ богатыря... хоть въ самого Илью Муромца,—сцъпился бы я съ ней! Иди на смертный бой! Ты сила и я, Гришка Орловъ, сила,—ну, кто кого? И придушилъ бы я ее и самъ бы легъ... Кресть надо мной въ полъ и надпись: "Григорій Андреевъ Орловъ... Освободилъ Россію отъ холеры". Больше ничего не надо...

Онъ говорилъ, и лицо его горъло, а глаза сверкали.

- Силачъ ты мой! ласково шепнула Матрена прижимаясь къ нему бокомъ.
 - Понимаешь... на сто ножей бросился бы я... но чтобы съ пользой! Чтобъ отъ этого облегчение вышло жизни. Потому, вижу я людей: докторъ Ващенко, студенть Хохряковъ—работають они, даже удивление! Имъ бы давно надо умереть съ устатка... Изъ-за денегъ думаешь? Изъ-за денегъ такъ работать нельзя! У доктора—

слава-те Господи! — есть-таки кое-что и еще немножко... А старикъ захворалъ прошлый разъ, такъ Ващенко за него четверо сутокъ отбарабанилъ, даже домой не съъздилъ за все время... Деньги тутъ не при чемъ; тутъ жалость причина. Жалко имъ людей — ну, и не жалъютъ себя... ради кого, спроси? Ради всякаго... Ради Мишки Усова... Мишкъ мъсто въ каторгъ, потому всякій знаетъ, что Мишка воръ, а можетъ, хуже... Мишку лъчатъ... И рады, когда онъ всталъ съ койки, смъются... Вотъ и я хочу эту самую радость испытать... и чтобы было много ея... задохнуться бы мнъ въ ней! Потому что смотръть на нихъ, какъ они смъются отъ своей радости, — заноза мнъ. Взною весь и загорюсь. Хочу!... А какъ? Эхъ ты... чортъ!

Орловъ безнадежно махнулъ рукой и снова глубоко задумался.

Матрена молчала, но сердце у нея билось тревожно—ее пугало это возбуждение мужа, и въ словахъего она ясно чувствовала великую страсть его желанія, непонятнаго ей, потому что она и не пыталась понять его. Ей быль дорогь и нужень мужь, а не герой.

Они подошли къ краю оврага и съли рядомъ другъ съ другомъ... Снизу на нихъ смотръли кудрявыя вершины молоденькихъ березокъ, на днъ оврага уже лежала синеватая мгла, оттуда несло сыростью, гніющими листьями, хвоей. Порой вдоль оврага тихо проносился вътеръ, вътки березъ колыхались, колыхались и маленькія ели,—весь оврагъ наполнялся трепетнымъ, боязливымъ шопотомъ, казалось, кто-то, нъжно-любимый и оберегаемый деревьями, заснулъ въ оврагъ подъ ихъ сънью, и они чуть-чуть перешептываются о немъ, боясь разбудить его. А въ городъ вспыхивали огни и на темномъ фонъ его садовъ они выдълялись, какъ красноватые цвъты. И въ небъ зажигались звъзды. Орловы сидъли молча, — онъ задумчиво барабанилъ пальцами

по своему колъну, она поглядывала на него и тихонько вздыхала.

И вдругъ, охвативъ его за шею руками, она положила на грудь ему свою голову и шопотомъ заговорила:

- Голубчикъ ты мой, Гришенька! Милый ты мой! Какой ты опять хорошій ко мив сталъ, удалой ты мой! Въдь будто тогда... послів свадьбы... живемъ мы съ тобой... ни слова обиднаго ты мив не скажешь, разговоры все со мной говоришь, душу открываешь... не зыкаешь на меня.
- А ты соскучилась объ этомъ? Я инъ поколочу, если хочень, ласково пошутилъ Григорій, ощущая въ душъ приливъ нъжности и жалости къ женъ.

Онъ сталъ рукой тихо гладить ей голову, и ему нравилась эта ласка,—она была такая отеческая—ласка взрослаго ребенка. Матрена въ самомъ дълъ похожа была на ребенка: она взобралась уже къ нему на колъни и сжалась у него на груди въ маленькій мягкій и теплый комокъ.

— Милый ты мой!—шептала она.

Онъ глубоко вздохнулъ и на языкъ ему сами собою потекли новыя для него и жены его слова.

— Эхъ ты, кошечка бѣдная! Ласковая... видишь, какъ-никакъ, а нѣтъ друга ближе мужа. А ты все въ сторону норовишь... Вѣдь ежели я иной разъ обижалъ тебя— отъ тоски это, Мотря. Жили въ ямѣ... Свѣту не видѣли, людей почти не знали. Выбрался изъ ямы и прозрѣлъ, вродѣ какъ слѣпой былъ насчетъ жизни. И понимаю теперь, что жена, какъ-никакъ, первый въ жизни другъ. Потому люди змѣи и гады, ежели правду сказать... Все язву желаютъ другому нанести... Къ примѣру — Пронинъ, Васюковъ... Э, ну ихъ къ... Молчокъ, Мотря! Выправимся, не робѣй... Выйдемъ въ люди и заживемъ съ понятіемъ... Ну? Чего ты, дуреха ты моя?

Она плакала сладкими слезами счастія и на вопросъ его отвътила поцълуями.

— Единственная ты моя!—шепталь онь и тоже цъловаль ее.

Оба они стирали поцълуями слезы другъ друга и оба чувствовали ихъ солоноватый вкусъ. И долго еще говорилъ Орловъ новыми для него словами.

Уже совствить стемитьло. Небо, пышно расцвъченное безчисленными роями звъздъ, смотрто на землю съ торжественной грустью, а въ полт было тихо, точно въ небъ.

У нихъ вошло въ привычку пить чай вмъстъ. На другое утро, послъ разговора въ полъ, Орловъ явился въ комнату жены чъмъ-то сконфуженный и хмурый. Фелицата захворала, Матрена была одна въ комнатъ и встрътила мужа съ сіяющимъ лицомъ, но тотчасъ же потемнъла и тревожно спросила у него:

- Что ты такой? Нездоровится?
- Нътъ, ничего, сухо отвътилъ онъ, садясь на стулъ и подвигая къ себъ уже налитый чай.
 - А что же? добивалась Матрена.
- Не спалось. Все думаль... Раскудахтались мы съ тобой вчера, смякли... и мий теперь стыдно себя... Ни къ чему все это. Ваша сестра въ такихъ разахъ норовить человика въ руки взять... н-да... Только ты про это не мечтай—не удастся... Меня ты не обойдешь, и я теби не поддамся... Такъ и знай!

Онъ сказалъ все это очень внушительно, но на жену не смотрълъ. Матрена все время не отводила глазъ отъ его лица, и губы его странно искривились.

— Что же, ты каешься въ томъ, что вчера такимъ мнъ близкимъ былъ? — тихо спросила она. — Каешься. что цъловалъ да ласкалъ меня? Это что ли? Обидно мнъ это слышать... очень горько, рвешь ты мнъ сердце

такими ръчами. Чего тебъ надо? Скучно тебъ со мной... не люба я тебъ, или что?

Она смотръла на него подозрительно, и въ тонъ ея звучали и горечь, и вызовъ мужу.

- Н-нътъ...—смущенно сказалъ Григорій, —я вообще... Жили мы съ тобой въ ямъ... знаешь сама, что за жизнь! Даже вспоминать тошно. И вотъ теперь поднялись... и боязно чего-то. Все такъ скоро перемънилось... И я самъ себъ, какъ чужой, и ты другая будто бы. Это что такое? И что за этимъ будеть?
- Что Богъ дасть, Гриша!—серьезно сказала Матрена.—Ты только не кайся въ томъ, что хорошъ вчера былъ.
- Ладно, брось...—все такъ же смущенно и вздыхая остановилъ ее Григорій. — Я, видишь ли, думаю, что все-таки ничего не выйдеть у насъ. И прежняя жизнь наша не цвътиста, и теперешняя мнъ не по-душъ. И хоть не пью я, не дерусь съ тобой, не ругаюсь...

Матрена судорожно засмъялась.

- Некогда тебъ теперь заниматься-то всъмъ этимъ.
- Напиться я всегда бы нашелъ время, улыбнулся Орловъ. Не тянетъ... вогъ диво! А потомъ мнъ вообще какъ-то... не то совъстно чего-то, не то боязно... онъ тряхнулъ головой и задумался.
- Господь тебя знаеть, что съ тобой, —тяжело вздохнувь, сказала Матрена. —Житье хорошее, хоть работы и много; всё доктора тебя любять, самъ ты въ аккурать. себя держишь... ужъ я не знаю что? Безпокойный ты очень.
- Это върно, безпокойный... Воть я думаль ночью: Петръ Ивановичь говорить: вст люди равны другъ другу, а я развъ не человъкъ, какъ всъ? Но, однако, докторъ Ващенко получше меня, и Петръ Ивановичъ получше, и многіе другіе... Значить, они мнт не равны... и я имъ неровня, я это чувствую. Они вылъчили Мишку Усова и рады... А я этого не понимаю. И вообще

чему радоваться, коли человъкъ выздоровълъ? Жизнь у него хуже холерной судороги, ежели говорить по правдъ. Они понимають это, но рады... И я тоже хотълъ бы порадоваться, какъ они, а не могу... Потому что—чему же радоваться опять-таки?

- А они жальють людей, возразила Матрена, охъ какъ жальють! У насъ тоже... начнеть поправляться больная, такъ, Господи, что дълается! А которая бъдная идеть на выписку, такъ ей и совътовъ, и денегъ, и лъкарствъ надаютъ... Даже слеза меня прошибаеть... добрые люди, жалостливые!
 - Вотъ и ты говоришь—слеза... А меня удивленіе береть... Больше ничего.—Орловъ повелъ плечами и потеръ себъ голову, недоумъвающе поглядъвъ на жену.

У нея откуда-то явилось красноръчіе, и она съ усердіемъ начала доказывать мужу, что люди вполнъ достойны жалости. Наклонясь къ нему и глядя въ лицо его ласкающими глазами, она долго говорила ему про людей и тяжесть жизни, а онъ смотрълъ на нее и думалъ:

"Ишь, какъ говорить! Откуда у нея слова?"

— Въдь и самъ ты жалостливый—говоришь, удушилъ бы холеру, ежели бы сила. А для чего? Кому она помъха? Людямъ, а не тебъ: тебъ отъ того, что она явилась, даже лучше жить стало.

Орловъ вдругъ расхохотался.

— А, въдь, върно! И впрямь лучше! Ахъ ты, дуй ее горой! Люди мруть, а мнъ отъ этого жить лучше, а?... Вотъ такъ жизнь! Тьфу!

Онъ всталъ и смъясь ушелъ на дежурство. Когда онъ шелъ по коридору, у него вдругъ явилось сожалъніе о томъ, что, кромъ него, никто не слышалъ ръчей Матрены. "Ловко говорила! Баба, баба, а тоже понимаетъ кое-что". И охваченный какимъ-то пріятнымъ чувствомъ, онъ вошелъ въ свое отдъленіе навстръчу хрипамъ и стонамъ больныхъ.

Съ каждымъ днемъ міръ его чувствъ все болье расширялся и вмъстъ съ этимъ росла потребность говорить. Разсказать цъликомъ все то, что въ немъ творится, онъ не могъ, конечно, ибо большая часть его ощущеній и думъ была неуловима для него. Въ немъразгоралась обидная зависть, почему онъ не можетърадоваться за людей.

Вслъдъ за этимъ въ немъ вспыхивало желаніе совершить какой-нибудь подвигь и поразить имъ всёхъ. Онъ чувствоваль, что его положение въ баракъ ставить его какъ-то между людей: доктора и студенты выше его, служители ниже,-что же такое онъ самъ? И его охватывало одиночество; тогда ему казалось, что судьба играеть съ нимъ, сдула его съ мъста и носить въ воздухъ, какъ перо. Ему становилось жалко себя, и онъ шелъ къ женъ. Иногда онъ не хотълъ этого, считая, что откровенность съ ней унижаеть его въ ея глазахъ, и все-таки шелъ. Приходилъ угрюмый и настроенный то влобно, то скептически, уходилъ же почти всегда обласканный и спокойный. У его жены оказались свои слова, ихъ мало было, они были просты, но въ нихъ всегда было много чувства, и съ удивленіемъ онъ замъчалъ, что Матрена занимаетъ въ его жизни все болъе мъста, все чаще ему приходится думать о ней и говорить съ ней "по душъ".

Она, въ свою очередь, хорошо понимала это и всячески старалась расширить свое возрастающее значеніе въ его жизни. Трудовая и бойкая жизнь въ баракъ сильно приподняла ее самооцънку,—это случилось незамътно для Матрены. Она не думала, не разсуждала, но, вспоминая свою прежнюю жизнь въ подвалъ, вътъсномъ кругу заботъ о мужъ и хозяйствъ, она невольно сравнивала прошлое съ настоящимъ, и мрачныя картины подвальнаго существованія постепенно отходили все далъе и далъе отъ нея. Барачное начальство полюбило ее за смътливость и умънье работать, всъ

относились къ ней ласково, въ ней видъли человъка, и это было ново для нея, оживляло ее...

Однажды, во время ночного дежурства, толстая докторша начала разспрашивать ее объ ея жизни, и Матрена, охотно и открыто разсказывая ей про свою жизнь, вдругь замолчала, улыбаясь.

- Ты что смъешься? спросила докторша...
- Да такъ... очень ужъ плохо жила я... и въдь, повърите ли, милая моя барыня,—не понимала я этого... вотъ до сего часу не понимала, какъ плохо.

Послѣ этого смотра прошлому въ душѣ Орловой родилось странное чувство къ мужу, она все такъ же любила его, какъ и раньше — слѣпой любовью самки, но ей стало казаться, какъ будто Григорій должникъ ея. Порой она, говоря съ нимъ, принимала тонъ покровительственный, ибо онъ часто возбуждалъ въ ней жалость своими безпокойными рѣчами. Но все-таки иногда ее охватывало сомнѣніе въ возможности тихой и мирной жизни съ мужемъ, хотя вообще она уже вѣрила, что Григорій остепенится и погаснетъ въ немъ его тоска.

Роковымъ образомъ они должны были сблизиться другъ съ другомъ и — оба молодые, трудоспособные, сильные—они зажили бы сърой жизнью полусытой бъдности, кулацкой жизнью, всецъло поглощенной погоней за грошомъ, но отъ этого конца ихъ спасло то, что Гришка называлъ своимъ "безпокойствомъ въ сердцъ" и что, по существу своему, не могло помириться съ буднями.

Утромъ хмураго сентябрьскаго дня на дворъ барака вътхала фура, и Пронинъ вынулъ изъ нея маленькаго мальчика, перепачканнаго красками, костляваго, желтаго, едва дышавшаго.

[—] Опять изъ дома Петунникова, съ Мокрой улицы, —сообщилъ возница на вопросъ, откуда больной.

[—] Чижикъ!—огорченно вскричалъ Орловъ,—ахъ ты Господи! Сенька! Чижъ! Ты меня узнаешь?

- У... узналь...—съ усиліемъ сказалъ Чижикъ, лежа на носилкахъ и медленно заводя глаза подъ лобъ, чтобы видъть Орлова, который шелъ у него въ головахъ и склонился налъ нимъ.
- Ахъ ты... веселая птица! Какъ же это ты сбрендилъ? спрашивалъ Орловъ. Онъ былъ какъ-то странно встревоженъ видомъ этого мальчугана, измученнаго болъзнью. Мальчишку-то за что? воплотилъ онъ въ одинъ вопросъ свои ощущенія и печально качнулъ головой.

Чижикъ молчалъ и пожимался.

- Холодно,—сказалъ онъ, когда его положили на койку и стали снимать съ него прокрашенные всъми красками лохмотья.
- А вотъ мы тебя сейчасъ въ горячую воду пустимъ...—объщалъ Орловъ.—И вылъчимъ.

Чижикъ потрясъ головенкой и зашепталъ:

— Не вылѣчишь... Дяденька Григорій... наклониська... ухомъ. Гармонику-то я стащилъ... Она въ дровяникъ... Третья годня въ первый разъ тронулъ послъ того, какъ укралъ. А-ахъ какая! Спряталъ ее... а тутъ и брюхо заболъло... Вотъ... Значитъ, за гръхъ это... Она подъ лъстницей на стънкъ виситъ... и дровами я ее заложилъ... Вотъ... Ты, дяденька Григорій, отдай ее... У гармониста сестра есть... Спрашивала... От-да-ай!... Онъ застоналъ и началъ корчиться въ судорогахъ.

Съ нимъ сдълали все, что могли, но истощенное, худое тъльце не кръпко держало въ себъ жизнь, и вечеромъ Орловъ несъ его на носилкахъ въ мертвецкую. Несъ и чувствовалъ себя такъ, точно его обидъли.

Въ мертвецкой Орловъ попробовалъ расправить тѣло Чижика, но ему не удалось. Орловъ ушелъ убитый, хмурый, унося съ собой образъ изувъченнаго страшною болъзнью веселаго мальчика.

Его охватило разслабляющее сознаніе своего безсилія передъ смертью и непониманіе ея. Сколько онъ

хлопоталь около Чижика, какъ ревностно трудились надъ нимъ доктора... умеръ мальчикъ! Это обидно... Вотъ и его, Орлова, схватить однажды и скрючить... И кончено. Ему стало страшно и, рядомъ съ этимъ чувствомъ, его охватило одиночество. Поговорить бы съ умнымъ человъкомъ насчетъ всего этого. Онъ неразъ пробовалъ завести общирный разговоръ съ къмълибо изъ студентовъ, но никто не имълъ времени для философіи, и попытки Григорія тоже не имъли успъха. Приходилось идти къ женъ и говорить съ ней. И онъ пошелъ къ ней, хмурый и печальный.

Она только что смънилась съ дежурства и мылась въ углу комнаты, но самоваръ уже стоялъ на столъ и наполнялъ воздухъ паромъ и пипъніемъ.

Григорій молча сѣлъ на стулъ и сталъ смотрѣть на голыя, круглыя плечи жены. Самоваръ бурлилъ, плескалась вода, Матрена фыркала, по коридору взадъ и впередъ быстро бѣгали служителя, и Григорій по походкѣ старался опредѣлить, кто идетъ.

Вдругъ ему представилось, что плечи Матрены такъ же холодны и покрыты такимъ же липкимъ потомъ, какъ у Чижика, когда тотъ корчился въ судорогахъ на больничной койкъ. Онъ вздрогнулъ и глухо сказалъ:

- Умеръ Сенька-то...
- Умеръ!? Царство небесное новопреставленному отроку Семену!—молитвенно сказала Матрена и вслъдъ затъмъ начала свиръпо плеваться—мыло попало ей въротъ.
 - Жалко мив его, вздохнуль Григорій.
 - Озорникъ больно былъ.
- Умеръ и шабашъ! Не твое теперь дѣло, каковъ онъ былъ... А что умеръ это жалко. Бойкій былъ, шустрый... Гармонику... Гмъ! Ловкій мальченка... Я иной разъ смотрѣлъ на него и думалъ: взять его къ себѣ вродѣ какъ въ ученики... Сирота онъ... привыкъ бы и сталъ замѣсто сына намъ... Потому—нѣтъ вотъ у

насъ дѣтей-то... Нѣтъ... Здоровенная ты такая, а не родишь... Родила одинъ разъ, да и кончено. Эхъ ты! Были бы у насъ пискуны этакіе, глядишь, не такъ скучно жилось бы намъ... А то вотъ живи, работай... А для чего? Для пропитанія своего, да твоего... А куда мы... куда намъ пропитаніе? Чтобы работать... Колесо безсмысленное и выходить... А ежели были бы дѣти—другой разговорецъ. Н-да...

Онъ говорилъ это, низко опустивъ голову, тономъ грусти и недовольства. Матрена стояла передъ нимъ и слушала, постепенно блъднъя.

- Я здоровый, ты здоровая, а дътей нъть... Что такое? Почему? Н-да... Думаешь, думаешь этакъ-то и... запьешь!
- Врешь!—твердо и громко сказала Матрена.—Врешь ты! Не смъй ты мнъ этихъ подлыхъ твоихъ словъ говорить... слышишь? Не смъй! Пьешь ты такъ себъ, изъ баловства, потому что сдержать себя не можешь, а бездътство мое не при чемъ тутъ; врешь, Гришка!

Григорій быль ошеломлень. Онъ откинулся на спинку стула, взглянуль на жену и не узналь ея. Никогда раньше онъ не видаль ея такою разъяренной, никогда не смотръла она на него такими безжалостно-злыми глазами и не говорила съ такой силой въ словахъ.

- Ну, ну?! вызывающе произнесъ Григорій, вцъпившись руками въ сидънье стула.—Ну-ка, говори еще!
- И скажу! Не сказала бы, но укора твоего такого не могу снести! Не рожу я тебъ? И не буду! Не могу ужъ... Не рожу!...—рыданіе послышалось въ ея крикъ.
 - Не ори, предупредилъ ее мужъ.
- Почему не рожу, а? Ну-ка вспомни, Гриша, сколько ты меня биль? Сколько пинковъ въ бока мнт насыпаль?... сосчитай-ка! Какъ ты мучилъ, истязалъ меня? Знаешь ли ты, сколько крови изъ меня лилось послъ мучительства твоего? По шею рубаха-то въ крови бывала! Вотъ почему не рожу, мужъ милый! Какъ же ты

можешь упреки мив двлать за это, а? Какъ же харв твоей не совъстно смотръть-то на меня?... Въдь убивецъ ты! Понимаешь ли — убивецъ! Убивалъ ты, самъ убивалъ двтокъ-то своихъ! а теперь меня упрекаешь за то, что не рожу... Все я отъ тебя сносила, все я тебъ прощала,—этакихъ словъ вовъки не прощу! Умирать буду — вспомню! Неужто ты не понимаешь, что самъ виновать, что извелъ ты меня? Неужто я не какъ всъ женщины — не хочу двтей! Не хочу, думаешь!? А-а! Многія ночи я, не спамши, Господа Бога молила сохранить дитя въ утробъ моей отъ тебя, убивца... Вижу дитя чужое — горечью захлебываюсь отъ зависти да жалости къ себъ самой... Мнъ бы... Царица Небесная!... Семку этого... тихонько ласкала... Что я? Господи! Безплодная...

Она стала задыхаться. Слова прыгали изъ ея рта безъ смысла и безъ связи.

Лицо у нея было все въ иятнахъ, она дрожала и царапала себъ шею, потому что въ горлъ ея клокотали рыданія. Кръпко держась за стулъ, Григорій, блъдный и подавленный, сидълъ противъ нея и широко раскрытыми глазами смотрълъ на эту чужую ему женщину. И боялся ея... боялся, что она вцъпится ему въ горло и задушить его. Именно это объщали ему ея страшные, горящіе злобой глаза. Она была теперь вдвое сильнъе его, онъ это чувствовалъ и трусилъ; не могъ встать и ударить ее, какъ сдълалъ бы, если бы не понималъ, что она переродилась, точно впитала въ себя великую силу откуда-то.

- Душу ты мнѣ задѣлъ... Гришка! Великъ твой грѣхъ передо мной! Терпѣла я, молчала... люблю тебя, потому что... но не могу я попрека такого снести!... Силъ ужъ нѣтъ... Богоданный ты мой! будь ты за слова твои трижды прокл...
 - Молчать!-рявкнуль Гришка, осказивъ зубы.

— Вы, скандалисты! Забыли, гдѣ вы? Черти проклятые!

У Григорія быль тумань въ глазахъ. Не разобраль онъ, кто стоить въ двери и говорить басомъ; выругался скверными словами. оттолкнулъ человъка въ сторону и убъжалъ въ поле. А Матрена, постоявъ среди комнаты съ минуту, шатаясь и точно слъпая, протянувъ руки впередъ, подошла къ койкъ и со стономъ свалилась на нее.

Темивло и уже въ окна комнаты съ неба изъ сизыхъ, рваныхъ тучъ заглядывала любопытно золотистая луна, покрывая полъ твнями.

Вскор'в по стекламъ оконъ и ствив барака зашуршалъ мелкій частый дождь — предв'встникъ безконечныхъ, наводящихъ тоску дождей хмурой осени.

Маятникъ часовъ равномърно отбивалъ секунды, неустанно били въ стёкла капли дождя. Одинъ за другимъ шли часы и дождь все щелъ, а на койкъ неподвижно лежала женщина и смотръла воспаленными глазами въ потолокъ. Лицо у нея было мрачное, строгое, зубы кръпко стиснуты, скулы выдались и въ глазахъ свътились страхъ и тоска. А дождь все шуршалъ о стъны и стёкла; казалось, онъ настойчиво шепчетъ что-то утомительно-однообразное, хочетъ убъдить когото въ чемъ-то, но не имъетъ достаточно страсти для того, чтобы сдълать это быстро, красиво, съ силой, и надъется достичь своей цъли мучительною, безконечнодлинною, безцвътною проповъдью, въ которой нътъ искренняго павоса въры.

Дождь шель и тогда, когда небо покрылось предразсвътнымъ колоритомъ, объщающимъ ненастный день и такъ похожимъ на цвъть ножа, долго бывшаго въ употребленіи и лишеннаго блеска полировки. А Матрена все еще не могла уснуть. Въ монотонномъ шумъ дождя она слышала тоскливый и пугавшій ее вопросъ:

— Что-то теперь будеть? Что-то теперь будеть?

Онъ неотвязно звучаль за окнами и отзывался ноющей болью во всемъ существъ ея.

— Что-то теперь будеть?

Женщина боялась отвъчать себъ, хотя отвъть то и дъло вспыхиваль предъ нею въ образъ пьянаго и звърски-свиръпаго мужа. Но ей было трудно разстаться съ мечтой о спокойной, любовной жизни, она уже сжилась съ этой мечтой и гнала прочь отъ себя угрожающее предчувствіе. И въ то же время у нея мелькало сознаніе, что если это случится—запьетъ Григорій, она уже не сможеть жить съ нимъ. Она видъла его другимъ, сама стала другая и прежняя жизнь возбуждала въ ней боязнь и отвращеніе—чувства новыя, ранъе невъдомыя ей. Но она была женщина и въ концъ концовъ она стала обвинять себя за эту размолвку съ мужемъ.

— И какъ это все вышло?... О, Господи!... Точно я съ крючка сорвалась...

Въ такихъ противоръчивыхъ, мучительныхъ думахъ прошелъ еще одинъ длинный часъ. Разсвъло. Въ полъклубился тяжелый туманъ и неба не видно было сквозь его сърую мглу.

— Орлова! Дежурить...

Машинально повинуясь этому зову, брошенному въ дверь ея комнаты, она медленно поднялась съ постели, наскоро умылась и пошла въ баракъ, чувствуя себя безсильной и полубольной. Въ баракъ она вызвала общее недоумъніе вялостью своихъ движеній и угрюмымъ лицомъ съ погасшими глазами.

- Орлова! Вамъ, кажется, нездоровится? спросила ее докторша.
 - Ничего...
- Да вы скажите, не стъсняясы! Въдь можно замънить васъ...

Матренъ стало совъстно, ей не хотълось выдавать своей боли и страха предъ этимъ хорошимъ, но все-таки чужимъ ей человъкомъ. И почерпнувъ изъ глубины

своей измученной души остатокъ бодрости, она, усмъхаясь, сказала докторшъ:

- Ничего! Съ мужемъ я немножко повздорила... Пройдеть это... не въ первинку...
- Бъдная вы! вздохнула докторша, знавшая ея жизнь.

Матренъ захотълось упасть предъ ней, ткнуться головой въ ея колъни и заревъть... Но она сдержалась и только плотно сжала губы да провела рукой по горлу, какъ бы отталкивая готовое вырваться рыданіе назадъ въ грудь.

Смѣнившись съ дежурства, она вошла въ свою комнату и прежде всего посмотрѣла въ окно. По полю къ бараку двигалась фура—должно быть, везли больного. Мелкій дождь сыпался изъ сѣрыхъ тучъ. Больше ничего не было тамъ. Матрена отвернулась отъ окна и, тяжело вздохнувъ, сѣла за столъ, занятая своимъ вопросомъ.

— Что-то теперь будеть? И сердце ея билось въ тактъ этимъ словамъ...

Долго сидъла она, одинокая, въ тяжелой полудремотъ, и каждый разъ шумъ шаговъ въ коридоръ заставлялъ ее вздрагивать и, привставъ со стула, смотръть на дверь...

Но когда, наконецъ, эта дверь отворилась и вошелъ Григорій, опа не вздрогнула и не встала, ибо почувствовала себя такъ, точно осеннія тучи съ неба вдругъ опустились на нее всей своей тяжестью.

А Григорій остановился у порога, бросиль на поль свой мокрый картузь и, громко топая ногами, пошель къ женъ. Съ него текла вода. Лицо у него было красное, глаза тусклые и губы растягивались въ широкую, глупую улыбку. Онъ шелъ, и Матрена слышала, какъ въ сапогахъ его хлюпала вода. Онъ былъ жалокъ и въ этомъ видъ не представлялся ей.

— Хорошъ!-тихо сказала она.

Григорій глупо мотнулъ головой и спросилъ у нея:

— Хочешь, въ ноги поклонюсь?

Она молчала.

— Не хочешь? Ну, твое дъло... А я все думаль: виновать я предъ тобой или нъть? Выходить — виновать. Воть я и говорю: хочешь, въ н-ноги поклонюсь?

Она молчала, вдыхая запахъ водки, исходившій отъ него, и душу ея разъвдало горькое чувство.

- Ты воть что ты не кобенься! Пользуйся, пока я смирный,—повышая голось, говориль Григорій.—Ну, прощаешь?
- Пьяный ты,—сказала Матрена, вздыхая...—Иди-ка спать...
- Врешь, я не пьяный, а усталь я. Я все ходиль и думаль... Я, брать, много думаль... o! ты смотри!...

Онъ погрозилъ ей пальцемъ, криво усмъхаясь.

- Что молчишь?
- Не могу я съ тобой говорить.
- Не можешь? А почему?

Онъ вдругъ весь вспыхнулъ и голосъ у него сталъ тверже.

— Ты вчера накричала на меня туть, налаяла... ну, а я воть у тебя же прощенья прошу. Понимай!

Онъ сказалъ это очень зловъще, у него вздрагивали губы и ноздри раздувались. Матрена знала, что это значить, и предъ ней въ яркихъ образахъ воскресало прежнее: подвалъ, субботнія сраженія, тоска и духота ихъ жизни.

- Понимаю я!—ръзко сказала она. Вижу... опять ты озвъръещь теперь... эхъ ты!
- Озвъръю? Это... къ дълу не идетъ... Я говорю: простишь? Ты что думаешь? Нужно мнъ оно, твое прощенье? Превосходно обойдусь и безъ него... но, однако, хочу вотъ, чтобъ ты меня простила... Поняла?
- Уйди ты отъ меня, Григорій!— тоскливо воскликнула женщина, отвертываясь отъ него.

— Упти?—эло засмъялся Гришка.—Упти, а ты чтобы осталась на волъ? Ну, нъ-ъты! А ты это видала?

Онъ схватилъ ее за плечо, рванулъ къ себъ и поднесъ къ ея лицу ножъ — короткій, толстый и острый кусокъ ржаваго жельза.

- Н-ну?
- Эхъ, кабы ты меня заръзалъ, —глубоко вздохнувъ, сказала Матрена, и, освободясь изъ-подъ его руки, вновь отвернулась отъ него. Тогда и онъ отщатнулся отъ нея, пораженный не ея словами, а тономъ ихъ. Онъ слыхалъ изъ ея устъ эти слова, не разъ слыхалъ, но такъ—она никогда не говорила ихъ. И то, что она, не боясь ножа, отвернулась отъ него, усилило его изумленіе и растерянность. Нъсколько секундъ тому назадъ для него было бы легко ударить ее, но теперь онъ не могъ и не хотъль этого. Почти испуганный ея равнодущіемъ къ угрозъ, онъ бросилъ ножъ на столъ и съ тупой злобой спросилъ жену:
 - Дьяволъ! Чего тебъ нужно?
- Ничего мить не надо, ничего!— задыхаясь, крикнула Матрена.—А ты что? Убить пришелъ? Ну и убеп!

Григорій смотрѣлъ на нее и молчаль, не зная, что ему теперь дѣлать, и не видя ничего яснаго въ своихъ спутанныхъ чувствахъ. Онъ пришелъ съ опредѣленнымъ намѣреніемъ побѣдить жену. Вчера, во время столкновенія, она была сильнѣе его, онъ это чувствоваль и это унижало его въ своихъ глазахъ. Непремѣнно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему, онъ не понималь, зачѣмъ, но твердо зналь—нужно. Натура страстная, онъ много пережилъ и передумаль за эти сутки и—темный человѣкъ—не умѣлъ разобраться въ хаосѣ тѣхъ чувствъ, которыя возбудила въ немъ жена смѣло брошеннымъ ему правдивымъ обвиненіемъ. Онъ понималь, что это возстаніе противъ него, и принесъ съ собой ножъ, чтобъ испугать Матрену; онъ убилъ бы ее, если бъ она не такъ пассивно сопротивлялись его

желанію подчинить ее. Но воть она была предъ нимъ, беззащитная, убитая тоской и все - таки сильнъе его. Ему было обидно видъть это, и обида дъйствовала на него отрезвляюще.

— Слушай! — сказалъ онъ, — ты не фордыбачь! Ты знаешь, я въдь и въ самомъ дълъ... ахну воть тебя въ бокъ—и шабашъ! И всей исторіи будеть точка!... Очень просто...

Почувствовавъ, что онъ говорить не то, что нужно, Григорій замолчалъ. Матрена не двигалась, отвернувшись отъ него. Въ ней происходилъ лихорадочно - быстрый подсчетъ всего пережитаго съ мужемъ и бился этотъ неотвязный вопросъ:

- Что-то теперь будеть?
- `— Мотря! вдругъ тихо заговорилъ Григорій, опираясь на столъ рукой и наклонясь къ женъ. Али я виновать, что... все не тово... не въ порядкъ?... Въдь очень ужъ тошно мнъ!

Онъ покрутилъ головой и вздохнулъ.

— Такъ мит тошно! Такъ мит тъсно на земль! Въдь развъ это жизнь? Ну, скажемъ, холерные, — что они? Развъ они мит поддержка? Одни помруть, другіе выздоровъють... а я опять должонъ буду жить. Какъ жить? Не жизнь—одит судороги... развъ не обидно это? Въдь я все понимаю, только мит трудно сказать, что я не могу такъ жить... а какъ мит надо—не знаю! Ихъ, вонъ, лъчать и всякое имъ вниманіе... а я здоровый, но ежели у меня душа болить, развъ я ихъ дешевле? Ты подумай — въдь я хуже холернаго... у меня въ сердит судороги—вотъ въ чемъ гвозды!... А ты на меня кричишь!... Ты думаешь, я звърь? Пьяница—и все тутъ? Эхъ ты... баба ты! Деревянная...

Онъ говорилъ тихо и вразумительно, но она плохо слышала его ръчь, занятая строгимъ смотромъ прошлаго.

— Ты воть молчишь...—говориль Гришка, прислу-

нинваясь, какъ въ немъ растетъ что-то новое и сильное.—А что ты молчищь? Чего ты хочещь?

- Ничего я отъ тебя не хочу! воскликнула Матрена.—Что ты гвоздишь меня? Что мучишь? Чего тебъ нало?
 - Чего! А того... чтобы, стало быть...

Но туть Орловъ почувствоваль, что не можеть сказать ей, чего именно ему нужно,—такъ сказать, чтобъ все сразу было ясно и ему, и ей. Онъ поняль, что между ними образовалось что-то, чего уже не разобъещь никакими словами...

Тогда въ немъ вдругъ и ярко вспыхнула дикая злоба. Онъ съ размаха ударилъ жену кулакомъ по затылку и звъремъ зарычалъ:

- Ты что, въдьма, а? Ты что играешь? Убью, стерва Она отъ удара ткнулась лицомъ въ столъ, но тотчасъ же вскочила на ноги и, глядя въ лицо мужа взглядомъ ненависти, твердо, громко и кратко сказала:
 - Бей!
 - Цыцъ!
 - Бей! Ну?
 - Ахъ ты дьяволъ!
- Нътъ ужъ, Григорій, будеть! Не хочу я больше этого...
 - Цыцъ!
 - Не дамъ я тебъ измываться надо мной...

Онъ заскрипълъ зубами и отступилъ отъ нея на шагъ — быть можетъ, для того, чтобъ удобнъе ударить ее.

Но въ этотъ моментъ дверь отворилась и на порогъ явился докторъ Ващенко.

— Эт-то что такое? Вы гдъ, а? Вы что это тутъ разыгрываете?

Лицо у него было строгое и изумленное. Орловъ нимало не смутился при видъ его и даже поклонился ему, говоря:

— A такъ это... дезинфекція промежду мужемъ и женой...

И онъ судорожно усмъхнулся въ лицо доктору...

— Ты почему не явился на дежурство? — ръзко крикнулъ докторъ, раздраженный усмъшкой.

Гришка пожалъ плечами и спокойно объявилъ:

- Занять быль... по своимъ дъламъ...
- Такъ... да! А скандалилъ туть вчера-кто?
- Мы...
- Вы? Очень хорошо... Вы ведете себя по-домашнему... безъ спроса шляетесь...
 - Не крвпостные, потому что...
- Молчать! Кабакъ вы туть устроили... скоты! Я покажу вамъ, гдъ вы...

Приливъ дикой удали, страстнаго желанія все опрокинуть, вырваться изъ гнетущей душу путаницы горячей волной охватилъ Гришку. Ему показалось, что воть сейчасъ онъ сдълаеть что-то необыкновенное и сразу разрышить свою темную душу отъ путь, связавшихъ ее. Онъ вздрогнулъ, почувствовалъ пріятный колодокъ въ сердцв и, съ какой-то кошечьей ужимкой повернувшись къ доктору, сказалъ ему:

- Вы не безпокойте глотку, не орите... я знаю, гдъ я—въ морильнъ!
- Что-о? Какъ ты сказалъ?—нагнулся къ нему пораженный докторъ.

Гришка поняль, что сказаль дикое слово, но не охладъль отъ этого, а еще болъе распалился.

- Ничего, сойдеть! Скушаете... Матрена! Собирайся!
- Нѣть, голубчикъ, постой! Ты мнѣ отвѣть... съ зловѣщимъ спокойствіемъ произнесъ докторъ. Я тебя, мерзавецъ, за это...

Гришка въ упоръ смотрълъ на него и заговорилъ, чувствуя себя такъ, точно онъ прыгаетъ куда-то и съ каждымъ прыжкомъ ему дышится все легче.

— Вы, Андрей Степановичь, не кричите... не ругай-

тесь... Вы думаете, ежели холера, то вы и можете надемной командовать. Напрасная мечта... Что вы лъчите, такъ это даже и не нужно никому... А что я сказалъ—морилка, это, конечно, пустое слово, и я дразнился... Но вы, все-таки, не очень орите...

— Нътъ, врешь!—спокойно сказалъ докторъ... Я тебя проучу... эй, подите сюда!

Въ коридоръ уже столпились люди... Гришка прищурилъ глаза и сцъпилъ зубы...

- Я не вру и не боюсь... а коли вамъ нужно проучить меня, то я для вашего удобства и еще скажу...
 - Н-ну? Скажи...
- Я пойду въ городъ и цыкну:—Ребята! А знаете, какъ холеру лъчать?
 - Что-о?-широко раскрыль глаза докторъ.
- Такъ тогда мы туть такую дезинфекцію съ лиминаціей...
- Что ты говоришь, чорть тебя возьми! глухс вскричаль докторь. Раздраженіе уступило въ немъ мъсто изумленію предъ этимъ парнемъ, котораго онъ зналъ, какъ трудолюбиваго и неглупаго работника и который теперь, неизвъстно, зачъмъ, безтолково и нельпо лъзъ въ петлю...
 - Что ты мелешь, дуракъ?
- Дуракъ! отозвалось эхомъ во всемъ существъ Гришки. Онъ понялъ, что этотъ приговоръ справедливъ и еще болъе обидълся.
- Что я говорю! Я знаю... Мнт все равно... говорилъ онъ, дико сверкая глазами. Я такъ понимаю теперь, что нашему брату всегда все равно... и совстмъ напрасно стъсняемся мы въ нашихъ чувствахъ... Матрена, собирайся!
 - Я не пойду!-твердо заявила Матрена.

Докторъ смотрълъ на нихъ круглыми глазами и теръ себъ лобъ, ничего не понимая.

— Ты... пьяный или сумасшедшій человъкъ! понимаешь ты, что дълаешь?

Гришка не сдавался, не могъ сдаться. И въ отвътъ доктору онъ говорилъ иронически:

- А вы какъ понимаете? Вы-то что дълаете? Дезинфекцію, ха, ха! Больныхъ лъчите... а здоровые помирають отъ тъсноты жизни... Матрена! Башку разобью! Иди...
 - Я съ тобой не пойду!

Она была блъдна и неестественно неподвижна, но глаза ея смотръли въ лицо мужа твердо и колодно. Гришка, несмотря на весь свой геройскій куражъ, отвернулся отъ нея и, опустивъ голову, замолчалъ.

— Тьфу!—плюнулъ докторъ.—Самъ дьяволъ не разберетъ, что это такое... Ты! Пошелъ вонъ! Ступай и благодари, что я тебя не приструнилъ... тебя бы слъдовало подъ судъ... болванъ! Пошелъ!

Григорій молча взглянуль на доктора и опять поникъ. Ему было бы лучше, если бы его побили или хоть отправили въ полицію... Но докторъ былъ добрый человъкъ и видълъ, что Орловъ почти невмѣняемъ...

- Послъдній разъ говорю-идешь ты?—сипло спросилъ Гришка жену.
- Нътъ, не пойду, отвътила она и немножко согнулась, точно ожидая удара.

Гришка махнулъ рукой.

- Ну... чорть вась всёхъ возьми!... Да и на кой дьяволь вы нужны мнё?
 - Ты, дубина дикая, урезонивающе началь докторъ.
- Не лайтесь!--крикнуль Гришка.—Ну, шлюха проклятая,—ухожу я! Чай, не увидимся... а можеть, увидимся... это ужъ какъ я захочу! Но ежели увидимся не хорошо тебъ будеть, такъ и знай!

И Орловъ двинулся къ двери.

— Прощай... трагикъ! — сардонически сказалъ докторъ, когда Гришка поровнялся съ нимъ.

Григорій остановился и, поднявъ на доктора тоскливо сверкавшіе глаза, сдержанно и негромко заявиль:

— A вы меня не троньте... не заводите пружину сначала... развернулась она, никого не задъла... ну и ладно.

Онъ поднялъ съ пола картузъ, налъпилъ его себъ на голову, поежился и ушелъ, не взглянувъ на жену.

На нее пытливо смотрълъ докторъ. Она стояла предъ нимъ блъдная, съ какимъ-то безчувственнымъ лицомъ.— Докторъ кивнулъ головой вслъдъ Григорію и спросилъ ес

- Что съ нимъ?
- Не знаю...
- Гмъ... А куда онъ теперь?
- -- Пьянствовать!--твердо отвътила Орлова.

Докторъ повелъ бровями и ушелъ.

Матрена посмотръла въ окно. Отъ барака къ городу, въ вечернемъ сумракъ, подъ дождемъ и вътромъ быстро двигалясь фигура мужчины. Одна, среди мокраго съраго поля...

... Лицо Матрены Орловой поблъднъло еще болъе, она оборотилась въ уголъ, стала на колъни и начала молиться, усердно отбивая земные поклоны, задыхаясь въ страстномъ шопотъ своей молитвы и растирая грудь и горло дрожащими отъ возбужденія руками.

Однажды я осматривалъ ремесленную школу въ N. Моимъ чичероне былъ знакомый человъкъ, одинъ изъ основателей ея. Онъ водилъ меня по образцово-устроенной школъ и разсказывалъ:

— Какъ видите, мы можемъ похвалиться... чадо наше растеть и развивается на славу. Учительскій персоналъ на удивленіе подобрался. Въ сапожной и башмачной мастерской, напримъръ, учительница—простая сапожница, баба, т.-е. даже "бабеночка, вкусная такая, шельма, но безупречнъйшаго поведенія.—Впрочемъ, это къ чорту... н-да. Такъ, вотъ, эта бабочка простая, говорю, сапожница, но какъ она работаеть!... какъ

умъло преподаетъ свое ремесло, съ какою любовью относится къ ребятишкамъ — изумительно! Безпънная работница... работаетъ за 12 р. и квартиру при школъ... и еще двухъ сиротъ содержить на свои убогія средства! Это, я вамъ скажу, преинтересная фигура.

Онъ такъ усердно расхваливалъ сапожницу, что вызвалъ во мнъ желаніе познакомиться съ ней.

Это скоро устроилось, и воть однажды Матрена Ивановна Орлова разсказывала мнѣ свою печальную жизнь. Первое время послѣ того, какъ она разошлась съ мужемъ, онъ не давалъ ей покоя: — приходилъ къ ней пьяный, устраивалъ скандалы, подстерегалъ ее всюду и билъ нещадно. Она терпѣла.

Когда баракъ закрыли, докторша предложила Матренъ Ивановнъ устроить ее при школъ и оградить отъ мужа. И то, и другое удалось, и Орлова зажила спокойною, трудовою жизнью; выучилась подъ руководствомъ знакомыхъ фельдшерицъ грамотъ, взяла себъ на воспитаніе двухъ сироть изъ пріюта — дъвочку и мальчика — и работаеть, довольная собой, съ грустью и со страхомъ вспоминая свое прошлое. Въ воспитанникахъ своихъ она души не чаетъ, значеніе своей дізтельности понимаеть широко, относится къ ней сознательно и среди заправиль школы заслужила всеобщій интересъ и уважение къ себъ. Но она кашляеть сухимъ, подозрительнымъ кашлемъ, на впалыхъ щекахъ ея горить зловъщій румянець и въ сърыхъ глазахъ ютится много грусти. Отозвалось супружество съ безпокойнымъ Гришкой.

А онъ махнулъ рукой на жену и воть уже третій годъ не безпокоить ея. Онъ иногда является въ N, но не показываеть своихъ глазъ Матренъ. Онъ "босячитъ", какъ опредълила она мнъ родъ его жизни.

Мнъ удалось познакомиться и съ нимъ. Я нашелъ его въ одной изъ городскихъ трущобъ, и въ два-три свиданія мы съ нимъ были друзьями. Повторивъ исто-

рію, разсказанную мив его женой, онъ задумался не надолго и потомъ сказалъ:

- Воть такъ-то, значить, Максимъ Савватвичъ, приподняло меня, да и шлепнуло. Такъ я никакого геройства и не совершиль. А и по сю пору хочется мит отличиться на чемъ-нибудь... Раздробить бы всю землю въ пыль или собрать шайку товарищей и жидовъ перебить... всёхъ до одного! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всёхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты... И сказать имъ: ахъ вы, гады! Зачёмъ живете? Какъ живете? Жулье вы лицемърное и больше ничего! И потомъ внизъ тормашками съ высоты и... вдребезги! Н-да-а! Чорть те возьми... скучно! И ахъ какъ скучно и тесно мне житы!... Думаль я, сбросивъ съ щеи Матрешку:--н-ну, Гриня, плавай свободно, якорь поднять! Анъ не туть-то было-фарватеръ мелокъ! Стопъ! И сижу на мели... Но не обсохну, не бойсы Я себя проявлю! Какъ?--это одному дьяволу извъстно... Жена? Ну ее ко всъмъ чертямъ! Развъ такимъ, какъ я, жена пужна? На кой ее... когда меня во всв четыре стороны сразу тянетъ... Я родился съ безпокойствомъ въ сердцъ... и судьба моя-быть босякомъ! Самое лучшее положение въ свътъ-свободно и... тъсно все-таки! Ходилъ я и ъздилъ въ разныя стороны... никакого утъщенія... Пью? Конечно, а какъ же? Все-таки водка-она гасить сердце... А горить сердце большимъ огнемъ... Противно все-города, деревни, люди разныхъ калибровъ... Тьфу! Неужто же лучше этого и выдумать ничего нельзя? Всв другь на друга... такъ бы всъхъ и передушилъ! Эхъ ты жизнь, дьявольская ты премудрость!

Тяжелая дверь кабака, въ которомъ сидълъ я съ Орловымъ, то и дъло отворялась и при этомъ какъ-то сладострастно повизгивала. И внутренность кабака возбуждала представление о какой-то пасти, которая медленно, но неизбъжно поглощаетъ одного за другимъ бъдныхъ русскихъ людей, безпокойныхъ и иныхъ...

вывшів люди.

(1897.)

T

Въвзжая улица—это два ряда одноэтажныхъ лачужекъ, тъсно прижавшихся другъ къ другу, ветхихъ, съ кривыми стънами и перекошенными окнами; дырявыя крыши этихъ изувъченныхъ временемъ человъческихъ жилищъ испещрены заплатами изъ лубковъ и поросли мхомъ; надъ ними кое-гдъ торчатъ высокіе шесты со скворешницами, и ихъ осъняеть пыльная зелень бузины и корявыхъ ветелъ—жалкая флора городскихъ окраинъ, населенныхъ бъднотою.

Мутно-зеленыя оть старости стёкла оконъ домишекъ смотрять другь на друга взглядами трусливыхъ жуликовъ. Посреди улицы ползетъ въ гору извилистая колея, лавируя между глубокихъ рытвинъ, промытыхъ дождями. Кое-гдъ лежатъ поросшія бурьяномъ кучи щебня и разнаго мусора—это остатки или начала тъхъ сооруженій, которыя безуспъшно предпринимались обывателями въ борьбъ съ потоками дождевой воды, стремительно стекавшей изъ города. Вверху, на горъ, въ пышной зелени густыхъ садовъ прячутся красивые каменные дома, колокольни церквей гордо вздымаются въ голубое небо, ихъ золотые кресты ослъпительно блестять на солнцъ.

Въ дожди городъ спускаетъ на Въвзжую улицу свою грязь, въ сухое время осыпаеть ее пылью, —и всъ

эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда, сверху, сметенными, какъ мусоръ, чьей-то могучей рукой.

Приплюснутые къ землъ, они усъяли собой всю гору, полугнилые, немощные и окрашенные солнцемъ, пылью и дождями въ тотъ неуловимый для опредъленія съровато-грязный колорить, который принимаеть дерево въ старости.

Въ концъ этой жалкой улицы, выброшенный изъ города подъ гору, стоялъ длинный двухъэтажный выморочный домъ, купленный у города купцомъ Петунниковымъ. Онъ былъ крайнимъ въ порядкъ, находясь уже подъ горой, и дальше за нимъ широко развертывалось поле, обръзанное въ полуверстъ отъ дома крутымъ обрывомъ къ ръкъ.

Большой и очень старый домъ имълъ самую мрачную физіономію среди своихъ сосъдей. Весь онъ покривился, въ двухъ рядахъ его оконъ не было ни одного, сохранившаго правильную форму, и осколки стеколъ въ изломанныхъ рамахъ имъли зеленовато-мутный цвътъ, болотной воды.

Простънки между оконъ испещряли трещины и темныя пятна отвалившейся штукатурки—точно время этими іероглифами написало на стънахъ дома его біографію. Крыша, наклонившаяся на улицу, еще болъе увеличивала его плачевный видъ—казалось, что домъ нагнулся къ землъ и покорно ждетъ отъ судьбы послъдняго удара, который превратитъ его въ прахъ, въ безформенную груду полугнилыхъ обломковъ.

Ворота были отворены—одна половинка ихъ, сорванная съ петель, лежала на землъ и въ щели между ея досками проросла трава, густо покрывавшая большой и пустынный дворъ дома. Въ глубинъ двора стояло низенькое закопченое зданіе съ желъзной крышей на одинъ скатъ. Самый домъ, конечно, былъ необитаемъ, но въ этомъ зданіи, раньше представлявшемъ собою кузницу, теперь пом'вщалась "ночлежка", содержимая ротмистромъ въ отставкъ Аристидомъ Өомичемъ Кувалдой.

Внутри ночлежка была длинной и мрачной норой, размъромъ въ четыре и десять саженъ; она освъщалась съ одной стороны четырьмя маленькими квадратными окнами и широкой дверью. Кирпичныя, нештукатуренныя стъны ея были черны отъ копоти, потолокъ изъ барочнаго днища тоже прокоптълъ до черноты; посреди ея помъщалась громадная печь, основаніемъ которой служилъ горнъ, а вокругъ печи и по стънамъ шли широкія нары съ кучками всякой рухляди, служившей ночлежникамъ постелями. Отъ стънъ пахло дымомъ, отъ земляного пола—сыростью, отъ наръ—потнымъ и гніющимъ тряпьемъ.

Помъщение хозяина ночлежки находилось на печи нары вокругь печи были почетнымъ мъстомъ, и на нихъ размъщались тъ ночлежники, которые пользовались благоволеніемъ и дружбой хозяина.

День ротмистръ всегда проводилъ у двери въ ночлежку, сидя въ нѣкоторомъ подобіи кресла, собственноручно сложеннаго имъ изъ кирпичей, или же въ карчевнѣ Егора Вавилова, находившейся наискось отъ дома Петунникова; тамъ ротмистръ обѣдалъ и пилъ водку.

Передъ тъмъ, какъ снять это помъщеніе, Аристидъ Кувалда имъль въ городъ бюро для рекомендаціи прислуги; восходя выше въ его прошлое, можно было узнать, что онъ имъль типографію, а до типографіи онъ, по его словамъ,—"просто—жилъ! И славно жилъ, чорть возьми! Умъючи жилъ, могу сказать!"

Это быль широкоплечій, высокій человъкъ лъть пятидесяти, съ рябымъ, опухщимъ отъ пьянства лицомъ, въ широкой грязно-желтой бородъ. Глаза у него были сърые, огромные, дерзко-веселые; говорилъ онъ басомъ съ рокотаніемъ въ горлъ, и почти всегда въ зубахъ у

него торчала нѣмецкая фарфоровая трубка съ выгнутымъ чубукомъ. Когда онъ сердился, ноздри его большого горбатаго и ярко-краснаго носа широко раздувались и губы вздрагивали, обнажая два ряда крупныхъ, какъ у волка, желтыхъ зубовъ. Длиннорукій, колченогій, всегда одѣтый въ грязную и рваную офицерскую шинель, въ сальной фуражкъ съ краснымъ околышемъ, но безъ козырька, и въ худыхъ валенкахъ, доходившихъ ему до колънъ,—поутру онъ неизмънно былъ въ тяжеломъ состояніи похмелья, а вечеромъ — навеселъ. Допьяна онъ не могъ напиться, сколько бы ни выпилъ, и веселаго расположенія духа никогда не терялъ.

Вечерами, сидя въ своемъ кирпичномъ креслъ съ трубкой въ зубахъ, онъ принималъ постояльцевъ.

— Что за человъкъ?—спрашивалъ онъ у подходившаго къ нему рванаго и угнетеннаго субъекта, сброшеннаго изъ города за пьянство или по какой-нибудь другой, не менъе основательной причинъ опустившагося внизъ.

Человъкъ отвъчалъ.

— Представь въ подтверждение твоего вранья законную бумагу.

Бумага представлялась, если была. Ротмистръ совалъ ее за пазуху, ръдко интересуясь ея содержаніемъ, и говорилъ:

— Все въ порядкъ. За ночь двъ копейки, за недълю гривенникъ, за мъсяцъ—три гривенника. Ступай и займи себъ мъсто, да смотри, не чужое, а то тебя вздують. У меня живутъ люди строгіе...

Новички спрашивали его:

- A чаемъ, хлъбомъ или чъмъ съъстнымъ не торгуете?
- Я торгую только ствной и крышей, за что самъ плачу мошеннику-хозяину этой дыры, купцу 2-й гильдіи Іудв Петунникову, пять цвлковыхъ въ мъсяцъ,— объяснялъ Кувалда дъловымъ тономъ;—ко мнъ идетъ

народъ, къ роскоши непривычный... а если ты привыкъ каждый день жрать — вонъ напротивъ харчевня. Но лучше, если ты, обломокъ, отучишься отъ этой дурной привычки. Вёдь ты не баринъ—значитъ, что ты ёшь? Самъ себя ёшь!

За такія и подобныя рѣчи, произносимыя дѣланнострогимъ тономъ и всегда со смѣющимися глазами, и за внимательное отношеніе къ своимъ постояльцамъ ротмистръ пользовался среди городской голи широкой популярностью. Часто случалось, что бывшій кліентъ ротмистра являлся на дворъ къ нему уже не рваный и угнетенный, а въ болѣе или менѣе приличномъ видѣ и съ бодрымъ лицомъ.

- Здравствуйте, ваше благородіе! Каковенько поживаете?
 - Здорово. Живъ. Говори дальше.
 - Не узнали?
 - Не узналъ.
- A помните, я у васъ зимой жилъ съ мъсяцъ... когда еще облава-то была и трехъ забрали?
- H-ну, брать, подъ моей гостепріимной кровлей то и дізо полиція бываеть!
- Ахъ ты, Господи! Еще вы тогда частному приставу кукишъ показали!
- Погоди, ты плюнь на воспоминанія и говори просто, что тебъ нужно?
- Не желаете ли принять отъ меня угощеніе махонькое? Какъ я о ту пору у васъ жиль, и вы мив, значить...
- Благодарность должна быть поощряема, другь мой, ибо она у людей ръдко встръчается. Ты, должно быть, славный малый, и хоть я совсъмъ тебя не помню, но въ кабакъ съ тобой пойду съ удовольствиемъ и напьюсь за твои успъхи въ жизни съ наслаждениемъ.
 - А вы все такоп же... все шутите?

— Да что же еще можно дълать, живя среди васъ, горюновъ?

Они шли. Иногда бывшій кліенть ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощеніемъ, возвращался въ ночлежку; на другой день они снова угощались, и въ одно прекрасное утро бывшій кліенть просыпался съ сознаніемъ, что онъ вновь пропился до тла.

- Ваше благородіе! Воть те и разъ! Опять я къ вамъ въ команду попалъ? Какъ же теперь?
- Положеніе, которымъ нельзя похвалиться, но, находясь въ немъ, не слѣдуетъ и скулить, —резонироваль ротмистръ. Нужно, другъ мой, ко всему относиться равнодушно, не портя себѣ жизни философіей и не ставя никакихъ вопросовъ. Философствовать всегда глупо, философствовать съ похмелья невыразимо глупо. Похмелье требуетъ водки, а не угрызенія совѣсти и скрежета зубовнаго... зубы береги, а то тебя бить не по чему будетъ. На-ка вотъ тебѣ двугривенный иди и принеси косушку водки, на пятачокъ горячаго рубца или легкаго, фунтъ хлѣба и два огурца. Когда мы опохмелимся, тогда и взвѣсимъ положеніе дѣлъ...

Положеніе діль опреділялось вполні точно дня черезь два, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша отъ трешницы или пятишницы, которая была у него въ кармані въ день появленія благодарнаго кліента.

— Прівхали! Баста!—говориль ротмистрь;—теперь, когда мы съ тобой, дуракъ, пропились вполнъ совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродьтели. Какъ справедливо сказано: не согръшивъ—не покаешься, не покаявшись—не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться безполезно, давай же прямо спасаться. Отправляйся на ръку и работай. Если не ручаешься за себя—скажи подрядчику, чтобъ онъ твои деньги удерживаль, а то отдавай ихъ мнъ. Когда накопимъ капиталъ, я куплю тебъ штаны и прочее, что нужно для того, чтобы ты вновь могъ сойти за по-

рядочнаго человъка и скромнаго труженика, гонимаго судьбой. Въ хорошихъ штанахъ ты снова можешь далеко уйти. Маршъ!

Кліенть отправлялся крючничать на рѣку, посмѣиваясь надъ длинными и мудрыми рѣчами ротмистра. Онъ неясно понималъ ихъ соль, но видѣлъ предъ собой веселые глаза, чувствовалъ бодрый духъ и зналъ, что въ краснорѣчивомъ ротмистрѣ онъ имѣлъ руку, которая, въ случаѣ надобности, можетъ поддержать его.

И дъйствительно, чрезъ мъсяцъ—другой какой-нибудь каторжной работы кліенть, по милости строгаго надзора за его поведеніемь со стороны ротмистра, имъль матеріальную возможность вновь подняться на ступеньку выше того мъста, куда онъ опустился при благосклонномъ участіи того же ротмистра.

- Н-ну, другъ мой, критически осматривая реставрированнаго кліента, говорилъ Кувалда, штаны и пиджакъ у насъ есть. Это вещи громаднаго значенія върь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я жилъ въ городъ на роли порядочнаго человъка, но, чортъ возьми, какъ только штаны съ меня слъзли, такъ и я упалъ въ мнъніи людей и самъ долженъ былъ слъзть сюда внизъ изъ города. Люди, мой прекрасный болванъ, судять о всъхъ вещахъ по ихъ формъ, сущность же вещей имъ недоступна по причинъ врожденной людямъ глупости. Заруби это себъ на носу и, уплативъ мнъ коть половину твоего долга, съ миромъ иди и ищи и да обрящешь!
- Я вамъ, Аристидъ Өомичъ, сколько состою? смущенно освъдомлялся кліентъ.
- Рубль и семь гривенъ... Теперь дай мив рубль или семь гривенъ, а остальныя я подожду на тебъ до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что ты теперь имъешь.
- Покоривние благодарю за ласку!—говорить тронутый кліенть. Экой вы... какой добряга, право! Эхъ,

напрасно васъ жизнь скрутила... какой, чай, вы орель были на своемъ-то мъстъ?!

Ротмистръ жить не можетъ безъ витіеватыхъ рѣчей. — Что значить на своемъ мѣстѣ? Никто не знаетъ своего настоящаго мѣста въ жизни, и каждый изъ насъ лѣзетъ не въ свой хомутъ. Купцу Іудѣ Петунникову мѣсто въ каторжныхъ работахъ, а онъ ходитъ среди бѣла дня по улицамъ и даже хочетъ строитъ какой-то заводъ. Учителю нашему мѣсто около хорошей бабы и среди полдюжины ребятъ, а онъ валяется у Вавилова въ кабакѣ. Вотъ и ты—ты идешь искать мѣсто лакея или коридорнаго, а я вижу, что твое мѣсто въ солдатахъ, ибо ты не глупъ, выносливъ и понимаешь дисциплину. Видишь—какая штука? Насъ жизнъ тасуетъ, какъ карты, и только случайно—и то не надолго—мы попадаемъ на свое мѣсто!

Иногда подобныя прощальныя бесёды служили предисловіемъ къ продолженію знакомства, которое снова начиналось доброй выпивкой и снова доходило до того, что кліентъ пропивался и изумлялся, ротмистръ давалъ ему реваншъ и... пропивались оба.

Такія повторенія предыдущаго ничуть не портили добрыхь отношеній между сторонами. Упомянутый ротмистромь учитель быль именно однимь изъ твхъ кліентовь, которые чинились лишь затымь, чтобы тотчась же разрушиться. По своему интеллекту это быль человыкь ближе всыхь другихь стоявшій къ ротмистру и, быть можеть, именно этой причинь онь быль обязань тымь, что, опустившись до ночлежки, уже болье не могь подняться.

Съ нимъ однимъ Аристидъ Кувалда могъ философствовать въ увъренности, что его понимають. Онъ цънилъ это, и когда поправленный учитель готовился оставить ночлежку, заработавъ деньжонокъ и имъя намъреніе снять себъ въ городъ уголъ,—Аристидъ Кувалда такъ грустно провожаль его, такъ много изре-

калъ меланхолическихъ тирадъ, что оба они непремънно напивались и пропивались. Въроятно, Кувалда сознательно ставилъ дъло такъ, что учитель при всемъ желаніи не могъ выбраться изъ его начлежки. Можно ли было Аристиду Кувалдъ, дворянину съ образованіемъ, осколки котораго и теперь еще порой блестъли въ его ръчахъ, съ развитой превратностями судьбы привычкой мыслить, можно ли было ему не желать и не стараться всегда видъть рядомъ съ собой человъка такого же, какъ и онъ самъ? Мы умъемъ жалъть себя.

Этоть учитель когда-то что-то преподаваль въ учительскомъ институтъ одного приволжскаго города, но вслъдствіе нъкоторой исторіи быль устранень изъ института. Потомъ онъ быль конторщикомъ на кожевенномъ заводъ и тоже принужденъ былъ уйти. Былъ библіотекаремъ въ какой-то частной библіотекъ, извъдалъ еще нъсколько профессій и, наконецъ, сдавъ экзаменъ на частнаго повъреннаго по судебнымъ дъламъ, запилъ горькую и попаль къ ротмистру. Быль онъ высокій, сутулый, съ длиннымъ и острымъ носомъ и совершенно лысой головой. На его костлявомъ и желтомъ лицъ съ клинообразной бородкой блестъли большіе безнокойно-тоскливые глаза, глубоко ввалившіеся въ орбиты, и углы его рта были печально опущены книзу. Средства къ жизни или, върнъе, къ пьянству онъ добывалъ репортерствомъ въ мъстныхъ газетахъ. Случалось, что онъ зарабатываль въ недълю рублей пятнадцать. Тогда онъ отдавалъ ихъ ротмистру и говорилъ:

- Будеть! Я возвращаюсь въ лоно культуры. Еще недълю работы и я одънусь прилично и addio, mio caro!
- Похвально! Сочувствуя отъ души твоему, Филиппъ, ръшенію, я не дамъ тебъ ни рюмки за всю эту недълю, строго предупреждалъ его ротмистръ.
 - Буду благодаренъ!... Ни единой капли не дашь? Ротмистръ слышалъ въ его словахъ что-то близкое

къ робкой мольов о послаблении и еще строже говорилъ:

- Хоть реви не дамъ!
- Ну, и кончено, вздыхаль учитель и отправлялся на репортажь. А черезь день, много черезь два, онъ, разбитый, утомленный и жаждущій, уже смотръль на ротмистра откуда-нибудь изъ угла тоскливыми и умоляющими глазами и трепетно ждаль, когда смягчится сердце друга. Ротмистръ принималь суровый видь и произносиль пропитанныя убійственной ироніей ръчи на тему о позоръ слабохарактерности, о скотскомъ наслажденіи пьянства и на всъ другія, приличныя случаю темы. Надо отдать ему справедливость онъ вполнъ искренно увлекался своей ролью ментора и моралиста; но завсегдатаи ночлежки, настроенные скептически, слъдя за ротмистромъ и слушая его карающія ръчи, говорили другь другу, подмигивая въ его сторону:
- Химикъ! Ловко отбояривается! Дескать, я тебъ говориль, ты меня не слушаль пеняй на себя!
- Его благородіе настоящій воинъ впередъ идеть, а уже назадъ дорогу ищеть!

А учитель ловиль овоего друга опять-таки гдв-нибудь въ темномъ углу и, крвпко вцвпившись въ его грязную шинель, весь дрожащій, облизывая сухія губы, невыразимымъ словами, глубоко-трагическимъ взглядомъ смотръль въ его лицо.

- Не можешь? угрюмо спрашиваль ротмистрь. Учитель молча и утвердительно киваль головой и затъмъ уныло опускаль ее на грудь, вздрагивая всъмъ своимъ тъломъ, длиннымъ и худымъ.
- Потерпи еще день... можеть быть, справишься? предлагалъ Кувалда.

Учитель вздыхаль и трясь головой отрицательно, безнадежно. Ротмистръ видълъ, что худое тъло друга все трепещеть отъ жажды яда и доставалъ изъ кариана деньги.

— Въ большинствъ случаевъ безполезно спорить съ рокомъ,—говорилъ онъ при этомъ, точно желая оправдать себя передъ къмъ-то.

А если учитель выдерживаль всю недълю, между нимъ и ротмистромъ разыгрывалась трогательная сцена прощанія друзей и финалъ ея обыкновенно происходиль въ харчевнъ Вавилова.

Учитель не всв свои деньги пропиваль; по крайней мъръ половину ихъ онъ тратиль на дътей Въъзжей улицы. Бъдняки всегда дътьми богаты, и на этой улицъ, въ ея пыли и ямахъ, цълые дни съ утра до вечера шумно возились кучи оборванныхъ, грязныхъ и полуголодныхъ ребятишекъ.

Дъти — это живые цвъты земли, но на Въъзжей улицъ они имъли видъ цвътовъ, преждевременно увядшихъ, должно быть—потому, что росли на почвъ, скудной здоровыми соками.

И воть учитель часто собираль ихъ вокругь себя и, накупивъ булокъ, яицъ, яблоковъ и оръховъ, шелъ съ ними въ поле, къ ръкъ. Тамъ они располагались на землъ и сначала жадно поъдали все, что предлагалъ имъ учитель, а потомъ начинали играть, наполняя воздухъ на цълую версту вокругъ себя беззаботнымъ тумомъ и смъхомъ. Худая и длинная фигура пьяницы какъ-то съеживалась среди этихъ маленькихъ людей, относивнихся къ нему съ полной фамильярностью, какъ къ своему однолътку. Они даже и звали его просто Филиппомъ, не добавляя къ его имени дядя или дядюшка. Вертясь около него, какъ выюны, они толкали его, вскакивали къ нему на спину, хлопали его во лысинъ, хватали за носъ. Все это, должно быть, нравилось ему, ибо онъ не протестоваль противъ такихъ вольностей. Онъ вообще мало разговариваль съ ними, а если и говорилъ, то какъ-то такъ осторожно и даже робко, точно боялся, что его слова могуть выпачкать ихъ или вообще повредить имъ. Онъ проводилъ съ ними въ роли ихъ игрушки и товарища по нѣсколько часовъ кряду, разсматривая оживленныя ихъ рожицы своими тоскливо-грустными глазами, а потомъ задумчиво и медленно шелъ отъ нихъ въ харчевню Вавилова и тамъ быстро и молча напивался до потери сознанія.

Почти каждый день, возвращаясь съ репортажа, учитель приносиль съ собой газету, и около него устраивалось общее собраніе всёхъ бывшихъ людей. Они, увидёвь его, двигались къ нему изъ разныхъ угловъ двора, выпившіе или. страдавшіе съ похмелья, разнообразно растрепанные, но одинаково жалкіе и грязные.

Шелъ толстый, какъ бочка, Алексъй Максимовичъ Симцовъ, бывшій лѣсничій удѣльнаго вѣдомства, а нынѣ торговецъ спичками, чернилами, ваксой и бракованными лимонами. Это былъ старикъ лѣтъ щестидесяти, въ парусиновомъ пальто и въ широкой шляпѣ, прикрывавшей своими измятыми полями его толстое и красное лицо съ бѣлой густой бородой, изъ которой на свѣтъ Божій весело смотрѣлъ маленькій пунцовый носъ, толстыя губы такого же цвѣта и слезящіеся циничные глазки. Его звали Кубарь — и это прозвище мѣтко очерчивало его круглую фигуру и рѣчь, похожую на жужжаніе.

Вылѣзалъ откуда-нибудь изъ угла Конепъ — мрачный, молчаливый и черный пьяница, бывшій тюремный смотритель Лука Антоновичъ Мартьяновъ, человѣкъ, существовавшій игрой "въ ремешокъ", "въ три листика", "въ банковку" и прочими искусствами, столь же остроумными и такъ же нелюбимыми полиціей. Онъ грузно опускалъ свое большое, не разъ жестово битое тѣло на траву, рядомъ съ учителемъ, сверкалъ черными глазами и, простирая руку къ бутылкъ, хриплымъ басомъ спрашивалъ:

- Mory?

Являлся механикъ Павелъ Солнцевъ, чахоточный человъкъ лътъ тридцати. Лъвый бокъ у него былъ неребить въ дракъ, а лицо, желтое и острое, какъ у лисицы, постоянно кривилось въ ехидную улыбку. Тонкія губы открывали два ряда черныхъ, разрушенныхъ бользнью зубовъ, и лохмотья на его узкихъ и костлявыхъ плечахъ болтались, какъ на въшалкъ. Его прозвали Объъдокъ. Онъ промышлялъ торговлей мочальными щетками собственной фабрикаціи и въниками изъ какой-то особенной травы, очень удобными для чистки платья.

Приходиль высокій, костлявый и кривой на лівній глазъ, неизвъстнаго происхожденія человъкъ, съ испуганнымъ выраженіемъ въ большихъ круглыхъ глазахъ, молчаливый, робкій, трижды сидівшій за кражи по приговорамъ мирового и окружнаго судовъ. Фамилія его была Кисельниковъ, но его звали Полтора Тараса, потому что онъ былъ какъ разъ на полроста выше своего неразлучнаго друга дыякона Тараса, разстриженнаго за пьянство и развратное поведеніе. Дьяконъ быль низенькій и коренастый человікь съ богатырской грудью и круглой, кудластой головой. Онъ удивительно хорошо плясаль и еще удивительные сквернословиль. Они вмъстъ съ Полтора Тарасомъ избирали своей спеціальностью пилку дровь на берегу ръки, а въ свободные часы дьяконъ разсказываль своему другу и всякому желающему слушать сказки "собственнаго сочиненія", какъ онъ заявляль. Слушая эти сказки, героями которыхъ всегда являлись святые, короли, священники и генералы, даже обитатели ночлежки брезгливо плевались и таращили глаза въ изумленіи передъ фантазіей дьякона, разсказывавшаго, прищуривъ глаза и съ безстрастнымъ лицомъ, поразительно-безстыдныя вещи грязно - фантастическія приключенія. Воображеніе этого человъка было неизсякаемо и могуче-онъ могъ

сочинять и говорить цёлый день съ утра и до вечера и никогда не повторялся. Въ лицё его погибъ, быть можеть, крупный поэть, въ крайнемъ случай недижинный разсказчикъ, умёвшій все оживлять и даже въ камни влагавшій душу своими скверными, не образными и сильными словами.

Быль туть еще какой-то нельший юноша, прозванный Кувалдой Метеоромъ. Однажды онъ явился ночевать и съ той поры остался среди этихъ людей, къ ихъ удивленію. Сначала его не замъчали—днемъ онъ, какъ и всъ, уходилъ изыскивать пропитаніе, но вечеромъ постоянно торчалъ около этой дружной компаніи, и накенецъ, ротмистръ замътилъ его.

- Мальчишка! Ты что такое на сей землъ? Мальчишка храбро и кратко отвътилъ:
- Я босякъ...

Ротмистръ критически посмотрълъ на него. Парень былъ какой-то длинноволосый, съ глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутымъ носомъ. На немъ была надъта синяя блуза безъ пояса, а на головъ торчалъ остатокъ соломенной шляпы. Ноги были босы.

— Ты—дуракъ! — ръшилъ Аристидъ Кувалда. — Что ты туть околачиваешься? Никуда ты намъ не годенъ... Водку пьешь? Нътъ... Ну, а воровать умъешь? Тоже нътъ. Иди, научись и приходи тогда, когда уже человъкомъ будешь...

Парень засмъялся.

- Нъть, ужъ я поживу съ вами.
- Для чего?
- А такъ...
- Ахъ ты... метеоръ!-сказаль ротмистръ.
- Вотъ я ему сейчасъ зубы вышибу, предлежилъ Мартьяновъ.
 - А за что?-освъдомился парень.
 - Такъ...

— А я возьму камень и по головъ васъ тресну, -- почтительно объявилъ парень.

Мартьяновъ избилъ бы его, если бъ не вступился Кувалда.

- Оставь его... Это, брать, какая-то родня тебъ, да и всъмъ намъ, пожалуй. Ты безъ достаточнаго основанія хочещь ему зубы выбить; онъ, какъ и ты, безъ основанія хочеть жить съ нами. Ну, и чорть съ нимъ... мы всъ живемъ безъ достаточнаго къ тому основанія... Живемъ, а для чего? Такъ! Онъ тоже такъ... пускай его...
 - Но лучше бъ вамъ, молодой человъкъ, удалиться отъ насъ, посовътовалъ учитель, оглядывая этого парня своими печальными глазами.

Тотъ ничего не отвътилъ и остался. Потомъ къ нему привыкли и перестали замъчать его. А онъ жилъ среди нихъ и все замъчалъ.

Всв перечисленные субъекты составляли главный штабъ ротмистра, и онъ съ добродушной ироніей называль ихъ "бывшими людьми". Помимо ихъ, въ ночлежкъ постоянно обитало человъкъ пять — шесть рядовыхъ босяковъ. Это были люди деревни, они не могли похвастаться такимъ прошлымъ, какъ "бывшіе люди", и хотя не менъе ихъ испытали превратностей судьбы, но были болье цъльными людьми, чъмъ тъ, не такъ страшно изломанными. Быть можеть, порядочный человъкъ культурнаго класса и выше такого же человъка изъ мужиковъ, но всегда порочный человъкъ изъ города неизмъримо гаже и грязнъе порочнаго человъка деревни. Это правило ръзко бросалось въ глаза изъ сопоставленія бывшихъ интеллигентовъ и бывшихъ мужиковъ, населявшихъ убъжище Кувалды.

Виднымъ представителемъ бывшихъ мужиковъ являлся старикъ-тряпичникъ по имени Тяпа. Длинный и безобразно худой, онъ держалъ голову такъ, что подбородокъ упирался ему въ грудь, и отъ этого его тънь напоминала своей формой кочергу. Въ фасъ лица его

не было видно, въ профиль можно было видъть только горбатый носъ, отвисшую нижнюю губу, и мохнатыя съдыя брови. Онъ быль первымъ по времени постояльцемъ ротмистра и про него говорили, что гдъ-то имъ спрятаны большія деньги. Именно изъ-за этихъ денегь года два тому назадъ его "шаркнули" ножомъ по горлу, и съ той поры онъ наклонилъ такъ странно голову. Онъ отрицаль существование у него денегь, говориль, что "шаркнули его просто такъ, изъ-за озорства", и что съ той поры ему очень удобно собирать тряпки и кости — голова постоянно наклонена къ землъ. Когда онъ шелъ качающейся, невърной походкой, безъ палки въ рукахъ и безъ мѣшка за спиной -- признаковъ его профессіи, — онъ казался человъкомъ. задумавшимся почти до утраты сознанія, а Кувалда въ такіе моменты говориль, указывая на него пальцемъ:

— Смотрите, воть ищеть себъ пристанища совъсть купца Іуды Петунникова, удравшая оть него въ бъга! Смотрите, какая она потрепанная; скверная, грязная эта бъглая совъсть!

Говорилъ Тяпа хрипящимъ голосомъ, едва позволявшимъ понимать его рѣчь, и должно быть, поэтому
онъ вообще мало говорилъ и очень любилъ уединеніе.
Но каждый разъ, когда въ ночлежку являлся какойнибудь свѣжій экземпляръ человѣка, вытолкнутаго
нуждой изъ деревни, Тяпа при видѣ его впадалъ въ
тоскливое озлобленіе и безпокойство. Онъ преслѣдовалъ этого несчастнаго ѣдкими насмѣшками, съ алымъ
хрипомъ выходившими изъ его горла; онъ натравливалъ на него какого-нибудь элющаго босяка, грозилъ,
наконецъ, собственноручно избить и ограбить его ночью
и почти всегда добивался того, что запуганный и растерявшійся мужичокъ исчезалъ изъ ночлежки и уже
больше не появлялся въ ней.

Тогда Тяпа успокаивался и забивался куда-нибудь

въ уголъ, гдв чинилъ свои лохмотья или же читалъ Библію, такую же старую, грязную и рваную, какъ самъ онъ. Еще онъ вылъзалъ изъ своего угла тогда, когда учитель приносилъ газету и читалъ ее. Обыкновенно Тяпа молча слушалъ все, что читалось, и глубоко вздыхалъ, ни о чемъ не спрашивая. Но когда, прочитавъ газету, учитель складывалъ ее, Тяпа протягивалъ свою костлявую руку и говорилъ:

- Дай-ка...
- На что тебъ?
- Дай... можеть, про насъ есть что...
- Про кого это?
- Про деревню.

Надъ нимъ смъялись и бросали ему газету. Онъ бралъ ее и читалъ въ ней о томъ, что въ какой-то деревнъ градомъ побило хлъбъ, а въ другой сгоръло тридцать дворовъ, а въ третьей баба отравила свою семью—все, что принято писать о деревнъ и что рисуетъ ее только несчастной, глупой и злой. Тяйа читалъ все это глухо и мычалъ, выражая этимъ звукомъ, быть можетъ, состраданіе, быть можетъ, удовольствіе.

Большую часть воскресенья, въ которое онъ никогда не выходилъ за сборомъ тряпокъ, онъ употреблялъ именно на чтеніе своей Библіи. Читая, онъ мычалъ и вздыхалъ. Книгу онъ держалъ, упирая ее въ грудь себъ, и сердился, когда кто-нибудь трогалъ ее или мъшалъ ему читать.

- Эй ты, чернокнижникъ, говорилъ ему Кувалда, что ты понимаещь? Брось!
 - А что ты понимаешь?
- Такъ, колдунъ! И я ничего не понимаю, но я въдь не читаю книгъ...
 - ... овтир стов к А ...
- Ну, и глупъ...—ръшалъ ротмистръ.—Когда въ головъ заведутся насъкомыя и это безпокойно, но

если въ нее заползуть еще и мысли—какъ же ты будешь жить, старая жаба?

- Ну, мит недолго ужъ, —говорилъ спокойно Тяпа. Однажды учитель захотълъ узнать, гдт онъ выучился грамотъ. Тяпа кратко отвътилъ ему:
 - А въ тюрьмъ...
 - Ты развъ быль тамъ?
 - Былъ...
 - За что?
- Такъ... Ошибся... Воть и Библію оттуда вынесъ. Барыня одна дала... Въ тюрьмъ-то, брать, хорошо...
 - Н-ну? Чъмъ это?
- Вразумляеть... Грамотъ вотъ научился... книгу досталъ... Все—даромъ...

Когда въ ночлежку явился учитель, Тяпа уже давно жилъ въ ней. Онъ долго присматривался къ учителю, — чтобы посмотръть въ лицо человъку, Тяпа сгибалъ весь свой корпусъ на бокъ, — долго прислушивался къ его разговорамъ и какъ-то разъ подсълъ къ нему.

- Воть ты этакій... ученый быль... Библію-то ты читаль?
 - Читалъ...
 - То-то... Помнишь ее?
 - Ну... помню...

Старикъ согнулъ корпусъ на бокъ и посмотрълъ на учителя сърымъ, суровымъ и недовърчивымъ глазомъ.

- А помнишь, были тамъ амаликитяне?
- Hy?
- Гдъ они теперь?
- Исчезли, Тяпа... вымерли...

Старикъ помолчалъ и снова спросилъ:

- A филистимляне?
- И эти тоже...
- Всв вымерли?

- Да... всв...
- Такъ... А мы тоже вымремъ?
- Придеть время и мы вымремъ, равнодушно пообъщалъ учитель.
- А отъ котораго мы изъ колънъ Израилевыхъ? Учитель посмотрълъ на него, подумалъ и сталъ разсказывать о киммерійцахъ, скиеахъ, гуннахъ, славянахъ... Старикъ еще больше избочился и какими-то испуганными глазами смотрълъ на него.
- Врешь ты все!—захрипъль онъ, когда учитель кончилъ.
 - Почему вру?--изумился тотъ.
- Какіе ты мив народы назваль? Нъть ихъ въ Библіи.

Онъ всталъ и пошелъ прочь, глубоко оскорбленный и алобно ворчащій.

— Изъ ума ты выживаешь, Тяпа,—убъжденно сказалъ вслъдъ ему учитель.

Тогда старикъ снова обернулся къ нему и, протянувъ руку, погрозилъ ему крючковатымъ и грязнымъ пальцемъ.

- Отъ Господа—Адамъ, отъ Адама—евреи, значить, всъ люди отъ евреевъ... И мы тоже...
 - Hy?
 - Татары отъ Измаила... а онъ отъ еврея...
 - Да тебъ-то чего надо?
 - Ничего! Зачъмъ врешь?

И онъ ушелъ, оставивъ своего собесъдника въ недоумъніи. Но дня черезъ два снова подсълъ къ нему.

- Быль ты ученый... ну и должень знать-кто мы?
- Славяне, Тяпа,—отвътилъ учитель и внимательно сталъ ждать словъ Тяпы, желая понять его.
- Говори по Библіи—тамъ такихъ нѣтъ. Кто мы вавилоняне, что ли? или—эдомъ?

Учитель пустился въ критику Библіи. Старикъ делго, внимательно сдушаль его и перебиль:

- Погоди... брось! Значить, въ народахъ, Богу извъстныхъ, —русскихъ нътъ? Неизвъстные мы Богу люди? Такъ ли? Которые въ Библіи записаны—Господь тъхъ зналъ... Сокрушалъ ихъ огнемъ и мечомъ, разрушалъ города и сёла ихъ, но и пророковъ посылалъ имъ для поученія... жалълъ, значитъ. Евреевъ и татаръ разсъялъ, но сохранилъ... А мы какъ же? Почему у насъ пророковъ нътъ?
- Н-не знаю!—протянуль учитель, стараясь понять старика. А онъ положилъ руку на плечо учителя, сталъ тихонько толкать его взадъ и впередъ и захрипълъ, будто глотая что-то...
- Такъ и скажи!. А то говоришь ты больно много... будто все знаешь. Слушать мив тебя тошно... душу ты мив мутишь... Молчаль бы лучше!.. Кто мы? То-то! Почему у насъ нътъ пророковъ? ага!... А гдъ мы были, когда Христосъ по землъ ходилъ? Видишь? Эхъ ты! И врешь еще... развъ народъ цълый можетъ умереть? Народъ русскій не можеть исчезнуть-врешь ты... онъ въ Библи записанъ, только неизвъстно подъ какимъ словомъ... Ты народъ-то знаешь, какой онъ? Онъ-огромный... Сколько деревень на землъ? Все народъ тамъ живеть... настоящій, большой народъ. А ты говоришь-вымреть... Народъ не можеть умереть, человъкъ можетъ... а народъ нуженъ Богу, онъ строитель земли. Амаликитяне не умерли-они нъмцы или французы... а ты... эхъ ты!... Ну, скажи вотъ, почему мы Богомъ, обойдены? Нъту намъ ни казней, ни пророковъ отъ Господа? Кто насъ научить?...

Рѣчь Тяпы была страшно сильна; насмѣшка и укоризна и глубокая вѣра звучали въ ней. Онъ долго говорилъ, и учителю, который по обыкновенію былъ выпивши и въ мирномъ настроеніи, стало, наконецъ, такъ скверно слушать его, точно его распиливали деревянной пилой. Онъ слушалъ старика, смотрѣлъ на его исковерканное тѣло, чувствовалъ эту странную, давившую силу

словъ и вдругъ ему стало до боли жалко себя и грустно о чемъ-то. Ему тоже захотвлось сказать старику чтонибудь сильное, увъренное, что-нибудь такое, что расположило бы Тяпу въ его пользу, заставило бы говорить
не этимъ укоризненно-суровымъ тономъ, а другимъ—
мягкимъ, отечески-ласковымъ. И учитель ощущалъ,
какъ въ груди у него что-то клокочеть, подступаетъ ему
къ горлу... но никакихъ сильныхъ словъ онъ въ себъ
не нашелъ.

- Какой ты человъкъ?... душа у тебя изорванная... а разныя слова говоришь ты туть... Будто что знаешь... Молчалъ бы...
- Эхъ, Тяпа, тоскливо воскликнулъ учитель, ты это върно говоришь... И народъ... върно!... Онъ огромный... но я ему чужой... и онъ мнъ чужой... Воть въ чемъ трагедія моей жизни... Но—пускай! Буду страдать... И пророковъ нътъ... нътъ!... Я, дъйствительно, говорю много... и это не нужно никому... но я буду молчать... Только ты не говори со мной такъ... Эхъ, старикъ! ты не знаешь... не знаешь... не можешь понять...

Учитель заплакалъ, наконецъ. Онъ заплакалъ такъ легко и свободно, такими обильными слезами, что ему стало ужасно пріятно отъ этихъ слезъ.

— Шелъ бы ты въ деревню... просился бы тамъ въ учителя или въ писаря... и былъ бы сыть и провътрился бы. А то чего маешься? — сурово хрипълъ Тяпа.

А учитель все плакаль, наслаждаясь своими слезами. Съ этихъ поръ они стали друзьями, и бывшіе люди, видя ихъ вмъсть, говорили:

- Учитель охаживаетъ Тяпу... къ деньгамъ его держитъ курсъ.
- Это его Кувалда подучилъ... развъдать, дескать, гдъ стариковы капиталы...

Могло быть, что, говоря такъ, думали иначе. У этихъ людей была одна смъшная черта: они любили показать себя другъ другу хуже, чъмъ были на самомъ дъль.

Человъкъ, не имъя въ себъ ничего хорошаго, иногда непрочь порисоваться и своимъ дурнымъ.

Когда всъ эти люди соберутся вокругъ учителя съ его газетой—начинается чтеніе.

- Ну-съ, говорить ротмистръ, о чемъ сегодня разсуждаеть газетина? Фельетонъ есть?
 - Нътъ, сообщаетъ учитель.
- Жадничаеть вашть издатель... A передовица имъется?
 - Сегодня есть... Гуляева, кажется.
- Ага! Валяй ее; онъ, шельма, толково пишеть, гвоздь ему въ глазъ.
- Оцънка недвижимыхъ имуществъ, читаетъ учитель, произведенная болъе пятнадцати лътъ тому назадъ, и понынъ продолжаетъ служить основаниемъ ко взиманию оцъночнаго, въ пользу города, сбора...
- Это наивно,—комментируеть ротмистръ Кувалда;— продолжаеть служить! Это смъшно! Купцу, ворочающему дълами города, выгодно, чтобъ она продолжала служить, ну, она и продолжаеть...
- Статья и написана на эту тему,—говорить учитель.
- Да? Странно! Это фельетонная тема... объ этомъ нужно писать съ перцемъ...

Возгорается маленькій споръ. Публика слушаєть его внимательно, ибо водки выпита пока толька одна бутылка. Послѣ передовой читають мѣстную хронику, потомъ судебную. Если въ этихъ криминальныхъ отдѣлахъ дѣйствующимъ и страдающимъ лицомъ является купецъ — Аристидъ Кувалда искренно ликуетъ. Обворовали купца — прекрасно, только жаль, что мало. Лошади его разбили — пріятно слышать, но прискорбно, что онъ остался живъ. Искъ въ судѣ проигралъ купецъ — великолѣпно, но печально, что судебныя издержки не возложили на него въ удвоенномъ количествѣ.

- Это было бы незаконно, замъчаеть учитель.
- Незаконно? Но законенъ ли самъ купецъ?—горько спрашиваетъ Кувалда. Что естъ купецъ? Разсмотримъ это грубое и нелъпое явленіе: прежде всего каждый купецъ мужикъ. Онъ является изъ деревни и по истеченіи нъкотораго времени дълается купцомъ. Для того, чтобы сдълаться купцомъ, нужно имътъ деньги. Откуда у мужика могутъ быть деньги? Какъ извъстно, онъ не являются отъ трудовъ праведныхъ. Значитъ, мужикъ такъ или иначе мощенничалъ. Значитъ, купецъ мощенникъ-мужикъ!
 - Ловко! одобряеть публика выводъ оратора.

А Тяпа мычить, потирая себь грудь. Такъ же точно онъ мычить, когда съ похмелья выпиваеть первую рюмку водки. Ротмистръ сіяеть. Читають корреспонденціи. Туть для ротмистра—"разливанное море", по его словамъ. Онъ всюду видить, какъ купецъ скверно дълаеть живнь и какъ онъ ловко мнеть и портить ее. Его ръчи громять и уничтожають купца. Его слушають съ удовольствіемъ въ глазахъ, потому что онъ зло ругается.

— Если бъ я писалъ въ газетахъ! — восклицаеть онъ. — О, я бы показалъ купца въ его настоящемъ видъ... я бы показалъ, что онъ только животное, временно исполняющее должность человъка. Я понимаю его! Онъ? Онъ грубъ, онъ глупъ, не имъетъ вкуса въ жизни, не имъетъ представленія объ отечествъ и ничего выше пятака не знаеть.

Объедокъ, зная слабую струну ротмистра и любя злить людей, ехидно вставляеть:

- Да, съ той поры, какъ дворяне начали дружно помирать съ голода псчезають люди изъ жизни...
- Ты правъ, сынъ паука и жабы; да, съ той поры, какъ дворяне пали, людей нъть! Есть только купцы... и я ихъ не-на-вижу!
- Опо и понятно, потому что и ты, брать, попрань во прахъ ими же..,

- Я? Я погибъ отъ любви къ жизни... дуракъ! Я жизнь любилъ... а купецъ ее обираетъ. Я не выношу его именно за это... а не потому, что я дворянинъ. Я, если хочешь знать, не дворянинъ, а просто бывшій человъкъ. Мнъ теперь наплевать на все и на всъхъ... и вся жизнь для меня—любовница, которая меня бросила... за что я презираю ее и глубоко равнодушенъ къ ней.
 - Врешь! говорить Обътдокъ.
- Я вру? ореть Аристидъ Кувалда, красный отъ гнъва.
- Зачёмъ кричать, раздается холодный и мрачный басъ Мартьянова. Зачёмъ разсуждать? Купецъ... дворянинъ... намъ какое дёло?
- Поелику мы ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку... вставляеть дьяконъ Тарасъ.
- Отстаньте, Объёдокъ, примирительно говорить учитель. Зачёмъ солить селедку?

Онъ не любить спора и вообще не любить шума. Когда вокругь него разгораются страсти, его губы складываются въ болъзненную гримасу, и онъ разсудительно и спокойно старается помирить всъхъ со всъми, а если это не удается ему, онъ уходить отъ компаніи. Зная это, ротмистръ, если онъ не особенно пьянъ, сдерживается, не желая терять въ лицъ учителя лучшаго слушателя своихъ ръчей.

- Я повторяю, бол в спокойно продолжаеть онъ, я вижу жизнь въ рукахъ враговъ, не враговъ только дворянина, но враговъ всего благороднаго, алчныхъ, неспособныхъ украсить жизнь чъмъ-либо...
- Однако, братъ, говоритъ учитель, купцы создали Геную, Венецію, Голландія, — это купцы, купцы Англіи завоевали своей странъ Индію, купцы Строгановы...
- Какое мнъ дъло до тъхъ купцовъ? Я имъю въ виду Іуду Петунникова и иже съ нимъ...
- A до этихъ тебъ какое дъло? тихо спрашиваетъ учитель...

- А развъ я не живу? Ага! Живу,—значить, долженъ негодовать при видъ того, какъ жизнь портять дикіе люди, полонившіе ее.
- И смъются надъ благороднымъ негодованіемъ ротмистра и человъка въ отставкъ,—задираетъ Объъдокъ.
- Хорошої Это глупо, я согласенъ... Какъ бывшій человъкъ, я долженъ смарать въ себъ всъ чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, върно... Но чъмъ же я и всъ вы—чъмъ же вооружимся мы, если отбросимъ эти чувства?
- Воть ты начинаешь говорить умно,—поощряеть его учитель.
- Намъ нужно что-то другое, другія возарънія на жизнь, другія чувства... намъ нужно что-то такое, новое... ибо и мы въ жизни новость...
 - Несомивино намъ нужно это, -- говорить учитель.
- Зачъмъ?—спрашиваетъ Конецъ.—Не все ли равно, что говорить и думать? Намъ недолго жить... мнъ сорокъ, тебъ пятьдесятъ... моложе тридцати нътъ среди насъ. И даже въ двадцать долго не проживешь такою жизнью.
- И какая мы новость? усмъжется Обътдокъ, гольтепа всегда была.
 - Й она создала Римъ, -- говоритъ учитель.
- Да, конечно, ликуетъ ротмистръ: Ромулъ и Ремъ—развъ они не золоторотцы? И мы—придетъ нашъ часъ—создадимъ...
- Нарушеніе общественной тишины и спокойствія, —перебиваеть Объёдокь. Онъ хохочеть, довольный собой. Смёхь у него скверный, разъёдающій душу. Ему вторить Симцовъ, дьяконъ, Полтора Тараса. Наивные глаза мальчишки Метеора горять яркимъ огнемъ и щёки у него краснёють. Конецъ говорить, точно молотомъ бьеть по головамъ:
 - Все это глупости... мечты... ерунда! Странно было видъть такъ разсуждающими этихъ

людей, изгилникъ изъ жизни, рваныхъ, пропитанныхъ водкой и злобой, ироніей и грязью.

Для ротмистра такія бесёды были положительно праздникомъ сердца. Онъ говорилъ больше всёхъ, и это давало ему возможность считать себя лучше всёхъ. А какъ бы низко ни палъ человекъ—онъ никогда не откажеть себе въ наслажденіи почувствовать себя сильнье, умнье, хотя бы даже сытье своего ближняго. Аристидъ Кувалда злоупотреблялъ этимъ наслажденіемъ, но не пресыщался имъ, къ неудовольствію Обътьдка, Кубаря и другихъ бывшихъ людей, мало интересовавшихся подобными вопросами.

Но зато политика была общей любимицей. Разговоръ на тему о необходимости завоеванія Индіи или объ укрощеніи Англіи могъ затянуться безконечно. Съ неменьшей страстью говорили о способахъ радикальнаго искорененія евреевъ съ лица земли, но въ этомъ вопросъ верхъ всегда бралъ Объъдокъ, сочинявшій изумительно жестокіе проекты, и ротмистръ, желавшій вездъ быть первымъ, избъгалъ этой темы. Охотно, много и скверно говорили о женщинахъ, но въ защиту ихъ всегда выступалъ учитель, сердившійся, если очень ужъ пересаливали. Ему уступали, ибо всъ смотръли на него, какъ на человъка недюжиннаго, и у него по субботамъ занимали деньги, заработанныя имъ за недълю.

Онъ вообще пользовался многими привилегіями: его, напримъръ, не били въ тъхъ неръдкихъ случаяхъ, когда бесъда заканчивалась всеобщей потасовкой. Ему было разръшено приводить въ ночлежку женщинъ; больше никто не пользовался этимъ правомъ, ибо ротмистръ всъхъ предупреждалъ:

— Бабъ ко мит не водить... Бабы, купцы и философія—три причины моихъ неудачъ. Изобью, если увижу кого-нибудь, явившагося съ бабой... бабу тоже изобью... За философію—оторву голову...

Онъ могь оторвать голову: несмотря на свои года,

онъ обладалъ удивительной силой. Затъмъ, каждый разъ, когда онъ дрался, ему помогалъ Мартьяновъ. Мрачный и молчаливый, точно надгробный памятникъ, во время общаго боя онъ всегда становился спиной къспинъ Кувалды, и тогда они изображали собой всесокрушавшую и несокрушимую машину.

Однажды пьяный Симцовъ ни за что, ни про что вцёпился въ волосы учителя и выдралъ клокъ ихъ. Кувалда ударомъ кулака въ грудь уложилъ его на полчаса въ обморокъ, а когда онъ очнулся, заставилъ его съёсть волосы учителя. Тотъ съёлъ, боясь быть избитымъ до смерти.

Кромѣ чтенія газеты, разговоровъ и дракъ, развлеченіемъ служила еще игра въ карты. Играли безъ Мартьянова, ибо онъ не могъ играть честно, о чемъ, послѣ нѣсколькихъ уличеній въ мошенничествѣ, самъ же откровенно и заявилъ:

- Я не могу не передергивать... Это у меня привычка.
- Это бываеть, —подтвердиль дьяконь Тарась. —Я привыкь дьяконицу свою по воскресеньямь послё обёдни бить; такь, знаете, когда умерла она —такая тоска на меня по воскресеньямь нападала, что даже невёроятно. Одно воскресенье прожиль —вижу, плохо! Другое стерпёль. Третье кухарку свою удариль разь... Обидёлась она... Подамь, говорить, мировому. Представьте себё мое положеніе! На четвертое воскресенье —вздуль ескакъ жену! Потомъ заплатиль ей десять цёлковыхъ и ужъ биль по заведенному порядку, пока опять не женился...
- Дьяконъ,—врешь! Какъ ты могъ въ другой разъ жениться?—оборвалъ его Объйдокъ.
- A? А я такъ... она у меня за козяйствомъ смотръла...
 - У васъ были дъти? спросилъ его учитель.
 - Пять штукъ... Одинъ утонулъ... Старшій... забав-

ный быль мальчишка! Двое умерли отъ дифтерита... Одна дочь вышла замужъ за какого-то студента и побхала съ нимъ въ Сибирь, а другая захотъла учиться и умерла въ Питеръ... отъ чахотки, говорять... Д-да... цять было... какъ же! Мы, духовенство, плодовитые...

Онъ сталъ объяснять, почему это именно такъ, возбуждая гомерическій хохоть своимъ разсказомъ. Когда хохотать устали, Алексъй Максимовичъ Симцовъ вспомниль, что у него тоже была дочь.

— Лидкой звали... Толстая была такая...

И больше онъ, должно быть, не помниль ничего, потому что посмотръль на всъхъ, улыбнулся виновато и... умолкъ.

О своемъ прошломъ эти люди мало говорили другъ съ другомъ, вспоминали о немъ крайне ръдко, всегда въ общихъ чертахъ и въ болъе или менъе насмъшливомъ тонъ. Пожалуй, что такое отношеніе къ прошлому и было умно, ибо для большинства людей память о прошломъ ослабляетъ энергію въ настоящемъ и подрываеть надежды на будущее.

А въ дождливне, сърые, холодные дни поздней осени всъ эти бывшіе люди собирались въ трактиръ Вавилова. Тамъ ихъ знали, немножко боялись, какъ воровъ и драчуновъ, немножко презирали, какъ горькихъ пьяницъ, но все-таки уважали и слушали ихъ, считая умнымилюдьми. Трактиръ Вавилова былъ клубомъ Въъзжей улицы, а бывшіе люди—интеллигенціей клуба.

По субботамъ вечерами, въ воскресенье съ утра до ночи трактиръ былъ полонъ, и бывшіе люди являлись въ немъ желанными гостями. Они вносили съ собой въ среду забитыхъ бъдностью и горемъ обывателей улицы свой духъ, въ которомъ было что-то, облегчавшее жизнь людей, истомленныхъ и растерявшихся въ погонъ за кускомъ хлъба, такихъ же пьяницъ, какъ обитатели убъжища Кувалды, и такъ же сброшенныхъ

изъ города, какъ и они. Умѣнье обо всемъ говорить и все осмѣивать, безбоязненность мнѣній, рѣзкость рѣчи, отсутствіе страха передъ тѣмъ, что вся улица боялась, безшабашная, бравирующая удаль этихъ людей — не могли не нравиться улицѣ. Затѣмъ, почти всѣ они знали законы, могли дать любой совѣть, написать прошеніе, номочь безнаказанно, смошенничать. За все это имъ платили водкой и лестнымъ удивленіемъ предъ ихъ талантами.

По своимъ симпатіямъ улица дѣлилась на двѣ почти равныя партіи: одна полагала, что "ротмистръ — куда забористѣй учителя, настоящій воинъ! Храбрость и умъ у него большущіе". Другая была убѣждена, что учитель во всѣхъ отношеніяхъ "перевѣсилъ" Кувалду. Поклонниками Кувалды являлись тѣ изъ мѣщанства, которые были извѣстны въ улицѣ какъ записные пьяницы, воры и сорви-головы, которымъ путь отъ сумы до тюрьмы не казался опаснымъ путемъ. Учителя уважали люди болѣе степенные, на что-то надѣявшіеся, чегото ожидавшіе, вѣчно чѣмъ-то занятые и рѣдко сытые.

Характеръ отношеній Кувалды и учителя къ улицѣ точно опредѣлился слѣдующимъ примѣромъ. Однажды въ трактирѣ обсуждалось постановленіе городской думы, коимъ обыватели Въѣзжей улицы обязывались: рытвины и промоины въ своей улицѣ засыпать, но навоза и труповъ домашнихъ животныхъ для сей цѣли не употреблять, а примѣнять къ дѣлу только щебень и мусоръ съ мѣстъ постройки какихъ-либо зданій.

— Откуда же я долженъ взять этотъ самый щебень, ежели я за всю свою жизнь одну только скворешницу котълъ строить, да и то вотъ еще не собрался?—жалобно заявилъ Мокей Анисимовъ, человъкъ, промышлявшій торговлей тертыми калачами, которые ему пекла жена.

Ротмистръ нашелъ, что ему слъдуетъ высказаться по данному вопросу и грохнулъ кулакомъ по столу, привлекая къ себъ вниманіе.

— Откуда взять щебень и мусоръ? Иди, ребята, всей улицей въ городъ и разбирай думу. Больше она по своей ветхости ни на что не годится. Такимъ образомъ, вы дважды послужите украшенію города — и Въвзжую сдълаете приличной, и новую думу заставите построить. Лошадей для возки возьмите у головы, да захватите и его трехъ дочекъ — дъвицы для упряжи вполив годныя. А то разрушьте домъ купца Іуды Петунникова и вымостите улицу деревомъ. Кстати, я знаю, Мокей, на чемъ твоя жена сегодня калачи пекла: — на ставняхъ съ третьяго окна и двухъ ступенькахъ съ крыльца Іудина дома.

Когда публика вдоволь нахохоталась и поострила надъ предложениемъ ротмистра, степенный огородникъ Павлюгинъ спросилъ:

- А какъ же, все-таки, быть-то, ваше благородіе?... А? Какъ ты разсудишь?
- Я? Ни рукой, ни ногой не двигать! Размываеть улицу ну, и пускай!
 - Нъкоторые дома попадать хотять...
- Не мѣшайте имъ, пускай падають! Упадуть дери съ города вспомоществованіе; не дасть валяй къ нему искъ! Вода-то откуда течетъ? Изъ города? Ну, городъ и виновенъ въ разрушеніи домовъ...
 - Вода отъ дождя, скажуть...
- Да въдь въ городъ дома отъ нея не валятся? А? Онъ съ васъ налоги деретъ, а голоса вамъ для разговора о вашихъ правахъ не даетъ! Онъ вамъ жизнь и имущество портить, да васъ же и чинить заставляеть! Катай его спереди и сзади!

И половина улицы, убъжденная радикаломъ Кувалдой, ръшила ждать, когда ея домишки смоеть дождевой водой изъ города.

Болъе степенные люди нашли въ учителъ человъка, который составилъ имъ превосходную и убъдительную реляцію думъ.

Въ этой реляціи отказъ улицы выполнить постановленія думы быль мотивированъ настолько солидно, что дума вняла. Улицъ разрѣшили воспользоваться мусоромъ, оставшимся отъ ремонта казармъ, и дали ей для возки пять лошадей отъ пожарнаго обоза. Даже болѣе—признали необходимымъ проложить современемъ по улицъ сточную трубу. Это и многое другое создало учителю широкую популярность въ улицъ. Онъ писалъ прошенія, печаталъ замътки въ газетахъ. Такъ, напримъръ, однажды гости Вавилова замътили, что селедки и другія снъди въ трактиръ Вавилова совершенно не соотвътствуютъ своему назначенію. И воть, дня черезъ два Вавиловъ, стоя за буфетомъ съ газетой въ рукахъ, публично каялся.

— Справедливо—одно могу сказать! Дъйствительно, селедки купилъ я ржавыя, не совсъмъ хорошія селедки. И капуста... върно!... задумалась она немножко. Извъстно, въдь каждый человъкъ хочеть какъ можно больше въ свой карманъ пятаковъ нагнать. Ну, и что же? Вышло совсъмъ наобороть: я посягнулъ, а умный человъкъ предалъ меня позору за жадность мою... Квить!

Это покаяніе произвело на публику очень хорошее впечатлівніе и дало возможность Вавилову скормить ей и селедку, и капусту, и все это публика, подъ приправой своего впечатлівнія, незамівтно скушала. Фактъ весьма значительный, ибо онъ не только увеличиваль престижь учителя, но и знакомиль обывателя съ силой печатнаго слова. Случалось, что учитель читаль въ трактирів лекціи практической морали.

— Видълъ я,--говорилъ онъ, обращаясь къ маляру Яшкъ Тюрину,--видълъ я, Яковъ, какъ ты билъ свою жену...

Яшка уже "подмалевался" двумя стаканами водки и находится въ ухарски-развязномъ настроеніи. Публика смотрить на него, ожидая, что воть сейчасъ онъ "выкинеть кольнце", и въ харчевнъ воцаряется тишина.

- Видълъ? А что, понравилось?—спрашиваеть Яшка. Публика сдержанно смъется.
- Нътъ, не понравилось,—отвъчаетъ учитель. Тонъ его такъ внушительно серьезенъ, что публика молчитъ.
- Кажись бы, я старался,—бравируеть Яшка, предчувствующій, что учитель его "сръжеть". — Жена довольна... не встаеть сегодня...

Учитель задумчиво на столъ пальцемъ чертить ка-кія-то фигуры и, разглядывая ихъ, говоритъ:

- -- Видишь ли, Яковъ, почему мив не нравится это... Разберемъ основательно, что именно ты дълаешь и чего можно тебъ отъ этого ждать. Жена у тебя беременна: ты биль ее вчера по животу и по бокамъ-значить, ты билъ не только ее, но и ребенка. Ты могъ его убить, и при родахъ жена твоя умерла бы отъ этого или сильно захворала. Возиться съ больной женой и непріятно, и хлопотно, и дорого это будеть тебъ стоить, нотому что бользни требують лькарствь, а лькарства денегь. Если же ты ребенка не убиль еще, то ужъ навърное изувъчиль, и онь, быть можеть, родится уродомъ: кривобокимъ, горбатымъ. Значитъ, онъ не будетъ способенъ къ работь, а для тебя важно, чтобы онъ быль работникомъ. Даже если онъ родится только больнымъ-и то скверносвяжеть мать и потребуеть леченія. Видишь ли, что ты себъ готовиль? Люди, живущіе трудомъ своихъ рукъ, должны рождаться здоровыми и рождать здоровыхъ дътей... Върно я говорю?
 - Върно, подтверждаетъ публика.
- Ну, это, чай, тово... не случится,—говорить Яшка, нъсколько робъя передъ перспективой, нарисованной учителемъ. Она здоровая... сквозь ее до ребенка не дойдешь, поди-ка? Въдь она, дьяволъ, больно ужъ въдьма!--восклицаетъ онъ съ огорченіемъ.—Чуть я что... и пойдетъ меня ъсть, какъ ржа желъзо!
- Я понимаю, Яковъ, что тебъ нельзя не бить жену, снова раздается спокойный и вдумчивый голось

учителя;—у тебя на это много причинъ... Не характеръ твоей жены причина того, что ты ее такъ неосторожно бъешь... а вся твоя темная и печальная жизнь...

- Вотъ это върно, восклицаетъ Яковъ, живемъ, дъйствительно, въ темнотъ, какъ у трубочиста за пазухой.
- Ты злишься на всю жизнь, а терпить твоя жена... самый близкій къ тебъ человъкъ—и терпить безъ вины передъ тобой только потому, что ты ея сильнъе; она у тебя всегда подъ рукой и дъваться ей отъ тебя некуда. Видишь какъ это... нелъпо!
- Оно такъ... чорть ее возьми! Да въдь что же мнъ дълать-то? Али я не человъкъ?
- Такъ, ты человъкъ!... Ну, воть я тебъ хочу сказать: бить ты ее бей, если безъ этого ужъ не можешь но бей осторожно: помни, что можешь повредить ея здоровью или здоровью ребенка. Никогда вообще не слъдуеть бить беременныхъ женщинъ... по животу, по груди и бокамъ... бей по шеъ или возьми веревку и... по мягкимъ мъстамъ...

Ораторъ кончилъ свою ръчь, и его глубоко ввалившіеся темные глаза смотрять на публику и, кажется, въ чемъ-то извиняются передъ ней или о чемъ-то виновато спрашивають ее.

Она же оживленно шумить. Ей понятна эта мораль бывшаго человъка, мораль кабака и несчастія.

- Что, брать, Яша, поняль ли?
- Воть она какая правда-то бываеть!

Яковъ понялъ: неосторожно бить жену-вредно для него.

Онъ молчить, отвъчая смущенными улыбками на шутки товарищей.

— И опять же, что такое жена? — философствуеть калачникъ Мокъй Анисимовъ: — жена — другъ, ежели правильно вникнуть въ дъло. Она къ тебъ вродъ какъ пъпью на всю жизнь прикована... и оба вы съ ней на

манеръ каторжниковъ. И старайся идти съ ней стройно въ ногу... а не сумъешь — цъпь почуешь...

- Погоди, говорить Яковъ, въдь и ты свою быешь?
- А я развъ говорю нътъ! Бью... Иначе невозможно... Кого же мнъ стъну, что ли, дуть кулаками, когда не въ терпежъ приходить?
 - Ну воть, и я тоже...— говорить Яковъ.
- Ну, какая же у насъ жизнь тъсная и аховая, братцы мои! Нътъ тебъ нигдъ настоящаго размаха!
- И даже жену бей съ оглядкой! юмористически скорбить кто-то. И такъ они бесёдують до поздней ночи или до драки, возникающей на почвъ опьянънія и тъхъ настроеній, какія навъвають на нихъ эти бесёды.

За окнами трактира дождь идеть и дико воеть холодный вътеръ. Въ трактиръ душно, накурено, но тепло; на улицъ мокро, холодно и темно. Вътеръ такъ стучить въ окно, точно дерзко вызываетъ всъхъ этихъ людей изъ трактира и грозитъ разнести ихъ по землъ, какъ пыль. Иногда въ его воъ слышится подавленный, безнадежный стонъ и потомъ раздается холодный, жесткій хохотъ. Эта музыка наводитъ на унылыя мысли о близости зимы, о проклятыхъ короткихъ дняхъ безъ солнца и о длинныхъ ночахъ, о необходимости имътъ теплую одежду и много ъсть. На пустой желудокъ такъ плохо спится въ безконечныя зимнія ночи. Идетъ зима, идетъ... Какъ жить?

Эти невеселыя думы вызывали усиленную жажду обывателей Въважей, и у бывшихъ людей увеличивалось количество вздоховъ въ ихъ рвчахъ и количество морщинъ на лицахъ, голоса становились глуше, отношенія другъ къ другу тупве. И вдругъ среди нихъ вспыхивала звърская злоба, пробуждалось ожесточеніе людей загнанныхъ, измученныхъ своей суровой судьбой. Или ощущалась близость того неумолимаго врага, который всю жизнь ихъ превратилъ въ одну жестокую нельпость. Но этоть врагъ былъ неуловимъ, ибо невъдомъ.

И тогда они били другъ друга; били жестоко, звърски били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что могъ принять въ закладъ нетребовательный Вавиловъ. Такъ, въ тупой злобъ, въ тоскъ, сжимавшей имъ сердца, въ невъдъніи исхода изъ этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще болъе суровыхъ дней зимы.

Кувалда въ такія времена приходилъ къ нимъ на помощь съ философіей.

— Не горюй, братцы! Все имъетъ свой конецъ—это самое главное достоинство жизни. Пройдетъ зима, и сново будетъ лъто... славное время, когда, говорятъ, и у воробъя естъ пиво. — Но его ръчи не дъйствовали — глотокъ самой чистой воды не насытитъ голоднаго.

Дьяконъ Тарасъ тоже пробоваль развлечь публику, распъвая пъсни и разсказывая свои сказки. Онъ имълъ болъе успъха. Иногда его усилія приводили къ тому, что вдругь отчаянное, удалое веселіе вскипало въ трактиръ: пъли, плясали, хохотали и на нъсколько часовъ становились похожими на безумныхъ. Только...

И потомъ опять впадали въ тупое, равнодушное отчаяніе и сидъли за столами трактира въ копоти лампъ, въ табачномъ дыму, угрюмые, оборванные, лъниво переговариваясь другъ съ другомъ, слушая торжествующій вой вътра и думая о томъ, какъ бы напиться водки, напиться до потери чувствъ.

И всѣ были глубоко противны каждому, и каждый таилъ въ себѣ безсмысленную злобу противъ всѣхъ.

Π.

Все относительно на этомъ свътъ, и нътъ въ немъ для человъка того положенія, хуже котораго не могло бы уже ничего быть.

Однажды въ концъ сентября, яснымъ днемъ, рогмистръ Аристидъ Кувалда сидълъ, по обыкновенію, въ своемъ креслъ у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцомъ Петунниковымъ каменное зданіе рядомъ съ трактиромъ Вавилова, думалъ.

Зданіе, еще окруженное лъсами, предназначалось подъ свъчной заводъ и давно уже кололо глаза ротмистру пустыми и темными впадинами длиннаго ряда своихъ оконъ и этой паутиной дерева, окружавшей его отъ основанія до крыши. Красное, точно кровью обмазанное, оно походило на какую-то жестокую машину, еще не дъйствующую, но уже разинувшую рядъ глубокихъ, жадно зіяющихъ пастей и готовую что-то поглощать, жевать и пожирать. Сърый деревянный трактиръ Вавилова, съ кривой крышей, поросшей мхомъ, оперся на одну изъ кирпичныхъ стънъ завода и казался какимъ-то большимъ паразитомъ, присосавшимся къ ней.

Ротмистръ думалъ о томъ, что скоро и на мѣстѣ стараго дома начнутъ строить. Сломаютъ и ночлежку. Придется искать другое помѣщеніе, а такого удобнаго и дещеваго не найдешь. Жалко, грустно какъ-то уходить съ насиженнаго мѣста. Уходить же придется только потому, что нѣкій купецъ пожелалъ производить свѣчи и мыло. И ротмистръ чувствовалъ, что если бъ ему представился случай чѣмъ-нибудь хоть на время испортить жизнь этому врагу — о! съ какимъ наслажденіемъ онъ испортилъ бы ее!

Вчера купецъ Иванъ Андреевичъ Петунниковъ былъ на дворъ ночлежки съ архитекторомъ и своимъ сыномъ. Измъряли дворъ и всюду натыкали въ землю какихъто палочекъ, которыя, по уходъ Петунникова, ротмистръ приказалъ Метеору вытаскать изъ земли и побросать.

Передъ глазами ротмистра стоялъ этотъ купецъ — маленькій, сухонькій, въ длиннополомъ од'яніи, похожемъ одновременно на сюртукъ и на поддевку, въ бархатномъ картузъ и высокихъ, ярко начищенныхъ сапогахъ. Костлявое скуластое лицо, съ съдой, клинообразной бородой, съ высокимъ, изръзаннымъ морщина-

ми лбомъ, и изъ-подъ него сверкали узкіе, сърые глазки, прищуренные, всегда что-то высматривающіе... Острый хрящеватый носъ, маленькій ротъ съ тонкими губами... Въ общемъ, у купца видъ благочестиво-хищный и почтенно-злой.

- Проклятая помъсь лисицы и свиньи!—выругался про-себя ротмистръ и вспомнилъ первую фразу Петунникова, касавшуюся его. Купецъ пришелъ съ членомъ городской управы покупать домъ и, увидъвъ ротмистра, спросилъ у своего провожатаго бойкимъ костромскимъ говоромъ:
- Энто тотъ самый огарокъ... квартирантъ-то вашъ? И съ той поры вотъ уже почти полтора года они состязаются другъ съ другомъ въ своемъ умъньъ оскорблять человъка.

И вчера между ними произошло легонькое "упражненіе въ буесловіи", какъ называль ротмистръ свои разговоры съ купцомъ. Проводивъ архитектора, купецъ подошель къ ротмистру.

- Сидишь?—спросиль онъ, дергая рукой за козырекъ картуза, такъ что нельзя было понять, поправляеть ли онъ его, или же хочеть изобразить поклонъ.
- Мыкаешься?—въ тонъ ему сказалъ ротмистръ и сдълалъ движеніе нижней челюстью, отчего борода его вздрогнула и что нетребовательный человъкъ могъ принять за поклонъ или за желаніе ротмистра пересунуть свою трубку изъ одного угла рта въ другой.
- Денегъ у меня много вотъ и мыкаюсь. Деньги хотять, чтобъ ихъ въ жизнь пускали, воть я и даю имъ ходъ...—немножко дразнить ротмистра купецъ, лукаво прищуривая свои глазки.
- Не тебъ, значить, рубль служить, а ты рублю, комментируетъ Кувалда, борясь съ желаніемъ дать пинка въ животь купцу.
- Али это не все равно? Съ ними, съ деньгами-то, всяко пріятно... А вотъ ежели безъ нихъ...

И купецъ съ нахально-поддъланнымъ состраданіемъ оглядываетъ ротмистра. У того верхняя губа прыгаеть, обнажая крупные волчьи зубы.

- Имъя умъ и совъсть, можно жить и безъ нихъ... Онъ обыкновенно являются какъ разъ въ то время, когда у человъка совъсть усыхать начинаетъ... Ея меньше, а ихъ больше...
- Это върно... А то есть люди, у которыхъ ни денегъ, ни совъсти...
- Ты смолоду-то такимъ и былъ? простодушно спрашиваеть Кувалда. Теперь у Петунникова вздрагиваеть носъ. Иванъ Андреевичъ вздыхаеть, щурить глазки и говорить:
- Мит смолоду о-охъ большія тяжести поднять пришлось!
 - Я думаю...
 - Работалъ я, охъ, какъ работалъ!
 - А многихъ обработалъ!
- Такихъ какъ ты? Дворянъ-то? Ничего... достаточно ихъ отъ меня Христовой молитвъ выучились...
- Не убивалъ, только грабилъ?—ръжетъ ротмистръ. Петунниковъ зеленъетъ и находитъ нужнымъ измънить тему.
 - А хозяинъ ты плохой—сидишь, а гость стоить...
 - Пусть и онъ сядеть, разръщаеть Кувалда.
 - Да не на что, вишь...
 - На землю... земля всякую дрянь принимаеть...
- Я это по тебъ вижу... Однако, пойти отъ тебя, ругателя, —ровно и спокойно сказалъ Петунниковъ, но глаза его излили на ротмистра холодный ядъ.

И онъ ущелъ, оставивъ Кувалду въ пріятномъ сознаніи, что купецъ боится его. Если бъ онъ не боялся, такъ уже давно бы выгналъ изъ ночлежки. Не изъ-за пяти же рублей въ мъсяцъ онъ не гонитъ его! И ротмистру пріятно смотръть въ спину Петунникова, медленно удаляющагося со двора. Потомъ ротмистръ слъдить, какъ купецъ ходить около своего завода, ходить по лъсамъ вверхъ и внизъ. И ему очень хочется, чтобъ купецъ упалъ и изломалъ себъ кости. Сколько уже онъ создалъ остроумныхъ комбинацій паденія и всяческихъ увъчій, глядя на Петунникова, лазившаго по лъсамъ своего завода, какъ паукъ по своей съткъ. Вчера ему даже показалось, что воть одна доска дрогнула подъ ногами купца, и ротмистръ въ волненіи вскочилъ со своего мъста... Но ничего не вышло.

И сегодня, какъ всегда, передъ глазами Аристида Кувалды торчить это красное зданіе, такое прочное, плотное, такъ кръпко вцъпившееся въ землю, точно уже высасывающее изъ нея соки. И кажется, что оно колодно и темно смъется надъ ротмистромъ зіяющими дырами своихъ стънъ. Солнце льеть на него свои осенніе лучи такъ же щедро, какъ и на уродливые домики Въъзжей улицы.

— А вдругь! — мысленно воскликнуль ротмистрь, измъряя глазами стъну завода. — Ахъ, ты, чорть возьми! Если бы... — весь встрепенувшись, возбужденный своей мыслью, Аристидъ Кувалда вскочилъ и торопливо пошелъ въ трактиръ Вавилова, улыбаясь и бормоча что-то про-себя.

Вавиловъ встрътилъ его за буфетомъ дружескимъ восклицаніемъ:

— Вашему благородію здравія желаемъ!

Средняго роста, съ лысой головой, въ вънчикъ съдыхъ кудрявыхъ волосъ, съ бритыми щеками и съ прямо-торчащими усами, похожими на зубныя щетки, прямой и ловкій, въ замазанной кожаной курткъ, онъ каждымъ своимъ движеніемъ позволялъ узнать въ немъ стараго унтеръ-офицера.

- Егоръ! У тебя вводный листь и планъ на домъ есть?—торопливо спросилъ Кувалда.
 - Имъю.

Вавиловъ подозрительно сузилъ свои вороватые

глаза и пристально уставился ими въ лицо ротмистра, въ которомъ онъ видълъ что-то особенное.

- Покажи мнъ! воскликнулъ ротмистръ, стукая кулакомъ по стойкъ и опускаясь на табуретъ около нея.
- A зачъмъ? спросилъ Вавиловъ, ръшившійся при видъ возбужденія Кувалды держать ухо востро.
 - Болванъ, неси скоръй!

Вавиловъ наморщилъ лобъ и испытующе поднялъ глаза къ потолку.

— Гдъ онъ у меня, эти самыя бумаги?

На потолкъ не нашлось никакихъ указаній по этому вопросу; тогда унтеръ устремиль глаза на свой животъ и съ видомъ озабоченной задумчивости сталъ барабанить пальцемъ по стойкъ.

- Будеть тебъ кобениться!—прикрикнуль на него ротмистръ, не любившій его, находя, что бывшему солдату привычнъе быть воромъ, чъмъ трактирщикомъ.
- Да я, Ристидъ Өомичъ, ужъ вспомнилъ. Кажись, онъ въ окружномъ судъ остались. Какъ я вводился во владъніе...
- Егорка, брось! Въ виду твоей же пользы, покажи мнъ сейчасъ планъ, купчую и все, что есть. Можеть быть, ты не одну сотню рублей выиграешь отъ этого—понялъ?

Вавиловъ ничего не понялъ, но ротмистръ говорилъ такъ внушительно, съ такимъ серьезнымъ видомъ, что глаза унтера загорълись пылкимъ любопытствомъ, и, сказавъ, что посмотрить, нътъ ли этихъ бумагъ у него въ укладкъ, онъ ушелъ въ дверь за буфетомъ. Черезъ двъ минуты онъ возвратился съ бумагами въ рукахъ и съ выраженіемъ крайняго изумленія на рожъ.

- Анъ онъ, проклятыя, дома!
- Эхъ ты... панцъ изъ балагана! А еще солдатъ былъ...—не преминулъ укорить его Кувалда, выхвативъ изъ его рукъ коленкоровую папку съ синей актовой бумагой. Затъмъ, развернувъ передъ собой бумаги и

все болъе возбуждая любопытство Вавилова, ротмистръ сталъ читать, разсматривать и при этомъ многозначительно мычалъ. Вотъ, наконепъ, онъ ръшительно всталъ и пошелъ къ двери, оставивъ бумаги на стойкъ и кинувъ Вавилову:

— Погоди... не прячь ихъ...

Вавиловъ собраль бумаги, положилъ ихъ въ ящикъ выручки, заперъ его и подергалъ рукой — хорошо ли запердось? Потомъ онъ, задумчиво потирая лысину, вышелъ на крыльцо харчевни. Тамъ онъ увидалъ, что ротмистръ, измъривъ шагами фасадъ харчевни, щелкнулъ пальцами и снова началъ измърять ту же линю, озабоченный, но довольный.

Лицо Вавилова какъ-то напрягалось, потомъ вытянулось, потомъ вдругъ радостно просіяло.

- Ристидъ Оомичъ! Неужто? воскликнулъ онъ, когда ротмистръ поровнялся съ нимъ.
- Воть те и неужто! Больше аршина отръзано. Это по фасаду, а вглубь сейчасъ узнаю...
 - Вглубь?... десять саженъ два аршина!
 - Что, догадался, бритая харя?
- Какъ же, Ристидъ Өомичъ! Ну и глазокъ у васъ— въ землю вы на три аршина видите!—съ восхищениемъ воскликнулъ Вавиловъ.

Черезъ нъсколько минуть они сидъли другъ противъ друга въ комнатъ Вавилова, и ротмистръ, большими глотками уничтожая пиво, говорилъ трактирщику:

— Итакъ, вся ствна завода стоитъ на твоей землъ. Дъйствуй безъ всякой пощады. Придетъ учитель, и мы накатаемъ прошеніе въ окружной. Цъну иска, чтобы не тратиться на гербовыя, назначимъ самую скромную, а просить будемъ о сломкъ. Это, дуракъ ты мой, называется нарушеніемъ границъ чужого владънія... очень пріятное событіе для тебя! Ломай! А ломать такую махину да подвигать ее — дорого стоитъ.

Мировую! Туть ты и прижми Іуду. Мы разсчитаемъ, сколько будеть стоить сломка самымъ точнымъ образомъ — съ битымъ кирпичомъ, съ ямой подъ новый фундаментъ... все высчитаемъ! Даже время примемъ въ счеть! И — позвольте, благочестивый Іуда, двъ ты-ся-чи рублей!

- Не дасты! тревожно моргая глазами, сверкавшими жаднымъ огнемъ, вытянулъ Вавиловъ.
- Вреть! Дасть! Ты пошевели мозгами что ему дълать? Ломать? Но смотри, Егорка, не продешеви! Покупать тебя будуть—не продавайся дешево! Пугать будуть не бойся! Положись на насъ...

Глаза у ротмистра горъли свиръпой радостью, и лицо, красное отъ возбужденія, судорожно подергивалось. Онъ разжегъ алчность трактирщика и, убъдивъего дъйствовать возможно скоръе, ушелъ торжествующій и непреклонно-свиръпый.

Вечеромъ всв бывшіе люди узнали объ открытіи ротмистра и, горячо обсуждая будущія дійствія Петунникова, изображали въ яркихъ краскахъ его изумленіе и злобу въ тоть день, когда судебный разсыльный вручить ему копію иска. Ротмистръ чувствоваль себя героемъ. Онъ быль счастливъ, и всв вокругъ него были довольны. Большая куча темныхъ, одътыхъ въ лохмотья фигуръ лежала на дворъ и шумъла, и ликовала, оживленная событіемъ. Всв они знали купца Петунникова, проходившаго много разъ мимо нихъ. Презрительно щуря глаза, онъ дарилъ ихъ такимъ же вниманіемъ, какъ и весь другой мусоръ, валявшійся на дворъ. Отъ него въяло сытостью, раздражавшей ихъ, и даже сапоги его блестъли пренебрежениемъ ко всъмъ имъ. И вотъ теперь одинъ изъ нихъ сильно ударить этого купца по его карману и самолюбію. Развъ это не хорошо?

Зло въ глазахъ этихъ людей имъло много привле-

кательнаго. Оно было единственнымъ орудіемъ по рукъ и по силъ имъ. Каждый изъ нихъ давно уже воспиталъ въ себъ полусознательное, смутное чувство острой непріязни ко всемъ людямъ сытымъ и одетымъ не въ лохмотья, и въ каждомъ изъ нихъ было это чувство въ разныхъ степеняхъ его развитія. Оно-то и вызывало у всъхъ бывшихъ людей жгучій интересъ къ войнъ, объявленной Кувалдой купцу Петунникову.

Двъ недъли жила ночлежка ожиданіемъ новыхъ событій, и за все это время Петунниковъ ни разу не являлся на постройку. Дознано было, что его нъть въ городъ, и что копія прошенія еще не вручена ему. Кувалда громилъ практику гражданскаго судопроизводства. Едва ли когда-нибудь и кто-либо ждаль этого купца съ такимъ напряженнымъ нетерпъніемъ, съ которымъ ожидали его босяки.

- Не идеть, не идеть мой ненаглядный-й...
- Эхъ, знать, не любить онъ м-меня-а!--пъль дьяконъ Тарасъ, поджавъ щеку и юмористически-скорбно глядя въ гору.

И воть однажды подъ вечеръ Петунниковъ явился. Онъ прівхаль въ солидной тележке съ сыномъ въ роли кучера-краснощекимъ малымъ, въ длинномъ клътчатомъ пальто и въ темныхъ очкахъ. Они привязали лошадь къ лъсамъ; -- сынъ вынуль изъ кармана рулетку. подалъ конецъ ея отцу и они начали мърить землю, оба молчаливые и озабоченные.

— Ага-а!-торжествуя, возгласиль ротмистръ.

Всв, кто быль налицо въ ночлежкв, высыпали къ воротамъ и смотръли, вслухъ выражая свои мивнія по поводу происходившаго.

— Что значить привычка воровать — человъкъ воруеть даже и по ошибкъ, не желая украсть, рискуя потерять больше того, сколько украдеть...-собользновалъ ротмистръ, вызывая у своего штаба смъхъ и рядъ подобныхъ замфчаній.

- Ой, малый!—воскликнулъ, наконецъ, Петунниковъ, взорванный насмъшками, гляди, какъ бы я тебя за твои слова къ мировому не потянулъ!
- Безъ свидътелей ничего не выйдетъ... Родной сынъ не можетъ свидътельствовать со стороны отца...— предупредилъ ротмистръ.
- Ну, гляди же! Атаманъ-то ты храбрый, да въдь и на тебя найдется управа!

И Петунниковъ грозилъ пальцемъ... Сынъ его, спокойный и погруженный въ расчеты, не обращалъ внимапія на эту кучку темныхъ людей, зло потъщавшихся надъ его отцомъ. Онъ даже не взглянулъ ни разу въ ихъ сторону.

— Молоденькій паучокъимъеть хорошую выдержку, замътилъ Объъдокъ, подробно прослъдивъ всъ дъйствія и движенія Петунникова младшаго.

Обмъривъ все, что было нужно, Иванъ Андреевичъ нахмурился, молча сълъ въ телъжку и уъхалъ, а его сынъ твердыми шагами пошелъ къ трактиру Вавилова и скрылся въ немъ.

- Ого! ръшительный молодой воръ... да! Ну-ка, что будеть дальше?—спросилъ Кувалда.
- А дальше Петунниковъ младшій купить Егора Вавилова... увъренно сказалъ Обътдокъ и вкусно чмокнулъ губами, выражая полное удовольствіе на своемъ остромъ лицъ.
- А ты этому радъ, что ли?—сурово спросилъ Кувалда.
- А мив пріятно видвть, какъ людскіе расчеты пе оправдываются, съ наслажденіемъ объясниль Объвдокъ, щуря глаза и потирая руки.

Ротмистръ сердито плюнулъ и промолчалъ. И всъ они, стоя у воротъ полуразрушеннаго дома, молчали и смотръли на дверь харчевни. Прошелъ часъ и болъе въ этомъ ожидающемъ молчании. Потомъ дверь харчевни отворилась и Пстунниковъ вышелъ изъ нея такой же

спокойный, какимъ вошелъ въ нее. Онъ остановился на минуту, кашлянулъ, приподнялъ воротникъ пальто, посмотрълъ на людей, наблюдавшихъ за нимъ, и пошелъ вверхъ по улицъ въ городъ.

Ротмистръ проводилъ его глазами и, обращаясь къ Объёдку, усмёхнулся.

— А въдь, пожалуй; ты правъ, сынъ скорпіона и мокрицы... У тебя есть нюхъ на все подлое... да... Уже по каръ этого юнаго жулика видно, что онъ добился своего... Сколько взялъ съ нихъ Егорка? Онъ взялъ... Онъ ихъ же поля ягода. Онъ взялъ, будь я трижды проклятъ! Это я устроиль ему. Горько мнъ понимать мою глупость. Да, жизнь вся противъ насъ, братцы мои, мерзавцы! И даже когда плюнешь въ рожу ближняго, плевокъ летить въ твои же глаза.

Утвшивъ себя этой сентенціей, почтенный ротмистръ посмотрѣлъ на свой штабъ. Всѣ были разочарованы ибо всѣ чувствовали, что то, что произошло между Вавиловымъ и Петунниковымъ, произошло не такъ, какъ они ждали. И всѣмъ было обидно это. Сознаніе неумѣнья причинить зло болѣе оскорбительно для человѣка, чѣмъ сознаніе невозможности сдѣлать добро, потому что зло дѣлать такъ легко и просто.

— Итакъ,—чего же мы тутъ торчимъ? Намъ нечего больше ждать... кромъ могарыча, который я сдерну съ Егорки... — сказалъ ротмистръ, хмуро посматривая на харчевню. — Благоденственному и мирному житію нашему подъ кровлей Іуды—пришелъ конецъ. Попретъ насъ Іуда вонъ... О чемъ и объявляю по ввъренному мнъ департаменту санкюлотовъ...

Конецъ мрачно засмъялся.

- Тюремщикъ, ты чего? спросилъ Кувалда.
- Куда жъ я пойду?
- Это, душа моя, вопросище... Судьба твоя отвътить на него, не безпокойся, задумчиво сказаль рот-

мистръ, идя въ ночлежку. Бывшіе люди лѣниво двинулись за нимъ.

- Мы подождемъ критическаго момента,—говорилъ ротмистръ, шагая среди нихъ. Когда насъ вытурятъ вонъ, тогда мы и поищемъ новой норы для себя. А пока не стоитъ портить жизнь такими думами... Въ критическіе моменты человѣкъ становится энергичнѣе... и если бъ жизнь, во всей ея совокупности, сдѣлать сплошнымъ критическимъ моментомъ, если бъ каждую секунду человѣкъ принужденъ былъ дрожать за цѣлость своей башки... ей Богу, жизнь была бы болѣе живой, а люди болѣе интересными!
- Т.-е. съ большей яростью грызли бы глотки другъ другу,—пояснилъ Объёдокъ, улыбаясь.
- Ну, такъ что же? задорно воскликнулъ ротмистръ, не любившій, чтобы его мысли пояснялись.
- А ничего... это хорошо. Когда хотять скоръе куда-нибудь доъхать, лошадей быють кнутомъ, а машины раздражають огнемъ.
- Ну, да! Пусть все скачеть къ чорту на кулички! Мнѣ было бы пріятно, если бъ земля вдругь вспыхнула и сгорѣла или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погибъ послѣдній, посмотрѣвъ сначала на другихъ...
 - Свиръпо! усмъхнулся Объъдокъ...
- Такъ что? Я—бывшій человъкъ...—такъ? Я отверженъ—значить, я свободенъ отъ всякихъ путь и узъ... Значить, я могу наплевать на все! Я долженъ по роду своей жизни отбросить въ сторону все старое... всъ манеры и пріемы отношеній къ людямъ, существующимъ сыто и нарядно и презирающимъ меня за то, что въ сытости и костюмъ я отсталь отъ нихъ... и я долженъ воспитать въ себъ что-то новое понялъ? Такое, знаешь, чтобы мимо меня идущіе господа жизни вродъ Іуды Петунникова при видъ моей представительной фигуры—трепетъ хладный въ печенкахъ ощущали!



- Экій у тебя языкъ храбрый,— смъялся Объъдокъ...
- Эхъ ты!.. мизерь... презрительно оглядъль его Кувалда.—Что ты понимаешь? Что ты знаешь? Умъешь ли ты думать? А я думалъ... и читаль книги, въ которыхъ ты не поняль бы ни слова.
- Еще бы! Гдъ мнъ щи лаптемъ хлебать... Но хотя ты читалъ и думалъ, а я не дълалъ ни того, ни другого, однако, недалеко же мы другъ отъ друга ушли...
 - Пошелъ къ чорту! вскричалъ Кувалда.

Его разговоры съ Объвдкомъ всегда такъ кончались. Вообще безъ учителя его рвчи, — онъ самъ это зналъ, — только воздухъ портили и расплывались въ немъ безъ оцвнки и вниманія къ нимъ; но не говорить онъ не могъ. И теперь, обругавъ своего собесвдника, онъ чувствовалъ себя одинокимъ среди своихъ людей. А говорить ему хотълось, и потому онъ обратился къ Симцову съ вопросомъ:

— Ну, а ты, Алексъй Максимовичъ, куда преклопишь свою съдую голову?

Старикъ добродушно улыбнулся, потеръ рукой свой носъ и объявилъ:

- Не знаю... увижу! Наше дъло маленькое: выпилъ, да еще!
- Почтенная, хотя и простая задача! похвалиль его ротмистръ.

Симцовъ, помолчавъ, добавилъ, что онъ устроится скоръе всъхъ ихъ, потому что его женщины очень любятъ. Это была правда: старикъ всегда имълъ двухъ — трехъ любовницъ изъ проститутокъ, содержавшихъ его по два и три дня къ ряду на свои скудные заработки. Онъ часто били его, но онъ относился къ этому стоически; сильно избитъ его они почему-то не могли—можетъ быть, жалъли. Онъ былъ страстный женолюбецъ и разсказывалъ, что женщины — причина

всёхъ несчастий его жизни. Близость его отношеній къ женщинамъ и характеръ ихъ отношеній къ нему подтверждались и частыми бользнями его, и костюмомъ, всегда хорошо починеннымъ и болье чистымъ, чъмъ костюмы товарищей. И теперь, сидя на землъ у дверей ночлежки въ кругу своихъ товарищей, онъ хвастливо началъ разсказывать, что его давно уже зоветъ Ръдька жить съ ней, но онъ не идетъ къ ней, не хочеть уйти изъ компаніи.

Его слушали съ интересомъ и не безъ зависти. Ръдьку всъ знали — она жила недалеко подъ горой... и недавно только отсидъла нъсколько мъсяцевъ за вторую кражу. Это была "бывшая" кормилица, высокая и дородная деревенская баба, съ рябымъ лицомъ и очень красивыми, хотя всегда пьяными глазами.

- Ишь ты, старый чорть! выругался Объедокъ, глядя на самодовольно улыбавшагося Симцова
- А почему онъ меня любять? Потому что я знаю, чъмъ жива ихъ душа...
 - Н-да? вопросительно воскликнулъ Кувалда.
- Умъю заставить ихъ жалъть меня. А женщина, когда она пожалъеть хоть заръжеть изъ жалостп. Плачь передъ ней, проси ее убить тебя, пожалъеть и— убъеть...
- Это я убыю! ръшительно заявилъ Мартьяновъ, усмъхаясь своей мрачной усмъшкой.
- Кого? спросилъ Объйдокъ, отодвигаясь отъ него въ сторону.
 - Все равно... Петунникова... Егорку... хоть тебя!
- Зачъмъ? освъдомился Кувалда съ большимъ интересомъ.
- Хочу въ Сибирь... Мнъ надовло это... подлая жизнь... А тамъ ужъ будешь знать, какъ нужно жить...
- Д-да, тамъ укажутъ подробно, меланхолически согласился ротмистръ.

О Петунниковъ и грядущемъ выселеніи изъ ночлежки больше не говорили. Всъ уже были увърены, что выселеніе близко къ нимъ—въ разстояніи двухъ—трехъ дней, можетъ быть, и считали излишнимъ утруждать себя разсужденіями на эту тему. Отъ разговоровъ положеніе не улучшилось бы, да, наконецъ, было еще не холодно, хотя и начинались дожди—можно было спать на любомъ клочкъ земли за городомъ.

Расположившись кружкомъ на травъ, эти люди лъниво вели безконечную бесъду о разныхъ разностяхъ, свободно переходя отъ одной темы къ другой и тратя столько вниманія къ чужимъ словамъ, сколько нужно было его для того, чтобы продолжать бесъду, не прерывая. Молчать было скучно, но и внимательно слушать тоже скучно. Это общество бывшихъ людей имъло одно великое достоинство: въ немъ никто не насиловалъ себя, стараясь казаться лучше, чъмъ онъ есть, и не возбуждалъ другихъ къ такому насилію налъ собой.

Августовское солнце старательно прокаливало лохмотья этихъ людей, подставившихъ ему свои спины и нечесаныя головы — хаотическое соединеніе царства растительнаго съ минеральнымъ и животнымъ. Въ углахъ двора росъ пышный бурьянъ—высокіе лопухи, усѣянные цѣпкими репьями, и еще какія-то никому ненужныя растенія услаждали взоры никому ненужныхъ людей...

А въ харчевиъ Вавилова разыгралась слъдующая сцена.

Петунниковъ младшій вошель въ нее не торопясь, осмотрълся, поморщился брезгливо и, медленно снявъ съ головы сърую шляпу, спросилъ у трактирщика, встрътившаго его почтительнымъ поклономъ и любезной усмъшкой:

- Егоръ Терентьевичъ Вавиловъ-это вы и есть?
- Точно такъ! отвътилъ унтеръ, опираясь о прилавокъ объими руками, какъ бы готовый перепрыгнуть черезъ него.
 - Имъю къ вамъ дъло, заявилъ Петунниковъ.
 - Вполнъ пріятно... Пожалуйте въ комнаты!

Они прошли въ комнаты и съли - гость на клеепчатый диванъ передъ круглымъ столомъ, хозяинъ на стулъ противъ него. Въ одномъ углу комнаты горъла лампада передъ громаднымъ трехстворчатымъ кіотомъ, на ствив около него тоже висвли иконы. Ризы ихъ были ярко вычищены и блестели, какъ новыя. Въ комнать, тьсно заставленной сундуками и старой разнообразной мебелью, пахло деревяннымъ масломъ. табакомъ и кислой капустой. Петунниковъ осмотрълся и снова скорчилъ гримасу. Вавиловъ со вздохомъ взглянулъ на иконы, а потомъ они пристально осмотръли другъ друга и оба взаимно хорошее впечатленіе. Петунникову понравились откровенно-вороватые глаза Вавилова. Вавилову — открытое, холодное и ръшительное лицо Петунникова съ широкими крънкими скулами и частыми бъльми зубами.

- Ну-съ, вы, конечно, знаете меня и догадываетесь, насчеть чего я буду говорить! — началъ Петунниковъ.
- Насчеть иску... я такъ полагаю, почтительно сказалъ унтеръ.
- Именно. Пріятно вид'ють, что вы не ломаетесь, а идете къ д'юлу, какъ челов'юкъ прямой души,—поощриль Петунниковъ собес'юдника.
 - -- Солдатъ-съ я...-скромно сказалъ тотъ.
- Это видно. Итакъ, будемъ вести дѣло просто и прямо, чтобы скорѣе копчить его...
 - Вотъ именно.
 - Хорошо-съ... Вашъ искъ вполиъ законевъ, и вы

его, конечно, выиграете — это прежде всего я считаю нужнымъ сообщить вамъ.

- Покорно благодарю, сказалъ унтеръ, моргнувъ глазами, чтобы скрыть въ нихъ улыбку.
- Но, скажите, зачёмъ же вамъ понадобилось на чинать знакомство съ нами, вашими будущими сосёдями, такъ рёзко... прямо съ суда?

Вавиловъ пожалъ плечами и смолчалъ.

- Было бы проще придти къ намъ и устроить все миромъ... a? Какъ вы думаете?
- Это, конечно, пріятите. Да видите ли... туть есть одна закорючка... не своей волей я дъйствовалъ... а по наущенію... Послъ понялъ, какъ было бы лучше-то, ну, ужъ поздно.
- Такъ... Васъ, полагаю, адвокатъ какой-нибудь научилъ?
 - Въ этомъ родъ...
 - Ага! Ну-съ, такъ желаете кончить дъло миромъ?
- Съ полнымъ удовольствіемъ!—воскликнулъ солдать.

Петунниковъ помолчалъ, посмотрълъ на него и вдругъ холодно и сухо спросилъ:

— А почему вы этого желаете?

Вавиловъ не ожидалъ такого вопроса и сразу не могъ отвътить. По его мнънію, это былъ пустой вопросъ, и солдать, съ сознаніемъ превосходства, усмъхнулся въ лицо Петунникова-сына.

- Извъстно почему... съ людьми надо стараться жить въ миръ.
- Ну,—перебилъ его Петунниковъ,—это не совсъмъ такъ. Вы, какъ я вижу, неясно понимаете, почему вамъ хотълось бы помириться съ нами... Я разскажу вамъ это.

Солдать удивился немного. Этотъ парень, весь одътый въ клътчатую матерію и довольно смъшной въней, говорилъ такъ, какъ. бывало, говорилъ ротный

командиръ Ракшинъ, подъ сердитую руку выбивавшій у рядовыхъ сразу по три зуба.

- Вамъ нужно помириться съ нами потому, что наше сосъдство вамъ очень выгодно! А выгодно оно потому, что у насъ на заводъ будеть рабочихъ не менъе полутораста человъкъ, со временемъ—болъе. Если сто изъ нихъ послъ каждаго недъльнаго расчета выпьють у васъ по стакану, значитъ, въ мъсяцъ вы продадите на четыреста стакановъ больше, чъмъ продаете теперь. Это я взялъ самое меньшее. Затъмъ у васъ харчевня. Вы, кажется, неглупый и бывалый человъкъ, сообразите-ка сами выгодность нашего сосъдства.
- Это върно-съ... кивнулъ головой Вавиловъ, это я зналъ.
 - И что же?-громко освъдомился купецъ.
 - Ничего-съ... Давайте помиримся...
- Очень пріятно, что вы такъ скоро рѣшаете. Воть я припасъ заявленіе въ судъ о прекращеніи вами претензіи противъ отца. Прочитайте и подпишите.

Вавиловъ круглыми глазами посмотрълъ на своего собесъдника и вздрогнулъ, предчувствуя что-то крайне скверное.

- Позвольте... подписать? А какъ же это?
- Просто, вотъ напишите имя и фамилію и больше ничего, обязательно указывая пальцемъ, гдъ подписать, объяснилъ Петунниковъ.
- Нътъ—это что-о! Я не про это... Я насчеть того, какое же мит вознаграждение за землю вы дадите?
- Да въдь вамъ эта земля ни къ чему!—успокоштельно сказалъ Петунниковъ.
 - Однако, она моя!-воскликнулъ солдатъ.
 - --- Конечно... А сколько вы хотвли бы?
- Да хоть бы—по иску... Какъ тамъ прописано, робко заявилъ Вавиловъ.
- Шестьсоть?—Петунниковъ мягко засмѣялся:—Ахъ вы чудакъ!

- Я имъю право... Я могу хоть двъ тысячи требовать... Могу настоять, чтобы вы сломали... Я такъ и хочу... Потому и цъна иска такая малая. Я требую ломать!
- Валяйте... Мы, можеть быть, и сломаемъ... года черезъ три, втянувъ васъ въ большія издержки по суду. А заплативъ, откроемъ свой кабачокъ и харчевню получше вашей вы и пропадете, какъ шведъ подъ Полтавой. Пропадете, голубчикъ, ужъ мы объ этомъ позаботимся. Мы могли бы теперь начать хлопоты насчеть кабачка, да возня это, а намъ время дорого. Да жалко и васъ зачъмъ же у человъка ни за что, ни про что хлъбъ отбивать?

Егоръ Терентьевичъ, кръпко сцъпивъ зубы, смотрълъ на своего гостя и чувствовалъ, что гость — владыка его судьбы. Жалко стало Вавилову себя предъ лицомъ этой холодно-спокойной, неумолимой фигуры въ смъшномъ клътчатомъ костюмъ.

— А въ такомъ близкомъ сосъдствъ съ нами находясь и въ согласіи живя, вы, служивый, хорошо могли бы заработать. Объ этомъ мы тоже бы позаботились. Я, напримъръ, даже сейчасъ порекомендую вамъ лавочку маленькую открыть. Знаете — табачокъ, спички, хлъбъ, огурцы и такъ далъе... Все это будетъ имъть хорошій сбытъ.

Вавиловъ слушалъ и, какъ неглупый малый, понималъ, что отдаться на великодушіе врага—всего лучше. Собственно, съ этого и надо бы начать. И не зная, куда дъвать свою обиду и злобу, солдатъ вслухъ обругалъ Кувалду:

- Пьяница, ан-наоема, чортъ тебя задави!
- Это вы того адвоката, который сочиняль вамы прошеніе?—спокойно спросиль Петунниковы и, вздохнувь, добавиль:—дъйствительно, онь могы сыграть съвами скверную шутку... если бы мы не пожальли васъ.
 - Эхъ!-- махнулъ рукой огорченный солдать;-- ихъ

двое туть... Одинъ нашелъ, другой писалъ... Корреспондентъ проклятый!

- Это почему же корреспонденть?
- Пишеть въ газеты... Все ваши постояльцы... Воть люди! Уберите вы ихъ, гоните, Христа ради! Разбойники! Всъхъ здъсь въ улицъ мутять, настраивають. Житья нъть отъ нихъ... отчаянные люди того гляди, ограбять или подожгуть...
- A этоть корреспонденть... онъ кто такой?—заинтересовался Петунниковъ.
- Онъ? Пьяница! Учителемъ былъ—выгнали. Пропился и... вотъ пишеть въ газеты, сочиняетъ прошенія. Очень подлый человъкъ!
- Гмъ! Онъ вамъ и писалъ прошеніе? Та-акъ-съ! Очевидно, онъ же писалъ и о безпорядкахъ на стройкъ, —лъса тамъ, что ли, нашелъ неправильно поставленными.
- Онъ! Я это знаю, онъ, собака! Самъ здъсь читалъ и хвалился—воть я, говорить, Петунникова въ убытокъ ввелъ.
- H-да... Ну-съ, такъ какъ же вы мириться намърены?
 - Мириться?

Солдать опустиль голову и задумался.

- Эхъ ты, жизнь наша темная! съ обидой въ голосъ воскликнулъ онъ, почесавъ затылокъ.
- Учиться надо, порекомендоваль ему Петунниковъ, закуривая папиросу.
- Учиться? Не въ этомъ дѣло-съ, сударь вы мой! Свободы нѣть, воть что! Вѣдь у меня какая жизнь? Въ трепетѣ живу... съ постоянной оглядкой... вполнѣ лишенъ свободы желательныхъ мнѣ движеній! А почему? Боюсь... этотъ кикимора учитель въ газетахъ пишетъ на меня... санитарный надзоръ навлекаеть, штрафы плачу... Постояльцы эти ваши, того гляди, сожгуть, убьють, ограбять... Что я противъ нихъ могу?

Полиціи они не боятся... Посадять ихъ — они даже рады—хлъбъ имъ даровой...

- A воть мы ихъ устранимъ... если сойдемся съ вами,—пообъщалъ Петунниковъ.
- Какъ же мы сойдемся? съ тоской и угрюмо спросилъ Вавиловъ.
 - Говорите ваши условія.
 - Да что же? Дайте... шестьсоть по иску...
- Сто рублей не возъмете? спокойно спросилъ купецъ, тщательно осмотрълъ своего собесъдника и, мягко улыбнувшись, добавилъ: больше не дамъ ни рубля...

Послъ этого онъ снялъ очки и медленно сталъ вытирать ихъ стёкла вынутымъ изъ кармана платкомъ. Вавиловъ смотрълъ на него съ тоской въ сердцъ и въ то же время проникался почтеніемъ къ нему. Въ спокойномъ лицъ молодого Петунникова, въ его сърыхъ, большихъ глазахъ, въ широкихъ скулахъ, во всей его коренастой фигуръ было много силы, увъренной въ себъ и хорошо дисциплинированной умомъ. Вавилову нравилось и то, какъ Петунниковъ говорилъ съ нимъ: просто, съ дружескими нотками въ голосъ, безъ всякаго барства, какъ со своимъ братомъ, хотя Вавиловъ понималъ, что онъ, солдатъ, не пара этому человъку. Разсматривая его, почти любуясь имъ, солдать, наконецъ, не вытеривлъ и, ощутивъ въ себв приливъ горячаго любопытства, на минуту заглушившаго всъ остальныя его ощущенія, почтительно спросиль Петунникова:

- Гдъ изволили учиться?
- Въ технологическомъ институтъ. А что? вскинулъ тотъ на него улыбавшіеся глаза.
- Ничего-съ, это я такъ... извините! Солдатъ понурилъ голову и вдругъ съ восхищеніемъ, завистью и даже вдохновенно воскликнулъ:—Н-да! Вотъ оно образованіе-то! Одно слово,—наука—свъть! А нашъ брать,—

какъ сова передъ солнцемъ въ этомъ свътъ... Эхъ-ма! Ваше благородіе! Давайте, кончимъ дъло!

Онъ ръшительнымъ жестомъ протянулъ руку Петунникову и сдавленно сказалъ:

- Ну... пятьсоть?
- Не больше ста рублей, Егоръ Терентьевичъ, какъ бы сожалъя, что больше дать не можетъ, пожалъ плечами Петунниковъ, хлопая по волосатой рукъ солдата своей бълой и крупной рукой.

Они скоро кончили, потому что солдать вдругь пошель навстръчу желанію Петунникова крупными скачками, а тоть быль непоколебимо твердь. И когда Вавиловь получиль сто рублей и подписаль бумагу, онь ожесточенно бросиль перо на столь и воскликнуль:

- Ну, теперь остается мить съ золотой ротой въдаться! Засмъють, застыдять они меня, дьяволы!
- А вы скажите имъ, что я заплатилъ вамъ всю сумму иска, —предложилъ Петупниковъ, спокойно пуская изо рта тонкія струйки дыма и слъдя за ними.
- Да развъ они этому повърять? Это тоже умные мошенники, не хуже...

Вавиловъ остановился во-время, смущенный едва не сказаннымъ сравненіемъ, и съ боязнью взглянулъ на купеческаго сына. Тотъ курилъ и весь былъ поглощенъ этимъ занятіемъ. Скоро онъ ушелъ, пообъщавъ на прощанье Вавилову разорить гнъздо безпокойныхъ людей. Вавиловъ смотрълъ ему вслъдъ и вздыхалъ, ощущая сильное желаніе крикнуть что-нибудь злое и обидное въ спину этого человъка, твердыми шагами поднимавшагося въ гору по дорогъ, изрытой ямами, засоренной мусоромъ.

Вечеромъ въ харчевню явился ротмистръ. Брови у него были сурово нахмурены и правая рука энергично стиснута въ кулакъ. Вавиловъ виновато улыбался навстръчу ему.

- H-ну, достойный потомокъ Каина и Іуды, разскаанван...
- Порвшили... сказалъ Вавиловъ, вздохнувъ и опуская глаза.
 - Не сомнъваюсь. Сколько сребренниковъ получилъ?
 - Четыреста цълковыхъ...
- Навърное врешь... Но это мнъ же лучше. Безъ дальнъйшихъ словъ, Егорка, десять процентовъ мнъ за открытіе, четвертную учителю за написаніе прошенія, ведро водки всъмъ намъ и приличное количество закуски. Деньги сейчасъ подай, водку и прочее къ восьми часамъ.

Вавиловъ поведенълъ и широко-открытыми глазами уставился на Кувалду:

— Это-съ дудки! Это грабежъ! Я не дамъ... Что вы, Аристидъ Оомичъ! Нътъ, ужъ это вы оставьте вашъ аппетитъ до слъдующаго праздника! Ишь вы какъ! Нътъ, я теперь имъю возможность не бояться васъ. Я теперь...

Кувалда посмотрълъ на часы.

- Даю тебъ, Егорка, десять минуть для твоего поганаго разговора. Кончай въ этотъ срокъ блудить языкомъ и давай, что требую. Не дашь — сожру! Конецъ тебъ кое-что продалъ? Ты въ газетъ о кражъ у Басова читалъ? Понимаешь? Спрятать не успъешь ничего помъщаемъ. И сегодня же ночью... Понялъ?
- Аристидъ Оомичъ! За что? вавылъ отставной унтеръ.
 - Безъ словъ! Понялъ или нътъ?

Высокій, съдой и внушительно нахмурившійся Кувалда говориль вполголоса, и его хриплый бась зловъще гудъль въ пустой харчевнъ. Вавиловь всегда немножко боялся его и какъ бывшаго военнаго, и какъ человъка, которому нечего терять. Теперь же Кувалда явился передъ нимъ въ новомъ видъ: онъ не говорилъ много и смъшно, какъ всегда, а въ томъ, что онъ говорилъ топомъ командира, увъреннаго въ повиновеніи, звучала не шуточная угроза. И Вавиловъ чувствоваль, что ротмистръ погубитъ его, если захочеть, погубитъ съ удовольствіемъ. Нужно было покориться силъ. Но съ злымъ трепетомъ въ сердцъ солдать еще разъ попробовалъ увернуться отъ кары. Онъ глубоко вздохнулъ и смиренно началъ:

- Видно, върно сказано: сама себя баба бьеть, коли нечисто жнеть... Навраль я на себя вамь, Аристидъ Өомичъ... хотълъ умнъе показаться, чъмъ я есть... Сто рублей я получилъ только...
 - Дальше...-бросилъ ему Кувалда.
 - А не четыреста, какъ сказалъ вамъ... Значить...
- Ничего не значить. Мнъ неизвъстно, когда ты враль, давеча или теперь. Я получаю съ тебя шесть-десять пять рублей. Это скромно... Ну?
- Эхъ, Господи Боже мой! Аристидъ Оомичъ! Я вашему благородію всегда, сколько могъ, оказывалъ вниманія.!
 - Ну? Брось слова, Егорка, правнукъ Іуды!
- Извольте... я дамъ... Только васъ Богъ накажетъ за это.
- Молчать, ты, гнойный прыщъ на землъ! гаркнулъ ротмистръ, свиръпо вращая глазами. — Я наказанъ Богомъ... Онъ меня поставилъ въ необходимость видъть тебя, говорить съ тобой... Пришибу на мъстъ, какъ муху!

Онъ потрясъ кулакомъ у носа Вавилова и скрипнулъ зубами, оскаливъ ихъ.

Когда онъ ушелъ, Вавиловъ началъ криво усмъхаться и учащенно моргатъ глазами. Потомъ по щекамъ его покатились двъ крупныя слезы. Онъ были какія-то сърыя, и когда скрылись въ его усахъ, двъ другія явились на ихъ мъсто. Тогда Вавиловъ ушелъ къ себъ въ комнату, сталъ тамъ передъ образами и такъ стоялъ долго, не молясь, не двигаясь и не вытирая слезъ съ своихъ морщинистыхъ коричневыхъ щекъ.

Дьяконъ Тарасъ, всегда тяготъвшій къ лъсамъ и лугамъ, предложилъ бывшимъ людямъ идти въ поле въ одинъ оврагъ и тамъ, на лонъ природы, распить водку Вавилова. Но ротмистръ и всъ остальные единодушно обругали и дьякона, и природу, ръшивъ пить у себя на дворъ.

— Одинъ, два, три...—считалъ Аристидъ Өомичъ, итого насъ тринадцать; нътъ учителя... ну, да еще кое-какіе архаровцы подойдутъ. Будемъ считать двадцать персонъ. По два съ половиной огурца на брата по фунту хлъба и мяса... недурно! Водки приходится по бутылкъ... есть кислая капуста, яблоки и три арбуза. Спрашивается, какого дъявола еще нужно вамъ, друзья мои мерзавцы? Итакъ, приготовимся же пожирать Егорку Вавилова, ибо все это—кровь и плоть его!

На землъ разостлали какіе-то остатки одеждъ, на нихъ разложили питія и яства и усълись вокругъ нихъ, усълись чинно и молча, едва сдерживая жадное желаніе пить, сверкавшее у всъхъ въ глазахъ.

Наступилъ вечеръ, тъни его опускались на обезображенную отбросами землю двора ночлежки, и послъдніе лучи солнца освъщали крышу полуразвалившагося дома. Было прохладно и тихо.

— Приступимъ, братія!—скомандовалъ ротмистръ.— Сколько чашъ имъемъ мы? Шесть... а насъ тринадцать... Алексъй Максимовичъ! наливай! Готово? Н-ну, перррвый взводъ... пли!

Выпили, крякнули и стали ъсть.

- А учителя нътъ... вотъ уже третьи сутки я не вижу его. Никто не видалъ?—спросилъ Кувалда.
 - Никто...
- Это не въ его характеръ! Ну, все равно. Выпьемъ еще! Выпьемъ за здоровье Аристида Кувалды, един-

ственнаго моего друга, который всю мою жизнь ни на минуту не оставляль меня одного. Хотя, чорть его побери, можеть быть, я и выиграль бы что-нибудь, если бъ онъ на нъкоторое время лишиль меня своего общества.

 Это остроумно, — сказалъ Объёдокъ и закашпялся.

Ротмистръ съ сознаніемъ своего превосходства посмотрълъ на товарищей, но не сказалъ ничего, ибо ълъ.

Выпивъ дважды, компанія сразу оживилась—порціи были внушительныя. Полтора Тараса выразиль робкое желаніе послушать сказку, но дьяконъ вступиль въ споръ съ Кубаремъ о преимуществахъ худыхъ женщинъ предъ толстыми и не обратилъ вниманія на слова друга, доказывая Кубарю свой взглядь съ ожесточеніемъ и горячностью человъка, глубоко убъжденнаго въ правотъ своихъ взглядовъ. Наивная рожа Метеора, лежавшаго на животъ около него, выражала умиленіе, смакуя забористыя словечки дьякона. Мартьяновъ, обнявъ свои колъни громадными руками, поросшими черной шерстью, молча и мрачно смотръль на бутылку съ водкой и ловилъ языкомъ свой усъ, стараясь закусить его зубами. Объъдокъ дразнилъ Тяпу.

- Я уже подсмотрълъ, куда ты, колдунъ, деньги прячешь!
 - Твое счастье...-хрипълъ Тяпа.
 - Я, брать, у тебя ихъ поддедюлю!
 - Бери...

Кувалдъ было скучно съ этими людьми: среди нихъ не было ни одного собесъдника, достойнаго слушать его красноръчіе и способнаго понимать его.

- Гдъ бы это могъ быть учитель? вслухъ подумалъ онъ. Мартьяновъ посмотрълъ на него и сказалъ:
 - Придетъ...
 - Я увъренъ, что онъ именно придетъ, а не въ

кареть прівдеть. Выпьемь, будущій каторжникь, за твое будущее. Если ты убьешь денежнаго человька, подвлись со мной... Я, брать, повду тогда въ Америку въ эти... какъ ихъ? Лампасы... Пампасы! Повду туда и достукаюсь тамъ до президента штатовъ. Потомъ—объявлю всей Европъ войну и вздую ее. Армію куплю... въ Европъ же... Приглащу французовъ, нъмцевъ, турокъ и т. д. и буду бить ими ихнихъ родственниковъ... какъ Илья Муромецъ билъ татаръ татариномъ. Съ деньгами можно быть и Ильей... и уничтожить Европу, и нанять къ себъ въ лакеи Гуду Петунникова... Онъ пойдеть... дать ему сто рублей въ мъсяцъ—и пойдеть! Но лакеемъ будеть сквернымъ, ибо станетъ воровать...

— И еще тъмъ худая женщина лучше толстой, что она дешевле стоить,—убъдительно говорилъ дьяконъ.— Первая дьяконица моя покупала на платье двънадцать аршинъ, а вторая десять... Также и въ пищъ...

Полтора Тарасъ виновато засмъялся, повернуль голову къ дьякону, уставился своимъ глазомъ ему вълицо и сконфуженно заявилъ:

- У меня тоже была жена...
- Это со всякимъ можетъ случиться, замътилъ Кувалда.—Ври дальше...
- Была худая, но **ъла** много... И даже отъ этого померла...
- Ты отравилъ ее, кривой, убъжденно сказалъ Объблокъ.
- Нътъ, ей Богу! Она севрюги объълась, разскавывалъ Полтора Тараса.
- А я тебъ говорю—ты ее отравилъ!—ръшительно утверждалъ Объъдокъ.

Съ нимъ часто это бывало: сказавъ какую-нибудь нелъпость, онъ начиналъ повторять ее, не приводя никакихъ основани въ подтверждение, и, говоря сначала какимъ-то капризно-дътскимъ тономъ, постепенно доходилъ почти до бъщенства.

Дьяконъ вступился за друга.

- --- Нътъ, онъ отравить не могъ... не было причины...
- А я говорю—отравилъ!—взвизгнулъ Объйдокъ.
- Молчать! грозно крикнуль ротмистръ. Скука у него перерождалась въ тоскливое озлобленіе. Онъ свиръпыми глазами осмотрълъ своихъ пріятелей и, не найдя въ ихъ рожахъ, уже полупьяныхъ, ничего, что могло бы дать дальнъйшую пищу его озлобленію, — опустиль голову на грудь, посидълъ такъ нъсколько минуть и потомъ легь на землю кверху лицомъ. Метеоръ грызъ огурцы. Онъ бралъ огурецъ въ руку, не глядя на него, засовываль его до половины въ роть и сразу перекусывалъ большими желтыми зубами, такъ что разсолъ изъ огурца брызгалъ во всъ стороны, орошая его щёки. Всть ему, очевидно, не хотълось, но этотъ процессъ развлекаль его. Мартьяновъ сидълъ неподвижно, какъ изваяніе, въ той же позъ, въ которой усълся на землю, и такъ же сосредоточенно и мрачно смотрълъ на полуведерную бутыль водки, уже наполовину пустую. Тяпа смотрълъ на землю и громко жевалъ мясо, не поддававшееся его старымъ зубамъ. Объедокъ лежалъ на животъ и кашлялъ, съеживая все свое маленькое тъло. Остальные - все молчаливыя и темныя фигуры - сидъли и лежали въ разнообразныхъ позахъ, и всв вмъсть эти люди, одътые своими лохмотьями и сумракомъ вечера, почти не отличались отъ кучъ мусора, разбросаннаго по двору и поросшаго бурьяномъ. Изломанныя позы и лохмотья дёлали ихъ похожими на безобразныхъ животныхъ, созданныхъ силой, грубой и фантастической, для насмёники надъ человёкомъ.

Жила-была въ Суздалъ
 Барыня незнатная.
 И съ ней случилась судорга,
 Оч-чень непріятная!

вполголоса напъвалъ дьяконъ, обнимая Алексъя Макси-

мовича, блаженно улыбавшагося ему въ лицо. Полтора Тараса сладострастно хихикалъ.

Ночь приближалась. Въ небъ тихо вспыхивали звъзды, на горъ въ городъ — огни фонарей. Заунывные свистки пароходовъ неслись съ ръки, съ визгомъ и дребезгомъ стеколъ отворялась дверь харчевни Вавилова. На дворъ вошли двъ темныя фигуры, приблизились къ группъ людей около бутылки, и одна изъ нихъ хрипло спросила:

— Пьете?

А другая вполголоса, съ завистью и радостью про-изнесла:

— Ишь какіе черти!

Затыть черезь голову дьякона протянулась рука, взяла бутылку, и раздалось характерное бульканіе водки, наливаемой изъ бутылки въ чашку. Потомъ громко крякнули...

- Ну, и тоска же!—воскликнулъ дьяконъ.—Кривой! давай вспомнимъ старину, споемъ—на ръкахъ вавилонскихъ!
 - Онъ развъ умъетъ? спросилъ Симцовъ.
- Онъ? Онъ, брать, въ архіерейскомъ корѣ солистомъ быль... Ну, Кривой... На-а-рѣ-ѣ-ѣ-ка-а...

Голосъ у дьякона былъ дикій, хриплый, прерывающійся, а его другь пълъ визгливымъ фальцетомъ.

Объятый тьмою, выморочный домъ, казалось, увеличился въ объемъ или подвинулся всей массой полустнившаго дерева ближе къ этимъ людямъ, будившимъ въ немъ глухое эхо своимъ дикимъ воемъ. Облако, пышное и темное, медленно двигалось по небу надъ нимъ. Кто-то изъ бывшихъ людей храпълъ, остальные, все еще недостаточно пьяные, или молча пили и ъли, или же разговаривали вполголоса съ длинными паузами. Всъмъ было непривычно это подавленное настроеніе на пиръ, ръдкомъ по обилію водки и яствъ. Почему-то

сегодня долго не разгоралось буйное оживленіе, свойственное обитателямъ ночлежки за бутылкой.

— Вы... собаки! Погодите выть...—сказаль ротмистръ пъвцамъ, поднимая голову съ земли и прислушиваясь.—Кто-то ъдеть... на пролеткъ...

Пролетка на Въважей улицъ и въ эту пору не могла не возбудить общаго вниманія. Кто это изъ города могь рискнуть повхать по рытвинамъ и ухабамъ улицы, кто и зачъмъ? Всъ подняли головы и слушали. Вътишинъ ночи ясно разносилось шуршаніе колесъ, задъвавшихъ за крылья пролетки. Оно все приближалось. Раздался чей-то голосъ, грубо спращивавшій:

— Ну, гдъ же?

Кто-то отвътилъ:

- А вонъ къ тому дому, должно быть.
- Дальше не поъду...
- Это къ намъ! воскликнулъ ротмистръ.
- Полиція!—прозвучаль тревожный шопоть.
- На пролеткъ-то! Дуракъ!—-глухо сказалъ Мартьяновъ.

Кувалда всталь и пошель къ воротамъ.

Объедокъ, склонивъ голову вследъ ему, сталъ слушать.

- Это ночлежный домъ? спрашивалъ кто-то дребезжащимъ голосомъ.
- Да, Аристида Кувалды... прогудълъ недовольный басъ ротмистра.
 - Вотъ, вотъ... здъсь жилъ репортеръ Титовъ?
 - Ага! Это вы его привезли?
 - Да...
 - Пьяный?
 - Боленъ!
- Значить, сильно пьяный. Эй, учителы Ну-ка, вставай!
 - Подождите! Я помогу вамъ... онъ сильно боленъ.

Онъ двое сутокъ лежалъ у меня. Берите подъ мышки... Былъ докторъ. Очень скверно...

Тяпа всталь и медленно пошель къ воротамъ, а Объёдокъ усмёхнулся и выпилъ.

— Зажгите-ка огонь тамъ!--крикнулъ ротмистръ.

Метеоръ пошелъ въ ночлежку и зажегъ въ ней лампу. Тогда изъ двери ночлежки протянулась во дворъ широкая полоса свъта, и ротмистръ вмъстъ съ какимъто маленькимъ человъкомъ ввели по ней учителя въ ночлежку. Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги волочились по землъ и руки висъли въ воздухъ, какъ изломанныя. При помощи Тяпы его свалили на нары, и онъ, вздрогнувъ всъмъ тъломъ, съ тихимъ стономъ вытянулся на нихъ.

- Мы съ нимъ въ одной газетъ работали... Очень несчастный. Я говорю:—пожалуйста, лежите у меня, вы меня не стъсняете... Но онъ молитъ меня отправьте домой! Волнуется... я подумалъ, что это ему вредно, и вотъ привезъ его... домой! Въдь это именно здъсъ... да?
- А по-вашему, у него еще гдъ нибудь есть домъ?—грубо спросилъ Кувалда, пристально разсматривая своего друга. Тяпа, ступай принеси холодной воды!
- Такъ вотъ...—смущенно помялся человъчекъ.—Я полагаю... я не нуженъ ему?
- Вы?—ротмистръ критически посмотрълъ на него. Человъчекъ былъ одътъ въ пиджакъ, сильно потертый и тщательно застегнутый вплоть до подбородка. Брюки на немъ были съ бахромой, шляпа рыжая отъ старости, смятая, какъ и его худое, голодное лицо.
- Нътъ, вы ему не нужны... здъсь такихъ, какъ вы, много...—сказалъ ротмистръ, отворачиваясь отъ человъчка.
- Значить, до свиданія! Человъчекь пошель къ двери и оттуда тихо попросиль:
 - Ежели что случится... вы извъстите въ редак-

цію... Моя фамилія—Рыжовъ. Я написаль бы маленькій некрологь... въдь все-таки онъ быль, знаете, дъятель прессы...

— Гмъ! некрологъ, говорите? Двадцать строкъ—сорокъ копеекъ? Я лучше сдълаю: когда онъ умреть, я отръжу ему одну ногу и пришлю въ редакцію на ваше имя. Это для васъ выгоднъе, чъмъ некрологъ, дня на три хватитъ... у него ноги толстыя... Вли же вы его всъ тамъ живого, навърное, поъдите и мертваго...

Человъчекъ какъ-то странно фыркнулъ и исчезъ Ротмистръ сълъ на нары рядомъ съ учителемъ, пощу палъ рукой его лобъ, грудь и позвалъ его:

— Филиппъ!

Звукъ глухо отдался въ грязныхъ стънахъ ночлежки и замеръ.

— Это, брать, нельпо!—сказаль ротмистрь, тихонько приглаживая рукой растрепанные волосы неподвижнаго учителя. Потомъ ротмистръ прислушался къ его дыханію, горячему и прерывистому, посмотръль въ лицо, осунувшееся и землистое, вздохнулъ и, строго нахмуривъ брови, осмотрълся вокругъ. Лампа была скверная: огонь въ ней дрожалъ, и по стънамъ ночлежки молча прыгали черныя тъни. Ротмистръ сталъ упорно смотръть на ихъ безмолвную игру и разглаживать себъ бороду.

Пришелъ Тяпа съ ведромъ воды, поставилъ его на нары рядомъ съ головой учителя и, взявъ его руку, поднялъ на своей рукъ, какъ бы взвъшивая.

- Не надо воды, —махнулъ рукой ротмистръ.
- Попа надо, увъренно сообщилъ старый тряпичникъ.
 - Ничего не надо, —ръшилъ ротмистръ.

Они помолчали, глядя на учителя.

- Пойдемъ выпьемъ, старый чортъ!
- А онъ?
 - Тыему поможещь?



Тяпа повернулся къ учителю спиной, и они оба вышли на дворъ къ своей компаніи.

- Что тамъ?—спросиль Обърдокъ, обращая въ ротмистру свою острую морду.
- Ничего особеннаго... Умираеть человъкъ...—кратко сообщилъ ротмистръ.
 - Избили его?-поинтересовался Обътдокъ.
- . Ротмистръ не отвътилъ, ибо пилъ водку въ это время.
- Какъ будто онъ зналъ, что у насъ есть чъмъ поминки о немъ справить,—сказалъ Объъдокъ, закуривая папиросу.

Кто-то засмъялся, кто-то тяжело вздохнулъ. Вообще же разговоръ ротмистра и Объъдка не произвелъ на этихъ людей замътнаго впечатлънія, по крайней мъръ, не видно было, что онъ взволновалъ, заинтересовалъ или заставилъ задуматься кого-нибудь. Всъ относились къ учителю, какъ къ человъку недюжинному, но теперь многіе были уже пьяны, другіе же оставались наружно спокойны. Лишь дьяконъ вдругъ какъ-то напрягся, пошлепалъ губами, потеръ лобъ и дико взвылъ:

- -- Иде-же праведніи у-по-ко-я-ются-а!
- Ты!-защипълъ Объъдокъ,-что орешь?
- Дай ему въ рожу!-посовътовалъ ротмистръ.
- Дуракъ!—раздался хрипъ Тяпы.—Когда человъкъ кончается, нужно молчать... чтобы тихо было.

Было достаточно тихо: и въ небъ, покрытомъ тучами и грозившемъ дождемъ, и на землъ, одътой мрачной тьмой осенней ночи. Порой раздавался храпъ уснувшихъ, бульканье наливаемой водки, чавканье. Дьяконъ что-то бормоталъ. Тучи плыли такъ низко, что казалось—вотъ онъ задънутъ за крыпу стараго дома и опрокинутъ его на группу этихъ людей.

— А.. скверно на душъ, когда умираетъ человъкъ близкій...—занкаясь, проговорилъ ротмистръ и склонилъ голову на грудь.

Никто ему не отвътилъ.

- Среди васъ—онъ былъ лучшій... самый умный и порядочный... Мнъ жалко его...
- Со-о святы-ими упоко-окой... пой, кривая шельма!—забурлиль дьяконь, толкая въ бокъ своего друга, дремавшаго рядомъ съ нимъ.
- Молчать!... ты! злымъ шопотомъ воскликнулъ Объбдокъ, вскакивая на ноги.
- Я его ударю по башкѣ, —предложилъ Мартьяновъ, поднимая голову съ вемли.
- А ты не спишь? необычайно ласково сказаль Аристидъ Өомичъ.—Слышалъ? Учитель-то у насъ...

Мартьяновъ тяжело завозился на землю, всталь, посмотръль на полосы свъта, исходившаго изъ двери и оконъ ночлежки, качнулъ головой и молча сълъ рядомъ съ ротмистромъ.

— Выпьемъ?—предложилъ тотъ.

Ощупью отыскавъ стаканы, они выпили.

- Пойду, посмотрю...—сказалъ Тяпа;—можетъ, ему надо чего.
 - Гробъ надо... усмъхнулся ротмистръ.
- Не говорите вы про это,— глухимъ голосомъ попросилъ Обътдокъ.

За Тяпой всталь съ земли Метеоръ. Дьяконъ тоже хотъль встать, но свалился на бокъ и громко выругался.

Когда Тяпа ушель, ротмистрь удариль по плечу Мартьянова и вполголоса заговориль:

- Такъ-то, Мартьяновъ... Ты бы лучше другихъ долженъ чувствовать... Ты былъ... впрочемъ, къ чорту это. Жалко тебъ Филиппа?
- Нътъ, помолчавъ, отвътилъ бывшій тюремщикъ.—Я, братъ, ничего такого не чувствую... разучился... Мерако такъ житъ. Я серьезно говорю, что убъю кого-нибудь...

- Да?—неопредъленно произнесъ ротмистръ.—Ну... что же? Выпьемъ еще!
- H-наше дъл-ло маленькое... выпилъ—да еще-о! Это проснулся и блаженнымъ тономъ пропълъ Симцовъ.
 - Братцы?! Кто тутъ? Налейте старику чарку!

Ему налили и подали. Выпивъ, онъ снова свалился, ткнувшись головой въ чей-то бокъ.

Минуты двъ продолжалось молчаніе, такое же темное и жуткое, какъ эта осенняя ночь. Потомъ кто-то зашепталъ...

- Что?-раздался вопросъ.
- Я говорю, славный онъ парень... былъ. Голова, тихій такой...—говорили вполголоса.
- Да, деньги тоже имълъ... и не жалълъ ихъ для своего брата...—И опять наступило молчаніе.
- Кончается! раздался крикъ Тяпы надъ головой ротмистра.

Аристидъ Өомичъ всталъ и, усиленно-твердо ступая ногами, пошелъ въ ночлежку.

— Пошто идешь?—остановиль его Тяпа.—Не ходи. Пьяный въдь ты...' нехорошо!

Ротмистръ остановился и подумалъ:

— А что, хорошо на этой землъ? Пошелъ ты къ чорту!—И онъ толкнулъ Тяпу.

По ствнамъ ночлежки все прыгали твни, какъ бы молча борясь другь съ другомъ. На нарахъ, вытянувшись во весь рость, лежалъ учитель и хрипвлъ. Глаза у него были широко открыты, обнаженная грудь сильно колыхалась, въ углахъ губъ кипвла пвна, и на лицв было такое напряженное выраженіе, какъ будто онъ силился сказать что-то большое, трудное и — не могъ и невыразимо страдалъ отъ-этого.

Ротмистръ сталъ передъ нимъ, заложивъ руки за спину, и съ минуту молча смотрѣлъ на него. Потомъ заговорилъ, болъзненпо наморщивъ лобъ:

— Филиппъ! Скажи мнѣ что-нибудь... слово утѣшенія другу... брось!... Я, брать, люблю тебя... Всѣ люди—скоты, ты быль для меня—человѣкъ... хотя ты пьяница! Ахъ, какъ ты пилъ водку, Филиппъ! Именно это тебя и погубило... А почему? Нужно было умѣть владѣть собою... и слушать меня. Р-развѣ я не говорилъ тебѣ, бывало...

Таинственная, все уничтожающая сила, именуемая смертью, какъ бы оскорбленная присутствіемъ этого пьянаго человъка при мрачномъ и торжественномъ актъ ея борьбы съ жизнью, ръшила скоръе кончить свое безстрастное дъло, и учитель, глубоко вздохнувъ, тихо простоналъ, вздрогнулъ, вытянулся и замеръ.

Ротмистръ качнулся на ногахъ, продолжая свою ръчь.

— Ты что? Хочешь, я принесу тебѣ водки? Но лучше не пей, Филиппъ... Сдержись, побѣди себя... А то выпей! Зачѣмъ, говоря прямо, сдерживать себя... Чего ради, Филиппъ? Вѣрно? Чего ради?...

Онъ взялъ его за ногу и потянулъ къ себъ.

— А, ты уснуль, Филиппъ? Ну... спи... Покойной почи... Завтра я все это разъясню тебъ и ты убъдишься, что ничего не надо запрещать себъ... А теперь спи... если ты не умеръ...

Онъ вышелъ, сопровождаемый молчаніемъ, и придя къ своимъ, объявилъ:

— Уснулъ... или умеръ... Не знаю... Я н-немножко пьянъ...

Тяпа еще болѣе согнулся, осѣняя свою грудь крестнымъ знаменіемъ. Мартьяновъ молча поежился и легъ на землю. Метеоръ, этотъ глупый парень, началъ хныкать, тихонько и жалобно, какъ обиженная женщина. Объѣдокъ сталъ быстро возиться на землѣ, вполголоса, злымъ и тоскливымъ тономъ говоря:

— Чорть вась всёхь возьми! Мучители... Ну, умерь! Ну, что же? Меня-то... мнё зачёмь знать это? Зачёмь мнћ объ этомъ разсказывать? Придетъ время — я самъ умру... не хуже его... Не хуже я другихъ.

— Это върно! — громко говорилъ ротмистръ, грузно опускаясь на землю. — Придетъ время, и всъ мы умремъ не хуже другихъ... ха-ха! Какъ мы проживемъ... это пустяки! Но мы умремъ — какъ всъ. Въ этомъ — цъль жизни, върьте моему слову. Ибо человъкъ живетъ, чтобъ умереть. И умираетъ... И если это такъ — не все ли равно, отчего и какъ онъ умираетъ и какъ онъ жилъ? Мартьяновъ, я правъ? Выпьемъ же еще... и еще, пока живы...

Накрапываль дождь. Густая, душная тьма покрывала фигуры людей, валявшіяся на землі, скомканныя сномь или опьянівніємь. Полоса світа, исходившая изъ ночлежки, побліднівь, задрожала и вдругь исчезла. Очевидно, лампу задуль вітерь или въ ней догорізть керосинь. Падая на желізную крышу ночлежки, капли дождя стучали робко и нерішительно. Съ горы изъ города неслись унылые, рідкіе удары въ колоколь — это сторожили церковь.

Мъдный звукъ, слетая съ колокольни, тихо плылъ во тъмъ и медленно замиралъ въ ней, но раньше, чъмъ тъма успъвала заглушить его послъднюю, трепетно вздыхавшую ноту, рождался другой ударъ, и снова въ тишинъ ночи разносился меланхолическій вздохъ металла.

На утро первымъ проснулся Тяпа.

Повернувшись на спину, онъ посмотрълъ на небо — изуродованная шея его только въ этомъ положеніи позволяла ему видъть небо надъ головой.

Въ это утро небо было однообразно сърое. Тамъ, вверху, сгустился сырой и холодный сумракъ, онъ погасилъ солнце и, скрывъ собою голубую безпредъльность, изливалъ на землю уныніе. Тяпа перекрестился

и привсталь на локтъ, чтобъ посмотръть, не осталось ли гдъ водки. Бутылка была туть, но пустая. Перелъзая черезъ товарищей. Тяпа сталъ осматривать чашки, изъ которыхъ пили. Одну изъ нихъ онъ нашелъ почти полной, выпиль ее, вытеръ губы рукавомъ и сталъ трясти за плечо ротмистра.

. — Вставай... эй! слышь?

Ротмистръ поднялъ голову, глядя на него тусклыми глазами.

- Надо полиціи заявить... ну, вставай!
- А что? сонно и сердито спросилъ ротмистръ.
- Что умеръ онъ...
- Это кто?
- Ученый-то...
- Филиппъ? Да-а!
- А ты забылъ... эхма! укоризненно хрипълъ Тяпа. Ротмистръ всталъ на ноги, зычно зъвнулъ и потянулся такъ, что у него кости хрустнули.
 - Такъ иди ты, объяви...
- Я не пойду... не люблю я ихъ, угрюмо сказалъ Тяпа.
 - Ну, разбуди вонъ дьякона... А я пойду посмотрю.
 - Такъ-то вотъ... дьяконъ, вставай!

Ротмистръ вошелъ въ ночлежку и сталъ въ ногахъ учителя. Мертвый лежалъ, вытянувшись во всю длину: лъвая рука была у него на груди, правая откинута такъ, точно онъ размахнулся, чтобъ ударить кого-то. Ротмистръ подумалъ, что если бъ учитель всталъ теперь, онъ былъ бы такой же высокій, какъ Полтора Тараса. Потомъ онъ сълъ на нары въ ногахъ своего пріятеля и, вспомнивъ, что они прожили вмъстъ около трехъ лътъ, вадохнулъ. Вошелъ Тяпа, держа голову, какъ козелъ, собравшійся бодаться. Онъ сълъ по другую сторону ногъ учителя, посмотрълъ на его темное лицо, спокойное и серьезное, съ плотно сжатыми губами, и захрипълъ.

- Да... вотъ и умеръ... И я умру скоро...
- Тебъ пора, -- хмуро сказалъ ротмистръ.
- Пора ужъ! согласился Тяпа. И тебъ тоже надо бы умереть... Все лучше, чъмъ такъ-то...
 - А можеть, хуже? Ты почемь знаешь?
- Хуже не будеть. Помрешь съ Богомъ будешь имъть дъло... А туть съ людьми... А люди что они значать?
- Ну ладно, не хрипи... сердито оборвалъ его Кувалда.

И въ сумракъ, наполнявшемъ ночлежку, стало внушительно тихо.

Долго они молча сидъли у ногъ мертваго сотоварища и изръдка поглядывали на него, оба погруженные въ думы. Потомъ Тяпа спросилъ:

- Хоронить его ты будешь?
- Я? Нъть! Полиція пускай хоронить.
- Ну! Чай, ты схорони... въдь за прошеніе-то съ Вавилова взяль его деньги... Я дамъ, коли не хватить...
 - Деньги его у меня... а хоронить не стану.
- Нехорошо эго. Мертваго грабишь. Я воть скажу всъмъ, что ты его деньги заъсть хочешь...— пригрозилъ Тяпа.
- Глупъ ты, старый чорть, презрительно сказалъ Кувалда.
- Не глупъ я... A только не хорошо, молъ, не подружески.
 - Ну и ладно. Отвяжись!
 - Ишь! А сколько денегь-то?
 - Четвертная...— разсъянно сказалъ Кувалда.
 - Вона!... Даль бы мив хоть пятерочку...
- Экой ты мераавецъ, старикъ... равнодушно посмотръвъ въ лицо Тяпы, выругался ротмистръ.
 - А что? Право дай...
- Пошелъ къ чорту!... Я ему на эти деньги памятникъ устрою.

- На что ему?
- Куплю жерновъ и якорь. Жерновъ положу на могилу, а якорь цъпью прикую къ нему... Это будеть очень тяжело...
 - Зачъмъ? Чудищь ты...
 - Ну... не твое дъло.
 - Я, смотри, скажу... снова пригрозилъ Тяпа.

Аристидъ Өомичъ тупо посмотрѣлъ на него и промолчалъ. И опять они сидѣли долго въ молчаніи, всегда въ присутствіи мертвыхъ принимающемъ внушительный и таинственный колоритъ.

— Слышь, вонъ... ѣдутъ! — сказалъ Тяпа, всталъ и ушелъ изъ ночлежки.

Скоро въ дверяхъ ея явился частный приставъ, слъдователь и докторъ. Всъ трое поочередно подходили къ учителю и, взглянувъ на него, выходили вонъ, награждая Кувалду косыми и подозрительными взглядами. Онъ сидълъ, не обращая на нихъ вниманія, нока приставъ не спросилъ его, кивая головой на учителя:

- Отчего онъ умеръ?
- Спросите у него... Я думаю, отъ непривычки...
- Что такое? спросилъ слъдователь.
- Я говорю умеръ, молъ, онъ, по моему мивнію, отъ непривычки къ той болвани, которой захворалъ...
 - Гмъ... да! А онъ давно хворалъ?
- Вытащить бы его сюда, не видно тамъ ничего, предложилъ докторъ скучнымъ тономъ. — Можетъ быть, есть знаки...
- Ну-те-ка, позовите кого-нибудь вынести его, приказалъ приставъ Кувалдъ.
- Зовите сами... Онъ мнъ не мъщаеть и туть... равнодушно отозвался ротмистръ.
- Hy! крикнулъ полицейскій, дълая свиръпое лицо.
- Тпру! отпарировалъ Кувалда, не трогаясь съ мъста, спокойно злой и оскалившій зубы.

- Я, чортъ возьми!... крикнулъ приставъ, взбъшенный до того, что лицо у него налилось кровью. — Я вамъ этого не спущу! Я...
- Добренькаго здоровьица, господа честные!—сладкимъ голосомъ сказалъ купецъ Петунниковъ, являясь въ дверяхъ.

Окинувъ острымъ взглядомъ всъхъ сразу, онъ вздрогнулъ, отступилъ шагъ назадъ и, снявъ картузъ, истово перекрестился. Затъмъ по лицу его расплылась улыбка злораднаго торжества, и въ упоръ глядя на ротмистра, онъ почтительно спросилъ:

- Что это адъсь? никакъ человъка убили?
- Да воть что-то въ этомъ родѣ, отвѣтилъ ему слѣдователь.

Петунниковъ глубоко вздохнулъ, опять перекрестился и тономъ огорченія заговорилъ:

— А, Господи Боже мой! Какъ я этого боялся! Всегда, бывало, зайдешь сюда, посмотришь... ай, ай, ай! Потомъ придешь домой, и все такое начинаеть мерещиться—Боже упаси всякаго!... Сколько разъ я господину этому вотъ... главнокомандующему золотой ротой хотълъ отказать отъ квартиры, но боюсь все... знаете... народъ такой... лучше уступить, думаю, а то какъ бы не того...

Онъ плавно повелъ рукой въ воздухъ, потомъ провелъ ею по лицу, собралъ въ горсть бороду и снова вздохнулъ.

- Опасные люди. И господинъ этотъ вродъ начальпика у нихъ... совершенно атаманъ разбойниковъ.
- А воть мы его пощупаемъ, многообъщающимъ тономъ сказалъ приставъ, глядя на ротмистра мстительными глазами. Онъ мнъ тоже хорошо извъстевъ!...
- Да, мы съ тобой, брать, старые знакомые... подтвердилъ Кувалда фамильярнымъ тономъ. Сколько я тебъ и приснымъ твоимъ взятокъ за молчаніе переплатиль!

- Господа,—воскликнулъ приставъ,—вы слышали? Прошу запомнить! Я этого не спущу... А... а! Такъ вотъ что? Ну, ты у меня помни это! Я тебя... сокр-ращу, мой другъ...
- Не хвались на рать идучи... мой другь, спокойно говорилъ Аристидъ Өомичъ.

Докторъ, молодой человъкъ въ очкахъ, смотрълъ на него съ любопытствомъ, слъдователь со зловъщимъ вниманіемъ, Петунниковъ съ торжествомъ, а приставъ кричалъ и метался, наскакивая на него.

Въ дверяхъ ночлежки явилась мрачная фигура Мартьянова. Онъ подошелъ тихо и сталъ сзади Петунникова, такъ что его подбородокъ приходился подъ теменемъ купца. Сбоку изъ-за него выглядывалъ дьяконъ, широко раскрывая свои маленькіе, опухшіе и красные глазки.

-- Однако, давайте же что-нибудь дълать, господа!-предложилъ докторъ.

Мартьяновъ скорчилъ страшную гримасу и вдругъ чихнулъ прямо на голову Петунникова. Тотъ вскрикнулъ, присълъ и прыгнулъ въ сторону, чуть не сбивъ съ ногъ пристава, который едва удержалъ его, раскрывъ ему объятія.

— Видите? — тревожно сказалъ купецъ, указывая на Мартьянова. Воть какіе люди! а?

Кувалда хохоталъ. Докторъ и слъдователь смъялись, а къ дверямъ ночлежки подходили все новыя и новыя фигуры. Полусонныя, опухшія физіономіи съ красными, воспаленными глазами, съ растрепанными волосами на головахъ, безцеремонно разглядывали доктора, слъдователя и пристава.

— Куда лъзете!—усовъщивалъ ихъ городовой, дергая за лохмотья и отталкивая отъ двери. Но онъ былъ одинъ, а ихъ много, и они, не обращая на него вниманія, лъзли, дыша перегорълой водкой, молчаливые и зловъщіе. Кувалда посмотрълъ на нихъ, потомъ на начальство, нъ-

сколько смущенное обиліемъ этой нехорошей публики, и усмъхаясь, сказаль начальству:

— Господа! Можеть вы хотите познакомиться съ моими квартирантами и пріятелями? Хотите? Все равно рано или поздно, вамъ придется же по обязанностямъ службы знакомиться съ ними...

Докторъ смущенно засмъялся. Слъдователь плотно сжалъ губы, а приставъ догадался, что нужно было сдълать, и крикнулъ на дворъ:

- Сидоровъ! Свисти... скажи, когда придутъ сюда, чтобъ достали телъгу...
- Ну, а я пойду!—сказалъ Петунниковъ, выдвигаясь откуда-то изъ-за угла.—Квартирку вы мнъ сегодня ослободите, господинъ... Я ломать буду эту хибарочку... Позаботьтесь... а то я обращусь къ полиціи...

На дворъ произительно рокоталь свистокъ полицейскаго, у дверей ночлежки тъсной толпой стояли ея обитатели, повъвывая и почесываясь.

— Итакъ, не хотите знакомиться?... Невъжливо!...— смъялся Аристидъ Кувалда.

Петунниковъ досталъ изъ кармана кошелекъ, порылся въ немъ, вытащилъ два интака и, крестясь, положилъ ихъ въ ноги покойника.

- Господи благослови... на погребеніе гр*****вшнаго праха...
- Что-о?—гаркнулъ ротмистръ.—Ты? на погребеніе? Возьми прочь! Прочь возьми, я тебъ говорю... мер-рзавець! Ты смъешь давать на погребеніе честнаго человъка твои воровскіе гроши... разражу!
- Ваше благородіе! испуганно крикнулъ купецъ, хватая пристава за локти. Докторъ и слъдователь выскочили вонъ, приставъ громко звалъ:
 - Сидоровъ, сюда!

Бывшіе люди стали въ дверяхъ стѣной и съ интересомъ, оживлявшимъ ихъ смятыя рожи, смотрѣли и слушали.

Кувалда, потрясая кулакомъ надъ головою Петунникова, ревълъ, звърски вращая налитыми кровью глазами.

— Подлецъ и воръ! Возьми деньги! Гнусная тварь бери, говорю... а то я въ зенки твои вобью эти пятаки, бери!

Петунниковъ протянулъ дрожащую руку къ своей лептъ и, защищаясь другой рукой отъ кулака Кувалды, говорилъ:

- Будьте свидътелемъ, господинъ приставъ, и вы, добрые люди.
- Мы, купецъ, недобрые люди,—раздался дребезжащій голосъ Объйдка.

Приставъ, надувъ лицо, какъ пузырь, отчаянно свистъль, а другую руку держаль въ воздухъ надъ головою Петунникова, извивавшагося передъ нимъ такъ, точно онъ хотълъ влъзть ему въ животъ.

— Хочешь, я заставлю тебя, ехидна подлая, ноги цъловать у этого трупа? X-хочешь?

И вцъпившись въ воротъ Петунникова, Кувалда швырнулъ его, какъ котенка, къ двери.

Бывшіе люди быстро разступились, чтобы дать купцу мъсто для паденія. И онъ растянулся у ихъ ногъ, испуганно и бъщено воя:

— Убивають! Карауль... убили-и!

Мартьяновъ медленно поднялъ свою ногу, прицъливаясь ею въ голову купца. Объъдокъ со сладострастнымъ выраженіемъ на своей физіономіи плюнулъ въ лицо Петунникова. Купецъ сжался въ маленькій комокъ и, упираясь въ землю ногами и руками, покатился на дворъ, поощряемый хохотомъ. А на дворъ уже появились двое полицейскихъ, и приставъ, указывая имъ на Кувалду, торжествуя, кричалъ:

- Арестовать! Связать!
- Вяжите его, голубчики! умоляль Петунниковъ.
- Не смъть! Я не бъгу... я самъ пойду, куда падо...—говорилъ Кувалда, отмахиваясь отъ городовыхъ, подбъжавшихъ къ нему.

Бывшіе люди исчезали одинъ по одному. Телѣга въѣхала во дворъ. Какіе-то унылые оборванцы уже тащили изъ ночлежки учителя.

- Я т-тебя, голубчикъ... погоди!—грозилъ приставъ Кувалдъ.
- Что, атаманъ!—ехидно спрашивалъ Петунниковъ, возбужденный и счастливый при видъ врага, которому вязали руки.—Что? Попалъ? Погоди! То ли еще будетъ!...

Но Кувалда молчаль. Онъ стояль между двухь полицейскихь, страшный и прямой, и смотрёль, какъ учителя взваливали на телёгу. Человёкь, державшій трупь подъ мышки, быль низенькаго роста и не могь положить головы учителя въ тоть моменть, когда ноги его уже были брощены въ телёгу. Съ минуту учитель быль въ такей позё, точно онъ хотёль кинуться съ телёги внизъ головой и спрятаться въ землё отъ всёхъ этихъ злыхъ и глупыхъ людей, не дававшихъ ему покоя.

— Веди его,—скомандовалъ приставъ, указывая на ротмистра.

Кувалда, не протестуя, молчаливый и насупившійся, двинулся со двора и, проходя мимо учителя, наклониль голову, но не взглянуль на него. Мартьяновь сь своимъ окаменълымъ лицомъ пошелъ за нимъ. Дворъ купца Петунникова быстро пустълъ.

— H-но, поъхали!—взмахнулъ извозчикъ вожжами надъ крупомъ лошади.

Тельта тронулась, затряслась по неровной земль двора. Учитель, покрытый какимъ-то тряпьемъ, вытянулся на ней вверхъ грудью и животь его дрожалъ. Казалось, что учитель тихо и довольно смъется, обрадованный тымъ, что вотъ, наконецъ, онъ увзжаеть изъночлежки и болье ужъ не воротится въ нее, никогда не воротится... Петунниковъ, провожая его взглядомъ, благочестиво перекрестился и потомъ тщательно началъ обпвать своимъ картузомъ пыль и соръ, приставшіе къ его одеждъ. И по мъръ того, какъ пыль исчезала

съ его поддевки, на лицъ его являлось спокойное выраженіе довольства собой и увъренности въ себъ. Со двора ему видно было, какъ по улицъ въ гору шелъ ротмистръ Аристидъ Өомичъ Кувалда, съ прикрученными на спинъ руками, высокій, сърый, въ фуражкъ съ краснымъ околышкомъ, похожимъ на полосу крови.

Петунниковъ улыбнулся улыбкой побъдителя и пошелъ къ ночлежкъ, но вдругъ остановился, вздрогнувъ. Въ дверяхъ противъ него стоялъ съ палкой въ рукъ и съ большимъ мъшкомъ за плечами страшный старикъ, ершистый отъ лохмотьевъ, прикрывавшихъ его длинное тъло, согнутый тяжестью ноши и наклонившій голову на грудь такъ, точно онъ хотълъ броситься на купца.

- Ты что? прикнуль Петунниковъ. Ты кто?
- Человъкъ... раздался глухой хрипъ.

Петунникова этотъ крипъ обрадовалъ и успокоилъ. Онъ даже улыбнулся.

- Человъкъ! Ахъ ты... такіе развъ люди бывають? И посторонившись, онъ пропустилъ мимо себя старика, который шелъ прямо на него и глухо ворчалъ:
- Разные бывають... какъ Богъ захочеть... Есть хуже меня... еще хуже есть... да!

Хмурое небо молча смотръло на грязный дворъ и на чистенькаго человъка съ острои съдои бородкой, ходившаго по землъ, что-то измъряя своими шагами и острыми глазками. На крышъ стараго дома сидъла ворона и торжественно каркала, вытягивая шею и покачиваясь.

Въ сърыхъ, строгихъ тучахъ, сплошь покрывшихъ небо, было что-то напряженное и неумолимое, точно онъ, собираясь разразиться ливнемъ, твердо ръшили смыть всю грязь съ этой несчастной, измученной, печальной земли.



030РНИКЪ.

(1897.)

По большой, свътлой комнать редакціи "N-ской Газеты" нервно бъгалъ взволнованный, гифвими редакторъ и, тиская въ рукахъ свѣжій номеръ изданія, отрывисто кричаль и ругался. Это была маленькая фигурка съ острымъ, худымъ лицомъ, украшеннымъ бородкой и золотыми очками. Громко топая тонкими ножками въ сърыхъ брюкахъ, онъ такъ и кружился подлъ длиннаго стола, стоявшаго среди комнаты и заваленнаго скомканными газетами, корректурными гранками и клочьями рукописей. У стола, облокотясь на него одной рукой, а другой потирая лобъ, стоялъ издатель-высокій, полный блондинъ среднихъ лътъ, и, съ тонкой усмъшкой на бъломъ сытомъ лицъ, слъдилъ за редакторомъ веселыми, свътлыми глазами. Метранпажъ, угловатый человъкъ съ желтымъ лицомъ и впалой грудью, въ коричневомъ сюртукъ, очень грязномъ и не по росту длинномъ, робко жался къ ствив. Онъ поднималъ брови кверху и таращилъ глаза въ потолокъ, какъ-бы что-то вспоминая или обдумывая, а черезъ минуту разочарованно потягиваль носомъ и уныло опускаль голову на грудь. Въ дверяхъ торчала фигура редакціоннаго разсыльнаго; то и дёло отталкивая его, входили и спова исчезали какіе-то люди съ озабоченными и недовольными лицами. Голосъ редактора — злой, раздраженный и звонкій, иногда поднимался до взвизгиваній и заставляль издателя морщиться, а метранцажа—испуганно вздрагивать..

— Нъть... это такая подлость! Я уголовное преслъдованіе возбужу противъ этого мерзавца... Корректоръ пришелъ? Чортъ возьми,—я спрашиваю—пришелъ корректоръ? Собрать сюда всъхъ наборщиковъ! Сказали? Нъть, вы только сообразите, что теперь будеть! Всъ газеты подхватятъ... Ср-рамъ! На всю Россію... Я не спущу этому мерзавцу!

И поднявъ руки съ газетой къ головъ, редакторъ замеръ на мъстъ, какъ бы желая обернуть газетой голову и тъмъ защитить ее отъ ожидаемаго срама.

- Вы прежде найдите его...—сухо усмъхаясь, посовътоваль издатель.
- Н-найду-съ! Н-найду! сверкнулъ глазами редакторъ, снова пускаясь въ бъгъ, и, прижавъ газету къ груди, началъ ожесточенно теребить ее. Найду и упеку... Да что же этотъ корректоръ?... Ага... Вотъ... Ну-съ, прошу пожаловать, милостивые государи! Гмъ!... Смиренные командиры свинцовыхъ армій... ха-ха! Проходите-съ... вотъ такъ!

Одинъ за другимъ въ залу входили наборщики. Они уже знали, въ чемъ дѣло, и каждый изъ нихъ приготовился къ роли обвиняемаго, въ виду чего они единодушно изображали на своихъ чумазыхъ лицахъ, пропитанныхъ свинцовою пылью, полную неподвижность и какое-то деревянное спокойствіе. Они столпились въ углу залы въ тѣсную кучку. Редакторъ остановился передъ ними, закинувъ руки съ газетой за спину. Онъ былъ ниже ихъ ростомъ и ему пришлось поднять голову кверху, чтобы взглянуть имъ въ лица. Онъ сдѣлалъ это движеніе слишкомъ быстро, и очки вдругъ вскочили ему на лобъ; думая, что они падають, онъ

взмахнуль въ воздухъ рукой, ловя ихъ, но въ этотъ моменть они снова упали на переносье.

— Чортъ васъ...-скрипнулъ онъ зубами.

На чумазыхъ рожахъ наборщиковъ засіяли счастливыя улыбки. Кто-то подавленно засмъялся.

- Я васъ призваль сюда не затъмъ, чтобы вы вубы ваши показывали мнъ!—озлобленно крикнулъ редакторъ, блъднъя.—Кажется, достаточно оскандалили газету... Если среди васъ есть честный человъкъ, который понимаеть что такое газета, пресса... онъ скажетъ, кто это устроилъ... Въ передовой статъъ...—Редакторъ сталъ нервно развертывать газету.
- Да въ чемъ дъло-то?—раздался голосъ, въ которомъ не слышно было ничего, кромъ простого любопытства.
- А! Вы не знаете? Ну воть извольте... воть... "Наше фабричное законодательство всегда служило для прессы предметомъ горячаго обсужденія... т.-е. говоренія глупой ерунды и чепухи!..." Воть! вы довольны? Не угодно ли будеть тому, кто добавиль эти "говоренія"...—и главное—говоренія! какъ это грамотно и остроумно!—ну-съ, кто же изъ васъ авторъ этой "глупой ерунды и чепухи"?...
- Статья-то чья? Ваша? Ну, вы и авторъ всего, что въ ней нагорожено,—раздался тотъ же спокойный голосъ, который и раньше спрашивалъ редактора.

Это было дерзостью, и всё невольно предположили, что виновникъ событія найденъ. Въ залё произошло движеніе; издатель подошелъ ближе къ группі, редакторъ поднялся на цыпочки, желая взглянуть черезъ головы наборщиковъ въ лицо говорившему. Наборщики раздвинулись. Предъ редакторомъ стоялъ коренастый малый, въ синей блузё, съ рябымъ лицомъ и вьющимися кверху вихрами на лёвомъ вискъ. Онъ стоялъ, глубоко засунувъ руки въ карманы штановъ, и, равнодушно уставивъ на редактора сёрые, злые глаза, чуть-

чуть улыбался изъ курчавой русой бороды. Всё смотрёли на него:—издатель, сурово нахмуривъ брови, редакторъ съ изумленіемъ и гнёвомъ, метранпажъ—сдержанно улыбаясь. Лица наборщиковъ изображали и плохо скрытое удовольствіе, и испугъ, и любопытство...

- Это... вы и есть?—спросиль, наконець, редакторь, указывая пальцемь на рябого наборщика, и многообъщающе сжаль губы.
- Я...—отвътилъ тотъ, усмъхнувшись какъ-то особенно просто и обидно.
- A-a!... весьма пріятно! Такъ это вы? Зачвиъ же вы вставили, позвольте узнать...
- Да я развъ сказалъ, что вставилъ?—и наборщикъ посмотрълъ на своихъ товарищей.
- Это онъ, навърное, Митрій Павловичъ, —обратился къ редактору метранцажъ.
- Ну я, такъ я,—не безъ нъкотораго добродушія согласился наборщикъ и, махнувъ рукой, снова улыбнулся.

Опять всё замолчали. Никто не ожидаль такого скораго и спокойнаго признанія, и оно подёйствовало на всёхъ, какъ неожиданность. Даже гнёвъ редактора смёнился на минуту изумленіемъ. Пространство вокругъ рябого стало шире, ментрапажъ быстро отошелъ къ столу, наборщики разступились...

- Ты въдь это нарочно, съ намъреніемъ? спросилъ издатель, улыбаясь и оглядывая рябого круглыми глазами.
- Извольте отвъчать!—крикнулъ редакторъ, взмахивая смятой газетой.
- Не кричите... не боюсь. Многіе на меня кричали, да безъ толку все!...—и въ глазахъ наборщика сверкнулъ ухарскій, наглый огонекъ..—Точно...—продолжалъ онъ, переступивъ съ ноги на ногу и обращаясь уже къ издателю,—я это съ намъреніемъ подставилъ слова...
 - Слышите? обратился редакторъ къ публикъ.

- Да что же ты такое въ самомъ дѣлѣ, чортова ты кукла!—взоѣсился вдругъ издатель.—Понимаешь ли ты, сколько ты вреда мнъ сдѣлалъ?
- Вамъ-то ничего... еще, чай, розничную продажу увеличиль. А вотъ господину редактору дъйствительно... не особенно по губъ этакая штучка.

Редакторъ точно окаменълъ отъ негодованія; онъ стоялъ передъ этимъ спокойнымъ и злымъ человъкомъ и молча сверкалъ глазами, не находя словъ для выраженія волновавшихъ его чувствъ.

— А въдь тебъ за это, брать, худо будеть!...—алорадно протянулъ издатель и вдругъ, смягчившись, ударилъ себя рукой по колъну.

Въ сущности, онъ былъ доволенъ и происшествіемъ, и дерзкимъ отвътомъ рабочаго: редакторъ относился къ нему всегда нъсколько высокомърно, не стараясь скрывать сознаніе своего умственнаго превосходства, и вотъ теперь онъ, этотъ самолюбивый и самоувъренный человъкъ, поверженъ во прахъ...—и къмъ?

- За эту твою дераость мы тебъ, душа, воздадимъ!...— добавилъ онъ.
- Да въдь ужъ навърно такъ не спустите, согласился наборщикъ.

Этотъ тонъ и эти слова опять произвели впечатлъніе. Наборщики переглянулись другъ съ другомъ, метранпажъ поднялъ брови и какъ-то съежился, редакторъ отступиль къ столу и, опершись на него руками, болъе растерянный и обиженный, чъмъ гнъвный, пристально смотрълъ на своего врага.

- Зовуть тебя какъ?—спросиль издатель, вынувъ наъ кармана записную книжку.
- Николка Гвоздевъ, Василій Ивановичъ!—быстро объявилъ метранпажъ.
- А ты, лакей Іуды Предателя, молчи, когда тебя не спрашивають,—сурово взглянувъ на метранпажа, сказалъ наборщикъ.—У меня свой языкъ есть, я самъ за

себя отвъчу... Зовуть меня Николай Семеновичь Гвоздевь. Жительство...

— Напдемъ!—пообъщалъ издатель.—А теперь убирапся къ чорту! Всъ идите!...

Громко топая, наборщики молча пошли вонъ. Гвоздевъ шелъ сзади всъхъ.

— Постой... позволь...—сказалъ редакторъ тихо, но ясно, и протянулъ руку вслъдъ Гвоздеву.

Гвоздевъ обернулся къ нему, лѣнивымъ движеніемъ прислонился къ косяку двери и, покручивая бородку, установился въ лицо редактора своими дерзкими глазами.

— Я тебя воть о чемъ спрошу,—началь редакторь. Онъ хотълъ быть спокойнымъ, но это не удавалось ему: голосъ его срывался, переходилъ въ крикъ.—Ты сознался... что, дълая этотъ скандалъ... имълъ въ виду меня. Да? Значитъ, это что же?—месть мнъ? Я тебя спрашиваю — за что? Ты понимаешь это? Можешь ты мнъ отвътить?

Гвоздевъ передернулъ плечами, скривилъ губы и, опустивъ голову, помолчалъ съ минуту. Издатель нетерпъливо притопывалъ ногой, метранпажъ вытянулъ впередъ шею, а редакторъ кусалъ губы и нервно хрустълъ пальцами. Всъ ждали.

— Я, пожалуй, скажу... Только, какъ я необразованный человъкъ, то, пожалуй, непонятно будетъ... Ну, ужъ извините тогда!... Вотъ, стало быть, въ чемъ дъло. Вы пишете разныя статьи, человъколюбіе всъмъ совътуете и прочее такое... Не умъю я сказать вамъ все это подробно—грамоту плохо знаю... Вы, чай, сами знаете, про что ръчи ведете каждый день... Ну, вотъ, я и читаю эти ваши статьи. Вы про нашего брата рабочаго толкуете... а я все читаю... И противно мнъ читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова безстыжія, Митрій Павлычъ!... потому что вы пишете—не грабь, а вътипографіи-то у васъ что? Кирьяковъ на прошлой не-

дълъ работалъ три съ половиной дня, выработалъ три восемь гривенъ и захворалъ. Жена приходить въ контору за деньгами, а управляющій ей говорить, что не ей дать, а съ нея нужно рубль двадцать получитьштрафу. Воть-те и не грабь! Вы что же про эти порядки не пишете? И какъ управляющій лается и мальчишекъ дуеть за всякую малость?... Вамъ этого нельзя писать, потому что вы и сами-то этой же политики держитесь... Иишете, что людямъ плохо жить на свътъ — и потому вы, я вамъ скажу, все это нишете, что ничего больше дълать не умъете. Воть и все... И потому подъ носомъ у себя вы никакихъ звърствъ не видите, а про турецкія звърства очень хорошо разсказываете. Развъ это не пустяки — статьи-то ваши? Давно ужъ мнъ хотълось, стыда вашего ради, истинныя слова въ ваши статьи вклеить. И не такъ бы еще надо!

Гвоздевъ чувствовалъ себя героемъ. Онъ гордо выпятилъ грудь, высоко поднялъ голову и, не скрывая своего торжества, въ упоръ смотрълъ на редактора. А редакторъ плотно прижался къ столу, вцъпившись въ него руками, откинулся назадъ и то блъднълъ, то краснълъ и все улыбался презрительно и смущенно, зло и болъзненно. Широко открытые глаза его часто моргали.

— Соціалисть? — съ боязнью и интересомъ спросилъ издатель, вполголоса обращаясь къ редактору. Тотъ болъзненно улыбнулся, но ничего не отвътилъ и склонилъ голову.

Метранпажъ ушелъ къ окну, гдъ стояла кадка съ громаднымъ филодендрономъ, бросавшая на нолъ комнаты тъневой узоръ, сталъ за кадку и смотрълъ оттуда на всъхъ маленькими черными и подвижными, какъ у мыши, глазами. Въ нихъ было какое-то нетерпъливое ожиданіе и порой вспыхивалъ радостный огонекъ. Издатель смотрълъ на редактора. Тотъ почувствовалъ это, поднялъ голову и съ безпокойнымъ блескомъ

въ глазахъ, съ нервной дрожью въ лицъ крикнулъ вслъдъ уходившему Гвоздеву:

— Позвольте... постойте! Вы оскорбили меня. Но вы не въ правъ... я надъюсь, вы это чувствуете? Я благодаренъ вамъ за... в-вашу... прямоту, съ которой вы высказались, но, повторяю...

Онъ хотълъ говорить съ ироніей, но вмъсто ироніи въ словахъ его звучало что-то блъдное и фальшивое, и онъ сдълалъ паузу, желая настроить себя къ отпору, достойному и его, и этого судьи, о правъ котораго судить его, редактора, онъ никогда еще не думалъ.

— Извъстно! — качнулъ головой Гвоздевъ. — Тотъ только и правъ, кто много сказать можеть.

И, стоя въ дверяхъ, онъ оглянулся вокругъ себя съ такимъ выражениемъ на лицъ, которое ясно показывало его нетерпъливое желание уити отсюда.

- Нъть, позвольте! повышая тонъ и поднимая руку кверху, заявилъ редакторъ. Вы выдвинули противъ меня обвиненіе, а раньше этого самовольно наказали меня за мою яко бы вину предъ вами... Я имъю право защищаться и я прошу васъ слушать...
- Да вамъ какое до меня дѣло? Вы передъ издателемъ защищайтесь, коли нужно. А со мной-то о чемъ говорить? Обидѣлъ я васъ, такъ къ мировому тащите. А то защищаться! Прощайте!—онъ круто поворотился и, заложивъ руки за спину, пошелъ изъ залы.

На ногахъ у него были тяжелые сапоги съ большими каблуками, онъ громко стучалъ ими, и шаги его гулко раздавались въ большой, сараеобразной комнатъ редакціи.

- Воть такъ исторія съ географіей! воскликнуль издатель, когда Гвоздевъ захлопнуль за собою дверь.
- Василій Ивановичь, я туть не при чемь, въ этомь дъль...— заговориль метранпажь, виновато разводя руками, и осторожными коротенькими шагами подошель къ издателю. Я верстаю наборъ и никакъ не

могу знать, что мив туда дежурный сунеть. Я-сь цвлую ночь на ногахъ... нахожусь здвсь, а дома у меня жена хвораеть, двти безъ присмотра:.. трое... Я, можно сказать, кровью истекаю за тридцать рублей въ мвсяцъ-то... А Федору Павловичу, когда они нанимали Гвоздева, я говориль: "Федоръ Павловичъ, говорю, я Николку съ мальчишекъ знаю и долженъ вамъ сказать, что Николка озорникъ и воръ, безъ совъсти человъкъ. Его ужъ у мирового судили, говорю, сидълъ въ тюрьмъ даже...

- За что сидълъ?—задумчиво спросилъ редакторъ, не глядя на разсказчика.
- За голубей-съ... т.-е. не за голубей, а за взломы замковъ. Въ семи голубятняхъ сломалъ замки въ одну ночь-съ!... и всъ охоты выпустилъ на волю—всю птицу разогналъ-съ! И у меня тоже пара смурыхъ, одинъ турманъ съ игрой, да скобарь такъ и пропали. Очень цънныя птицы.
 - Укралъ? побопытно освъдомился издатель.
- Нътъ, этимъ не балуется. Судился и за воровство, да оправдали. Такъ онъ—озорникъ... Распустилъ птицу и радъ, и надсмъхается надъ нами, охотниками... Били ужъ его не однажды. Разъ послъ битья въ больницъ даже лежалъ... А вышелъ—у кумы моей въ печи чертей развелъ.
 - Чертеп?—изумился издатель.
- Чушь какая!—пожаль плечами редакторь, наморщивъ лобъ, и, снова кусая губы, задумался.
- Это совершенная истина, только сказаль не такъ, —сконфузился метранпажъ. Онъ, видите, печникъ, Николка-то. Онъ на всъ руки: по литографской части смекаетъ, граверъ, водопроводчикомъ былъ тоже... Такъ вотъ кума—у нея свой домъ, она изъ духовнаго званія—и наняла его печь переложить. Ну, онъ переложилъ все, какъ слъдуетъ; но только, подлый человъкъ, въ стънку-то печи вмазалъ бутылку со ртутью

и съ иголками... и еще чего-то кладется тамъ. Отъ этого происходить звукъ — особый этакій, знаете, какъ бы стонъ, и вздохъ, й тогда говорять-черти въ домъ завелись. Печь-то вытопять, ртуть въ бутылкъ нагръется и пойдеть тамъ бродить. А иголки по стеклу скребуть, точно зубомъ кто скрипить. Кромъ иголокъ, еще разныя жельзины въ ртуть кладуть, и отъ нихъ тоже разные звуки-иголка по-своему, гвоздь по-своему, и выходить этакая чертовская музыка... Кума даже продать хотъла домъ, да никто не покупаеть, -- кому понравится съ чертями-съ? Три молебна съ водосвятіемъ служила-не помогаеть. Реветь женщина, дочь у нея невъста, куръ головъ до ста, двъ коровы, хорошее хозяйство... и вдругъ черти! Билась, билась, смотръть жалко. Николка же ее и спасъ, можно сказать. Давай. говорить, пятьдесять целковыхь-выгоню чертей! Она ему сначала четвертную дала, а потомъ-какъ онъ вытащиль бутылку, да дознались, въ чемъ дёло -- ну и прощай! Очень сообразительная женщина, въ судъ котъла подать, но ей отсовътовали... И еще за нимъ многія художества водятся.

- И за одно изъ этихъ милыхъ "художествъ" съ завтрашняго дня я буду расплачиваться. Я?!—нервозно воскликнулъ редакторъ и, сорвавшись съ мъста, снова началъ метаться по комнатъ.—О, Боже мой! Какъ глупо, грубо, пошло все это...
- Ну-у, очень ужъ вы! успокоительно сказаль издатель. Сдълаете поправку, объясните, почему это вышло... Малый-то больно интересный, прахъ его возьми. Чертей въ печку насажаль, ха-ха! Нъть, ей Богу! Проучить мы его проучимъ, но мерзавецъ съ умомъ и возбуждаетъ къ себъ что-то этакое... знаете! издатель щелкнулъ надъ головой пальцами и кинулъ взглядъ въ потолокъ.
- Васъ это занимаеть, да?—ръзко крикнулъ редакторъ.

— Ну, такъ что? Развъ не смъщно? И васъ онъ довольно основательно расписалъ. Съ умомъ, бестія! — отплатилъ издатель редактору за окрикъ. — По какой статьъ вы съ нимъ считаться-то намърены?

Редакторъ быстро подбъжалъ вплоть къ издателю.

- Считаться я съ нимъ не буду-съ! Не могу-съ, Василій Ивановичъ, потому что этотъ фабриканть чертей правъ! У васъ въ типографіи чорть знаетъ что творится, вы слышали? А мы!... а я играю дурака по вашей милости. Онъ тысячу разъ правъ!
- И въ томъ добавлении, которое внесъ въ вашу статейку? ъдко спросилъ издатель и иронически поджалъ губы.
- Ну такъ что жъ? И въ этомъ, да! Вы поймите, Василій Ивановичъ, мы въдь либеральная газета...
- Печатаемая въ двухъ тысячахъ экземпляровъ, считая безплатные и обмънные, сухо вставилъ издатель. А нашъ конкурентъ въ девяти тысячахъ расходится!
 - Н-ну-съ?
 - Больше ничего!

Редакторъ безнадежно махнулъ рукой и снова съ потуски в в потуски в в в в в кадъ и в передъ по залъ.

- Прелестное положеніе! бормоталь онь, пожимая плечами. Какая-то универсальная травля! Всё собаки на одну, а эта въ намордникъ. Ха-ха! И этоть несчастный р-рабочій! О, Боже мой!
- Да плюньте, батенька, не волнуйтесь! посовътоваль вдругь Василій Ивановичь, добродушно усмъхаясь, какь бы утомившись волненіями и пререканіями. Пришло и пройдеть, и честь свою вновь возстановите. Дъло гораздо больше смъшное, чъмъ драматическое.

Онъ миролюбиво протянулъ редактору свою пухлую руку и пошелъ-было изъ залы въ контору.

Вдругъ дверь въ контору растворилась и на порогъ явился Гвоздевъ. Онъ былъ въ картузъ и не безъ нъ-которой любезности улыбался.

- Я прищелъ сказать вамъ, господинъ редакторъ, что ежели вы хотите со мной судиться, то скажите потому я отсюдова уъду, ну а по этапу возвращаться неохота.
- Убирайся вонъ!—чуть не рыдая отъ бъщенства, взвылъ редакторъ и бросился въ глубину комнаты.
- Значить, квить, сказаль Гвоздевь, поправиль на головъ картузъ и, спокойно обернувшись на порогъ, исчезъ.
- О-о, бестія! съ восхищеніемъ выдохнулъ изъ себя Василій Ивановичъ вслѣдъ Гвоздеву и, блаженно улыбаясь, не спѣша сталъ надъвать пальто.

Дня черезъ два послъ описаннаго, Гвоздевъ въ синей блузъ, подпоясанной ремнемъ, въ брюкахъ навыпускъ, въ ярко начищенныхъ ботинкахъ, въ бъломъ картузъ, надътомъ набекрень и на затылокъ, и съ суковатой палкою въ рукъ, степенно гулялъ по "Горъ".

Гора представляла собою пологій спускъ къ рѣкѣ. Въ давнія времена на спускѣ этомъ стояла густая роща. Теперь почти вся она была вырублена и лишь кое-гдѣ могучіе, корявые дубы и вязы, поломанные грозами, вздымали къ небу свои старые дуплистые стволы, широко раскинувъ узловатые сучья. У корней ихъ вилась молодая поросль, кустарники льнули къ стволамъ, и всюду среди зелени гуляющая публика протоптала извилистыя тропы, сползавшія внизъ къ рѣкѣ, облитой сіяніемъ солнца. Горизонтально пересѣкая "Гору", шла широкая аллея — заброшенный почтовый трактъ — и по ней-то, главнымъ образомъ, гуляла публика, расхаживая въ два ряда, одинъ навстрѣчу другому.

Гвоздеву всегда очень нравилось бродить взадъ и

впередъ по этой аллев вмвств съ публикой и чувствовать себя такимъ же, какъ и всв, такъ же свободно вдыхать воздухъ, напитанный запахомъ листвы, такъ же свободно и лвниво двигаться и быть частью чегото большого и чувствовать себя равнымъ со всвми.

Въ отогь день онъ быль чуть-чуть навесель, и его ръшительное рябое лицо смотръло добродушно и общительно. Съ лъваго виска его вились кверху русые вихры. Красиво оттъняя ухо, они лежали на околышъ фуражки, придавая Гвоздеву ухарскій видъ молодчины мастерового, который доволень собой, хоть сейчась готовъ спъть, поплясать и подраться и во всякую минуту непрочь выпить. Этими характерными вихрами сама природа точно желала рекомендовать всвиъ Николая Гвоздева, какъ малаго съ огонькомъ и знающаго себъ цъну. Одобрительно поглядывая вокругъ себя прищуренными сърыми глазами, Гвоздевъ вполнъ миролюбиво толкалъ публику, безъ претензіи сносиль ея толчки, наступая дамамъ на шлейфы, въжливо извинялся, глоталь вмёстё со всёми густую пыль и чувствоваль себя прекрасно.

Сквозь листву деревьевъ видно было, какъ за рѣкой въ лугахъ садилось солнце. Небо было тамъ пурпурное, теплое и ласковое, манившее туда, гдѣ оно касалось краемъ темной зелени луговъ. Подъ ноги гуляющимъ ложились узорныя тѣни, и толпа людей наступала на нихъ, не замѣчая ихъ красоты. Франтовато засунувъ въ лѣвый уголъ губъ папиросу и лѣниво выпуская изъ праваго струйки дыма, Гвоздевъ присматривался къ публикѣ, ощущая въ себѣ настоятельное желаніе потолковать съ кѣмъ-нибудь за парой пива въ ресторанѣ, внизу "Горы". Знакомыхъ никого не встрѣчалось, а свести новое знакомство не было подходящаго случая; публика, несмотря на праздникъ и ясный весеный день, была почему-то хмурая и не отвѣчала на его общительное настроеніе, котя онъ уже не разъ за-

глядываль въ лица людей, шедшихъ рядомъ съ нимъ, съ добродушной улыбкой и съ выраженіемъ полной готовности вступить въ бесёду. Вдругъ передъ его глазами, въ массё затылковъ мелькнулъ хорошо знакомый гладко остриженный и плоскій, точно стесанный, затылокъ редактора. Дмитрія Павловича Истомина. Гвоздевъ улыбнулся, вспомнивъ, какъ онъ отдёлалъ этого человъка, и съ удовольствіемъ сталъ смотрёть на сёрую низенькую шляпу Дмитрія Павловича. Иногда шляпа редактора скрывалась за другими шляпами, и это почему-то безпокоило Гвоздева; онъ приподнимался на носки, высматривая ее, находилъ и снова улыбался.

Такъ, слъдя за редакторомъ, онъ шелъ и вспоминалъ о томъ времени, когда онъ, Гвоздевъ, былъ Николкой слесаревымъ, а редакторъ -- Митькой дьяконицынымъ. У нихъ былъ еще товарищъ Мишка, прозванный ими Сахарницей. Былъ еще Васька Жуковъ, чиновниковъ сынъ изъ крайняго въ улицъ дома. Хорошій домъ былъ — старый, весь поросшій мхомъ, весь облъпленный пристройками. У Васькина отца была прекрасная голубиная охота. На дворъ дома ловко было играть въ прятки, потому что Васькинъ отецъ скупой быль и берегь на дворъ всякій хламь — какія-то изломанныя кареты, бочки, ящики. Теперь Васька врачомъ въ увадъ, а на мъстъ стараго дома стоять желъзнодорожные пакгаузы... Были и еще товарищи, все мальчишки лъть по восьми — десяти. Всъ они обитали тогда на окраинъ города, въ Задней Мокрой улицъ, жили дружно между собой и въ постоянной враждъ съ мальчишками изъ другихъ улицъ. Опустошали сады и огороды, играли въ бабки, въ шаръ-масло и другія игры, учились въ приходскомъ училищъ... Съ той поры прошло леть двадцать пять...

Было время и — прошло, были мальчишки — такіе же озорные и чумазые, какъ и Николка слесаревъ, — и стали теперь важными людьми. А Николка слесаревъ застрялъ

въ Задней Мокрой. Они, кончивъ приходское училище, въ гимназію попали,—онъ не попалъ... А что если заговорить съ редакторомъ? Поздороваться и начать разговоръ? Начать съ того, что извиниться за скандалъ, и потомъ поговорить — такъ, вообще, прожизнь...

ПІляпа редактора все мелькала передъ глазами Гвоздева, какъ бы подманивая его къ себъ, и Гвоздевъ ръшился. Какъ разъ въ это время редакторъ шелъ одинъ въ свободномъ пространствъ, образовавшемся среди публики. Онъ шагалъ своими тонкими ногами въ свътлыхъ брюкахъ, голова то и дъло повертывалась изъ стороны въ сторону, близорукіе глаза шурились, разсматривая публику. Гвоздевъ почти поровнялся съ нимъ и сбоку любезно заглядывалъ ему въ лицо, ожидая удобнаго момента, чтобы поздороваться, и въ то же время ощущая острое желаніе знать, какъ отнесется къ нему редакторъ.

— Здравствуйте, Митрій Павловичъ!

Редакторъ обернулся къ нему, одной рукой приподнялъ шляпу, другой поправилъ очки на носу, разглядълъ Гвоздева и нахмурился.

Но это не обезкуражило Николая Гвоздева,—напротивъ, онъ пріятнъйшимъ манеромъ нагнулся къ редактору и, обдавъ его запахомъ водки, спросилъ:

- Прогуливаетесь?

Редакторъ на секунду остановился; губы и ноздри его брезгливо дрогнули, и онъ сухо кинулъ Гвоздеву:

- Что вамъ угодно?
- Миъ ? Ничего! Такъ я это... хорошо сегодня! И очень желательно миъ поговорить съ вами насчеть этого происшествія.
- Я не желаю съ вами ни о чемъ говориты!—заявилъ редакторъ, ускоряя шагъ.

Гвоздевъ сдълалъ то же.

— Не желаете? Понимаю... Вы въ вашемъ правъ, я

это очень хорошо понимаю... Какъ я васъ сконфузилъ, то, конечно, вы должны имъть противъ меня зубъ...

— Вы, просто... вы пьяны...—снова остановился редакторъ.—И если вы не оставите меня въ поков, я полицію приглашу.

Гвоздевъ ласково засмъялся:

— Ну, зачъмъ же?

Редакторъ искоса посмотрълъ на него тоскливымъ взглядомъ человъка, попавшаго въ непріятное положеніе и не внающаго, какъ изъ него выйти. Публика уже смотръла на нихъ съ любопытствомъ. Нъсколько физіономій насторожилось, чуя загорающійся скандалъ. Истоминъ безсильно оглядывался вокругъ.

Гвоздевъ замътилъ это.

— Давайте свернемъ въ сторонку, —сказалъ онъ, — и, не дожидаясь согласія, ловко оттеръ Истомина плечомъ въ сторону съ широкой аллеи на узкую тропу, спускавшуюся между кустарникомъ внизъ по горъ.

Редакторъ не выразилъ протеста противъ этого маневра, — можетъ быть, потому, что не успълъ, а можетъ — потому, что внъ публики, одинъ на одинъ, надъялся скоръе и проще избавиться отъ своего собесъдника. Онъ тихонько, осторожно упираясь палкой въ землю, шелъ внизъ по тропинкъ, а Гвоздевъ слъдовалъ за нимъ и дышалъ ему на шляпу.

— Вотъ тутъ близко есть одно дерево упавшее, мы и сядемъ... Вы, Митрій Павловичъ, не сердитесь на меня за этоть мой поступокъ. Извините! Я въдь это со зла... Нашего брата иногда такое зло разбираеть, что и виномъ не зальешь... Ну, въ такую вотъ пору и созорничаещь надъ къмъ-нибудь: прохожему въ рыло дашь или что другое... Я не каюсь—что сдълано то сдълано, но, можетъ, я даже очень хорошо понимаю, что сдълалъ-то не совсъмъ въ мъру... Перехватилъ.

Тронуло ли редактора это искрениее объяснет и личность Гвоздева возбудила въ немъ любопытство, или

онъ понялъ, что ему не отдълаться отъ этого человъка, но онъ спросилъ Гвоздева:

- О чемъ же вы хотите говорить?
- А такъ... обо всемъ! Скорбитъ душа у меня, потому что обиду я чувствую себъ... Вотъ тутъ сядемте.
 - Мив некогда...
- Знаю я... газета! Увсть она вамъ половину жизни, все здоровье на нее просадите. Я ввдь понимаю! Онъ, издатель-то, что? У него въ газетв деньги, а у васъ—кровь! Глаза-то вы ужъ прописали себв... Садитесь!

Предъ ними вдоль тропы лежалъ большой пень— полусгнившій остатокъ когда-то могучаго дуба. Вътви оръшника наклопились надъ деревомъ, образуя зеленый навъсъ; сквозь вътви просвъчивало небо, уже облеченное въ краски заката; пряный запахъ свъжей листвы наполнялъ воздухъ. Гвоздевъ сълъ и, обращаясь къ редактору, который все еще стоялъ, неръшительно оглядываясь, опять заговорилъ:

— Выпиль я сегодня немного... Скучно мив жить, Митрій Павловичь! Оть своихъ товарищей рабочихъ отсталь я какъ-то, совсвиъ у меня другое направленіе мысли. Увидаль я сегодня васъ и вспомниль, что въдь и вы товарищемъ мив были... ха, ха!

Онъ засмъялся, потому что редакторъ смотрълъ на него съ такой быстрой смъной выраженій на лицъ, которая дълала его дъйствительно смъшнымъ.

- Товарищемъ? Когда?
- А давно ужъ, Митрій Павловичъ... Тогда мы еще въ Задней Мокрой существовали... помните? Черезъ дворъ другъ отъ друга. А противъ насъ Мишка Сахарниця по нынъшнимъ временамъ Михаилъ Ефимовичъ Хруловъ, слъдователь судебный изволили имъть мъсто жительства при своемъ строгомъ батюшкъ... Помните Ефимыча? Часто онъ насъ съ вами за вихры трясъ... Да вы сядьте!

Редакторъ утвердительно кивнулъ головой и сълъ рядомъ съ Гвоздевымъ. Онъ смотрълъ на него напряженнымъ взглядомъ человъка, вспоминающаго нъчто давно и прочно забытое, и теръ себъ лобъ.

А Гвоздевъ увлекался воспоминаніями.

— Житье было у насъ тогда! И почему только человъкъ на всю жизнь ребенкомъ не остается? Растеть... зачъмъ? Потомъ врастаетъ въ землю. Несетъ всю свою жизнь несчастія разныя... озлится, озвъръеть... ченуха! Живеть, живеть и—въ концъ всей жизни одни пустяки... Гробъ и... больше ничего... А тогда мы, бывало, жили безъ всякой темной мысли, весело,—птички—и все туть! Порхали черезъ заборы по чужіе плоды трудовъ... Помните, я вамъ однажды въ огородъ у Петровны на воровскомъ дълъ въ носъ огурцомъ закатиль? Вы крикъ подняли, а я—драла... Вы съ мамашей къ моему отцу приходили съ жалобой, и отецъ меня выпоролъ какъ слъдуетъ быть... А Мишка, Михаилъ Ефимовичъ...

Редакторъ слушалъ и, помимо воли, улыбался. Ему котълось бы сохранить серьезность и достоинство предъ этимъ человъкомъ, проявлявшимъ наклонность къ фамильярничанью. Но въ этихъ разсказахъ о ясныхъ дняхъ дътства было что-то трогательное и въ тонъ Гвоздева пока еще не особенно ръзко звучали ноты, угрожавшія самолюбію Дмитрія Павловича. Да и кругомъ было хорошо. Гдъ-то вверху шаркали ноги гуляющей публики по песку дорожки, чуть доносились голоса, иногда звучаль смъхъ; но вздыхалъ вътеръ—и всъ эти слабне звуки тонули въ меланхоличномъ шорохъ листвы. А когда шорохъ замиралъ, были моменты полной тишины, точно все кругомъ чутко прислушивалось къ словамъ Николая Гвоздева, сбивчиво разсказывавшаго повъсть о юности...

— Помните Варьку, маляра Колокольцова дочь? Теперь она замужемъ за типографщикомъ Шапошниковымъ. Такая барыня — мимо идти страшно... Тогда она дъвчурочка хворая была... Помните, процала она однажды, и всъ мы мальчишки со всей улицы по полю да по оврагамъ искали ее! Въ лагеряхъ нашли и вели ее полемъ домой... Шуму было — страсть! Колокольцовъ пряниками угостилъ, а Варька, увидавши мать свою, сказала: "а я была у барыни офицеровой, и она меня въ дочки къ себъ зоветь!" Хе, хе!... Въ дочки!... Славная дъвчурка была...

Съ ръки доносились какіе-то звуки, словно тихо охала чья-то могучая, тоскующая грудь. Пароходъ шелъ, и въ воздухъ плылъ шумъ воды, разбиваемой его колесами. Небо было розовое, а вокругъ Гвоздева съ редакторомъ сгущался сумракъ. Медленно наступала весенняя ночь. Тишина становилась полной, глубокой, и какъ бы подчиняясь ей, Гвоздевъ понизилъ голосъ... Редакторъ молча слушалъ его, вызывая въ своей памяти смутныя картины давно минувшаго. Все это было... И все это было лучше того, что есть теперь. Только въ дътствъ возможна душа свободная, не замъчающая тяжести тъхъ цъпей, которыя зовуть условіями жизни. Дътству неизвъстны острыя воспаленія совъсти, неизвъстна и ложь иная, кром'в безобидной детской лжи. Какъ много неизвъстно въ дни дътства и какъ хороша эта неизвъстность! Живешь — и постепенно раздвигается понимание жизни... Зачёмъ оно раздвигается, если и умираешь, ничего не понявъ?

— Такъ вотъ, Митрій Павловичъ, значить, оно и выходитъ, что я одного съ вами гнъзда птица... Да! А полеты у насъ разные... И какъ вспомню я, что въдь вся разница между мной и моими товарищами бывшими только въ томъ, что не сидълъ я въ гимназіи за книгами, — горько мнъ и тошно бываетъ... Развъ въ этомъ человъкъ? Въ душъ онъ, въ чувствахъ къ ближнему своему, какъ сказано... Ну вотъ — вы мой ближній, а какую я цъну имъю для васъ? Никакой! — върно?

Редакторъ, увлеченный своими мыслями, не разслышалъ, должно быть, вопроса своего собесъдника.

— Върно! — сказалъ онъ тономъ искреннимъ и разсъяннымъ.

Но Гвоздевъ разсмъялся, и онъ спохватился:

- Т.-е. позвольте? Что, собственно, върно?
- Върно, что я для васъ пустое мъсто... Есть я или нъть меня, вамъ все равно наплевать. Зачъмъ вамъ душа моя? Живу я одинъ на свътъ и всъмъ людямъ, меня знающимъ, очень надоълъ. Потому у меня характеръ злой, и очень я люблю разные фокусы выкидывать. Однако, у меня чувства въдь тоже есть и умъ есть... Я чувствую обиду въ моемъ положении. Чъмъ я хуже васъ? Только моимъ занятіемъ...
- Д-да... это печально! сказаль редакторъ, наморщивъ лобъ, сдълалъ паузу и продолжалъ какимъ-то успокоивающимъ тономъ: — Но видите ли, тутъ нужно примънить другую точку эрънія...
- Митрій Павловичъ! Зачѣмъ точка зрѣнія? Не съ точки зрѣнія человѣкъ человѣку вниманіе долженъ оказывать, а по движенію сердца! Что такое точка зрѣнія? Я говорю про несправедливость жизни. Развѣ можно меня съ какой-нибудь точки забраковать? А я забракованъ въ жизни нѣтъ мнѣ въ ней хода... Почему-съ? Потому, что не ученъ? Такъ вѣдь ежели бы вы, ученые, не съ точекъ зрѣнія разсуждали, а какъ-нибудь иначе должны вы меня, вашего поля ягоду, не забыть и извлечь вверхъ къ вамъ снизу, гдѣ я гнію въ невѣжествѣ и озлобленіи моихъ чувствъ? Или съ точки зрѣнія не должны?

Гвоздевъ прищурилъ глазъ и торжествуя посмотрѣлъ въ лицо своего собесъдника. Онъ чувствовалъ себя въ ударъ и выпускалъ изъ себя всю свою философію, придуманную въ долгіе годы своей трудовой, безалаберной и безплодной жизни. Редакторъ былъ смущенъ натискомъ своего собесъдника и старался одновременно

опредълить — что это за человъкъ и что ему возразить на его ръчи. А Гвоздевъ въ упоеніи самимъ собой продолжаль:

- Вы люди умные, сто отвътовъ миъ дадите, и все будеть ивтъ, не должны! А я говорю должны! Почему? Потому что я и вы люди изъ одной улицы и одного происхожденія... Вы не настоящіе господа жизни, не дворяне... Съ тъхъ нашему брату взятки гладки. Тъ скажуть: "пшелъ къ чорту!" и пойдешь. Потому они издревле аристократы, а вы потому аристократы, что грамматику знаете и прочее... Но вы свой братъ, и я могу требовать съ васъ указанія пути моей жизни. Я мъщанинъ, и Хрулевъ тоже, и вы дьяконовъ сынъ...
- Но, позвольте... просительно сказалъ редакторъ, развъ я отрицаю ваше право требовать?...

Но Гвоздеву совсемъ не интересно было знать, что отрицаеть и что признаеть редакторъ; ему нужно было высказаться, и онъ чувствовалъ себя въ этотъ моментъ способнымъ сказать все, что когда-либо волновало его.

— Нъть, вы позвольте! — уже какимъ-то таинственнымъ шопотомъ говорилъ онъ, близко склоняясь къ редактору и блестя возбужденными глазами. — Какъ вы думаете, легко мнъ теперь работать на моихъ товарищей, которымъ я встарину носы раскващивалъ? Легко мнъ съ господина судебнаго слъдователя Хрулева, у котораго я съ годъ тому назадъ ватерклозетъ установлялъ, сорокъ копеекъ на чай получить? Въдь онъ человъкъ одного со мной ранга... И было его имя Мишка Сахарница... у него зубы гнилые и посейчасъ, какъ тогда были...

Къ горлу его подкатило что-то тяжелое, удушающее; онъ замолчалъ на моментъ и разразился ругательствомъ — такимъ громкимъ и отвратительно-циничнымъ, что редакторъ вздрогнулъ и отодвинулся отъ него. Выругавшись, Гвоздевъ вдругъ какъ-то ослабълъ, точно огонь въ немъ погасъ. Онъ прислушался самъ къ себъ

и уже не ощущаль болье внутри себя ничего такого, что ему хотьлось бы сказать.

— Воть и все! — произнесь онъ глухо.

Въ немъ вдругъ стало пусто, и ощущение этой пустоты вызывало у него раздражение.

Редакторъ задумчиво смотрълъ на него сбоку и молча соображалъ, — что же сказать этому парню? Нужно сказать что-нибудь хорошее, правдивое и искреннее. Но у Дмитрія Павловича Истомина ничего нужнаго въданный моменть не нашлось ни въ головъ, ни въ сердив. Давно уже всякіе идейные и выспренніе разговоры по "вопросамъ" вызывали въ немъ чувство скуки и утомленія. Онъ вышелъ сегодня отдохнуть, нарочно избъгалъ встръчь съ знакомыми — и вдругъ этотъ человъкъ со своими ръчами. Конечно, въ его ръчахъ, какъ и во всемъ, что говорять люди, есть нъкоторая доля правды. Онъ любопытныя и могли бы послужить очень интересной темой для фельетона... Но, за всъмъ тъмъ, нужно же что-нибудь сказать ему.

- Все, что вы сказали, не ново, знаете, началь онъ. О несправедливости отношеній человъка къ человъку давно идеть ръчь... Но, пожалуй, эти ваши ръчи являются новостью въ томъ смыслъ, что раньше ихъ говорили люди иного сорта... Вы нъсколько односторонне и невърно формулируете ваши думы... но...
- Опять ваша точка зрвнія! вяло усмвинулся Гвоздевъ. Эх-ма, господа, господа! Умомъ-то вы награждены, а сердце-то видно... Вы мив скажите чтонибудь такое, чтобы сразу по недугу мив пришлось... воть!

Онъ сказалъ это и, опустивъ голову, ждалъ отвъта. Его охватывала тоска.

Истоминъ снова посмотрълъ на него, наморщивъ лобъ и ощущая сильное желаніе уйти. Ему казалось, что Гвоздевъ цьянъетъ и оттого такъ раскисъ послъ своихъ возбужденныхъ ръчей. Онъ смотрълъ на бълур

фуражку, съъхавшую на затылокъ, на рябую щеку и задорный вихоръ Гвоздева, смърилъ взглядомъ всю его сильную жилистую фигуру и подумалъ про него, что это очень типичный рабочій, и если бъ...

- Такъ что же?—спросилъ Гвоздевъ.
- Да что же я могу вамъ сказать? Откровенно говоря, я не совсъмъ ясно представляю себъ, что именно хотъли бы вы слышать.
- То-то воть и есть!... Ничего вы мнв не можете отвътить,—усмвинулся Гвоздевь.

Редакторъ облегченно вздохнулъ, справедливо предполагая, что разговоръ оконченъ и Гвоздевъ уже не будетъ больше къ нему приставать съ вопросами... И вдругъ онъ подумалъ:

— А что, какъ онъ побьеть меня? Онъ такой элой. Ему вспомнилось выражение лица Гвоздева тамъ, въ редакции, во время этой глупой сцены. И онъ подозрительно покосился на него.

Было уже темно. Тишина прерывалась звуками пъсни, долетавшей издалека съ ръки. Пъли хоромъ, и теноровые голоса слышались совсъмъ ясно. Большіе жуки, металлически звеня, носились въ воздухъ. Сквозь листву деревьевъ видны были звъзды... Иногда та или другая вътка надъ головами отчего-то вздрагивала, и слышалось тихое трепетаніе листьевъ.

— A въдь роса будетъ...—сказалъ редакторъ съ осторожностью.

Гвоздевъ вздрогнулъ и поворотился къ нему.

- Что вы сказали?
- Роса будеть, говорю, вредно это...
- A-a!

Помолчали. На ръкъ раздался крикъ:

- Эп-п! Ha-a баржъ-ъ!...
- Я думаю идти. До свиданья!...
- А не распить ли намъ пару пива?—предложилъ

вдругъ Гвоздевъ и, усмъхаясь, добавилъ: — Окажите честь!

— Нътъ, извините, я въ это время не могу. И потомъ пора мнъ, знаете...

Гвоздевъ всталъ съ дерева и угрюмо посмотрълъ на редактора.

Тоть протягиваль ему руку, тоже вставъ.

— Не желаете, значить, пить пива со мной?! Ну и чорть съ вами!—отрубиль Гвоздевь, нахлобучивая свою фуражку ръзкимъ жестомъ.—Аристократія! На грошъ пара! Я и одинъ напьюсь...

Редакторъ храбро повернулся спиной къ своему собесъднику и пошелъ вверхъ по тропинкъ, не говоря ни слова. Проходя мимо Гвоздева, онъ странно втянулъ голову въ плечи, точно боялся задъть ею за что-нибудь. Гвоздевъ крупными шагами пошелъ внизъ по горъ.

Съ ръки доносился надрывавшійся голосъ:

— На баржъ-ъ! Черти-и! Да-а-вап лодку-у-у!

И среди деревьевъ разносилось тихое эхо:

— 0-y-y-y!...



ВАРЕНЬКА ОЛЕСОВА.

(1897.)

I.

... Черезъ нъсколько дней послъ назначенія приватьдоцентомъ въ одинъ изъ провинціальныхъ университетовъ, Ипполитъ Сергъевичъ Полкановъ получилъ телеграмму отъ сестры изъ ея имънія въ далекомъ лъсномъ уъздъ, на Волгъ.

Телеграмма кратко сообщала:

"Мужъ умеръ, ради Бога немедленно прівзжай помочь мнв. Елизавета".

Этотъ тревожный призывъ непріятно взволноваль Ипполита Сергъевича, нарушая его намъренія и настроеніе. Онъ уже ръшиль уъхать на льто въ деревню къ одному изъ товарищей и много работать тамъ, чтобы съ честью приготовиться къ лекціямъ, а теперь воть нужно ъхать за тысячу слишкомъ верстъ отъ Петербурга и отъ мъста назначенія, чтобъ утьшать женщину, потерявшую мужа, съ которымъ, судя по ея же письмамъ, ей жилось не сладко.

Послъдній разъ онъ видълъ сестру года четыре тому назадъ, переписывался съ нею ръдко, и между ними давно уже установились тъ чисто формальныя отношенія, которыя такъ обычны между двумя родственниками, разъединенными разстояніемъ и несходствомъ жизненныхъ интересовъ. Телеграмма вызвала у него воспоминаніе о мужѣ сестры. Это быль добродушный и полный человѣкъ, любившій выпить и покушать. Лицо у него было круглое, покрытое сѣтью красныхъ жилокъ, а глазки веселые и маленькіе; онъ плутовато прищуривалъ лѣвый глазъ и, сладко улыбаясь, пѣлъ на сквернѣйшемъ французскомъ языкѣ:

"Regardez par ci, regardez par là..."

И Ипполиту Сергъевичу было какъ-то неловко върить, что этотъ веселый малый умеръ, потому что люди пошлые обыкновенно долго живутъ.

Сестра относилась къ слабостямъ этого человъка съ полупрезрительнымъ снисхожденіемъ; какъ женщина не глупая, она понимала, что въ камень стрълять—только стрълы терять. И едва ли она сильно огорчена его смертью.

Но тѣмъ не менѣе отказать ей въ просьбѣ было бы неудобно. Работать можно и у нея не хуже, чѣмъ гдѣнибудь...

Подумавъ еще въ этомъ направленіи, Ипполитъ Сергъевичъ ръшилъ вхать и недъли черезъ двъ, теплымъ іюньскимъ вечеромъ, утомленный сорокаверстнымъ путешествіемъ на лошадяхъ отъ пристани до деревни, онъ уже сидълъ за столомъ противъ сестры на террасъ, выходившей въ паркъ, и пилъ вкусный чай.

У перилъ террасы пышно разрослись кусты сирени и акацій; косые лучи солнца, пробиваясь сквозь ихъ листву, дрожали въ воздухъ тонкими золотыми лентами. Узорчатыя тъни лежали на столъ, тъсно уставленномъ деревенскими яствами; воздухъ былъ полонъ запахомъ липы, сирени и влажной, согрътой солнцемъ земли. Въ паркъ шумно щебетали птицы, иногда на террасу влетала пчела или оса и озабоченно жужжала, кружась надъ столомъ. Елизавета Сергъевна брала въ руки салфетку и, досадливо размахивая ею въ воздухъ, изгоняла пчелъ и осъ въ паркъ.

Ипполить Сергвевичь уже успыль убъдиться, что

сестра не особенно поражена фактомъ смерти мужа, что она смотрить на него, брата, испытующе и, говоря съ нимъ, что-то скрываеть отъ него. Онъ привыкъ думать о ней, какъ о женщинъ, всецъло поглощенной заботами о хозяйствъ, разбитой неурядицами своей брачной жизни, и ожидалъ увидъть ее нервной, блъдной, утомленной. Но теперь, глядя на ея овальное лицо, покрытое здоровымъ загаромъ, спокойное, увъренное и очень оживленное умнымъ блескомъ большихъ свътлыхъ глазъ, онъ чувствовалъ, что пріятно ошибся, и слъдя за ея ръчами, старался подслушать и понять въ нихъ то, о чемъ она молчала.

- Я была подготовлена къ этому, говорила она высокимъ и спокойнымъ контральто, и ея голосъ красиво вибрировалъ на верхнихъ нотахъ. Послъ второго удара онъ почти каждый день жаловался на колотья въ сердцъ, перебой, безсонницу... но все-таки, когда его привезли съ поля я едва устояла на ногахъ... Говорятъ, онъ тамъ очень волновался, кричалъ... а наканунъ онъ ъздилъ въ гости къ Олесову тутъ есть одинъ помъщикъ, полковникъ въ отставкъ, пьяница и циникъ, разбитый подагрой. Кстати, у него есть дочь, вотъ сокровище, я тебъ скажу!... Ты познакомишься съ ней...
- Если нельзя избъжать этого, —вставилъ Ипполить Сергъевичъ, съ улыбкой взглянувъ на сестру.
- Нельзя! Она часто бываеть здѣсь... а теперь, конечно, будеть еще чаще, — отвѣтила она ему улыбкой же.
 - Ищеть жениха? Я не гожусь для этой роли.

Сестра пристально посмотръла въ его лицо, овальное, худое, съ острой черной бородкой и высокимъ оълымъ лбомъ.

— Почему же не годишься? Я, конечно, говорю вообще, безъ всякой мысли объ этой Олесовой —

ты поймешь почему, когда увидишь ее... но въдь ты думаешь же о женитьбъ?...

- Пока еще нътъ, кратко отвътилъ онъ, поднявъ отъ стакана свои глаза, свътлосърые съ сухимъ блескомъ.
- Да,—задумчиво сказала Елизавета Сергъевна, въ тридцать лътъ дълать этотъ шагъ для мужчины и поздно, и рано...

Ему нравилось, что она перестала говорить о смерти мужа, но зачъмъ же, однако, она такъ громко и пугливо позвала его къ себъ?

— Нужно жениться въ двадцать лътъ или въ сорокъ, — задумчиво говорила она, — такъ меньше риска обмануться самому и обмануть другого человъка... а если и обманешь, то въ первомъ случав платишь ему за это свъжестью своего чувства, во второмъ же... котя бы внъшнимъ положеніемъ, которое почти всегда солидно у мужчины въ сорокъ лътъ.

Ему казалось, что она говорить это больше для себя, что для него, и онь не перебиваль ея, откинувшись въ кресло и глубоко вдыхая въ себя ароматный воздухъ.

- Такъ я говорила—наканунъ онъ былъ у Олесова и, конечно, пилъ тамъ. Ну и вотъ... Елизавета Сергъевна печально тряхнула головой. —Теперь я... осталась одна... хотя я уже съ третьяго года жизни съ нимъ почувствовала себя внутренно одинокой. Но теперь такое странное положеніе! Мнъ двадцать-восемь лътъ, я не жила, а состояла при мужъ и дътяхъ... дъти умерли. И я... что я теперь? Что мнъ дълать и какъ жить? Я продала бы это имъніе и поъхала за границу, но его братъ претендуетъ на наслъдство, возможенъ процессъ. Я не хочу уступать своего безъ законныхъ къ тому основаній и не вижу ихъ въ претенвіи его брата. Какъ ты объ этомъ думаешь?
 - Ты знаешь, я не юристь, усмъхнулся Ипполить

Сергвевичъ. — Но... ты разскажи мнв все это... посмотримъ. Этотъ братъ... онъ писалъ тебъ?

- Да... и довольно грубо. Онъ-жуиръ, разоренный, сильно опустившійся... мужъ не любилъ его, хотя вънихъ много общаго.
- Посмотримъ!—сказалъ Ипполитъ Сергъевичъ и довольно потеръ руки. Ему было пріятно узнать зачъмъ онъ нуженъ сестрь, онъ не любилъ ничего неяснаго и неопредъленнаго. Онъ заботился прежде всего о сохраненіи внутренняго равновъсія, и если нъчто неясное нарушало это равновъсіе въ душъ его поднималось смутное безпокойство и раздраженіе, тревожно побуждавшее его поскоръе объяснить это непонятное, уложить его въ рамки своего міропониманія и... забыть о немъ.
- Говоря откровенно, тихо и не глядя на брата объяснила Елизавета Сергвевна, меня испугала эта нелвпая претензія. Я такъ утомлена, Ипполить, такъ хочу отдохнуть... а туть опять что-то начинается.

Она тяжело вздохнула и, взявъ его стаканъ, продолжала унылымъ голосомъ, непріятно щекотавшимъ нервы ея брата:

— Восемь лъть жизни съ такимъ человъкомъ, какъ покойный мужъ, мнъ кажется, дають право на отдыхъ. Другая на моемъ мъстъ—женщина съ менъе развитымъ чувствомъ долга и порядочности — давно бы порвала эту тяжелую цъпь, а я несла ее, хотя изнемогала подъ ея тяжестью. А смерть дътей... ахъ, Ипполитъ, если бы ты зналъ, что я переживала, теряя ихъ!

Онъ смотръль въ лицо ей съ выраженіемъ сочувствія, но ея жалобы не трогали его души. Ему не нравился ея языкъ, какой-то книжный, не свойственный человъку, глубоко чувствующему, а свътлые глаза ея странно бъгали изъ стороны въ сторону, ръдко останавливаясь на чемъ-либо. Жесты у нея были мягкіе, осторожные,

и отъ всей ея стройной фигуры въяло внутреннимъ колодомъ.

На перила террасы съла какая-то веселая птичка, щебеча, попрыгала по нимъ и упорхнула. Братъ и сестра, проводивъ ее глазами, нъсколько секундъ молчали.

- Бываеть у тебя кто-нибудь? Читаешь ты?—спросиль брать, закуривая папиросу и думая о томъ, какъ хорошо было бы въ этоть славный тихій вечеръ молчать, сидя въ покойномъ креслѣ туть на террасѣ, слушая тихій шелесть листвы и ожидая ночь, которая придеть, погасить звуки и зажжеть авѣзды.
- Бываеть Варенька, потомъ изръдка заъзжаеть Банарцева... помнишь ее? Людмила Васильевна... она тоже плохо живеть со своимъ супругомъ... но она умъеть не обижать себя. У мужа много бывало мужчинъ, но интересныхъ ни одного! Положительно, не съ къмъ словомъ перекинуться... хозяйство, охота, земскія дрязги, сплетни—воть и все, о чемъ они говорять... Впрочемъ, одинъ есть... кандидатъ на судебныя должности Бенковскій... молодой и очень образованный. Ты помнишь Бенковскихъ? Подожди! Кажется, ъдеть
- Кто ъдеть... этоть Бенковскій?—спросиль Ипполить Сергъевичь.

Его вопросъ почему-то разсмъщилъ сестру; смъясь, она встала со стула и сказала какимъ-то новымъ голосомъ:

- Варенька!
- A!
- Посмотримъ, что ты о ней скажешь... Здъсь она всъхъ побъдила. Но какой же это уродъ съ духовной стороны! А впрочемъ вотъ самъ увидишь!
- Не хотълъ бы, равнодушно заявилъ онъ, потягиваясь въ своемъ креслъ.
- Я сейчасъ вернусь,—сказала Елизавета Сергъевна, уходя изъ комнаты.

- A она безъ тебя явится,—обезпокоился онъ.—Не уходи пожалуйста, лучше я уйду!
- Дая сейчасъ же! крикнула ему сестра изъ комнатъ.

Онъ поморщился и остался въ своемъ креслъ, глядя въ паркъ. Откуда-то доносился быстрый топотъ лошади и шорожъ колесъ о землю.

Передъ глазами Ипполита Сергъевича стояли ряды старыхъ корявыхъ липъ, кленовъ и дубовъ, окутанные сумракомъ вечера. Ихъ узловатыя вътви переплелись другъ съ другомъ, образовавъ вверху густой навъсъ пахучей зелени, и всъ они, дряхлые отъ времени, съ потрескавшейся корой, съ обломанными сучьями, казались живой и дружной семьей существъ, тъсно сплоченныхъ стремленіемъ вверхъ, къ свъту. Но кора ихъ стволовъ была сплошь покрыта желтымъ налетомъ плъсени, у корней густо разросся молодятникъ и отъ этого на старыхъ мощныхъ деревьяхъ было много засохшихъ вътвей, висъвшихъ въ воздухъ безжизненными скелетами.

Ипполить Сергъевичь смотръль на нихъ и чувствоваль желаніе уснуть туть въ кресль, подъ дыханіемъ стараго парка.

Между стволовъ и вътвей просвъчивали багровыя иятна горизонта и на его яркомъ фонъ деревья казались еще болъе мрачными, истощенными. По аллеъ, уходившей отъ террасы въ сумрачную даль, медленно двигались густыя тъни и съ каждой минутой росла тишина, навъвая какія то смутныя фантазіи. Воображеніе Ипполита Сергъевича, поддаваясь чарамъ вечера, рисовало изъ тъней силуэтъ одной знакомой женщины и его самого рядомъ съ ней. Они молча шли вдоль по аллеъ туда, вдаль, она прижималась къ нему, и онъ чувствовалъ теплоту ея тъла.

— Здравствуйте! — раздался густой грудной голосъ.

Онъ вскочилъ на ноги и оглянулся, немного смущенный.

Предъ нимъ стояла дъвушка средняго роста въ съромъ платъъ, на головъ у нея было накинуто что-то бълое и воздушное, какъ фата невъсты—это все, что онъ замътилъ въ первое мгновенье.

Она протягивала ему руку, спрашивая:

— Ипполить Сергъевичъ, да? Олесова... я уже знала, что вы пріъдете сегодня, и явилась посмотръть, какой вы. Никогда не видала ученыхъ и... не знала, что они могуть быть такіе.

Его руку кръпко пожимала сильная и горячая маленькая ручка, а онъ, немного растерявшись подъртимъ неожиданнымъ натискомъ, молча кланялся ей, сердился на себя за свое смущеніе и думалъ, что когда онъ взглянеть ей въ лицо, то на немъ увидить откровенное и грубое кокетство. Но взглянувъ, онъ увидалъ большіе, темные глаза, они простодушно и ласково улыбались, освъщая красивое лицо. Ипполитъ Сергъевичъ вспомнилъ, что такое же лицо, гордое здоровой красотой, онъ видълъ на одной старой итальянской картинъ. Такой же маленькій роть съ пышными губками, такой же лобъ, выпуклый и высокій, и огромные глаза подъ нимъ.

- Позвольте... я скажу, чтобъ дали огня... пожалуйста, садитесь,—попросиль онъ ее.
- Да вы не безпокойтесь, я въдь здъсь какъ дома...—сказала она, садясь въ его кресло.

Онъ сталъ у стола противъ нея и смотрълъ на нее, чувствуя, что это неловко и что ему нужно говорить. Но она, нимало не смущаясь подъ его пристальнымъ взглядомъ, говорила сама. Она спрашивала его, какъ онъ доъхалъ, нравится ли ему деревня, долго ли онъ тутъ проживетъ; онъ односложно отвъчалъ ей, и въ головъ его мелькали какія-то отрывочныя мысли. Онъ былъ точно оглушенъ ударомъ, и умъ его, всегда ясный,

теперь смутился предъ силой внезапно и хаотически взволнованныхъ чувствъ. Восхищение предъ ней боролось въ немъ съ раздражениемъ на себя и любопытство-съ чъмъ-то близкимъ къ боязни. А эта цвътущая здоровьемъ дъвушка сидъла противъ него, откинувшись на спинку кресла, плотно обтянутая матеріей своего костюма, позволявшаго видъть пышныя формы ея плечъ, груди и торса, и звучнымъ голосомъ, полнымъ властныхъ ноть, говорила ему какіе-то пустяки, обычные при первой встръчъ незнакомыхъ людей. Ея темно-каштановые волосы красиво вились, а глаза и брови были темнъе волосъ. На ея смуглой шеъ около розоваго и прозрачнаго ука трепетала кожа, обнаруживая быстрое движение крови въ ея жилахъ, на подбородкъ являлась ямка всякій разъ, когда улыбка открывала ея бълые мелкіе зубы, и оть каждой складки ея платья візло раздражающимъ соблазномъ. Было нъчто хищное въ изгибъ ея носа и въ мелкихъ зубахъ, блестъвшихъ изъ-за сочныхъ губъ, а ея поза, полная непринужденной прелести, напоминала о граціи сытыхъ и избалованныхъ кошекъ.

Ипполиту Сергъевичу казалось, что онъ раздвоился: одна половина его существа поглощена этой чувственной красотой и рабски созерцаеть ее, другая механически отмъчаеть состояніе первой и чувствуеть, что утратила власть надъ ней. Онъ отвъчалъ на вопросы этой дъвушки и самъ о чемъ-то спрашивалъ ее, будучи не въ состояніи оторвать глазъ отъ ея соблазнительной фигуры. Онъ уже назвалъ ее про-себя роскошной самкой и внутренно усмъхнулся надъ собой, но это не уничтожило его раздвоенія.

Такъ продолжалось до той поры, пока на террасъ не явилась его сестра съ возгласомъ:

⁻ Скажите, какая ловкая! Я ее ищу тамъ, а она уже...

[—] Я обошла паркомъ...

- Познакомились?
- О, да! Я думала, что Ипполить Сергъевичъ по крайней мъръ лысый!
 - Налить тебъ чаю?
 - Пожалуй, налей.

Ипполить Сергъевичь отощель въ сторону отъ нихъ и сталь у лъстницы, спускавшейся въ паркъ. Онъ провель рукой по лицу и потомъ пальцами по глазамъ, точно стираль пыль съ лица и глазъ. Ему стало стыдно передъ собой за то, что онъ поддался взрыву чувства, а этоть стыдъ скоро уступиль мъсто раздраженію противъ дъвушки. Онъ назвалъ про-себя сцену съ ней казацкой атакой на жениха, и ему захотълось заявить ей в себъ, какъ о человъкъ, вполнъ равнодушномъ къ ея вызывающей красотъ.

- Я ночую у тебя и завтра пробуду весь день...— говорила она его сестръ.
- A какъ же Василій Степановичъ?—удивленно спросила сестра.
- У насъ гоститъ тетя Лучицкая, она съ нимъ и повозится... Ты знаешь, папа очень любить ее...
- Извините меня,—сухо сказалъ Ипполитъ Сергъевичъ,—я очень утомленъ и пойду отдохну...

Онъ поклонился и пошель, а вслъдъ ему раздалось одобрительное восклицание Вареньки:

— Вамъ давно слъдовало это сдълать!

Въ тонъ ея восклицанія онъ услыхалъ только добродушіе, но опредълиль его, какъ заискивающее, фальшивое.

Для него была приготовлена комната, служившая кабинетомъ мужу сестры. Среди нея стоялъ тяжелый и неуклюжій письменный столъ, передъ нимъ дубовое кресло, у одной изъ стънъ, почти во всю длину ея, развалился ширскій и обтрепанный турецкій диванъ, у другой—фисгармонія и два шкапа съ книгами. Нъсколько большихъ мягкихъ стульевъ, курительный

столикъ у дивана и шахматный у окна дополняли меблировку комнаты. Потолокъ комнаты было низокъ и закопченъ, со стънъ смотръли темныя пятна какихъ-то картинъ и гравюръ въ грубыхъ золоченыхъ рамахъ все было тяжело, старо и издавало непріятный запахъ. На столъ стояла большая лампа подъ голубымъ колпакомъ и свъть отъ нея падалъ на полъ.

Ипполить Сергъевичъ остановился на границъ этого свътлаго круга и, испытывая непріятное чувство смутной тревоги, смотръль на окна комнаты. Ихъ было два и за ними въ сумракъ вечера рисовались темные силуэты деревьевъ. Онъ подошелъ и растворилъ оба окна. Тогда комната наполнилась запахомъ цвътущей липы и вмъстъ съ нимъ влетълъ веселый взрывъ здороваго грудного смъха.

На диванъ ему приготовлена была постель, она занимала немного больше половины дивана. Онъ посмотрълъ на нее и сталъ развязывать галстукъ, но потомъ ръзкимъ движеніемъ толкнулъ кресло къ окну и сълъ въ него, нахмурившись.

Ощущеніе этой непонятной тревоги смущало его умъ и раздражало его. Чувство недовольства собой рѣдко являлось въ немъ, но и являясь, никогда не охватывало его сильно и надолго — онъ умѣлъ быстро справляться съ нимъ. Онъ былъ увѣренъ, что человѣкъ долженъ и можетъ понимать свои эмоціи и развивать или уничтожать ихъ, и когда при немъ говорили о таинственной сложности психической жизни человѣка, онъ, иронически усмѣхаясь, называлъ такія сужденія метафизикой. Тѣмъ хуже было для него теперь чувствовать себя вступившимъ въ кругъ какихъ-то непонятныхъ волненій.

Онъ спрашивалъ себя: неужели встръча съ этой здоровой и красивой дъвушкой — должно быть, очень чувственной и глупой, — неужели эта встръча могла такъ странно повліять на него? И, тщательно просмот-

ръвъ порядокъ впечатлъній этого дня, онъ долженъ быль отвътить себъ утвердительно. Да, это такъ, потому что она застала врасплохъ его умъ, потому что онъ сильно утомленъ путешествіемъ и находился въ непривычномъ ему настроеніи мечтательности въ моменть ея появленія предъ нимъ.

Его нъсколько успокоило это размышленіе, и тотчасъ же она явилась предъ его глазами въ своей пышной дъвственной красотъ. Онъ созерцалъ ее, закрывъ глаза и нервозно вдыхая дымъ своей папиросы, но, созерцая, критиковалъ.

- Въсущности она, —думалъонъ, —вульгарна: слишкомъ много крови и мускуловъ въ ея здоровомъ, стройномъ тѣлѣ и мало нервовъ. Ея наивное лицо не интеллигентно, а гордость, сверкающая въ открытомъ взглядѣ ея глубокихъ темныхъ глазъ, это гордость женщины, убъжденной въ своей красотѣ и избалованной поклоненіемъ мужчинъ. Сестра говорила, что эта Варенька всѣхъ побъждаетъ... Конечно, она попытается побъдить и его. Но онъ пріѣхалъ сюда работать, а не шалить, и она скоро пойметь это.
- А не много ли я думаю о ней для первой встръчи? мелькнуло у него въ головъ.

Дискъ луны, огромный и кроваво-красный, поднимался гдв-то далеко за деревьями парка: онъ смотрвлъ изъ тьмы, какъ глазъ чудовища, рожденнаго ею. Неясные звуки носились въ воздухв, долетая со стороны деревни. Подъ окномъ въ травъ порой раздавался шорохъ: должно быть кротъ или ежъ шли на охоту. Гдвто пълъ соловей. И луна такъ медленно поднималась на небо, точно роковая необходимость ея движенія была понятна ей и утомляла ее.

Выбросивъ за окно угасшую папиросу, Ипполить Сергъевичъ всталъ, раздълся и погасилъ лампу. Тогда въ комнату изъ сада хлынула тьма, деревья подвинулись къ окнамъ, точно желая заглянуть въ нихъ, на

полъ легли двъ полосы луннаго свъта, еще слабаго и мутнаго.

Пружины дивана пискливо скрипнули подъ тъломъ Ипполита Сергъевича и, охваченный пріятной свъжестью полотнянаго бълья, онъ вытянулся и замеръ, лежа на спинъ. Скоро онъ уже дремалъ и слышалъ подъ окномъ у себя чъи-то осторожные шаги и густой шопотъ:

— Ма-арья... Ты туть? а?

Улыбаясь, онъ заснулъ.

И утромъ, проснувшись въ яркомъ сіяніи солнца, наполнявшемъ комнату, онъ тоже улыбнулся при воспоминаніи о вчерашнемъ вечеръ и о дъвушкъ. Къ чаю онъ явился тщательно одътый, сухой и серьезный, какъ и подобало ученому; но, когда онъ увидалъ, что за столомъ сидитъ одна сестра, у него невольно вырвалось:

— А гдв же...

Лукавая улыбка сестры остановила его раньше, чёмъ онъ окончиль свой вопросъ, и онъ, замолчавъ, сёлъ къ столу. Елизавета Сергевна подробно осмотрела его костюмъ, не переставая улыбаться и не обращая вниманія на его невольно сдвинутыя брови. Его злила эта многозначительная улыбка.

- Она давно уже встала, мы съ ней ходили купаться, а теперь она навърное въ паркъ... и должна скоро явиться, — объяснила Елизавета Сергъевна.
- Какъ ты подробно, усмъхнулся онъ. Пожалуйста, вели сейчасъ же послъ чая распаковать мои вещи.
 - И вынуть ихъ?
- Нътъ, нътъ, этого не надо. Я самъ, а то все перепутаютъ... Тамъ есть для тебя конфеты и книги.
 - Спасибо! Это мило... А вотъ и Варенька!

Она явилась въ дверякъ въ легкомъ бѣломъ платьѣ, пышными складками падавшемъ съ ея плечъ къ но-

гамъ. Костюмъ ея былъ похожъ на дътскую блузу, и сама она въ немъ смотръла ребенкомъ. Остановившись на секунду въ дверяхъ, она спросила:

— A развъ вы ждали меня? — и безшумно, какъ облако, подошла къ столу.

Ипполить Сергъевичь молча поклонился ей и, пожимая ея руку, обнаженную до локтя, ощутиль нъжный аромать фіалокъ, исходившій оть нея.

- Вотъ надушилась! воскликнула Елизавета Сергъевна.
- Развъ больше, чъмъ всегда? Вы любите духи, Ипполить Сергъевичъ? Я ужасно! Когда есть фіалки, я каждое утро послъ купанья рву ихъ и растираю въ рукахъ, это я научилась еще въ прогимназіи... А вамъ нравятся фіалки?

Онъ пилъ чай и не смотрълъ на нее, но чувствовалъ ея глаза на своемъ лицъ.

— Я, правда, никогда не думалъ надъ тъмъ, нравятся онъ мнъ или нътъ, — пожавъ плечами, сухо сказалъ онъ, но взглянувъ на нее, невольно улыбнулся.

Оттвненное снъжно-бълой матеріей ея платья, лицо у нея горъло пышнымъ румянцемъ и глубокіе глаза сверкали ясной радостью. Здоровьемъ, свъжестью, безсознательнымъ счастьемъ въяло отъ нея. Она была хороша, какъ ясный майскій день на съверъ.

- Не думали? воскликнула она... Но какъ же, въдь вы ботаникъ.
- А не цвътоводъ, кратко пояснилъ онъ и, недовольно подумавъ, что, пожалуй, это грубо, отвелъ глаза свои въ сторону отъ ея лица.
- А ботаника и цвътоводство не одно и то же? спросила она, помолчавъ.

Его сестра, не стъсняясь, засмъялась. А онъ вдругъ почувствовалъ, что этотъ смъхъ почему-то коробить его, и съ сожалъніемъ воскликнулъ про-себя:

— Да она глупа!

Но потомъ, поясняя ей разницу между ботаникой и цвътоводствомъ, онъ смягчилъ свой приговоръ, что она только невъжда. Слушая его толковую и серьезную ръчь, она смотръла на него глазами внимательной ученицы, и это нравилось ему. Говоря, онъ часто переводилъ глаза съ ея лица на лицо сестры и во взглядъ ея, неподвижно стоявшемъ на лицъ Вареньки, видълъ жадную зависть. Это мъщало ему говорить, вызывая у него чувство, родственное презръню къ сестръ.

- Да-а, протянула дъвушка, вотъ какъ это! А что, ботаника интересная наука?
- Гмъ! Видите ли, на науки нужно смотръть съ точки зрънія той пользы, которую онъ приносять людямъ, объясниль онъ со вздохомъ. Ея неразвитость при ея красотъ все усиливала въ немъ сожальніе къ ней. А она, задумчиво стуча ложкой по краю своей чашки, спрашивала его:
- Какая же можеть быть польза оть того, что вы узнаете, какъ растеть репей?
- Та же, которую мы извлекаемъ, изучая явленія жизни въ какомъ-нибудь одномъ человъкъ.
- Человъкъ и репей... улыбнулась она. Развъ одинъ человъкъ живетъ, какъ всъ?

Ему было странно, что этоть неинтересный разговорь не утомляеть его.

- Развъ я ъмъ и пью такъ же, какъ мужики? серьезно, сдвигая брови, продолжала она. И развъ многіе живуть такъ, какъ я?
- Какъ вы живете? спросилъ онъ, предчувствуя, что этотъ вопросъ измънитъ тему разговора. Ему хотълось этого, потому что къ зависти во взглядъ сестры на Вареньку теперь прибавилось еще что-то злое и насмъшливое.
- Какъ я живу? вдругъ вспыхнула дъвушка. Хорошо! и она даже закрыла глаза отъ удовольствія. Знаете, я просыпаюсь утромъ и, если день ясный, мнъ

становится сразу же ужасно весело! Точно мнъ подарили что-то дорогое и красивое, такое, что я давно хотвла имвть... Бвгу купаться — у насъ рвка на ключахъ — вода холодная, такъ и щиплеть тъло! Есть очень глубокія міста, и я туда прямо съ берега внизъ головой — бухъ! Такъ всю и обожжеть... летишь въ воду, какъ въ пропасть, и въ головъ шумить... Вынырнешь, вырвешься изъ воды, а солнце смотрить на тебя и смъется! Потомъ иду лъсомъ домой, наберу цвътовъ, надышусь лёснымъ воздухомъ допьяна; приду — чай готовъ! Пью чай, а предо мной стоять цвъты... и солнце на меня смотрить... Ахъ, если бы вы знали, какъ я люблю солнце! Потомъ наступаеть день и начинаются хлопоты по хозяйству... у насъ всв меня любять, сразу понимають, слушаются, - и все кружится колесомъ вплоть до вечера... потомъ солнце заходить, луна, звъзды являются... до чего это все хорошо и какъ ново всегда! Вы понимаете! Я не умъю понятно сказать... почему такъ хорошо жить... Но, можетъ быть, вы чувствуете это и сами, да? Въдь вамъ понятно, почему жизнь такая хорошая, интересная?

— Да... конечно! — подтвердилъ онъ, готовый рукой стереть съ лица сестры ея ехидную улыбку.

Онъ посмотрѣлъ на Вареньку и не мѣшалъ себѣ любоваться ею, трепещущей отъ желанія передать ему силу наполняющаго ея существо ликованія, но этоть ея восторгъ повышалъ его жалость къ ней до степени ощущенія болѣзненно-остраго. Онъ видѣлъ предъ собой существо, упоенное прелестью растительной жизни, полное грубой поэзіи, ошеломляюще-красивое, но необлагороженное умомъ.

— A зима? Любите вы зиму? Она вся бѣлая, здоровая, задорная, вызывающая бороться съ ней...

Ръзкій звонокъ перебилъ ея ръчь. Звонила Елизавета Сергъевна, и когда въ комнату влетъла высокая

дъвушка съ круглымъ добрымъ лицомъ и плутоватыми глазами, она сказала ей утомленнымъ голосомъ:

— Убирайте посуду, Маша.

Потомъ озабоченно начала ходить по комнатъ, громко шаркая ногами.

Все это нъсколько отрезвило увлеченную дъвушку; она повела плечами, какъ бы стряхивая съ нихъ чтото, и немножко смущенная, спросила Ипполита Сергъевича:

- Я надовла вамъ своими розсказнями?
- Ну, что это вы! протестовалъ онъ.
- Нътъ, серьезно, я показалась вамъ глупой? добивалась она.
- Но почему же?! воскликнулъ Иполлитъ Сергъевичъ и удивился, что это у него вышло такъ горяче и искренно.
- Я дикая... т.-е. необразованная... извинялась она. Но я очень рада говорить съ вами... потому что вы ученый и такой... не такой, какимъ я васъ себъ представляла.
- A вы какъ представляли себъ меня? освъдомился онъ, улыбаясь.
- Я думала, вы все будете говорить разныя мудрости... отчего, да какъ, да это не такъ, а вотъ этакъ, и всъ глупы, а я одинъ умница... У папы гостилъ товарищъ, тоже полковникъ, какъ и папа, и тоже ученый, какъ вы. Но онъ военный ученый... какъ это?... генеральнаго штаба... и онъ былъ ужасно надутый... по-моему, онъ даже ничего и не зналъ, а просто хвастался...
- Вы и меня такимъ же представляли? спросилъ Ипполить Сергъевичъ.

Она сконфузилась, покраснъла и, вскочивъ со стула, смъщно забъгала по комнатъ, растерянно говоря:

- Ахъ, какъ вы... ну, развъ я могла...
- Ну, вотъ что, милыя мои дъти... глядя на нихъ

припцуренными глазами, заявила Елизавета Сергъевна, —я пойду кое-чъмъ заняться по хозяйству, а васъ ужъ... оставляю на волю Божію!

И, засмъявшись, она исчезла, шумя юбками. Ипполить Сергъевичъ укоризненно посмотрълъ ей вслъдъ и подумалъ, что нужно будетъ поговорить съ ней о ея манеръ держаться по отношеню къ этой, въ сущности, очень милой, только неразвитой дъвушкъ.

— Знаете что — хотите кататься въ лодкъ? Доъдемъ до лъса, тамъ пойдемъ гулять и къ объду вернемся. Идетъ? Я ужасно рада, что сегодня такой ясный день и я не дома... А то у папы опять разыгралась подагра и мнъ пришлось бы возиться съ нимъ. А папа капризный, когда боленъ...

Онъ, удивленный ея откровеннымъ эгоизмомъ, не сразу отвътилъ ей согласіемъ, а когда отвътилъ, то вспомнилъ то намъреніе, которое возникло у него вчера, съ которымъ онъ вышелъ сегодня поутру изъ своей комнаты. Но пока въдь она не даетъ основаній для того, чтобы заподозрить ее въ желаніи побъдить его сердце? Въ ея ръчахъ можно видъть все, кромъ ко-кетства. И, наконецъ, почему же не провести одинъ день съ такой... несомнънно оригинальной дъвушкой?

— А вы умъете грести? Плохо... это ничего, я буду сама, я сильная. А лодка легкая такая. Идемте!

Они вышли на террасу и спустились въ паркъ. Рядомъ съ его длинной и худой фигурой она казалась ниже ростомъ и поливе. Онъ предложилъ было ей руку, но она отказалась.

— Зачъмъ? Это хорошо, когда устанешь, а такъ только мъщаетъ идти...

Онъ улыбался, глядя на нее черезъ свои очки, и шелъ, соразмъряя свои шаги съ ея шагами, что ему очень нравилось. Походка у нея была легкая и красивая, — ея бълое платье плыло вокругъ ея стана, не колыхаясь ни одной складкой. Въ одной рукъ она держала зонтъ,

другой свободно и красиво жестикулировала, разсказывая ему о красоть окрестностей деревни. Эта рука, по локоть обнаженная, сильная и смуглая, покрытая золотистымь пухомь, двигаясь въ воздухь, заставляла глаза Ипполита Сергъевича внимательно слъдить за ней... И опять у него въ темной глубинъ души трепетала непонятная, смутная тревога предъ чъмъ-то. Онъ старался уничтожить ее, спрашивая себя: что побуждаеть его идти за этой дъвушкой? и отвъчалъ себъ: пюбопытство, спокойное и чистое желаніе созерцать ея красоту.

— Воть и ръка! Идите и садитесь въ лодку, а я сейчасъ достану весла...

И она исчезла среди деревьевъ, прежде чъмъ онъ успълъ попросить ее указать ему, гдъ можно найти весла.

Въ неподвижной, холодной водъ ръки отражались деревья внизъ вершинами; онъ сълъ въ лодку и смотрълъ на нихъ. Эти призраки были пышнъе и красивъе живыхъ деревьевъ, стоявшихъ на берегу, осъняя воду своими изогнутыми и корявыми вътвями. Отраженіе облагораживало ихъ, стушевывая уродливое и создавая въ водъ яркую и гармоничную фантазію, на мотивахъ убогой, изуродованной временемъ дъйствительности.

Любуясь призрачной картиной, окруженной тишиной и блескомъ еще не жаркаго солнца, вдыхая вмъстъ съ воздухомъ пъсни жаворонковъ, полныя счастья жить, Ипполитъ Сергъевичъ ощущалъ въ себъ возникновеніе новаго для него и пріятнаго чувства покоя, ласкавшаго умъ, усыпляя его постоянное и мятежное стремленіе понимать и объяснять. Тихій миръ царилъ вокругъ, листъ не трепеталъ на деревъ, и въ этомъ миръ неустанно совершалось безмолвное творчество природы, беззвучно созидалась жизнь, всегда поражаемая смертью, но непобъдимая, и тихо работала смерть, все поражая, но не одерживая побъды. А голубое небо сіяло торжественной красотой.

На фонъ картины въ водъ ръки явилась бълая красавица съ ласковой улыбкой на лицъ. Она стояла тамъ съ веслами въ рукахъ, точно приглашая идти къ ней, молчаливая, прекрасная и казалась отраженной съ неба.

Ипполить Сергъевичъ зналъ, что это вышла изъ парка Варенька и что она смотрить на него, но ему не хотълось разрушать свое очарование ни звукомъ, ни движениемъ.

— Скажите, какой вы мечтатель! — раздалось въ воздухъ удивленное восклицаніе.

Тогда онъ, съ сожалъніемъ отвернувшись отъ воды, взглянулъ на дъвушку, живую и плавно спускавшуюся къ берегу по крутой дорожкъ изъ парка.

И его сожальніе исчезло при взглядь на нее, ибо эта дъвушка и въ дъйствительности была чарующехороша.

— Воть ужъ нельзя подумать, что вы любите мечтать! У васъ лицо такое строгое, серьезное... Вы будете править; хорошо? Мы поъдемъ вверхъ по теченію... тамъ красивъе... и вообще противъ теченія интереснъе ъхать, потому что гребешь, двигаешься, чувствуешь себя...

Оттолкнутая отъ берега лодка лѣниво закачалась на сонной водѣ, но сильный ударъ веселъ сразу поставиль ее вдоль берега, и перевалившись съ борта на бортъ подъ вторымъ ударомъ, она легко скользнула впередъ.

- Мы повдемъ подъ горнымъ берегомъ, потому что тутъ твнь... говорила дввушка, разбивая воду ловкими ударами. Только здвсь слабое теченіе... а вотъ на Днвпрв у тети Лучицкой тамъ имвніе тамъ, я вамъ скажу, ужасъ! Такъ и рветъ вёсла изъ рукъ... Вы не видали пороговъ на Днвпрв?...
- Только пороги дверей... попытался сострить Ипполить Сергъевичъ.

- Я вадила черезъ нихъ, смвясь говорила она. Хорошо! Однажды чуть не разбила лодку, непремвню утонула бы тогда...
- Ну, это ужъ было бы не хорошо, серьезно сказалъ Ипполить Сергъевичь.
- А что же? Я нисколько не боюсь смерти... котя и люблю жить. Можеть быть, и тамъ тоже интересно, какъ на землъ...
- A можеть быть, тамъ ничего нъть... съ любопытствомъ взглянувъ на нее, сказалъ онъ.
- Ну какъ же нѣть! убѣжденно воскликнула она. —Конечно, есть!

Онъ ръшилъ не мъшать ей—пускай философствуеть, въ удобный моменть онъ остановить ее и заставить ее развернуть передъ нимъ весь бъдный мірокъ ея представденій. Она сидъла противъ него, упираясь маленькими ножками въ перекладину, прибитую къ дну лодки, и съ каждымъ ударомъ веселъ отклоняла свой корпусъ назадъ. Тогда подъ легкой матеріей ея платья рельефно обрисовывалась дъвичья грудь, высокая, упругая, вздрагивавшая отъ движеній.

- Она не носить корсета, подумаль Ипполить Сергъевичь, опуская глаза внизъ. Но тамъ они остановились на ея ножкахъ. Упираясь въ дно лодки, онъ напрягались и тогда были видны ихъ контуры до колънъ.
- Что она нарочно, что ли, надъла это дурацкое платье? съ раздражениемъ подумалъ онъ и отвернулся, разсматривая высокий берегъ.

Паркъ миновали и теперь плыли подъ крутымъ обрывомъ; съ него свъщивались кудрявые стебли гороха, плети тыквъ съ ихъ бархатными листьями, большіе желтые круги подсолнуховъ, стоя на краю обрыва, смотръли въ воду. Другой берегъ, низкій и ровный, тянулся куда-то вдаль, къ зеленымъ стънамъ лъса и былъ густо покрытъ травой, сочной и яркой; изъ нея ласково смотръли на лодку милые, какъ дътскіе глазки,

голубые и синіе цвъты. И впереди стояль темно-зеленый лъсъ— и ръка вонзалась въ него, какъ кусокъ холодной стали.

— Вамъ не жарко? — спросила Варенька.

Онъ взглянулъ на нее и почувствовалъ себя сконфуженнымъ: — на лбу у нея подъ короной вьющихся волосъ блестъли капельки пота, а грудь поднималась часто и высоко.

- Простите, пожалуйста! съ раскаяніемъ воскликнулъ онъ. Я засмотрълся... вы утомились... дайте же мнъ вёсла!
- Воть ужь не дамъ! Вы думаете, я устала? Это даже обидно мнъ! Мы и двухъ верстъ не проъхали... Нъть, ужъ вы сидите... сейчасъ пристанемъ и пойдемъ гулять.

По лицу ея было видно, что съ ней безполезно спорить, и онъ, досадливо пожавъ плечами, замолчалъ, съ неудовольствіемъ думая про-себя:

- Очевидно, она меня считаеть слабымъ.
- Видите воть это къ намъ дорога, указала она ему на берегъ кивкомъ головы. Здъсь бродъ черезъ ръку, и до насъ отсюда четырнадцать верстъ. У насъ тоже корошо, красивъе, чъмъ въ вашей Полкановкъ.
 - Вы и зиму живете въ деревиъ? спросилъ онъ.
- А какъ же? Въдь я веду все хозяйство, папа не встаеть съ кресла... Его возять по комнатамъ.
 - Но, должно быть, скучно вамъ жить такъ?
- Почему же? У меня ужасно много дъла... а помощникъ одинъ — Никонъ, денщикъ папы. Онъ уже старикъ и тоже пьеть, но страшный силачъ и знаеть свое дъло. Мужики его боятся... онъ бъеть ихъ и они тоже разъ какъ-то сильно побили его... очень сильно! Онъ замъчательно честенъ и преданъ намъ съ папой... любитъ насъ, какъ собака! Я тоже его люблю. Вы, можетъ быть, читали одинъ романъ, гдъ есть герой, араб-

скій офицеръ, графъ Луи Граммонъ, и у него тоже денщикъ Сади-Коко?

- Не читалъ, скромно сознался молодой ученый.
- Прочитайте непремънно это хорошій романъ,— увъренно посовътовала она ему.— Я Никона, когда онъ угодить мнъ, называю Сади-Коко. Сначала онъ сердился на меня за это, но я однажды прочитала ему этоть романъ, и теперь онъ знаетъ, что для него лестно быть похожимъ на Сади-Коко.

Ипполить Сергъевичь смотръль на нее такъ, какъ европеецъ смотрить на тонко выполненную, но фантастически-уродливую статуэтку китайца — со смъсью удивленія, сожальнія й любопытства. А она съ жаромъ разсказывала ему о подвигахъ Сади-Коко, полныхъ беззавътной преданности къ графу Луи Граммону.

- Простите, Варвара Васильевна, перебиль онъ ея ръчь, а романы русскихъ авторовъ вы читали?
- О, да! Но я не люблю ихъ скучные они, прескучные! И пишуть все такое, что я сама знаю не хуже ихъ. Они не умъють выдумывать ничего интереснаго и у нихъ почти все правда.
- A развъвы не любите правды?—ласково спросилъ Ипполить Сергъевичъ.
- Ахъ, да нътъ же! Я всъмъ говорю правду въглаза и...

Она замолчала, подумала и спросила:

— А что же туть любить? Это моя привычка, какъ же ее любить?

Онъ ничего не успълъ сказать ей на это, потому что она быстро и громко командовала ему:

— Правьте налѣво... скорѣе! Вонъ къ этому дубу... Ай, какой вы неловкій!

Лодка не слушалась его руки и шла къ берегу бортомъ, хотя онъ съ напряжениемъ ворочалъ воду своимъ весломъ.

— Ничего, ничего,— говорила она и, вдругъ поднявшись на ноги, прыгнула черезъ бортъ.

Ипполить Сергъевичь глухо вскрикнуль, бросивъ весло и простирая за ней руки, но она невредима стояла на берегу, держа цъпь лодки въ рукахъ и виновато спрашивая его:

- , Я испугала васъ?
- Я думалъ, что вы упадете въ воду, тихо сказалъ онъ.
- Да развъ можно туть упасть? И ктому же туть не глубоко,—оправдывалась она, опустивъ глаза и подводя лодку къ берегу. А онъ, сидя на кормъ, думалъ, что это нужно бы сдълать ему.
- Видите, какой лъсъ?—говорила она, когда онъ вышелъ на берегъ и сталъ рядомъ съ ней. Хорошо въдь? Тамъ около Петербурга нътъ такихъ красивыхъ лъсовъ?

Передъ ними лежала узкая дорога, огражденная съ объихъ сторонъ стволами разнородныхъ деревьевъ. Подъ ногами у нихъ простирались узловатые корни, избитые колесами телътъ, а надъ ними—густой шатеръ изъ вътвей и гдъ-то высоко голубые клочья неба. Лучи солнца, тонкіе, какъ струны, трепетали въ воздухъ, пересъкая наискось этотъ узкій, зеленый коридоръ. Запахъ перегнившихъ листьевъ, грибовъ и березы окружалъ ихъ. Мелькали птицы, нарушая важную тишину лъса оживленными пъснями и хлопотливымъ щебетаньемъ. Гдъ-то стучалъ дятелъ, жужжала пчела и, какъ будто указывая имъ дорогу, въ воздухъ, впереди ихъ, порхали два мотылька, преслъдуя одинъ другого.

Они шли медленно. Ипполить Сергъевичь молчаль, не мъшая Варенькъ искать слова для выраженія ея мыслей, а она горячо говорила ему:

-- Я не люблю читать о мужикахъ; что можетъ быть интереснаго въ ихъ жизни? Я знаю ихъ, живу съ ними и вижу, что о нихъ пишутъ невърно, не-

правду. Они такими жалкими описываются, а они просто подлые, и ихъ совсъмъ не за что жалъть. Они только одного и хотять—надуть васъ, украсть у васъ что-нибудь. Клянчатъ всегда, ноють, гадкіе, грязные... и они въдь умные, о! они даже очень хитрые; какъ они мучатъ меня иногда, если бъ вы знали!

Теперь она горячилась и на лицъ ел выразилось озлобленіе и скука. Очевидно, мужики занимали въ ея жизни много мъста; она доходила до ненависти, рисуя ихъ. Ипполитъ Сергъевичъ былъ изумленъ силой ея волненія, но, не желая слушать эти барскія выходки, перебилъ дъвушку:

- Вы говорили о французскихъ писателяхъ...
- Ахъ, да! То-есть о русскихъ-поправила она его, успокоиваясь.—Вы спрашиваете - почему русскіе пишуть хуже, -- это ясно! потому что они не выдумывають ничего интереснаго. У французовъ герои настоящіе, они и говорять не такъ, какъ всв люди, и поступають иначе. Они всегда храбрые, влюбленные, веселые... а у насъ герои-простые человъчки, безъ смълости, безъ пылкихъ чувствъ, какіе-то некрасивые, жалкенькіесамые настоящіе люди и больше ничего! Почему они герои? Никогда въ русской книжкъ не поймешь этого. Русскій герой какой-то глупній и мізшковатый, всегда ему тошно, всегда онъ думаеть о чемъ-то непонятномъ и всъхъ жальеть, а самъ-то жалкій-прежа-алкій! Подумаеть, поговорить, пойдеть объясняться въ любви, потомъ опять думаеть, пока не женится... а женитсянаговорить женъ кислыхъ глупостей и бросить ее... Что въ этомъ интереснаго? Меня даже злить это, потому что похоже на обманъ-вмъсто героя всегда какое-то чучело торчить въ романъ! И никогда, читая русскую книжку, не забудешь о настоящей жизни, -- развъ это хорошо? А читаешь сочинение француза-дрожишь за героевъ, жалвешь ихъ, ненавидишь, хочешь драться, когда они дерутся, плачешь, когда погибаютъ... страстно

ждешь, когда кончится романь, а когда прочтешь его чуть не плачешь съ досады, что уже все. Туть—живешь, а въ русскихъ книжкахъ совсёмъ непонятно — зачёмъ живуть люди? Зачёмъ писать книжки, если не можешь сказать ничего необыкновеннаго? Странно, право!

- На это многое можно возразить вамъ, Варвара Васильевна,—остановилъ онъ бурный потокъ ея ръчей.
- Что же, возражайте! разръшила она съ улыбкой. — Вы, конечно, разнесете меня.
- Постараюсь. Прежде всего, какихъ вы русскихъ авторовъ читали?
- Разныхъ... впрочемъ, всв они одинаковне. Вотъ, напримъръ, Сальясъ... онъ подражаетъ французамъ, но плохо. Впрочемъ, и у него русскіе герои, а развъ о нихъ можно писать интересно? Еще многихъ читала-Мордовцева, Маркевича, Павухина, кажется-вы смотрите, даже по одной фамиліи уже видно, что онъ не можеть хорошо писать! Вы его не читали? А читали ли вы Фортюно - де - Буагобоя? Понсонъ - де - Терайля? Арсена Гуссэ? Пьера Законнэ? Дюма, Габоріо, Борна? Какъ хорошо, Боже мой! Подождите... знаете что? Мив въ романахъ больше всего нравятся злодъи, тъ, которые такъ ловко плетутъ разныя ехидныя съти, убивають, отравляють... умные они, сильные... и когда, наконецъ, ихъ ловятъ-меня эло беретъ, даже до слезъ дохожу. Всъ ненавидять злодъя, всъ идуть противъ него-онъ одинъ противъ всъхъ! Воть-герой! А тъ, другіе, добродътельные, становятся гадки, когда они побъждають... И вообще, знаете, мнъ люди до той поры нравятся, пока хотять чего-нибудь, куда-нибудь идуть, они сильно ищуть чего-то, мучатся... но если они дошли до цъли своей и остановились, туть они уже не интересны... и даже пошлы!

Возбужденная и, должно быть, гордая тъмъ, что сказала ему, она медленно шла рядомъ съ нимъ, красиво поднявъ голову и сверкая глазами.

Онъ смотрълъ ей въ лицо и, нервозно покручивая бородку, искалъ такихъ возраженій, которыя сразу сорвали бы съ ен ума эту грубую пелену пыли, покрывавшую его. Но, чувствуя себя обязаннымъ возразить ей, онъ хотълъ еще слушать ея наивную и своеобразную болтовню, еще видъть ее увлеченной своими сужденіями и искренно раскрывающей предъ нимъ свою душу. Онъ никогда не слыхалъ такихъ ръчей; онъ были уродливы и невозможны въ его глазахъ, но въ то же время все, что говорила она, какъ нельзя болъе гармонировало съ ея немного хищной красотой. Предъ нимъ былъ умъ неотшлифованный, оскорблявшій его своею грубостью, и женщина, соблазнительно прекрасная, раздражавшая его чувственность. Эти двъ силы давили на него всей энергіей своей непосредственности, и нужно было что-нибудь противопоставить имъ, иначе, онъ чувствоваль-онъ могли выбить его изъ привычной ему колеи тъхъ взглядовъ и настроеній, съ которыми онъ спокойно жилъ до встръчи съ ней. У него была ясная логика и онъ хорошо спорилъ съ людьми своего круга. Но какъ говорить съ ней и что нужно сказать ей для того, чтобъ вызвать умъ ея на правильный путь и облагородить ея душу, изуродованную глупыми романами и обществомъ мужиковъ, этого солдата, пьяницы-отца?

- Ухъ, какъ я заговорилась!—воскликнула она, вздыхая.—Надовло вамъ, да?
 - Нътъ, но...
- Я, видите ли, рада очень вамъ. Мит до васъ не съ къмъ было поговорить. Ваша сестра, я знаю, не любить меня и все сердится на меня... должно быть, за то, что я даю водки отцу, и за то, что побила Никона...
- Вы?! Побили! Э... какъ это вы?—изумился Ипполить Сергъевичъ.
- Очень просто, отхлестала его папашиной нагайкой, воть и все! Понимаете, молотьба, страшная горячка,

а онъ, скотъ, пьянъ! Я разсердилась! Развъ онъ смъстъ напиваться, когда кипитъ работа и вездъ нуженъ его глазъ? Эти мужики, они...

- Но, послушайте же, Варвара Васильевна,—убъдительно и какъ только могъ мягче заговорилъ онъ,—развъ это хорошо бить слугу? Благородно ли это? подумайте! Развъ тъ герои, предъ которыми вы преклоняетесь, бъютъ своихъ преданныхъ... Сади-Коко?
- О, еще какъ! Графъ Луи однажды такую пощечину влъпилъ Коко, что мнъ даже жалко стало бъднаго солдатика. И что же я могу дълать съ ними, какъ не бить? Хорошо еще, что могу... я въдь сильная! Пощупайте, какіе у меня мускулы!

Согнувъ свою руку въ локтъ, она гордо протянула ее къ нему. Онъ положилъ ладонь на ея тъло выше локтя и кръпко сжалъ пальцы, но тотчасъ же опомился и смущенный, съ краской на лицъ, оглянулся вокругъ. Всюду безмолвно стояли деревья и только...

Онъ вообще не былъ скроменъ съ женщинами, но эта своей простотой и довърчивостью дълала его такимъ, хотя и разжигала въ немъ опасное для него чувство.

- У васъ завидное здоровье, сказалъ онъ, пристально и задумчиво разсматривая маленькую загоръдую кисть ея руки, перебиравшей складки платья на груди.— И я думаю, что у васъ очень хорошее сердце, неожиданно для себя вырвалось у него.
- Не знаю!—отозвалась она, качнувъ головой.— Едва ли,—у меня нъть характера: иногда я жалъю людей, даже тъхъ, которыхъ не люблю.
- Иногда только?—усмъхнулся онъ.—Но въдь они всегда достойны сожалънія и состраданія.
 - За что?-спросила она, тоже улыбаясь.
- Развъ вы не видите, какъ они несчастны? Хотя бы эти ваши мужики. Какъ тяжело имъ живется и сколько несправедливости, горя, мученій въ ихъ жизни?

Это вырвалось у него горячо, и она внимательно взглянула въ лицо ему, говоря:

- Вы, должно быть, очень добрый, если такъ говорите. Но вёдь вы не знаете мужиковъ, не жили въ деревнъ. Они несчастны—это върно, но кто же въ этомъ виновать? Они въдь хитрые и никто имъ не мъшаетъ сдълаться счастливыми.
- Но въдь у нихъ даже хлъба нътъ настолько, чтобъ быть сытыми!
 - Еще бы! Ихъ вонъ какъ много...
- Да, ихъ много! Но и земли много... ибо есть люди, которые имъють десятки тысячъ десятинъ. У васъ, напримъръ, сколько?
- Пятьсоть семьдесять три...—Ну, такъ что же? Неужели... ну, слушайте! Неужели имъ отдать?

Она смотръла на него взглядомъ взрослаго на ребенка и тихо смъялась. Его смущалъ и злилъ этотъ смъхъ. Въ немъ разгоралось желаніе убъдить ее въ заблужденіяхъ ея ума.

И раздъльно, даже ръзко произнося слова, онъ началъ говорить ей о несправедливомъ распредъленіи богатствь, о безправіи большинства людей, о роковой борьбъ за мъсто въ жизни и за кусокъ хлъба, о силъ богатыхъ и безсиліи бъдныхъ и объ умъ—руководителъ жизни, подавленномъ въковой неправдой и тьмой предразсудковъ, выгодныхъ сильному меньшинству людей.

Идя рядомъ съ нимъ, она молча, съ любопытствомъ и удивленіемъ смотръла на него.

Вокругъ нихъ царила сумрачная тишина лѣса, та тишина, по которой звуки какъ бы скользятъ, не нарушая ея меланхоличной гармоніи. Листья осинъ нервно трепетали, точно дерево нетерпѣливо ожидало чего-то страстно желаемаго.

— Обязанность каждаго честнаго человъка, — убъдительно говорилъ Ипполитъ Сергъевичъ, — внести въ борьбу за порабощенныхъ, за ихъ право жить — весь

свой умъ и все сердце, стараясь или сокращать мученія борьбы, или ускорять ея ходъ. Воть на что нужень истинный героизмъ, и именно въ этой борьбъ вы должны искать его. Внъ ея—нъть героизма. Герои этой борьбы одни достойны удивленія и подражанія... и вамъ, Варвара Васильевна, нужно именно сюда обратить ваше вниманіе, здъсь искать героевъ, сюда отдать ваши силы... изъ васъ, мнъ кажется, вышла бы замъчательно-стойкая защитница правды! Но прежде всего вамъ нужно много читать, учиться понимать жизны въ ея неприкрашенномъ фантазіями видъ... нужно бросить всъ эти глупые романы въ печку...

Онъ замолчалъ и, вытирая потъ со лба, утомленный своей длинной лекціей,—ждалъ, что она скажеть.

Она смотръла вдаль предъ собой, сузивъ свои глаза, и на лицъ ея дрожали какія-то тъни. Минутъ пять молчанія разръшились ея тихимъ возгласомъ:

— Какъ вы хорошо говорите!... Неужели въ университетъ всъ могуть такъ говорить?

Молодой ученый безнадежно вздохнулъ, и ожиданіе ея отвъта смънилось у него глухимъ раздраженіемъ противъ нея и жалостью къ самому себъ. Почему она не воспринимаетъ того, что такъ логически ясно для всякаго хоть немного мыслящаго существа? Чего именно не хватаетъ въ его ръчахъ, почему ея чувство не задъваютъ онъ?

- Очень хорошо говорите вы!—вздохнула она, не дожидаясь его отвъта, и въ глазахъ ея онъ читалъ истинное удовольствіе.
 - Но върно ли я говорю? спросилъ онъ.
- Нътъ!—не задумываясь, отвътила дъвушка.—Вы хотя и ученый, но я съ вами поспорю. Въдь и я тоже что-нибудь понимаю!... Вы говорите такъ, что выходитъ... какъ будто люди строятъ домъ и всъ они въ этой работъ равны. И даже не они, а все:—и кирпичи, и плотпики, и деревья, и хозяинъ дома—все это у васъ

равно одно другому. Но развѣ это можно? Мужикъ—онъ долженъ работать, вы должны учить, а губернаторъ смотрѣть—всѣ ли дѣлаютъ то, что нужно. И потомъ вы сказали, что жизнь борьба... ну, гдѣ же это? Напротивъ, люди очень мирно живутъ. А если ужъ борьба, значитъ—нужны побѣжденные. А общая польза—это я совсѣмъ не понимаю. Вы говорите, что общая польза въ равенствѣ всѣхъ людей. Но это же не вѣрно! Мой папа полковникъ—какъ же онъ равенъ Никону или мужику? И вы—вы ученый, но развѣ вы ровня нашему учителю русскаго языка, который пилъ водку... рыжій, глупый и сморкался громко, какъ мѣдная труба? Ага!

Считая свои доводы неотразимыми, она ликовала, а онъ любовался ея радостнымъ волненіемъ и былъ доволенъ собой за то, что далъ ей эту радость.

Но умъ его старался разръшить—почему негронутая анализомъ, цъльная мысль, разбуженная имъ, работала въ направленіи, прямо противоположномъ тому, на которое онъ ее толкалъ?

- Вы нравитесь мив, а другой не нравится... гдв же равенство?
- Я вамъ нравлюсь? какъ-то вдругъ спросилъ Ипполить Сергъевичъ.
- Да... очень!—утвердительно кивнула она головой и тотчасъ же спросила:
 - A что?

Онъ испугался за себя предъ бездной наивности, смотръвшей на него яснымъ взглядомъ.

- Неужели же это ея манера кокетничать?—подумалъ онъ.—Она, кажется, достаточно начиталась романовъ для того, чтобы понимать себя какъ женщину...
- Почему вы спрашиваете объ этомъ?—допытывалась она, глядя въ его лицо любопытными глазами.

Его смущаль ея взглядь.

— Почему?-пожаль онъ плечами.-Это, я думаю,

естественно. Вы женщина... я мужчина...—какъ могъ, спокойно объяснилъ онъ.

— Ну, такъ что же? Все-таки не зачъмъ вамъ знать. Въдь вы не собираетесь жениться на мнъ!

Она такъ просто сказала это, что онъ даже и не смутился. Ему только показалось, что нъкая сила, съ которой безполезно бороться въ виду ея слъпой стихійности, перемъщаеть работу его мозга съодного направленія на другое. И онъ съ оттънкомъ игривости сказаль ей:

— Кто знаеть?... И потомъ—желаніе нравиться и желаніе жениться или выйти замужъ—не одно и то же... какъ вы, навърное, знаете.

Она вдругъ громко расхохоталась, а онъ сразу охладълъ подъ ея смъхомъ и безмолвно проклялъ и себя, и ее. Ея грудь трепетала отъ сочнаго искренняго смъха, весело сотрясавшаго воздухъ, а онъ молчалъ, виновато ожидая отповъди за свою игривость.

— Охъ! ну какая... какая же я... была бы жена вамъ! Вотъ смъшно... какъ страусъ и пчела! Ха, ха, ха!

И онъ тоже засмъялся,— не надъ ея курьезнымъ сравненіемъ, а надъ своимъ непониманіемъ тъхъ пружинъ, которыя управляли движеніемъ ея души.

- Милая вы дъвушка!—искренно вырвалось у него.
- Дайте-ка миъ руку... вы очень медленно идете, я потащу васъ! Намъ пора назадъ... очень пора! Мы уже часа четыре гуляемъ... и Елизавета Сергъевна будетъ нами недовольна, потому что къ объду мы опоздали...

Они пошли назадъ. Ипполить Сергъевичъ сознавалъ себя обязаннымъ возвратиться къвыясненю ея заблужденій, не позволявшихъ ему чувствовать себя рядомъ съ ней такъ свободно, какъ хотълось бы. Но прежде этого нужно было подавить въ себъ то неясное безпокойство, которое глухо бродило въ немъ, стъсняя его намъреніе спокойно слушать и ръшительно опровергать ея доводы. Ему было бы такъ легко сръзать уродливый

нарость съ ея мозга холодной логикой своего ума, если бъ не мѣшало это странное, обезсиливающее ощущеніе, не имѣющее имени. Что это? Оно похоже на нежеланіе вводить въ душевный міръ этой дѣвушки понятія, чуждыя ей... Но такое уклоненіе отъ своей обязанности было бы постыдно для человѣка, стойкаго въ своихъ принципахъ. А онъ считалъ себя такимъ и былъ глубоко увѣренъ въ силѣ ума и въ главенствѣ его надъ чувствомъ.

- Сегодня вторникъ?—говорила она.— Ну, конечно. Значить, черезъ три дня пріъдеть черненькій господинчикъ...
 - Кто и куда прівдеть, сказали вы?
- Черненькій господинчикъ, Бенковскій, прівдеть къ намъ въ субботу.
 - Зачёмъ же?

Она разсмъялась, пытливо глядя на него.

- Развъ вы не знаете? Онъ-чиновникъ...
- А! Да, сестра говорила мнъ...
- Говорила?—оживилась Варенька.—Ну и что же... скажите, скоро они обвънчаются?
- Т.-е. это какъ? Почему же они должны обвънчаться?—растерянно спросилъ Ипполить Сергъевичъ.
- Почему?—изумилась Варенька, сильно краснъя.— Да я не знаю. Такъ принято! Но, Господи! Развъ же вы этого не знали?
- Ничего я не знаю!—ръшительно произнесъ Ипполить Сергъевичъ.
- А я вамъ сказала!—съ отчаяніемъ воскликнула она.—Какъ это хорошо! Пожалуйста, миленькій Ипполить Сергъевичь, пусть вы и теперь не знаете этого... будто бы я не говорила ничего!
- Очень хорошо! Но, позвольте; въдь я и въ самомъ дълъ ничего не знаю, Я понялъ одно—сестра выходить замужъ за господина Бенковскаго... да?
- _ Ну, да! Т.-е., если она сама вамъ этого не гово-

рила... то, можетъ быть, этого и не будетъ. Вы не скажете ей про это?

- Не скажу, конечно!—пообъщаль онъ.—Я ъхалъ сюда на похороны, а попалъ, кажется, на свадьбу? Это пріятно!
- Пожалуйста, ни слова о свадьбв!—умоляла она его.—Вы ничего не знаете.
- Совершенно върно! Но что такое г. Бенковскій? Можно спросить?
- О немъ можно! Онъ—черненькій, сладенькій и тихонькій. У него есть глазки, усики, губки, ручки и скрипочка. Онъ любить нѣжныя пъсенки и вареньице. Мнъ всегда хочется потрепать его по мордочкъ.
- Однако, вы его не любите!—воскликнулъ Ипполить Сергъевичъ, ощущая жалость къ г. Бенковскому при такой унизительной характеристикъ его наружности.
- И онъ меня не любить! Я... я терпъть не могу мужчинъ маленькихъ, сладкихъ, скромныхъ. Мужчина долженъ быть высокъ, силенъ; онъ говорить громко, глаза у него большіе, огненные, а чувства смълыя, незнающія никакихъ препятствій. Пожелалъ и сдълаль—воть мужчина!
- Кажется, такихъ больше нѣтъ,—сухо усмѣхаясь, сказалъ Ипполитъ Сергѣевичъ, чувствуя, что ея идеалъ мужчины противенъ ему и раздражаетъ его.
 - Должны быть!-увъренно воскликнула она.
- Да въдь вы же, Варвара Васильевна, какого-то звъря изобразили! Что привлекательнаго въ такомъ чудищъ?
- И совстить пе звтря, а сильнаго мужчину! Сила—воть и привлекательное. Теперешніе мужчины и родятся съ ревматизмомь, съ кашлемъ, съ разными болтанями это хорошо? Интересно мить, напримтаръ, имъть мужемъ какого-нибудь сударя съ прыщами на лицъ, какъ земскій начальникъ Коковичъ?

Или красивенькаго господинчика, какъ Бенковскій? Или сутулую и худую дылду, какъ судебный приставъ Мухинъ? Или Гришу Чернонебова, купеческаго сына, большого, жирнаго, съ одышкой, лысиной и краснымъ носомъ? Какія дѣти могутъ быть отъ такихъ дрянныхъ мужей? Вѣдь объ этомъ надо думать... какъ же? Вѣдь дѣти эти... очень важно! А они—они не думаютъ... Они ничего не любять. Никуда они не годятся, и я... я била бы мужа, если бы вышла замужъ за котораго-нибудь наъ этихъ!

Ипполить Сергъевичъ остановиль ее, доказывая, что ея сужденіе о мужчинъ вообще не правильно, потому что она слишкомъ мало видъла людей. И названные ею люди не должны быть разсматриваемы только съ внъшней стороны—это несправедливо. У человъка можеть быть скверный носъ, но хорошая душа, прыщи на лицъ, но свътлый умъ. Ему скучно и трудно было говорить эти азбучныя истины; до встръчи съ ней онъ такъ ръдко вспоминаль о ихъ существованіи, что теперь вст онъ и самому ему казались затхлыми и изношенными. Онъ чувствоваль, что все это не идетъ къ ней и не будеть воспринято ею...

- Вотъ и ръка! воскликнула она съ радостью, перебивая его ръчь.
 - А Ипполить Сергъевичь подумаль:
 - Она радуется тому, что я замолчалъ.

Снова они поплыли по ръкъ, сидя другъ противъ друга. Варенька завладъла веслами и гребла торопливо, сильно; вода подъ лодкой недовольно журчала, маленькія волны бъжали къ берегамъ. Ипполитъ Сергъевичъ смотрълъ, какъ навстръчу лодкъ двигаются берега, и чувствовалъ себя утомленнымъ всъмъ, что онъ говорилъ и слыщалъ за время этой прогулки.

- Смотрите, какъ быстро идетъ лодка!—сказала ему Варенька.
 - Да,-кратко отвътилъ онъ, не обращая на нее

глазъ. Все равно—и не видя ея онъ представлялъ себъ, какъ соблазнительно изгибается ея корпусъ и колышется грудь.

Показался паркъ... Скоро они шли по его аллев, а навстрвчу имъ, многозначительно улыбаясь, двигалась стройная фигура Елизаветы Сергвевны. Она держала въ рукахъ какія-то бумаги и говорила:

- Однако, вы загулялись!
- Долго? Зато у меня такой аппетить, что я— у! съвмъ васъ!

И Варенька, обнявъ талію Елизаветы Сергѣевны, легко завертѣла ее вокругъ себя, смѣясь надъ ея криками.

Объдъ былъ невкусный и скучный, потому что Варенька была увлечена процессомъ насыщенія и молчала, а Елизавета Сергъевна сердила брата, то и дъло ловившаго на своемъ лицъ ея пытливые взгляды. Вскоръ послъ объда Варенька увхала домой, а Ипполить Сергъевичъ пошелъ въ свою комнату, легъ тамъ на диванъ и задумался, подводя итогъ впечатленіямъ дня. Онъ вспоминалъ мельчайшія подробности прогулки и чувствоваль, какъ изъ нихъ образуется мутный осадокъ, разъвдавшій привычное ему устойчивое равновъсіе чувства и ума. Онъ даже и физически ощущалъ новизну своего настроенія въ формъ странной тяжести, сжимавшей ему сердце-точно кровь его стустилась за это время и обращалась въ немъ медленнъе, чъмъ всегда. Это походило на утомленіе, располагало къ мечтательности и было какъ бы предисловіемъ къ какомуто еще не образовавшемуся желанію. И это было непріятно только потому, что оставалось безымяннымъ ощущениемъ, несмотря на усилия Ипполита Сергъевича дать ему имя.

— Нужно подождать съ анализомъ до поры, пока броженіе уляжется...—ръшилъ онъ.

Но явилось чувство остраго недовольства собой, и

онъ одновременно упрекнуль себя въ утратв способности управлять своими эмоціями и въ томъ, что онъ велъ себя сегодня недостойно для серьезнаго человъка. Наединъ самъ съ собой онъ всегда былъ стоекъ и строгъ къ себъ болъе, чъмъ при людяхъ. И воть онъ сосредоточенно началъ разсматривать себя.

Безспорно, что эта дъвушка ошеломляюще красива, но увидать ее и сразу же войти въ темный кругъ какихъ то смутныхъ ощущеній—это уже слишкомъ много для нея и постыдно для него, ибо это распущенность, недостатокъ выдержки. Она сильно волнуетъ чувственность,—да, но съ этимъ нужно бороться.

— Нужно ли? — вдругъ вспыхнулъ въ его головъ краткій, уколовшій его вопросъ.

Онъ поморщился, относясь къ этому вопросу такъ, какъ будто онъ былъ поставленъ къмъ-то извиъ его.

Во всякомъ случав, то, что творится въ немъ, не есть начало увлеченія женщиной, скорве это протесть ума, оскорбленнаго столкновеніемъ, изъ котораго онъ не вышелъ побъдителемъ, хотя его противникъ и былъ по-дътски слабъ. Нужно было говорить съ этой дввушкой образами, ибо очевидно, что она не понимаетъ логическаго довода. Его обязанность — уничтожить ея дикія понятія, разрушить всв эти грубыя и глупыя фантазіи, впитанныя ея мозгомъ. Нужно обнажить ея умъ оть всвхъ этихъ заблужденій, очистигь, опустошить ея душу, и тогда она будетъ способна воспринять и вмъстить въ себя истину.

— Могу ли я сдълать это?—снова вспыхнуль въ немъ посторонній вопросъ. И снова онъ обошелъ его... Какова она будеть тогда, когда восприметь въ себя нъчто новое и противоположное тому, что въ ней есть? И ему казалось, что, когда ея душа, освобожденная имъ изъ плъна заблужденія, проникнется стройнымъ ученіемъ, чуждымъ всего неяснаго и омрачающаго, — эта дъвушка будеть вдвойнъ прекрасна.

Когда его позвали пить чай, онъ уже твердо рѣшиль перестроить ея міръ, вмѣняя это рѣшеніе въ прямую обязанность себъ. Теперь онъ встрѣтить ее холодно и спокойно и придасть своему отношенію къ ней характеръ строгой критики всего, что она скажеть, всего, что слѣлаетъ.

- Ну, что, какъ тебъ нравится Варенька?—спросила его сестра, когда онъ вышелъ на террасу.
- Очень милая дъвушка,—сказаль онъ, поднявъ брови.
- Да? Вотъ какъ... Я думала, что тебя поразить ея неразвитость.
- Пожалуй, я немного удивленъ этой стороной въ ней,—согласился онъ.—Но, откровенно говоря, она во многомъ лучше дъвушекъ развитыхъ и рисующихся этимъ.
- Да, она красива... И выгодная невъста... пятьсоть десятинъ прекрасной земли, около сотни—строевой лъсъ. Да еще наслъдуетъ послъ тетки солидное имъніе. И оба не заложены...

Онъ видълъ, что сестра намъренно не поняда его, но не хотълъ объяснять себъ, зачъмъ это ей нужно.

- Съ этой стороны я не смотрю на нее, сказалъ онъ.
- Такъ посмотри... я серьезно совътую.
- Благодарю.
- Ты немного не въ духъ, кажется?
- Напротивъ. А что?
- Такъ. Хочу знать это, какъ заботливая сестра.

Она мило и немножко заискивающе улыбнулась. Эта улыбка напомнила ему о господинъ Бенковскомъ, и онъ тоже улыбнулся ей.

- Ты что смъешься?-спросила она.
- А ты?
- Мив весело.
- -- Мнъ тоже весело, хотя я и не схоронилъ женіл двъ недъли тому назадъ, -- сказалъ онъ, смъясь.

А она сдълала серьезное лицо и, вздохнувъ, заговорила:

- Можеть быть, ты въ душт осуждаещь меня за недостатокъ чувства къ покойному, думаещь, что я эгоистична? Но, Ипполить, ты знаешь что такое мой мужъ, я писала тебъ, какъ мнъ жилось. И я часто думала: Боже мой! неужели я создана затъмъ только, чтобъ услаждать грубня вожделтнія Николая Степановича Варыпаева, когда онъ напивается пьянъ настолько, что уже не можеть различить жены отъ простой деревенской бабы или уличной женщины.
- Но неужели?... съ недовъріемъ воскликнулъ Ипполить Сергъевичъ, вспоминая ея письма, въ которыхъ она много говорила о безхарактерности мужа, о его страсти къ вину, о лъни, о всъхъ порокахъ, кромъ разврата.
- Ты сомнъваешься?—съ укоромъ спросила она и вздохнула.—А между тъмъ это фактъ; онъ часто бывалъ въ такомъ состояніи... я не утверждаю, что онъ измънялъ мнъ, но допускаю это. Развъ онъ могъ сознавать—я предъ нимъ или другая, если онъ окна принималъ за двери? Да... и такъ я жила годы...

Она долго и скучно говорила ему о своей печальной жизни, а онъ слушаль и ждаль, когда она скажеть ему то. что хочеть сказать. И невольно ему думалось, что Варенька едва ли когда-нибудь будеть жаловаться на свою жизнь, какъ бы она ни сложилась у нея.

— Мнъ кажется, что судьба должна вознаградить меня за долгіе годы горя... Можеть быть, оно близко— это вознагражденіе.

Елизавета Сергъевна замолчала и, вопросительно взглянувъ на брата, немного покраснъла.

- Что ты хочешь сказать?—спросиль онъ ласково, наклонясь къ ней.
- Видишь ли... я, быть можеть, снова... выйду замужъ!



- И прекрасно сдълаеть! Поздравляю... Но почему ты такъ смущаешься?
 - Право не знаю!
 - Ктог же онъ?
- Я, кажется, говорила тебъ о немъ... Бенковскій... будущій прокуроръ... а пока поэть и мечтатель... Можеть быть, ты встръчаль его стихи? Онъ печатается...
- Стиховъ не читаю. Хорошій человъкъ? Впрочемъ, конечно, хорошій.
- Я настолько умна, что не скажу утвердительно да; но, кажется, могу, не самообольщаясь, сказать, что онъ способенъ будеть вознаградить меня за прошлое... Онъ любить меня... У меня сложилась маленькая философія... можеть быть, она покажется тебъ нъсколько жесткой.
- Философствуй безбоязненно, это теперь въ модъ...—шутилъ Ипполитъ Сергъевичъ.
- Мужчины и женщины—два племени, въчно враждующія...—мягко говорила женщина.—Довъріе, дружба и прочія чувства этого порядка едва ли возможны между мной и мужчиной. Но возможна любовь... а любовь—это побъда того, кто любить меньще, надъ тъмъ кто любить больше... Я была однажды побъждена и поплатилась за это... теперь я побъдила и воспользуюсь плодами побъды...
- А это довольно свиръпая философія...—прервать ее Ипполить Сергъевичь, съ удовольствіемъ чувствуя, что Варенька не можеть такъ философствовать.
- Ее жизнь подсказала мив... Видишь ли, онъ на четыре года моложе меня... только что кончилъ университеть. Я знаю, что это опасно для меня... и, какъ это сказать?... Я хотвла бы устроить двло съ нимъ такъ, чтобъ мои имущественныя права не подвергались никакому риску.
- Да... и что же?—спросилъ Ипполитъ Сергвевичъ, становясь внимательнымъ.

- Такъ вотъ ты мнъ посовътуй, какъ все это устроить Я не хочу давать ему никакихъ юридическихъ правъ на мое имущество... и не дала бы права на личность, если бы это было можно.
- Это, мнъ кажется, достижимо въ гражданскомъ бракъ. Вирочемъ...
 - Нъть, гражданскій бракъ я отрицаю.

Онъ посмотрълъ на нее и думалъ съ чувствомъ брезгливости:

— Однако, она умная! Если Богь и создаль дюдей, то жизнь такъ легко пересоздаеть ихъ, что они навърное давно стали Ему противны.

А сестра убъдительно выяснила свою точку арънія на бракъ.

- Бракъ долженъ быть разумной сдълкой, исключающей всякій рискъ. Именно такъ и думаю я поставить съ Бенковскимъ. Но, прежде чъмъ сдълать этотъ шагъ, я хотъла бы выяснить законность претензіи этого досаднаго брата. Пожалуйста, пересмотри всъ бумаги.
- Ты позволишь мит заняться этимъ дъломъ завтра?—спросилъ онъ.
 - Конечно, когда хочень.

Она еще долго развивала предъ нимъ свои идеи, потомъ много разсказывала ему о Бенковскомъ. О немъ она говорила снисходительно, съ улыбкой, блуждавшей на ея губахъ, и зачъмъ-то прищуривая глаза. Ипполитъ слушалъ ее и самъ удивлялся отсутствію въ немъ всякаго участія къ ея судьбъ, интереса къ ръчамъ.

Уже солнце съло, когда они разошлись: онъ-усталый отъ нея, въ свою комнату; она-оживленная бесъдой, съ увъреннымъ блескомъ въ глазахъ,--хлонотать по хозяйству.

Придя къ себъ, Ипполитъ Сергъевичъ зажегъ лампу, досталъ книгу и хотълъ читать; но съ первой же страницы онъ понялъ, что ему будетъ не менъе пріятно, если онъ закроетъ книгу. Сладко потянувшись, онъ

закрыть ее и повозился въ креслъ, ища удобной позы, но кресло было жесткое; тогда онъ перебрался на диванъ и легъ на немъ. Сначала ему ни о чемъ не думалось, потомъ онъ съ досадой вспомнилъ, что скоро придется познакомиться съ г. Бенковскимъ, и сейчасъ же улыбнулся, припоминая характеристику, данную Варенькой этому господину.

И скоро одна она занимала его мысль и воображеніе. Между прочимъ, онъ подумалъ:

— А что, если бы жениться на такомъ миломъ чудовищъ? Пожалуй, это была бы очень интересная жена... хотя бы уже по одному тому, что изъ ея устъ не услышишь копеечной мудрости популярныхъ книжекъ...

Но, разсмотръвъ всесторонне свое положение въ роли мужа Вареньки, онъ засмъялся и категорически отвътилъ себъ:

- Никогда!

И вслъдъ затъмъ ему стало грустно.

II.

Утро субботы началось для Ипполита Сергъевича маленькой непріятностью: одъваясь, онъ свалиль со столика на поль лампу, она разлетълась вдребезги, л нъсколько капель керосина изъ разбитаго резервуара попало ему въ одну изъ ботинокъ, еще не надътыхъ имъ на ноги. Ботинки, конечно, вычистили, но Ипполиту Сергъевичу стало казаться, что отъ чая, хлъба, масла и даже отъ красиво причесанныхъ волосъ сестры струится въ воздухъ противный маслянистый запахъ.

Это портило ему настроеніе.

- Сними ботинку и поставь ее на солнце, тогда керосинъ испарится, совътовала ему сестра. А пока надънь туфли мужа, есть однъ совершенно новенькія.
 - Пожалуйста, не безпокойся. Это скоро исчезнеть.

- Очень нужно ждать, когда исчезнеть. Въ самомъ дълъ, я скажу, чтобъ дали туфли?
 - Нътъ, не надо. Брось ихъ.
 - Зачъмъ? Туфли хорошія, бархатныя... Годятся.

Ему хотълось спорить, керосинъ раздражалъ его.

- Куда онъ могуть годиться? Не будешь же ты посить.
 - Я, конечно, нътъ, но Александръ будетъ.
 - Это кто?
 - А Бенковскій.
- Ага!—онъ сухо усмъхнулся.—Это очень трогательная върность туфлямъ умершаго мужа. И практично.
 - Ты сегодня золъ?

Она смотръла на него немножко обиженно, но очень пытливо, и онъ, поймавъ въ ея глазахъ это выраженіе, непріязненно подумаль:

- Навърно она воображаеть, что я раздраженъ отсутствіемъ Вареньки.
- → Къ объду Бенковскій пріъдеть, въроятно,—сообщила она, помолчавъ.
- Очень радъ, откликнулся онъ, соображая про себя:
- Желаеть, чтобъ я былъ любезенъ съ будущимъ зятемъ.

И его раздраженіе усилилось чувствомъ томительной скуки. А Елизавета Сергъевна говорила, тщательно намазывая тонкій слой масла на хлъбъ:

- Практичность, по-моему, очень похвальное свойство. Особенно въ настоящее время, когда бремя оскудънія такъ давить нашу братію, живущую оть плодовъземли. Почему бы Бенковскому не носить туфель покойнаго мужа?...
- II саванъ покойника, если ты и саванъ съ него сняла и хранишь, язвительно подумалъ Ипполитъ Сер-

гъевичъ, сосредоточенно занимаясь переселеніемъ пънокъ изъ сливочника въ свой стаканъ.

- И вообще послъ мужа остался очень обширный и приличный гардеробъ. А Бенковскій не избалованъ. Ты въдь знаешь, сколько ихъ—трое вношей, помимо Александра, да дъвицъ пять. А имъніе заложено чуть ли не по десяти закладнымъ. Знаешь, я очень выгодно купила у нихъ библіотеку;—есть весьма цънныя вещи. Ты посмотри, можеть быть, найдешь что-либо нужное тебъ... Александръ существуеть на жалованье очень мизерное.
- Ты давно его знаешь?—спросиль онъ ее;—нужно было говорить о Бенковскомъ, хотя говорить не хотълось ни о чемъ.
- Въ общемъ, года четыре, а такъ... близко—мъсяцевъ семъ—восемь. Ты увидишь, онъ очень милый. Нъжный такой, легко возбуждающійся, идеалисть и немножко, кажется, декадентъ. Впрочемъ, теперь молодежь вся склонна къ декадентству... Одни падають въ сторону идеализма, другіе къ матеріализму...—и тъ, и другіе не кажутся мнъ умными.
- Есть еще люди, исповъдующе "скептицизмъ во сто лошадиныхъ силъ", какъ опредъляетъ это настроеніе одинъ мой товарищъ,—заявилъ Ипполитъ Сергъевичъ, наклоняя лицо надъ столомъ.

Она засмъялась, говоря:

— Это остроумно, хотя и грубовато. Я, пожалуй, тоже близка къ скептицизму, знаешь, здравому скептицизму, который связываеть крылья всевозможныхъ увлеченій и кажется мнъ необходимымъ для... усвоенія правильныхъ взглядовъ на жизнь людей.

Онъ поторопился выпить свой чай и ушелъ, заявивъ, что ему нужно разобрать привезенныя имъ книги. Но въ комнатъ у него, несмотря на открытыя двери, стоялъ запахъ керосина. Онъ поморщился и, взявъ книгу, ушелъ въ паркъ. Тамъ, въ тъсно сплоченной семъъ старыхъ деревьевъ, утомленныхъ бурями и грозами, царила

меланхолическая тишина, обезсиливающая умъ, и онъ шелъ, не открывая книги, вдоль по главной аллев, ни о чемъ не думая, ничего не желая.

Вотъ ръка и лодка. Здъсь онъ видълъ Вареньку отраженной въ водъ и ангельски-прекрасной въ этомъ отражении.

— Ну, я точно гимназисть!—воскликнулъ онъ просебя, ощущая, что воспоминаніе о ней пріятно ему.

Постоявъ съ минуту у ръки, онъ вошель въ лодку, сълъ на корму и сталъ смотръть на ту картину въ водъ, что такъ хороша была три дня тому назадъ. Она и сегодня была такъ же хороша, но сегодня на ея прозрачномъ фонъ не являлась бълая фигура странной дъвушки. Полкановъ закурилъ папиросу и тотчасъ же бросилъ ее въ воду, думая, что, пожалуй, онъ глупо сдълалъ, пріъхавъ сюда. Въ сущности, зачъмъ онъ тутъ нуженъ? Кажется, только затъмъ, чтобъ охранять доброе имя сестры, проще говоря, чтобъ дать сестръ возможность, не смущаясь приличіями, принимать у себя господина Бенковскаго. Роль не важная... А этотъ Бенковскій, должно быть, не очень уменъ, если дъйствительно любить сестру, пожалуй, слишкомъ умную.

Просидъвъ часа три въ состояни полусозерцанія, въ какомъ-то разслабленіи мысли, скользившей по предметамъ, не обсуждая ихъ, онъ всталъ и медленно пошелъ въ домъ, негодуя на себя за это безполезно потраченное время и твердо ръшивъ скоръе приняться за работу. Подходя къ террасъ, онъ увидалъ стройнаго юношу въ бълой блузъ, подпоясанной ремнемъ. Юноша стоялъ спиной къ аллеъ и разсматривалъ что-то, наклонясь надъ столомъ. Ипполитъ Сергъевичъ замедлилъ шаги, соображая—неужели это и есть Бенковскій? Вотъ юноша выпрямился, красивымъ жестомъ откинулъ со лба назадъ длинныя пряди въющихся черныхъ волосъ и обернулся лицомъ къ аллеъ.

— Да это пажъ средневъковый!—воскликнулъ просебя Ипполить Сергъевичь.

Лицо у Бенковскаго было овальное, матово-блѣдное и казалось измученнымъ отъ напряженнаго блеска большихъ, миндалевидныхъ и черныхъ глазъ, глубоко ввалившихся въ орбиты. Красиво очерченный ротъ оттънялся маленькими черными усами, а выпуклый лобъ— прядями небрежно спутанныхъ, вьющихся волосъ. Онъ былъ маленькій, ниже средняго роста, но его гибкая фигура, сложенная изящно и пропорціонально, скрадывала этотъ педостатокъ. Онъ смотрѣлъ на Ипполита Сергѣевича такъ, какъ смотрятъ близорукіе, и въ блѣдномъ лицъ его было что-то очень симпатичное, но болѣзненное. Въ беретъ и въ костюмъ изъ бархата онъ дъйствительно былъ бы нажомъ, убъжавшимъ съ картины, изображающей средневъковый дворъ.

— Бенковскій!—глухо сказаль онъ, протягивая Ипполиту Сергъевичу, взощедшему на ступеньки террасы, бълую руку съ тонкими и длинными пальцами музыканта.

Молодой ученый крыпко пожаль руку.

Съ минуту оба неловко молчали, потомъ Ипполить Сергъевичъ заговорилъ о красотъ парка. Юноша отвъчалъ ему кратко, заботясь, очевидно, только о соблюдени въжливости и не проявляя никакого интереса късобесъднику.

Скоро явилась Елизавета Сергъевна въ свободномъ бъломъ платьъ, съ черными кружевами на воротникъ и подпоясанная длиннымъ чернымъ шнуромъ съ кистями на концахъ. Этотъ костюмъ хорошо гармонировалъ съ ея спокойнымъ лицомъ, придавая величавое выражение его мелкимъ, но правильнымъ чертамъ. На щекахъ ея игралъ румянецъ удовольствія и холодные глаза смотръли оживленно.

— Сейчасъ будемъ объдать, —объявила она. — Я васъ угощу мороженымъ. А вы, Александръ Петровичъ, почему такой скучный? Да! вы не забыли Пуберта?

— Привезъ и Шуберта, и книги,—отвътиль онъ откровенно и мечтательно любуясь ею.

Инполить Сергвевичъ видълъ выражение его лица и чувствовалъ себя неловко, понимая, что этотъ милый юноша, должно быть, далъ себъ обътъ не признавать его существования.

- Прекрасно! воскликнула Елизавета Сергвевна, улыбаясь Бенковскому. Послъ объда мы съ вами играемъ?
- Если вамъ будетъ угодно!—и онъ склонилъ предъ ней голову.

Это вышло у него граціозно, но все-таки заставило внутренно усм'єхнуться Ипполита Серг'євича.

- Мнъ очень угодно, кокетливо объявила его сестра.
- A вы любите Шуберта? спросилъ Ипполить Сергъевичъ.
- Прежде всего Бетховенъ—Шекспиръ музыки,— отвътилъ Бенковскій, повернувъ къ нему свое лицо въ профиль.

Ипполить Сергъевичь слыхаль и раньше, что Бетховена называють Шекспиромъ музыки, и разница между Шубертомъ и имъ составляла для него одну изъ тъхъ тайнъ, которыя его совершенно не интересовали. Но его интересоваль этотъ мальчикъ, и онъ серьезно спросилъ:

- Почему же вы ставите именно Бетховена прежде всего?
- Потому что онъ идеалисть болье, чъмъ всъ творцы музыки, взятые вмъстъ.
- Да? Вы тоже принимаете за истинное это міровозэрѣпіе?
- Несомивнию. И знаю, что вы крайній матеріалисть. Читаль ваши статьи,—объяснился Бенковскій, и глаза его странно сверкнули.
 - Онъ хочеть спорить! подумалъ Ипполить Сер-

гъевичъ.—А онъ корошій малый, прямой и, должно быть, свято-честный.

И его симпатія къ этому идеалисту, осужденному носить туфли покойника, увеличилась.

- Значить, мы съ вами враги?—улыбаясь, спросиль онъ.
- Какъ мы можемъ быть друзьями?—горячо воскликнулъ Бенковскій.
- Господа!—крикнула имъ Елизавета Сергъевна изъ комнаты.—Не забывайте, что вы только-что познакомились...

Горничная Маша, гремя посудой, накрывала на столъ и исподлобья посматривала на Бенковскаго глазами, въ которыхъ сверкало простодушное восхищеніе. Ипполить Сергъевичъ тоже смотрълъ на него, думая, что къ этому юношъ слъдуетъ относиться со всей возможной деликатностью и что было бы хорошо избъжать "идейныхъ" разговоровъ съ нимъ, потому что онъ, навърное, въ спорахъ волнуется до бъщенства. Но Бенковскій смотрълъ на него съ горячимъ блескомъ въ глазахъ и нервпой дрожью на лицъ. Очевидно, ему страстно хотълось говорить и онъ съ трудомъ сдерживалъ это желаніе. Ипполитъ Сергъевичъ ръшилъ замкнуться въ рамки чисто-офиціальной въжливости.

Его сестра, уже сидя за столомъ, краснво бросала то тому, то другому незначительныя фразы въ шутливомъ тонъ; мужчины кратко отвъчали на нихъ—одинъ съ фамильярной небрежностью родственника, другой съ уваженіемъ влюбленнаго. И всъ трое были охвачены чувствомъ какой-то неловкости и стъсненія, заставлявшимъ ихъ слъдить другъ за другомъ и каждаго за собой.

Маша внесла на террасу первое блюдо.

— Пожалуйте, господа!—пригласила Елизавета Сергъевна, вооружаясь разливательной ложкой.—Вы выпьете водки?

- Я, да!-сказаль Ипполить Сергвевичь.
- Я не буду, если позволите, заявилъ Бенковскій.
- Позволяю и охотно. Но въдь вы пьете?
- Не хочу...
- "Чокнуться съ матеріалистомъ",—подумалъ Ипполить Сергъевичъ.

Вкусный супъ съ пирожками или корректное поведеніе Ипполита Сергъевича какъ будто нъсколько охладили и смягчили суровый блескъ черныхъ глазъ юноши, и когда подали второе, онъ заговорилъ:

- Можеть быть, вамъ показалось вызывающимъ мое восклицаніе въ отвъть на вашъ вопросъ—враги ли мы? Можеть быть, это и невъжливо, но я полагаю, что отношенія людей другь къ другу должны быть свободны отъ ихъ офиціальной лжи, всъми принятой за правило.
- Вполить согласенъ съ вами, улыбнулся ему Ипполить Сергъевичъ. Чъмъ проще, тъмъ лучше. И ваше прямое заявление только понравилось миъ, если позволите такъ выразиться.

Бенковскій грустно усмъхнулся, говоря:

- Мы дъйствительно непріятели въ сферъ идей, и это опредъляется сразу, само собой. Воть вы говорите: проще—лучше, я тоже такъ думаю, но я влагаю въ эти слова одно содержаніе, вы—другое...
 - Развъ?—спросилъ Ипполить Сергъевичъ.
- Несомнънно, если вы пойдете прямымъ путемъ логики отъ взглядовъ, изложенныхъ въ вашей статъъ.
 - Я, конечно, сдълаю это...
- Вотъ видите... И съ моей точки зрвнія ваше понятіе о простотв будеть грубо. Но оставимъ это... Скажите—представляя себв жизнь только механизмомъ, вырабатывающимъ все и въ томъ числв идеи, неужели вы не ощущаете внутренняго холода и нвтъ въ душв у васъ ни капли сожалвнія о всемъ таинственномъ и чарующе-красивомъ, что низводится вами до простого химизма, до перемвщенія частицъ матеріи?

— Гмъ... этого холода я не ощущаю, ибо мнъ ясно мое мъсто въ великомъ механизмъ жизни, болъе поэтическомъ, чъмъ всъ фантазіи... Что же касается до метафизическихъ броженій чувства и ума, то въдь это, внаете, дъло вкуса. Пока еще никто не знаеть, что такое красота? Во всякомъ случаъ, слъдуеть полагать, что это ощущеніе физіологическое.

Одинъ говорилъ глухимъ голосомъ, полнымъ задушевности и скорбныхъ нотъ сожалвнія къ заблуждающемуся противнику; другой—спокойно, съ сознаніемъ своего умственнаго превосходства и съ желаніемъ не употреблять твхъ словъ, колющихъ самолюбіе противника, которыхъ всегда такъ много въ спорв двухъ порядочныхъ людей о томъ, чья истина ближе къ истинъ. Елизавета Сергъевна, тонко улыбаясь, слъдила за игрой ихъ физіономій и спокойно кушала, тщательно обгладывая косточки дичи. Изъ-за дверей выглядывала Маша и, очевидно, хотъла понять то, что говорять господа, потому что лицо у нея было напряжено и глаза стали круглыми, утративъ свойственное имъ выраженіе хитрости и ласки.

— Вы говорите—дъйствительность, но что она, когда все вокругь насъ и мы сами только химизмъ и механизмъ, неустанно работающій? Всюду движеніе и все движеніе, нътъ ни одной сотой секунды покоя.—Какъ же я уловлю дъйствительность, какъ познаю ее, если самъ я въ каждый данный моментъ не то, чъмъ былъ, и не то, чъмъ буду въ слъдующій? Вы, я—мы только матерія? Но однажды мы будемъ лежать подъ образами, наполняя воздухъ сквернымъ запахомъ гніенія... Отъ насъ останутся на землъ, быть можетъ, только выцвътшія фотографіи, и онъ никогда никому ничего не скажуть о радостяхъ и мукахъ нашего бытія, поглощенныхъ неизвъстностью. Неужели не страшно върить въ то, что всъ мы, думающіе и страдающіе, живемъ лишь для того, чтобы сгнить?

Ипполить Сергъевичь внимательно слушаль его ръчь и думаль про-себя:

— Если бы ты быль убъждень въ истинъ твоей въры—ты быль бы спокоень. А ты вогь кричишь. И не потому ты, брать, кричишь, что ты идеалисть, а потому, что у тебя скверные нервы:

А Бенковскій, глядя въ лицо ему пылающими глазами, все говорилъ:

— Вы говорите-наука, - прекрасно!-преклоняюсь предъ ней, какъ предъ могучимъ усиліемъ ума разръшить узы оковывающей меня тайны... Но я вижу себя при свъть ея тамъ же, гдъ стоялъ мой далекій предокъ, непоколебимо вършешій въ то, что громъ гремить по милости пророка Иліи. Я не върю въ Илію, я знаюэто дъйствіе электричества, но чъмъ оно яснъе Иліи? Тъмъ, что сложнъе? Оно такъ же необъяснимо, какъ и движеніе и всъ другія силы, которыми безуспъшно пытаются заменить одну. И порой мне кажется, что дело науки цъликомъ сводится къ усложнению понятитолько! Я думаю, что хорошо върить; надо мной смъются, мий говорять: нужно не вирить, а знать. Я хочу внать, что такое матерія, и мив отвічають буквально такъ: "матерія--- это содержимое того мъста пространства, въ которомъ мы объективируемъ причину воспринятаго нами ощущенія". Зачемь такь говорить? Разве можно выдавать это за отвъть на вопросъ? Это насмъшка надъ тъмъ, кто страстно и искренно ищеть отвътовъ на тревожные запросы своего духа... Я хочу знать цъль бытія-это стремленіе моего духа тоже осмънвается. А въдь я живу, это не легко и даеть мнъ право категорически требовать отъ монополистовъ мудрости отвъта-зачъмъ я живу?

Ипполить Сергъевичь исподлобья смотръль въ пылающее волненіемъ лицо Бенковскаго и сознаваль, что этому юношъ нужно возражать словами, равными его словамъ по силѣ вложеннаго въ нихъ буйнаго чувства. Но, сознавая это, онъ чувствовалъ въ себѣ желаніе возражать. А огромные глаза поэта стали еще больше,— въ нихъ горѣла страстная тоска. Онъ задыхался, и бѣлая, изящная кисть его правой руки быстро мелькала въ воздухѣ, то судорожно сжатая въ кулакъ и угрожающая, то какъ бы ловя что-то въ пространствѣ и безсильная поймать.

- Но ничего не давая, какъ много взяли вы у жизни! На это возражаете съ презръніемъ... А въ немъ звучить что? Невозможность возразить съ увъренностью и еще—ваше неумъніе жалъть людей. Въдь у васъ хлъба духовнаго просять, а вы камень отрицанія предлагаете! Ограбили вы душу жизни, и если нътъ въ ней великихъ подвиговъ любви и страданія въ этомъ вы виноваты, ибо, рабы разума, вы отдали душу во власть его, и воть охладъла она и умираеть больная и нищая! А жизнь все такъ же мрачна, и ея муки, ея горе требують героевъ... Гдъ они?
- Да онъ припадочный какой-то! восклицалъ просебя Ипнолить Сергъевичъ, съ непріятнымъ содроганіемъ глядя на этотъ клубокъ нервовъ, дрожавшій предънимъ въ тоскливомъ возбужденіи.—Онъ пытался остановить бурное красноръчіе своего будущаго зятя, но это было безуспъшно, ибо, охваченный вдохновеніемъ своего протеста, юноша ничего не слышалъ и, кажется, не видълъ. Онъ, должно быть, долго носилъ въ себъ всъ эти жалобы, лившіяся изъ его души, и былъ радъ, что можетъ высказаться предъ однимъ изъ тъхъ людей, которые, по его мнънію, испортили жизнь.

Елизавета Сергъевна любовалась имъ, прищуривъ свътлые глаза, и въ нихъ сверкала искорка сладострастнаго вожделънія.

— Во всемъ, что вы такъ сильно и красиво сказали,—размъренно и ласково заговорилъ Ипполитъ Сергъевичъ, воспользовавшись невольной наузой утомлен-

наго оратора и желая успокоить его,—во всемъ этомъ звучить безспорно много искренняго чувства, пытливаго ума...

— Что бы ему сказать этакое охлаждающее и примиряющее?—усиленно думаль онъ, сплетая съть комплиментовъ.

Но его выручила изъ затруднительнаго положенія сестра. Она уже насытилась и сидъла, откинувшись на спинку кресла. Темные волосы ея были причесаны старомодно, но эта прическа въ формъ короны очень шла властному выраженію ея лица. Ея губы, вздрогнувшія оть улыбки, открыли бълую и тонкую, какъ лезвее ножа, полоску зубовъ, и, красивымъ жестомъ остановивъ брата, она сказала:

— Позвольте и мив слово! Я знаю одно изреченіе какого-то мудреца, и оно гласить: "Не правы тв, которые говорять—воть истина, но не правы и тв, которые возражають имь—это ложь, а правъ только Саваоеъ и только сатана, въ существованіе которыхъ я не вврю, но которые гдв-нибудь должны быть, ибо это они устроили жизнь такой двойственной и это она создала ихъ. Вы не понимаете? А ввдь я говорю твмъ же человвческимъ языкомъ, что и вы. Но всю мудрость ввковъ я сжимаю въ одну фразу, для того, чтобы вы видвли ничтожество вашей мудрости".

Кончивъ свою рѣчь, она съ очаровательно-ясной улыбкой спросила у мужчинъ:

— Какъ вы это находите?

Ипполить Сергъевичъ молча пожалъ плечами,—его возмущали слова сестры, но онъ былъ доволенъ тъмъ, что она укротила Бенковскаго.

А съ Бенковскимъ произошло что-то странное. Когда Елизавета Сергъевна заговорила,—его лицо вспыхнуло восторгомъ и, блъднъя съ каждымъ ея словомъ, выражало уже нъчто близкое къ ужасу въ тотъ моментъ, когда она поставила свой вопросъ. Онъ хотълъ что-то

отвътить ей, его губы нервно вадрагивали, но слова не сходили съ нихъ. Она же, великолъпная въ своемъ спокойствіи, слъдила за игрой его лица и, должно быть. ей нравилось видъть дъйствіе своихъ словъ на немъ, ибо въ глазахъ ея сверкало удовольствіе.

- Мнъ, по крайней мъръ, кажется, что въ этихъ словахъ дъйствительно весь итогъ огромныхъ фоліантовъ философіи,—сказала она, помолчавъ.
- Ты права до извъстной степени, криво усмъхнулся Ипполить Сергъевичъ, —но все же...
- Такъ неужели человъку нужно гасить послъднія искры Прометеева огня, еще горящія въ душъ его, облагораживая ея стремленія?— съ тоской глядя на нее, воскликнуль Бенковскій.
- Зачъмъ же, если они даютъ нъчто положительное... пріятное вамъ!—улыбаясь, сказала она.
- Ты, кажется, берешь очень опасный критерій для опредъленія положительнаго,—сухо зам'тиль ей брать.
- Елизавета Сергъевна! Вы—женщина, скажите: великое идейное движеніе женщинъ какіе отзвуки будить въ вашей душъ?—спрашивалъ вновь разгоравшійся Бенковскій.
 - Оно интересно...
 - Только?
- Но я думаю, что это... какъ вамъ сказать?... это стремленіе лишнихъ женщинъ. Онъ остались за бортомъ жизни, потому что некрасивы или потому, что не сознають силы своей красоты, не внають вкуса власти надъ мужчиной... Онъ лишнія по массъ причинъ!... Но—нужно есть мороженое.

Онъ молча взяль зеленую вазочку изъ ея рукъ и, поставивъ ее передъ собой, сталъ упорно смотръть на холодную, бълую массу, нервно потирая свой лобъ рукой, дрожащей отъ сдерживаемаго волненія.

— Воть видите, философія портить не только вкусь къ жизни, но и аппетить,—шутила Елизавета Сергъевва.

А брать смотръль на нее и думаль, что она играеть въ скверную игру съ этимъ мальчикомъ. Въ немъ весь этоть разговоръ вызваль ощущение нарождающейся куки, и, хотя ему жалко было Бенковскаго, эта жалость не вмъщала въ себъ сердечной теплоты и потому лишена была энергіи.

- Sic visum Veneri! ръшилъ онъ, вставая изъ-за стола и закуривая папиросу.
- Будемъ играть? спросила Елизавета Сергъевна Бенковскаго.

И когда онъ, въ отвъть на ея слово, покорно склониль голову, они ушли съ террасы въ комнаты, откуда вскоръ раздались аккорды рояля и звуки настраиваемой скрипки. Ипполить Сергъевичъ сидълъ въ удобномъ креслъ у перилъ террасы, скрытой отъ солнца кружевной завъсой дикаго винограда, всползавшаго съ земли до крыши по натянутымъ бечевкамъ, и слышалъ все, что говорятъ сестра и Бенковскій. Окна гостиной, закрытыя только зеленью цвътовъ, выходили въ паркъ

- Вы написали что-нибудь за это время? спрашивала Елизавета Сергъевна, давая тонъ скрипкъ.
 - Да, маленькую пьеску.
 - Прочитайте!
 - Право, не хочется.
 - Хотите, чтобъ я просила васъ?
- Хочу ли? Нътъ... Но хотълъ бы прочитать тъ стихи, которые теперь слагаются у меня...
 - Пожалуйста!
- Да, я прочту... Но они только-что явились... и вы ихъ вызвали къ жизни...
 - Какъ миъ пріятно слышать это!
- Не знаю... Можеть быть, вы говорите искренно... не знаю...

"Пожалуй, мнъ нужно уйти?" — подумалъ Ипполить Сергъевичъ. Но ему лънь было двигаться, и онъ остался,

успокоивъ себя тъмъ, что имъ должно быть извъстно его присутствіе на террасъ.

Твоей спокойной красоты Холодный блескъ меня тревожить...

раздался глухой голосъ Бенковскаго.

Ты осмъешь мои мечты? Ты не поймешь меня, быть можеть?

тоскливо спрашиваль юноша.

— Боюсь я, что ужъ поздно тебъ спрашивать объ этомъ, — скептически улыбаясь, подумалъ Ипполить Сергъевичъ.

Въ твоихъ очахъ участья нъгъ, Въ словахъ—холодный смъхъ мнъ слышенъ.. И чуждъ тебъ безумный бредъ Моей души...

Бенковскій замолчаль оть волненія или недостатка риемы.

А онъ такъ пышенъ!
Въ немъ пъсенъ вихрь, въ немъ жизнь моя!
Онъ весь проникнутъ буйной страстью
Ръщить загадву бытія,
Найти для всъхъ дорогу къ счастью...

— Надо уйти! — ръшилъ Ипполитъ Сергъевичъ, невольно поднятый на ноги истерическими стонами вноши, въ которыхъ звучало одновременно и трогательное — прости! миру его души и отчаянное — помилуй! — обращенное къ женщинъ.

Твой рабъ, —воздвигъ тебъ я тронъ Въ безумствахъ сердца моего... И жду...

— Своей гибели, ибо—sic visum Veneri!—докончилъ стихи Ипполитъ Сергъевичъ, идя по аллеъ парка.

Онъ удивлялся сестрѣ:—она не казалась настолько красивой, чтобъ возбудить такую любовь въ юношѣ. Навѣрное она достигла этого тактикой сопротивленія. Тогда нужно признать за ней стойкую выдержку, ибо Бенковскій красивъ... Быть можеть, ему, какъ брату и

порядочному человъку, слъдуеть поговорить съ ней объ истинномъ характеръ ея отношеній къ этому раскаленному страстью мальчику? А къ чему можеть повести такой разговоръ теперь? И не настолько онъ компетентенъ въ дълахъ Амура и Венеры, чтобъ вмъшиваться въ эту исторію... Но все-таки нужно указать Елизаветъ на въроятную гибель этого господина, если онъ при ея помощи не успъеть во-время угасить въ себъ пламя своихъ порывовъ и не научится болъе нормально чувствовать и здраво разсуждать.

— A что было бы, если бъ этотъ факелъ страсти иылалъ предъ сердцемъ Вареньки?

Поставивъ себъ такой вопросъ, Ипполитъ Сергъевичъ, однако, не сталъ ръшать его, а задумался о томъ, чъмъ занята въ данный моментъ эта дъвушка? Быть можеть, она бъеть по щекамъ своего Никона или катаетъ по комнатъ кресло съ больнымъ отцомъ. И представивъ себъ ее за такими занятіями, онъ почувствовалъ обиду за нее. Нътъ, необходимо нужно открытъ глаза этой дъвушки на дъйствительность, ознакомить ее съ умственными теченіями современности. Какъ жалко, что она живетъ далеко и нельзя видъть ее чаще, чтобы день за днемъ расшатывать все то, что ограждаетъ ея разумъ отъ воздъйствія логики!

Паркъ былъ полонъ тишины и душистой прохлады, изъ дома неслись пъвучіе звуки скрипки и нервныя ноты рояля. Одна за другой въ паркъ рождались фразы сладостныхъ моленій, нъжнаго призыва, бурнаго восторга.

Съ неба тоже лилась музыка—тамъ пъли жаворонки. Взъерошенный и черный, какъ кусокъ угля, на сучкъ липы сидълъ скворецъ и, пощипывая себъ перья на грудкъ, многозначительно посвистывалъ, косясь на задумчиваго человъка, который медленно шагалъ по аллеъ, заложивъ руки назадъ и глядя куда-то далеко улыбавшимися глазами.

Вечеромъ за чаемъ Бенковскій быль болъе сдержань и не такъ похожь на безумнаго; Елизавета Сергъевна казалась тоже согрътой чъмъ-то.

Замътивъ это, Ипполить Сергъевичъ почувствовалъ себя гарантированнымъ отъ возникновенія отвлеченныхъ разговоровъ и менъе стъсненнымъ.

- Ты ничего не разсказываешь о Петербургъ, Ипполить,—сказала Елизавета Сергъевна.
- Что о немъ сказать? Это очень большой и живой городъ... Погода въ немъ сырая, а...
 - А люди сухіе, —перебилъ Бенковскій.
- Далеко не всъ. Есть много совершенно размякшихъ, покрытыхъ плъсенью очень древнихъ настроеній; вездъ люди довольно разнообразны!
- Слава Богу, что это такъ! воскликнулъ Бенковский.
- Да, жизнь была бы невыносимо скучна, если бы этого не было!—подтвердила Елизавета Сергъевна.—А что, въ какомъ фаворъ у молодежи деревня? Продолжають играть на пониженіе?
 - Да, понемножку разочаровываются.
- Это явленіе очень характерно для интеллигенціи нашихъ дней,—усмъхаясь, заявилъ Бенковскій.—Когда она была, въ большинствъ, дворянской, оно не имъло мъста. А теперь, когда всякій сынъ кулака, купца или чиновника, прочитавшій двъ-три популярныя книжки, есть уже интеллигенть—деревня не можетъ возбуждать интереса у такой интеллигенціи. Развъ она ее знаеть? Развъ она для нихъ можетъ быть чъмъ-то инымъ, кромъ мъста, гдъ хорошо пожить лътомъ? Для нихъ деревня— это дача... да и вообще они дачники по существу ихъ душъ. Они явились, поживутъ и исчезнутъ, оставивъ за собой въ жизни разныя бумажки, обломки, обрывки— обычные слъды своего пребыванія, всегда оставляемые дачниками на поляхъ деревни. Придутъ за ними другіе и уничтожатъ этотъ соръ, а съ нимъ и память объ

интеллигенціи позорныхъ, бездушныхъ и безсильныхъ девяностыхъ годовъ.

- Эти другіе—реставрированные дворяне?—щуря глава, спросилъ Ипполить Сергъевичъ.
- Вы меня, кажется, поняли... очень не лестно для васъ, извините!—вспыхнулъ Бенковскій.
- Я спросилъ только, кто эти будущіе?—пожалъ плечами Ипполить Сергъевичъ.
- Они—молодая деревня! Пореформенное покольніе ея, люди ужъ и теперь съ развитымъ чувствомъ человъческаго достоинства, жаждущіе знаній, пытливые и сильные, готовые заявить о себъ.
- Привътствую ихъ заранъе, —равнодушно сказалъ Ипполить Сергъевичъ.
- Да, нужно сознаться, что деревня начинаеть производить на свъть нъчто новое, примиряюще заговорила Елизавета Сергъевна. У меня туть есть очень интересные ребята-Иванъ и Григорій Шаховы, прочитавшіе почти половину моей библіотеки, и Акимъ Мозыревъ, человъкъ "все понимающій", какъ онъ заявляеть. Дъйствительно, блестящія способности! Я провъряла его-дала ему физику-прочитай и объясни законъ рычага и равновъсія, такъ онъ черезъ недълю съ такимъ эффектомъ сдалъ мнв экзаменъ, просто я была поражена! Да еще говорить, отвъчая на мои похвалы: "что жъ? Вы это понимаете, значить и мив никвмъне заказано-книжки сочиняются для всъхъ!" Каковъ? А воть... ихъ пониманіе своего достоинства пока еще развилось только до дерзостей и грубостей. Эти новорожденныя свойства они примъняють даже ко мнъ, но я терплю и не жалуюсь земскому начальнику, по-. нимая, что на этой почвъ могуть расцвъсти такіе огненные цвъты... пожалуй, въ одно прекрасное утро проснешься только на пеплъ своей усадьбы.

Ипполить Сергъевичь улыбнулся. Бенковскій взглянуль на эту женщину съ грустью.

Поверхностно задъвая темы и не особенно сильно самолюбіе другъ друга, они побесъдовали часовъ до десяти, и тогда Елизавета Сергъевна съ Бенковскимъ снова пошли играть, а Ипполить Сергъевичъ простился съ ними и ушелъ къ себъ, замътивъ, что его будущій зять не сдълалъ даже и маленькаго усилія скрыть то удовольствіе, которое онъ чувствовалъ, провожая брата своей возлюбленной.

....Узнаешь то, что хочешь узнать, и какъ бы въ видъ вознагражденія за пытливость является скука. Именно это обезсиливающее ощущеніе почувствоваль Ипполить Сергъевичь, когда съль за столь въ своей комнать съ намъреніемъ написать нъсколько писемъ знакомымъ. Онъ понималь мотивы своеобразныхъ отношеній сестры къ Бенковскому, понималь и свою роль въ ея игръ. Все это было не хорошо, но, въ то же время, все это было какъ-то чуждо ему, и душа его не возмущалась разыгравшейся предъ нимъ пародіей на исторію Пигмаліона и Галатеи, хотя умомъ онъ осуждаль сестру. Меланхолически постучавъ ручкой пера по столу, онъ уменьшилъ огонь лампы и, когда комната погрузилась въ сумракъ, сталь смотръть въ окна-

Мертвая тишина царила въ паркъ, освъщенномъ луной, и сквозь стекла оконъ луна казалась зеленоватой.

Подъ окнами мелькнула какая-то твнь и исчезла, оставивь за собой тихій звукь шороха вътвей, задрожавшихь оть ея прикосновенія. Ипполить Сергьевичь, подойдя къ окну, открыль его и посмотръль,—за деревьями мелькнуло бълое платье горничной Маши.

— Что же?—подумаль онъ улыбаясь,—пусть хоть горничная любить, если барыня только играеть въ любовь.

Медленно исчезали дни—капли времени въ безграничномъ океанъ въчности—и всъ они были утомительно однообразны. Впечатлъній почти не было, а работалось съ трудомъ, ибо знойный блескъ солнца, наркотическіе ароматы парка и задумчивыя лунныя ночи — все это возбуждало въ душъ мечтательную лънь.

Ипполить Сергъевичь спокойно наслаждался чисторастительной жизнью, со дня на день откладывая свое ръшеніе серьезно приняться за работу. Иногда ему становилось скучно, онъ укоряль себя въ бездъятельности, недостаткъ воли, но все это не возбуждало у него желанія работать, и онъ объясняль себъ свою льнь стремленіемъ организма къ накопленію энергіи. По утрамъ, просыпаясь послъ здороваго, кръпкаго сна, онъ, съ наслажденіемъ потягиваясь, отмъчалъ, какъ упруги его мускулы, эластична кожа и какъ свободно и глубоко дышать его легкія.

Прискорбная привычка философствовать, слишкомъ часто проявлявшаяся у его сестры, первое время раздражала его, но постепенно онъ помирился съ этимъ недостаткомъ Елизаветы Сергъевны и умълъ такъ ловко и безобидно доказать ей безполезность философіи, что она стала сдержаннъе. Ея стремление обо всемъ разсуждать производило на него непріятное впечатлівніе: - онъ видълъ, что сестра разсуждаетъ не изъ естественной склонности уяснить себъ свое отношение къ жизни, а лишь изъ предусмотрительнаго желанія разрушать и опрокидывать все то, что такъ или иначе могло бы смутить холодный покой ея души. Она выработала себъ схему практики, а теоріи лишь постольку интересовали ее, поскольку могли сгладить предъ нимъ ея сухое, скептическое и даже ироничное отношеніе къ жизни и людямъ. Понимая все это, Ипполитъ Сергъевичь, однако, не чувствоваль въ себъ ни малъпшаго желанія упрекнуть и пристыдить сестру; онъ осуждаль ее въ умъ, но въ немъ не было чего-то, что позволило бы ему высказать вслухъ свое сужденіе, ибо, въ сущности, его сердце было не горячве сердца сестры.

Такъ, почти каждый разъ послъ визита Бенковскаго, Ипполить Сергъевичь даваль себъ слово поговорить съ сестрой объ ея отношеніяхъ къ этому юношъ, и не исполняль своего слова, незамътно для себя отказывансь отъ вмъшательства въ эту исторію. Въдь еще неизвъстно, кто будеть страдающей стороной, когда здравый смыслъ проснется въ этомъ воспаленномъ господинъ. А это будеть — юноша слишкомъ сильно горить для того, чтобъ не угаснуть. Сестра же твердо помнить, что онъ моложе ея, о ней нечего заботиться. А если она будеть наказана — что же? Такъ и слъдуеть, если жизнь справедлива...

Варенька бывала часто. Они катались по ръкъ вдвоемъ или втроемъ съ сестрой, но никогда съ Бенковскимъ; гуляли по лъсу, однажды ъздили въ монастырь верстъ за двадцать. Дъвушка продолжала нравиться ему и возмущать его своими дикими ръчами, но съ нею всегда было пріятно. Ея наивность его смъшила и сдерживала въ немъ мужчину; цъльность ея натуры вызывала у него удивленіе, но простодушная прямота, съ которой она отталкивала отъ себя все, чъмъ онъ хотълъ поколебать миръ ея души, оскорбляла его самолюбіе.

И все чаще онъ спрашивалъ себя:

— Но развъ у меня нътъ столько энергіи, сколько нужно для того, чтобъ выбить изъ ея головы всъ эти заблужденія и глупости?

Не видя ея, онъ ясно чувствовалъ необходимость освободить ея мысль изъ уродливыхъ путъ, возводилъ эту необходимость въ обязанность, но Варенъка являлась — и онъ не то, чтобы совершенно забывалъ о своемъ рѣшеніи, но никогда не ставилъ его на первое мѣсто въ отношеніяхъ къ ней. Иногда онъ замѣчалъ за собой, что слушаетъ ее такъ, точно желаетъ чему-то научиться у нея, и сознавалъ, что въ ней есть нѣчто, стѣсняющее свободу его ума. Случалось, что онъ, имѣя

уже готовымъ возраженіе, которое, ошеломивъ ее своей ясностью и силой, убъдило бы въ очевидности ея заблужденій, — пряталъ это возраженіе въ себъ, какъ бы боясь сказать его. Поймавъ себя на этомъ, онъ думаль:

- Неужели это у меня отъ недостатка увъренности въ своей правдъ?
- И, конечно, убъждаль себя въ противномъ. Ему трудно было говорить съ ней еще и потому, что она почти не знала даже азбуки общепринятыхъ взглядовъ. Нужно было начинать съ основъ, и ея настойчивые вопросы: почему? и зачъмъ? постоянно заводили его въ дебри отвлеченностей, гдъ она уже совершенно не понимала ничего. Однажды она, утомленная его противоръчіями, изложила ему свою философію въ такихъ словахъ:
- Богъ меня создаль, какъ всёхъ, по образу и подобію Своему... — значить, все, что я дёлаю, я дёлаю по Его волё и живу — какъ нужно Ему... Вёдь Онъ знаеть, какъ я живу? Ну, воть и все, и вы напрасно ко мнъ придираетесь!

Все чаще она раздражала въ немъ жгучее чувство самца, но онъ слъдилъ за собой и быстрыми усиліями, требовавшими отъ него все болье и болье сознанія, гасилъ въ себъ эти чувственныя вспышки, даже старался скрывать ихъ отъ себя, когда же не могъ скрыть. то говорилъ самъ себъ, виновато усмъхаясь:

— Что же? — это естественно... при ея красоть... А я мужчина и мой организмъ съ каждымъ днемъ становится все кръпче подъ вліяніемъ этого солнца и воздуха... Это естественно, но ея странности вполнъ гарантирують отъ увлеченія ею...

Разсудокъ становится невъроятно дъятеленъ и гибокъ, когда чувству человъка нужна маска, чтобы скрыть за ней грубую истину своихъ запросовъ. По существу своему прямое и правдивое, какъ всякая сила, чувство, когда оно разбито жизнью или изломано чрезмърными усиліями сдержать его порывы холодной уздой разума, лишается и правдивости, и прямоты, оставаясь только грубымъ. И тогда, нуждаясь въ прикрытіи своей слабости и грубости, оно обращается за помощью къ великой способности разсудка придавать лжи физіономію истины. Эта способность была хорошо развита у Ипполита Сергъевича, и при помощи ея онъ успъшно придавалъ своему влеченію къ Варенькъ характеръ чистаго оть всякихъ побужденій интереса къ ней. У него не было бы силь любить ее, онь это зналь, но въ глубинъ его ума вспыхивала надежда обладать ею; втайнъ оть себя онъ ожидаль, что она увлечется имъ. И разсуждая съ самимъ собой о всемъ, что не унижало его въ своихъ глазахъ, онъ удачно скрывалъ въ себъ все, что могло бы вызвать у него сомнине въ своей порядочности...

Однажды за вечернимъ чаемъ сестра объявила ему:

- Знаешь, завтра день рожденія Вареньки Олесовой. Нужно вхать. Мив хочется прокатиться... Да и лошадямь это будеть полезно.
- Поважай... и поздравь ее отъ моего имени, сказалъ онъ, чувствуя, что и ему тоже хочется вхать туда.
- А ты не хочешь повхать? съ любопытствомъ глядя на него, спросила она.
- Я? Не знаю хочу ли... Кажется, не хочу. Но могу и поъхать.
- Это не обязательно! заявила Елизавета Сергъевна и опустила въки, скрывая улыбку, сверкнувшую въ ея глазахъ.
 - Я знаю, съ неудовольствіемъ сказалъ онъ.

Наступила длинная пауза, въ теченіе которой Ипполить Сергъевичь сдълаль себъ строгое замъчаніе за то, что онъ такъ ведеть себя по отношенію къ этой дъвушкъ, точно боится, что его самообладаніе не устоитъ противъ ея чаръ.

— Она мит говорила, эта Варенька, что у нихъ

тамъ прекрасная мъстность,—сказалъ онъ и покраснълъ, аная, что сестра поняла его. Но она ничъмъ не выдала этого, а напротивъ—стала его уговаривать.

— Да поъдемъ, пожалуйста! Посмотришь, у нихъ дъйствительно славно. И мнъ будетъ болъе ловко съ тобой... Мы не надолго, хорошо?

Онъ согласился, но настроеніе у него было испорчено.

— Зачёмъ это мий было нужно лгать? Что постыднаго или противоестественнаго въ томъ, что я хочу еще разъ видеть красивую девушку?—зло спрашиваль онъ себя. И не отвёчалъ на эти вопросы.

На слъдующее утро онъ проснулся рано, и первые звуки дня, пойманные его слухомъ, были слова сестры:

-... удивится Ипполить!

Ихъ сопровождаль громкій смѣхъ — такъ смѣяться могла только Варенька. Ипполить Сергѣевичъ, приподнявшись на постели, сбросиль съ себя простыню и слушаль, улыбаясь. То, что сразу вторглось въ него и наполнило его душу, едва ли можно было бы назвать радостью, скорѣе это было ласково-щекотавшее нервы предчувствіе близкой радости. И вскочивъ съ постели, онъ началь одѣваться съ быстротой, которая и смущала, и смѣшила его. Что тамъ случилось? Неужели она, въ день своего рожденія, пріѣхала звать къ себѣ его и сестру? Воть милая дѣвушка!

Когда онъ вошель въ столовую, Варенька комически-виновато опустила передъ нимъ глаза и, не принимая его протянутой къ ней руки, заговорила робкимъ голосомъ:

- Я боюсь, что вы...
- Представь себъ! воскликнула Елизавета Сергъевна,— она сбъжала изъ дома!
 - Т.-е. это какъ?—спросилъ у нея брать.
 - Потихоньку, объяснила Варенька.
 - Ха, ха, ха!—смъялась Елизавета Сергъевна.
 - Но... зачъмъ же? допрашивалъ Ипполить.

— Оть жениховъ... — призналась дъвушка и тоже расхохоталась. — Представьте, какія у нихъ будуть рожицы! Тётя Лучицкая—ей ужасно хочется вытурить меня замужъ! —разослала имъ торжественныя приглашенія и наварила и напекла для нихъ столько, точно ихъ у меня—сто! И я помогала ей въ этомъ... а сегодня проснулась и верхомъ — маршъ сюда! Имъ оставила записку, что я поъхала къ Щербаковымъ... понимаете? совсъмъ въ другую сторону на двадцать три версты!

Онъ смотрълъ на нее и смъялся смъхомъ, отъ котораго въ груди у него рождалась ласкающая теплота. Она опять была въ бъломъ широкомъ платъъ, складки котораго нъжными струями падали отъ плечъ до ногъ, окутывая ея тъло какъ бы туманомъ. Ясный смъхъ дрожалъ въ глазахъ ея и на лицъ игралъ румянецъ оживленія.

- Вамъ это не нравится?- спрашивала она у него.
- Что?-кратко спросилъ онъ.
- Что я такъ сдълала? Въдь это невъжливо, я по. нимаю, сдълавшись серьезной, сказала она и тотчасъ же снова расхохоталась...
- Воображаю я ихъ! Разодътые, надушеные... напьются они съ горя—Боже мой какъ!
 - Ихъ много? спросилъ Ипполитъ Сергъевичъ.
 - Четверо...
 - Чай налитъ! объявила Елизавета Сергвевна.
- Тебъ придется поплатиться за эту выходку, Варя... Ты думаешь объ этомъ?
- Нътъ... и не хочу! ръшительно отвътила она, усаживаясь за столъ. Это будеть когда я ворочусь къ нимъ... значить, вечеромъ, потому что я пробуду у васъ весь день. Зачъмъ же я буду съ утра думать о томъ, что будеть еще только вечеромъ? И кто, и что можетъ мнъ сдълать? Папа? Онъ ворчитъ, но отъ него можно уйти и не слушать... Тётя? она безъ памяти любить меня! Они, что ли? Такъ я ихъ могу заставить

ходить вокругь меня на четверенькахъ... ха, ха, ха! Воть это бы... смъшно было! Я попробую... Чернонебовъ не можеть, потому что у него животь!

- Варя! Ты съ ума сходишь! пыталась унять ее Елизавета Сергъевна.
- Не буду, объщала дъвушка сквозь смъхъ, но упялась не скоро, все рисуя своихъ жениховъ и увлекая искренностью своего оживленія брата и сестру.

Все время, пока пили чай, неустанно звучалъ смѣхъ. Елизавета Сергѣевна смѣялась съ оттѣнкомъ снисхожденія къ Варѣ, Ипполитъ Сергѣевичъ пытался сдерживать себя и не могъ. Послѣ чая стали обсуждать, чѣмъ бы наполнить этотъ такъ весело начатый день? Варенька предложила поѣздку на лодкѣ въ лѣсъ и чаепитіе тамъ, и Ипполитъ Сергѣевичъ немедленно согласился съ ней. Но его сестра сдѣлала озабоченное лицо и заявила:

— Я не могу принять участія въ этомъ — у меня сегодня неотложная поъздка въ Санино. Я думала ъхать къ тебъ, Варя, и по дорогъ завернуть туда... но теперь уже необходимо отправиться нарочно...

Ипполить Сергъевичь подозрительно посмотръль на нее—ему казалось, что это она сейчасъ выдумала для того, чтобъ оставить Варю наединъ съ нимъ. Но ея лицо выражало только неудовольствіе и озабоченность.

Варенька была опечалена ея словами, но скоро опять оживилась:

- Ну, что жъ? Тебъ хуже... а мы все-таки поъдемъ! Въдь да? Сегодня мы далеко... Только вотъ что—можно съ нами ъхать Григорію и Машъ?
- Григорію, конечно! Но Маша... кто же подасть объдъ?
- А кто же будеть объдать? Ты поъдешь къ Бенковскимъ, мы не вернемся до вечера.
 - Хорошо, бери и Машу...

Варенька умчалась куда-то. Ипполитъ Сергъевичъ,

закуривъ папиросу, вышелъ на террасу и сталъ ходить по ней взадъ и впередъ. Ему улыбалась эта прогулка, но Григорій и Маша казались излишними. Они будуть стъснять его—это несомнънно, при нихъ невозможно свободно говорить.

Не прошло получаса, какъ уже Ипполить Сергъевичъ и Варя стояли у лодки, глядя, какъ около нея возился Григорій — рыжій и голубоглазый парень съ веснушками на лицъ и орлинымъ носомъ. Маша, укладывая въ лодкъ самоваръ и разные узелки, говорила ему:

- A ты, рыжій, скоръй возись; видишь господа дожидаются.
- -- Сейчасъ будеть готово, высокимъ теноромъ отвъчалъ парень, укръпляя уключины для веселъ и подмигивая Машъ.

Ипполить Сергвевичь увидаль это и догадался, кто по ночамъ шмыгаеть мимо его оконъ.

- Вы знаете,—говорила Варя, уже сидя въ лодкъ и кивкомъ головы указывая на Григорія,—онъ у насътуть тоже за ученаго слыветь... Законникъ.
- Ужъ вы скажете, Варвара Васильевна, усмъхнулся Григорій, показывая кръпкіе зубы. Законникъ!
- Серьезно, Ипполить Сергъевичь, онъ знаеть .всъ русскіе законы...
- Въ самомъ дълъ, Григорій? поинтересовался Ипполить Сергъевичъ.
- Это они шутять... гдъ же! Всъ-то ихъ, Варвара Васильевна, никто не знаеть.
 - А тотъ, кто писалъ?
- Господинъ Сперанскій? Они давнымъ-давно померли...
- Что же вы читаете? спросилъ Ипполитъ Сергъевичъ, присматриваясь къ смышленому орлиному лицу парня, легко бросавшаго вёсла въ воду.
- А вотъ законы, какъ они говорятъ, —указалъ Григорій на Варю бойкими глазами.—Попалъ миъ случаемъ

Х-ый томъ... я посмотрълъ—вижу интересное и нужное. Сталъ читать... А теперь имъю томъ первый... Первая статья въ немъ такъ прямо и говорить: "никто, говорить, не можеть отговариваться незнаніемъ законовъ". Ну, я такъ думаю, что никто ихъ не знаетъ, да и знать ихъ... не всъ надо... Воть еще скоро учитель мнъ положеніе о крестьянахъ достанеть;—очень интересно почитать—что оно такое?

- Видите какой?—спрашивала Варенька.
- А много вы читаете? допытывался Ипполить Сергъевичь, вспоминая о Петрушкъ Гоголя.
- Читаю, когда время есть. Здёсь книжекъ много... у одной Елизаветы Сергевны до тысячи, чай, будеть. Только у нея все романы, да повёсти разныя...

Лодка ровно шла противъ теченія, навстрѣчу ей двигались берега и вокругъ было упоительно хорошо: свѣтло, тихо, душисто. Ипполитъ Сергѣевичъ смотрѣлъ въ лицо Вареньки, съ любопытствомъ обращенное къ широкогрудому гребцу, а онъ, мѣрно разбивая веслами гладь рѣки, говорилъ о своихъ литературныхъ вкусахъ, довольный тѣмъ, что его такъ охотно слушаетъ ученый баринъ. Въ глазахъ Маши, слъдившихъ за нимъ изъподъ опущенныхъ рѣсницъ, свѣтились любовь и гордость.

- Не люблю читать про то, какъ солнце садилось или всходило... и вообще про природу. Восходы эти я, можеть, не одну тысячу разъ видълъ... Лъса и ръки тоже мнъ извъстны; зачъмъ мнъ читать про нихъ? А это въ каждой книжкъ... и по-моему, совсъмъ лишнее... Всякъ по-своему заходъ солнца понимаеть... И у всякаго свои глаза есть на это. А вотъ про жизнь людей—интересно. Читаешь, такъ думаешь:—а какъ бы ты самъ сдълалъ, коли бы тебя на эту линю поставить? Хоть и знаешь, что все это неправда.
 - Что неправда?-спросилъ Ипполить Сергъевичъ.
- Акнижки. Выдумано. Про крестьянъ, напримъръ... Развъ они такіе, какъ въ книжкахъ? Про нихъ все съ

жалостью пишуть, да этакими дурачками ихъ дѣлають... не хорошо! Люди читають—думають и въ самомъ дѣлѣ такъ и не могутъ по-настоящему понять крестьянина... потому что въ книжкъ-то онъ больно ужъ... глупъ да плохъ...

Варенькъ, должно быть, стали скучны эти ръчи, и она запъла вполголоса, разсматривая берегъ потускиъвшими глазами.

- Воть что, давайте мы съ вами, Ипполить Сергъевичь, встанемъ и пойдемъ пъшкомъ по лъсу. А то сидимъ мы и печемся на солнцъ, развъ такъ гуляють? А Григорій съ Машей поъдуть до Савёловой балки, тамъ пристануть, приготовять намъ чай и встрътять насъ... Григорій, приставай къ берегу. Ужасно я люблю пить и ъсть въ лъсу, на воздухъ, на солнцъ... Чувствуешь себя какой-то бродягой свободной...
- Воть видите, оживленно говорила она, выпрыгнувь изъ лодки на песокъ берега, коснешься земли, сразу же и есть что-то... этакое бунтующее душу. Воть я насыпала себъ песку полныя ботинки... а одну ногу обмочила въ водъ... Это непріятно и пріятно, значить хорошо, потому что заставляеть чувствовать себя... Смотрите, какъ быстро пошла лодка!

Ръка лежала у ногъ ихъ и, взволнованная лодкой, тихо плескалась о берегъ. Лодка стрълой летъла къ лъсу, оставляя за собой длинный слъдъ, блестъвшій на солнцъ, какъ серебро. Видно было, что Григорій смъялся, глядя на Машу, а она грозила ему кулакомъ.

— Это влюбленные, — сообщила Варенька, улыбаясь; — Маша уже просила у Елизаветы Сергъевны позволенія выйти замужь за Григорія. Но Елизавета Сергъевна пока не разръшила ей этого; она не любить замужней и женатой прислуги. А воть у Григорія осенью кончится срокъ службы, и тогда онъ стащить Машу у васъ... Они славные оба. Григорій просить меня продать ему одинъ клокъ земли въ разсрочку... или

Digitized by Google

отдать въ долгосрочную аренду... десять десятинъ хочеть. Но я не могу, пока папа живъ, и это жалко... Я знаю, что онъ выплатилъ бы мнъ все и очень аккуратно... онъ въдь на всъ руки... и слесарь, и кузнецъ, и вотъ младшимъ кучеромъ служитъ у васъ...Коковичъ— земскій начальникъ и мой женихъ—говорить мнъ про него такъ:—"эт-тё, знаитё, опасное бестіе—не поважаєть начальствё!

- Кто онъ, этотъ Коковичъ? Полякъ? спросилъ Ипполитъ Сергъевичъ, любуясь ея гримасами.
- Мордвинъ, чувашъ я не знаю! У него ужасно длинный и толстый языкъ, онъ не помъщается во рту и мъщаетъ ему говорить... Ухъ! Какая грязь!

Ймъ преграждала дорогу лужа воды, покрытая зеленой плъсенью и окруженная чернымъ бордюромъ жирной грязи. Ипполитъ Сергъевичъ посмотрълъ себъ на ноги, говоря:

- Нужно обойти стороной.
- Вы развъ не перепрыгнете? Я думала, что она высохла уже...— съ негодованіемъ, топая ножкой, воскликнула Варенька. Стороной идти далеко... и потомъ оборвусь я тамъ... Попробуйте перепрыгнуть! Это легко, смотрите—р-разъ!

Она подпрыгнула и бросилась впередъ: ему показалось, что это платье сорвалось съ плечъ ея и полетъло по воздуху. Но она стояла на той сторонъ лужи и съ сожалъніемъ восклицала:

— Ай, какъ я испачкалась! Нътъ, вы идите стороной... фи, какая гадость!

Онъ смотрълъ на нее и блъдно улыбался, ловя въ себъ какую-то дразнившую его темную мысль и чувствуя, что его ноги погружаются въ вязкую сырость. По ту сторону грязи Варенька встряхивала свое платье, оно издавало мягкій шумъ, и Ипполить Сергъевичъ при его колебаніяхъ видълъ топкіе, полосатые чулки на стройныхъ ножкахъ. На мигъ ему показалось, что

грязь, раздълявшая ихъ другъ отъ друга, имъетъ смыслъ предостереженія ему или ей. Но онъ грубо оборваль себя, назвавъ глупымъ мальчишествомъ этотъ уколъ въ сердце, и торопливо пошелъ въ сторону съ дороги, въ кусты, окаймлявшіе ее, гдъ все-таки ему пришлось шагать по водъ, скрытой травою. Съ мокрыми ногами и съ какимъ-то еще неяснымъ ему ръшеніемъ, онъ вышелъ къ ней, и она, съ гримасой указывая ему на свое платье, сказала:

— Смотрите-хорошо? Бя!

Онъ смотрълъ, — крупныя черныя пятна ръзали глаза, торжествующе красуясь на бълой матеріи.

— Я люблю и привыкь видьть тебя такой святочистой, что даже пятно грязи на твоемъ плать бросило бы черную твнь на мою душу...—медленно выговорилъ Ипполить Сергвевичъ и, замолчавъ, сталъ смотръть въ удивленное лицо Вареньки съ блуждающей улыбкой на своихъ губахъ.

Ея глаза вопросительно стояли на лицѣ его, а онъ чувствовалъ, что его грудь какъ бы наполняется жгучей пѣной, и вотъ она сейчасъ превратится въ чудесныя слова, которыми онъ еще никогда и ни съ кѣмъ не говорилъ, ибо не зналъ ихъ до сей поры.

— Что такое вы сказали?—настойчиво спрашивала Варенька.

Онъ вздрогнулъ, ибо вопросъ ея звучалъ строго, и, стараясь быть спокойнымъ, сталъ серьезно объяснять ей:

- Я сказалъ стихи... по-русски они выходять прозой... но вы все же слышите въдь, что это стихи? Это, кажется, итальянскіе стихи... не помню, право... А впрочемъ, это, можеть быть, и проза изъ какого-нибудь романа... Мнъ это какъ-то такъ пришло въ голову...
- Какъ это, ну те-ка, скажите еще?—попросила она его, вдругъ задумавшись надъ чъмъ-то.
 - Я люблю... онъ остановился, потирая себъ лобъ

рукой. — Повърите ли? Въдь я забыль, какъ сказаль! Честное слово—забыль!

— Hy... поидемте! — и она ръшительно двинулас!ь впередъ.

Нѣсколько минуть Ипполить Сергѣевичъ старался понять и объяснить себѣ эту странную сцену, положившую между нимъ и 'дѣвушкой невидимую преграду взаимнаго недовѣрія, старался и не могъ ничего добиться отъ себя, кромѣ' сознанія неловкости предъ Варенькой. Она шла рядомъ съ нимъ, молча, и, наклонивъ голову, не смотрѣла на него.

— Какъ бы объяснить ей все это? — соображалъ Ипполить Сергъевичъ.

Ея молчаніе подавляло; ему казалось, что она думаеть о немъ и не хорошо думаеть. И не находя никакого объясненія своей выходкъ, онъ вдругь напряженно-весело замътиль:

- Знали бы ваши женихи, какъ вы проводите время Она посмотръла на него такъ, точно онъ своими словами призвалъ ее откуда-то издалека, но постепенно ея лицо стало изъ серьезнаго простымъ и по-дътски милымъ.
- Да! Это бы ихъ... обидило! Но они узнають, о! узнають! И... можеть быть, нехорошо подумають обо мив...
 - Вы боитесь этого?
 - Я? Ихъ?-тихо, но гивно спросила она.
 - Простите меня за вопросъ.
- Ничего... Вы въдь не знаете меня... не знаете, какъ всъ они противны мнъ! Иногда мнъ хочется свалить ихъ себъ подъ ноги и ходить по ихъ лицамъ... наступая имъ на губы, чтобы они не могли ничего говорить. У! они всъ подлые!

Злоба и безсердечіе сверкали въ ея глазахъ такъ ярко, что ему стало непріятно смотръть на нее, и онъ отвернулся, говоря ей:

- Какъ грустно, что вамъ приходится жить среди

ненавистныхъ вамъ людей... Неужели между ними нътъ ни одного, который... казался бы вамъ порядочнымъ...

— Нътъ! Знаете, ужасно мало на свътъ интересныхъ людей... Всъ такіе пришибленные, неодушевленные, противные...

Онъ улыбнулся надъ ея жалобой и сказалъ съ оттънкомъ ироніи, самому ему непонятной:

- Такъ говорить вамъ рано еще. А вотъ подождите немножко и встрътите человъка, который удовлетворить васъ... Онъ будетъ всячески интересенъ для васъ...
- Это кто? быстро спросила она и даже остановилась.
 - Вашъ будущій мужъ.
 - Но кто онъ?
- Какъ же я могу это знать! пожалъ плечами Ипполить Сергъевичъ, ощущая недовольство при живости ея вопросовъ.
 - А говорите! вздохнула она и пошла.

Они шли среди кустарника, едва доходившаго до ихъ плечъ; дорога лежала среди него, какъ потерянная лента, вся въ капризныхъ изгибахъ. Теперь предъ ними явился густой лъсъ.

- A вамъ хочется выйти замужъ?—спросилъ Ипполить Сергъевичъ.
- Да... не знаю! Не думается объ этомъ...—просто отвътила она. Взглядъ ея красивыхъ глазъ, устремленный вдаль, былъ такъ сосредоточенъ, точно она вспомнила что-то далекое и дорогое ей.
- Вамъ нужно пожить зиму въ городѣ—тамъ ваша красота обратитъ на васъ всеобщее вниманіе и вы скоро найдете то, что хотите... Потому что многіе и сильно пожелають назвать васъ своей женой,—задумчиво разсматривая ея фигуру, негромко и медленно говориль онъ.
 - -- Нужно, чтобъ я позволила это!
 - -- Какъ вы можете запретить желать?

— Ахъ, да! Конечно... пусть желаютъ.

Они прошли нъсколько шаговъ въ молчаніи.

Она, задумчиво разсматривая даль, все вспоминала что-то, онъ же зачъмъ-то считалъ пятна грязи спереди ея платья. Ихъ было семь: три большія, похожія на звъзды, два—какъ запятыя и одно—точно мазокъ кистью. Своимъ чернымъ цвътомъ и формой расположенія на матеріи они что-то значили для него. Но что—онъ не зналъ.

- Вы влюблялись? вдругь раздался ея голосъ, серьезный и пытливый.
- Я? вздрогнулъ Ипполитъ Сергъевичъ. Да... только давно уже, когда былъ юношей...
 - Я тоже давно...-сообщила она.
- А... кто онъ?—спросилъ Полкановъ, не чувствуя неловкости вопроса, и сорвавъ попавшуюся подъ руку вътку, далеко отбросилъ ее отъ себя.
- Онъ-то? Онъ конокрадъ... Три года прошло съ той поры, какъ я видъла его. Семнадцать лътъ тогда было мнъ... Его однажды поймали, избили и привезли къ намъ на дворъ. Онъ лежалъ, скрученный веревками, и молчалъ, глядя на меня... а я стояла на крыльцъ дома. Помню, утро было такое ясное это было рано утромъ и всъ у насъ еще спали...

Она замолчала, вспоминая.

— Подъ телъгой была лужа крови—жирная такая лужа—и въ нее падали тяжелыя капельки изъ него... Его звали—Сашка Ремезовъ. Мужики пришли на дворъ и, глядя на него, ворчали, какъ собаки. У всъхъ у нихъ глаза были злые, а онъ, этотъ Сашка, смотрълъ на всъхъ спокойно... И я чувствовала, что онъ—хотя и избитый, и связанный — считаетъ себя лучше всъхъ. Онъ такъ ужъ смотрълъ... глаза у него были большіе каріе. Мнъ было жалко его и страшно предъ нимъ... Я пошла въ домъ и налила ему стаканъ водки... Потомъ вышла и подаю ему. А у него руки связаны и онъ не можетъ

выпить... и онъ сказаль мнъ, поднявъ немного свою голову, всю въ крови: "Дайте, барышня, ко рту". Я поднесла ему... онъ выпилъ такъ медленно, медленно и сказалъ: "Спасибо вамъ, барышня! Дай Боже вамъ счастья!" --Тогда я вдругъ какъ-то шепнула ему: "убъгите!" А онъ громко отвътилъ: -- "Если живъ буду -- непремънно убъту! Ужъ повърьте!" — И мнъ ужасно понравилось, что онъ сказалъ это такъ громко, что всв слышали на дворъ. Потомъ онъ говорить: "Барышня! велите вымыть мнъ лицо!" Я сказала Дунъ, и она обмыла... хотя лицо осталось синее и опухшее отъ побоевъ... да! Скоро его увезли, и когда телъга съъзжала со двора, я смотръла на него, а онъ мнв кланялся и улыбался глазами... хотя онъ очень сильно быль избить... Сколько я плакала о немъ! Какъ я молилась Богу за то, чтобъ онъ убъжалъ...

— Вы что же...—иронически перебиль ее Ипполить Сергъевичъ, —можеть быть, вы ждете, что онъ убъжить и явится къ вамъ и... тогда за него вы выйдете замужъ?

Она не услышала или не поняла ироніи, ибо просто отвътила:

- Ну, зачъмъ онъ сюда явится?
- . А если бы явился—вы вышли бы?
 - За мужика?.. не знаю... нътъ, я думаю!

Полкановъ разсердился.

— Испортили вы себъ голову вашими романами, воть что я вамъ скажу, Варвара Васильевна...—строго заговорилъ онъ.

При звукъ его сухого голоса она съ удивленіемъ взглянула въ лицо ему и стала молча и внимательно слушать его суровыя, почти карающія слова. А онъ доказываль ей, какъ развращаеть умъ и душу эта, излюбленная ею, литература, всегда искажающая дъйствительность, чуждая облагораживающихъ идей, равнодушная къ печальной правдъ жизни, къ желаніямъ и мукамъ людей. Голосъ его ръзко звучалъ въ тишинъ

окружавшаго ихъ лѣса и часто въ придорожныхъ вътвяхъ раздавался тревожный шорохъ — кто-то прятался тамъ. Изъ листвы на дорогу смотрѣлъ пахучій сумракъ, порой по лѣсу проносился протяжный звукъ, похожій на подавленный вздохъ, и листва трепетала слабо, какъ во снѣ.

- Нужно читать и уважать только тъ книги, которыя учать понимать смысль жизни, понимать желанія людей и истинные мотивы ихъ поступковъ. Понять людей — значить простить имъ ихъ недостатки. Нужно знать, какъ плохо живуть люди и какъ хорошо они могли бы жить, если бъ были боле умны и боле уважали права другъ друга. Всъ въдь желають одного--счастья, но идуть къ нему разными путями, иногда очень позорными, но это только потому, что они не знають, въ чемъ счастье. И воть на обязанности дъльной и честной литературы лежить долгь пояснить людямъ, въ чемъ счастье и какъ идти къ нему. А тъ книги, которыя вы читаете, не занимаются такими задачами... онъ просто лгуть и лгуть грубо. Воть онъ внушили вамъ... дикое представленіе о героизмъ... И что же? Теперь вы будете искать въ жизни такихъ людей, каковы они въ этихъ книжкахъ...
- Нѣть, конечно, не буду! серьезно сказала дѣвушка. Я знаю—такихъ нѣть. Но тѣмъ-то книжки и хороши, что онѣ изображають то, чего нѣть. Обыкновенное вездѣ... вся жизнь обыкновенная... Ужъ очень много говорять о страданіяхъ... Это навѣрное неправда, а если это неправда какъ не хорошо говорить много о томъ, чего на самомъ дѣлѣ меньше! Воть вы говорите, что въ книгахъ нужно искать... примѣрныхъ чувствъ и мыслей... и что всѣ люди заблуждаются и не понимають себя... Такъ вѣдь книги пишуть люди же! И почемъ я знаю, во что нужно върить и которое лучше? А въ тѣхъ книжкахъ, на которыя вы нападаете, очень много благороднаго...

- Вы не поняли меня... съ раздражениемъ воскликнулъ онъ.
- Да? И вы на меня сердитесь за это?—виноватымъ голосомъ спросила она.
- Нътъ! Конечно, я не сержусь... можеть ли идти ръчь объ этомъ!
- Вы сердитесь, я знаю, я знаю! Я въдь и сама сержусь всегда, когда не соглашаются со мной! Но зачъмъ вамъ нужно, чтобъ я согласилась съ вами? И мнъ тоже... Зачъмъ вообще всъ люди всегда спорятъ и хотять, чтобъ съ ними согласились? Въдь тогда и говорить нельзя будеть ни о чемъ.

Она засмъялась и сквозь смъхъ закончила:

- Точно всѣ хотять, чтобы оть всѣхъ словъ осталось только одно—ла! Ужасно весело!
 - Вы спрашиваете, зачёмъ мне нужно...
- Нътъ, я понимаю; вы привыкли учить, и для васъ ужъ необходимо, чтобъ вамъ не мъщали возраженіями.
- Вовсе не такъ! съ огорченіемъ воскликнулъ Полкановъ. Я хочу вызвать у васъ критику... всего, что творится вокругъ васъ и въ вашей душъ.
- Зачъмъ? спросила она, наивно взглянувъ въ его глаза.
- Боже мой! Какъ это—зачъмъ? Чтобы вы умъли провърять свои чувства, думы, поступки... чтобы разумно относились къ жизни и себъ самой.
- Ну, это... должно быть, трудно. Провърять себя, критиковать себя... какъ это? Я въдь одна... И что же... какъ же? на двое расколоться мив, что ли? Воть не понимаю! У насъ выходить такъ, что правда только вамъ извъстна... Положимъ, это и у меня... и у всъхъ... Но, значить, всъ и ошибаются! Потому что въдь вы говорите правда одна для всъхъ, да?... А смотрите—какая красивая поляна!

Онъ смотрълъ, не возражая на ея слова. Въ немъ бушевало чувство недовольства собой, нбо умъ ого былъ

оскорбленъ этой непокорной дъвушкой, не поддававшейся его усиліямъ поработить ее, хоть на моменть остановить ея мысль и затемъ повернуть ее на путь, противоположный тому, которымъ она шла до сей поры, не встрвчая себв сопротивленія. Онъ привыкъ считать глупыми людей, не соглашавшихся съ нимъ; въ лучшемъ случав онъ признаваль ихъ лишенными способности развиться дальше той точки, на которой стояль ихъ умъ, — и къ такимъ людямъ онъ всегда относился съ преаръніемъ, смъщаннымъ съ жалостью. Но эта дъвушка не казалась ему глупой и не возбуждала его обычныхъ чувствъ къ оппонентамъ. Почему же это и что она такое? И онъ отвъчаль себъ: "Несомивнио только потому, что она такъ подавляюще-красива... Ея дикія річи можно, пожалуй, не ставить въ вину ей... уже потому, что онъ оригинальны, а оригинальность вообще встръчается крайне ръдко, тъмъ болъе въ женшинъ".

Какъ человъкъ высокой культуры, онъ внъшне относился къ женщинъ, какъ къ существу умственно равному, но въ глубинъ души, какъ всъ мужчины, думалъ о женщинъ скептически и съ ироніей. Въ сердцъ человъка есть много мъста въръ, но убъжденію въ немъ тъсно.

Они медленно шли по широкой, почти правильно круглой полянв. Дорога двумя черными линіями колеи ръзала ее поперекъ и снова скрывалась въ лъсу. Среди поляны стояла маленькая толпа стройныхъ молодыхъ березокъ, бросая кружевныя твни на стебли скошенной травы. Недалеко отъ нихъ склонился къ землъ полуразрушенный шалашъ изъ вътвей; внутри его видпълось свно, а на немъ сидвли двв галки. Ипполиту Сергъевичу онъ казались совершенно ненужными и пелъпыми среди этой маленькой и красивой пустыни, окруженной со всъхъ сторонъ темными стънами таинственно молчавшаго лъса. Галки же бокомъ смотръли

на людей, шедшихъ по дорогъ, и въ ихъ позахъ было что-то безбоязненное и увъренное, — точно онъ, сидя на шалашъ, охраняли входъ въ него и сознавали это, какъ свою обязанность.

- Вы не устали? спросилъ Полкановъ, съ чувствомъ, близкимъ къ гнъву, разсматривая галокъ, важныхъ и суровыхъ въ своей неподвижности.
- Я? Гуляя устать? Это даже обидно слушать! Ктому жъ до мъста, гдъ насъ ждуть, осталось не болъе версты... воть сейчасъ войдемъ въ лъсъ и дорога пойдеть подъ гору.

Она разсказывала ему, какъ хорошо тамъ, куда они идутъ, и онъ чувствовалъ, что имъ овладъваеть мягкая и ласковая лънь, мъшающая ему слъдить за ея ръчью.

— Лѣсъ тамъ сосновий, онъ стоитъ на высокомъ пригоркѣ и называется Савёлова Грива. Сосны—громадныя и стволы у нихъ безъ вѣтвей, только тамъ, вверху каждой, темно-зеленый зонтъ. Тихо въ этомъ лѣсу, жутко, вся земля усыпана хвоей и лѣсъ кажется подметеннымъ. Когда я гуляю въ немъ, мнѣ почему-то всегда думается о Богѣ... вокругъ Его престола, должно быть, такъ же жутко... ангелы не славословятъ Его— это неправда! Зачѣмъ Ему слава? Развѣ Онъ Самъ не знаетъ, какъ Онъ великъ?

Въ умъ Ипполита Сергъевича сверкнула яркая мысль:

"Что, если я воспользуюсь авторитетомъ догмата, чтобъ поднять цълину ея души?"

Но онъ тотчасъ же гордо отвергъ это невольное признаніе въ своей слабости предъ нею. Было бы не честно дъйствовать силой, въ существованіе которой не въришь.

- Вы... не върите въ Бога?—какъ бы ловя его мысль, спросила она.
 - Почему вы такъ думаете?
 - Да... всъ ученые не върятъ...

- Ужъ и всв! усмъхнулся опъ, не желая говорить съ ней на эту тему. Но она не отступала отъ него.
- Развъ не всъ? Но какъ же они не върять? Пожалуйста, разскажите о тъкъ, которые совсъмъ не върять въ Него... Я не понимаю, какъ же это можно? Откуда же все явилось?

Онъ помолчалъ, будя свой умъ, сладко дремавшій подъ звуки ея ръчей. Потомъ заговорилъ о происхожденіи міра такъ, какъ онъ понималъ его:

— Могучія невъдомыя силы въчно движутся, сталкиваются и великое движеніе ихъ рождаеть видимый нами міръ, въ которомъ жизнь мысли и былинки подчинены однимъ и тъмъ же законамъ. Это движеніе не имъло начала и не будеть имъть конца...

Дъвушка внимательно слушала его и часто просила объяснить ей то или другое. Онъ объяснять съ удовольствіемъ, видя напряженіе мысли на ея лицъ. Она думаеть, думаеть! Но когда онъ кончилъ, она, помолчавъ съ минуту, простодушно спросила его:

— Но въдь туть начато не съ начала! А въ началъ быль Богь. Какъ же это? Туть о Немъ просто не говорится, а развъ это и значить не върить въ Него?

Онъ хотълъ возражать ей, но по выраженію ея лица поняль, что теперь это безполезно. Она върила — объ этомъ свидътельствовали ея глаза, горъвшіе мистическимъ огнемъ. Тихо, съ боязнью она говорила ему чтото странное; начала ея ръчи онъ не уловилъ.

— Когда видишь людей и какъ все это гадко у нихъ и потомъ вспомнишь о Богв и страшномъ судв—даже сердце сожмется! Потому что въдь Онъ можетъ всегда—сегодня, завтра, черезъ часъ—потребовать отвътовъ... И, знаете, иногда мнв кажется — это будетъ скоро! Днемъ это будетъ... и сначала погаснетъ солнце... а потомъ вспыхнетъ новое пламя и въ немъ явится Онъ.

Ипполить Сергъевичъ слушаль ея бредъ и думаль:
— Въ ней есть все, кромъ того, чему необходимо слъдовало бы быть...

Ея ръчи вызвали блъдность на ея лицъ и испугъ быль въ глазахъ у нея. Въ этомъ подавленномъ состояни она шла долго, такъ что любопытство, съ которымъ Ипполить Сергъевичъ слушалъ ее, начало исчезать у него, замъняясь утомленіемъ.

Но ея бредъ исчезъ вдругъ, когда до нихъ донесся громкій смъхъ, звучавшій гдъ-то близко.

— Слышите? Это Маша... воть мы и пришли!

Она ускорила шаги и крикнула:

- Маша, ау!
- Зачъмъ она кричитъ? съ сожалъніемъ подумалъ Ипполить Сергъевичъ.

Вышли на берегъ ръки; онъ полого спускался къ водъ и по нему были капризно разбросаны веселыя группы березъ и осинъ. А на противоположномъ берегу стояли у самой воды высокія, молчаливыя сосны. наполняя воздухъ густымъ, смолистымъ запахомъ. Тамъ все было хмуро, неподвижно, однообразно и пропитано суровой важностью, а здёсь-граціозныя березы качали гибкими вътвями, нервно дрожала серебристая листва осины; калинеикъ и орфшникъ стоялъ пышными кунами, отражаясь въ водъ; тамъ желтълъ песокъ, усъянный рыжеватой хвоей; здёсь подъ ногами зеленёла атава, чуть пробивавшаяся среди сръзанныхъ стеблей, и отъ разбросанныхъ между деревьевъ копенъ пахло свъжимъ съномъ. Ръка, спокойная и холодная, отражала какъ зеркало эти два міра, такъ не похожіе одинъ на другого.

Въ тъни одной группы березъ былъ разостланъ яркій коверъ, на немъ стоялъ самоваръ, испуская струйки пара и голубой дымъ, а около него, присъвъ на корточки, возилась Маша съ чайникомъ въ рукъ.

Лицо у нея было красное, счастливое, волосы на головъ

- Ты купалась?—спрашивала у нея Варенька.— А гдъ Григорій?
 - Тоже купаться повхаль. Скоро ужь вернется.
- Да мив его не нужно. Я кочу всть, пить и... теть и пить! Воть какъ! А вы, Ипполить Сергвевичъ?
 - Не откажусь, знаете ли, -- усмъхнулся онъ.
 - Маша, живо!
 - Что сначала прикажете? Цыплять, паштеть...
- Все сразу давай и можешь исчезнуть! Можеть быть, тебя ждеть кто-нибудь?
- Ровно бы некому,—тихонько засмъялась Маша, благодарными глазами взглядывая на нее...
 - Ну, ладно, притворяйся!

"Какъ это у нея просто все выходить,—думалъ Ипполить Сергъевичь, принимаясь за цыплять.—Неужели ей извъстенъ и смыслъ, и детали подобныхъ отношеній? Весьма въроятно, въдь деревня такъ откровенна и груба въ этой сферъ".

А Варенька со смъхомъ вышучивала смущеніе Маши, стоявшей предъ нею, потупивъ глаза и съ улыбкой счастья на лицъ.

- Погоди, онъ тебя забереть въ руки! грозила она.
- Ка-акъ же! Такъ я ему и дамся!... Я, знаете, я его...— и она, закрывъ лицо передникомъ, закачалась на ногахъ въ приступъ неудержимаго смъха.—Дорогой въ воду ссунула!
 - Ну? Молодецъ ты! А какъ же онъ?
- Плыль за лодкой... и... и все упрашиваль, чтобь я его... впустила... а я ему... веревку бросила съ кормы!

Заразительный смъхъ двухъ женщинъ принудилъ и Ипполита Сергъевича громко расхохотаться. Онъ смъялся не потому, что представлялъ себъ Григорія плывущимъ за лодкой, а потому, что хорошо ему было.

Чувство свободы отъ самого себя наполняло его, и порой онъ точно откуда-то издали удивлялся себъ, замъчая, что никогда раньше онъ не былъ такъ просто веселъ, какъ въ этотъ моментъ. Потомъ Маша исчезла, и они снова остались вдвоемъ.

Варенька полулежала на коврѣ и пила чай, а Ипполить Сергъевичь смотрълъ на нее какъ бы сквозь дымку дремы. Вокругъ нихъ было тихо, лишь самоваръ пълъ задумчивую мелодію, да порой что-то шуршало въ травъ.

- Вы что же молчаливый такой?—спросила Варенька, заботливо глядя на него.—Вамъ, можетъ быть, скучно?
- Нътъ, мнъ хорошо,—медленно сказалъ онъ,—а говорить не хочется.
- Вотъ и я тоже такъ, оживилась дѣвушка, когда тихо, я ужасно не люблю говорить. Вѣдь словами не много скажешь, потому что бывають чувства, для которыхъ и нѣтъ совсѣмъ словъ. И когда говорять тишина, то это напрасно: о тишинѣ нельзя говорить, не уничтожая ея... да?

Она помолчала, посмотръла на сосновый лъсъ и, указавъ на него рукой, спросила, тихо улыбаясь:

- Посмотрите, сосны точно прислушиваются къ чему-то. Тамъ среди нихъ тихо-тихо. Мнѣ иногда кажется, что лучше всего жить вотъ такъ, въ тишинѣ. Но хорошо и въ грозу... ахъ, какъ хорошо! Небо черное, молніи злыя, темнота, вѣтеръ воеть... въ это время выйти въ поле и стоять тамъ и пѣть—громко пѣть, или бѣжать подъ дождемъ, противъ вѣтра. Такъ и зимой. Вы знаете, однажды во вьюгу я заблудилась и чуть не замерзла.
- Разскажите, какъ это?—попросилъ онъ. Ему было пріятно слышать ее,—казалось, что она говорить на языкъ новомъ для него, хотя и понятномъ.
 - Я тала изъ города, поздно ночью, —придвигаясь

къ нему п остановивъ тихо улыбающеся глаза на его лицъ, начала она.-Кучеромъ былъ Яковъ, старый такой, строгій мужикъ. И воть началась вьюга, страшной силы вьюга и прямо въ лицо намъ. Рванеть вътеръ и бросить въ насъ цълую тучу снъга такъ, что лошади попятятся назадъ и Яковъ покачнется на козлахъ. Вокругъ все кипитъ точно въ котлъ, и мы въ холодной пънъ. Бхали, вхали, потомъ Яковъ, вижу я, снялъ шапку съ головы и крестится. Что ты?-"Молитесь, барышня, Господу и Варваръ великомученицъ, она помогаеть отъ нечаянной смерти". Онъ говорилъ просто и безъ страха, такъ что я не испугалась; спрашиваюзаплутались?--"Да", говоритъ. Но, можетъ быть, выъдемъ? ... "Гдъ ужъ, говорить, выъхать въ такую вьюгу! Воть я отпущу вожжи, авось кони сами пойдуть, а вы все-таки про Бога-то вспомните!" Онъ очень набожный, этоть Яковъ. Кони стали и стоятъ, а насъ заноситъ. Холодно! Липо ръжетъ снъгомъ. Яковъ сълъ съ козелъ ко мив, чтобы намъ обоимъ теплве было, и мы съ головой закрылись ковромъ, что былъ въ саняхъ. На коверъ наносило снъгъ и онъ становился тяжелымъ. Я сидъла и думала: вотъ и пропала я! И не съвмъ твхъ конфеть, что везла изъ города... Но страшно мнъ не было, потому что Яковъ разговаривалъ все время. Помню, онъ говорилъ: "Жалко мнъ васъ, барышня! Зачъмъ вы-то погибнете?"-Да, въдь, и ты тоже замеранешь?--"Я-то ничего, я ужъ пожилъ, а вотъ вамъ..." и все обо мнв. Онъ меня очень любить, даже ругаеть иногда, знаете, ворчить на меня, сердито такъ:--"ахъ, ты безбожница, сорви-голова, безстыжая вертушка!..."

Она сдълала суровую мину и говорила густымъ басомъ, растягивая слова. Воспоминаніе о Яковъ отвлекло ее отъ своего разсказа, и Ипполитъ Сергъевичъ долженъ былъ спросить ее:

- Какъ же вы нашли путь?
- А кони озябли и пошли сами, шли-шли и дошли

Digitized by Google

до деревни, на тринадцать версть въ сторону отъ нашей. Вы знаете, наша деревня здѣсь близко, версты четыре, пожалуй. Вотъ если идти такъ вдоль берега и потомъ по тропъ, въ лъсу направо, тамъ будеть ложбина и уже видно усадьбу. А дорогой отсюда верстъ десять.

Какія-то смѣлыя птички порхали вокругъ нихъ и, садясь на вѣтки кустовъ, бойко щебетали, точно дѣлясь другъ съ другомъ впечатлѣніями отъ этихъ двухъ людей, одинокихъ среди лѣса. Издали доносился смѣхъ, говоръ и плескъ веселъ, должно быть Григорій и Маша катались на рѣкѣ.

— Позовемъ ихъ и переъдемъ на ту сторону въ сосны?—предложила Варенька.

Онъ согласился, и приставивъ руку ко рту рупоромъ, она стала кричать:

— Плывите сюда-а!

Отъ крика ея грудь напрягалась, а Ипполить Сергъевичъ молча любовался ею. Ему о чемъ-то нужно было подумать—о чемъ-то очень серьезномъ, чувствоваль онъ,—но думать не хотълось, и этотъ слабый позывъ ума не мъщалъ ему спокойно и свободно отдаваться болъе сильному повелъню чувства.

Явилась лодка. У Григорія лицо было лукавое и немного виноватоє, у Маши—притворно-сердитоє; но Варенька, садясь въ лодку, посмотръла на нихъ и засмъялась, тогда и они оба засмъялись, сконфуженные и счастливые.

"Венера и рабы, обласканные ею",—подумалъ Ипполитъ Сергъевичъ.

Въ сосновомъ лѣсу было торжественно и тихо, какъ въ храмѣ, и могучіе, стройные стволы стояли, какъ колонны, поддерживая тяжелый сводъ изъ темной зелени. Теплый и густой запахъ смолы наполнялъ воздухъ, а подъ ногами тихо хрустъла сухая хвоя. Впереди, позади, съ боковъ—всюду стояли красноватыя

сосны и лишь кое-гд у корпей ихъ сквозь пласть хвои пробивалась какая-то бл дная зелень. Въ тишин и молчани двое людей медленно бродили среди этой безмолвной жизни, свертывая то вправо, то вл во предъ деревьями, заграждавшими имъ путь.

- Мы не заплутаемся? спросилъ Ипполить Сергъевичъ.
- Я заплутаюсь?—удивилась Варенька.—Я вездъ найду нужное миъ направленіе... стоить только посмотръть на солице.

Онъ не спрашиваль ея о томъ, какъ солнце указываеть ей путь, ему совершенно не хотълось говорить, хотя иногда онъ чувствоваль, что много могъ бы сказать ей. Но это были внутренніе взрывы желаній, вспыхивавшіе на поверхности его спокойнаго настроенія и въ секунду угасавшіе, не волнуя его. Варенька шла рядомъ съ нимъ и онъ видълъ на лицъ ея отраженіе тихаго восторга.

- Хорошо?—изръдка спрашивала она его, и ласковая улыбка заставляла вздрагивать ея губы.
- Да, очень, кратко отв'вчаль онь, и снова они молчали, идя по л'всу. Ему казалось, что онъ юноша, благогов'вйно влюблень, чуждъ гр'вшныхъ помысловъ и всякой внутренней борьбы съ самимъ собой. Но каждый разъ, когда глаза ловили иятно грязи на ея плать'в, на душу ему падала тревожная т'внь. И онъ не понималь, какъ это случилось, что вдругъ, въ моментъ, когда такая т'внь окутала его сознаніе, онъ, глубоко вздохнувъ, точно сбрасывая съ себя тяжесть, сказаль:
 - Какая вы красавица!

Она удивленно взглянула на него.

- Что это вы? Молчали, молчали—и вдругъ! Ипполитъ Сергъевичъ слабо засмъялся, обезсиленный ея спокойствиемъ.
- Такъ, знаете... хорошо здъсь! Лъсъ хорошъ... а вы въ немъ какъ фея... или—вы богиняи лъсъ— вашъ храмъ.

Digitized by Google

— Нътъ...—улыбаясь возразила она,—это пе мой лъсъ, это казепный, а нашъ лъсъ въ ту сторону, внизъ по ръкъ.

И она указала рукой куда-то вбокъ.

— Шутить она или... не понимаеть? — подумалъ Ипполить Сергъевичь, и въ немъ стало разгораться настойчивое желаніе говорить ей о ея красотъ. Но она была задумчива, спокойна, и это сдерживало его во все время прогулки.

Гуляли они еще долго, но говорили уже мало, ибо мягкія и мирныя впечатлівнія этого дня овівяли ихъ души сладкимъ утомленіемъ, въ которомъ уснули всі желанія, кромі желанія молча думать о чемъ-то невыразимомъ словами.

Воротясь домой, они узнали, что Елизаветы Сергъевны еще нътъ, и стали пить чай, быстро приготовленный Машей. Сейчасъ же послъ чая Варенька уъхала домой, взявъ съ него слово прівхать къ нимъ въ усадьбу вмъстъ съ Елизаветой Сергъевной. Онъ проводилъ ее и когда пришелъ на террасу, то поймалъ себя на тоскливомъ ощущеніи утраты чего-то необходимаго ему. Сидя за столомъ, на которомъ стоялъ остывшій стаканъ его чая, онъ попробовалъ строго оборвать себя, уничтожить всю эту игру раздраженныхъ за день чувствъ, но въ немъ явилась жалость къ самому себъ и онъ отказался отъ всякихъ операцій надъ собой.

— Зачъмъ? — думалъ онъ — развъ все это серьезно? Шалость и только. Это не вредить ей, не можетъ повредить, если бъ я и хотълъ. Это нъсколько мъщаетъ мнъ жить... но туть столько юнаго и красиваго...

Потомъ, снисходительно улыбаясь самому себъ, онъ вспомнилъ свое твердое ръшеніе развить ея умъ и свои неудачныя попытки сдълать это.

— Нъть, очевидно, съ ней нужно говорить иными словами. Эти цълостныя патуры скоръе склонны поступиться своей непосредственностью предъ метафизикой...

защищаясь противъ логики броней слѣпого, примитивнаго чувства... Странная дъвушка!

Въ думахъ о ней его застала сестра. Она явилась шумной и оживленной,—такой онъ еще не видалъ ея. Приказавъ Машъ подогръть самоваръ, она усълась противъ брата и начала ему разсказывать о Бенковскихъ.

- Изо всъхъ щелей ихъ стараго дома смотрятъ жесткіе глаза нищеты, торжествующей побъду надъ этимъ семействомъ. Въ домъ, кажется, нътъ ни копейки денегъ и никакихъ запасовъ; къ объду посылали въ деревню за яйцами. Объдъ безъ мяса, и поэтому старикъ Бенковскій очень много говорить о вегетаріанствъ и о возможности моральнаго перерожденія людей на этой почвъ. У нихъ пахнетъ разложеніемъ, и всъ они злые—отъ голода, должно быть. Она ъздила къ нимъ съ предложеніемъ продать ей клокъ земли, връзавшійся въ ея владънія.
- Зачъмъ это?—полюбопытствовалъ Ипполить Сергъевичъ.
- Ну, тебъ едва ли могутъ быть доступны соображенія, которыя я преслъдую. Представь, что это ради моихъ будущихъ дътей, смъясь сказала она. Ну, а ты какъ провель время?
 - Пріятно.

Она помолчала, исподлобья посмотръвъ на него.

- Извини за вопросъ... ты не боишься немножко увлечься Варенькой?
- Чего же туть бояться?—съ непонятнымъ ему иптересомъ спросиль онъ.
 - Возможности увлечься сильно?
- Ну, это едва ли я сумъю... скептически отвътилъ онъ и върилъ, что говоритъ правду.
- А если такъ, то и прекрасно. Немножко это хорошо, а то ты нъсколько сухъ... слишкомъ серьезенъ... для твоихъ лътъ. И я, право, буду рада, если она рас-

шевелить тебя... Быть можеть, ты хотель бы видеть ее чаше?...

- Она взяла съ меня слово прівхать къ нимъ и просила тебя объ этомъ... сообщилъ Ипполить Сергьевичъ.
 - Когда ты хочешь повхать?
- -- Все равно... Какъ ты найдешь удобнымъ. Ты сегодня хорошо настроена.
- Это очень замътно? засмъялась она. Что же? Я провела корото день. Вообще... 'боюсь, это покажется тебъ цинизмомъ... но право, со дня похоронъ мужа я чувствую, что возрождаюсь... Я эгоистична конечно! Но это радостный эгоизмъ человъка, выпущеннаго изътюрьмы на свободу... Суди, но будь справедливъ.
- Сколько оговорокъ для такой маленькой рѣчи! Рада и—радуйся...—ласково засмъялся Ипполить Сергъевичъ.
- И ты сегодня добръ и милъ,—сказала она.—Впдишь,—немножко счастья—и человъкъ сразу же становится лучше, добръе. А нъкоторые слишкомъ мудрые люди находять, что насъ очищають страданія... Желала бы я, чтобъ жизнь, примъняя къ нимъ эту теорію, очистила ихъ умы отъ заблужденія...
- A если Вареньку заставить страдать... что было бы изъ нея?—спросилъ самъ себя Ипполитъ Сергъевичъ.

Скоро они разошлись. Она стала играть, а онъ, уйдя въ свою комнату, легъ тамъ и задумался,—какое представленіе о немъ сложилось у этой дъвушки? Считаеть она его красивымъ? Или умнымъ? Что можетъ нравиться ей въ немъ? Что-то привлекаетъ ее къ нему — это очевидно для него. Но едва ли онъ имъетъ въ ея глазахъ цъну какъ умный, ученый человъкъ; она такъ легко отбрасываетъ отъ себя всъ его теоріи, взгляды поученія. Въроятнъе, что онъ правится ей просто, какъ мужчина.

И дойдя до этого заключенія, Ипполить Сергъевичъ

всимхнулъ отъ гордой радости. Закрывъ глаза, онъ съ улыбкой удовольствія представлялъ себъ эту дъвушку покорной ему, побъжденной имъ, готовой на все для него, робко умоляющей его взять ее и научить думать, жить, любить.

III.

Когда кабріолеть Елизаветы Сергѣевны остановился у крыльца дома полковника Олесова, на крыльцѣ явилась длинная и худая фигура женщины въ сѣрой блузѣ и раздался басовый голосъ, рѣзко выдѣлявшій звукъ "р".

— А-а! Какой пріятный сюрпризъ!

Ипполить Сергъевичь даже вадрогнуль оть этого привътствія, похожаго на рычаніе.

- Мой брать Ипполить... представила Елизавета Сергъевна, поцъловавшись съ женщиной.
 - Маргарита Родіоновна Лучицкая.

Пять холодныхъ и цѣпкихъ костей сжали пальцы Ипполита Сергѣевича; сверкающіе сѣрые глаза остановплись на его лицѣ, и тётя Лучицкая пробасила, внятно отчеканивая каждый слогъ, точно она считала ихъ, боясь сказать что-то лишнее:

- Очень рада быть знакомой съ вами.

Затьмъ она отодвинулась въ сторону и ткнула рукой на дверь въ комнаты.

— Проту!

Ипполить Сергъевичь шагнуль черезъ порогъ. а навстръчу ему откуда-то донесся хриплый кашель и раздраженный возгласъ:

- Чорть возьми твою глупость! Ступай, посмотри и скажи, кто-о прівхаль...
- Иди, иди...—поощрила Елизавета Сергъевна брата, замътивъ, что онъ неръшительно остановился.—Это полковникъ кричитъ... Мы пріъхали, полковникъ!

Среди большой, съ низкимъ потолкомъ комнаты, стояло массивное кресло, а въ него было втиснуто большое рыхлое тъло съ краснымъ дряблымъ лицомъ, поросшимъ съдымъ мхомъ. Верхняя часть этой массы тяжело ворочалась, издавая удушливый храпъ. За кресломъ возвышались плечи какой-то высокой и дородной женщины, смотръвшей въ лицо Ипполита Сергъевича тусклыми глазами.

— Радъ васъ видъть... вашъ братъ?... Полковникъ Василій Олесовъ... билъ турокъ и текинцевъ, а нынъ самъ разбить болъзнями... хо-хо-хо! Радъ васъ видъть... Мнъ Варвара все лъто барабанитъ въ уши о вашей учености и умъ, и прочее такое... Прошу сюда, въ гостиную... Өекла,—вези!

Пронзительно завизжали колёса кресла, полковникъ качнулся впередъ, откинулся назадъ и разразился хриплымъ кашлемъ, такъ болтая головой, точно желалъ, чтобъ она у него оторвалась.'

— Когда баринъ кашляетъ — стой! Не говорила я тебъ этого тысячу разъ?

И тётя Лучицкая, схвативъ Өеклу за плечо, вда вила ее въ полъ.

Полкановы стояли и ждали, когда откашляется грузно колыхавшееся тъло Олесова.

Наконецъ, двинулись впередъ и очутились въ маленькой комнатъ, гдъ было душно, темно и тъсно отъ обилія мягкой мебели въ парусиновыхъ чехлахъ.

- Разсаживайтесь... Өекла—за барышней!—скомандовала тётя Лучицкая.
- Елизавета Сергъевна, голубушка, я вамъ радъ!— заявилъ полковникъ, глядя на гостью изъ-подъ съдыхъ бровей, сросшихся на переносьъ, круглыми, какъ у филина, глазами. Носъ у полковника былъ комически великъ и конецъ его, сизый и блестящій, уныло прятался въ съдой щетинъ усовъ.

Digitized by Google

- Я знаю, что вы рады мив такъ же, какъ и я рада видъть васъ... ласково сказала гостья.
- Хо-хо-хо! Это, пардонъ! вы врете! Какое удовольствіе видъть старика, разбитаго подагрой и болящаго отъ неумолимой жажды випить водки? Л'втъ двадцать пять тому назадъ можно было дъйствительно радоваться при видъ Васьки Олесова... и много женщинъ радовались... а теперь ни вы мнъ, ни я вамъ совершенно не нужны... Но при васъ мнъ дадутъ водки, и я радъ вамъ!
- Не говори много, опять закашляешь... предупредила его Маргарита Родіоновна.
- Слышали? обратился полковникъ къ Ипполиту Сергъевичу. Я не долженъ говорить вредно, пить вредно, ъсть, сколько хочу вредно! Все вредно, чорть возьми! И я вижу мнъ жить вредно! Хо-хо-хо! Отжилъ... не желаю вамъ сказать когда-нибудь этакое про себя... А впрочемъ, вы навърное скоро умрете... схватите чахотку—у васъ невозможно узкая грудь...

Ипполитъ Сергъевичъ смотрълъ то на него, то на тётю Лучицкую и думалъ о Варенькъ:

— Однако, среди какихъ монстровъ она живетъ!

Онь никогда не пытался представлять себь обстановку ея жизни и теперь быль подавлень тымь, что видыль. Суровая и угловатая худоба тёти Лучицкой колола ему глаза; онь не могь видыть ея длинной шеи, обтянутой желтой кожей, и всякій разь, какь она говорила,—ему становилось чего-то боязно, точно онъ ждаль, что басовые звуки, исходившіе изъ широкой, но плоской, какь доска, груди этой женщины, — разорвуть ей грудь. И шелесть юбокъ тёти Лучицкой казался ему треніемь ея костей. Оть полковника пахло какимъ-то спиртомь, потомь и сквернымь табакомь. Судя по блеску его глазь, онь, должно быть, часто раздражался, и Ипполить Сергьевичь, воображая его раздраженнымь, почувствоваль отвращеніе къ этому старику. Въ ком-

натахъ было неуютно, обои на стънахъ закоптъли, а изразцы печи испещрялись трещинами, что, впрочемъ, придавало имъ сходство съ мраморомъ. Краска съ пола была стерта колесами кресла, рамы въ окнахъ кривы, стёкла тусклы; отовсюду въяло стариной, разрушающейся отъ утомленія жизнью.

- А сегодня душно... говорила Елизавета Сергъевна.
- Будеть дождь... категорически объявила Лучинкая.
 - Неужели? усумнилась гостья.
- Върьте Маргаритъ, захрипълъ старикъ. Еп извъстно все, что будетъ... Она ежедневно увъряетъ меня въ этомъ... Ты, говоритъ, умрешь, а Варьку ограбятъ и сломятъ ей голову... видите? Я спорю: дочь полковника Олесова не позволитъ кому-нибудь сломитъ ей голову... она сама это сдълаетъ! А что я умру это правда... т.-е. такъ должно быть. А вы, господинъ ученый, какъ себя здъсь чувствуете? Тощища въ кубъ, не правда ли?
- Нътъ, почему же? Красивая лъсная мъстность... любезно откликнулся Ипполитъ Сергъевичъ.
- Красивая мъстность... адъсь-то? Пхе! Это значить, что вы не видали красиваго на землъ. Красивое это долина Казанлыка въ Болгаріи... красиво въ Херассанъ... на Мургабъ есть мъста какъ рай... А! Мое драгоцънное дътище!...

Варенька внесла аромать свѣжести въ затхлый воздухъ гостиной. Фигура ея была окутана въ какую-то хламиду изъ сарпинки свѣтло-сиреневаго цвѣта. Въ рукахъ она держала большой букетъ только что срѣзанныхъ цвѣтовъ и ея лицо сіяло удовольствіемъ.

— Какъ хорошо, что вы пріъхали именно сегодня!— восклицала она, здороваясь съ гостями. — Я уже собиралась къ вамъ... они меня загрызли!

И широкимъ жестомъ руки она указала на отца и

Маргариту Родіоновну, сидъвшую рядомъ съ гостьей до того неестественно-прямо, точно у нея позвоночникъ окаменълъ и не сгибался.

- Варвара! Ты говоришь вздоръ! сурово окрикнула она дъвушку, сверкнувъ глазами.
- Не кричите! А то я начну разсказывать Ипполиту Сергъевичу о поручикъ Яковлевъ и его пылкомъ сердцъ...
 - Хо, хо, хо! Варька смирно! Я самъ разскажу...
- Куда я попаль? соображаль Ипполить Сергвевичъ, съ удивленіемъ посматривая на сестру.

Но ей, очевидно, было знакомо все это, и хотя въ углахъ ея губъ дрожала улыбка пренебреженія, она смотръла и слушала спокойно.

— Иду распорядиться чаемъ! — объявила Маргарита Родіоновна, не сгибая корпуса, вытянулась кверху и исчезла, окинувъ полковника укоризненнымъ взглядомъ.

Варенька съла на ея мъсто и начала что-то говорить на ухо Елизаветь Сергьевь.

— Что у нея за страсть къ широкимъ одеждамъ? думалъ Ипполить Сергъевичъ, искоса поглядывая на ея фигуру, въ красивой позъсклоненную къ сестръ.

А полковникъ гудълъ, какъ разбитый контрабасъ: — Вы, конечно, знаете, что Маргарита — жена моего товарища подполковника Лучицкаго, убитаго при Эски-Загръ? Она съ нимъ дълала походъ, да! Энергичная, знаете, женщина. Ну и воть, быль у насъ въ полку поручикъ Яковлевъ, этакая нъжная барышня... ему редифъ разбилъ грудь прикладомъ, травматическая чахотка и... конецъ! И воть онъ болълъ, а она за нимъ ухаживала пять мъсяцевъ! а? каково? И, знаете, дала ему слово не выходить замужъ. Молодая она была, красива... очень эффектна. За ней ухаживали, серьезно ухаживали достойные люди... капитанъ Шмурло, очень милый хохолъ, даже спился и бросилъ службу. Я-тоже... то-есть тоже предлагаль: — Маргарита! иди за меня замужъ!... Не пошла... очень глупо, но, конечно, благородно. А вотъ когда меня разбила подагра, она явилась н говорить: ты одинъ, я одна... и прочее такое. Трогательно и свято. Дружба навъкъ и всегда грыземся. Она пріважаєть каждое літо, даже хочеть продать имъніе и переселиться навсегда, т.-е. до моей смерти. Я ценю, но смешно все это-да? Хо-хо-хо! Потому что была женщина съ огнемъ и, видите, какъ онъ ее высушилъ? Не шути съ огнемъ... хо! Она, знаете, злится, когда разсказываешь эту поэзію ея жизни, какъ она выражается. Не смфй, говорить, оскорблять гнуснымъ языкомъ святыню моего сердца! а! Хо-хо-хо! А въ существъ дъла -- какая святыня? Заблужденіе ума... мечты институтки... Жизнь проста, не такъ ли? Наслаждайся и умри въ свое время, вотъ и вся философія! Но... умри въ свое время! А я воть гропустиль срокъ, это скверно, не жалаю вамъ этого...

У Ипполита Сергѣевича кружилась голова отъ разсказа и запаха, который распространялъ полковникъ. А Варенька, не обращая не него вниманія и, должно быть не понимая, какъ мало пріятна ему бесѣда съ ея отцомъ, вполголоса разговаривала съ Елизаветой Сергѣевной, слушавшей ее внимательно и серьезно.

— Приглашаю чай пить! — раздался въдверяхъ басъ Маргариты Родіоновны. — Варвара, вези отца!

Ипполить Сергћевичь облегченно вздохнуль и пошель сзади Вареньки, легко катившей предъ собой тяжелое кресло.

Чай быль приготовлень по-англійски съ массой холодныхь закусокь. Громадный кровавый ростбифь окружали бутылки вина, и это вызвало довольный хохоть у полковника. Казалось, что и его полумертвыя ноги, окутанныя медвъжьей шкурой, дрогнули оть предвкушенія удовольствія. Онъ ъхаль къ столу и, простирая къ бутылкамъ дрожащія пухлыя руки, поросшія темной шерстью, хохоталь, сотрясая воздухь большой столовой, обставленной плетеными изъ прутьевъ стульями.

Чаепитіе продолжалось мучительно долго, и все время полковникъ съ хрипомъ разсказывалъ военные анекдоты, Маргарита Родіоновна кратко и басомъ вставляла свои замъчанія, а Варенька тихо, но оживленно разговаривала съ Елизаветой Сергъевной.

— О чемъ она? — съ тоской думалъ Ипполить Сергъвничъ, предоставленный въ жертву полковнику.

Ему казалось, что сегодня она слишкомъ мало обращаеть на него вниманія. Что это—кокетство? И онъ чувствоваль, что готовъ разсердиться на нее.

Но воть она взглянула въ его сторону и звонко засмъялась.

- Это сестра обратила ея вниманіе на меня! недовольно хмуря брови, сообразиль Полкановъ.
- Ипполитъ Сергъевичъ! Вы кончили чап? спросила Варенька.
 - Да, уже...
 - Гулять? Я покажу вамъ славныя мъстечки!
 - Пойдемте. А ты, Лиза, идешь?
- Я нъть! Мнъ пріятно посидъть съ Маргаритой Родіоновной и полковникомъ.
- Xo-хo-хo! Пріятно постоять на краю могилы, куда сваливается полумертвое тъло мое! хохоталь полковникъ.—Зачъмъ такъ говорить?
- Сейчасъ она спросить у меня вамъ скучно у насъ? думалъ Ипполитъ Сергъевичъ, выйдя съ Варенькой изъ комнатъ въ садъ. Но она спросила его:
 - Какъ вамъ нравится папа?
- 0! тихо воскликнулъ Ипполить Сергъевичъ. Онъ возбуждаетъ почтеніе!
- Ага!—довольно отозвалась Варенька.—Воть и всъ такъ. Онъ ужасно храбрый! Знаете, онъ не говорить о себъ самъ, но тётя Лучицкая,—она въдь одного полка съ нимъ, разсказывала, что подъ Горнымъ Дубнякомъ

у его лошади разбили пулей ноздрю и она пенесла еге прямо на турокъ. А турки наступали, онъ какъ-то свернуль и поскакаль вдоль фронта; лошадь, конечно, убили, онъ упаль и видить-на него бъгуть четверо... Воть наскочиль одинь и замахнулся на него прикладомъ, а папа-цапъ! его за ногу! Свалилъ и прямо въ лицо изъ револьвера-бацъ! И ногу изъ-подъ лошади вытащилъ, а туть еще трое бъгуть, а тамъ еще за ними, и наши солдатики тоже мчатся навстречу съ Яковлевымъ... это вы знаете кто?... Папа схватиль ружье убитаго, вскочиль на ноги-впередъ! Но онъ ужасно сильный быль, это чуть не погубило его; онъ удариль по головъ турка и ружье сломалось, осталась сабля, но она была скверная и тупая, а ужъ турокъ хочеть бить его штыкомъ въ грудь. Тогда папа поималь рукой ремень ружья, да и побъжаль навстръчу своимъ, таща за собой турка. Въ это время его ранили въ бокъ пулей и въ шею штыкомъ. Онъ понялъ, что погибъ, обернулся лицомъ къ непріятелю, вырваль ружье у турка и на нихъ — ура! А туть Яковлевъ съ солдатиками прибъжалъ и они такъ дружно взялись, что турки отступили. Пап'в дали за это Георгія, но онъ разсердился на то, что не дали Георгія одному унтеру его полка, который въ этой свалкъ два раза спасъ Яковлева и разъ-папу, и отказался отъ креста. А когда дали унтеру — и онъ взялъ.

- Вы такъ разсказываете объ этой свалкъ, точно сами въ ней участвовали... замътилъ Ипполить Сергъевичъ, перебивая ея ръчь.
- Да-а...—протянула она, вздыхая и щуря глаза. Мнъ нравится война... И я уйду въ сёстры милосердія, если будуть воевать...
 - А я тогда поступлю въ солдаты...
- Вы? спросила она, оглядывая его фигуру. Ну, это вы шутите... изъ васъ вышель бы плохой солдать... слабый вы, худой такой...

Его задъло это.

- Я достаточно силенъ, повърьте...—заявилъ онъ, точно предостерегая ее.
- Ну, гдъ же?—спокойно не върила ему Варенька. Въ немъ вспыхнуло общеное желаніе схватить ее въ объятія и что есть силы прижать къ себъ такъ, чтобъ слёзы брызнули у нея изъ глазъ. Онъ быстро оглянулся вокругъ, поводя плечами, и тотчасъ устыдился своего желанія.

Они шли садомъ по дорожкъ, обсаженной правильными рядами яблонь, и сзади нихъ въ концъ дорожки смотръло имъ въ спины окно дома. Съ деревьевъ падали яблоки, глухо ударяясь о землю, и гдъ-то вблизи раздавались голоса. Одинъ спрашивалъ:

- Онъ, стало-быть, тоже въ женихи къ намъ? А другой угрюмо ругался.
- Подождите...—остановила Варенька своего спутника, взявъ его за рукавъ,—послушаемъ, это они про васъ говорятъ...

Онъ сухо взглянулъ на нее и сказалъ:

- Я не охотникъ подслушивать разговоры слугъ...
- А я люблю...—объявила Варенька, сами съ собой они всегда очень интересно говорять про насъ, господъ...
- Можеть быть, интересно, но едва ли корошо... усмъхнулся Ипполить Сергъевичъ.
- Почему же? Про меня они всегда хорошо говорять.
 - Поздравляю васъ...

Онъ быль во власти злого желанія говорить съ ней рѣзко, грубо, оскорблять ее. Сегодня его возмущало ея поведеніе:—тамъ, въ комнатахъ, она долго не обращала на него вниманія, точно не понимая, что онъ пріѣхалъ ради нея и къ ней, а не къ ея безногому отцу и высушенной тёткъ. Потомъ, признавъ его слабымъ, она стала смотръть на него какъ-то снисходительно.

— Что все это значить? — думаль онъ. — Если я не

нравлюсь ей съ внъшней стороны и не интересенъ съ внутренней—что же влекло ее ко мнъ? Новое лицо и—только?

Онъ върилъ въ ея тяготъніе къ нему и думалъ, что имъеть дъло съ кокетствомъ, ловко скрытымъ подъ маской наивности и простодущія.

- Быть можеть, она считаеть меня глупымъ... и надъется, что я поумнъю...
- А тётя права—дождь будеть!—сказала Варенька, глядя вдаль, смотрите, какая туча... и становится душно, какъ всегда передъ грозой...
- Это непріятно...—сказаль Ипполить Сергъевичь.— Нужно воротиться и предупредить сестру...
 - Зачвиъ же?
 - -- Чтобъ до дождя возвратиться домой...
- Кто васъ отпустить? Да и не успъете вы довкать до начала грозн... Нужно переждать здъсь.
 - А если дождь затянется до ночи?
- Ночевать у насъ... категорически сказала Варенька.
- Нътъ, это неудобно... протестовалъ Ипполитъ Сергъевичъ.
- Господи! Развъ ужъ такъ трудно провести одну ночь неудобно.
 - Я не свои удобства имъю въ виду...
- A о другихъ не безпокойтесь всякій умъеть самъ о себъ заботиться.

Они спорили и шли впередъ, а навстръчу имъ по небу быстро ползла темная туча и уже гдъто далеко глухо ворчалъ громъ. Тяжелая духота разливалась въ воздухъ, точно надвигавшаяся туча, сгущая весь зной этого дня, гнала его предъ собой. И въ жадномъ ожиданіи освъжающей влаги листья на деревьяхъ замерли.

- Воротимтесь?—предложилъ Ипполить Сергвевичъ.
- Да, потому что душно... Какъ я не люблю время предъ чъмъ-нибудь... предъ грозой, предъ праздниками.

Сама гроза или праздники—хорошо, но ожидать, когда это будеть—скучно. Воть если бъ все дълалось сразу... ложишься спать — зима, морозъ; проснещься — весна, цвъты, солнце... или — солнце сіяеть и вдругъ — тьма, громъ и ливень.

- Можеть быть, вы хотите, чтобь и человъкъ измънялся также вдругь и неожиданно? — усмъхаясь спросиль Ипполить Сергъевичъ.
- Человъкъ всегда долженъ быть интересенъ... сентенціозно сказала она.
- Да что же значить быть интереснымъ? съ досадой воскликнулъ Ипполить Сергъевичъ.
- Что значить? А... это трудно сказать... Я думаю, что люди были бы всё интересны, если бы они были... живъе... да, живъе! Больше бы смъялись, пъли, играли... были бы болъе смълыми, сильными... даже дерзкими... даже грубыми.

Онъ внимательно слушалъ ея опредъленія и спрашиваль себя:

- Это она рекомендуеть мнъ программу желательныхъ отношеній къ ней?...
- Быстроты нътъ въ людяхъ... а нужно, чтобы все дълалось быстро, для того, чтобы жилось интересно...— пояснила она съ серьезнымъ лицомъ.
- Кто знаетъ? можетъ быть, вы и прави... тихо замътилъ Ипполитъ Сергъевичъ... Т.-е., конечно, не совсъмъ правы...
- Да не отговаривайтесь! засмъялась она. Какъ это не совсъмъ? Или ужъ совсъмъ, или не права... или хорошая, или дурная... или красивая, или уродъ... вотъ какъ надо разсуждать! А то говорять: порядочная, миленькая... это просто изъ трусости такъ говорять... боятся правды потому что!
- Ну, знаете, съ одпимъ этимъ дъленіемъ на два вы ужъ черезчуръ многихъ обидите!

⁻ Чъмъ это?

- Несправедливостью...
- Воть далась человъку эта справедливость! Точно въ ней вся жизнь и безъ нея никакъ не обойдешься. А кому она нужна?

Она восклицала съ сердцемъ и капризно, а глаза у нея то и дъло щурились и метали искры.

- Всъмъ людямъ, Варвара Васильевна! Всъмъ, отъ мужика... до васъ... внушительно сказалъ Ипполить Сергъевичъ, наблюдая ея волнение и стараясь объяснить его себъ.
- Мив никакой справедливости не нужно!—рвшительно отвергла она и даже сдвлала движеніе рукой, точно отталкивая отъ себя что-то. А понадобится—я сама себв найду ее... Чего вы всегда о всвхъ людяхъ безпокоитесь? И... просто вы говорите это для того, чтобъ злить меня... потому что вы сегодня важный, надутый...
- Я? элить васъ? Зачъмъ же?—изумился Ипполить Сергъевичъ.
- Почемъ я знаю? Скуки ради, должно быть... Нолучше бросьте! Я и безъ васъ... ухъ, какъ заряжена! Меня изъ-за жениховъ цълую недълю кормили разными рацеями... обливали всякимъ ядомъ... и грязными подозръніями... благодарю васъ!

Ея глаза вспыхивали фосфорическимъ блескомъ, ноздри вздрагивали и вся она трепетала отъ волненія, вдругъ охватившаго ее. Ипполить Сергъевичъ съ туманомъ въ глазахъ и съ быстрымъ біеніемъ сердца сталъ горячо оправдываться предъ нею.

— Я не хотвлъ злить васъ...

Но въ этотъ моменть надъ ними гулко грянуль громъ—точно захохоталъ кто-то чудовищно-огромный и грубо-добродушный. Оглушенные могучимъ звукомъ, они оба вздрогнули и остановились на мигъ, но сейчасъ же быстро пошли къ дому. Листва дрожала на деревьяхъ

и тънь падала на землю отъ тучи, разстилавшейся по небу мягкимъ бархатнымъ пологомъ.

— Какъ мы, однако, зазспорились... — сказала Варенька на ходу.—Я и не видала, какъ она подкралась.

На крыльцѣ дома стояли Елизавета Сергѣевна и тётя Лучицкая въ большой соломенной шляпѣ на головѣ, что придавало ей сходство съ подсолнухомъ.

- Будеть страшная гроза, объявила она своимъ внушительнымъ басомъ прямо въ лицо Ипполиту Сергвевичу, точно считала своей прямой обязанностью увърить его въ приближении грозы. Потомъ она сказала:
 - Полковникъ уснулъ...—и исчезла.
- Какъ это тебъ нравится? опросила Елизавета Сергъевна, кивкомъ головы указывая на небо. Пожалуй, намъ придется ночевать эдъсь.
 - Если мы никого не стеснимъ...
- Воть человъкъ! воскликнула Варейька, смотря на него съ удивленіемъ и чуть ли не съ жалостью. Все боится стъснить, быть несправедливымъ... ахъ, ты Господи! Ну и скучно же вамъ, должно быть, жить... всегда въ удилахъ! А по-моему хочется вамъ стъснить стъсните, хочется быть несправедливымъ будьте!...
- А Богъ самъ разбереть, кто правъ... перебила ее Елизавета Сергъевна, улыбаясь ей съ сознаніемъ своего превосходства.—Я думаю, нужно спрятаться подъ крышу... а вы?
- Мы будемъ адъсь смотръть грозу—да?—обратилась дъвушка къ Ипполиту Сергъевичу.

Онъ изъявиль ей свое согласіе поклономъ.

— Ну, я не охотница до грандіозныхъ явленій природы... если они могуть вызвать лихорадку или насморкъ. Ктому же можно наслаждаться грозой и сквозь стекло окна... ай!

Сверкнула молнія; разорванная ею тьма вздрогнула, на мигъ открывъ поглощенное ею, и вновь слилась. Секунды двъ царила подавляющая тишина, потомъ,

какъ выстрёлъ, грохнулъ громъ и его раскаты понеслись надъ домомъ. Откуда-то бъщено рванулся вътеръ, подхватилъ пыль и соръ съ земли и все поднятое имъ закружилось, столбомъ поднимаясь кверху. Летъли соломинки, бумажки. листья; стрижи съ испуганнымъ пискомъ пронизывали воздухъ, глухо шумъла листва деревьевъ, на желъзо крыши дома сыпалась пыль, рождая гулкій шорохъ.

Варенька смотръла на эту игру бури изъ-за косяка двери, а Ипполить Сергъевичъ, морщась отъ пыли, стоялъ сзади ея. Крыльцо представляло собою коробку, въ которой было темно, но, когда вспыхивали молнін, стройная фигура дъвушки освъщалась голубоватымъ призрачнымъ свътомъ.

— Смотрите... смотрите, — вскрикивала Варенька, когда молнія рвала тучу... — видёли? Туча точно улыбается — не правда лй? Это очень похоже на улыбку... есть такіс люди угрюмые и молчаливне... молчить, молчить такой человёкъ и вдругъ улыбнется: — глава вагорятся, зубы сверкнуть... А воть онъ — дождь!

По крышъ барабанили тяжелыя, крупныя капли, сначала ръдко, потомъ все чаще, наконецъ съ какимъто воющимъ гуломъ.

— Упдемте... — сказалъ Ипполитъ Сергъевичъ... — васъ замочитъ.

Ему было неловко стоять такъ близко къ ней въ этой тъсной темнотъ, неловко и пріятно. И онъ думаль, глядя на ея шею:

— Что, если я поцълую ее?

Сверкнула молнія, озаривъ полнеба, и при блескъ ея Ипполитъ Сергъевичъ увидалъ, что Варенька съ восклицаніемъ восторга взмахнула руками и стоитъ, откинувшись назадъ, точно подставляя свою грудь молніямъ. Онъ схватилъ ее сзади за талію и, почти положивъ свою голову на плечо ей, спросилъ ее задыхаясь:

— Что... что... съ вами?

- Да ничего! воскликнула она съ досадой, освобождаясь изъ его рукъ гибкимъ и сильнымъ движеніемъ корпуса.—Боже мой, какъ вы пугаетесь... а еще мужчина!
 - Я испугался за васъ,—глухо сказаль онъ, отстуная въ уголъ.

Прикосновеніе къ ней точно обожгло ему руки и наполнило грудь его неукротимымъ огнемъ желанія обнять ее, обнять до боли крѣпко. Онъ терялъ самообладаніе, и ему хотѣлось сойти съ крыльца и стать подъ дождь, тамъ, гдѣ крупныя капли хлестали по деревьямъ, какъ бичи.

- Я иду въ комнаты, -- сказалъ онъ.
- Идемте, недовольно согласилась Варепька и безшумно скользнувъ мимо него, вопила въ двери.
- Xo-xo-xo! встрътилъ ихъ полковникъ. Что? По распоряжению командующаго стихиями арестованы впредь до отмъны приказа? Хо-хо-хо!
- Ужасный громъ,—совершенно серьезно сообщила тетя Лучицкая, пристально разсматривая блёдное лицо гостя.
- Воть не люблю этихъ безумствъ въ природѣ!— говорила Елизавета Сергъевна съ гримасой пренебреженія на холодномъ лицъ. Грозы, вьюги; къ чему эта безполезная трата такой массы энергіи?

Ипполить Сергвевичь, подавляя свое волненіе, едва нашель въ себв силы спокойно спросить сестру:

- Какъ ты думаешь, надолго это?
- На всю ночь, отвътила ему Маргарита Родіоновна.
 - Пожалуй что, -- потвердила сестра.
- Ужъ вы отсюда не вырветесь! со смъхомъ заявила Варенька.

Полкановъ вздрогнулъ, чувствуя что-то фатальное въ ея смъхъ.

- Да, придется ночевать, - заявила Елизавета Сер-

гъевна. — Ночью мы не проъдемъ Камовымъ перелъскомъ не изуродовавъ экипажа... въ счастливомъ случаъ...

- Здъсь достаточно комнать! изрекла тетя Лучинкая.
- Тогда... я попросиль бы... извините пожалуйста!... гроза дъйствуеть на меня отвратительно!... Я бы желаль знать... гдъ я помъщусь... пойти туда на нъсколько минуть.

Его слова, сказанныя глухимъ и прерывающимся голосомъ, произвели общій переполохъ.

— Нашатырный спирть!—октавой прогудъла Маргарила Родіоновна и, вскочивъ съ мъста, исчезла.

Варенька суетилась по комнать съ изумленіемъ на лиць и говорила ему:

- Сейчасъ я покажу вамъ... отведу... тамъ тихо... Елизавета Сергъевна была всъхъ спокойнъе и, улыбаясь, спрашивала его:
 - Закружилась голова?

А полковникъ хрипълъ:

— Ерунда! Пройдеть. Мой товарищъ маіоръ Горталовь, заколотый турками во время вылазки, быль молодчина! О! На рёдкость! Храбрый малый! Подъ Систовымъ лёзъ на штыки впереди солдатъ такъ спокойно, точно танцами дирижировалъ: — билъ, рубилъ, оралъ, сломалъ шашку, схватилъ какую-то дубину и бъетъ ею турокъ. Храбрецъ, какихъ не много! Но тоже въ грозу нервничалъ, какъ женщина... это было смъшно! Вотъ такъ же, какъ вы, блёднёеть, шатается, ахъ, охъ! Пъяница, жуиръ, двёнадцать вершковъ, — вообразите, какъ это къ нему шло?

Ипполить Сергъевичь смотръль, слушаль, извинялся, успокоиваль всъхъ и проклиналь себя. У него дъйствительно кружилась голова, и когда Маргарита Родіоновна сунула ему подъ носъ какой-то флаконъ и скомандовала:

— Нюхайте!—

онъ схватилъ спиртъ и сталъ усердно втягивать ноздрями его такій запахъ, чувствуя, что вся эта сцена комична и унижаеть его въ глазахъ Вареньки.

А въ окно гитвно барабанилъ дождь, заглядывали молніи, громъ заставляль стёкла испуганно дребезжать, и все это будило у полковника воспоминанія о шумъ битвъ.

- Въ послъднюю турецкую кампанію... не помню гдъ... но воть такой же гвалть быль. Гроза, ливень, молніи, пальба залпами изъ орудій, пъхота бьеть вразсыпную... поручикъ Вяхиревъ вынуль бутылку коньяку, горлышко въ губъ—буль-буль-буль! А пуля трахъ по бутылкъ вдребезги! Поручикъ смотрить на горло бутылки въ своей рукъ и говорить: чорть возьми, они воюють съ бутылками! хо-хо-хо! А я ему: вы ошибаетесь, поручикъ, турки стръляють по бутылкамъ, а воюете съ бутылками вы! Хо-хо-хо! Остроумно, а?
- Лучше вамъ? спрашивала тётя Лучицкая у Ипполита Сергъевича.

Онъ, стивнувъ зубы, благодариль ее, глядя на всъхъ тоскливо-злыми глазами и замъчая, что Варенька недовърчиво и удивленно улыбается подъ шопоть его сестры, склонившейся къ ея уху. Наконецъ, ему удалось уйти отъ этихъ людей, и бросившись на диванъ въ маленькой комнаткъ, отведенной ему, онъ, подъ шумъ дождя, сталъ приводить въ порядокъ свои чувства.

Безсильный гивы на себя боролся въ немъ съ желаніемъ понять, какъ это случилось. что онъ утратилъ способность самообладанія,—неужели настолько глубоко въ немъ увлеченіе этой дввушкой? Но ему не удавалось остановиться на чемъ-либо одномъ и довести свою мысль до конца; въ немъ бушевалъ бъшеный вихрь возмущеннаго чувства. Сначала онъ ръшилъ сегодня объясниться съ ней и тотчасъ же откинулъ это ръшеніе, вспоминая, что за нимъ стоить нежелательная ему обязанность вступить съ Варенькой въ опредъленныя

отношенія, а в'вдь невозможно же жениться на этомъ красивомъ уродъ! Онъ обвиняль себя въ томъ, что зашель такъ далеко въ своемъ увлеченіи ею и въ томъ, что недостаточно смѣлъ въ отношеніяхъ къ ней. Ему казалось, что она вполнъ готова сдаться ему и что она колодно играетъ съ нимъ, играетъ, какъ кокетка. Онъ называлъ ее глупой, животной, безсердечной и возражалъ себъ, оправдывая ее. А въ окно угрожающе стучалъ дождь и домъ весь вздрагивалъ отъ ударовъ грома.

Но нѣть огня, который не угась бы! Ипполиту Сергѣевичу, послѣ долгой и мучительной борьбы, удалось сжать себя въ тискахъ разсудочности, и всѣ его взволнованныя чувства, отхлынувъ куда-то глубоко въ его сердце, уступили мѣсто смущенію и обидѣ на самого себя.

Дъвушка, непоправимо испорченная уродливой средой, недоступная внушеніямъ здраваго смысла, непоколебимо твердая въ своихъ заблужденіяхъ,—эта странная дъвушка въ теченіе какихъ-то трехъ мъсяцевъ превратила его почти въ животное! И онъ чувствовалъ себя подавленнымъ позоромъ факта. Онъ сдълать не меньше того, сколько могъ сдълать, чтобъ очеловъчить ее; если же у него не было возможности сдълать больше — не онъ виноватъ въ этомъ. Но, сдълавъ то, что могъ, онъ долженъ былъ уйти отъ нея, и онъ виновенъ въ томъ, что своевременно не ушелъ, а позволилъ ей возбудить въ себъ постыдный взрывъ чувственности.

- Человъкъ менъе порядочный, чъмъ я, въ данномъ случав былъ бы, пожалуй, умиве меня. Туть его больно кольнула одна неожиданная мысль:
- Порядочность ли удерживаеть меня? Быть можеть, только безсиліе чувства? Что, если не чувство, а похоть такъ волнуеть меня? Могу ли я любить вообще... могу ли я быть мужемъ, отцомъ... есть ли во мнъ то, что нужно для этихъ обязанностей? Живъ ли я?—Думая въ этомъ направленіи, онъ ощущаль внутри себя холодъ и что-то пугливое, унижавшее его.

Вскоръ его позвали ужинать.

Варенька встрътила его любопытнымъ взглядомъ и ласковымъ вопросомъ: Прошла головка?

- Да, благодарю васъ...—сухо отвътилъ онъ, садясь вдали отъ нея и думая про-себя:
 - Даже говорить не умъеть: "прошла головка"?

Полковникъ дремалъ, покачивая головой и иногда всхрапывая, дамы сидъли всъ три рядомъ на диванъ и говорили о какихъ-то пустякахъ. Шумъ дождя за окнами сталъ тише, но этотъ негромкій настойчивый звукъ явно свидътельствовалъ о твердомъ ръшеніи дождя обливать землю безконечно долго.

Въ окна смотръла тьма, въ комнатъ было душно и запахъ керосина отъ трехъ зажженныхъ лампъ, смъшиваясь съ запахомъ полковника, увеличивалъ духоту и нервное настроеніе Ипполита Сергъевича. Онъ смотрълъ на Вареньку и размышлялъ:

— Не подходить ко мнъ... почему бы? Ужъ не сообщила ли ей Елизавета... что-нибудь глупое... сдълавъ выводъ изъ своихъ наблюденій за мной?

Въ столовой тяжело возилась дородная Өекла. Ея большіе глаза то и дѣло заглядывали въ гостиную на Ипполита Сергѣевича, молча курившаго папиросу.

- Барышня! Готово для ужина...— со вздохомъ заявила она, медленно вставивъ свою фигуру въ двери гостиной.
- Идемте всть... Ипполить Сергвевичь, пожалуйста. Тётя, не надо тревожить папу, пусть останется туть и дремлеть... а тамъ онъ снова будеть пить.
- Это благоразумно... замътила Елизавета Сергъвна.

А тётя Лучицкая изрекла вполголоса и пожимая плечами:

— Теперь уже поздно все это... будеть пить—скор'ве умреть, зато больше получить удовольствія, не будеть пить— проживеть годомъ больше, но хуже.

— И это тоже благоразумно...—засмъялась Елизавета Сергъевна.

За столомъ Ипполить Сергвевичъ сидълъ рядомъ съ Варенькой и подмвчаль за собой, что близость дввушки снова возбуждаеть въ немъ смятеніе. Ему очень котвлось подвинуться къ ней такъ близко, чтобъ можно было прикоснуться къ ея платью. И по обыкновенію, слъдя за собой, онъ подумаль, что въ его влеченіи къ ней есть много упрямства плоти, но нъть силы духа...

— Вялое сердце!—съ горечью воскликнулъ онъ просебя. И вслъдъ затъмъ почти съ гордостью отмътилъ, что вотъ онъ не боится сказать правду о самомъ себъ и умъетъ понять каждое колебание своего "я".

Занятый собой, онъ молчалъ.

Варенька сначала обращалась къ нему часто, но получая въ отвъть слова сухія и односложныя, очевидно, утратила желаніе бесъдовать съ нимъ. Лишь послъ ужина, когда они случайно остались одинъ на одинъ, она просто спросила у него:

— Вы почему такой унылый? Вамъ скучно или вы недовольны мной?

Онъ отвътилъ, что не чувствуеть ни унынія, ни, тъмъ болъе, недовольства ею.

- Такъ что же съ вами? допрашивала она.
- Кажется, ничего особеннаго...—впрочемъ... иногда излишекъ вниманія къ человъку утомляеть его.
- Излишекъ вниманія? заботливо переспросила Варенька. Чьего же, папина? Тётя въдь не говорила съ вами.

Онъ чувствоваль, что красньеть предъ этимъ неуязвимымъ простодущіемъ или безнадежной глупостью. А она, не дожидая его отвъта, съ улыбкой предложила ему:

— Не будьте такимъ, а? Пожалуйста! Я ужасно не люблю хмурыхъ людей... Знаете что? Давайте играть въ карты... вы умъете?

- Я плохо играю... и, признаюсь, не люблю этотъ видъ безполевной траты времени...—заявилъ Ипполитъ Сергъевичъ, чувствуя, что примиряется съ ней.
- И я тоже не люблю... но что же дълать? Вы видите, какая у насъ скука!—огорченно заявила дъвушка.—Я знаю, что вы стали такой именно отгого, что скучно.

Онъ началъ увърять ее въ противномъ и чъмъ болъе говориль, тъмъ горячъе у него выходили слова, пока, наконецъ, онъ незамътно для себя не закончиль:

- Если вы захотите, съ вами и въ пустынъ не будеть скучно...
- Что же я должна сдълать для этого?—подхватила она, и онъ видълъ, что ея желаніе развеселить его вполнъ искренно.
- Ничего не должны вы дълать, отвътиль онъ, глубоко пряча въ себъ то, что хотъль бы отвътить.
- Нѣть, право,—вы пріѣхали сюда отдыхать, у вась такъ много трудной работы, вамъ нужны силы, и передъ вашимъ пріѣздомъ мнѣ Лиза говорила:—вотъ мы съ тобой поможемъ ученому отдохнуть и развлечься... А мы... что я могу сдѣлать? Право... Я... если бъ отъ этого скука ушла... расцѣловала бы васъ!

У него помутилось въ глазахъ и вся кровь такъ бурно хлынула ему къ сердцу, что онъ даже пошатнулся.

- Попробуйте... поцълуйте... поцълуйте...—глухо говорилъ онъ, стоя передъ ней и не видя ея.
- Oro! Ишь вы какой! засмъялась Варенька, исчезая.

Онъ шагнулъ за ней и остановился, схватившись за косякъ двери, и все въ немъ рвалось за ней.

Черезъ нѣсколько секундъ онъ увидалъ полковника: — старикъ спалъ, склонивъ голову на плечо, и сладко всхрапывалъ. Этотъ звукъ и привлекъ вниманіе Ипполита Сергѣевича. Потомъ ему нужно было

убъдить себя въ томъ, что монотонное и жалобное стснаніе раздается не въ его груди, а за окнами, и что это плачеть дождь, а не его обиженное сердце. Тогда въ немъ вспыхнула злоба.

— Ты играешь... ты такъ играешь? — твердилъ онъ про-себя, стиснувъ зубы, и грозилъ ей какой-то унизительной карой. Въ груди у него было жарко, а ноги и голову точно острыя льдинки кололи.

Весело смѣясь надъ чѣмъ-то, вошли дамы и, при видѣ ихъ, Ипполитъ Сергѣевичъ внутренно подтянулся. Тетя Лучицкая смѣялась такъ глухо, что, казалось, у нея въ груди лопаются какіе-то пузыри. Лицо Варенъки было оживлено плутоватой улыбкой, а смѣхъ Елизаветы Сергѣевны былъ снисходительно-сдержаннымъ.

— Быть можеть, это они надо мной! — подумаль Ипполить Сергъевичь.

Предложенная Варенькой игра въ карты не состоялась, и это дало возможность Ипполиту Сергъевичу уйти въ свою комнату, извинившись недомоганіемъ. Уходя изъ гостиной, онъ чувствовалъ на своей спинътри взгляда и зналъ, что всъ они выражаютъ недоумъніе.

Онъ не смущался этимъ, полный желанія мстить, унизить дъвчонку, позволявшую себъ такія выходки, заставить ее плакать, а самому смотръть на нее и хохотать надъ ея слезами. Но его чувства не могли долго оставаться на степени такой горячности, онъ привыкъ подчинять ихъ броженіе силъ разума и всегда выражаль ихъ уже охлажденными. Его самолюбіе было раздражено до боли увъренностью, что она играеть съ нимъ; по рядомъ съ этимъ уже снова росло заглушенное пережитой сценой ръшеніе отплатить этой дъвушкъ полнымъ невниманіемъ къ ея красотъ. Необходимо дать ей почувствовать, какъ мало значить она въ его глазахъ, — это будеть полезно для нея, но это должно быть урокомъ, а не местью, конечно.

Его всегда нъсколько успокоивали такіе доводы, но теперь въ груди у него было что-то неустранимое и тяжелое и ему одновременно котълось и не котълось опредълить это странное, почти болъзненное ощущеніе.

— Да будуть прокляты безымянныя чувства! — восклицаль онъ про-себя.

А капля воды, падая откуда-то на полъ, монотонно отчеканивала:

— Такъ... такъ...

Просидъвъ съ часъ въ состояніи борьбы съ самимъ собой, въ безуспъшномъ стремленіи понять то, что оставалось непонятнымъ и было сильнъе всего понятаго имъ, онъ ръшилъ лечь и заснуть съ тъмъ, чтобъ завтра уъхать свободнымъ отъ всего, что такъ ломало и унижало его. Но лежа на постелъ, онъ невольно представлялъ себъ Вареньку такой, какъ видълъ ее на крыльцъ, съ руками, поднятыми какъ бы для объятій, съ грудью, трепещущей отъ удовольствія при блескъ молній. И снова думалъ о томъ, что если бъ онъ былъ смълъе съ ней... и обрывалъ себя, доканчивая эту мысль такъ: — то навязалъ бы себъ на шею безспорно очень красивую, но страшно неудобную, тяжелую, глупую любовницу, съ характеромъ дикой кошки и съ грубъйшей чувственностью, это ужъ навърное!...

Но вдругъ среди этихъ думъ, озаренный одной догадкой или предчувствіемъ, онъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, быстро вскочилъ на ноги и, подбѣжавъ къ двери своей комнаты, отперъ ее. Потомъ, улыбаясь, снова легъ въ постель и сталъ смотрѣть на дверь, думая про-себя съ надеждой и восторгомъ:

— Это бываеть... бываеть...

Онъ читалъ гдъто, какъ однажды это было: она вошла среди ночи и отдалась, ни о чемъ не спрашивая, ничего не требуя, просто для того, чтобы пережить моменть. Варенька, — въдь въ ней есть что-то общее съ героиней разсказа,—она можетъ поступить такъ. Въ ея миломъ возгласъ: "Ишь вы какой!"—можетъ быть, въ немъ звучало объщаніе, не разслышанное имъ? И воть—вдругъ она придеть, въ бъломъ, вся трепещущая отъ стыда и желанія!

Онъ нъсколько разъ вставалъ съ постели, прислушиваясь къ тишинъ въ домъ, къ шуму дождя за окнами и охлаждая свое горячее тъло. Но все было тихо и не раздавалось въ тишинъ желаннаго звука осторожныхъ шаговъ.

— Какъ она войдеть? — думалъ онъ и представляль ее себъ на порогъ двери съ лицомъ ръшительнымъ и гордымъ. — Конечно, она гордо отдастъ ему свою красоту! Это подарокъ царицы. А можетъ быть, она остановится предъ нимъ съ опущенной головой, смущенная, стыдливая, со слезами на глазахъ. Или, вдругъ, явится со смъхомъ, съ тихимъ смъхомъ надъ его муками, которыя она знаетъ, всегда замъчала, но не показывала ему своего знанія, чтобы помучить его, потъщить себя.

Въ этомъ состояніи, близкомъ къ бреду безумія, рисуя въ воображении сладострастныя картины и ими все болъе раздражая себъ нервы, Ипполить Сергъевичъ не замъчалъ, что дождь прекратился и въ окна его комнаты съ яснаго неба смотръли звъзды. Онъ ждаль звука шаговъ, шаговъ женщины, несущей ему наслажденіе. Но они не раздавались въ сонной тишинъ. Порой, и только на краткій мигь, надежда обнять дівушку гасла въ немъ; тогда онъ слышаль въ учащенномъ біеніи своего сердца упрекъ себъ и сознавалъ, что состояніе, переживаемое имъ, чуждо ему, позорно для него, болъзненно и гадко. Но внутренній міръ человъка слишкомъ сложенъ и разнообразенъ для того, чтобъ нъчто одно всегда стойко удерживало въ равновъсіи всъ стремленія, а потому въ жизни каждаго есть пропасть, въ которую онъ непредотвратимо упадеть, когда наступитуь время для этого. И осторожные, по горькой ироніи силь, управляющихъ жизнью, глубже падаютъ и больнъе разбиваются.

До утра бредилъ онъ, мучимый страстью, и уже когда солнце взошло — шаги раздались. Онъ сълъ на постели, дрожащій, съ воспаленными глазами и ждаль, и чувствоваль, что когда явится она — онъ не въ силахъ будетъ даже и одно слово благодарности сказать ей. А шаги приближались къ двери медленные, тяжелые...

И вотъ дверь тихо отворилась... Ипполить Сергъевичъ безсильно откинулся на подушку и, закрывъ глаза, замеръ.

— Али я васъ разбудила? Сапоги мнѣ надо бы ваши... и брюки... — соннымъ голосомъ говорила толстая Өекла, медленно, какъ волъ, идя къ постели. Вздыхая, зѣвая и двигая мебель, она забрала его платье и ушла, оставивъ за собою запахъ кухни.

Онъ долго лежалъ, разбитый и упичтоженный, равнодушно отмъчая въ себъ медленное исчезновение осколковъ тъхъ образовъ, которые всю ночь истязали его нервы.

Опять пришла баба съ вычищеннымъ платьемъ, положила его и ушла, тяжело вздохнувъ. Онъ сталъ одвъваться, не представляя себъ, зачъмъ это нужно такъ рано. Потомъ, не думая, онъ ръшилъ пойти выкупаться къ ръкъ, и это нъсколько оживило его. Осторожно ступая по полу, онъ прошелъ мимо компаты, въ которой гудълъ храпъ полковника, потомъ еще мимо затворенной двери въ какую-то комнату. Онъ на мигъ остановился передъ ней, но, внимательно взглянувъ на нее, почувствовалъ, что это не та. И, наконецъ, въ полуснъ, вышель въ садъ и пошелъ узкой дорожкой, зная, что она приведетъ его къ ръкъ.

Было свътло и свъжо, лучи солнца еще не утратили розовыхъ красокъ восхода. Скворцы оживленно болтали другъ съ другомъ, ощипывая вишни. На листьяхъ дрожали капли дождя, какъ брильянты; радостными, сверкающими слезами падая на землю, онъ исчезали. Земля была сырая, но она поглотила всю влагу, упавшую за ночь, и нигдъ не видно было ни грязи, ни лужъ.—Все кругомъ было чисто, свъжо и ново—точно все родилось въ эту ночь, и все было тихо и неподвижно, какъ будто еще не освоилось съ жизнью на землъ и, первый разъ видя солнце, молча изумлялось его дивной красотъ.

Ипполить Сергъевичь смотръль вокругь себя, а пелена грязи, одъвшая его умъ и душу за эту ночь, понемногу освобождала его, уступая чистому въянію новорожденнаго дня, полному сладкихъ и освъжающихъ запаховъ.

Воть ръка, еще розоватая и золотая въ лучахъ солнца. Вода, немного мутная отъ дождя, слабо отражаетъ прибрежную зелень въ своихъ волнахъ. Гдъ-то близко плещется рыба, и этотъ плескъ, да пъніе птицъ — всъ звуки, нарушающіе тишину утра. Если бъ не было сыро, можно бы лечь на землю, здъсь у ръки, подъ навъсомъ зелени, и лежать, пока душа не успокоится отъ пережитыхъ волненій.

Ипполить Сергъевичь шель по берегу, причудливо изръзанному песчаными мысами и маленькими заливами, окруженными зеленью, и почти каждые пять шаговъ открывали предъ нимъ новую картину. Безшумно шагая около самой воды, онъ такъ и зналъ, что впереди его ждетъ все новое и новое. И онъ подробно разсматривалъ очертанія каждаго залива и фигуры деревьевъ, склоненныхъ надъ нимъ, точно желая твердо знать, чъмъ именно разнится эта деталь картины отътой, что осталась сзади его.

И вдругъ, ослъпленный, онъ остановился.

Предъ нимъ, по поясъ въ водъ, стояла Варенька, наклонивъ голову и выжимая руками мокрые волосы. Ея тъло было розовое отъ холода и лучей солнца, на немъ блестъли капли воды, какъ серебряная чешуя.

Онъ, медленно стекая по ея плечамъ и груди, падали въ воду, и передъ тъмъ какъ упасть, каждая капля долго блестъла на солнцъ, какъ будто ей не хотълось разстаться съ тъломъ, омытымъ ею. И изъ волосъ ея лилась вода, проходя между розовыхъ пальцевъ дъвушки, лилась съ нъжнымъ ласкающимъ ухо звукомъ.

Онъ смотръль съ восторгомъ, съ благоговъніемъ, какъ на что-то святое—такъ чиста и гармонична была красота этой дъвушки, цвътущей силой юности, и онъ не чувствоваль иныхъ желаній, кромъ желанія смотръть на нее. Надъ головой его на въткъ оръшника пъль и рыдаль соловей, но для него весь свъть солнца и всъ звуки были въ этой дъвушкъ среди волнъ. И волны тихо гладили ея тъло, безшумно и ласково обходя его въ своемъ мирномъ теченіи.

Но хороїнее такъ же кратко, какъ рѣдко красивое, и то, что видѣлъ онъ—онъ видѣлъ нѣсколько секундъ, ибо дѣвушка вдругъ подняла голову и съ гнѣвнымъ крикомъ быстро опустилась въ воду по шею.

Это ея движеніе отразилось въ его сердцѣ—оно тоже, вздрогнувъ, какъ бы упало въ холодъ, стѣснившій его. Дѣвушка смотрѣла на него сверкающими глазами, а ея лобъ разрѣзала злая складка, исказившая лицо испугомъ, презрѣніемъ и гнѣвомъ. Онъ слышалъ ея негодующій голосъ:

— Прочь... идите прочь! Что вы? Какъ не стыдно!... Но ея слова долетали до него откуда-то издалека, неясныя, ничего не запрещавшія ему. И онъ наклонялся къ водѣ, простирая впередъ руки, едва держась на ногахъ, дрожавшихъ отъ усилія сдержать его неестественно-изогнутое тѣло, горѣвшее въ пыткѣ страсти. Весь онъ, каждымъ фибромъ своего существа, стремился къ ней, и вотъ, наконецъ, онъ упалъ на колѣни, почти коснувшись ими воды.

Она гнъвно вскрикнула, сдълала движеніе, чтобы плыть, но остановилась, глухо и тревожно говоря:

- Уходите!.. я никому не скажу...
- Я не могу...—хотълъ онъ отвътить, но его дрожащія губы не выговорили этихъ словъ, ибо не имъли силы сказать что-либо.
- Берегись... ты! Прочь иди! —крикнула дъвушка. Подлый! Низкій...

Что ему были эти крики? Онъ смотрълъ ей въ глаза своими сухо горящими глазами и, стоя на колъняхъ, ждалъ ее. И ждалъ бы, если бъ зналъ, что надъ его головой нъкто замахнулся топоромъ, чтобы разбить ему черепъ.

— О! ты... гадкій пёсъ... ну, я тебя...—съ отвращеніемъ прошептала дъвушка и вдругъ бросилась изъводы къ нему.

Она росла на его глазахъ, росла, сверкая своей красотой,—вотъ вся она до пальцевъ ногъ предъ нимъ, прекрасная и гнавная; онъ видаль это и ждаль ее съ жаднымъ трепетомъ. Вотъ она наклонилась къ нему... онъ взмахнулъ руками, но обнялъ воздухъ.

И въ то же время ударъ по лицу чъмъ-то мокрымъ и тяжелымъ ослъпилъ его и покачнулъ назадъ.

Онъ быстро сталъ протирать глаза—мокрый песокъ былъ подъ его пальцами, а на его голову, плечи, щёки сыпались удары. Но удары—не боль, а что-то другое будили въ немъ, и, закрывая голову руками, онъ дълалъ это скоръе машинально, чъмъ сознательно. Онъ слышалъ злыя рыданія... Наконецъ, опрокинутый сильнымъ ударомъ въ грудь, онъ упалъ на спину. Его не били больше. Раздался шорохъ кустовъ и замеръ...

Невъроятно длинны были секунды угрюмаго молчанія, наступившаго посль того, какъ замеръ этоть звукъ. Человъкъ все лежалъ неподвижный, раздавленный своимъ позоромъ и, полный инстинктивнаго стремленія спрятаться отъ стыда, жался къ земль. Открывая глаза, онъ увидътъ голубое небо, безконечно-глубокое, и ему казалось, что оно быстро уходить отъ него выше,

выше... отъ этого ему стало такъ тяжело дышать, что онъ застоналъ и медленно погрузился куда-то, гдъ уже не было никакихъ ощущеній.

...Такъ пролежалъ онъ до поры, пока ему не стало холодно; когда онъ открылъ глаза, то увидалъ Вареньку, наклонившуюся надъ нимъ. Сквозь ея пальцы на лицо ему струилась вода. Онъ слышалъ ея голосъ:

— ...Что, —хорошо?... Какъ вы придете въ домъ такой?... весь скверный, грязный, мокрый, оборванный... Эхъ, вы!... Скажите хоть, что въ воду съ берега сорвались... Не стыдно ли?... Въдь я могла бы убить... если бъ въ руки попало что другое.

И еще много она говорила ему, но все это нисколько не уменьшало и не увеличивало того, что онъ чувствоваль. И онъ ничего не отвъчаль на ея слова до поры, пока она не сказала ему, что уходить. Тогда онъ тихонько спросилъ:

— Вы... больше... я не увижу васъ?

И когда спросилъ это, то вспомнилъ и понялъ, что ему нужно было сказать ей:

— Простите меня...

Но онъ не успълъ сказать этого, потому что она, махнувъ рукой на него, быстро скрылась за деревьями.

Онъ сидълъ, прислонясь спиною къ стволу дерева или къ чему-то другому, и тупо смотрълъ, какъ у ногъ его текла мутная вода ръки.

А она текла медленно... медленно... медленно...



товарищи.

(1897.)

T.

Горячее солнце іюля ослівпительно блестіло надъ Смолкиной, обливая ея старыя избы щедрымъ потокомъ яркихъ лучей. Особенно много солнца было на крыші старостиной избы, недавно перекрытой заново гладко выстроганнымъ тёсомъ, желтымъ и пахучимъ. Было воскресенье, и почти все населеніе деревни вышло на улицу, густо поросшую травой и усілянную кочками засохшей грязи. Передъ старостиной избой собралась большая группа мужиковъ и бабъ, иные сиділи на завалині избы, иные прямо на землі, другіе стояли, среди нихъ гонялись другъ за другомъ ребятишки, то и діло получая отъ взрослыхъ сердитые окрики и щелчки.

Центромъ толпы служилъ высокій человѣкъ съ большими, опущенными внизъ усами. По его коричневому лицу, покрытому густой сивой щетиной и сѣтью глубокихъ морщинъ, по сѣдымъ клочьямъ волосъ, выбившимся изъ-подъ грязной соломенной шляпы,—этому человѣку можно было дать лѣтъ пятьдесятъ. Онъ смотрѣлъ въ землю, и ноздри его большого, хрящеватаго носа вздрагивали, а когда онъ поднималъ голову, бросая взглядъ на окна старостиной избы, видны были его глаза большіе, печальные, даже мрачные, — они глу-

боко ввалились въ орбиты, а густыя брови кидали отъ себя тынь на темные зрачки. Одыть онъ быль въ коричневый, рваный подрясникъ монастырскаго послушника, едва закрывавшій ему кольни и подпоясанный веревкой. За спиной у него была котомка, въ правой рукъ длиная палка съ жельзнымъ наконечникомъ, лъвую онъ держалъ за пазухой. Окружавшіе осматривали его подозрительно, насмъщливо, съ презръніемъ и, наконецъ, съ явной радостью, что имъ удалось поймать волка раньше, чъмъ онъ успълъ нанести вредъ ихъ стаду. Онъ проходилъ черезъ деревню и, подойдя къ окну старосты, попросиль напиться. Староста далъ ему квасу и заговориль съ нимъ. Но прохожій отвъчалъ, противъ обыкновенія странниковъ, очень неохотно. Староста спросилъ у него документь, а документа не оказалось. И прохожаго задержали, ръшивъ отправить въ волость. Староста выбралъ въ конвоиры ему сотскаго и теперь, въ избъ у себя, напутствоваль его, оставивъ арестанта среди толпы, потвшавшейся надъ нимъ.

Арестантъ какъ былъ остановленъ у ствола ветлы, такъ и стоялъ, прислонясь къ нему своей сутулой спиной.

Но воть на крыльцѣ избы явился подслѣповатый старикъ съ лисьимъ лицомъ и сѣдой, клинообразной бородкой. Онъ степенно опускалъ ноги въ сапогахъ со ступени на ступень и круглый его животикъ солидно колыхался подъ длинной рубахой изъ сарпинки. А изъза его плеча высовывалось бородатое четырехугольное лицо сотскаго.

- Понялъ, Ефимушка? спросилъ староста у сотскаго.
- Чего туть не понять? Все поняль. Обязань, значить, я, смолянскій сотскій, проводить этого челов'яка къ земскому и больше никакихь! проговоривь свою

ръчь раздъльно и съ комической важностью, сотскій подмигнуль публикъ.

- А бумага?
- -- А бумага -- она за пазухой у меня живеть.
- Ну то-то! вразумительно сказалъ староста и добавилъ, кръпко почесавъ себъ бокъ:
 - Съ Богомъ, значитъ, айдате!
- Пошли! Шагаемъ что ли, отче? улыбнулся сотскій арестанту.
- Вы бы коть подводу дали, глухо отвътилъ тотъ на предложение сотскаго. Староста ухмыльнулся.
- Подво-оду? Ишь ты! Вашего брата, проходимца, много туть ныряеть по полямъ, по деревнямъ... лоша-дей про всъхъ не хватитъ. Прошагаешь и пъхтурой. Такъ-то!
- Ничего, отецъ, идемъ! ободряюще заговорилъ сотскій. Ты думаешь далече намъ? Дай Богъ, два десятка верстъ! Да, поди-ка, не будетъ. Мы съ тобой, отче, живо докатимъ. А тамъ ты и отдохнешь...
 - Въ колодной, пояснилъ староста...
- Это ничего, торопливо заявиль сотскій...— человіку, который ежели усталь, и въ тюрьмі отдыхь. А потомь холодная-то она прохладная... послі жаркаго дня въ ней куда хорошо!

Арестанть сурово оглянуль своего конвоира — тоть улыбался весело и открыто.

- Ну-ка айда, отецъ честной! Прощай, Василь Гаврилычъ! Пошли!
 - Съ Господомъ, Ефимушка!... Смотри въ оба.
- А зри въ три! подкинулъ сотскому какой-то молодой парень изъ толпы.
 - Н-ну! Малый я ребенокъ, али что?

И они пошли, держась близко къ избамъ, чтобы идти по полосъ тъни. Человъкъ въ рясъ шелъ впереди, развинченной, но скорой походкой привычнаго къ ходьбъ

существа. Сотскій, со здоровой палкой въ рукѣ, шелъ сзади его.

Ефимушка быль мужичокъ низенькаго роста, коренастый, съ широкимъ добрымъ лицомъ въ рамѣ русой свалявшейся въ клочья бороды, начинавшейся отъ его сърыхъ, ясныхъ глазъ. Онъ всегда почти улыбался чему-то, показывая здоровые желтые зубы и такъ наморщивая переносье — точно онъ хотълъ чихать. Одътъ онъ былъ въ азямъ, заткнувъ его полы за поясъ, чтобъ онъ не путали ногъ, на головъ у него торчалъ темновеленый картузъ безъ козырька, спереди онъ былъ натянутъ до бровей и очень напоминалъ собой арестантскую фуражку.

Его спутникъ щелъ, не обращая на него вниманія, какъ бы совсёмъ не чувствуя его сзади себя. Шли они по узкой проселочной дорогѣ; она выбномъ вилась въ волнистомъ морѣ ржи, и тѣни путниковъ ползли по золоту колосьевъ.

На горизонтъ синъла грива лъса, влъво отъ путниковъ, безконечно далеко вглубь разстилались засъянныя поля, среди нихъ лежало темное пятно деревни, за ней опять поля, тонувшія въ голубоватой мглъ.

Справа, изъ-за купы ветель, вонзился въ синее небо обитый жестью и еще не выкрашенный шпиль колокольни — онъ такъ ярко блестълъ на солнцъ, что на него было больно смотръть.

Въ небъ звенъли жаворонки, во ржи улыбались васильки и было жарко — почти душно. Изъ-подъ ногъ путниковъ взлетала пыль.

Ефимушкъ стало скучно. Отъ природы большой говорунъ, онъ не могъ подолгу молчать и, отхаркнувшись, вдругъ затянулъ фальцетомъ:

Ге-эхъ-да-и съ чего й-то-о о...

Д' и съ чего й-то тоска сердце мое всть?

— Не хватаитъ голосу-то, дуй его горой! Н-да... а

бывало пѣлъ я... Вишенскій учитель скажеть — ну-ка, Ефимушка, заводи! И зальемся мы съ нимъ! Правильный парень былъ онъ...

- Кто онъ? глухимъ басомъ спросилъ человъкъ въ рясъ.
 - А вищенскій учитель...
 - Вишенскій фамилія?
- Вишенки—это, брать, село. А то учитель Павль Михалычь. Первый сорть—человъкъ быль. Померь въ третьемъ году...
 - Молодой?
 - Тридцати годовъ не было...
 - Съ чего померъ-то?
 - Съ огорченія, надо полагать.

Собесъдникъ Ефимушки искоса взглянулъ на него и усмъхнулся...

— Дѣло, видишь-ты, милый человѣкъ, такое вышло—
училъ онъ, училъ годовъ семь кряду, ну и началъ
кашлять. Кашлялъ, кашлялъ, да и затосковалъ... Ну, а
съ тоски, извѣстно, началъ пить водку. А отецъ Алексѣй не любилъ его, и какъ запилъ онъ, отецъ-отъ
Алексѣй въ городъ бумагу и спосылалъ— такъ, молъ,
и такъ—пьетъ учитель-то, дескать это одинъ соблазнъ.
А изъ города въ отвѣтъ тоже бумагу прислали и учительшу. Длинная такая, костлявая, носъ большущій.
Ну, Павлъ Михалычъ видитъ—дѣло швахъ. Огорчился,
дескать, училъ я, училъ... ахъ вы, черти! Отправился
изъ училища прямо въ больницу да черезъ пять дёнъ
и отдалъ душу Богу... Только и всего...

Нѣкоторое время шли молча. Лѣсъ все приближался къ путникамъ съ каждымъ шагомъ, вырастая на ихъ глазахъ и изъ синяго становясь зеленымъ.

- Лѣсомъ пойдемъ? спросилъ Ефимушкинъ спутникъ.
 - Краюшекъ захватимъ, съ полверсты этакъ. А

что? А? Ишь ты! Гусь ты, отецъ честной, погляжу я на тебя!

- И Ефимушка засмъялся, качая головой...
- Ты чего? спросиль арестанть.
- Да такъ, ничего. Ахъ ты! Лѣсомъ, говоритъ, пойдемъ? Простъ ты, милый человѣкъ, другой бы не спросилъ, который поумнѣе ежели. Тотъ бы прямо пришелъ въ лѣсъ да и того...
 - Чего?
- Ничего! Я, брать, тебя насквозь вижу. Эхъ ты, душа ты моя тонка дудочка! Нъть, ты эту думу насчеть лъсу брось! Али ты со мной сладишь? Да я троихъ такихъ уберу, а на тебя на одну лъвую руку выйду... *) Понялъ?
- Понялъ! Дуракъ ты! кротко и выразительно сказалъ арестантъ.
 - Что? Угадалъ я тебя?—торжествовалъ Ефимушка.
- Чучело! Чего ты угадаль? криво усмъхнулся арестанть.
- Насчеть лѣсу... Понимаю я! Дескать, я—это тыто,—какъ придемъ въ лѣсъ, тяпну тамъ его —меня-то, значить, тяпну, да и зальюсь по полямъ, да по лѣсамъ? Такъ ли?
- Глупый ты...—пожаль плечами угаданный человъкъ. Ну куда я пойду?
 - Ну ужъ, куда хочешь, -- это твое дъло...
- Да куда? Ефимушкинъ спутникъ не то сердился, не то очень ужъ желалъ услышать отъ своего конвоира указаніе, куда именно онъ могъ бы идти.
- Я-тъ говорю, куда хочешь! спокойно заявилъ Ефимушка.

^{*) &}quot;Выйти на одну руку"—значить драться съ противникомъ одной рукой, въ то время какъ другая плотно привязана кущакомъ къ туловищу бойца. Противникъ же дъйствуеть объими руками.

- Некуда миъ, брать, бъжать, некуда! тихо сказалъ его спутникъ.
- H-ну!—недовърчиво произнесъ конвоиръ и даже махнулъ рукой. Бъжать всегда есть куда. Земля-то, она велика. Одному человъку на ней всегда мъсто будетъ.
- Да тебъ что? Хочется что ли, чтобъ я убъжалъ? нолюбопытствовалъ арестантъ, усмъхаясь.
- Ишь ты! Больно ты хорошъ! Развъ это порядокъ? Ты убъжишь, а замъсто тебя кого въ острогъ сажать будутъ? Меня тогда посадятъ. Нътъ, я такъ это, для разговору...
- Блаженный ты... а впрочемъ кажется хорошій мужикъ,—сказаль вздохнувъ Ефимушкинъ спутникъ Ефимушка не замедлилъ согласиться съ нимъ.
- Это точно, называють меня блаженнымъ нѣкоторые люди... и что хорошій я мужикъ—это тоже вѣрно. Простой я, главная причина. Иные люди норовять все съ подходцемъ да съ хитрецой, а мнѣ чего? Я человѣкъ одинъ на свѣтѣ. Хитровать будешь умрешь и правдой жить будешь—умрешь. Такъ я все напрямки больше.
- Это ты хорошо!—равнодушно замътилъ спутникъ Ефимушки.
- А какъ же? Для че я стану кривить душой, коли я одинъ, весь туть. Я, братокъ, свободный человъкъ. Какъ желаю, такъ и живу, по своему закону прохожу жизнь... Н-да... А тебя какъ звать-то?
 - Какъ? Ну... хоть Иванъ Ивановъ...
 - Такъ! Изъ духовныхъ, что ли?
 - Н-нътъ...
 - Ну? А я думаль—изъ духовныхъ...
 - Это по одеждъ-то что ли?
- Вотъ, вотъ! Совсъмъ ты вродъ какъ бы бъглый монахъ, а то разстриженный попъ... А вотъ лицо у тебя не подходящее, съ лица ты вродъ какъ бы солдатъ...

Богъ тебя знаетъ, что ты за человъкъ?—И Ефимушка окинулъ странника любопытнымъ взглядомъ. Тотъ вздохнулъ, поправилъ шляпу на головъ, вытеръ потный лобъ и спросилъ сотскаго:

- Табакъ куришь?
- Ахъ ты, сдълай милость! Конечно, курю!

Онъ вытащилъ изъ-за пазухи засаленный кисеть и, наклонивъ голову, но не останавливаясь, сталъ набивать табакъ въ глиняную трубку.

- На-ко, закуривай!—Арестанть остановился и, наклонясь къ зажженной конвоиромъ спичкъ, втянулъ въ себя щёки. Синій дымокъ поплылъ въ воздухъ.
- Такъ изъ какихъ ты будешь-то? Мѣщанинъ что ли?
- Дворянинъ...--кратко сказалъ арестантъ и сплюнулъ въ сторону на колосья хлъба, уже подернутые золотымъ блескомъ.
- Э-э! Ловко! Какъ же это ты безъ пачпорта гуляешь?
 - А такъ и гуляю.
- Ну-ну! Дъла! Не свычна, чай, этакая волчья жизнь для твоего дворянства? Э-эхъ ты горюнъ!
- Ну ладно ужъ... будеть болтать-то,—сухо сказалъ горюнъ.

Но Ефимушка съ возрастающимъ любопытствомъ и участіемъ оглядывалъ безпаспортнаго человъка и, задумчиво качая головой, продолжалъ:

— А-яй! Какъ судьба съ человѣкомъ-то играетъ, ежели подумать! Вѣдь оно, пожалуй, и вѣрно, что ты изъ дворянъ, потому осанка у тебя этакая великолѣиная. Давно ты живешь въ такомъ образѣ?

Человъкъ съ великолъпной осанкой сумрачно взглянулъ на Ефимушку и отмахнулся отъ него рукой, какъ отъ назойливой осы.

- Брось, говорю! Что ты присталь, какъ баба?
- А ты не сердисы! успоконтельно проговорилъ



Ефимушка.—Я по чистому сердцу говорю... сердце у меня доброе очень...

- Ну и твое счастье... А воть что языкъ у тебя безъ умолку мелеть—это мое несчастье.
- Ну инъ ладно! Я коли и помолчу... можно и помолчать, ежели человъкъ не хочетъ слушать твоего разговору. А сердишься ты все-таки безъ причины... Али моя вина, что тебъ на бродяжьемъ положеніи пришлось жить?

Арестантъ остановился, и такъ сжалъ зубы, что его скулы выдались двумя острыми углами, а съдая щетина на нихъ встала ершомъ. Онъ смърилъ Ефимушку съ ногъ до головы загоръвшимися злобой и прищуренными глазами.

Но раньше, чъмъ Ефимушка замътилъ эту мимику, онъ снова началъ мърять землю широкими шагами.

На лицо болтливаго сотскаго легь отпечатокъ разсъянной задумчивости. Онъ посматриваль вверхъ, откуда лились трели жаворонковъ, и подсвистываль имъ сквозь зубы, помахивая палкой въ такть своихъ шаговъ.

Подходили къ опушкъ лъса. Онъ стоялъ неподвижной и темной стъной — ни звука не неслось изъ него навстръчу путникамъ. Солнце уже садилось и его косые лучи окрасили вершины деревьевъ въ пурпуръ и золото. Отъ деревьевъ въяло пахучей сыростью, сумракъ и сосредоточенное молчаніе, наполнявшіе лъсъ, рождали жуткое чувство.

Когда лѣсъ стоитъ предъ глазами теменъ и неподвиженъ, когда весь онъ погруженъ въ таинственную тишину, и каждое дерево точно чутко прислушивается къ чему-то—тогда кажется, что весь лѣсъ полонъ чѣмъто живымъ и лишь временно пританвшимся. И ждешь, что въ слѣдующій моментъ вдругъ выйдетъ изъ него нѣчто громадное и непонятное человѣческому уму, выйдетъ и заговоритъ могучимъ голосомъ о великихътайнахъ творчества природы...

II.

Подойдя къ опушкъ лъса, Ефимушка и его спутникъ ръшили отдохнуть и усълись на траву около широкаго дубоваго пня. Арестантъ медленно стащилъ съ плечъ котомку и равнодушно спросилъ сотскаго:

- Хлъба хочешь?
- Дашь, такъ пожую,—отвътилъ Ефимушка улыбаясь.

И вотъ они молча стали жевать хлѣбъ. Ефимушка ѣлъ медленно и все вздыхалъ, посматривая куда-то въ поле влѣво отъ себя, а его спутникъ весь углубился въ процессъ насыщенія, ѣлъ скоро и звучно чавкалъ, измѣряя глазами свою краюху хлѣба. Поле темнѣло, хлѣба уже потеряли свой золотистый колоритъ и стали розовато-желтыми, съ юго-запада на небо всползали лохматыя тучки, отъ нихъ на поле падали тѣни,—падали и ползли по колосьямъ къ лѣсу, гдѣ сидѣли двѣ темныя человѣческія фигуры. И отъ деревьевъ тоже ложились на землю тѣни, а отъ тѣней вѣяло на душу грустью.

— Слава Тебъ, Господи! — возгласилъ Ефимушка, собравъ съ полы азяма крошки хлъба и слизавъ ихъ съ ладони языкомъ.—Господь напиталъ—никто не видалъ, а кто и видълъ, такъ не обидълъ! Другъ! Посидимъ здъсь часокъ? Успъемъ въ холодную-то?

Другъ кивнулъ головой.

- Ну вотъ... Мъсто больно хорошее, памятное мнъ мъсто... Вонъ тамъ, влъво, господъ Тучковыхъ усадьба была...
- Гдѣ?—быстро спросилъ арестантъ, оборачиваясь туда, куда Ефимушка махнулъ рукой...
- А эвона за тъмъ мыскомъ. Туть все вокругъ ихнее было. Богатъйшіе господа были, но послъ воли свихнулись... Я тоже ихній быль, мы всъ туть бывшіе ихніе. Большая семья была... Полковникъ самъ-то—

Александръ Никитичъ Тучковъ. Дъти были: четверо сыновей—куда всъ теперь подъвались? Словно вътромъ разнесло людей, какъ листья по осени. Одинъ только Иванъ Александровичъ цълъ,—вотъ я тебя къ нему и веду, онъ у насъ земскимъ-то... Старый ужъ...

Арестанть засмъялся. Смъялся онъ глухо, какимъто особеннымъ внутреннимъ смъхомъ,—грудь и животъ у него колыхались, но лицо оставалось неподвижнымъ, только сквозь оскаленные зубы вырывались глухіе, точно лающіе звуки.

Ефимушка боязливо поёжился и, подвинувъ свою палку поближе къ рукъ, спросилъ у него:

- Чего это ты? Находить на тебя что ли?... ась?
- Ничего... это такъ, пройдеть,—сказалъ арестанть отрывисто, но ласково.—Разсказывай знай...
- Н-да... Такъ вотъ, значитъ, какія дѣла, были это господа Тучковы, и нѣту ихъ... Которые померли а которые пропали, такъ ни слуху, ни духу о нихъ и нѣту. Особливо одинъ тутъ былъ... самый меньшой. Викторомъ звали... Витей. Товарищи мы съ нимъ были... Въ ту пору, какъ волю объявили, было намъ съ нимъ лѣтъ по четырнадцати... Экій мальчикъ былъ, помяни Господи добромъ его душеньку! Ручей чистый! Такъ вотъ весь день и стремится, такъ это и журчитъ... Гдѣто онъ теперь? Живъ или ужъ нѣтъ?
- Чемъ больно хорошъ былъ?—тихо спросилъ Ефимушку его спутникъ.
- Всвмъ! —воскликнулъ Ефимушка. Красотой, разумомъ, добрымъ сердцемъ... Ахъ ты странній человвкъ, душа ты моя, спвла ягода! Посмотрвлъ бы ты тогда на насъ двоихъ... ай, ай! Въ какія игры мы играли, какая развеселая жизнь была, —люли малина! Бывало крикнеть Ефимка! Идемъ на охоту! Ружье у него было, отецъ подарилъ въ именины, и мнъ бывало стащитъ ружье. И закатимся мы это въ лъса, да дня па два, на три! Придемъ домой ему проборка, мнъ

Digitized by Gaagle

порка; глядишь, на другой день снова:-Ефимка-по грибы!--Птицы мы съ нимъ погубили--тысячи! Грибовъ этихъ собирали-пуды! Бабочекъ, жуковъ онъ ловилъ, бывало, и въ коробки ихъ, на булавки насаживалъ... Занятно! Грамотъ меня училъ... Ефимка, говорить, я тебя учить буду. Валяйте! Ну и началъ... Говори, говорить—а! Я ору—а-а! Смъхи! Сначала-то мнъ въ шутку это дъло было-на што она, грамота-то, крестьянину?... Ну, онъ меня увъщаваетъ: "на то, говоритъ, тебъ, дураку, и воля дана, чтобы ты учился... Будещь, говоритъ. грамотъ знать, узнаешь, какъ жить надо и гдъ правду искать"... Извъстно, малое дитя переимчиво, наслушался видно у старшихъ этакихъ ръчей и самъ началъ тоже говорить... Пустое, конечно, все... Въ сердцъ она, грамота-то, сердце и насчеть правды укажеть... Оно-глазастое... Такъ воть, учить онъ меня... такъ присосался къ этому дълу, — дохнуть мнъ не даеть! Маята! Ямолить! Витя, говорю, мнв грамота не въ моготу, не могу, говорю, я ее одолъть... Такъ онъ на меня ка-акъ рявкнеть! Папиной нагайкой запорю-учись! Ахъ ты, сдълай милость! Учусь... Разъ сбъжалъ съ урока, прямо вскочиль да и драла! Такъ онъ меня съ ружьемъ нскаль весь день-застрелить хотель. После говорить мнъ,-кабы, говорить, встрътиль я тебя въ тоть деньзастрълиль бы, говорить! Воть какой быль ръзкій! Непреклонный, огневой-настоящій баринъ... Любилъ опъ меня; пламенная душа... Разъ мнъ тятька спину вожжами расписаль, а какъ онь, Витя-то, увидаль это, пришедши къ намъ въ избу, батюшки мои-что вышло! побледнель весь, затрясся, сжаль кулаки и къ тятенькъ на полати лъзеть. Это, говорить, ты какъ смълъ? Тятька говорить-я-де отецъ! Ага! Ну хорошо, отецъ, одинъ я съ тобой не слажу, а спина у тебя будеть такая же, какъ у Ефимки. Заплакалъ послъ этихъ словъ и убъгъ... И что жъ ты скажешь, отче? Исполниль, въдь, свое слово. Дворню, видно, подговориль,

что ли, только однажды тятенька пришель домой, кряхтить; сталь-было рубашку снимать, ань она присохла къ спинъ-то у него... Разсердился на меня отецъ въту пору — изъ-за тебя, говорить, терплю, барскій ты прихвостень. И здоровенную задаль мнъ теребачку... Ну, а насчеть барскаго прихвостня это онъ напрасно,—я такимъ не быль...

- Върно, Ефимъ, не былъ!—утвердительно сказалъ арестантъ и весь вздрогнулъ,—это видно и сейчасъ, не могъ ты быть барскимъ прихвостнемъ, какъ-то торопливо добавилъ онъ.
- То-то и оно! —воскликнулъ Ефимушка... Просто я любилъ его, Витю-то... Такой это таланный ребенокъ былъ, всъ его любили—не одинъ я... Бывало ръчи онъ говоритъ разныя... не помню я ихъ, тридцать годовъ слишкомъ прошло съ той поры... Ахъ Господи! Гдъ-то онъ теперь? Чай, коли живъ, то или высокое мъсто занимаетъ или... въ самомъ омутъ кипитъ... Жизнь людская растаковская! Кипитъ она, кипитъ, а все ничего путнаго не сварится... А люди пропадаютъ... и жалко людей, даже до смерти жалко! Ефимушка, тяжело вздохнувъ, поникъ головой на грудь... Съ минуту длилось молчаніе.
- А меня тебъ жалко?—весело спросилъ арестантъ. Онъ спрашивалъ именно весело, все лицо у него было освъщено такой хорошей, доброй улыбкой...
- Да въдь чудакъ-человъкъ! воскликнулъ Ефимушка, какъ же тебя не жалътъ? Что ты такое, ежели подумать? Коли ты бродишь, такъ, видно, нътъ у тебя ничего своего на землъ-то, ни угла, ни щепочки... А можетъ еще и великъ гръхъ ты носишь съ собой кто тебя знаетъ? Горюнъ ты одно слово...
 - -- Такъ, -- сказалъ арестантъ...

И они снова замолчали. Солнце уже съло, и тъни стали гуще. Въ воздухъ пахло влажной землей, цвътами и лъсной плъсенью... Долго сидъли молча.

- А какъ тутъ ни хорошо все-таки надо идти... Намъ еще верстъ восемь осталось... Айда-ка, отче, по-дымайся!
 - Посидимъ еще немного, попросилъ отче...
- Да я ничего, я самъ люблю ночью около лъса быть... Только когда жъ мы придемъ къ земскому-то? Заругаеть онъ меня поздно-де.
 - Ничего, не заругаеть...
- Развъ ты словечко замолвишь, усмъхнулся сотскій.
 - Mory.
 - Ой ли?
 - А что?
 - Шутникъ ты! Онъ тв задастъ перцу!
 - Дерется развъ?
- Лють! И ловокъ—ахнеть кулакомъ въ ухо, а выходить все равно, какъ бы косой по ногамъ.
- Ну, мы ему сдачи дадимъ, увъренно сказалъ арестантъ, дружески потренавъ своего конвоира по плечу.

Это было фамильярно и не понравилось Ефимушкъ. Какъ ни какъ, а онъ все-таки начальство, и этотъ гусь не долженъ забывать, что у Ефимушки за пазухой есть мъдная бляха. Ефимушка всталъ на ноги, взялъ въ руки свою палку, вывъсилъ бляху на самую середину груди и строго сказалъ:

- Вставай, идемъ!
- Не пойду! сказалъ арестантъ.

Ефимушка смутился и, вытаращивъ глаза, съ полминуты молчалъ, не понимая, съ чего это арестантъ вдругъ сталъ такой шутникъ?

- Ну, не валандайся, идемъ! уже мягче сказаль онъ.
- Не пойду! ръшительно повторилъ арестанть.
- То-есть, какъ не пойдешь?—закричалъ Ефимушка въ изумлении и гитвът.
- Такъ. Хочу здъсь ночевать съ тобой... **Ну-ка**, разжигай костеръ...

- Я-те дамъ ночевать! Я-те такой костеръ на бокахъ у тебя разожгу—любо-дорого!—грозилъ Ефимушка. Но въ глубинъ души онъ былъ изумленъ. Говоритъ человъкъ—не пойду,—а сопротивленія никакого не оказываеть, въ драку не лъзеть, лежить себъ на землъ и больше ничего. Какъ туть быть?
- Не ори, Ефимъ, —спокойно посовътовалъ арестантъ. Ефимушка снова замолчалъ и, переминаясь съ ноги на ногу надъ своимъ арестантомъ, смотрълъ на него большими глазами. И тотъ на него смотрълъ, смотрълъ и улыбался. Ефимушка тяжело соображалъ, какъ же теперь нужно ему поступать?

И съ чего этотъ бродяга, все время такой угрюмый и злой, теперь вдругъ разбаловался такъ? А что, если навалиться на него, скрутить ему руки, дать раза два по шев, да и все? И самымъ строго-начальническимъ тономъ, какой только былъ въ его распоряжении, Ефимушка сказалъ:

- Ну, ты, огарокъ, вотъ что, покочевряжился, и будетъ! Вставай! А то я тебя свяжу, такъ тогда пойдешь, небойсь! Понялъ? Ну? Смотри бить буду!
 - Меня-то? усмъхнулся арестантъ.
 - А ты что думаешь?
 - Витю-то Тучкова, ты, Ефимъ Грызловъ, бить будешь?
- Ахъ ты пострълитъ-те горой! изумленно воскликнулъ Ефимушка, — да что ты въ самомъ дълъ? Что гы мнъ представленья-то представляещь? На-ко-ся!
- Ну, будеть кричать, Ефимушка, пора тебъ узнать меня,—спокойно улыбаясь, сказаль арестанть и всталь на ноги, здравствуй, что ли!

Ефимушка попятился назадъ отъ протянутой къ нему руки и во всё глаза смотрелъ въ лицо своего арестанта. Потомъ губы у него затряслись и все лицо сморщилось...

- Викторъ Александровичъ... и впрямь что ли вы это? шопотомъ спросиль онъ.
 - Хочешь—документы покажу? А то, —всего лучше,

— старину напомню... Ну-ка — помнишь, какъ ты въ Раменскомъ бору въ волчью яму попалъ? А какъ я за гнъздомъ полъзъ на дерево и повисъ на сучкъ внизъ головой? А какъ мы у старухи-молочницы Петровны сливки крали? И сказки она намъ говорила?

Ефимушка грузно сълъ на землю и растерянно за-

- Повърилъ?—спросилъ его арестантъ и тоже сълъ рядомъ съ нимъ, заглядывая ему въ лицо и положивъ на плечо его свою руку. Ефимушка молчалъ. Вокругъ нихъ стало совсъмъ темно. Въ лъсу родился смутный шумъ и шопотъ. Далеко, гдъ-то въ чащъ, застонала ночная птица. Туча ползла на лъсъ чуть замътнымъ движеніемъ.
- Что же, Ефимъ, не радъ встръчъ? Или очень ужъ радъ? Эхъ ты... святая душа! Какъ былъ ты ребенкомъ, такъ и остался... Ефимъ? Да говори что ли, чудовище милое!

Ефимушка начать усиленно сморкаться въ полу азяма...

- Ну, брать! Ай, ай, ай! укоризненно закачаль головой арестанть. Что это ты? Стыдись! чай, тебъ на пятый десятокъ годы идуть, а ты этакимъ пустяковымъ дъломъ занимаешься? Брось! и онъ, обнявъ сотскаго за плечи, легонько потрясъ его. Сотскій засмъялся дрожащимъ смъхомъ и, наконецъ, заговорилъ, не глядя на своего сосъда:
- Да развъ я что?... Радъ я... Такъ это вы и есть? Какъ мнъ въ это повърить? Вы, и... такое дъло! Витя... и въ этакомъ образъ! Въ холодную... Пачпорту нътъ... Хлъбомъ питаетесь... Табаку нътъ... Господи! Въдь это развъ порядокъ? Ежели бы это я былъ... а вы быхоть сотскій... и то легче! А теперь что же вышло? Какъ мнъ смотръть въ глаза вамъ? Я всегда про васъ съ радостью помнилъ... Витя, думаешь бывало... Такъ

даже сердце защекочеть. А теперь — на-ко! Господи... въдь это ежели людямъ разсказать—не повърять...

Онъ бормоталъ свои отрывистыя фразы, упорно глядя на свои ноги, и все хватался рукой то за грудь то за горло.

— А ты людямъ про все это и не говори, не надо. И перестань... развъ туть твоя вина? Насчеть меня не безпокойся... Бумаги у меня есть, я не показалъ ихъ старостъ, чтобы не узнали меня туть... Въ холодную меня братъ Иванъ не посадитъ, а, напротивъ, поможетъ мнъ на ноги встать... Останусь я у него, и будемъ мы съ тобой снова на охоту ходить... Видишь, какъ хорошо все устраивается.

Витя говориль это ласково, твиъ тономъ, которымъ варослые утвивють огорченныхъ двтей. Навстрвчу тучв, изъ-за лвса всходила луна, и края тучи, посребренные ея лучами, приняли мягкіе опаловые оттвики. Въ хлюбахъ кричали перепела, гдв-то трещалъ коростель... Мгла ночи становилась все гуще.

— Это дъйствительно... — тихо началъ Ефимушка, — Иванъ Александровичъ родному брату порадъетъ и вы, значить, снова приспособитесь къ жизни. Это все такъ... И на охоту пойдемъ... Только все не то... Я думалъ, вы какихъ дъловъ въ жизни надълаете! А оно—вонъ что...

Витя Тучковъ засмъялся.

— Я, брать Ефимушка, надълаль дъловъ достаточно... Имъніе, свою часть прожиль, на службъ не ужился, быль актеромъ, быль приказчикомъ въ тортомъ лъсомъ, потомъ самъ держалъ актеровъ... потомъ прогоръль до тла, всъмъ задолжаль, впутался въ одну исторію... эхъ! Всего было... И—все прошло!

Арестанть махнуль рукой и добродушно засмъялся.

— Я, братъ Ефимушка, теперь ужъ не баринъ... вылъчился отъ этого. Теперь мы съ тобой такъ заживемъ! а? да, ну! очнись.

- Я въдь ничего... заговорилъ Ефимушка подавленнымъ голосомъ, стыдно мнъ только. Говорилъ я вамъ тутъ разное такое... несуразныя слова и вообще... Мужикъ, извъстное дъло... Такъ, говорите, заночуемътутъ? Я инъ костеръ разложу...
 - Ну-ка, двиствуй!...

Арестанть вытянулся на землё кверху грудью, а сотскій исчезь въ опушкё лёса, откуда тотчась же раздался трескъ сучьевъ и шорохъ. Скоро Ефимушка появился съ охапкой хвороста, а черезъ минуту по маленькому холмику изъ мелкихъ сучьевъ уже весело ползала змёйка огня.

Старые товарищи задумчиво смотръли на нее, сидя другъ противъ друга и поочередно куря трубку.

- Совствить какть тогда, грустно говорилть Ефимушка.
 - Только времена не тъ, сказалъ Тучковъ.
- Неда, жизнь-то стала круче характеромъ... Эвона какъ васъ... обломала...
- Ну, это еще неизвъстно она меня или я ее... усмъхнулся Тучковъ.

Помолчали...

- А? Господи Боже! Витя! Вотъ-те и съ праздникомъ! — огорченно восклицалъ Ефимушка.
- Э, полно! Что было то прошло, философски утъщалъ его Тучковъ.

Сзади ихъ возвышалась темная ствна тихо шептавшаго о чемъ-то лъса, весело трещалъ костеръ, вокругъ него безшумно плясали тъни и надъ полемъ лежала непроглядная тъма.

конецъ второго тома.

